РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

Русская литература

№ 1 Историко-литературный журнал 2006

Издается с января 1958 года

Выходит 4 раза в год

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

С. А. Фомичев. О жанровой природе сказок Пушкина 3
В. А. Котельников. Воинствующий идеалист Аким Волынский 20

К 120-летию СО ДНЯ СМЕРТИ И. С. АКСАКОВА

В. А. Кошелев. Иван Аксаков: консервативная оппозиция как литературная идеология 76
Д. А. Бадалян. Газета И. С. Аксакова «Русь» и цензура 94
Иван Аксаков и «фанатики-фанариоты». I. Переписка И. С. Аксакова и Т. И. Филиппова (1870—1885) (вступительная статья, подготовка текста и комментарии О. Л. Фетисенко). 115

ИЗ ИСТОРИИ ПУШКИНСКОГО ДОМА

Л. М. Солдатова. Традиция памяти Пушкина на виражах политической жизни России XX века 147

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«Заграничные связи нам тоже слишком дороги»: письма З. Гиппиус, Д. Мережковского, Д. Философова к Б. Савинкову. 1912—1913 годы (вступительная статья, публикация и примечания Е. И. Гончаровой) 192
С. А. Кибальник. Газданов и Шестов 218
«Искренне Ваш Юл. Оксман» (письма 1914—1970-го годов) (публикация М. Д. Эльзона, предисловие В. Д. Рака, примечания В. Д. Рака и М. Д. Эльзона) (окончание) . 227

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»

ЗАМЕТКИ

Н. П. Генералова. Об адресате «Двух писем о значении древних языков в нашем воспитании» А. А. Фета 274

ПОЛЕМИКА

А. Г. Бобров. Неудачный поход против «Сказания о Валаамском монастыре» (по поводу статьи С. Н. Азбелева) 277

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

В. Г. Щукин. Река времен, или Никто не знает настоящей правды 282
Е. В. Жеребкова. Труд немецкого слависта глазами русского читателя 287

ХРОНИКА

А. А. Костин. К 250-летию Московского университета 293
С. В. Денисенко. Международная научная конференция «Дело случая... Случай и случайность в литературе и в жизни» 295
В. Н. Запевалов, В. А. Прокофьев. День Федора Абрамова в Пушкинском Доме . . 299

Памяти Людмилы Николаевны Назаровой 303

Журнал издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН

Главный редактор *Н. Н. СКАТОВ*

Редакционная коллегия:

Е. В. АНИСИМОВ, Д. М. БУЛАНИН, Г. Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора), *А. А. ГОРЕЛОВ, В. Я. ГРЕЧНЕВ, И. Ф. ДАНИЛОВА* (отв. секретарь редакции), *Н. Н. КАЗАНСКИЙ, В. А. КОТЕЛЬНИКОВ, Н. Д. КОЧЕТКОВА, А. В. ЛАВРОВ, Ю. М. ПРОЗОРОВ, В. А. ТУНИМАНОВ, С. А. ФОМИЧЕВ, Т. С. ЦАРЬКОВА*

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.
Телефон/факс (812)328-16-01
e-mail:rusliter@mail.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам

Санкт-Петербург
Издательство «Наука»

© Российская академия наук, 2006 г.
© Редколлегия журнала «Русская литература» (составитель), 2006 г.

© *С. А. ФОМИЧЕВ*

О ЖАНРОВОЙ ПРИРОДЕ СКАЗОК ПУШКИНА

Сказка по праву считается одним из самых продуктивных пушкинских жанров. Дело даже не в их количестве, а в постоянном интересе поэта к сказочным сюжетам, что получило отражение и в его неоднократных замыслах произведений о Бове-королевиче, и в использовании в «Руслане и Людмиле» некоторых сюжетных мотивов сказки об Еруслане Лазаревиче, и в пушкинских записях (хронологически первых в русской фольклористике!) народных сказок, и в обмене сказочными сюжетами с Казаком Луганским (В. И. Далем), и в сказочной топике художественной ткани «Евгения Онегина» (сон Татьяны) и «Капитанской дочки».[1]

Все собственно сказки свои Пушкин написал в начале 1830-х годов, причем, лишь за исключением «Сказки о царе Салтане», во время болдинских творческих бдений. Нельзя не отметить свободу Пушкина в варьировании жанра: здесь и сказка о животных (так называемая «Сказка о медведихе»), и бытовая (новеллистическая) «Сказка о попе и работнике его Балде», и кумулятивная[2] «Сказка о рыбаке и золотой рыбке», и волшебные сказки (о царе Салтане и о мертвой царевне), и «Сказка о золотом петушке», своеобразие которой, нарушающее функции фольклорных сказочных топосов, не поддается четкому жанровому определению. По художественной манере (не говоря уж о стихотворной ритмике) эти произведения настолько своеобычны, что, появись они в печати анонимно, то могли бы показаться написанными разными авторами. Только в «волшебных сказках» в творчестве Пушкина выдержаны, казалось бы, стабильные признаки. Но, в сущности, и в этих произведениях также нарушен народно-поэтический канон — они тяготеют к авантюрно-рыцарским сказаниям, а не к народной сказке в ее точном фольклорном значении. Оттуда идут имена сказочных персонажей: Салтан, Гвидон, Елисей, Дадон.[3] Становится понятным по той же причине и свободное обращение Пушкина в своих сказках — при их колоритном народном языке и обильном использовании мотивов, почерпнутых преимущественно в русском фольклоре, — к зарубежным сюжетам (из Гримма, из В. Ирвинга). Намечая в 1830 году (т. е. именно тогда, когда впрямую начал осваивать жанр сказки) план статьи о древнерусской литературе, Пушкин специально отметил «доказательство сближения с Европой»[4] именно в сказках (и пословицах).

---

[1] См.: *Смирнов И. П.* От сказки к роману // История жанров в русской литературе X—XVII вв. Л., 1973. С. 284—320.

[2] «Основной композиционный прием кумулятивных сказок состоит в каком-нибудь многократном, все нарастающем повторении одних и тех же действий, пока созданная таким образом цепь не обрывается или же не распадается в обратном, убывающем порядке» (*Пропп В. Я.* Русская сказка. Л., 1984. С. 293).

[3] См.: *Чернышев В.* Имена действующих лиц в сказках Пушкина... // Пушкин и его современники. СПб., 1908. Вып. 4. С. 128—132.

[4] *Пушкин.* Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1949. Т. XII. С. 208. Далее ссылки на это издание в тексте.

Разумеется, это отнюдь не снижает литературного значения пушкинских сказок. Сошлемся в данном случае на мнение В. Я. Проппа: «Тесно связана со сказкой, но все же совершенно иной жанр представляет собой народная книга. ⟨...⟩ Народная книга была и у нас, хотя термин этот для русских материалов не привился. Со времен Пыпина установился термин „повесть". Выросшая на почве фольклора народная книга перерастает в буржуазную повесть и дает начало роману. Источники ее чрезвычайно разнообразны, как разнообразны и сами народные книги. Они часто представляют собой продукт международных фольклорных связей и влияний. Так, типичными народными книгами являются „Еруслан Лазаревич", „Бова Королевич", „Мелюзина", „Петр Золотые ключи" и др. Они сказочного происхождения, восточного и западного. ⟨...⟩ Народные книги выработали специфический для них язык, обладающий прекрасными литературными достоинствами, особый стиль, особые литературные приемы... Народные книги были у нас чрезвычайно популярны. Отождествление народной книги со сказкой — методологическая ошибка. Но такой же методологической ошибкой будет и изучение народной книги вне сказки. Это смежные, родственные и перекрещивающиеся жанры, обладающие, однако, каждый своей внутренней спецификой, исторической судьбой и формой обращения».[5]

«Зашедшие на Русь повести, — замечает академик А. С. Орлов, — не все были переведены трудами книжников: многие пришли к нам уже в готовых переводах, исполненных среди других славянских племен. ⟨...⟩ Вскоре после появления переводов иноземных повестей и русские книжники испытали свои силы: принимались частью натурализовать их изложение, подвергали их обработкам, в соответствии с современностью, частью же подражали чужим повестям, извлекая отсюда для своих произведений то сюжет, то идею, то поэтические образы. Живя целыми веками, с течением времени переводные повести спускались в среду все менее книжную, изменяли там стиль, сообразно требованиям новой общественной среды, и преображались наконец в сказки и песни, которые дожили до сего времени, пройдя новые изменения в пути устной передачи».[6]

Ориентация Пушкина на народную книгу прежде всего заметна в сюжетике его сказок, которые насыщаются рядом вставных эпизодов, заимствованных из разнообразных источников, а порой разработанных вполне самостоятельно. Так, в фольклорный сюжет «чудесных детей» вводится заимствованный из восточных сказок образ царевны-лебеди. К тому же если в народной сказке повествование всегда следует впрямую за главным героем, не отвлекаясь в сторону на картины и события, которые находятся за пределами его восприятия, то в сказке о мертвой царевне, например, нельзя не заметить самостоятельных ведущих ролей и мачехи (ср. ее беседы с волшебным зеркальцем и сцены с чернавкой), и семи богатырей (рассказ об их «прогулках»), и особенно королевича Елисея (в сущности, в концовке сказки происходит невозможная в фольклорной практике смена главного героя). Персонажи народных сказок «безхара́ктерны», определены только по традиционной сюжетной функции. Пушкин же порой прибегает к психологической нюансировке характеров и их столкновений, что ведет, в частно-

[5] *Пропп В. Я.* Указ. соч. С. 53—54.

[6] *Орлов А. С.* Переводные повести феодальной Руси и московского государства XII—XVII веков. Л., 1934. С. 3. Об интересе Пушкина к «низовой» литературе такого рода свидетельствуют книги, сохранившиеся в его библиотеке: Старая погудка на новый лад, или Полное собрание древних простонародных сказок. М., 1795 (среди прочих здесь содержится и «Сказка о старике и внуке его петухе»); Сказка о золотой горе, или Чудные происшествия Идана восточного царевича. СПб., 1831; Собрание старинных русских сказок. М., 1829.

сти, к насыщенности пушкинских сказок диалогами, имеющими вполне драматургическое качество. Это особенно заметно в сказке о рыбаке и рыбке, где — в отличие от источника, почерпнутого у братьев Гримм, — старик не поднимается по социальной лестнице вместе со старухой, хотя и подчиняется ее своеволию. Интересную особенность в пушкинском сказочном сюжете подметил писатель Феликс Розинер: «В „Сказке о царе Салтане" мое внимание привлекли корабельщики. Они, так сказать, „двигатели сюжета"... в нарушение канонов волшебной сказки, где приняты тройные повторы, корабельщики заявляются к Гвидону и к Салтану по четвертому разу. Любопытно, какими вопросами встречают их Салтан и Гвидон. Салтан неизменно спрашивает: „Долго ль ездили? куда? Ладно ль за морем иль худо? И какое в свете чудо?", а Гвидона интересует другое: „Чем вы гости торг ведете? И куда сейчас плывете?" Можно сказать, что, задавая свои вопросы, Салтан предстает романтиком, а Гвидон — прагматиком. Опрокидывая старую сказку в наши сегодняшние времена, так и хочется видеть в Гвидоне представителя нового, молодого поколения, которому прагматизм свойственен куда в большей степени, чем старшему — отцам!.. ⟨...⟩ Но самое „веселое" в сказке обнаруживается все же в тех же ответах корабельщиков Гвидону. „Чем вы, гости, торг ведете?" — спрашивает их Гвидон. Они в первый раз отвечают: „Торговали соболями, Чернобурыми лисами". Второй раз: „Торговали мы конями, Все донскими жеребцами." Третий: „Торговали мы булатом, Чистым серебром и златом". ⟨...⟩ Похоже, что несмотря на пушки и заставы, корабельщики проникли доверием к князю Гвидону. И вот что говорят они в четвертый раз: „Торговали мы недаром Неуказанным товаром". ⟨...⟩ Для меня нет сомнения, что „неуказанный товар" — это контрабанда. ⟨...⟩ Тут требуются особые изыскания. Во всяком случае, если считать, что здесь происходит смешение времени сказочного и времени реального XIX века, то мы можем себе позволить нечто в этом духе: очень актуально на нынешнем российском фоне выглядят гости-корабельщики...»[7] «Прагматизм» Гвидона заметен и в его использовании волшебных даров: к белке «приставлен дьяк приказный Строгий счет орехам весть», «Из скорлупок льют монеты Да пускают в ход по свету; Девки сыплют изумруд В кладовые да под спуд» (III, 519). Братцы же царевны-лебеди со старым дядькой Черномором, тридцать три богатыря, приспособлены для надежной стражи: «Чтобы остров тот хранить И дозором обходить» (III, 524). Все эти подробности невозможны в фольклорной сказке.

Правильное установление литературной традиции по отношению к сказкам Пушкина важно в методологическом отношении. Иначе возникает недоумение, характерное для В. Г. Белинского, — ср.: «Сказки Пушкина: „О царе Салтане", „О мертвой царевне и о семи богатырях", „О золотом петушке", „О купце Кузьме Остолопе и о работнике его Балде" — были плодом довольно ложного стремления к народности. Народные сказки хороши и интересны так, как создала их фантазия народа, без перемен, украшений и переделок».[8] Едва ли не хуже, чем эта, так сказать, добросовестная ошибочная оценка, иные методологически неверные попытки судить о поэтике сказок Пушкина впрямую по фольклорным образцам без учета посредствующей роли здесь «народной книги», с сознательной ориентацией на которую и писал Пушкин свои «сказки». Так, например, оценивалась «Сказка о золотом

[7] *Розинер Ф.* Письмо к Е. Г. Эткинду // Пушкинский, юбилейный ⟨сборник⟩. Иерусалим, 1999. С. 188. Ср. в «Словаре языка Пушкина» (М., 1957. Т. 2. С. 852): «**НЕУКАЗАННЫЙ.** *Недозволенный.* Торговали мы недаром **Неуказанным** товаром».

[8] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 7. С. 576.

петушке»: «Пушкин, заимствуя из иноземной литературы сюжет, создал национальную русскую сказку, тесно связанную с поэтическим языком и художественными средствами русского народного творчества».[9] Не потому ли за этим пушкинским произведением надолго утвердилась репутация «загадочного»? Суждения о нем, преимущественно по фольклорным моделям, действительно оставляли непроясненным самый смысл «урока» для «добрых молодцев».

Собственно, в популярном, часто цитируемом в пушкиноведении определении: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма», — содержится восприятие народных сказок, услышанных от Арины Родионовны, в контексте давнишнего интереса Пушкина именно к «народной книге», сказочной повести.

Полезно именно под этим углом зрения проанализировать сюжетику двух сказок Пушкина, окольцовывающих «сказочный период» его творчества: так называемую «Сказку о медведихе» и «Сказку о золотом петушке».

* * *

Среди пушкинских рукописей болдинской поры (1830) сохранился черновой автограф зачина сказки о зверях («Как весенней теплою порою...»), впервые опубликованный П. В. Анненковым в 1855 году. Нельзя сказать, что этот набросок был обойден вниманием в пушкиноведении.[10] Еще Ф. М. Достоевский заметил: «В Пушкине же есть именно что-то сроднившееся с народом *взаправду*, доходящее в нем до какого-то простодушного умиления. Возьмите Сказание о медведе и том, как убил мужик его боярыню-медведиху, или припомните стихи:

Сват Иван, как пить мы станем, —

и вы поймете, что я хочу сказать».[11]

В. Ф. Миллер видел в пушкинском наброске «такое же художественное собрание в один фокус народных красок, запечатлевшихся в богатой памяти поэта, как и в прологе... к „Руслану и Людмиле"».[12]

К настоящему времени обнаружены народно-поэтические и литературные источники всех остальных пушкинских сказок. Очевидно, таковой существовал и для болдинского наброска,[13] истоки которого следует искать в сюжетике животного эпоса. Нам не кажется убедительной точка зрения об исчерпанности («абсолютной художественной целостности») данного замысла, якобы не предполагавшего дальнейшего фабульного развития. Черновой автограф ПД 929, занимающий целиком лицевую и оборотную стороны лис-

---

[9] Литературный критик. 1937. № 1. С. 134—135.

[10] См.: *Желанский А.* Сказки Пушкина в народном стиле. М., 1936 (глава «Загадки „Медведихи"»); *Волков Р. М.* Народные истоки творчества А. С. Пушкина (баллады и сказки). Черновцы, 1960 (глава «Сказка о медведихе»); *Зуева Т. В.* Сказки Пушкина: Книга для учителя. М., 1976 (глава «Сказки первой Болдинской осени»).

[11] А. С. Пушкин: Pro et contra. Личность и творчество Александра Пушкина в оценках русских мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 2000. Т. 1. С. 161.

[12] *Миллер Вс.* Пушкин как этнограф // Этнографическое обозрение. 1899. № 1. С. 178.

[13] Ряд исследователей считает (но это, на наш взгляд, противоречит обычной сказочной практике Пушкина), что данный замысел был вполне самостоятельным, не предполагавшим никаких традиционных фабульных параллелей. См.: *Слонимский А.* Мастерство Пушкина. М., 1959. С. 420; *Леонова Т. Г.* Русская литературная сказка XIX века в ее отношении к народной сказке (поэтическая система жанра в историческом развитии). Томск, 1982, С. 39; *Поддубная Р.* Творчество Пушкина Болдинской осени 1830 года как проблемно-художественный цикл // Stadia rossica posnaniensia. 1979. Zesk. 12. С. 11.

та большого формата, не помечен знаком концовки, и оставленные чистыми следующие листы свидетельствуют лишь о начале работы над произведением.

Отметим, что предпринята была работа в черновой рукописи зачеркнутой строкой «Есть место на земле», под которой рисуются кот и петух, и очевидно, в процессе этой зарисовки возник замысел сказки о животных. Открывалась она, однако, сценой противоборства мужика со зверем, которая вначале была более динамичной:

...Отколь ни возьмись мужик идет
С булатным ножом за поясом
А во руках держит рогатину —
А мешок-то у него за плечьми —
Как завидела медведиха
Мужика с рогатиной
Заревела медведиха
Поднялася на дыбы чернобурая
А мужик-от он догадлив был
Он пускался на медведиху
Он сажал на рогатину
Что ниже сердечушка
Он валил ее на сыру землю
Он порол ей брюхо...

Эпизод этот подвергнут тщательной обработке, в частности на левом поле страницы появляется призыв медведихи к медвежатушкам:

...Становитесь, хоронитесь за меня
Уж как я вас мужику не выдам
И сама мужику .... выем...
(III, 503)

Здесь угадывается явственная отсылка к скоморошине «Дурень» из сборника Кирши Данилова:

Схватал его медведь-ат,
Зачал драти,
И всего ломати,
И смертно коверкать,
И .... выел.[14]

У Пушкина же это осталось пустой угрозой. Мужик у него вовсе не дурень (ср.: «А мужик-от он догадлив был»), он выходит из схватки победителем.

Вряд ли можно считать удачным общепринятое редакторское название пушкинского произведения: «Сказка о медведихе». Это, конечно, *сказка*, которую можно понять (и продолжить!), обратившись к традиционным мотивам животного эпоса. Но почему — только «о медведихе»? Описание ее гибели лишь экспозиция повествования.

Черновой набросок Пушкина исчерпывается двумя начальными сюжетными ситуациями: рассказом об убийстве медведихи мужиком и описанием

[14] Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М., 1938. С. 271.

схода зверей. Модель же колоритного пушкинского перечисления зверей обнаружена в «Старине о птицах»[15] — ср.:

...Все птички на море большие,
Все птички на море меньшие.
Орел на море воевода,
Перепел за морем — подьячий,
Петух на море целовальник ⟨...⟩
Гуси на море — бояре,
Утята на море — дворяне,
Чирята на море — крестьяне,
Воробьи на море — холопы ⟨...⟩
Ворон на море — игумен:
Живет он всегда позади гумен...[16]

Пушкин заменяет птиц исключительно зверями, наделяя их краткими социальными определениями.

Тональность пушкинской сказки определяется прежде всего «речевым» («сказовым») стихом, восходящим к скоморошинам — ср.:

В ту пору звери собиралися
Ко тому ли медведю, к большому боярину,
Прибегали звери большие,
Прибегали тут зверишки меньшие,
Прибегал туто волк-дворянин,
У него-то зубы закусливые,
У него-то глаза завистливые,
Приходил тут бобр, торговый гость,
У него-то, бобра, жирный хвост.
Приходила ласочка-дворяночка,
Приходила белочка-княгинечка,
Приходила лисица-подьячиха,[17]
Приходил скоморох-горностаюшка,[18]
Приходил байбак тут игумен,
Живет тот байбак позадь гумен,

[15] См.: *Азадовский М.* Источники сказок Пушкина // Азадовский М. Литература и фольклор. Л., 1938. С. 99; *Новиков Н. В.* Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. Л., 1961. С. 121; *Пропп В. Я.* Указ. соч. С. 70. М. К. Азадовский (с. 102) также указал текст, напечатанный в 1872 году Гильфердингом, в котором упоминаются вслед за птицами и звери, в частности медведь («кожедерник») и волк («овчинник»). Эта песня, «Протекало теплое море...», вероятно, была известна Пушкину, так как упоминалась в предисловии Н. И. Гнедича к переведенным им песням греков (см.: *Ковпик В. А.* Фольклорные истоки «Сказки о медведихе» // Университетский Пушкинский сборник. М., 1999. С. 185).

[16] Народно-поэтическая сатира. Л., 1960. С. 61—62. От этой старины отталкивался А. П. Сумароков (по другой версии, Ф. Г. Волков) в сатирическом «Хоре ко превратному свету» — ср.: «Прилетала на берег синица, / Из-за полночного моря, / Из-за холодна океяна: / Спрашивали гостейку приезжу, / За морем какие обряды...» (*Сумароков А. П.* Стихотворения. Л., 1933. С. 312). Данная перекличка отмечена в кн.: *Леонова Т. Г.* Русская литературная сказка XIX века в ее отношении к народной сказке. С. 41—42.

[17] В черновике намечалось продолжение: «У лисички походочка...», а рядом с этой строкой нарисована лисья морда. Такое внимание к лисице не случайно: в сказке о зверях она часто выступает хитрой советчицей. О подьячих же (приказных служителях, «крючках») народ судил всегда саркастически: «У подьячего светлая пуговка души заместо»; «Подьячего бойся и лежачего»; «У подьячего локти на отлете»; «Подьячий и со смерти за труды просит» и т. п. (Толковый словарь великорусского языка Владимира Даля. СПб.; М., 1882. Т. 2. С. 219).

[18] Вероятно, вспомнил о скоморохе Пушкин здесь не случайно. В черновике сначала намечалось: «купчик горностаюшка», «ярыжка горностаюшка».

Прибегал тут зайка смерд,
Зайка бедненький, зайка серенький,
Приходил целовальник-еж,
Все-то, еж, он ежится, все-то он щетинится...

(III, 505)

Особо следует отметить здесь наличие рифм и рифмоидов, которые Д. С. Лихачев справедливо оценивает в качестве проявления словесного балагурства: «Рифма (особенно в раешном или «сказовом» стихе) создает комический эффект. Рифма „рубит" рассказ на однообразные стихи, показывает тем самым нереальность изображаемого. Это все равно, как если бы человек ходил, постоянно пританцовывая. Даже в самых серьезных ситуациях его походка вызывала бы смех. „Сказовые" (раешные) стихи именно к этому комическому эффекту сводят свои повествования. Рифма объединяет разные значения внешним сходством, оглупляет явления, делает схожим несхожее, лишает явления индивидуальности, снимает серьезность рассказываемого, делает смешным даже голод, наготу, босоту».[19]

Если оценивать пушкинское описание сбора зверей лишь как пародию на торжественное поминание «боярыни-медведихи», то сюжет произведения действительно был близок к завершению.

Но Пушкину были знакомы и литературные источники описания звериного схода, суда, совета. Прежде всего, это обычная басенная ситуация, таящая комическое фабульное развитие.[20] Известен также интерес поэта к старофранцузской поэме «Роман о Лисе»[21] и к ее переводу-переделке Гете «Рейнеке-Лис». Еще в письме к Рылееву от 25 января 1825 года поэт заявлял: «Бестужев пишет мне много об Онегине — скажи ему, что он не прав: ужели хочет он изгнать все легкое и веселое из области поэзии? Куда же денутся сатиры и комедии? следственно должно будет уничтожить и Orlando furioso и Гудибраса, и Pucelle, и Вер-Вера, и Реникефукс, и лучшую часть Душеньки, и сказки Лафонтена, и басни Крылова etc. etc. etc. etc. etc... Это немного строго» (XIII, 134). В черновике же статьи «О ничтожестве литературы русской» (1834) Пушкин заметит: «Германия (что довольно странно) отличилась Сатирой едкой, шутливой, коей памятником останется „Рейнике-Фукс"» (XI, 306).

В поэме Гете неоднократно описывался и сбор зверей, предваряющий очередной фабульный поворот, — например:

...Бэллин-баран тут напомнил: «Пора начинать заседанье».
Изегрим-волк подошел, окруженный роднею, кот Гинце,
Броайн-медведь да и множество прочих зверей и животных:
Болдевин был там — осел, и Лямпе — знакомый нам заяц;

---

[19] *Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В.* Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 21.

[20] Ср.: «В этой связи поучительна история с атрибуцией одной из ранних работ художника В. А. Серова, которая при первой публикации, в 1951 году (в альбоме «В. А. Серов. Рисунки к басням Крылова»), сопровождалась упреком комментатора: рисунку, по мнению искусствоведа, недостает динамичности, столь характерной для басенного жанра. Спустя десятилетие С. Г. Арбузов доказал, что этот рисунок пером относится не к басне Крылова „Мор зверей", а к пушкинской „Сказке о медведихе"» (*Медриш Д. Н.* «Сказка о медведихе» А. С. Пушкина в свете народнопоэтической традиции // Скафтымовские чтения. Материалы научн. конф. Саратов, 1993. С. 88).

[21] Сохранился пушкинский перевод поэмы со старофранцузского на современный французский язык (см.: Рукою Пушкина. 2-е изд. М., 1997. С. 65—82). «Прелесть этого рассказа ⟨...⟩ — замечал Э. Б. Тайлор, — заключается преимущественно в остроумном сочетании свойств животного со свойствами человека» (*Тайлор Э. Б.* Первобытная культура. М., 1980. С. 202).

Дог, по имени Рин, и Викерлис, бойкая шавка;
Герман-козел вместе с козочкой Метке, и белка, и ласка,
И горностай. Пожаловал бык, да и лошадь явилась...[22]

Нам представляется, что сама ситуация схода зверей, намеченная Пушкиным, предполагала избрание мстителей (неужели медведь-боярин мог ограничиться лишь плачем по своей жене и детушкам?). Едва ли они, однако, оказались бы победителями в схватке с мужиком. «Ударная сила» сказки о животных, как справедливо отмечает исследователь, «остается в комических сюжетных ситуациях».[23]

С этой точки зрения интересен отмеченный выше пушкинский рисунок, предваряющий черновую рукопись сказки. Как петух, так и кот в некоторых народных сказках пугают зверей (в том числе и медведя), обращая их в бегство. Возможно, вначале Пушкину и мыслилась подобная ситуация. Но в написанном тексте оказались отчетливо выделенными два антагониста: мужик и медведь. Очевидно, именно их столкновением и должен был завершен фабульный конфликт. Сверяясь с типовым указателем Аарне—Томпсона сказочных сюжетов, мы находим всего три коллизии столкновения мужика с медведем:

«152. *Мужик, медведь, лиса и слепень.* Мужик „пежит" медведя раскаленным железом, ломает ноги лисе, втыкает соломинку в слепня. Звери клянутся ему отомстить, мужик заново их пугает. ⟨...⟩

154. *Мужик, медведь и лиса.* Мужик обманывает медведя при дележе урожая. Медведь хочет отомстить мужику. Лиса хитрыми советами помогает мужику избавиться от медведя. Вместо благодарности мужик награждает лису мешком, в котором спрятаны собаки. Когда лиса открывает мешок, собаки ее загрызают. ⟨...⟩

161. *Медведь — липовая нога.* Старик отрубает спящему медведю топором ногу. Медведь делает себе липовую ногу, ночью приходит в дом и съедает стариков...»[24]

В пушкиноведении делалась попытка выявить в пушкинском повествовании аналог сюжета (изначально восходившего то ли к древним тотемным воззрениям, то ли к быличке-страшилке) о медведе на липовой ноге.[25] Однако липовая нога у медведя — необходимый фабульный элемент сюжета А-161, запечатленный в песенке медведя: «Скрипи, нога, / Скрипи, липовая!»

О липовой ноге (как и о дележе урожая) у Пушкина и речи нет. Стало быть, наиболее вероятным (по методу исключения) продолжением его сказки могло быть следование озорному сюжету А-152. Он несколько варьировался по персонажам. В русской сказке говорилось о том, как мужик наказал медведя, лису и слепня. Медведь, позавидовав пегой мужицкой лошади, попросил и его «попежить» (сделать пегим). Спеленав зверя, мужик положил его в костер и выжег медвежьи бока и брюхо. Позже он переломал ноги лисе, решившей отведать молока, но застрявшей в кринке по горло. Ужалившему же слепню мужик воткнул в зад соломину. Собравшись все вместе, обиженные решили сообща наказать мужика.[26] В издании сказок Афанасье-

---

[22] *Гете И. В.* Рейнеке-лис. М., 1984. С. 51. Перевод А. Пеньковского.

[23] *Костюхин Е. А.* Типы и формы животного эпоса. М., 1987. С. 94—95.

[24] Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. М., 1957. Т. 3. С. 461—462.

[25] См.: *Тарланов Е. З., Савельева Л. В.* Фольклорные традиции в поэтике «Сказки о медведихе» А. С. Пушкина // Язык русского фольклора. Петрозаводск, 1992. С. 120—123.

[26] Ср.: «Непонимание зверем смысла человеческих поступков — источник комического... в сказке „Озорной пахарь" (АТ 152В*), где оно приобретает обсценный характер. (Вот сюжет об озорном пахаре в изложении С. Томпсона: «горячим железом он делает узоры на боках волка,

ва скабрезная концовка этого сюжета, впрочем, была опущена: «Тотчас собрались и пошли на поле, где мужик убирал снопы. Вот стали они подходить; мужик увидал, испугался и не знает, что ему делать...»[27]

На этом обрывался текст в каноническом издании, но в примечаниях составитель указал, что «с окончанием этой сказки желающие могут познакомиться в стихотворной ее переделке в Сочинениях Василия Майкова».[28]

Басня же В. Майкова «Крестьянин, Медведь, Сорока и Слепень» заканчивалась так:

...Хозяйка к мужичку обедать принесла,
Так оба сели
На травке и поели.
Тогда в крестьянине от сладкой пищи кровь
Почувствовала — что? К хозяюшке любовь;
«Мы время, — говорит, — свободное имеем,
Мы ляжем почивать;
Трава для нас — кровать».
Тогда — и где взялись? — Амур со Гименеем,
Летали вкруг,
Где отдыхал тогда с супругою супруг.
О, нежна простота! о, милые утехи!
Взирают из дерев, таясь, игры и смехи
И тщатся нежные их речи все внимать.
Была тут и сама любви прекрасна мать,
Свидетель их утех, которые вкушали;
Зефиры сладкие тихохонько дышали
И слышать все слова богине не мешали...
Медведь под деревом в болезни злой лежал,
Увидя действие, от страха весь дрожал,
И говорил: «Мужик недаром так трудится:
Знать, баба пегою желает нарядиться».
Сорока вопиет:
«Нет,
Он ноги ей ломает».
Слепень с соломиной бурчит и им пеняет:
«Никто, — кричит, — из вас о деле сем не знает,
Я точно ведаю сей женщины беду:
Она, как я, умчит соломину в заду»...[29]

В народной сказке нет, конечно, ни амуров, ни зефиров: любовная сцена там изображена вполне натуралистично.[30]

откручивает вороне ногу, втыкает слепню в зад соломинку; деревенская девка приносит ему завтрак, и он начинает с нею забавляться; волк: „он делает узоры на ее боках"; ворона: „он откручивает ей ногу"; слепень: „он втыкает ей соломинку в зад"»)» (*Костюхин Е. А.* Указ. соч. С. 92).

[27] Русские народные сказки А. Н. Афанасьева. Т. 1. С. 72.

[28] Там же. С. 475.

[29] *Майков Василий.* Избр. произведения. М.; Л., 1966. С. 181—182.

[30] «*...и не знает, что ему делать.*

Да потом надумался (мужик), схватил в охапку свою жену и повалил ее на полосу; она кричит, а мужик говорит:

— Молчи!

Да все свое: задрал ей сарафан и рубаху и поднял ноги кверху как можно выше. Медведь увидал, что мужик дерет какую-то бабу, и говорит:

— Нет, лиса! Вы с слепнем как хотите, а я ни за что не пойду к мужику!

Нас не должно удивлять присоединение к основному (так и не развитому) сюжету дополнительных мотивов (убийство медведихи, плач медведя, сход зверей). «Эта соединяемость, — отмечает В. Я. Пропп, — внутренний признак животного эпоса, не присущий другим жанрам. Отсюда возможность романов или эпопей, которые, как мы видели, так широко создавались в западноевропейском средневековье».[31] Тем более что в нашем случае с самого начала выведены в качестве главных персонажей мужик и звери, что предполагает обогащение животного эпоса новеллистическими (анекдотическими) чертами. От анекдота в сюжете А-152 намечен эротический мотив, от животного эпоса — мотив неожиданного испуга зверей.

Однако зачин (описание гибели медведихи) задуманной Пушкиным сказки оказался по тону явно не соответствующим балагурной модели сюжета. Вообще-то «смерть в сказке о животных вовсе не вызывает скорби и печали. ⟨...⟩ Классические сказки о животных демонстрируют то единство страшного и веселого, жизни и смерти, которое так хорошо знакомо по народным обрядам с их веселыми похоронами: смех тут нераздельно слит со смертью».[32] Так в процессе дополнительной разработки начального эпизода в сказке Пушкина появляется отсылка к скоморошине «Дурень». Но наряду с этим более подробно были описаны и «медвежатушки», а весь зачин сказки окрасился в лирические тона,[33] что вступало в некоторое противоречие с намеченной общей комической фабулой. Может быть, потому работа над произведением и была оборвана в самом начале. Вместо этого Пушкин в Болдине обратился к сказочному сюжету о Балде, также озорному, но не несущему эротического, «соромного» содержания.[34]

* * *

Первым наброском замысла, развившегося позже в «Сказку о золотом петушке», стал неоконченный фрагмент «Царь увидел пред собою...», кото-

— Отчего?

— Да оттого — посмотри-тко, вишь он опять кого-то пежит!

Вот лиса смотрела-смотрела и говорит:

— И точно, твоя правда, в самом деле он кому-то ноги ломает!

А слепень глядел-глядел и себе тож говорит:

— Совсем не то — он кому-то соломину в жопу пихает!

Всякой, знать, свою беду поминает; ну, адначе, слепень лучше всех отгадал. Медведь с лисой ударились в лес, а мужик остался цел и невредим» (Народные русские сказки не для печати, заветные пословицы и поговорки, собранные и обработанные А. Н. Афанасьевым. М., 1997. С. 28).

[31] *Пропп В. Я.* Указ. соч. С. 311.

[32] *Костюхин Е. А.* Указ. соч. С. 86.

[33] Характерно, что пушкинская «Сказка о медведихе» «вызвала к жизни один из шедевров И. И. Шишкина — „Утро в сосновом лесу" (1889, медведи нарисованы К. А. Савицким)» (*Зуева Т. В.* Указ. соч. С. 48).

[34] Отметим также некоторые переклички со сказкой о мужике и зверях в болдинской «Истории села Горюхина»: «Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на своей пашне), храбры, воинственны: многие из них ходят одни на медведя...» (VIII, 135); «Жены оплакивали мужьев, воя и приговаривая: „свет — моя удалая голова! на кого ты меня покинул? чем-то мне тебя поминати". При возвращении с кладбища начиналась тризна в честь покойника...» (VIII, 136); «Поэзия некогда процветала в древнем Горюхине. Доныне стихотворения Антона Лысого сохранились в памяти потомства. В нежности не уступят они эклогам известного Вергилия, в красоте воображения далеко превосходят они идиллии г-на Сумарокова. И хотя в щеголеватости слога и уступают новейшим произведениям наших муз, но равняются с ними затейливостью и остроумием» (VIII, 136—137). Есть в горюхинской истории и намек на эротическое развитие сюжета сказки о зверях: «NB. Сие болото и называется *Бесовским*. Рассказывают, будто одна полуумная пастушка стерегла стадо свиней недалече от сего уединенного места. Она сделалась беременною и никак не могла удовлетворительно объяснить сего случая» (VIII, 134—135).

рый записывался в рабочей тетради ПД 845.[35] Позже черновая работа над сказкой велась в тетради ПД 846. Это свидетельствует, что замысел сказки вызрел у Пушкина не сразу, волновал его довольно долго.[36]

Беловой автограф «Сказки о золотом петушке» (ПД 972) подытожен пометой: «Болдино / 20 с⟨е⟩нт⟨ября⟩ / 1834 / 10 ч.⟨асов⟩ 53 м.⟨инуты⟩». Нельзя не почувствовать — в точной (вплоть до минут!) фиксации окончания работы — особого авторского удовлетворения сделанным.[37] Сказка осталась единственным творческим свершением последней болдинской осени поэта.

Аналогичный сюжет был обнаружен А. А. Ахматовой в книге американского романтика В. Ирвинга «Альгамбра», где, в частности, изложена «Легенда об арабском звездочете». Воспользуемся ахматовским кратким изложением этой легенды:

«На старого мавританского короля Абен-Габуза, „отставного завоевателя", нападают враги.

Арабский звездочет, глубокий старик Ибрагим, наперсник короля, рассказывает ему о талисмане, предупреждающем о нападении врагов (петух и баран из меди), и сооружает другой талисман с тем же назначением (медного всадника).

Враги Абен-Габуза уничтожены.

Талисман снова начинает действовать.

Разведчики находят в горах готскую невесту.

Король влюбляется в принцессу и, исполняя ее прихоти, разоряет Гренаду. Вспыхивает революция.

Звездочет требует девицу в награду за все оказанные королю услуги.

Король, давший слово наградить звездочета, отказывается.

Происходит ссора короля с звездочетом.

Звездочет и принцесса проваливаются в подземное жилище звездочета, где пребывают и доныне. ⟨...⟩

Талисман перестает действовать. С течением веков он превращается в простой флюгер.

Враги снова нападают на „отставного завоевателя" Абен-Габуза».[38]

Выявленные к тому же А. А. Ахматовой детально совпадающие текстовые переклички отдельных фрагментов (в том числе и первоначального наброска «Царь увидел пред собою...») из «Легенды об арабском звездочете» и «Сказки о золотом петушке» не оставляют никаких сомнений насчет литературного источника последней.

---

[35] Ныне листок с черновым наброском, вырванный из тетради, хранится под архивным номером ПД 956. О текстологии этого сложного чернового текста см.: *Рак В. Д.* Как текстологи создавали и разрушали пушкинский шедевр (о тексте чернового наброска «Царь увидел пред собою...») // Рак В. Д. Пушкин, Достоевский и другие (Вопросы текстологии, материалы к комментариям). СПб., 2003. С. 343—377.

[36] Набросок «Царь увидел пред собою...» в альбоме ПД 845 находится среди черновиков поэмы «Езерский» и относится к сентябрю-октябрю 1833 года.

[37] Автограф ПД 972 открывается титульным листом. Это тоже, хотя и не единственный в пушкинской практике, но все же особый случай, оттеняющий ощущаемую автором значимость своего создания. Здесь, наряду с заглавием, изображены головы Дадона и скопца, щит с копьем и кольчуга со шлемом, крепость со сторожевой вышкой и корабль на воде, а в центре — петушок на спице. Академик М. П. Алексеев, сравнивая эту графическую композицию с графикой в черновом автографе «Сказки о медведихе», заметил, что «рисунки петуха здесь и на проекте титульного листа „Сказки о золотом петушке" очень похожи и сделаны в сходной графической манере» (*Алексеев М. П.* Пушкин и повесть Ф. М. Клингера «История о золотом петухе» // Алексеев М. П. Пушкин и мировая литература. Л., 1987. С. 538). Это наблюдение нам кажется небесполезным в раскрытии авторского замысла последней сказки Пушкина.

[38] *Ахматова А. А.* Последняя сказка Пушкина // Ахматова Анна. О Пушкине. Л., 1977. С. 14.

Позже было выяснено, что легенда, изложенная В. Ирвингом, восходит к архаическим магическим обрядам стерегущего талисмана, а также колдовского поражения врагов, изображенных в виде куколок и графических подобий, что запечатлено еще в древних наскальных рисунках.[39]

Продолжая традиции «народных книг», поэт существенно преобразует сюжет, почерпнутый у В. Ирвинга, по-своему толкуя всех главных героев.

Царь у Пушкина получает значимое имя Дадона.

Колдун характеризуется скопцом.

Вместо «готской девы» в сюжет вводится загадочная шамаханская царица.

Магический помощник, даруемый царю, — не медный всадник, а золотой петушок (очевидно, живой, так как его вынимают «из мешка»),[40] который не просто поворачивается в сторону грозящей опасности, но к тому же еще и кукарекает.

Кроме того, вводятся эпизоды о походах против неведомой опасности, которая отстоит от царства Дадона на восемь суток. Два первых похода возглавляют сыновья Дадона, в третий поход отправляется сам Дадон. Он видит побитые рати и своих сыновей, которые «Без шеломов и без лат Оба мертвые лежат, Меч вонзивши друг во друга» (III, 560).

Впрочем, царь мигом забывает о них при появлении шамаханской царицы. Приглашенный ею в «шелковый шатер», он пирует и отдыхает в течение недели перед отправкой с девицей в обратный путь.

По возвращении домой царь не просто спорит с мудрецом, но в гневе убивает его.

Петушок в отместку губит Дадона.

Царица пропадает неведомо куда.

Суть модификации заимствованного сюжета А. А. Ахматова видит в памфлетном характере пушкинского произведения: «Бутафория народной сказки служит здесь для маскировки политического смысла» (с. 25); «Ссора звездочета с царем имеет автобиографические черты» (с. 26); «Тема „Сказки о золотом петушке" — неисполнение царского слова» (с. 27).

По В. С. Непомнящему, такое «определение темы крайне узко», а концепция А. А. Ахматовой, с его точки зрения, «несколько жестка, но в рабочем порядке она была не только приемлема, но и перспективна, давая толчок для дальнейших исследований».[41] Толкуя пять сказок (неоконченной «Сказки о медведихе» он не касается) в качестве авторского цикла, исследователь констатирует: «В результате в процессе взаимодействия уже развитого пушкинского метода с одной из древних и прочно опирающихся на канон форм народного творчества родился цикл пушкинских сказок, завершаю-

---

[39] Впервые эту связь в 1943 году обнаружил К. Д. Державин. См. изложение его доклада «Вергилий и Пермская сказка» (напечатанного мизерным тиражом и прошедшего в пушкиноведении незамеченным) в работе М. П. Алексеева «Пушкин и повесть Ф. М. Клингера „История о золотом петухе"» (С. 504—509). См. также: *Бойко К. А.* 1) Об арабском источнике мотива о золотом петушке в сказке Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1976. Л., 1979; 2) Древнеегипетские истоки одного из мотивов «Сказки о золотом петушке» // Временник Пушкинской комиссии. 1979. Л., 1982. Отражение в литературе темы *«Стрельба по портрету / восковой фигуре* — мотив колдовства с целью вызвать смерть изображенного на портрете» зафиксировано в экспериментальном издании: Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы / Под ред. Е. К. Ромадановской. Новосибирск, 2003. С. 126. Пушкинский набросок «Царь увидел пред собою....» в этом указателе не учтен.

[40] «Принято считать, — замечает А. А. Ахматова (с. 18—19), — что в пушкинской сказке петух — „живой". Однако стих „вдруг раздался легкий звон" как будто противоречит этому». Вероятно, звон (легкий!) все же исходил не от петуха, а от спицы, на которой он сидел. На титульном рисунке Пушкина, о чем шла речь выше, петух изображен вполне живым.

[41] *Непомнящий В.* Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. М., 1987. С. 219.

щийся „Золотым петушком" — одним из самых выразительных, сжатых, способных развернуться в универсальность вариантов того *образа мира*, который занимает центральное место в пушкинском творчестве. Это образ *космоса* (в древнем значении этого слова) *в его соотнесенности с человеком как духовным и нравственным существом* — космоса, глубоко в себя принимающего действия человека и отвечающего на них так, как они заслуживают, космоса, который служит человеку как существу „сверхъестественному", духовному — и не служит ему, и извергает его из себя в область хаоса и смерти, когда он опускается до уровня животного „естества"».[42]

Рассуждение это нам кажется даже не столь неверным, как слишком глубокомысленным, что едва ли адекватно жанру сказки, предполагающей некие простые, очевидные истины («добрым молодцам урок»). Едва ли корректна трактовка пушкинской сказки преимущественно в трагическом ключе.[43]

Следует иметь в виду, что изложенная В. Ирвингом история — вовсе не сказка, а сказание (предание):[44] оно введено в роман с целью объяснить происхождение флюгера на мавританском дворце. Пушкин же самим зачином подчеркивает типично сказочную перспективу повествования: «Негде в тридевятом царстве, В тридесятом государстве Жил был славный царь Дадон...» (III, 557). Однако все топосы волшебной сказки здесь имеют комическую огласовку, а финал интригующе неожидан. И дело здесь отнюдь не в неисполнении царского слова. С самого начала было бы напрасно ожидать проявления благородных чувств от персонажа, которому дано характеристическое имя: в популярной народной книге Дадон — коварный убийца отца Бовы, в конце концов героем отомщенного. В сказке же Пушкина наказание Дадону воздается отнюдь не героически (скорее, фарсово — ср. концовку «Сказки о Балде»), а главное — вовсе не за нарушение царского слова, а в отместку за гибель колдуна, который, в свою очередь, никаких симпатий в общем-то не вызывает. Защитный дар звездочета Дадону (а сто́ит ли он какого-либо дара?) оказывается не столь уж и действенным: против чар шамаханской царицы не срабатывает, хотя защита обещана была не только от набегов, но и от всякой «другой беды незваной». И золотой петушок, оказывается, стоял на страже не столько Дадона, но прежде всего — своего хозяина и также оплошал: не успел его спасти.

А шамаханская царица — кто она?

В черновой рукописи ее некая таинственная связь с колдуном была отчетливо подчеркнута: звездочет там не единожды прямо назван *шамаханским* мудрецом. Это определение снято в окончательном тексте, однако «сарачинская[45] шапка белая» (чалма) ему недаром оставлена. И еще одна деталь в его облике соотносится с шамаханской царицей: «весь, как лебедь, поседелый» (III, 561). Не стоит в этом сравнении, как нередко принято, искать сочувственного отношения автора к «звездочету и скопцу». Тут также нужно увидеть, так сказать, шамаханскую коннотацию (намек на цвет шелка) — ср. пушкинский набросок песни о Хасанагинице:

Что белеется на горе зеленой?
Снег ли то, али лебеди белые?

---

[42] Там же. С. 259—260.

[43] Ср. там же: «...сказка работает на высоких бытийственных уровнях» (С. 241); «...ему ⟨Пушкину⟩ необходимо было воплотить идею возмездия, никак не умещавшуюся в его русские сказки. И тогда пришел на помощь ему воинственный дух Корана» (С. 243); «Подняв бич сатиры, автор замахивается и на себя...» (С. 245) и т. п.

[44] «Сказания — это рассказы, относящиеся к историческим местам или историческим личностям и событиям» (*Пропп В. Я.* Указ. соч. С. 52).

[45] *Сарачинская шапка* — от *сарачина (сарацына)* — народно-поэтического наименования иноземца-мусульманина.

Был бы снег — он уже бы растаял,
Были б лебеди — они б улетели.
То не снег и не лебеди белы,
А шатер Ага Асан-аги...
(III, 377)

Зачем же скопцу понадобилась красавица-девица? Не потому ли, что она превзошла в могуществе хитроумного колдуна?.. Намек именно на такую мотивировку Пушкин мог почерпнуть из ирвинговского текста, где колдун стращает царя: «Берегись, о царь, — прошептал Ибрагим ибн Абу Аюб, — это, может статься, одна из тех северных чаровниц, о которых я слышал и которые принимают самый пленительный облик на горе неосмотрительным. Глаза у нее колдовские, и я чую чародейство в каждом ее движении. Она и есть тот неприятель, на которого указал талисман».[46] В «Альгамбре» это рассуждение — не что иное, как очередная хитрость сластолюбца, преследующего свои низменные цели. Но Пушкин не зря сделал колдуна скопцом, и потому такую мотивировку мог подразумевать всерьез: понятно желание колдуна прибрать к рукам всесильную чаровницу, подчинить ее своей власти.

Добавим к тому же, что в сказке Пушкина таится подспудное литературно-полемическое начало. Оно могло быть неведомо читателю, но для самого автора было немаловажным и в процессе работы над сказкой в какой-то мере формировало ее сюжет.

Замечено, что образ шамаханской царицы стал известен Пушкину из поэмы П. А. Катенина «Княжна Милуша».[47]

Сказку эту, сюжетно напоминавшую и отчасти пародировавшую[48] «Руслана и Людмилу», Пушкин получил от автора в марте 1834 года. Там описывались злоключения князя Всеслава Голицы, волшебницей Проведой разлученного с невестой для испытания его верности, которую обрученный жених то и дело готов нарушить. Пушкин просто не мог не заметить в «Княжне Милуше» сопернического зуда ее автора. Это проявилось не только в общей сюжетной схеме катенинской сказки, но и в «октавах» (по схеме АбАбВВгг), в противовес недавно напечатанной в альманахе «Новоселье» пушкинской поэме «Домик в Коломне». Полемические наскоки на Пушкина прорывалось то и дело и в лирических отступлениях поэмы Катенина.[49]

Одной из искусительниц героя и стала у Катенина дева-воительница, шамаханская царица Зюльфира (ее облик приняла волшебница Проведа).

А после романа с ней, едва не завершившегося изменой Голицы невесте, описывалась его встреча с «красными девицами» и воспроизводилась их песня о петухе (петеле), победившем всех других певунов. Потом у героя, наедине со смуглолицей Чернавой, происходит такая беседа:

...«Чернава!» — «Ась!» — «Скажи-ко
Мне, курочка, но правду, а не лесть:
Есть у тебя певун любимый?» — «Есть».

---

[46] *Ирвинг Вашингтон.* Альгамбра. М., 1979. С. 153.

[47] См.: *Белкин Д. И.* К истолкованию образа шамаханской царицы // Временник Пушкинской комиссии. 1976. Л., 1979.

[48] «„Руслан и Людмила", — считал П. А. Катенин, — юношеский опыт без плана, без характеров, без интереса; русская старина обещана, но не представлена. 〈...〉 Наина-колдунья представлена с подробностью слишком отвратной...» (Пушкин в воспоминаниях современников. СПб., 1988. Т. 1. С. 187—188).

[49] В ответ на настойчивые просьбы автора Пушкин написал ему, что считает «Княжну Милушу» лучшим его творением. Едва ли такой комплимент не был двусмысленным.

— «Я так и ждал; и он в Тмутаракани?»
— «Зачем бы в даль такую занесло?
Он в тех сенях между пруда и бани.
Чай, спит, уткнув головку под крыло».
— «Он, в перьях?» — «Да! диковенные спросы!
Неужто гол? как шелк на шее косы,
Всё бисером накраплено перо,
До гребня хвост и бел, как серебро».

Ответ не хитр, а по сердцу Голице
Пришелся тем, что впросте без греха.
«Вопрос мой был, — сказал он, — не о птице;
Хотелось знать мне: нет ли жениха,
Любовника, ну, парня молодого?..»[50]

Всеслав уже готов отдать Чернаве свое обручальное кольцо, но оказывается, девицей прикинулась опять Проведа, которая обращает князя за его неверность в вепря.[51] Весь же этот эпизод, в сущности, пародийно развивал озорное пушкинское описание страданий Руслана:

Моей причудливой мечты
Наперсник иногда нескромный
Я рассказал, как ночью темной
Людмилы нежной красоты
От воспаленного Руслана
Сокрылись вдруг среди тумана. ⟨...⟩
С порога хижины моей
Так видел я, средь летних дней,
Когда за курицей трусливой
Султан курятника спесивый,
Петух мой по двору бежал
И сладострастными крылами
Уже подругу обнимал;
Над ними хитрыми кругами
Цыплят селенья старый вор,
Прияв губительные меры,
Носился, плавал коршун серый
И пал как молния на двор...
(IV, 27)

Подчеркнем еще раз, что «Княжну Милушу» Пушкин прочел во время вызревания замысла своей сказки о золотом петушке...

Это отчасти проясняет появление в пушкинской сказке наряду с шамаханской царицей и золотого петушка.

Понятно, почему чудесного помощника, в отличие от В. Ирвинга, Пушкин вывел не в образе медного всадника: годом ранее он уже написал поэму с таким названием (между прочим, черновики ее в рабочей тетради ПД 846 соседствуют с набросками последней пушкинской сказки). Своего «медного

---

[50] *Катенин П. А.* Избр. произведения. М.; Л., 1965. С. 313.

[51] Возможно, ироническим откликом на «Княжну Милушу» стала сказка Н. М. Языкова «Сказка о пастухе и диком вепре», в которой был использован не только лубочный сюжет, но и пушкинский стихотворный «Ответ Катенину», намекающий на пристрастие к Бахусу автора «Старой были».

всадника» ирвинговский колдун создал по подобию древнеегипетского защитника (барана, оседланного петухом), поворачивавшегося в сторону грозящей опасности. Русифицируя почерпнутый у американского писателя сюжет, поэт мог вспомнить, что в русских сказках петушиный крик разгоняет нечистую силу (так себя ведет и золотой петушок: «Чуть опасность где видна, Верный сторож, как со сна, Шевельнется, встрепенется...» — III, 558). Но может быть, одновременно с этим проявилось здесь традиционное пушкинское озорство, спровоцированное катенинскими подковырками. Нельзя не заметить, что образ шамаханской царицы окрашивает сюжет пушкинской сказки в эротические тона. Возможно, поэтому и в золотом петушке автором ощущалась также эротическая коннотация. По сходной ассоциации, поэт мог вспомнить известную ему (как доказано в исследовании М. П. Алексеева) «Историю о золотом петухе» Ф. М. Клингера, где заколдованный принц рогоносцев[52] также служил защитой сказочной Черкессии.

Из всех же накопленных к настоящему времени трактовок пушкинской сказки, наиболее отвечающих авторскому замыслу, нам представляется толкование, подробно развитое в статье В. Э. Вацуро и кратко изложенное в комментарии С. М. Бонди: «Шутливая форма рассказа, иронический тон в описании царя Дадона и его действий, крайняя лаконичность повествования, отсутствие авторских разъяснений — все это часто приводило критиков к неправильному пониманию смысла сказки о золотом петушке: в ней искали политической темы, намеков на личные отношения Пушкина к Николаю и т. д. На самом деле Пушкин написал шутливую сказку об опасности, гибельности женских чар».[53]

Как известно, тема эта долго волновала Пушкина, получив воплощение в образе Клеопатры. Поэтому, вероятно, и привлекла его внимание «Легенда об арабском звездочете», роковой героиней которой стала прекрасная готская дева. В «Сказке о золотом петушке» женщина-вамп лишена романтических красок. Она наделена таинственными чарами красавицы, чьи чары сильнее воинской силы и колдовской магии.

Пушкин насыщает свой сюжет традиционными сказочными мотивами, которые, однако, истолковываются по-своему и складываются в непривычную систему, что в силу кажущейся нелепости во многом и определяет комический стиль повествования.[54] Так, и шелковый шатер, вознесшийся в глухом ущелье на границе Дадонова царства, — своеобразный аналог избушки на курьих ножках из народной сказки (в поэме Катенина о такой избушке также идет речь).[55] В народной сказке волшебная избушка — погра-

---

[52] В повести Клингера «...он пел в привычное время как обычный петух. Лишь один недостаток уродовал миловидную птичку. ⟨...⟩ Противное перо мышиного цвета спускалось с гребешка на самый клюв, подобно бараньему рогу; оно было огромного размера; с трудом можно было разглядеть петуха» (цит. по: *Алексеев М. П.* Указ. соч. С. 526).

[53] *Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1960. Т. 3. С. 529—530.

[54] См. об этом: *Вацуро В. Э.* «Сказка о золотом петушке» (опыт анализа сюжетной семантики) // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1955. Т. 15. С. 122—133.

[55] А. А. Ахматова заметила (Указ. соч. С. 24—25), что «Сцена встречи Дадона с шамаханской царицей (и в шатер свой увела) заставляет вспомнить о „Сказке о Еруслане Лазаревиче", причем в черновике сходство более явственное: „Что же меж высоких гор / *Белый шелковый* шатер (шелк Шемахи) / В том шатре сидит девица / Шамаханская царица"». «Бел шатер» Еруслан посещает по пути на битву с богатырем Ивашкой Белой Поляницей, который сторожит границы Индийского царства. Среди многих других приключений Еруслана описывается также его встреча со стаей «птиц-хохотуний», которые прикидываются красными девицами. Одна из них, не успевшая вновь принять птичий вид, переносит богатыря в царство Зеленого царя. Не отсюда ли Пушкин заимствовал штрих к характеристике шамаханской царицы, которая в ответ на убийство скопца хохочет: «Хи-хи-хи да ха-ха-ха! Не боится, знать, греха» (III, 562).

ничный пост «иного царства», и баба яга помогает герою туда попасть, чтобы найти похищенную невесту (жену). В этом значении, вероятно, в сказке Пушкина трижды повторяется одна и та же деталь: путь до золотого шатра (запредельного царства) длится *восемь* дней, в отличие от «нормальной», освященной Библией единицы времени — недели (она привычна, в частности, и для Дадона, который пирует у шамаханской царицы «неделю ровно»). В пушкинской сказке в шатре обитает таинственная красавица, с которой царь благополучно возвращается в столицу... Лишь затем, чтобы погибнуть там (ну не нелепость ли!) от чудесного помощника.

Фантасмагорию всех происшествий, описанных в «Сказке о золотом петушке», можно объяснить тем, что все это — некий фантом, порождение страшного сна Дадона. Пристрастие старого царя ко сну неоднократно подчеркнуто в начале повествования, а вся цепь невероятных событий подытожена фразой: «И царица вдруг пропала, / Будто вовсе не бывало».

Такой сюжетный мотив пророческого сна неоднократно использовался Пушкиным. Достаточно вспомнить его поэму «Монах» (сладострастные сны героя), драму «Борис Годунов» (сон Григория в сцене «Чудов монастырь»), роман «Евгений Онегин» (сон Татьяны), повесть «Капитанская дочка» (сон Гринева). В пушкинской сказке это осталось внятно не проясненным, как и в окончательной редакции гоголевской повести «Нос», над которой писатель начал работать в 1833 году. Впрочем, и в «Пиковой даме» до конца неясно, где проходит граница между сном и явью.

Еще в лицейском стихотворении «Сон» была нарисована ситуация, сходная с событиями «Сказки о золотом петушке»:

...О сладкий сон, ничем не возмущенный!
Один петух, зарею пробужденный,
Свой резкий крик подымет, может быть ⟨...⟩
Я трепетал — и тихо наконец
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали,
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней.
И в вымыслах носился юный ум...[56]

Как бы то ни было, выявляя в «Сказке о золотом петушке» традиционные мотивы народной волшебной сказки, мы убеждаемся, что все они истолкованы с обратным знаком, в опрокинутом виде. В сущности, Пушкин создает антисказку, в которой нет ни одного положительного персонажа (даже чудесный помощник становится губителем Дадона). Если в фольклоре зло побеждается добром, то в произведении Пушкина зло уничтожается злом же, так сказать, аннигилируется: в конечном счете пропадает, «будто вовсе не бывало».

Такое «простодушие», в общем-то, не противоречит морали народной волшебной сказки. Сказке (и сказочной повести) неведома категория поступательного исторического времени. Ее сюжет развивается в пределах вечности.

---

[56] *Пушкин А. С.* Лицейские стихотворения. СПб., 1999. С. 194, 197.

© *В. А. КОТЕЛЬНИКОВ*

ВОИНСТВУЮЩИЙ ИДЕАЛИСТ АКИМ ВОЛЫНСКИЙ

Именно в области философии культуры русская мысль развивалась наиболее самостоятельно и плодотворно. Уже экскурсы И. В. Киреевского и А. С. Хомякова в эту область обнаружили наш глубокий интерес к культурфилософской проблематике; архимандрит Феодор (Бухарев) прямо поставил вопрос о религиозном смысле культуры. Удерживая этот вопрос как главный, свои версии философии культуры создавали В. И. Иванов, В. В. Розанов, Д. С. Мережковский, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, П. А. Флоренский, А. Белый, С. Л. Франк, И. А. Ильин, Г. П. Федотов, Л. Шестов, Н. А. Бердяев, М. М. Бахтин, А. Ф. Лосев. На путях своеобразного «естественнонаучного историзма» и русского космизма складывались концепции Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева, Н. Ф. Федорова.

Как ни варьируется у исследователей этот ряд теоретиков и практиков культуры, в нем обычно отсутствует имя Акима Волынского.

Оно присутствует — и по праву — в других рядах. Так, среди литературных критиков конца XIX—начала XX века А. Волынский рассматривается литературоведами как фигура значительнейшая.[1] В теории театра и балета, в театральной и балетной критике первой четверти XX века ему отводят одно из главных мест — и нынешний читатель не усомнится в справедливости такой оценки, обратившись к переизданным работам Волынского и суждениям исследователей.[2] Числится он и в ряду искусствоведов, но тут ему

---

[1] В отношении современников к деятельности Волынского-критика преобладала полемичность, кажущаяся сегодня чрезмерно и неоправданно резкой; голоса немногих его благожелателей и поклонников (Н. Н. Кульженко, Е. М. Браудо, Н. Г. Молоствова) терялись в хоре голосов возражающих и негодующих. С. А. Венгеров, отразив современные отзывы в достаточно полном по тому времени библиографическом своде и дав общую характеристику деятельности Волынского, не избежал, однако, распространенных тогда суровых упреков (Русская литература XX века (1890—1910). М., 1915. С. 121—134; 164—166). Позднее работы Волынского не переиздавались вплоть до 1990-х годов, хотя и цитировались исследователями, стремившимися по возможности объективно оценить его роль в литературном процессе. См., например: *Максимов Д.* «Северный вестник» и символисты // Евгеньев-Максимов В. Е., Максимов Д. Из прошлого русской журналистики. Л., 1930; *Куприяновский П. В.* 1) Из истории раннего русского символизма // Русская литература XX века. Дооктябрьский период. Калуга, 1968; 2) История журнала «Северный вестник» // Учен. зап. Ивановского пед. ин-та. 1970. Т. 59; 3) Волынский-критик // Творчество писателя и литературный процесс. Иваново, 1978; *Иванова Е. В.* «Северный вестник» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX—начала XX века. М., 1982; *Созина Е. К.* А. Волынский в русском литературном процессе 1890-х годов // Русская литература 1870—1890-х годов. Свердловск, 1983. Вып. 16; *Иванова Е. В.* Волынский // Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. М., 1989. Т. 1; *Якубович И. Д.* Достоевский в религиозно-философских и эстетических воззрениях А. Волынского // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 2000. Т. 15. В 1990-е годы благодаря усилиям А. Л. Евстигнеевой, Н. К. Пушкаревой, Н. Т. Ашимбаевой, Л. А. Сугай, Н. Ф. Будановой и др. стали появляться публикации статей Волынского, материалов, относящихся к его биографии и деятельности.

[2] В 1992 году В. Гаевский подготовил переиздание знаменитой некогда «Книги ликований» («Азбука классического танца»); в 2002 году вышел подготовленный Г. Н. Добровольской сборник статей Волынского о балете. Оба издания сопровождаются вступительными статьями и справочным аппаратом. Появилась статья Е. Д. Толстой «Аким Волынский и еврейский театр» (plexus.org.il/texts/tolstayae_akim.htm; вошла в ее книгу «Мирпослеконца»); в книге Владислава Иванова «Русские сезоны театра Габима» (М., 1999) Волынский, разумеется, один из важнейших персонажей.

повезло гораздо меньше. Специалисты, конечно, помнят, что Волынский серьезно занимался иконописью, был знатоком европейской живописи, особенно эпохи Ренессанса, и создал фундаментальный труд о Леонардо да Винчи, снискавший ему славу на Западе; некоторым даже известна хранящаяся в архиве и до сих пор не изданная рукопись его большой книги о Рембрандте. Однако это наследие Волынского остается вне научного оборота.[3]

Не столько предана забвению, сколько никогда и не выяснялась в полной мере главная и сквозная линия его деятельности, выходящая далеко за всякие цеховые границы и выводящая за собой весь культурный материал, над которым он работал. Мы имеем в виду его героическую «*борьбу за идеализм*» (так назвал он свою книгу статей и очерков в 1900 году). Воинствующий идеалист не только подверг радикальной ревизии целые исторические пласты литературы, искусства, общественной мысли, а также современные их течения, но и провозгласил необходимость универсалистского синтеза в культуре, о чем теперь мы узнаем от одной Е. Д. Толстой.[4]

Разумеется, весь Серебряный век жил предчувствием великих синтезов, и многие символисты — В. И. Иванов, Д. С. Мережковский, А. Белый — дали метафизическое и поэтическое выражение таким предчувствиям. Но едва ли не один Волынский тогда аналитически отчетливо показал и возможности, и препятствия для движения к такому синтезу. Его главной по объему и эффекту деятельностью стала *философская критика культуры*, по своей идейной последовательности и оценочной беспощадности у нас небывалая, сказали бы мы, если бы предшественником Волынского в такой критике (хотя и с других позиций) не был К. Н. Леонтьев.

Критико-идеалистическое освещение культурного материала доведено у Волынского до крайней яркости; и хотя оно подчас односторонне, но именно благодаря этому идейный рельеф культуры выступает у него, как ни у кого другого, отчетливо, местами резко. О своих намерениях он откровенно заявил на первых же порах: «Я хотел не рассказывать, а судить».[5] И до конца оставался верховным *судьей*, верившим в абсолютность избранной им меры, каравшим отступников, награждавшим верных.

* * *

П. Н. Медведев, составивший вскоре после смерти Волынского посвященный его памяти сборник, набросал по живым впечатлениям выразительный портрет: «Малого роста, очень худой, как бы высохший, тонкая кость, прозрачная, желтоватая, будто старый пергамент, кожа — изощренная нервная ткань. Высоко и гордо несет свой резко вычерченный, израильтянский профиль. Лицо — испепеленное, очень подвижное, по-своему прекрасное. Высокий, узкий лоб. Серо-голубые, сосредоточенно-острые глаза. Чувственные, хотя и бескровные губы. Нервная, чуткая рука. Горькая и едкая улыбка. Горькими линиями исчерчено все лицо — у глаз на щеках, у рта. Резкий, сухой голос. Приподнятые одические интонации. ⟨...⟩ Единственный черный, длинный, наглухо застегнутый сюртук больше походил на монашескую рясу. Не было бы странно, если бы он подпоясался грубой верев-

---

[3] Вышедшая в 1997 году «Жизнь Леонардо да Винчи» воспроизводит (не всегда исправно) текст книги Волынского без всякого сопровождения.

[4] Кроме упомянутой выше, назову еще собранные в той же ее книге статьи «Аким Волынский: сто лет спустя», «Сион и Голгофа: Аким Волынский в русско-еврейской журналистике», «Аким Волынский в литературных зеркалах», а также главу пятую «„Вдохновенный дидакт" и „симпатичный талант"» в ее книге «Поэтика раздражения» (М., 2002).

[5] *Волынский А.* Русские критики. СПб., 1896. С. I (далее сокращенно: Русские критики).

кой. Кто он — смиренный доминиканец, прозелит Савонаролы или верный слуга святейшей инквизиции? — Скорее — последнее. ⟨...⟩А в целом — какая крупная, колоритная и своеобразная фигура. Не литератор, а творец. Не философ, а мыслитель. И во всем и всегда — аскет, фанатик и герой».[6]

Сам Волынский, разумеется, не отверг бы уподобление его инквизитору — каким тот виделся ему у Достоевского: «на страшной умственной высоте», с «идеальными настроениями», с тайным богофильством в сердце и суровым приговором несовершенству земной жизни и слабостям человеческим.[7]

Верно замечено К. А. Фединым, что живи Волынский «тремя, пятью веками раньше нашего времени, он оставил бы после себя громадное идейное движение, десятки учеников, тысячи последователей. Он мог бы быть основателем какой-нибудь секты, мог бы оказаться причисленным к лику святых, какой-нибудь вселенский собор мог бы предать его анафеме». У Волынского действительно «нет биографии, у него — *житие*».[8]

Настоящее имя его Хаим Лейбович Флексер. Он родился 21 апреля 1861 (по другим данным 1863 или 1865) года в Житомире в семье книгопродавца. Две наследственные стихии сосуществовали в нем, определяя свойства его личности. «Нежность моя вся от матери, — вспоминал он в 1926 году. — Женщина эта молчала целыми днями, была тиха, скромна и уступчива. Жизнь она провела страдальческую, в постоянных раздорах с моим отцом. На меня она смотрела молитвенными глазами, постоянно о чем-то беспокоясь. ⟨...⟩ Отец мой воплощал во всем иные душевные качества. Это был по характеру своему большой вояжер, непоседа, вечно менявший место, кров и дом. Он торговал сначала книгами, потом мебелью, чем угодно. Но купец он был — я полагаю — плохой. Книга засела в его душе. Читал же он на всех языках и в беседах с людьми разворачивал феноменальную образованность. При этом ораторский талант, весь в огнях интеллектуального темперамента, подавлял окружающих. ⟨...⟩ В голове отца моего жил миллиард аллегорий. Все чему-то уподоблялось, и сложнейшие рассуждения протекали в цепи метафор».[9]

Идеализм Волынского вырос из ранних сердечных влечений. «Через обожание собственной матери подходишь к иным, безличным обожаниям»,[10] — писал он в 1901 году, посвящая матери свои статьи о Достоевском, в которых впервые оформилось ею пробужденное «чистое, нежное богофильство», хотя позже и подвергшееся трансформациям, но не утраченное им вполне. Именно потому, что у Волынского «страсть к идеям» зародилась и развивалась в лоне материнского культа, она стала господствующей и исключительной и никакая любовь к женщине, даже к Иде Рубинштейн, не могла с ней соперничать. Это была действительно *страсть* — умственная и чувственная одновременно. И, как то часто было свойственно русскому платонизму, ἔρως τῆς ἰδέας у Волынского получил интимно-душевную окраску. При этом телесно-пластические линии его также восходили к облику матери: «Поступь ровная, спина до глубокой старости прямая, голова устойчи-

---

[6] Памяти Акима Львовича Волынского. Сборник под редакцией П. Н. Медведева. Л., 1928. С. 40 (далее сокращенно: Памяти...). Все эти черты превосходно переданы на фотопортретах, сделанных в разное время М. С. Наппельбаумом.

[7] *Волынский А. Л.* Достоевский. СПб., 1906. С. 228—237 (далее сокращенно: Достоевский).

[8] Памяти... С. 29.

[9] *Волынский А. Л.* Русские женщины / Предисл., публ. и комм. А. Л. Евстигнеевой // Минувшее: Исторический альманах. М.; СПб., 1994. Вып. 17. С. 282—283 (далее сокращенно: Минувшее. 17).

[10] Достоевский. С. 101.

вая на страдальческой шее»[11] — так еще в детстве зрительно задавалась Волынскому воцарившаяся позже в его созерцаниях *вертикальность*, т. е. выраженная в жизненно-символических формах устремленность к абсолютному, которую он будет требовать от словесного творчества, отыскивать в «экспансивной семитической пластике наших дней»[12] и наконец в балете найдет наглядное ее воплощение.

Но, восходя по чувственным ступеням к сфере абсолютных идей, к Богу, что делать со всей тяжеловесной человеческой историей, чей неспешный ход постоянно увязает в природе, в рыхлой общественно-бытовой почве и вечно обременяет дух в его свободных экстазах?

Для Волынского здесь есть только задача, а не вопрос. Религиозно-культурная традиция талмудизма авторитетно указывала на Закон, которым вносится богоустановленный порядок в хаос природного и человеческого существования, и уму надлежит, преодолевая этот темный и мучительный хаос, вникать в Закон и постигать драматическую динамику божественных «middōṯ» (мер) суда и милосердия, чтобы «предаться без остатка движению между ними обеими к божественному единству».[13] Бытие предстает уму как высказывания Бога к человеку (Господь говорил Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?» — Иов, 38: 1—2); момент их рационального постижения есть момент смысла, все остальное несущественно. Смысл выражается в символах, в знаках, записывая которые, создают единственно ценное для человека — *Мир как Писание, Книгу.* Ближайшим Волынскому носителем этой традиции был отец с его страстной любовью к книге, к знанию, к толковательной мудрости. И сам Волынский под конец жизни признавался: «В сущности, я ведь и не что иное как книга — ничем другим я быть не хотел».[14] Вписанные в эту «книгу» идеальные смыслы он утверждал и отстаивал с энтузиазмом,[15] в котором иногда, как и у отца, проступало «что-то агрессивное и небезопасное».[16]

Если через отца (и, разумеется, через комментаторов раввинистического и философского круга) Волынский воспринял талмудическую традицию, то мать, на уровне иррациональных влияний, связывала его с хасидизмом, который в своем богочувствовании был обращен преимущественно к сердцу, а не к разуму и получил широкое распространение среди евреев Подолии, Галиции, Волыни.[17] Искавшие радость и святость уже здесь и сейчас, не до-

---

[11] Минувшее. 17. С. 282.

[12] Жизнь искусства. 1923. № 27. С. 2 (далее сокращенно: ЖИ).

[13] Так излагает учение рабби Акивы Мартин Бубер. См.: *Бубер М.* Два образа веры. М., 1995. С. 328. Волынский хорошо знал сочинения Акивы (Акибы), знаменитого собирателя Мишны (первоначального слоя Талмуда), и, в частности, цитировал и толковал его высказывания о «Песне Песней» (ЖИ. 1923. № 31. С. 8).

[14] Минувшее. 17. С. 285. Интеллектуализм Волынского всегда был ориентирован на книжный гносис; исходной когнитивной моделью для него неизменно оставалось основополагающее в талмудизме аскетическое изучение Закона. Он практически следовал советам Симона Бен Иохайя и установлению Талмуда: «Исполнение всех заповедей Торы не может равняться изучению одного стиха» — и неоднократно ссылался на них. Волынский никогда не сомневался, что «учительный дом — выше синагоги. Писание и на нем основанный гнозис — выше всех религиозных предписаний» (ЖИ. № 31. С. 8—9).

[15] Авторская маска Волынского — Старый Энтузиаст. Так именуется один из трех главных персонажей в его книге «Леонардо да Винчи», «проникнутый религией человеческого сердца» и выражающий наиболее дорогие Волынскому идеи и убеждения (*Волынский А. Л.* Леонардо да Винчи. Киев, 1909. С. XII—XIII).

[16] Минувшее. 17. С. 283.

[17] См. о развитии этой ветви иудаизма в Восточной Европе: *Крупицкий З. Н.* Хасидизм, его происхождение, философская сущность и культурно-историческое значение. Киев, 1912; *Dubnow S. M.* History of the Jews in Russia and Poland, from the Earliest Times until the Present Day. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America. 1916. Vol. I. P. 220—222. Волын-

жидаясь прихода мессии, хасиды повсюду в мире находили проявления Бога, «Божественную искру», «nīṣōṣ», которая стремится высвободиться из таящей ее оболочки, «qĕlippā», чему соответствует личное экстатическое постижение смыслов сущего, не вмещаемых сакральными знаками и текстами. Несомненно, что в русле этой традиции возникали и некоторые «сверхкнижные» интуиции Волынского и развивались на путях хасидского познания, «da'at», предполагавшего глубокое слияние познающего субъекта с познаваемым объектом.

Столь непримиримо разделившиеся на русской почве (особенно выразительно их разделенность предстала в поэтических изложениях Мандельштама и Пастернака, что превосходно показано М. Н. Эпштейном)[18] названные традиции парадоксальным образом сплавились у Волынского, создав аналитический инструмент редкой твердости и режущей силы.

Учился он вначале в Житомирской гимназии, из шестого класса которой в 1879 году перешел в 5-ю петербургскую, где у него возник конфликт с преподавателями, приведший к исключению. Благодаря вмешательству профессора П. П. Цитовича и М. Т. Лорис-Меликова, ему был все-таки разрешен экстернат. В школьные годы более всего повлиял на него учитель словесности А. В. Шавров, пробудивший в нем интерес к поэзии Некрасова и к филологическим изысканиям Ф. И. Буслаева. С блестящим аттестатом он поступил на юридический факультет Петербургского университета и окончил его со степенью кандидата и с четко определившимися идейными и литературными ориентациями. В ответ на предложение А. Д. Градовского остаться при кафедре государственного права Волынский заявил, что намерен стать не профессором, а литератором. Выбирая последнее, он выбирал духовную независимость и свободное творчество в сфере мысли и слова.

Еще в университетском научном обществе под руководством О. Ф. Миллера он основательно занялся философией и написал свою первую большую работу «Теолого-политическое учение Спинозы», вскоре напечатанную.[19] Прочтенный экспромтом на заседании того же общества доклад «О споре Милля со Спенсером по вопросу о всеобщем постулате» стал его публичным триумфом и открыл доступ в писательскую и журналистскую среду. Одновременно он сотрудничал в газетах, в журнале «Восход» (где впервые выступил под псевдонимом *Волынский*), а по протекции А. А. Давыдовой[20] и в «Северном вестнике». Здесь он продолжил свои историко-философские штудии, теперь посвященные наследию И. Канта,[21] обратился к современной этике и психологии, дав аналитический обзор деятельности В. Вундта.[22]

скому, несомненно, были известны и специальные статьи С. Дубнова на данную тему, публиковавшиеся в русских изданиях, в частности: *Дубнов С.* Возникновение цадикизма // Книжки Восхода. 1889. № 11—12. Именно на Волыни родился основатель хасидизма Баальшем (Исраэль бен Элиэзер Баал-Шем-тов (Бешт), ок. 1700—1760), оттуда же началось распространение его учения.

[18] *Эпштейн М.* Хасид и талмудист // Звезда. 2000. № 4.

[19] Восход. 1885. № 10—12. У Спинозы Волынский впервые нашел не только логическое оформление своим религиозно-метафизическим интенциям, но и притягательный образец вполне свободного мышления, развившегося на определенной национально-культурной почве и выражавшегося «сильным языком убеждения и страсти», как писал Волынский впоследствии, готовя к изданию переведенные Л. Я. Гуревич письма и биографию Спинозы (Переписка Бенедикта де Спинозы с приложением жизнеописания Спинозы И. Колеруса. СПб., 1891).

[20] Александра Аркадьевна Давыдова (1849—1902), жена известного музыканта и педагога К. Ю. Давыдова, издательница журнала «Мир Божий», в чьем доме собиралась творческая интеллигенция как народнической, так и раннесимволистской ориентации.

[21] Критические и догматические элементы в философии Канта // Северный вестник. 1889. № 7, 9—12 (далее сокращенно: СВ).

[22] См.: СВ. 1889. № 5; 1890. № 1—5.

И позже немецкая мысль в ее классических и новейших явлениях оставалась в поле зрения Волынского, о чем свидетельствуют его возвращения к Канту,[23] его пристальный интерес к идейному радикализму Шопенгауэра и Ницше, настороженное внимание к начавшейся в конце века «биологизации» философских проблем человека и культуры, которое выразилось, например, в предисловии к переводу нашумевшей тогда книги молодого венского философа Отто Вейнингера.[24]

Но главным его делом в 90-е годы стала развернутая в «Северном вестнике» и вышедшая далеко за журнальные границы критическая работа над прошлой и текущей русской словесностью. Осуществить ее в таком масштабе и интенсивности удалось прежде всего благодаря самоотверженной помощи Любови Яковлевны Гуревич (1866—1940), дочери известного педагога Я. Г. Гуревича. Когда Волынский познакомился с ней у А. А. Давыдовой, она была юной слушательницей Бестужевских курсов. Увлеченная его идейным темпераментом, Гуревич предприняла поистине героические усилия, чтобы убеждения ее учителя и кумира стали достоянием общественности: она вошла в число новых пайщиков «Северного вестника» (который официально перешел от А. М. Евреиновой к Б. Б. Глинскому), а затем, спасши журнал от гибели, оказалась полной его хозяйкой и превратила его в личную трибуну Волынского.[25] Ею двигали не только пиетет ученицы и энергия адепта, но и более интимные чувства. «Дамаянти Флексера, — отзывался о ней В. В. Розанов в письме к Э. Ф. Голлербаху, — несчастно и вненадежно его любящая, сама она прелестна и хороша».[26]

Здесь уместно сказать о том небольшом круге людей (преимущественно женщин), с которыми Волынский в разное время был связан наиболее тесными отношениями. Возникновение, развитие и последствия этих отношений обнаруживают весьма своеобразные черты его личности.

Где-то в глубине его биографической сцены почти неразличимой тенью проходит жена — скорее всего ранняя дань семейному и религиозному укладу; нужно полагать, его эпизодические поездки в Белую Церковь и были вызваны необходимыми посещениями семьи.[27] Несколько ближе к нему дочь Мэри, но и о той узнаём лишь из чужих воспоминаний о последних днях Волынского и из немногих его писем к ней,[28] хотя мемуарист отметил «трогательную ласку» в отношении отца к дочери.[29] Но эта сторона его жизни была настолько закрыта от всех, что даже П. Н. Медведев не сомневаясь говорил о «бездетности» Волынского.[30]

В ближайшем его окружении можно с уверенностью указать только на двух мужчин, имевших право называться *друзьями* Волынского, однако и об отношениях с ними известно очень немногое. Это, во-первых, русско-еврейский поэт Семен Григорьевич Фруг (1860—1916), знакомство с которым, по свидетельству Э. Ф. Голлербаха, «приняло вскоре характер тесной друж-

---

[23] В частности, в 1904 году под его редакцией выходит перевод одной из работ «докритического» периода Канта — «Грезы духовидца, поясненные грезами метафизика».

[24] *Волынский А.* Мадонна // Вейнингер О. Пол и характер. СПб., 1908. Ср. отношение к этой книге В. В. Розанова, высказанное в «Опавших листьях» (*Розанов В. В.* [Соч.: В 2 т.] М., 1990. Т. 2. С. 289—290).

[25] Об истории журнала и о деятельности в нем Гуревич и Волынского см. документы в кн.: *Молоствов Н. Г.* Борец за идеализм. 2-е изд. СПб., 1903. С. 321—396 (далее сокращенно: *Молоствов*), а также указанные выше работы Д. Максимова, П. В. Куприяновского, Е. В. Ивановой.

[26] *Розанов В.* Соч. Л., 1990. С. 568.

[27] См.: Памяти... С. 49.

[28] РГАЛИ. Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 228.

[29] *Королицкий М. С.* А. Волынский: Странички воспоминаний. Л., 1928. С. 19.

[30] Памяти... С. 40.

бы. Более горячей взаимной симпатии, чем отношения с Фругом, в жизни А. Л. не было; за всю свою жизнь он только с одним Фругом был „на ты"».[31] Во-вторых, это Николай Германович Молоствов (1871—1910), вначале военный моряк и толстовец, затем редактор нескольких периодических изданий, «деятельный идеалист», ставший преданным другом, апологетом и пропагандистом «пламенного идеалиста» Волынского.[32]

О женщинах, которые сыграли в его жизни значительную роль, Волынский в 1923 году написал ряд очерков, составивших цикл «Русские женщины». Один из них, посвященный Л. Я. Гуревич, был тогда напечатан;[33] остальные опубликованы и прокомментированы А. Л. Евстигнеевой в 1994 году.[34] Ею же (совместно с Н. К. Пушкаревой) опубликованы 99 писем З. Н. Гиппиус к Волынскому.[35]

Выделяя два расово-исторических типа женщин — праарийский и неоарийский — и условно обозначая формы их бытования — «друидессы» и «амуретки»,[36] — Волынский отнес Гуревич к первому типу и назвал «запоздавшей друидессой». Среди литературных амуреток она представлялась ему «патетической весталкой», и впоследствии он видел и ценил в ней исключительно «хранительницу праарийского монизма», носительницу «высшей идейной маниакальности, вплоть до готовности к настоящим жертвоприношениям». Но «девушкой для любовного романа» она быть не могла, утверждал Волынский.[37]

Между тем ее письма говорят об ином. 23 августа 1888 года она писала Волынскому: «Дорогой, милый, я перечла некоторые твои старые зимние письма, и опять на минуту почувствовала, что ты меня любишь, т. е. как любишь... ⟨...⟩ Эти письма писаны зимою, но я так твердо знаю, что *ты* не мог измениться, хотя и не пишешь больше таких писем... ⟨...⟩ Я люблю тебя больше, горячее, восторженнее, чем ты меня, но твоя любовь дороже ценится...»[38]

Однако «изменения» произошли, и вероятно, много раньше, чем их заметила Любовь Яковлевна. Уже в сентябре она вынуждена перейти на «вы», хотя и на этой дистанции будет еще повторять: «Я вся Ваша».[39] Ей пришлось выдержать даже такой удар, как появление в «Северном вестнике» в

---

[31] *Голлербах Э.* Встречи и впечатления. СПб., 1998. С. 134.

[32] Кроме упомянутой выше, Молоствову принадлежит также книга «Волынский и новейшие идеалисты» (СПб., 1905).

[33] ЖИ. 1924. № 6.

[34] Минувшее. 17. С. 209—292.

[35] Минувшее: Исторический альманах. М.; СПб., 1993. Вып. 12. С. 274—341 (далее сокращенно: Минувшее. 12).

[36] При некоторой условности применения Волынским этих понятий к современным женским типам, он, конечно, учитывал реальные исторические и лексико-семантические их аспекты. В частности, он имел в виду, что в привилегированном жреческом сословии друидов, которые у древних кельтов Галлии, Британии и Ирландии ведали всеми главными отправлениями общественной жизни и обладали огромным влиянием, были и женщины — друидессы, наделенные особыми функциями и правами, нередко окруженные мистико-эротическим поклонением. Об этом Волынский вскользь упоминает в своем очерке «Амуретки и друидессы» (Минувшее. 17. С. 245). В исполнении своего долга они были самоотверженны, непреклонны и подчас жестоки. Позднейшие эпохи сохранили и достоверные и легендарные сведения о них; в частности, Вольтер писал, что друидессы предсказывали будущее, вонзая нож в сердца пленных и гадая по вытекающей из раны крови. См. также: *Davier E.* The mythology and rites of the British druids. London, 1809; *Barth K.* Ueber die Druiden der Kelten. Erlangen, 1826; *Kendrick T. D.* The Druids. Study in Keltic prehistory. London, 1927. Слово «амуретка» образовано от фр. «amourette», что значит «преходящая, мимолетная любовь», по аналогии и семантической близости со словами «кокетка» (coquette), гризетка (grisette).

[37] Минувшее. 17. С. 244—253.

[38] Там же. С. 214.

[39] Там же. С. 215.

1896 году рассказа З. Н. Гиппиус «Златоцвет», в котором отразился роман Зинаиды Николаевны с Волынским. Неизбежно наступило охлаждение, тем более что Волынский считал миссию журнала исчерпанной и роль Гуревич сыгранной.

Что для нее было драмой и жертвоприношением, то в его позднейшем изображении лишь эпический эпизод в «борьбе за идеализм». «Хочу сознаться в одном своем страшном дефекте, — объяснял он в очерке. — С самых ранних лет моей сознательной жизни я, собственно, не знал никогда, что надо делать с женщинами, заключая с ними союз дружбы. Я и сам не способен играть ни в какие амуретки, ведя жизнь обитателя военного шатра. Мне всегда казалось, что женщин надо учить всему, что знаешь сам. Так я и поступил в данном случае».[40] И по расторжении этого «военного» союза с «педагогическим оттенком» Гуревич, которую в Судный день, по уверению Волынского, ждало не только оправдание, но и мученический венец, не избежала категоричного вердикта своего безжалостного инквизитора: «настоящей друидессой современности» ей не бывать; при всех ее талантах и самоотверженности она «обделена эстетикой и поэзией», в ней нет «того сияния, которое особенно в женских носителях высоких идей представляет такую заманчивую и всех заражающую своим гипнозом прелесть».[41]

Насколько она на самом деле была ему близка и дорога, Волынский ни с кем не обмолвился ни словом. Но об этом поведала З. Н. Гиппиус, также оказавшаяся в интимном кругу Волынского.[42] «Есть человек, — писала она ему в 1895 году, — которого душу вы больше любите, чем мою, которому вы больше верите, чем мне, которому вы ближе. Это Люба — вы знаете. И это разделение — причем не мне дана лучшая часть — я должна терпеть безмолвно и безропотно, потому что оно, вероятно, естественно и справедливо...»[43] Признавая его «исключительное положение» в этих сложных отношениях,[44] Гиппиус несколько лет «терпела» скупые и нечастые отклики Волынского на ее чувства — чувства, подчас художественно экзальтированные и прямо переходящие в лирические излияния и в эпистолярные дневники,[45] но все-таки не лишенные душевной подлинности, даже при известной ее манере играть своими настроениями, обликами, ролями. И в стихах («И без тебя я не умею жить...», «Не утешай, оставь мою печаль...», «Единый раз вскипает пеной..»), и в письмах есть несомненная правда, когда она говорит о своей любви, о «громадном влиянии» Волынского на нее,[46] о том, что любит его «писания» и что боится его и не может переносить от него «ни единого неодобрительного слова»,[47] когда упрекает его в холодности, беспощадности. Путешествие по Италии весной 1896 года вместе с Волынским и Д. С. Мережковским не оправдало ожиданий: «милый Аким» становился все более чужим, погружаясь в мир Ренессанса и Леонардо, и хотя в Милане

---

[40] Там же. С. 250.

[41] Там же. С. 253.

[42] См. об этом: *Rabinowitz S. J.* A «fairy tale of love»? The relationship of Zinaida Gippius and Akim Volynsky // Oxford Slavonic papers. Oxford, 1991. Vol. 24. P. 121—144.

[43] Минувшее. 12. С. 302.

[44] В них оказалась втянута и Зинаида Афанасьевна Венгерова (1867—1941), сокурсница Гуревич, сотрудница «Северного вестника»; позже вышла замуж за Н. М. Минского.

[45] Замечая, что Гиппиус была «поэтична насквозь», Волынский вспоминал позже: «В иных делах ее нельзя было отличить действительной жизни от игры фантазии. Она умела писать чужими почерками разные письма разным людям... Я же лично, тоже слегка вовлеченный в эту прелестную эпистолярную игру, получал письма, иногда написанные моим собственным почерком и заключавшие в себе полемику с моим поведением...» (Минувшее. 17. С. 262—263).

[46] Минувшее. 12. С. 328.

[47] Там же. С. 297.

она еще была убеждена, что он «*физически* не сможет ее оставить»,[48] в Париж он уехал без нее, нанеся «первую смертельную рану» их отношениям. Тем не менее 1 ноября того же года она писала: «Вот в такие ночные одинокие часы я люблю вас до слез, до ужаса, я бы хотела принести вам какую-нибудь гигантскую жертву, *пострадать* за вас, чем-нибудь высказать ту силу чувства, которой полно мое сердце. Вы и есть мое сердце».[49]

Многие обстоятельства, в том числе соперничество Волынского с Мережковским в разработке темы Леонардо да Винчи, разлад в «Северном вестнике», ускорили разрыв. Однако независимо от всех перипетий их отношений, Гиппиус всегда оставалась подсудимой Волынского. *Расследования*[50] по ее литературному делу начались вскоре после их знакомства не слишком лестными откликами на ее рассказы.[51] В 1898 году по поводу сборника «Зеркала» был вынесен суровый приговор, где в вину автору вменялись не только личные грехи, но и групповые грехи декадентства, подвергнутого критиком преследованию. «Навеянные и внушенные идеи», по его мнению, образовали у Гиппиус «сборище случайных для автора понятий, иногда противоречащих друг другу, борющихся между собой, — но не так, как это бывает в страстной и сложной душе, а как это бывает у души без собственной святыни, готовой раскрыть себя для всяких влияний. Из этих влияний современности большую силу над нею должны были, конечно, приобрести те, которые заключают в себе некоторую пикантность, которые приносятся демоническим поветрием». В ее стиле, «играющем в изящную простоту», Волынский точно подметил то, что можно бы назвать «литературной костюмированностью» и что выразилось в «кокетливой изобретательности» в изображении одежды персонажей. «У г-жи Гиппиус самая эта изобретательность имеет в себе что-то раздражающее для читателя: всегда дорогие и декадентски-исключительные ее туалеты кажутся надетыми на манекены». Потому всюду слышен «суетный шелест и шорох подбитых шелком платьев» и не слышны «живые разнообразные человеческие голоса». Ее диалоги казались ему «каким-то беззвучным шепотом», а «монологи и тирады, иногда кричащие по содержанию... отрывками из каких-то чужих статей». И в стихах ее он нашел «бедность психологического содержания при истерической крикливости формы».[52]

Пять лет спустя в статье, посвященной вышедшему в издательстве «Скорпион» сборнику стихов Гиппиус, строгий судья счел возможным отпустить ей прежние поэтические грехи — «крикливое болезненное кокетство, вычурность и надуманность», «религиозную тенденциозность» — за ее «природный талант, изящный и воздушно-светлый», за «сдержанно-горделивую пластику» ее личности.[53] Вынесенный же годом раньше второй приговор ее беллетристике оказался гораздо беспощаднее первого. В нем утверждалось, что вся художественная работа этой «декадентки ощущений» обнаружила в себе «глубоко спрятанную фальшь: при внешней красивости,

---

[48] Там же. С. 318.

[49] Там же. С. 329.

[50] Так сам Волынский неоднократно называл свою критическую работу над литературным материалом; см.: «Книга великого гнева»: Критические статьи — Заметки — Полемика. СПб., 1904. С. 147 (далее сокращенно: «Книга великого гнева»). Юридическая лексика здесь не случайна, учитывая позицию и задачи Волынского-критика; она соответствует и упомянутым выше ассоциациям: латинское «inquisitio» означает «расследование, разыскание, подыскивание доказательств обвинения».

[51] *Волынский А. Л.* Литературные заметки // СВ. 1890. № 10; 1891. № 6.

[52] *Волынский А. Л.* Борьба за идеализм: Критические статьи. СПб., 1900. С. 397—401 (далее сокращенно: Борьба за идеализм).

[53] «Книга великого гнева». С. 433, 435.

все это страшно безжизненно, дразнит нервы, но не проходит в душу». Как ни старается она наделить своих героев «всеми свойствами декадентского типа» и представить их «настоящими Люциферами», они остаются «всегда маленькими, всегда бескровными человечками», которые, как мухи, запутались в авторской паутине и умирают там «с чуть слышным жужжанием». «Чужие идеи, чужие мотивы... взятые из кружкового обихода, она разменивает на тонкие, дробные ощущения», и здесь даже «ее разговоры о Боге, это хождение в гости к Богу, отзываются суетою нового кокетства, нового интересничанья».[54]

И все-таки на закате жизни Волынский вспоминал об этой «сильфиде», «гиперборейской женщине легендарно-мифологических времен», с благодарностью за «большую поэзию и великую отраду»,[55] которыми она наполнила их дружбу-вражду. Она же в годы своего парижского эпилога, когда ею писалась книга о Мережковском, избрала манеру пренебрежительного припоминания «вприщур» (как некогда разглядывала сквозь знаменитую свою лорнетку) некоего Флексера, который «не понимал ничего» в искусстве, в Италии «не умел отличить статую от картины» и писал «уродливые статьи».[56]

Единственной женщиной, вызвавшей у него острый приступ любовного влечения (он даже мечтал назвать ее «своей невестою»),[57] была Ида Львовна Рубинштейн (1885—1960). В 1906—1907 годах их сближал общий замысел создания нового театра, брезжила возможность совместной поездки в Грецию, откуда Ида хотела привезти в «наш театр» «безумный восторг эллинской ночи»,[58] так что, несомненно, излюбленная идея Волынского об эллинизации современной сцены, драматической и балетной, сформировалась именно в эту пору. Кроме того, Волынского, видимо, привлекала все та же *вертикальная* доминанта в ее легком телесном облике, что так выразительно вычерчено линией контура и сухой, почти бесплотной живописью фигуры в известном портрете В. А. Серова (1910). Однако сама Ида оказалась для Волынского настоящей Пандорой:[59] возбудив в нем столько восторгов и надежд, она отказалась «идти рядом» с ним, предпочтя дилетантскую карьеру в театральном мире и амплуа примадонны в нескончаемом светском спектакле.

Недолгое знакомство Волынского с немецкой писательницей Лу (Луизой Густавовной) Андреас-Саломэ (1862—1938) дало ему прежде всего много ценнейших сведений о личности Ф. Ницше, чьим другом и биографом была Саломэ. Поместив перед тем в «Северном вестнике» несколько заметок о Ницше, привлекших внимание Лу и послуживших поводом для встречи, он опубликовал в журнале перевод ее книги о философе и ряд литературно-критических статей.[60] Летом 1897 года он гостил у нее на даче в Баварских Альпах,[61] где жил тогда молодой друг Лу Р. М. Рильке, ставший прототипом юного персонажа в книге Волынского о Леонардо (там же начатой).

---

[54] Там же. С. 190—191.

[55] Минувшее. 17. С. 260, 263.

[56] *Гиппиус З.* Живые лица: Воспоминания / Сост., предисл. и комм. Е. Я. Курганова. Тбилиси, 1991. С. 198—204.

[57] Минувшее. 17. С. 222. Впрочем, по слухам, летом 1891 года Волынский собирался жениться на Л. Я. Гуревич.

[58] Там же. С. 221.

[59] Свой этюд о ней Волынский назвал «Ящик Пандоры» (Минувшее. 17. С. 265).

[60] СВ. 1896. № 3—5; 1897. № 11; 1898. № 2, 3.

[61] Л. Гармаш полагает, что слова Лу о «недоброй памяти», которую оставил после себя «некий русский литератор из Санкт-Петербурга», относятся к Волынскому (*Гармаш Л.* «...Я догоню тебя во мгле» // http:/ xyz.org.ua./russian/win/sources/darkness.html. С. 6).

Кроме переписки, след их общения остался в любопытном этюде «Amour. Романтический набросок»,[62] написанном в соавторстве и представлявшем собой первый для Волынского опыт диалогического развития актуальной темы — такую форму он неоднократно использует позже.

В разное время в окружении Волынского появлялись М. М. Добролюбова, сестра известного поэта-символиста и религиозного идеолога А. М. Добролюбова, участница революционного движения; писательницы Е. А. Грекова, Т. Л. Щепкина-Куперник, Е. Г. Бердяева, М. А. Лохвицкая-Жибер, актриса Н. Н. Кульженко. Можно предположить, что последняя, «женщина красивейшая, редчайшей душевной и умственной отзывчивости, исключительно верный товарищ в жизни»,[63] была ему ближе остальных: именно Наталье Николаевне Кульженко он в 1903 году посвятил свои статьи о «Бесах» Ф. М. Достоевского, составившие раздел в «Книге великого гнева», и в 1906 году воспроизвел это посвящение перед тем же разделом в книге «Достоевский». А она в 1913 году написала статью по поводу 30-летия литературной деятельности Волынского,[64] отдав дань глубокого уважения старшему другу.

Однако кто бы ни оказывался рядом с ним, в какой бы среде, в каких общественных условиях ни действовал он — всегда неизменным и главенствующим его свойством оказывалось ни с кем не делимое *одиночество*. «Волынский был типичной „одиночкой", к которому и от которого не шло ни к кому путей»,[65] — запечатлел это свойство П. П. Перцов, связывая с ним неудачи редакторства и незначительность влияния Волынского на литературу. Одиночество Волынского как деятеля обусловлено не разрывами с литературной и бытовой средой эпохи — это следствия. Оно обусловлено путями и скоростью его автономного движения *сквозь* умственную и художественную культуру тысячелетий, через все ее материальные и идеальные области. Встретившись с ним, Б. М. Эйхенбаум был ошеломлен «экзотической страстностью ветхозаветного еврея, прошедшего сквозь все века и цивилизации, страстностью „вечного жида", сосредоточенной в одном органе — в головном мозгу».[66] Одиночество его неизбежно: у Агасфера не может быть ни спутников, ни соратников. Из знавших Волынского никто не указал на это так выразительно, как А. А. Гизетти: «Образ его неразделен с ассоциациями скитания, стремления в высь, холода и острого длинного копья — его мысли. Хотелось видеть его не в пиджаке, а в плаще или мантии пророка-философа. Он был весь какой-то туманный, прозрачный: вот-вот растает в воздухе, улетит. И холодным одиночеством веяло от него».[67]

Хотя такое положение, приводившее и к отчуждению от современников, и прямо к изоляции, нередко было для него мучительным, но лишь оно и обеспечивало ему свободный разбег мысли, независимость от партийной и кружковой догматики. Он в полной мере воспользовался им уже в период «Северного вестника» и ревниво охранял его позже.

Ничем не связанный, Волынский потребовал от культуры, от искусства и литературы прежде всего того, что в вершинных их созданиях действительно заключалось, но чего никто до сих пор не смел требовать от них с по-

---

[62] СВ. 1897. № 9.

[63] Минувшее. 17. С. 275.

[64] Биржевые ведомости. 1913. 13 марта.

[65] *Перцов П. П.* Литературные воспоминания: 1890—1902 гг. / Вступ. ст., сост., подг. текста и комм. А. В. Лаврова. М., 2002. С. 167.

[66] Памяти... С. 44—45. Не общение ли с Волынским направило Эйхенбаума тем же аналитическим маршрутом и дало название сборнику последнего — «Сквозь литературу» (1924)?

[67] Там же. С. 81.

добной категоричностью, — он потребовал такой внутренней, смысловой протяженности, которая должна выходить далеко за пределы наличного их содержания и значения, устремляться ввысь, в сферу идей, абсолютных сущностей. Он судил о факте культуры по тому, насколько далеко и в каком направлении простираются, могут быть аналитически реконструированы идеальные его смыслы. В своем суде Волынский применял к культуре кодекс «критического идеализма», созданный на основе философского уложения Канта, и применял без снисхождений.

Понятно теперь, что для него «литературная критика есть самостоятельная философская дисциплина», чья цель связана «не с утилитарно-общественными запросами времени, а с вечными, идеалистическими потребностями общественной культуры», и только в этом случае она «делается орудием настоящего достоверного знания» и добывает «самостоятельные истины о человеческой природе».[68] Так, с прибавлением далее резких инвектив в адрес «публицистической критики», отвечал Волынский «Вестнику Европы», призывавшему его к соблюдению «общелиберального устава»,[69] который Волынский осмелился нарушить. Через три месяца он дал обоснование своей позиции в статье «Наука, философия и религия»,[70] а два года спустя в передовице «Идеализм и буржуазность» (подписанной также и Л. Я. Гуревич) изложил идеологию и программу журнала.

Главный обвиняемый в его трибунале тот же, что у А. И. Герцена и К. Н. Леонтьева, — буржуазная цивилизация — это порождение западного мещанства, столь враждебного первому, этот плод эгалитарно-эвдемонических вожделений «среднего европейца», столь ненавидимого вторым. Герцен утверждал, что она угасила и извратила все идеальные порывы человечества: «Христианство обмелело и успокоилось в покойной и каменистой гавани Реформации; обмелела и революция в покойной и песчаной гавани либерализма. Протестантизм, суровый в мелочах религии, постиг тайну примирения церкви, презирающей блага земные, с владычеством торговли и наживы. Либерализм, суровый в мелочах политических, умел соединить еще хитрее постоянный протест против правительства с постоянной покорностью ему».[71] Леонтьев во всеобщей «буржуазной ассимиляции» исторически разнообразных культурных величин видел начало «вторичного упростительного смешения», ведущего к сужению личности и упадку творческих сил человечества.[72]

Продолжая их линию (и включаясь в широкую антибуржуазную традицию — от романтиков до модернистов), Волынский определяет буржуазность как «стремление к жизненному благу внешними средствами, с признанием принудительного воздействия одних общественных сил на другие. ⟨...⟩ Буржуазное понятие о благе — имеет ли это понятие материалистический или спиритуалистический характер — всегда ограниченно и охотно вступает в компромисс с известными формами исторической действительно-

---

[68] СВ. 1893. № 6. С. 119.

[69] Там же. С. 114.

[70] СВ. 1893. № 9. На эту статью последовал немедленный «обличительный» отклик М. М. Филиппова (*Филиппов М.* Ребяческий идеализм // Русское богатство. 1893. Кн. 9). Отрекшийся от славянофильского «идеализма» после появления учения Н. Я. Данилевского, Филиппов стал убежденным материалистом и адептом марксизма в России и выступил против тех мыслителей, которые следовали «метафизической потребности» в своем миропонимании, начиная с В. С. Соловьева и кончая С. Н. Булгаковым и Н. А. Бердяевым (см. его статью «Новый идеализм» в журнале «Научное обозрение», 1903, № 3, 4). Волынский, которым этот ряд у Филиппова начинается, занял подобающее место «схоласта» и «отсталого».

[71] *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1959. Т. 16. С. 184.

[72] *Леонтьев К.* Собр. соч.: [В 9 т.] М., 1912. Т. 6. С. 29, 63—65 и др.

сти».[73] Господствующая ныне буржуазность подчиняет «личность единообразному шаблону и стесняет не только человеческое поведение, но и самую мысль», и «идеальные интересы человеческого развития» оказываются «под запретом буржуазного утилитаризма как что-то второстепенное, не важное, не срочное».[74] Несмотря на политические расхождения, для него равно буржуазны по сути все современные русские журналы: и те, где действуют «так называемые консерваторы»,[75] и те, где интеллигенцией ведется «полезная работа либеральных канцелярий»[76] (совершенно леонтьевское выражение!). Намереваясь «преследовать разлагающий яд буржуазности», Волынский разъясняет «идеалистическое» направление «Северного вестника»: «Критический идеализм, как мы уже сказали, обнимает все стороны человеческой жизни. По самому духу своему идеалистическая философия является источником беспощадной критики в двух направлениях. Разбирая весь материал познавательного процесса, она бесстрашно разрушает всякие иллюзии догматического мышления. В области эстетики критическая философия первая обрисовала и оценила значение художественных наслаждений, придав красоте — в произведениях искусства — возвышенный символический смысл».[77]

Дух буржуазности нестерпим для Волынского — как нестерпим он для всех, кто призван к большому культурно-историческому творчеству, — ибо он означает господство все более жесткого детерминизма над креативизмом во всех сферах жизни. Отстаивая в борьбе с ним выход к метафизическим горизонтам, к «символическим смыслам», Волынский понимает символизм в искусстве достаточно просто, в пределах своей эстетической схемы, как поэтическое выражение того же идеализма в «образах новой красоты», и убежден, что «истинное искусство, помимо сознания художников, всегда имело такой именно символический характер»[78] и само развитие «вечных идей» в человеке, а не декадентские притязания автора обусловливает «появление новых утонченных форм, оживляемых глубокой внутренней правдой».[79] При таком понимании ему были, конечно, не близки теургические проекты В. С. Соловьева (чью деятельность на всех поприщах он оценил очень скептически[80]), теоретическая и поэтическая «проповедь» символизма А. Белым, сложные построения с «экскурсами» Вяч. Иванова.[81] Неудивительно, что, приглашенный в редакцию «Аполлона» в 1909 году, он не

---

[73] СВ. 1896. № 1. С. II.

[74] Там же. С. III.

[75] Волынский был убежден, что их деятельность бесплодна, если не вредна, и оздоровить политическую и культурную жизнь они не способны. Подобные мнения высказывались и теми, от кого можно было бы ожидать большего сочувствия к этим деятелям; близкий к И. С. Аксакову публицист С. Ф. Шарапов писал Е. М. Феоктистову: «Наша несчастная современность, которую всеми силами охраняют „консерваторы", — да куда же она годится? Эта современность ведет страну прямо к застою и разложению» (письмо опубликовано О. Л. Фетисенко: Русская литература. 2005. № 1. С. 153).

[76] СВ. 1896. № 1. С. IV—V.

[77] Там же. С. VI.

[78] Борьба за идеализм. С. 481.

[79] Там же. С. 411.

[80] В своей рецензии на московские издания «Русские символисты», «Chefs d'Oeuvre» В. Брюсова и книжку А. Жасминова «Голубые звуки и белые поэмы», в отклике на «Смысл войны» В. С. Соловьева, в полемической статье о его книге «Оправдание добра» и в лекции «Современная русская журналистика». См.: Борьба за идеализм. С. 412—413, 437—439, 444—453; *Молоствов.* С. 118—119.

[81] Хотя, например, выдвинутая В. И. Ивановым концепция «реалистического символизма» (как и мысль Белого о «превращении символизма созерцаний в символизм действий») могла бы найти отклик в эстетике Волынского, если бы он не отверг совершаемую в этом направлении работу как названных авторов, так и И. Ф. Анненского, М. А. Волошина и не обратил все свое пристрастное внимание только на Н. М. Минского, В. Я. Брюсова, Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус.

продержался там и полугода: выступив с «разоблачением» декадентской порчи всех его сотрудников, он покинул журнал; но гораздо хуже, что Вяч. Иванов так и остался для него только «маниаком Диониса», в чьих «искусственно архаизированных писаниях, кроме ходулей и компиляций, нет ничего»[82] (из письма его к С. К. Маковскому).

В отношении текущей словесности Волынский использовал идеализм преимущественно как «орудие литературной критики»,[83] и действие его оставляло чрезвычайно рельефные следы в литературной жизни тех лет. Рядом с вдумчиво-благожелательными отзывами об А. Н. Апухтине, А. П. Чехове, М. Горьком, М. А. Лохвицкой-Жибер, А. А. Голенищеве-Кутузове, Л. Н. Толстом, К. М. Фофанове появлялись не менее вдумчивые и совершенно уничтожающие суждения о декадентствующих молодых литераторах, создавшие Волынскому репутацию «природного погромщика» (Минский).

Декадентство, как определяет его Волынский, есть «отпадение от прежних святынь, от прежнего Бога, от нравственности — отпадение в то, что противоположно Богу, в эстетику, в злую, демонически-обаятельную красоту». На этом пути, у которого нет конца и предела, человек развертывается в своих «крайних личных инстинктах», которые прежде были обузданы культурой, и при этом борется со своим другим, божеским началом, доходя до исступления и утомления. У талантов, которые искренни в своем декадентстве, как у Бодлера, Верлена, Рембо, «эстетический культ выступает в сопровождении какого-то внутреннего вопля, в разладе и раздвоении души».[84] Декадентство — болезнь, в которой есть свой «священный смысл», ибо она реакция против «рутины в идеях добра и божества, и в самом гниении и разложении личного человеческого начала выращивается свежее, здоровое зерно нового человека».[85]

Поставленного им «во главе русского декадентского движения» Минского Волынский называет «декадентом ума», который, «преодолевая в себе какие-то религиозно-семитические корни», «отдается логическим рассуждениям о Боге с особенной страстью», но их у него слишком много и они движутся в разных направлениях, разлагая цельность и простоту настоящей веры. Здесь нет истинной трагедии, а есть «игра над бездной пустоты», и философствование Минского неизбежно должно было прийти к идее «мэона», «которою он и заменил идею божества. Тут-то и начинается у него та искусственность, та рассудочная фальшь, которая составляет характерную особенность всех его произведений, с их поддельной мудростью, с их напряженностью и риторикой».[86] В 1899 году Волынский подводит окончательный итог всей деятельности этого «умного и даровитого литературного горбуна», в котором «видна оскорбляющая развращенность двойственных мнений, игра робких чувств, пошлая трусость — как бы не показаться кому-нибудь банальным».[87] Не отрицая достоинств мыслительной работы Минского, в поэзии его Волынский видит «что-то до крайности вымученное и часто прямо уродливое. Тут перед нами поистине горбатая поэзия, что-то трагическое — одновременно и умное, и смешное, страдальческое и оскорбительное, злобно-циничное».[88]

---

[82] Цит. по: *Лавров А. В., Тименчик Р. Д.* Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях // Памятники культуры: Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник. 1981. Л., 1983. С. 124.

[83] Борьба за идеализм. С. 481.

[84] «Книга великого гнева». С. 184.

[85] Там же. С. 185.

[86] Там же. С. 187.

[87] Борьба за идеализм. С. 479.

[88] Там же. С. 486.

О выпущенных «Скорпионом» стихотворных сборниках Волынский высказался не менее беспощадно. По написанным за двадцатилетие стихам Мережковского он заключил, что автор «не органический человек и потому не органический поэт. Это какой-то очаг разностильных современных мыслей, напряженно стремящихся к синтезу, но сцепленных между собою только механически. И эти мысли, лишенные у Мережковского психологических корней, кричат, а не поют. Поэт притязает на философичность, а между тем вся его философичность не идет дальше современных книжных терминов. ⟨...⟩ С педантической старательностью он возится над склеиванием разных понятий, разных исторических эпох, примиряя плоть с духом и Венеру с Христом... так, как это делается в рассудочно-логической реторте, у „людей из бумажки", как сказал бы Достоевский. Мережковский — это поэт-гомункулус, сам вышедший из реторты современности».[89]

Книга «Urbi et orbi» заставила Волынского увидеть в Брюсове «кошмары мутных и тяжелых психологий, не только не просветляемых, но как бы еще осложняемых рассудочною идейностью, искусственно-многосторонней и не всегда искренней». Таков, в частности, его эротизм: «Брюсов, очевидно, хотел бы быть каким-то Рубенсом в поэзии, но от стихов его на любовные темы отдает спертым воздухом мелкого разврата в публичных домах. ⟨...⟩ И, главное, все это вымучено, лицемерно... Когда по-настоящему бушует человеческое тело, поднимаются и крылья духа, и в этом двуедином порыве человеческого существа, цельном, страстном и глубоком, вырывается вся поэзия человеческой натуры». У Брюсова «исступления бессильны — все отдает книгами, компиляциями, головными выдумками», в том числе и пресловутая «оргиастическая коза», которая есть «не более как напускное чувственное дерзновение начитанного стихотворца». Книжность же его — «это, с одной стороны, интеллигентность, не имеющая ничего общего с искусством, с другой стороны — пустая декорация его поэтической особы».[90]

Ряд подобных характеристик продолжался в связи с фигурами К. Д. Бальмонта, Ф. К. Сологуба, А. М. Добролюбова, Аполлона Коринфского, пополнялся за счет таких авторов, как В. Л. Величко, П. Д. Боборыкин и прочих.

Такой Волынский уже в 1892 году вызывал у Мережковского неподдельную ненависть — как «уродливый двойник» другого, «лучшего» Волынского — мыслителя с «нравственным и философским темпераментом семита».[91] Мережковский хотел бы разделить их и упразднить первого, но Волынский целен и безудержно страстен (и пристрастен) как в философствовании, так и в литературном суде. Обращенные к нему упреки А. П. Чехова в «ненужной полемической горячности» (в несохранившемся его письме к А. М. Евреиновой времени ее редакторства в «Северном вестнике») мало подействовали на него, хотя он и «пытался умерить свой критический пыл».[92]

Очень быстро он нажил себе множество врагов и в новом литературном поколении, и в солидных литературных партиях народников и либералов. Его притязания судить современную словесность по законам иным, чем то

---

[89] «Книга великого гнева». С. 430—431.

[90] Там же. С 435—439.

[91] *Мережковский Д. С.* Эстетика и критика: В 2 т. М.; Харьков, 1994. Т. 1. С. 165—166.

[92] *Чехов А. П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1976. Т. 4. С. 560—561. Н. С. Лесков, познакомившийся с Волынским в начале 1890-х годов, напротив, возбуждал в нем этот пыл еще больше. «Он требовал от меня разносок, беспощадных обличений, прямо затрещин направо и налево, — вспоминал Волынский. — Темп моей полемики он считал слишком медленным» (*Волынский А. Л.* Н. С. Лесков. Пб., 1923. С. 11).

было принято там, смелость говорить о ней языком прямым и резким преградили ему доступ в круг «избранных», что ясно показал инцидент на юбилее А. М. Скабичевского 24 марта 1894 года, когда пришедший в ресторан «Медведь» Волынский не был допущен за пиршественный стол.[93] А независимое «расследование основ русской критики»,[94] предпринятое им сначала в статьях «Северного вестника» и довершенное в книге «Русские критики» (1896), навлекло на него гнев либерально-демократической общественности.

В ответ на негодующий вопрос Н. М. Минского: «Зачем было вообще для утверждения в русском сознании идеализма полемизировать и раскапывать могилы?» — Волынский с не остывшим еще и в 1899 году жаром восклицал: «Зачем? Затем, что, свободно обсуждая идеи, внесенные в жизнь бойцами прошедшей эпохи, мы, в сущности, ведем борьбу с идеями все еще живыми, все еще держащими под своею властью современные умы. ⟨...⟩ Теперь они стали неприкосновенными кумирами, царями мысли, которым воздается слепое поклонение. ⟨...⟩ Все молчит перед их авторитетным именем, и самые их идейные ошибки, иногда роковые, разросшиеся с течением времени в целый лес опасных умственных заблуждений, считаются священными».[95]

Кумиры создавались демократическим общественным мнением, которое почитало служение «гуманности и прогрессу», окрашенное в жертвенные тона, гражданским подвигом, а деятелей на этом поприще — гражданскими святыми. Вторгаясь в наиболее доступную для его пропаганды область — литературу и эксплуатируя ее в своих целях, такое служение выразилось в критико-публицистическом журнализме, всегда культурно ущербном из-за вульгарного смешения в нем художественного материала с социальным пафосом. Тем не менее репутация нравственного величия и общественной полезности этого служения поддерживалась либерально-утилитаристской мыслью на протяжении многих десятилетий. И когда, почти двадцать лет спустя после посягновений Волынского, Ю. И. Айхенвальд вновь осмелился указать на тот очевидный факт, что под влиянием Белинского с его «шатким умом и перебоями колеблющегося вкуса» «русская культурная традиция не имеет прочности»,[96] опять поднялось возмущение в интеллигенции. П. Н. Сакулин высказал ее общее убеждение, заявив, что имя Белинского «свято» и он «давно уже находится за чертой досягаемости».[97] Острые и меткие суждения В. В. Розанова в 1911—1914 годах[98] (существенно изменившего свой взгляд сравнительно с 1898 годом)[99] также ничуть не смутили ревнителей «великих заветов», и «священная традиция» оставалась неприкосновенной.

Волынский, первым выступив против нее, не был одержим лишь страстью «ниспровергать кумиры» и извлекать полемический эффект из самой

---

[93] Подробности происшествия, объяснения его участников и газетные заметки о нем приведены в издании: *Молоствов*. С. 261—293.

[94] Там же. С. 116.

[95] Борьба за идеализм. С. 480.

[96] *Айхенвальд Ю. И.* Силуэты русских писателей. 2-е изд. М., 1913. Вып. 3. С. 1. В. В. Розанов добавил в 1914 году: «К концу времен сложилось дело так, что в „священной традиции Белинского" сделалось как-то *неприлично* быть очень умным, дальновидным, сообразительным и сложным. „Традиция" повелительно требовала упрощения. Нужны „честные убеждения", т. е. в смысле „кооперации" и „отрицаем правительство"» (*Розанов В. В.* Белинский и Достоевский // Новое время. 1914. 8 июля).

[97] *Сакулин П. Н.* Белинский — миф // Русские ведомости. 1913. 4 окт.

[98] *Розанов В. В.* В. Г. Белинский // Новое время. 1911. 28 мая; *Варварин В.* [*Розанов В. В.*] Вековая годовщина // Русское слово. 1911. 29 мая; *Розанов В. В.* Споры около имени Белинского // Новое время. 1914. 27 июня; *Розанов В. В.* Белинский и Достоевский // Там же. 1914. 8 июля.

[99] Ср.: *Розанов В. В.* 50 лет влияния // Русское обозрение. 1898. № 5.

борьбы с литературным идолопоклонством. Он предпринял обстоятельнейшее историко-литературное исследование с привлечением многочисленных журнальных и газетных источников, мемуаров, научных трудов XIX века, не говоря уже о подробнейшем разборе материалов русской критики и журналистики за целое столетие. Ни одной, даже малой заслуги критиков на поприще мысли и словесности Волынский не оставил без должной оценки, и нарисованную им картину деятельности тех, кто был «властителем умов» в 1840—1890-е годы[100] — Белинского, Чернышевского, Аполлона Григорьева, Добролюбова, Писарева, Михайловского, публицистов 1860-х годов, нужно признать безусловно объективной. Столь же объективен его вывод: в этих ее представителях русская критика «никогда не углублялась до истинно философских идей, волнующих всякого крупного художника, не могла идти навстречу настоящему искусству, сближать его с сознательною жизнью русского общества».[101]

Отдавая должное даровитости и подвижничеству Белинского, он во всем горячем и искреннем разноречии его суждений видит неизменное отрицание всего того, «что не лежит на поверхности человеческой жизни»,[102] и это отрицание унаследовали и довели до крайнего выражения позднейшие деятели, подвизавшиеся в «Современнике», «Свистке», «Русском слове», «Отечественных записках», на это указывают мотивы и приемы их публицистики (в частности, шельмование П. Д. Юркевича, Н. И. Пирогова,[103] внутрипартийные склоки). Их лихорадочный активизм, идейная тирания, при ограниченном и мелком миросозерцании, бестактность в отношении к оппонентам, безоглядный и наивный социал-радикализм образовали небывалую в русской литературе атмосферу, в которой «русской культурой командуют журнальные полемисты, прогрессивные вожди молодежи, а люди, воссоздавшие в своих произведениях душу народа... не имеют никакого права открыто высказывать свои убеждения».[104] Отсюда проистекала «вся эта серая накипь бессвязных философских идей с оттенком научного недомыслия и фанфаронской передовитости, все эти заносчивые окрики на деятелей искусства... вся эта раздраженная нетерпимость, свирепо бичующая за малейшее уклонение от партийного шаблона».[105] Здесь вполне обнаружился «тот прогрессивный паралич, который по смерти Белинского сразу поразил всю нашу журнальную критику», в результате чего мог появиться трактат «Эстетические отношения искусства к действительности» — этот «самый сжатый кодекс русского утилитаризма, самое яркое выражение начавшегося умственного декаданса». И по иронии судьбы «на эти страницы, полные научных и философских ошибок, история наложила печать благородного страстотерпчества, рыцарской честности и редкой нравственной порядочности. Она точно нарочно прикрыла обаянием человеческого подвига литератур-

[100] Естественно, что в этой картине лишь попутно представлены или вовсе отсутствуют те, кто «властителем умов» в среднеинтеллигентной массе тогда не был и быть не мог и чью роль в развитии мысли и литературы Волынский прекрасно понимал, хотя и не оценивал специально: это И. В. Киреевский, П. Я. Чаадаев, Н. Н. Страхов, К. Н. Леонтьев и т. п.

[101] Русские критики. С. II.

[102] Там же. С. 127.

[103] Описывая постыдный эпизод «похода» «Современника» против П. Д. Юркевича, Волынский дает попутно превосходный очерк философского творчества этого замечательного платоника, не нашедшего признания в России. Несколько страниц посвящает он врачу, педагогу и мыслителю Н. И. Пирогову, называя его «одним из немногих великих деятелей русского просвещения», в чьих статьях «иногда проносятся идеи, от которых веет истинной гениальностью», и чья знаменитая книга «Вопросы жизни» являет собой «настоящий перл философского мышления» (Русские критики. С. 177—178).

[104] Там же. С. 126.

[105] Там же. С. 578.

ную ложь, чтобы, затруднив развитие будущих поколений, испытать любовь общества к правде, к теоретической истине».[106]

Однако общество тогда было не склонно разделять с Волынским его любовь к теоретическим истинам идеализма.

За эту любовь и за учиненные им в «философском трибунале» «суд и расправу» над предшественниками его обличил, с позиций новейшего материализма, Г. В. Плеханов.[107] «Чуждой и неприятной» своим «антиобщественным индивидуализмом» показалась книга Волынского А. Г. Горнфельду,[108] критику и литературоведу, который в 1894 году неудачно пытался сблизиться с «Северным вестником» и затем перебрался в «Русское богатство», где, конечно, уже никаких симпатий к Волынскому питать не мог. Л. Я. Гуревич сообщала Э. И. Мешингу 30 сентября 1898 года: «Не проходит дня, чтобы люди не спорили со мною и не доказывали, что „развенчание русских богов" было преступлением».[109] В конце концов по резолюции профессора С. А. Венгерова Волынский был оставлен в истории литературы с весьма неблагонадежным аттестатом.[110]

Подводя позже итог всем этим событиям, Розанов писал 26 октября 1918 года Э. Ф. Голлербаху: «Этот Флексер первый предпринял колоссальную работу *переработки русской критики*, которая к 80—90-м годам, заняв еще с 60-х, да пожалуй и с 40-х годов... превратилась в лице Скабичевского, Шелгунова, отчасти Н. Михайловского, положительно в хулиганство, „сад терзаний" (или «мир пыток» в китайском Дворце) русской литературы, осложняемой кабаком и трактиром. ⟨...⟩ И вот Флексер-Волынский, принимая на себя, на имя свое, на *судьбу свою в литературе* весь ад насмешек, проклятий, злобствования, совершил эту „библейскую", эту (сокровенно акростихальную) ПРАВДУ — для русской литературы».[111] Пять лет спустя в «Крушении кумиров» С. Л. Франк так описал ту эпоху «сужения духовного горизонта» и последствия появления книги: «Сомнения в величии, умственной силе и духовной правде идей Белинского, Добролюбова, Чернышевского представлялись хулой на духа святого; в 90-х годах литературный критик Волынский, который осмелился критически отнестись к этим неприкосновенным святыням, был подвергнут жесточайшему литературному бичеванию и бойкотом общественного мнения изгнан из литературы».[112]

Через десять лет после выхода книги о ней вспомнил профессор В. Н. Мочульский и оценил ее уже с научным беспристрастием.[113] А еще через тридцать лет Волынского вкупе с Айхенвальдом одобрительно помянул в «Даре» В. В. Набоков за то, что они «вывели на чистую воду прогрессивных критиков».[114]

Лишившись в 1898 году «Северного вестника», Волынский печатался в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Прибалтийский край», стал выпускать составленные из прежних и новых статей сборники, а в 1901—1902 годах, все еще движимый полемическим и просветительским энтузиазмом,

---

[106] Там же. С. 765.

[107] *Каменский Н.* [*Плеханов Г. В.*] Судьбы русской критики (А. Л. Волынский. Русские критики. Литературные очерки. СПб., 1896). Статья первая // Новое слово. 1897. Кн. 7. Апрель.

[108] *Горнфельд А.* Тридцать лет назад // Памяти... С. 32—38.

[109] РГАЛИ. Ф. 131. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 140.

[110] *Венгеров С. А.* А. Л. Волынский // Русская литература XX века (1890—1910) / Под ред. С. А. Венгерова. М., 1915. Ч. I. (Окончание). Т. II. С. 121—134.

[111] *Розанов В.* Соч. С. 568—570.

[112] *Франк С.* Крушение кумиров. Берлин; Париж, 1924. С. 7.

[113] *Мочульский В. Н.* Смена принципов в русской критике XIX ст. // Филологические записки. 1906. Вып. 1. С. 26.

[114] *Набоков В.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 3. С. 179.

выступил с лекциями о современной литературе перед публикой Москвы, Петербурга и Риги. Впечатление от этих лекций, собиравших огромное количество слушателей, было по преимуществу скандальным, если судить по откликам прессы.[115] Иначе и не могло быть (хотя Н. Г. Молоствов и др. сообщали о преобладающем сочувствии публики), иного и не хотел сам Волынский, чьи резкие, намеренно заостренные суждения имели целью возбудить в сознании общества такие же обостренные оценочные реакции в отношении литературы, пробудить мысль, давно притупленную умственной рутиной и придавленную авторитетными мнениями. Можно представить, как реагировали почитатели Н. К. Михайловского на утверждения лектора, что создатель пресловутого «субъективного метода» просто «смешал понятие идеального начала в человеческом сознании... с протестантской психологией человека либерального круга и сделал эту самую психологию критерием разных научных истин» и литературных явлений, к которым подходит «с самоуверенностью избалованного партийного главаря» и с бравым видом «непреклонного жандарма» в литературе.[116]

Впрочем, даже враждебные к Волынскому слушатели и читатели не могли вовсе отказать ему в правоте; негодование вызывал резкий тон, эготизм позиции, сама личность лектора. Публицист С. Ф. Шарапов признавался, что ему хотелось крикнуть во время лекции: «Ну, положим, в том, что ты говоришь, есть доля правды. Но как *ты* смеешь *так* говорить? Каждое твое слово есть вызов и оскорбление».[117] Примечательна читательская запись в тексте лекции Волынского, опубликованном Н. Г. Молоствовым в его книге. Хранящийся в библиотеке ИРЛИ экземпляр имеет дарственную надпись автора филологу и историку театра Б. В. Варнеке (1874—1944), который, вероятно, сделал упомянутую читательскую запись и пометы на полях подаренной книги до того, как она была переплетена в твердый переплет (часть записи обрезана). «Флексер понимает, что такое истинный идеализм, но он не страдает душой по нем, он только пользуется им как орудием для самовозвеличения. Ему недоступно чувство справедливости...»[118]

После изданий Молоствова (Рига, 1902; СПб., 1903) текст лекции, сопровождаемый разделами о современной поэзии и театральном репертуаре, с присоединением статей о Достоевском, раздела об идеализме и разных заметок, был перепечатан в «Книге великого гнева» в 1904 году.[119]

К этому времени Волынский уже подвел итоги своим «поискам за Леонардо да Винчи», происходившим в музеях и библиотеках Италии, других стран Европы с 1896 года, опубликовал в «Северном вестнике» ряд статей на эту тему и, дополнив, собрал их в отдельном издании.[120] В этом цикле его трудов совершался глубокий пересмотр эпохи Ренессанса и наследия Леонардо, которого он, еще до появления «Воскресших богов» Мережковского,

---

[115] Многие из них собраны в книге: *Молоствов.* С. 3—89.

[116] *Молоствов.* С. 101, 103. Присутствовавший на лекции в Москве В. Я. Брюсов свидетельствовал, что раздавшиеся вслед за этими словами свистки двух курсисток были заглушены аплодисментами; он отметил также, что «лекция была полна личных выходок, но не лишена красивых характеристик» (*Брюсов В.* Дневники. 1891—1910. М., 1927. С. 107).

[117] *Молоствов.* С. 37.

[118] Там же. С. 142.

[119] В этом же году она была переведена на немецкий язык русско-немецким литератором И. Мельником и издана в Германии (Das Buch vom grossen Zorn. Frankfurt am Main, 1905; в переводах И. Мельника и других тогда вышли в Германии и несколько подборок критических статей Волынского, в частности Der Moderne Idealismus in Russland. Frankfurt am Main, 1905). Книга вызвала ряд благожелательных отзывов в Германии — Э. Бернштейна, И. Франан, Й. Шлафа и др. См.: Documente des Sozialismus. 1905. Bd. V; Propyläen. 1905. № 40.

[120] СВ. 1897. № 9—12; 1898. № 1—5; 10—12; *Волынский А. Л.* Леонардо да Винчи. СПб., 1900.

впервые открыл в России[121] не как музеефицированную классику, а как явление насквозь и неисцелимо кризисное.

В конце 1890-х годов его религиозные настроения и эстетические интересы находят выражение в новых жизненных устремлениях и в новом направлении его деятельности. Близко знавший Волынского его биограф Е. М. Браудо[122] сообщает, что весной 1899 года тот отправляется в Константинополь и на Афон, проводит на Святой Горе около трех месяцев, в течение которых он побывал в двадцати двух монастырях, посещал службы, разыскивал редкие иконы и древние книги, беседовал с учеными монахами.[123] С начала 1906 года он совершает восемь поездок в Бельгию и Голландию с целью изучения художественного материала для задуманных им искусствоведческих трудов; его внимание тогда привлекали традиция европейских примитивов, предшествовавших искусству Ренессанса, а также живопись К. Массейса и Г. Мемлинга. Вероятно, там же у него зародился новый взгляд на Рембрандта, развившийся в глубокую метафизическую трактовку его личности и творчества, что через два десятилетия воплотилось в грандиозном труде о художнике.[124]

С этой поры заметно, что Волынский постепенно переносит критический инструментарий своего *идеализма* (и соответственно, свою практическую деятельность) из сферы словесности в область изобразительных, а затем и динамико-пластических форм творчества. Он направляет поиск в сторону сценических искусств, делает попытку соотнести свои теоретические взгляды с живым современным театром, для чего в 1905—1906 годах в театре В. Ф. Комиссаржевской занимается репертуарной частью, читает актерам лекции, вникает в приемы актерской игры и постановки спектаклей.[125] Появление В. Э. Мейерхольда предвещало режиссерский волюнтаризм на сцене; Волынский покидает театр с убеждением, что подлинное обновление его произойдет через актера — через синтез внутренних экстазов и внешней символики действа. Истоки такого синтеза он усматривал в античном театре с его культовой основой, ритуальным танцем и маской.

Он решил не только вновь предпринять настоящее научное исследование, но и побывать там, где совершался дифирамбический культ Диониса и происходила его сценическая жизнь, для чего с 1907 года он несколько раз посещает Грецию. Вынесенные из этих поездок впечатления и идеи уводят его от драматической сцены к балетной, к *хореографии*[126] как высшему выра-

---

[121] Г. В. Иванов в «Петербургских зимах» передает разговор двух посетителей квартиры Вяч. Иванова: «„...такие гении, как Леонардо да Винчи..." — „...Леонардо, Леонардо — что такое ваш Леонардо! Если бы Аким Волынский не написал о нем книги, никто бы о нем не помнил"» (*Иванов Г. В.* Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 99).

[122] Подготовленные им, но не изданные материалы к биографии Волынского хранятся в РГАЛИ (Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 1104).

[123] Возможно, он вторично посетил Афон в 1902 году. См. об этом ниже.

[124] Неопубликованная рукопись хранится в РГАЛИ (Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 90, 91). Свою роль в создании этой трактовки сыграла убежденность Волынского в духовном родстве между Рембрандтом и Спинозой. К фактологической и философской разработке этой темы исследователи обратились в послевоенные годы. См.: *Valentiner W.* Rembrandt and Spinoza. London, 1957; *Balet L.* Rembrandt and Spinoza. New York, 1962.

[125] Задачи в этой области он намечал уже в 1901 году в обзоре «Старый и новый репертуар»: если бы было возможно приобщить актеров «к идейной жизни современности... они наверное создали бы наглядную пластику для того, что без их участия живет в одних только схемах»; ведь именно лицо может передать «судороги воли, судороги стихийных или идейных страстей. Слово человеческое навсегда останется лучшею оболочкою для чистой психологии и чистой логики, но волевая сила человека никогда не скажется так могущественно в его речи, как она скажется в его лице, в пластике его движений» («Книга великого гнева». С. 224, 239).

[126] Именно на таком написании слова настаивал Волынский, подчеркивая в нем греческий χορός, выражающий «хоровое», внутреннее универсальное начало в человеке. См.: ЖИ. 1923. № 10. С. 2.

жению *вертикальной культуры* человеческого тела, которое являет собой «свиток идей и чувств»,[127] развертывающийся ввысь в танце. Он убежден, что не только ранние дифирамбисты, но и Софокл «соединял с формами танца определенную мысль, влагая в них одушевление и пафос, не умещаемые в словах», равно как и Эсхил был «не столько драматург в нашем смысле слова, сколько балетмейстер».[128]

С 1910 года Волынский разрабатывает и пропагандирует своего рода *философию танца* — сначала в «Биржевых ведомостях», в качестве балетного критика, с 1918 года — в журнале «Жизнь искусства», где ведет постоянный отдел, посвященный балету, а в 1925 году — в теоретико-практическом учебном издании «Книга ликований. Азбука классического танца». За философией танца у Волынского стояло и серьезное педагогическое дело: в 1920 году он стал организатором и директором Хореографического техникума (Школы русского балета). Он верил в необходимость и успешность этого дела не меньше, чем верил в плодотворность *идеи* балета, убежденный, что, при нелюбви русского человека к отвлеченному мышлению, «самой судьбою сохранен для него некий вид философствования хотя бы в немых знаках классического танца на пальцах». И это ценнейшее достояние русской жизни, ибо, начиная опять-таки с «пляшущего на пальцах Аполлона», всякий «человек более или менее высокого стиля, с культурою возносящихся вечных правд в душе, является отподоблением в жизни хореграфической идеи стояния на пальцах».[129]

Литературная работа в эти годы составляла сравнительно небольшую долю в деятельности Волынского. С 1913 года он выступал в отделе литературы «Биржевых ведомостей» (а с 1916 года редактировал его). С 1920 по 1924 год заведовал итальянским отделом издательства «Всемирная литература», был председателем редколлегии и тогда же председательствовал в правлении петроградского отделения Всероссийского союза писателей. Заметки и очерки той поры немногое добавляют к его литературному наследию.

Хотя нужно сказать, что некоторые его статьи о балете представляют собой шедевры словесного оформления философско-эстетической критики — сочетание строгой логической и понятийной дисциплины с энергичным образно-экспрессивным стилем. А среди эпизодических возвращений к прежним историко-литературным темам выделяются два неопубликованных выступления о Достоевском и о Л. Толстом, в которых он произносит свой последний суд об этих гигантах ушедшей классической эпохи. Но о них речь ниже.

Скончался Волынский в Обуховской больнице 6 июля 1926 года.

* * *

Для бурной идейной жизни Волынского характерна не обычная в этой сфере «эволюция», а именно *элевация* — насколько это центральное в его теории танца понятие может быть применено к его интеллектуальной активности.[130]

---

[127] ЖИ. 1924. № 3. С. 11—12.

[128] Там же. № 5. С. 18.

[129] Там же. № 3. С. 11.

[130] Такие применения напрашивались сами собой: хорошо знавший Волынского артист балета Николай Густавович Легат назвал свою заметку о нем «Мысленный танцовщик» (РГАЛИ. Ф. 95. 1941. Ед. хр. 1106; опубликовано с изменениями: Небоскреб. 1922. № 11. С. 6); Эрих Федорович Голлербах вспоминал о нем как о «танцующем философе» (*Голлербах Э.* Встречи и впечатления. СПб., 1998. С. 133).

Этому балетному термину он сам придавал очень широкое, метафизическое, значение, связывая с ним явления психосоматического и пневматологического порядка и посвятив ему специальную статью. Элевация для Волынского — пластический символ преодоления земного тяготения, преодоления материальности человеческой природы в духовных экстазах личности. Он не исключал некоторого правдоподобия в сообщениях о том, что «Симон Маг, Аполлоний Тианский, Ямблих обладали способностью отделяться от земли и оставаться в течение нескольких мгновений в воздухе».[131] В человеке вообще и в танцовщике в частности он акцентировал «волевое устремление вверх» (что во сне, замечал он, сопровождается ощущением «невыразимого физического блаженства»). «Опираясь на внутренние свои вихри, вихри мысли, вихри высоких чувств», «развивая в себе деятельность духа, освобождаясь от материальных препон для его проявления, постепенно поднимаясь все выше и выше по героическому пути волевых командований телом», человек достигает элевации.[132] Описывая собственно балетную технику элевации в «Книге ликований», Волынский вносит важные уточнения: элевация не имеет ничего общего с акробатическим, «безыдейным» прыжком, для нее необходимо «волевое ощущение Фавора» и оно возможно, ибо «человек рождается с фаворскими кручами внутри, с куполами, с колокольнями и всякими-всякими верхами, и по кручам этим воля с детства ползет и карабкается все выше и выше...»[133] С восхищением наблюдал Волынский за танцем В. А. Семенова в «Жизели»: «Во втором акте собранные силы вдруг прорвались в исполненной на высоких темпах элевации превосходной, чисто мужской вариации. ⟨...⟩ Так летают только внутренне крылатые существа, сохраняя при этом во всем своем облике краску мужского героизма, мужского подъема».[134]

В элевации находит свое динамическое выражение та явленная еще в облике матери, повторившаяся в Иде Рубинштейн *вертикальность*, которую он так настойчиво отыскивал в символах религии и культуры, в творческих порывах искусства, взлетах мысли, в балете.[135] Раскрывая ее «широчайший смысл», он обращается к античным представлениям, ссылается на авторитет Гердера и Канта, признавшего (в рецензии на труд доктора П. Москатти) переход к вертикальному положению тела главным актом в истории человеческого развития.[136] Особенно же близок Волынскому в культурно-антропологическом истолковании понятия был прямо упоминаемый им «гениальный русский мыслитель Н. Ф. Федоров»,[137] который в своих

---

[131] ЖИ. 1922. № 50. С. 2. О чудотворстве Симона Мага (Симона Волхва) говорится уже в «Деяниях Апостолов» (8: 9—11), затем у Иустина, Иринея, Ипполита, Тертуллиана; в «Псевдо-Климентинах» повествуется о его попытке «вознестись на небо». Рассказы о чудотворстве древнегреческого философа Аполлония Тианского перешли в позднейшие времена из его жизнеописания, созданного в III веке Флавием Филостратом (см., например: *Каринский М.* Аполлоний Тианский // Журнал министерства народного просвещения. 1876. Ч. 188). Неоплатоник Ямвлих давал поводы к легендам о его «чудесах» тем, что способствовал изучению и возрождению древних магических и мистериальных практик; в частности, он, как и его учитель Порфирий, популяризировал историю о «воздухошествующем» гиперборейце Абарисе. Любопытно, что у романтика Г. фон Клейста возник символический образ грациозно-одушевленной куклы, которая благодаря силе всевышнего Кукольника не подвластна земному тяготению («О театре марионеток»).

[132] ЖИ. 1922. № 50. С. 2.

[133] *Волынский А. Л.* Книга ликований: Азбука классического танца. М., 1992. С. 44, 46 (далее сокращенно: Книга ликований).

[134] ЖИ. 1923. № 51. С. 16. Представление о «внутренней крылатости», несомненно, восходит к образу «крылатой души» во второй речи Сократа из платоновского «Федра» (251 b, c).

[135] Прежде всего в «танце на острых пальцах», в котором «вся патетичность человека скажется в пластической вертикальности» (ЖИ. 1924. № 5. С. 18).

[136] *Кант И.* Соч.: В 6 т. М., 1964. Т. 2. С. 441.

[137] Книга ликований. С. 32—33.

«Статьях о регуляции» (из второго тома «Философии общего дела») утверждал, что «востание» (как он называл этот «первый акт самодеятельности человека») было «выражением отвращения к пожиранию, стремлением стать выше области истребления», с осознания чего и началось мышление. Таким образом, противостав природе, человек обратился к Тому, Кто выше ее, ибо «в вертикальном положении уже заключается *я* и не-*я* и то, что выше *я* и не-*я*»; приняв вертикальное положение, человек «в самом себе скульптурно изобразил фигуру востания».[138]

Федоров, разумеется, не был единственным, кто в ту эпоху говорил о вертикальной доминанте культуры; в 1920 году ее проповедовал М. О. Гершензону В. И. Иванов.[139] Волынский последовательнее всех использовал данные представления в пространственно-динамическом описании творческих актов, прежде всего в русском культурном материале, и ему было бы что возразить на мнение О. Шпенглера об «отсутствии какой-либо вертикальной тенденции в русском жизнечувствовании».[140] Основное же возражение здесь — вся деятельность Волынского.

Чувственно-интеллектуальные формы ее ясно указывают на *Эрос* как внутреннюю движущую энергию; именно он дает творческим интенциям Волынского тот восходящий строй, который описан в платоновском «Пире», в эпоптической иерархии: любовь к прекрасному телу; любовь к прекрасному в телах вообще; любовь к душе, ее проявлениям и «образам»; любовь к самому знанию всего этого и, наконец, любовь к чистой идее, Ἔρως τῆς ἰδέας.[141] При этом у Платона чистому созерцанию идеи («нерожденного») соответствуют в сфере телесного: а) отрицание двуполой деторождающей любви и б) утверждение однополой любви, педерастии, которая, по трактовке А. Ф. Лосева, «и есть настоящая платоновская диалектика», «ибо она не имеет в своем опыте зачатия и порождения, она *интеллектуалистически* телесна, а не просто телесна».[142] У Волынского, в его жизненной и культурной практике, созерцанию идеи также соответствует отрицание деторождающей любви;[143] утверждается же (как эквивалент платоновской педерастии) *интеллектуально-аскетическая* устремленность к неличному: к идее-в-себе, к образу-в-себе, к телу-в-себе, которые предстают объектами со-

---

[138] *Федоров Н. Ф.* Соч. М., 1982. С. 507—520.

[139] *Иванов В.* Собр. соч. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 395.

[140] *Шпенглер О.* Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. М., 1993. Т. 1. С. 368.

[141] Интересен параллельный путь к «отрешенному идеализму» платоновского типа, прокладываемый другим «воинствующим идеалистом» на другом конце Европы — Мигелем де Унамуно (1864—1936). Современник и почти ровесник Волынского, он был таким же одиноким искателем трансцендентного в имманентном. Конечной целью провозглашенного им «донкихотовского идеализма», которому он придавал религиозный статус (*Унамуно М. де.* Рыцарь Печального Образа // Унамуно М. де. Житие Дон Кихота и Санчо по Мигелю де Сервантесу Сааведре, объясненное и комментированное Мигелем де Унамуно / Изд. подг. К. С. Корконосенко. СПб., 2002. С. 242 и др.), было «сочетание с великой и чистой идеей узами брака» (*Унамуно М. де.* Путь ко Гробу Дон Кихота // Унамуно М. де. Избранное: В 2 т. Л., 1981. Т. 2. С. 244), что противопоставлялось материальности и грубой чувственности былых и нынешних Санчо. На этом пути он, как и Волынский, столкнулся с идолопоклонством в отношении к «неприкосновенным» литературным авторитетам и, утверждая свою религию кихотизма, подверг жесткой критике «литературные суеверия», насаждаемые рутинерами и учеными педантами (*Унамуно М. де.* Об эрудиции и критике // Унамуно М. де. Житие Дон Кихота и Санчо... С. 268—282).

[142] *Лосев А. Ф.* Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 652.

[143] Его находим в те годы (1898) и у В. С. Соловьева, который теоретически и морально третировал в Эросе телесно-порождающее начало с его нескончаемой чредой деторождений, видя в этом лишь «отрицательную, дурную бесконечность, единственно доступную для материи-победительницы: постоянное повторение одних и тех же исчезающих явлений» (*Соловьев В. С.* Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 612).

зерцания вне процессов их человеческого порождения и существования. Он влечется к ним эротически, но не входит в их плоть — ни в собственно человеческую, ни в природную, ни в бытовую, ни в общественно-историческую; избегает всякого соития, союза с ними, отсюда существенная отстраненность Волынского от действительности разных порядков.

Ἔρως τῆς ἰδέας переживался Волынским в то же время и как Ἔρως τοῦ Θεοῦ.[144] Все линии его идейных элеваций, вырастающие из интимно-психических, мифологических, культурных истоков, сходились в одной абсолютно высокой точке — в Боге, но сам Бог для него был в значительной мере *идеей* — как и для Платона,[145] чей гносис играл определяющую роль в миросозерцании Волынского. Его религиозность была, в сущности, *религиозной идеологией*, удерживающей вертикальную доминанту[146] его деятельности. В 1890—1900-е годы эта идеология развивалась в русле христианской традиции, с которой Волынский никогда не порывал окончательно.

Важную роль на первом ее этапе сыграл Спиноза, у которого Волынский нашел христианскую этику, логически оформленную «в свете иудейского рационализма».[147] Начав сотрудничать у А. Е. Ландау в «Восходе», он напечатал там большую работу о теолого-политическом учении Спинозы, содержащем полемику с иудаистской ортодоксией, и усиленно подчеркивал «христианизм» рейнсбургского мыслителя. Расставшись с «Восходом», Волынский продолжил свою этико-эстетическую проповедь христианства в «Северном вестнике», затем в других изданиях и в новых формах.

На этом пути не мог не возникнуть для него вопрос о религиозности современного общества, о взаимоотношениях христиан и евреев. Волынский решил написать об этом Л. Н. Толстому; главную часть этого неопубликованного письма от 5 мая 1894 года приводим по хранящемуся в архиве автографу.[148]

«В Ваших философских статьях светится тот самый экстаз, которым проникнуты наиболее мне близкие по духу произведения Гоголя. Мое личное понимание жизни не имеет другого содержания, кроме религии, и потому я с особенной жадностью ловлю все то, в чем мне слышится движение религиозного чувства, что могло бы оживить мой дух, дать пищу моему уму. К сожалению, в христианском обществе так мало людей, любящих религию,

---

[144] Последний у него осложнялся и эмоционально окрашивался влиянием иудаистической традиции, вменяющей в долг человеку любовь к Богу (Втор. 6: 5—9; 11: 1, 13, 32); здесь один из истоков «богофильства» Волынского.

[145] «Для древней Греции Божество должно было оставаться *только* идеей; соответственно с этим и *Царство Божие* могло здесь быть *только* философским умозрительным царством, — поясняет Е. Н. Трубецкой. — ⟨...⟩ Божество-идея не могло сойти на землю, ни поднять ее до себя. Оно должно было оставаться вне области генезиса, т. е., иначе говоря, не могло *родиться* в мир» (*Трубецкой Е.* Социальная утопия Платона. М., 1908. С. 105).

[146] Не только следуя онтологической метрике христианства, но и в связи с возросшим в начале XX века общенаучным интересом к пространственным координатам непространственных явлений мыслители той эпохи использовали представление вертикальности (перпендикуляра относительно природно-исторической горизонтали / плоскости) для характеристики религиозного осуществления свободы в жизни и в культуре. М. М. Тареев писал: «Абсолютное устремление к идеалу возможно лишь в личной воле, общественное же осуществление идеала по необходимости условно. Религия есть вечный перпендикуляр к направлению общественной жизни и, как бы ни пошло это направление, оно будет иметь свой перпендикуляр» (*Тареев М. М.* Основы христианства. 2-е изд. Сергиев Посад, 1908. Т. IV: Христианская свобода. С. 389). П. А. Флоренский видел в о. Алексее (Мечеве) «одного из немногих в современной жизни представителей духовной свободы», направленного «по перпендикуляру к миру» (*Флоренский Павел, священник.* Соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 2. С. 611).

[147] [*Волынский А. Л.* Примечания редактора] // Переписка Бенедикта де Спинозы с приложением жизнеописания Спинозы И. Колеруса. СПб., 1891. С. 147.

[148] РГАЛИ. Ф. 95. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 2—4.

хотя очень много пылких ораторов на различные текущие темы общественной морали. Только уезжая на побывку в родной мне город, я чувствую себя среди людей, умеющих думать и говорить о Боге. В небольшом еврейском муравейнике горячие страстные споры о религии производят на меня очищающее и облагораживающее действие. Где думают о Боге, где на память цитируется Исайя, где на тысячу ладов освещаются никем не превзойденные сомнения Иова, — там не может быть смерти, там жизнь будет развиваться во что бы то ни стало. ⟨...⟩

Эта среда разлучена с Христом по историческому недоразумению, и я верю, что придет время, когда евреи вернутся к Нему, как к идеальнейшему выразителю лучших пророческих преданий. ⟨...⟩ Мне мерещится религиозный переворот в самом еврействе, который не останется без влияния на судьбу христианской идеи.

Христа надо проповедовать в еврейской синагоге с такою же энергией, как и в христианской церкви. Мне хочется выдать Вам тайну моей души. Когда я[149] почувствую, что ум мой достаточно зрел для такого важного дела, я оставлю столицу и уйду в простую еврейскую среду проповедовать Христа».

Ответ Л. Н. Толстого (копия рукой Волынского, не опубликован) гласил: «Один выход для евреев и еще больше для их гонителей в том, чтобы соединиться в истине, во всей доступной сознанию человечества истине, т.е. впереди, а не в той истине, которая когда-то прежде была истиною. Не откладывайте. Жизнь не только коротка, но и совсем не наша. Как мне ни сочувственна ваша деятельность литературная, она игрушка в сравнении с тем, что представляется там. Гонений и страданий там будет еще больше. Готовы ли вы на них? До свидания. Лев Толстой».[150]

Задолго до богоискательства Д. С. Мережковского, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, до провозглашения «нового религиозного сознания» и в противовес «меоническим» культам Н. М. Минского Волынский, несомненно под сильным влиянием Достоевского и при не вполне выясненном пока влиянии Н. Ф. Федорова и В. С. Соловьева, очень твердо и требовательно указывает на *сверхисторическое* задание личного и культурного развития: «Бог — наша последняя и притом труднейшая задача, цель всех наших стремлений, заключительное слово человеческого понимания. Наука, ставшая философией, философия, ставшая религией, — дальше, выше просвещение не идет». Это программное выступление, порожденное острым переживанием тогдашней эпохи fin de siècle как, в первую очередь, la décadence de foi, Волынский завершает тирадой, профетический пафос которой мог найти отклик у многих: «Мы сказали, что религия спасала и спасает человечество. Возрождаясь, религиозное чувство приводит в движение основы прогресса и свидетельствует о приближающейся нравственной реформе. Когда заглушится гражданская энергия людей, когда случится банкротство с политическими стремлениями общества, тогда является на помощь религия...» Определенно связывая такое возрождение с великой и не иссякшей, как он убежден, иудео-христианской традицией, Волынский, однако, избегает здесь прямо говорить о евангельской вере: «Совершится только великий акт перерождения Ветхого Завета в непоколебимый закон добра и света. С нами Бог...»[151] Тем не менее позже он все-таки будет последовательно развивать новозаветную антропологию и утверждать вечное значение Христа для человечества и с этой позиции резко выступать против Ницше и дека-

[149] Далее зачеркнуто: «немного состарюсь».
[150] РГАЛИ. Ф. 95. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 4—5.
[151] СВ. 1893. № 9. С. 181, 201.

дентствующих «маниаков Диониса» (так называл он Вяч. Иванова), критиковать изображение раннехристианского Рима в романе Г. Сенкевича «Quo vadis?», оценивать буддизм, судить об изобразительном искусстве и русской литературе.[152]

Изучение творчества Леонардо да Винчи и его окружения убедило его в антихристианской тенденции и автора «Джоконды», и итальянского Ренессанса в целом, что он проследил (не без помощи работ У. Пэтера) от Верроккио и Боттичелли до Леонардо.

Для Волынского стала наглядно ясной связь творческого акта с религиозным состоянием личности, связь красоты художественной с богочеловеческой красотой, с абсолютными истинами христианских созерцаний именно тогда, когда он обнаружил ее поврежденность у Леонардо, который «страдал глубокими внутренними болезнями, и самая ширина его мысли, схоластически запутанной и беспредельной, была не чем иным, как брожением сложных сил, которые не укладывались ни в какую форму и не имели в себе внутреннего простого центра. Религиозное чувство не давалось ему», и в рисунках его мадонн, еще не покрытых красками, «отразилось то гнилостное разложение, на которое были обречены двойственные натуры бессильной эпохи ренессанса».[153] Если в наброске Христа к «Тайной вечере» он был очень «близок к той красоте, которая овладевает миром, побеждая всякие суетные ухищрения рассудка» и «правда почти коснулась его, когда он создавал свой великолепный эскиз, передавая отвлеченную мысль кроткого страдания за людей»,[154] то в «Джоконде», гениальной «художественной химере», созданной в ходе «эксперимента над человеческой душою», нет ни природной правды, ни красоты. Ее беспредметная и бессильная улыбка «порождена ее беспомощным положением среди определенных различных культур, не слившихся между собою. ⟨...⟩ Это неподвижная гримаса, неприятная, раздражающая, придающая всему лицу Джиоконды, при его общей некрасивости, оттенок какого-то особенного уродства, невиданного в искусстве ни до, ни после Леонардо да Винчи. Улыбка Джиоконды кажется загадочной только потому, что она не может быть объяснена ни одним из понятных нам божественно-человеческих чувств».[155]

Примечательно, что интерпретации Волынского позже почти дословно повторит П. А. Флоренский, говоря об «улыбке греха, соблазна и прелести — улыбке блудной и растленной», которой отмечены все лица Леонардо, а лицо Джоконды особенно,[156] и использует это как важный аргумент в своей критике безрелигиозного ренессансного гуманизма.

На своем религиозном пути Волынский настойчиво искал адекватные *художественные воплощения* «идеи Бога», видя в них проявление богочеловеческого процесса в культуре и в истории, форму исповедания христианской истины не менее значительную, чем исповедание церковное.

В современной живописи он нашел такое воплощение в картине Н. Н. Ге «Распятие», где «красота сливается с высшей правдой» того события, когда

---

[152] См. его статьи «Репин и Ге» (СВ. 1895. № 3), «Религия в современной литературе», «Аполлон и Дионис», «Христианство и буддизм», «Богоотступные черты» в книге «Борьба за идеализм», «Что такое идеализм?», «Современная русская беллетристика» в «Книге великого гнева».

[153] СВ. 1897. № 12. С. 207.

[154] Там же. № 10. С. 201.

[155] Там же. № 11. С. 246, 247, 251 (в некоторых случаях у Волынского сохраняем особенности прежней орфографии).

[156] *Флоренский П., свящ.* Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. М., 1914. С. 174. В примечаниях он указывает все издания труда Волынского о Леонардо и подкрепляет его идеи ссылкой на работу З. Фрейда.

в человеке «просыпается Бог», хотя внешне это получает страшное, уродливое выражение — как в фигуре сораспятого Христу разбойника.[157]

В истолковании картины Волынский делает шаги, пока еще осторожные, в направлении эстетического модернизма, выступая только вестником «новой красоты». Смысл таких художественных новаций он не формулирует философски, но здесь необходимо пояснить его применительно к разработке религиозных тем в искусстве. «Небывалая» красота шокирует, но в том и состоит акт творчества, что абсолютная истина должна каждый раз представать в момент своих новых, беспощадных требований к бытию и отмены прежних, культурно канонизированных ее выражений — моральных, интеллектуальных, эстетических — как уже примирившихся с неистинными состояниями мира. Это момент разрушительный и созидательный одновременно. Так богоявление в человеке каждый раз требует преображения всей его тварной природы; и чем она оказывается дальше от Бога, тем мучительнее, трагичнее процесс такого преображения.

Возражая И. Е. Репину, который счел фигуру разбойника «карикатурной», и другим «компетентным людям», испытавшим недоумение при виде этого «безобразия», Волынский напоминает о неизбежности «прогресса красоты» и ссылается на объяснения самого Ге во время беседы с ним в редакции «Северного вестника», которые произвели «громадное впечатление» и убедили в правоте художника.

Иного рода воплощения обнаружились у Н. С. Лескова, особенно привлекшие внимание Волынского в «Соборянах», в рассказах «На краю света», «Запечатленный ангел», «Томление духа». Дороже всего здесь изображение непосредственного присутствия Христа в состояниях, помыслах и поступках жизненно «маленького человека», который достигает необычайного величия, когда в нем действует Христова правда. В таких эпизодах психологическая достоверность и словесная искусность Лескова создают «красоту бесплотной правды» и «несколькими штрихами, одновременно красочными и, так сказать, метафизическими», рисуются «человек и Бог в живом союзе».[158] В высокой, почти восторженной оценке таких эпизодов сказалось не только наслаждение критика превосходной литературной разработкой излюбленной темы, но и находимая им у Лескова реальная феноменология такого народного богопознания, на котором Волынский намеревался основывать свой «союз с Богом».

В творчестве Достоевского он прошел значительную, и может быть, главную часть своего религиозного пути. В сущности, все посвященные писателю статьи и циклы, составившие знаменитую книгу, есть рассказ о переживавшемся Волынским в 1890—1900-е годы страстном и сложном *богофильстве*.

Подчеркивая, что «оно связано для современного человека непременно с Христом», он определяет его как «ощущение божества через собственную душу, ощущение бесконечного — смиренное, тихое, скорбное», сопровождающееся «экстазом самоумаления,[159] которое является неизбежным следствием одновременно и полусознательного самоощущения и светлой разумной логики».[160]

---

[157] СВ. 1895. № 3. С. 271—278.

[158] *Волынский А. Л.* Н. С. Лесков. Пб., 1923. С. 91—93.

[159] Так трактует Волынский сквозную у Достоевского и традиционно акцентируемую православием тему кеносиса. См. подробнее: *Котельников В. А.* Красота истощания: О кенотической антропологии Достоевского // Записки русской академической группы в США. New York, 1996—1997. Т. XXVIII.

[160] Достоевский. С. 75.

Наибольшего подъема богофильские настроения Волынского достигают в ходе опровержения головного «демониакального надрыва» Ивана Карамазова, и выражаются они с подлинно исповедальной и одновременно пророческой экспрессией. Такие страницы многое проясняют в духовных состояниях Волынского, когда он признается: «Последнею верою верится в высший смысл жизни, несмотря на все ее уродства и обиды, и когда живешь не одною только логикою, а всем существом, нервами и страстями, сердцем, — постоянно улавливаешь сквозь страдания, свои и чужие, какие-то нежные звуки, какое-то прощение всему и всем, не будущую только неопределенную, бесформенную гармонию, а уже как бы пришедшую, уже существующую, уже данное разрешение великой трагедии человеческого бытия в новых, умилительных экстазах. Страдаешь и плачешь над своими и чужими печалями и все-таки улыбаешься, сам не зная в точности чему. И эта улыбка, детская улыбка неземной радости, едва уловимого настроения, стоит всех страданий мира и достаточна для того, чтобы человек не расстался со своим правом на жизнь, с тем билетом, который Иван, при своей демониакальной гордости, почтительнейше возвращает Богу. Все культуры истории, все грубые катастрофы человечества, все наслоения его бедствий — все это не больше, как орудия для создания на страдающем человеческом лице этой примирительной улыбки. Человек примиряется с Богом, примиряется с людьми, но несомненнее и глубже всего он примиряется с самим собою, психологически примиряется, и в этом новом, примиренном виде с новым гимном выходит на новые дороги истории».[161]

Однако эти «новые дороги», уверен Волынский, должны пролегать в стороне от указываемой Достоевским национальной «почвы», ибо недвижно прозябающая в ней религиозность, остающаяся в пределах природно-племенного тела народа, неизбежно сужается, замирает, входит в противоречия с историческим движением христианства и с его общечеловеческой миссией. Еще действительно живой в народе религиозный инстинкт должен развиться мистически и умственно до полноты религиозного опыта, до ясного веросознания, миропонимания, а здесь главная роль принадлежит личной инициативе — будь то богоутверждающие экстазы Зосимы, карамазовская безудержная воля и к бытию и к страданию или даже вызывающее кирилловское богоотрицание и воля к небытию. Подобные дерзания, акты свободы — необходимые ступени к Богу.

В поисках безусловно твердых, слагавшихся тысячелетиями неколеблющихся ступеней Волынский двинулся в обход тех сфер, где господствовали официальная церковность и православный филетизм, и обратился к святоотеческому наследию и к аскетическому православию Афона. Во время пребывания его на Святой Горе, как сообщает Е. М. Браудо,[162] монахи убеждали его принять крещение, но Волынский возражал, что этот обряд не сделает его более христианином, чем он уже есть в душе.

Вопрос о его отношении к христианству, вообще об отношении к нему евреев в настоящем и в будущем вновь обострился для него, и по возвращении в Петербург он обратился с письмом на эту тему к авторитетнейшему пастырю Иоанну Кронштадтскому. Не получив от него ответа, он послал аналогичное, видимо, письмо митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Антонию (Вадковскому). Автограф этого письма и машинописная копия с авторской правкой находятся в РГАЛИ.[163] Автограф без даты; на ко-

[161] Там же. С. 214.
[162] См. выше сноску 122.
[163] РГАЛИ. Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 174. Л. 1—10 об.

пии надписана дата: «1902 25 сент.» (зачеркнуто «ноябрь»). В. Я. Брюсов после встречи с Волынским в феврале 1902 года писал о нем в дневнике: «Занят он русской иконописью. Едет на Афон и в Палестину».[164] Возможно, эту поездку (на которую нет точных указаний в других источниках) имел в виду Волынский, сообщая в письме, что «этим летом был на Афоне». Повод для некоторых сомнений в датировке дает надпись на копии: «Они — христиане (письмо в редакцию)». Текст под таким заглавием, датированный мартом 1900 года, был напечатан в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1900. № 60) и перепечатан в книге Волынского «Царство Карамазовых. Н. С. Лесков. Заметки» (СПб., 1901). Если допустить, что первоначально, в конце 1899 или в начале 1900 года, предполагалось опубликовать данное письмо, но впоследствии был написан и отослан в газету совершенно другой текст на ту же тему, тогда документ следует отнести к 1899 году, как то и делает Е. М. Браудо. Приводим письмо по упомянутым архивным источникам.

С-Петербургскому Митрополиту Антонию

Милостивый Государь![165]

Я хочу обратиться к Вам с великою для меня просьбою. Буду говорить от души, вынимая из нее то, что горит в ней и волнует ее уже много лет. По рождению и, т⟨ак⟩ сказ⟨ать⟩, по официальному положению моему я — еврей, т. е. я не крещен, но по убеждению моему я христианин, потому что я люблю Христа, Его учение и питаю те верования, которые отличают христиан от нехристиан. Чем больше я занимаюсь Евангелием, чем глубже вникаю в смысл всей вообще христианской легенды и вчитываюсь в святоотеческую литературу, тем больше я слышу в себе этот голос внутреннего убеждения и говорю себе, что я именно христианин. Но для общества я еврей. Этим летом я был на Афоне, бродил по пустынным опасным дорожкам, соединяющим монастыри, любовно изучал в этих монастырях остатки византийского православия в литературном и иконописном творчестве, взошел на самую вершину Афон и оттуда, с бьющимся сердцем, смотрел на голубые воды Эгейского моря, по которому христианство, победив и ниспровергнув Элладу, перешло в великий Царьград. Я не могу передать Вам моих впечатлений этого лета и моих настроений. Несколько недель пронеслись, как один день, в этом очаровательнейшем углу всего мира, и никогда еще прежде пульсация моего сердца не сливалась так с тем, что я сам считаю пульсацией христианского сердца и христианской мысли. Но и тут окружавшие меня монахи, которым угодно было заглядывать в мою душу и беседовать со мною на разные богословские темы, не переставали говорить мне, что хотя я духом крещен, но все-таки я еврей, а не христианин, потому что не крещен водою. Даже в последнюю незабвенную для меня ночь, которую я должен был провести на пристани Дафна, сопровождавший меня монах в течение нескольких часов старался доказать мне, что все мои искания, волнения и томления, все мое внутреннее, сердечное касание к Христу и христианству должны пропасть даром, потому что я не могу и не хочу принять крещение. Я спорил с этим благодушным монахом чуть не до слез, приводил все возможные доводы в защиту того, что дело не во внешнем обряде, что все дело в строе души, мыслей и верований, но он был непреклонен и не пролил в мою душу ни одного теплого слова. Он бил меня догматами, которые, при огра-

[164] *Брюсов В.* Дневники. 1891—1910. М., 1927. С. 115.

[165] В автографе это обращение отсутствует; в машинописной копии над ним зачеркнуто: «Высокопреосвященный Владыко».

ниченности его собственных логических средств и узкости кругозора, превращались в какие-то камни. Он бил мою живую веру, тоже непреклонную, за которую я тоже готов принять какие угодно мучения, этими камнями, как били некогда язычники убежденных христиан. Он казался мне язычником в своей неподвижности, в своей слепоте, в своем неумении смотреть в душу, а все кругом, и дикие скалы Святой Горы, с их глубокими тенями, и купол неба, залитый звездным серебром, и воздух, дышавший теплотою, — все казалось напоенным христианскими настроениями. Я сел на пароход и отправился к Царьграду, возбужденный, взволнованный, и все время думал, что современные христиане страшно далеки от Христа, дальше, чем тот разбойник, который был принят Христом в число своих последователей за одно предсмертное слово, за один предсмертный крик.

Но в моих мыслях я иду еще дальше. Сам я только единица моего народа, который считается на суде народов, принявших христианство, народом враждебным Христу и христианству. С этим я готов спорить всею силою моей души, не от одного только ума моего, который у меня, как и у всех вообще, ограничен и не обнимает великих религиозных движений сердца, а от каких-то внутренних бессознательных сил и чувств, которые кричат громче всякой логики.[166] Еврейство создало Христа. Это значит, что еврейство обладает теми органическими свойствами и духовными силами, из которых мог выйти величайший из всех богочеловеков. Явление этого Богочеловека показывает, что идеальная сторона Его народа была достаточно развита, чтобы выразиться в Нем с такою силою. Он был уже богочеловечен, этот народ, в своих лучших представителях, которые действительно оказались близкими Христу, приняли Его учение и разнесли свет этого учения по всему миру. Когда Христос пришел, еврейство раскололось на две половины: христианскую и антихристианскую, идеалистическую и реалистическую, т. е. помышляющую о житейском. Иуда явился как бы воплотителем этой второй половины еврейского народа. Это как бы Антихрист в исторической борьбе с Христом. Можно сказать, что вся дальнейшая история еврейского народа, в ее главных[167] выражениях, представляет собою диалектическую борьбу этих двух противоположных начал, Христа и Антихриста, великую трагедию органического раздвоения[168] при постоянном внутреннем накоплении в душах идеального света, идеальной богочеловеческой правды. То же самое ведь делается и в среде так называемых христиан, ибо приходится сказать, что и в них Антихрист постоянно и крепко борется с Христом и на поверхности даже постоянно побеждает Его — в материальной исторической жизни, столь далекой от идей Христа. Другие народы, называясь поголовно христианскими, имеют мало органического сродства с Христом, приняв официально Его учение, только в редких случаях духовно следуют этому учению. Евреи же, официально и поныне отвергающие Христа, имеют Его учение как бы в костях и крови своей и, следовательно, рано или поздно, созрев и в идеальной духовной своей сущности, примут Его с великой радостью и с тем великим пониманием, с каким отец подходит к напрасно обиженному и отвергнутому им сыну. Этот момент примирения еврейства с Христом будет величайшим моментом в истории человечества, потому что только тогда, впервые тогда выступят люди, умеющие особенно глубоко понимать и любить настоящую душу христианства, его великую мистику, его двуединую

---

[166] Далее зачеркнуто: «Говоря обыкновенным языком, которого не надо чуждаться, ввиду его простоты и ясности, и в религиозных вопросах, я мог бы сказать, что».

[167] «главных» вписано над зачеркнутым «внешних».

[168] «диалектическую ~ раздвоения» вписано над зачеркнутым: «некоторую бессильную и бледную материализацию идей Антихриста».

метафизическую правду — теоретическую и жизненную. Мне кажется — этот момент приближается. Идеи реалистического Иуды меркнут и мельчают среди современного еврейства, а духовная правда, которая всегда за Христа, всегда с Христом, становится для него все ощутительнее. Говорю это, не опираясь ни на какие внешние свидетельства, а как бы в некотором внутреннем предслышании неизбежных поворотов истории этого народа, поворотов, которые будут обновительны и спасительны и для него самого и для всего мира.

Я иду еще дальше и ударяюсь в фантазию, от которой не могу отрешиться. Как это будет, как произойдет в реальности это примирение, это новое восприятие Христа народом, Его создавшим? Грезится мне, что в один какой-то день (с точки зрения исторической науки такой день может продлиться целое столетие) старый еврейский народ почувствует, что с плеч его спала страшная тяжесть. Что-то мучительное, столетиями бременившее его сердце и душу, рассеется, — ему станет легко. Ему станет легко, потому что по душе, которая прежде изнемогала в пламени вражды, ответной вражды, раздуваемой в ней злым гением исторического Антихриста, вдруг пронесется освежающее веяние нового мистического откровения. В этой душе станет как будто пусто, потому что в ней не будет прежних кошмаров, прежних чувств и желаний. В этой пустоте и прозвучит старое, вечно новое слово Христа. Мессия[169] придет в этот день как бы впервые — под солнцем нового разумения. Я говорю, что не имею никаких внешних свидетельств в доказательство того, что время это придет, но думается мне, что и моего единоличного убеждения в этом вопросе уже достаточно, чтобы сказать, что еврейство идет по этому пути, что где-то слышны уже голоса будущего веселья евреев на почве христианской идеи. Я крепко верю в это, потому что в моей душе все это кричит. И вот еще хочется сказать, что и тогда, в день, когда разрешится в глубоком самопознании великая трагедия еврейской истории, еврейство примет Христа именно так, как я Его принимаю теперь — тоже без всякого обряда, без крещения водою, одною только открытою душой. Догмат крещения, так же как и другие догматы, одновременно потеряет ценность реального, внешнего обряда, обязательного для человека христианских убеждений, и выиграет для умов, вместе с другими догматами, в своем внутреннем философском содержании. Эти церковные обряды, эти догматы христианского богословия, от которых многие из современных людей бегут из-за их непонятности, распечатают свои секреты, и в оборот истории вольется масса великолепных метафизических идей, в настоящее время совершенно еще не разработанных. Я люблю эти догматы в их будущих, так сказать, обнаружениях, в их будущем освещении, когда с них спадет жесткая чешуя внешнего общеобязательного обряда. Люблю, например, идею причащения тела и крови Христа, потому что вижу в этой идее великое воззвание к человеческой личности, чтобы она отдала все свое личное, все свое чисто человеческое на крестное служение безличному, высшему, божескому началу. Вам покажется, может быть, что я говорю как еврей, стоящий вне христианства, но сам я думаю крепко, непреклонно, неразрушимо, что во мне говорит что-то христианское, то самое начало, без которого нет живого отношения к Христу. При этом я глубоко верю, что еврейство не напрасно живет в России. Русский народ, еще не испорченный поверхностною культурою, сердечно столь близкий к Христу, когда-нибудь в невидимых отдалениях истории сольет свою теплую сердечную струю с энтузиазмом еврейского

[169] Перед «Мессия» зачеркнуто: «Тот»; после зачеркнуто: «которого ожидает еврейский народ, уже пришел в лице Христа, но для тех, кто Его еще не принял, он».

ума, особенно склонного к метафизическим тонкостям. Верится, что так будет.

Я начал мое письмо с заявления, что имею к Вам большую просьбу. Эта просьба моя состоит в том, чтобы Вы сказали мне Ваше мнение по этому вопросу. Пусть это будет, как если бы я был у Вас на духу и излил перед Вами то, что наболело в моей душе. Скажите что-нибудь моему сердцу. Я выслушаю Вас с великим вниманием. Неужели и Вы дадите мне камень вместо хлеба или даже захотите побить меня камнями внешней догматики, как это делали со мною некоторые монахи на Афоне? Я прошу у Вас не каких-либо религиозно-философских назиданий, а просто живого слова, идущего от сердца, полного[170] веры и чующего чужую посильную веру.

А. Волынский

Митрополит Антоний отвечал на следующий день (копия неизвестной рукой[171]):

М. Г.

Получил письмо Ваше и прочитал его с чувством истинной радости. Вы любите Христа, и Христос Вас любит и благословляет. Если хотите со мной беседовать, благоволите пожаловать ко мне завтра в 11 ½ ч. утра. Живую речь предпочитаю письменным рассуждениям.

Да будет Христос Господь наш всегда для Вас Источником Света, Радости и истинного блаженства.

С совершенным к Вам почтением

Митрополит Антоний

По словам Е. М. Браудо, беседа с митрополитом продолжалась около трех часов, и в конце ее Антоний, исчерпав все аргументы, заключил: «Вы говорите как Савл, а могли бы говорить, как Павел». Из написанного Волынским на следующий день второго письма к митрополиту явствует, что Антоний не возражал против изложения ее в печати; однако Волынский просил своего корреспондента прислать собственноручные возражения на его первое письмо с тем, чтобы напечатать их вместе.[172] Но эта публикация не состоялась.

Движение религиозной мысли Волынского в 1900—1910-е годы происходило по большей части подспудно и отмечено немногими внешними проявлениями, тем более что в тогдашней деятельности своей он был захвачен большой темой обновления драматического театра, а затем балетом, которому надолго оказались отданы эстетико-критические и организаторские его дарования. Е. Д. Толстая полагает, на основании литературных «отражений» фигуры Волынского в современных ему романах «Томление духа» О. Дымова и «Мэри» Шолома Аша, что в ту пору его «занимала иудео-христианская проблема», которая разрешилась позже созданием «единственной в русской символистской культуре версии „Третьего Завета", ориентированной на иудаизм».[173]

Этот процесс осложнялся у него несколькими религиозно-философскими и культурно-историческими мотивами. Один из них — «аполлиниза-

[170] Далее зачеркнуто: «большой».
[171] РГАЛИ. Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 311. Л. 1.
[172] Там же. Ед. хр. 174. Л. 11—12.
[173] *Толстая Е.* Мирпослеконца. М., 2002. С. 17—18.

ция»[174] христианства во имя очищения идеи и образа Богочеловека от исторических и психологических искажений, во имя выпрямления, рационального освещения пути к «универсальной духовности царства Божьего на земле». Волынский выдвигает в качестве главного содержания религиозности именно внутреннее «идеологическое христианство» (в чем он считает своим предшественником Оригена) в полемике с современным квазирелигиозным движением с его попытками «социализации неба и Христа» и разными шаткими «богопостройками», с одной стороны, и с попытками «произвести на свет по программе, предуказанной Ницше, новую расу, оргиастическую, соборно справляющую великое таинство Диониса в „огнестолпных" храмах славяно-германского вдохновения» — с другой.[175]

В 1910 году он еще допускает, что в русской культуре могут возобладать «стремление уйти от прежних эмоциональных путей, жажда увидеть мир глазами духа, через дух коснуться, в трепете и страсти, этого мира. Тогда, при общей талантливости русской натуры, при ее тончайшей способности осязать бесплотное, при ее чуткой тактильности по отношению к нежнейшим движениям человеческого сердца — то, что сделало русскую литературу одним из великих явлений мира, — Россия может явиться настоящим Вифлеемом для религии нового человека, ибо новая религия не может быть ни чем иным, как духовным опознанием в идейном энтузиазме всех чувственных явлений мира. Тогда Россия сделается родиной нового Аполлона, этого высшего символа человеческой интеллектуальности».[176] Однако сомнения в таком исходе у него уже и в ту пору были велики, а впоследствии он оставит подобные надежды и перенесет тему «новой религии» на совсем иную почву.

В другом мотиве как будто угадывается психический эксцесс, болезненная реакция на крушение духовных ожиданий не просто темпераментного мыслителя, а жреца идеалистических культов. Но в истоках его последних религиозных и философских решений находим все-таки не эксцессивные состояния (которые, конечно, овладевали им в кризисные годы), а продуманный идейный и волевой акт — *разрыв с историей*, который наружно произошел под вызывающе громким и запоздало — через несколько лет — выкрикнутым лозунгом «разрыва с христианством». Волынский не мог простить истории, что ее ход привел к уничтожению всех социальных и антропических оснований для создания монистического «царства идей». Он вышел из исторического пространства и вернулся в пространство *мифа*: в поисках несокрушимой опоры для своих рушащихся проектов он обратился к мифическому «гиперборейскому корню», к «скале отцов, скале вечности»[177] — и это было последнее, что он утверждал, размышляя о собственном происхождении и судьбе за полгода до смерти.

---

[174] Побужденный к тому третьим (1894) изданием ницшевской «Die Geburt der Tragödie», Волынский осмыслял аполлиническое начало в культуре как дополняющее и одновременно ограничивающее, интеллектуально оформляющее стихийные творческие энергии, прежде всего дионисическую стихию (см. его статью «Аполлон и Дионис»). В контексте его «богофильских» интерпретаций Достоевского «молодой Аполлон» мог отождествляться с человекобогом, «сверхчеловеком», который в Иване противостоит Богу (см.: Достоевский. С. 253, 260 и др.), но в целом, конечно, его аполлинизм тяготел к эллинско-христианскому Логосу и вполне согласовывался у него с рациональным монотеизмом в иудаистической и более ранних его версиях, что еще в 1996 году отмечала Е. Д. Толстая (см.: *Толстая Е.* Аким Волынский в литературных «зеркалах»: двадцатые годы // Литературное обозрение. 1996. № 5—6. С. 151).

[175] *Волынский А.* Бог или боженька? // Куда мы идем? Настоящее и будущее русской интеллигенции, литературы, театра и искусств. Сборник статей и ответов. М., 1910. С. 28—29.

[176] Там же. С. 31—32.

[177] Минувшее. 17. С. 289.

Этот завершающий фазис духовного пути Волынского ознаменован чредой событий, начавшейся дискуссией о Гейне. 25 марта 1919 года на заседании редколлегии издательства «Всемирная литература» А. А. Блок прочел доклад «Гейне в России», ответом на который был «налет Волынского».[178] Пафосом его «налета» (не только на Блока, но и на выступавшего там Горького) было отстаивание неиссякаемости гуманизма как «явления космического».[179] 2 декабря того же года Блок записывает: «Волынскому — что касается иудаизма у меня в стихах».[180] 26 декабря: «Волынский делал замечательный доклад о *Гейне и иудаизме*. Я возражал»; уже на следующий день «возражение Волынскому» было написано Блоком.[181]

Поводом для доклада стала реплика Блока об измене Гейне иудаизму, брошенная в прениях по статье В. М. Жирмунского «Гейне и романтизм» (ею открывался VII том Сочинений поэта в издании «Всемирной литературы»), и сама концепция ученого, намеченная еще в вышедшей в 1914 году его книге «Немецкий романтизм и современная мистика». Внутренним же мотивом была критика христианства, в котором он вдруг особенно явственно увидел смертельную угрозу монотеистической идеологии и культуре иудаизма, а в силу духовно-фундаментального для человечества значения последнего — угрозу и мировой культуре вообще. Ближайшим историческим выражением такой угрозы предстал иенский романтизм в союзе с «католической реакцией», с которым у Гейне, «иудаиста насквозь, рационалиста первого ранга, чистого осколка гиперборейской изначальной скалы», не могло быть ничего общего.[182]

Волынский явно гиперболизирует антихристианские настроения Гейне с помощью своих собственных аргументов, подчас несоразмерно с реальной позицией поэта. Вопрошая, «что отталкивало Гейне в этом трогательном и возвышенном учении?», он отвечает за него: «Прежде всего в нем ощущается отсутствие монолитности — цельности и связности гетерогенных частей. Это сплав разнородных стихий, в котором все бурлит, в котором нет ничего устойчивого в идейном смысле слова. Амальгама хамитской мистики и месопотамской магии с примесью густых яфетидских наслоений, завернутая в эллинский плащ филоновской вышивки — вот что такое христианская идеология в ее популярнейших церковных редакциях», и эти разнородные потоки «с древнейших времен стремились подмыть основные устои семитического духа, незапятнанный гиперборейский монизм».[183] Героизируя фигуру Гейне как идейного оппонента христианства, Волынский, в сущности, хочет доказать одно: в явлениях такого рода «монистический дух иудаизма, без дуалистических и триалистических расслоений, стоит перед глазами человечества непреоборимой скалой» и, возвращаясь к этому духу, поэт «вернулся к чистому источнику мировой культуры».[184]

Блок в своем «возражении» упрекал докладчика, что он слишком «увлекся иудейско-рационалистическим элементом христианства и во имя его

---

[178] *Блок А.* Записные книжки. М., 1965. С. 454.

[179] *Чуковский К.* Дневник: 1901—1929. М., 1991. С. 106.

[180] *Блок А.* Записные книжки. С. 482.

[181] Там же. С. 484. Это «возражение» Блок отдал Волынскому, который позже передал его в журнал «Жизнь искусства», где оно и было впервые напечатано под заглавием «О иудаизме у Гейне» (1923. № 31) рядом с выступлением самого Волынского. Нужно заметить, что неприятие религиозно-философских идей последнего Блок обнаруживал и раньше: еще в «Письмах о поэзии» (1908) он отказывался верить всему тому, что «так страшно *симметрично*», — как «богофильство» и «богофобство» Волынского, «верхняя и нижняя бездна» Мережковского, «два пути добра» Минского.

[182] ЖИ. 1923. № 31. С. 6.

[183] Там же. С. 9.

[184] Там же. С. 10.

проклял все остальное», но самое филиппику его признал свидетельством «силы христианства», «раз оно может быть предметом таких страстных, вдохновенных и бескорыстных нападений».[185]

Несомненно, что прежде всего современная катастрофическая история с ее стихийной активностью огромных масс, с грубым смешением рациональных, утопических и мистических идей преобразования мира[186] вызывала отвращение у Волынского,[187] оттолкнула от всякого идейного соучастия в таком развитии истории, заставила и в историческом христианстве видеть преимущественно бессознательную массовость, низовую хамитскую религиозность, простонародный магизм.

По тем же причинам он предпринял критический пересмотр текстов Нового Завета, поднявши с этой целью обширную святоотеческую и историческую, а также богословскую и филологическую литературу. Результатом стала небольшая книга «Четыре Евангелия».[188]

Рассматривая Евангелия как «величайший памятник мифотворчества на религиозной почве», Волынский не оставляет миф в сфере метафизических созерцаний и художественных фантазий, а придает религиозному мифу огромную преображающую силу, несравнимую с силой воздействия эмпирической реальности. По его убеждению, созданный актом мифотворчества «идейный образ» «перерабатывает человека радикально и делает его все более и более способным почти телесно, лицом к лицу, непосредственно приходить в соприкосновение с миром интеллектуальных величин», что Волынский называет «деификацией самого естества человека»,[189] переименовывая, возможно из неприязни к византийскому богословскому языку, известное понятие христианской антропологии θέωσις, обóжение.

В трех синоптических Евангелиях Волынский находит выражение главных тенденций той эпохи: разрушение после-пленного Жреческого Кодекса, «этого сложного иудейского закона, ограждавшего сакральную общину от прочего мира», и проповедь «либеральной в своем роде идеи смешения Израиля с окружавшими его народностями»[190] — на чем базировался иудео-христианский духовный универсализм и что проложило пути всечеловеческому его распространению. Четвертый же евангелист, Иоанн, выступает за пределы того

---

[185] *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 146, 150.

[186] О низовых мистико-магических и социально-утопических движениях в эпоху революций см.: *Эткинд А.* Хлыст (Секты, литература и революция). М., 1998. М. М. Пришвин, близко знакомый с этими движениями, рисует в своих дневниках картину разгула таких стихий в России; в частности, рассказывает о призыве участников секты «Начало века» броситься в «русский чан» народного бунта, чтобы раствориться в кипящей массе, и замечает по этому поводу: «Не забудет себя европеец, не бросится, потому что его „Я" идет от настоящего Христа, а наше „Я" идет от Распутина, у нас есть свое священное „мы", которое теперь варится в безумном чану, но „Я" у нас нет, и оно придет к нам из Европы, когда в новой жизни соединится все» (*Пришвин М. М.* Дневники 1918—1919. М., 1994. С. 26—27 и др.).

[187] В «Моем портрете» (январь 1926 года) он писал: «Смотрю на улицу из окна под крышею и проникаюсь тошнотным возмущением по поводу всего. Беру газету — и она падает из рук. Даже насмешке нет места в душе, потому что смеяться, собственно, не над чем» (Минувшее. 17. С. 283—284).

[188] *Волынский А. Л.* Четыре Евангелия. Пб., 1922. Революционная эпоха вновь активизировала философскую и этическую ревизию христианства. В писавшемся четырьмя годами раньше «Апокалипсисе нашего времени» В. В. Розанов развертывает острую онтологическую критику новозаветного мироотношения, в чем опорой ему служили опыт переживаемых Россией «последних времен» и предвозвестившее их Откровение Тайнозрителя — книга глубоко «противохристианская», по выводу Розанова. Если в религиозной историософии Волынского личность Христа и евангельское учение образуют, вместе с иудаизмом, мировую перспективу развития, то для Розанова «Евангелие — тупик» (*Розанов В.* Соч. С. 488).

[189] *Волынский А. Л.* Четыре Евангелия. С. 4.

[190] Там же. С. 14.

событийного и тематического поля, на котором работали в свою эпоху синоптики, и, воспаряя над ними, является, по Волынскому, «протагонистом рационализма в высшем значении слова, растворившего в себе мистику народных низов и преобразившего ее в некое новое созерцание жизни».[191]

Параллельно шел процесс мифотворчества, важнейшим плодом которого стал возвышающийся над всем историческим материалом и отрывающийся от него «византийский образ Христа»;[192] в учении о единосущии произошел «окончательный поворот мысли от антропологизма к мифотворчеству» и в последующие времена возобладал «мифотворческий идеализм Александрийской церкви».[193]

Не без чувства удовлетворения Волынский, отошедший от современного ему мутного потока истории, напоминал об эпохе Первого Вселенского Никейского Собора, чьим властным решением развитию исторических событий было дано спасительное направление. «Что бы это было, — патетически прерывает он свое научно-критическое изложение, — если бы в конце концов не победил гений Афанасия Великого!»; ход мировой культуры был бы совершенно иным, «не было бы квиетизма масс на протяжении веков, не было бы расцвета науки и философии... Но зато прибавилось бы немало новых ужасов к общему мартирологу человечества. Победила, однако, никейская идеология».[194] Хотя значительную роль в развитии мысли он признает и за сторонниками подобосущия: они были «предшественниками Канта на пути гносеологии, как бы инициативными родоначальниками критической философии, критического идеализма»;[195] тем самым они входят в интеллектуальную родословную самого Волынского.

Но теперь большее значение для него имеет другая линия, связанная с догматикой никейского символа, в которой он усматривает «подобие богословского протомонизма, как бы горчичное зерно монизма, заложенное в точке отправления религиозной мысли человечества».[196] На этом направлении никейская идеология подчинила себе суеверия юродствующей хамитской толпы и преобразила их в высокие символы, «окутанные небесным фимиамом». «Но в том же духе, с теми же устремлениями и тенденциями, действовал и иудаизм всех веков. Своим рационализмом, своею оппозицией всем проявлениям хамитизма, своим постоянным противоборством мистике народных настроений еврейство служило, в сущности говоря, только интересам культуры, побуждаемое вечным страхом поджога защищаемых им благ. Но к чему же стремилась идеология Никейского Собора, как не к тому же самому? Изумительное совпадение». Церковь оказалась «союзником иудаизма в общем деле спасения культуры».[197]

Продлевать свой анализ в область прогностики Волынский отказывается, но резко подчеркивает вывод, имеющий для него принципиальное значение: «Перед нами две благородные культуры, находящиеся между собою в неумолкающей на протяжении двух тысячелетий борьбе. Знамя иудаизма призывает к отвержению мистики низов. Око рационализма глядит в упор солнечному богу. Дорога мысли суха и высока. Но рядом с иудаизмом творчество церкви».[198]

Преодоление смуты низовых исторических стихий, торжествующая над ними *аполлиническая мысль, религиозное мифотворчество* как источ-

[191] Там же. С. 18.
[192] Там же. С. 22.
[193] Там же. С. 25.
[194] Там же. С. 26.
[195] Там же. С. 30.
[196] Там же. С. 32.
[197] Там же. С. 33.
[198] Там же. С. 33—34.

ник культуры — три самые дорогие для Волынского жизненно-идейные темы связаны воедино в этом программном высказывании.

Еще замечательней — если учесть его настроения и ход мысли в те годы — окончание этой книги. Отвергая кровавые жертвы исторических боев за идеи, он, едва ли не впервые с таким внутренним подъемом, обращается к Святому Духу в подлинно параклетической перспективе, открывающейся еще здесь, среди несовершенств земного существования: «Но животворящий и единосущный с Отцом Дух — что это такое, как не святость культурного и морального общения между людьми, как не дыхание нежных струй мысли в стремлениях уйти от жертвоприношений и упокоиться наконец на сверхчеловеческих каких-то высотах, в атмосфере окончательно благих и завершительно славных красот?»[199]

Более того, он, «не покидая ни на минуту научного метода исследования», решает теперь «положить границу зарождающемуся скептицизму» своему и различает в будущем «светлую картину»: «Человечество когда-нибудь очистится снизу до верху окончательно. Облагороженное страданиями и бурями революций, оно вступит, наконец, в субботний покой новой жизни, чтобы по иному принципу строить царство свободы на земле. Вступит человек в этот покой субботнего дня новым уже существом».[200] Волынский предлагает очень характерное для него толкование слов св. Иринея Лионского о том, что человек сделается подобным невидимому Отцу посредством видимого Логоса. «Русское выражение *преобразится,* — замечает он, — дает только намек на разрушительно-творческий процесс, которому подвергнется в биологической эволюции, на протяжении бесконечных столетий, человеческое тело теперешней его конструкции. Оно превратится в с х е м у. Высветлится насквозь. Сделается зрячим без глаз и явно вместит в себе, будучи уже не телом плотского унижения, а телом сияющей славы, прежде невидимые Божьи черты»[201] (разрядка моя. — *В. К.*).

Последние слова книги исполнены редкой для Волынского личной анастасической патетики: «Пусть мы умираем. Пусть гибнем в пучинах неправедной борьбы за правду. Но мы воскреснем! Воскреснем непременно!»[202]

Через год, двинувшись в новую даль, к «гиперборейскому свету», он возвращается к полемике с Блоком, чтобы свести последние счеты и придать своим камерным выступлениям вид декларации, обнародовав их под вызывающим заголовком «Разрыв с христианством». Кроме упомянутого уже доклада, он печатает здесь свой позднейший «Ответ А. А. Блоку», в котором договаривает последние доводы в пользу чистого иудаизма Гейне, присоединяя к ним и одно «интимное признание»: «В течение многих лет я неоднократно поддавался очарованию отдельных учителей христианской церкви. Но горячие мои к ним симпатии, остающиеся до сих пор в моем сердце, ни на минуту не затуманили моего критического отношения к творчеству богословствующей христианской мысли. Есмь иудей и пребуду им навсегда! Я приглашаю сейчас на предстоящую в будущем мою панихиду любого православного иерея, который дерзнет, став рядом с раввином у моего гроба, воздать тем честь всему, что я сделал на земле».[203]

---

[199] Там же. С. 39.

[200] О «субботнем покое» как эсхатологическом завершении исторического и культурного творчества см.: *Котельников В. А.* «Покой» в религиозно-философских и художественных контекстах // Русская литература. 1994. № 1.

[201] *Волынский А. Л.* Четыре Евангелия. С. 42.

[202] Там же. С. 43.

[203] ЖИ. 1923. № 31. С. 14.

Вряд ли православный священник присутствовал на панихиде по Волынскому. Но интересно, что в переживании коллизии «иудаизм — христианство» есть значительное сходство между ним и А. Бергсоном, а их последние религиозные жесты просто совпадают. Склоняясь в конце жизни к католицизму, А. Бергсон писал в завещании 8 февраля 1937 года, что в этом исповедании он видит «окончательное завершение иудаизма» и перейти в католицизм немедленно ему мешает только надвигающаяся угроза еврейству. «Я хочу быть с теми, на кого завтра обрушатся гонения. И все-таки я надеюсь, что католический священник не откажется, с разрешения кардинала-архиепископа, прочитать молитву на моих похоронах».[204]

Вскоре после объявленного «разрыва» к Волынскому явилась некая «писательница»[205] и горько упрекала его в угашении одного из двух светильников, которыми он освещал путь себе и другим. Он с усилием «задавил» в душе «истерическую ноту, воспитанную истерическим русским романом и долгими годами погружения в новозаветную диалектику», и твердо отвечал ей, что погасил не одну, а обе свечи, ибо теперь он работает «в солнечном свету», и указал на свою только что законченную книгу «Гиперборейский Гимн»,[206] которая, пояснил он, «содержит не только весь разрыв мой с прошлым, но и все приобретения моего духа за всю мою жизнь».[207]

Итогом «всех приобретений», изложенным не только в этой книге, но и в упомянутом выше его труде о Рембрандте, стало углубление в область гиперборейского мифа, где он нашел последнее основание «праарийского интеллектуального монизма».[208] Е. Д. Толстая права, говоря, что «для Волынского гиперборейский этап — это этап доисторического родства», «именно здесь общий корень арийских и семитских культов — это понятие о едином солнечном божестве, высшем разуме».[209] И он действительно не нуждался в ариософских[210] (равно как и теософских) обоснованиях «гиперборейской теории». В своей культурно-исторической *ретроспективе* он совершил тот же переход, который некогда в свой *перспективе* совершила греческая мифология, переход от хтонизма к героизму (о чем, конечно, прекрасно знал Волынский), когда аполлинийски преобразованный и просветленный стихийный хтонизм предстал в образе гиперборейцев.[211] На этих мифологических высотах Волынский нашел теоретическое успокоение: героика гиперборейского жречества пред единым богом разума и света, духовные экстазы, идейные и телесные элевации жрецов («воздухошествующий» жрец Аполлона гипербореец Абарис[212]) — вот, наконец, незыблемое начало («гиперборейская скала»!) религиозно-идеалистических культов, отсюда уже можно прослеживать движение *идеи* в иудейском и христианском руслах, где ей энтузиастически служат мысль и творчество.

---

[204] *Romeyer A.* Caractéristiques religieuses du spiritualisme de Bergson // Archives de philosophie. Vol. XVII. Cahier 1. P. 33.

[205] Е. Д. Толстая полагает, что это была М. Шагинян (*Толстая Е.* Аким Волынский в литературных «зеркалах»: двадцатые годы // Литературное обозрение. 1996. № 5—6. С. 154).

[206] Неопубликованная рукопись хранится в РГАЛИ. Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 107.

[207] ЖИ. 1923. № 35. С. 15.

[208] Там же.

[209] *Толстая Е.* Мирпослеконца. С. 20.

[210] Тем более что в этой сфере действовали такие теоретики, как Г. фон Лист, Й. Ланц фон Либенфельс, Р. Генон, Г. Вирт и другие, чья проповедь «гиперборейского гнозиса» в разные времена соприкасалась с доктриной и политической практикой пангерманизма и его идеологических наследников.

[211] См.: *Лосев А. Ф.* Мифология греков и римлян. М., 1996. С. 483—484 и др.

[212] См. прим. 130.

Понимание *идеи* Волынским (и соответственно, характер его служения ей) особенно ясно в последний период его деятельности указывает на свой источник — платоновское возникновение и наполнение *идеи*, как то раскрывается в «Федре»: для *идеи* нужен *миф*, нужна целостная и *картинная* полнота, и именно в *мифе* возникает «конкретно-спекулятивное значение „идеи", содержащей в себе последнюю трансцендентально-символическую полноту и цельность предмета и характеризующейся как достояние *мысли*, которая пытается обнять и вместить в себе свой предмет. При этом интегральность граничит и даже отождествляется с живописью и цельностью мифа».[213]

Для Волынского явление культуры тем ценнее, чем оно прозрачнее и чем более способно фокусировать свои отдаленные истоки. Как некогда ворбургский мастер Спиноза шлифовал линзы,[214] так Волынский критически обрабатывал явления культуры, придавая им «оптические» свойства. Сильным «дальнозрительным» стеклом сделал он еврейский театр «Габима»,[215] образовавшийся из студии Московского Художественного театра в начале 1920-х годов. Вглядываясь *сквозь* два его спектакля — «Гадибук» и «Вечный Жид» — в даль их исторического происхождения, он видит там не просто предание и возрождаемую национальную архаику, а то же творящее основание — миф. И «Габима» оказывается естественным его выражением, ибо вообще «мифы все без исключения сценичны и для своей понятности требуют декоративно-иератических одеяний».[216] Они же вызывают к жизни и театральное ипократство, каким его знала античность. В первой статье о еврейском театре[217] Волынский поясняет: «Ипократ — это труба народных дум и народных верований. Он вещает мифологию своей страны», а «еврей же всегда и везде ипократ — по природе и по духу своему, он театрален существенно: голос и жест, пластика и мимика, вся его пляшущая фигура и походка в высшей степени изобразительны и сами просятся на сцену. ⟨...⟩ Он от природы труба народа, даже в своем самом нищенском, забитом и ничтожном отдельном существовании».[218]

Но затем и эта форма, в своей синтетичности уподоблявшаяся Волынским античному театру, покажется ему недостаточной для воплощения религиозно-мифологического объема культуры: габима — всего лишь жертвенный помост, на котором жрецы-актеры совершают освящение национальной традиции и вносят свой ритуализм в другие сферы жизни, тогда как сама жизнь должна стать богослужением.[219]

И Волынский покидает габиму и движется дальше, навстречу нетварному свету, который теперь открывается ему в телесно-духовном человеке у Рембрандта.

Книгой о художнике завершалась деятельность Волынского, но не *путь*, им предпринятый и в этой книге особенно отчетливо предстающий как сверхличное призвание и долг мыслителя. Проходя *сквозь* культурно-исторические эпохи и феномены, совершая свои идейные элевации, чтобы с высоты оглядывать минуемые области, он не обживался ни в одной из

---

[213] *Лосев А. Ф.* Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 169.

[214] Знаменитый физик Х. Гюйгенс особенно высоко ценил мастерство Спинозы в этом деле.

[215] См.: *Иванов В.* Русские сезоны театра Габима; *Толстая Е.* Аким Волынский и еврейский театр.

[216] ЖИ. 1923. № 27. С. 4.

[217] Она была озаглавлена «Ипократ» (ЖИ. 1923. № 27). Вторая статья — «Походный ковчег» (ЖИ. 1923. № 28).

[218] ЖИ. 1923. № 27. С. 3.

[219] См.: *Толстая Е.* Мирпослеконца. С. 22—23.

них, не хотел и не мог укорениться в их бытовых и психологических слоях[220] — для него это означало пленение духа, тогда как каждый новый шаг на этом пути знаменовал свободу духа. Начало вечному пути было положено возвышением Иосифа и исходом из плена египетского, продолжением стало избавление от плена вавилонского и возвращение к Богу на дорогах рассеяния. Нескончаемая чреда таких же одиноких, как Волынский, искателей Бога и истины тысячелетиями шла этим путем, нигде не основывая своего царства. Один из ближайших к Волынскому скитальцев — Лев Шестов, создавший «Апофеоз беспочвенности» и провозгласивший закон пути: «Настоящий исследователь жизни не вправе быть оседлым человеком».[221] Через двадцать два года М. О. Гершензон подтвердил этот закон, исходя уже из опыта нового рассеяния: «Дух должен быть абсолютно свободен, потому что он есть движение, только движение, а свобода и движение одно. ⟨...⟩ Да не будет у тебя никаких незаменимых сокровищ, никакой прочной обители. Ты прилеплен к Торе? — оторвись; ты чувствуешь себя навеки оседлым в еврействе? — выйди из него; твой дух должен стать столь же бездомным, как твое тело».[222]

* * *

Миросозерцание Волынского — это своеобразный *мифотеизм*: *идея единого Бога* вычитывалась им из образов и символов *мифа* на разных исторических его стадиях и в разных культурных версиях. Универсалистское по исходному познавательному заданию, оно намечало перспективу синтеза двух разошедшихся религиозно-философских традиций — иудаизма и христианства, — перспективу тогда еще дальнюю; а пока теоретический интерес Волынского поочередно склонялся то в одну, то в другую сторону.

В отношении к культуре его миросозерцание выступало как *критический идеализм*, выдвигающий перед интеллектуальным и художественным творчеством свою систему критериев и задач.

Применительно к русской литературе оно дало картину ее развития с безусловно господствующим движением к некоей идейной плероме, принадлежащей уже к сфере абсолютного, так что главными событиями становились не тематические и стилевые обновления ее, а новые духовные подъемы, *элевации*. Но поскольку никакое промежуточное выражение абсолютной идеи не может быть совершенным в своей смысловой полноте, сколь бы прекрасна сейчас ни была форма такого выражения, то неизбежна и, с точки зрения Волынского, необходима радикальная смена состояний и качеств литературы, из которых каждое ценно не только своим наличным содержанием и эстетическим эффектом, но еще более как ступень к следующему воплощению *идеи*. Такая динамика, по преимуществу *вертикальная*, имеющая не эволюционный, а скорее элевационный характер, исключала «кано-

---

[220] Обвиняя В. В. Розанова в фетишизации их, Волынский нарисовал последствия подмены мировых идей розановской «всемирной психологичностью»: «Жизнь стала бы повсюду атеистической насквозь. Исчезло бы все героическое. Не было бы никакой Голгофы. Разрушилась бы прямота стремлений, делающая великими народы на их практических путях. Исчезли бы без следа вихри реформаций. Но тогда самое существование людей стало бы чепухой. Дьявол хохотал бы в восторге. Но Бог смыл бы эту гадость и пошлость новым потопом навсегда» (*Волынский А. Л.* «Фетишизм мелочей». В. В. Розанов // Биржевые ведомости. 1916. 27 янв. Утр. вып.). Картина почти дословно воспроизводит негодующие предсказания К. Н. Леонтьева о временах торжества обыденного человека с его «средней моралью» и мелочным психологизмом.

[221] *Шестов Л.* Апофеоз беспочвенности (Опыт адогматического мышления). СПб., 1905. С. 18.

[222] *Гершензон М. О.* Судьбы еврейского народа. Берлин, 1927. С. 40.

низацию» литературного явления, не отрицая при этом его особых достоинств и чрезвычайного, может быть, значения в ряду близких ему явлений. Если верна историко-литературная концепция Волынского, то наше представление о так называемых «классических традициях» требует существенного пересмотра.

Задаваемые им темп и направление идейной динамики зачастую не совпадали с реальным ходом литературного развития. Он как будто подгонял литературу вперед, он спешил миновать те ее этапы, где происходило эмпирическое освоение жизненного материала, медленная выработка национальных эпических форм, становление поэтической речи. Но основную интенцию русской литературы он признавал безошибочной: «...она всегда стремилась стать настоящим божественным словом — начиная от Ломоносова и Державина и кончая нашими днями. На всем своем протяжении русская литература искала Бога. Ее еще не коснулись томления современной души, она еще цвела первою юностью, а в центре ее уже стоял религиозный вопрос, в широком и притом свободном истолковании. В этом отношении Пушкин может быть назван прообразом всей современной литературы, в котором слились и реальное содержание, и идеальные стремления русской жизни».[223]

Первоначально произнесенные в публичных лекциях, затем обращенные к широкому читателю в массовых изданиях суждения Волынского оценочны и пафосны в той мере, в какой это было свойственно критике той поры; кроме того, местами они тяготеют к излишней, на строгий вкус, фигуральности. Тем не менее все это не мешает (если не прямо служит) раскрытию *идеологии* русской словесности, изложению ее, так сказать, метафизического сюжета.

При ясном, хотя и режущем подчас глаза, свете *критического идеализма* Волынский в творчестве Пушкина отчетливо различил его основное онтологическое качество: «Хаотические начала жизни заслонены в нем уже готовыми, крепко скристаллизованными, законченными формами, которые виднее и ощутительнее, чем правда мирового хаоса, чем эта мистика, порождающая из себя всякую плоть», которая представляет собой «целый мир живых организмов», подвластный не только «механике эмпирических сил», но и действию «иных, идеальных законов».[224] Именно пушкинская воля к форме удерживала брожение живых сил в «кристаллическом» состоянии, но даже эта гениально-личная воля не властна оформить эти силы в их следующем историческом возрасте — она целиком принадлежит преходящему возрасту молодости, мощи и свежести русской культуры. И уже Баратынский заглядывает *за* эти формы как за бытийную наружность, маскирующую суть вещей, о чем он «говорит словами чистейшей философии», так что стихотворение «На смерть Гете» представляется Волынскому «дивным переводом идеалистической терминологии Канта на язык скорбной и в то же время утешительной поэзии».[225] Еще глубже под покровы мира устремляется взгляд Тютчева, «поэта ночных откровений». «Пушкин превращает хаос в конкретность, мистику мира в эмпиризм мира, а Тютчев, наоборот, все эти конкретности, все эти эмпиризмы превращает в хаос, в мистику. Пушкин творит, Тютчев растворяет. Вот почему язык Тютчева, в отличие от пушкинского языка, так богат составными словами, новыми, неожиданными эпитетами, которые дают уже не яркие краски, а зыбкие ли-

[223] «Книга великого гнева». С. LXI.
[224] Там же. С. 202—203.
[225] Там же. С. 203.

нии и мутные оттенки. Это не декадентское восприятие, сквозь напряженное и изнуренное личное, субъективное начало, а созерцание мира в его ночной стихийности, в его хаотически-божественной правде».[226]

По ходу прочерченной им сквозь девятнадцатый век идейной линии христианства Волынский почти графически показывает экстатические подъемы и трагические срывы с нее Гоголя, рассматривая две редакции его «Портрета» на фоне встречи писателя с «двусмысленной красотой» Ренессанса, смешавшего языческое и христианское начала в искусстве.[227] Рядом с этой линией рисуются причудливые зигзаги идейного и творческого поведения Лескова, у которого движение к «большой сверхчувственной правде», совершающееся в атмосфере «эпического спокойствия и великой тишины»,[228] могло вдруг нарушиться шумной фельетонной войной с нигилистами, выставленными в «Соборянах» для умышленного контраста и в нарочито уродливом виде. В отличие от Тургенева, чей Базаров стал «одним из величайших явлений в русской литературе именно потому, что, при внешней жесткости, он таит в душе своей тяготение к красоте, которая и превратила его жизнь в трагедию», Лесков, «узнав и признав Бога в несомненном Его выражении», не нашел Его «под маскою житейского безобразия» и оказался тем самым «на одной высоте с толпою, которая, при собственном безобразии, не дает пощады никакому уродству».[229] Столь же неровен он в стилевых приемах: то он «несколькими до гениальности художественными фразами... создает настроение, при котором ум до глубины видит то, что смутно ощущает сердце»,[230] то становится «изобретателем замысловатых тарабарских извращений русского языка для того, чтобы наложить на свои бытовые произведения печать особенной юмористической оживленности. В этих случаях он доходил иногда до настоящей виртуозности, перед которою бледнели стилистические выдумки Щедрина».[231]

Литературной эффектности последних Волынский не отрицал, но замечал, что они во многих очерках писателя подчинены повторяющейся сатирической схеме, и это похоже на то, будто «большое яркое пятно прошло, постепенно бледнея, на множество лежащих под ним страниц. Что-то однотонное, вымученное, с исступлением вновь и вновь вымучиваемое, какое-то вечное самопожирание большой, но замкнутой силы, бессилие внутреннего света при сильном и тяжелом темпераменте» — таким видел Волынский творчество Салтыкова-Щедрина, возбуждаемое «негодующим азартом» и почти не соприкасающееся «с высшими человеческими правдами, которые умягчают самое негодование и вносят благодатный оттенок в самое беспощадное обличение человеческих пороков».[232]

Но несмотря на иные отпадения от «высшей правды», русская литература всегда несла в себе «великие задатки для обновления ветхого человека»,[233] т. е. обнаруживала способность освободить дух от исторически ста-

---

[226] Там же. С. 204.

[227] В статье «Богоотступные черты» (1899), опубликованной в книге «Борьба за идеализм».

[228] *Волынский А. Л.* Н. С. Лесков. Пб., 1923. С. 38, 46. В этом издании воспроизведены без содержательных изменений выправленные и снабженные авторским предисловием пять статей о Лескове, напечатанные до того в издании: *Волынский А. Л.* Царство Карамазовых. Н. С. Лесков. Заметки. СПб., 1901, чему предшествовала книга: *Волынский А.* Н. С. Лесков: Критический очерк. СПб., 1898, содержащая те же статьи.

[229] *Волынский А. Л.* Н. С. Лесков. С. 45—46.

[230] Там же. С. 91.

[231] Там же. С. 172.

[232] «Книга великого гнева». С. 136.

[233] Борьба за идеализм. С. 346.

реющих форм мышления, общественности, быта, открыть новые идейные горизонты, что Волынский находил не только у Пушкина, Лермонтова и Гоголя, но чутко улавливал в творчестве Кольцова, Некрасова, Полонского, Гаршина, Чехова, Горького.[234] Главными же выразителями этих обновляющих тенденций для него стали Лев Толстой и Достоевский.

Толстовскую этическую мысль в ее единстве с эпическим даром писателя Волынский оценил еще в 1880-е годы как великий ответ на «человеческую тоску по *внутренней* свободе», как освобождение современного сознания от «внешнего закона», от обыденной «логики маленького человека».[235] Он проницательно заметил, чем импонирует толстовская манера мыслить и творить русскому чувству, всегда готовому преклониться перед тяжким простым трудом. Сами произведения писателя производят впечатление, что «это только черняки», потому что «Толстой не пишет, а работает, в поте лица, засучив рукава, нагнувшись всем своим могучим корпусом. ⟨...⟩ Толстой без всяких хитрых затей, по-мужицки, по-дурацки, ведет бесконечно тяжелую трудовую упряжку. ⟨...⟩ Толстой — это та Россия, которая стоит спиною к окну, прорубленному в Европу, Тургенев — это *русская Европа*, со всем ее блеском, со всеми ее выдумками».[236]

Но уже тогда Волынский отверг толстовскую проповедь учения Христа без его метафизической основы, справедливо напоминая, что «старый закон не дрогнул бы от проповеди любви. Он убоялся только новой аргументации, новых перспектив, с такою силой раскрытых Пророком из Галилеи».[237]

Теоретические возражения на расстоянии журнальной полемики не решили для Волынского вопроса о «нравственной философии» Толстого, и он обратился к нему напрямую: в письмах (одно из них приведено выше), в беседах во время посещений Ясной Поляны. После третьего приезда туда Волынский составил по памяти запись своей «пятичасовой беседы с Толстым» (14 листов большого формата, без оборотов, с пометой в конце: «С-Петербург, 1897 года, 1 августа).[238] Там он, в частности, писал: «И не было мгновения во всей моей жизни, когда бы люди казались мне столь чужими, как тогда. Что-то горело в моей душе слабым светом, как правдивое откровение — не яркое, тесное и, в тесноте своей, избавительное и спасительное. Я видел пред собою Толстого, и мне казалось, что между мною и им пробежало что-то злое, стихийное. Я думал, что этот человек мог бы взять меня ослепительной мудростью, мечтами, а не рассуждениями, сумасшедшим бредом, а не филантропическим застенком, в котором вольная мысль насильственно пригибается к земле. Помню, что я смотрел ему в глаза спокойно и твердо, а по телу пробегал холод непонятной вражды. Почему-то вспомнилась Саломэ, болезненный Ницше. ⟨...⟩ Океан казался мне мертвым, а прекрасная белая дорога, ведущая к океану, между широкими полями, тропинкой к раскольничьему скиту, с его чересчур предметным экстазом и неспособностью к отвлеченным грезам и мечтаниям, похожим на беспричинные слезы».[239]

Тем не менее обаяние величины и силы яснополянского старца действует на него гипнотически, помимо всех рассуждений и рефлексий, и вскоре

---

[234] См. его статьи: «А. В. Кольцов» (1892), «Некрасов» (1902), «Я. П. Полонский» (1896), «Антон Чехов. „Человек в футляре". — „Крыжовник"...» (1899), «М. Горький. Очерки и рассказы» (1899), «Что такое идеализм?» (1902), «Современная русская беллетристика» (1901), «Современная русская поэзия» (1901) и др.

[235] *Волынский А.* Нравственная философия гр. Льва Толстого // Вопросы философии и психологии. 1890. Кн. V. С. 28.

[236] Там же. С. 30.

[237] Там же. С. 39.

[238] РГАЛИ. Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 1—14.

[239] Там же. Л. 5—6.

он уже любуется Толстым на прогулке и признается: «Толстой был мне теперь дорог как видение всей русской жизни в одном человеке» и хочет снова приехать к нему, чтобы «очароваться, забыться и лицом к лицу стать с человеком, который идет не туда, куда он хочет, а туда, куда хочет Бог».[240]

Связь Толстого с Россией Волынский истолковывал как природную и мистическую связь его с почвой, с «мужицким царством», и еще в лекции своей он бросил фразу: «Такого другого мужика нет в целом мире».[241] «Он трезв, ясен, он настоящий трудолюбивый пахарь в мире идей... Он всегда говорит о самом конкретном... а между тем сила его желаний и порываний к несуществующему еще на земле Божьему царству так велика, беспредельна, что для понимания ее потребуется настоящая метафизика. И русского мужика не поймешь без метафизики... И Толстого — со всеми его этическими исканиями последнего двадцатилетия, даже со всеми его стараниями сделать из Евангелия реалистически-поучительную книгу... и Толстого можно вполне осмыслить для себя только метафизически».[242]

К такому осмыслению Волынский вскоре и приступил, «дав волю своему критикующему духу».[243] Острие последнего он направил не на сам художественный массив этого грандиозного явления, а, как и требовал того *критический идеализм* иудео-христианской ориентации, вдоль пронизывающих его и уходящих к онтологическим горизонтам идейных линий. Они бесконечны, Толстой конечен, как и всякое, даже самое великое культурно-историческое явление, — вот главный постулат критического идеализма применительно к писателю.

Деятельность его как ценность данного момента несомненна. Все коренные силы русской жизни нашли в нем высшее современное выражение. Это «настоящее свободное искусство», достигшее совершенства в изображении плотского человека, и в этом изображении Толстой «страшно национален, можно сказать, страшно народен», но во всем этом Волынскому бросаются в глаза уже «черты чего-то былого, старого, прекрасного, как все, что было цельного в прошедшем, как само это цельное, законченное прошедшее». Толстой «отлично знает и телесного, и душевного человека, но он не все знает о духовном человеке, он не знает, не признает, что духовный человек иррационален, экстазен».[244] «Кажется иногда, что тут русское искусство сказало свое последнее слово»,[245] но на самом деле «устами этого человека Россия говорит последнее слово своей здравомысленной умственности, в последний раз принципиально схватывается с прошедшим».[246]

Мощь и значение толстовских отрицаний очевидны, «но высшая логика этих толстовских протестов, поскольку она принадлежит лично ему, Толстому, а не Евангелию, на которое он постоянно опирается, все-таки остается рационалистической. Иногда он прямо отпадает от смысла широких евангельских идей, причем, быть может, как раз в минуты таких отпадений остается верным какой-то сурово-ортодоксальной черте своей натуры»,[247] определяемой Волынским как «ветхозаветность»[248] — свойство фундаментальное в раз-

---

[240] Там же. Л. 9—10.

[241] Она пошла в ход и отозвалась в известной фразе, приведенной в очерке М. Горького как высказывание В. И. Ленина: «До этого графа подлинного мужика в литературе не было».

[242] «Книга великого гнева». С. 168—169.

[243] Там же. С. LXIX.

[244] Там же. С. LXVIII—LXX.

[245] Там же. С. LXVIII.

[246] Там же. С. LXX.

[247] Там же. С. LXXI.

[248] Там же. С. LXXII. Еще в 1899 году Волынский называл Толстого «изобразителем существующего мира в его неизменных, можно сказать, ветхозаветных основах... Толстой ветхоза-

витии миросозерцания и творчества, но давно уже исчерпанное ими и теперь задерживающее внутреннее преображение личности и культуры.

Завершающим критическим суждением Волынского о Толстом стало его выступление в сентябре 1923 года на каком-то собрании литераторов (возможно, на заседании редколлегии «Всемирной литературы»). Нет точных указаний на то, когда и где это выступление состоялось, но сохранился его текст — автограф, написанный карандашом на листах большого формата, вырванных из конторской книги (скорее всего, оставшейся у Волынского со времени обитания в Доме Искусств, где такие листы использовались[249]). Некоторые полустертые места в автографе могут быть прочитаны только предположительно. Приводим этот текст по данному источнику.[250]

Л. Н. Толстой

Коллеги по литературе, сегодня мы собрались, чтобы отпраздновать память Льва Николаевича Толстого. Не приходится говорить о том, что это был человек великого таланта. Но оглядываясь[251] назад, мы застаем дни и годы, когда о Толстом могли говорить как о выразителе эпохи, как о человеке, давшем этой эпохе свое имя. Я начинаю свою речь с решительного отрицания. Лев Николаевич Толстой никогда не был центральным человеком своего времени, в историческом потоке идей и фактов, которыми столь богат XIX век. Не было момента, когда фигура эта не была видна. Средь громадного русского леса талантов росли деревья его творчества на высокой горе. Куда ни посмотришь, всюду наталкиваешься на его имя. В области романа, эпического, психологического, тенденциозно-моралистического, в области мелких рассказов и воспоминаний, в области детской хроники и нравоучительной сказки, во всем этом Л. Н. Толстой не знает себе соперников, и, конечно, не в сегодняшней краткой речи я могу хотя бы и отдаленно коснуться художественного облика этого писателя. Европа знает великих романистов Англии, Франции, Германии — Ричардсон, Ж. Ж. Руссо, Флобер, Бальзак. Может быть, эти создатели самой идеи романа, и по искусству выразительного письма автор «Le rouge et noire», занимают высшее место на лестнице талантов, создававших поэтическую прозу и самый язык рассказа в описаниях, диалогах, характеристиках и анализах. Но Л. Н. Толстой является тут совсем особенным человеком. Если названных писателей читаешь теперь с огромным ретроспективным интересом, то раскрывая даже роман-хронику Толстого, читаешь ее как живую вчерашнюю вещь. Здесь сила изобразительного таланта переходит в гениальность и кажется изумительною. Колоссальные недостатки и тут попадаются: в архитектонике целого, в преобладании дидактического элемента, в длиннейших вводных местах диссертационного характера, в перегруженности и загроможденности сюжетов. Всего этого отрицать невозможно. Но все это искупается чуткой ⟨?⟩ чистотой в передаче[252] ощущений человеческой периферии ⟨?⟩, от утреннего мо-

---

ветен, почти ортодоксален даже и тогда, когда он рисует нам людей нравственного недовольства и искания»; он «и к Новому Завету подошел по-ветхозаветному» (Борьба за идеализм. С. 493—495). Позже мысль о «ветхозаветности» Толстого будет развивать Н. А. Бердяев, отчасти повторяя в анализе толстовских «антиномий» и всю концепцию Волынского. См.: *Бердяев Н. А.* Ветхий и Новый завет в религиозном сознании Л. Толстого // О религии Льва Толстого: Сб. М., 1912. С. 172—195.

[249] О его обитании там см.: *Ходасевич В. Ф.* «Диск» // Возрождение. 1937. 14 апр.; последнее издание: *Ходасевич В. Ф.* Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991. С. 417—419.

[250] РГАЛИ. Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 96 об.—98 об.

[251] Вписано над зачеркнутым «осматриваясь».

[252] Далее зачеркнуто: «всех».

розного ветерка до самых сложных переживаний, в которых природа и душа оказываются в потрясающем соответствии. Разве можно забыть треск[253] тонкого льда, совпадающий с рушением девственной чистоты в романе «Воскресение», или сцену падения Анны Карениной, где каждый жест, каждый крик и всхлип так чудодейственно связаны с обстановкою, в которой происходят незабываемые сцены. Ото всего этого я сейчас отхожу, чтобы вернуться к обоснованию моего тезиса о том, что при всей своей Альпийской высоте в искусстве Л. Н. Толстой не был[254] носителем идеи века. Иначе говоря, я перехожу к оценке религиозно-философских идей Л. Н. Толстого, которым сам он, в течение всего склона жизни, придавал такое преимущественное значение. Я хочу высказаться по этому поводу с полною откровенностию и назвать вещи своими именами. Л. Н. Толстой занимался христианством, переводил Евангелие на свой уравновешенно-каратаевский язык, критиковал богословов всего мира, пустился даже в экзегезу, соперничая чуть ли не с тюбингенцами. В России деятельность его на этой арене казалась чуть ли не реформаторскою, а при недозволенности печати протестантские его манифесты расходились в обществе гектографическими листками, которые читались нарасхват. Все это вместе производило такое впечатление, как если бы русское общество впервые из слов Толстого узнало о существовании Евангелия! Церковь тряслась, Синод готовил свои ан⟨а⟩фемы и грозил, а правительство келейно обсуждало с К. П. Победоносцевым, что делать с новым ересиархом?! А между тем перед глазами стоял, развертывался и угрожающе высился совершенный фантом. Довольно было пройти временам цензурных запретов, довольно было проникнуть в Россию всему богатству европейской экзегезы, с ее историческими орлиными откровениями, с ее библейско-ветхозаветными филологическими[255] разысканиями от Штрауса, через Франца Делича и ассириологов, до Гарнака наших дней, с ее новозаветными знаменательными критическими разоблачениями, чтобы стало совершенно ясным, как младенчески наивен весь протестантский канон Ясно-Полянского мудреца. Сейчас от этого канона[256] ничего не осталось. В свистящих кругом бурях не носится ни пылинки от взрыхленной им девственной земли.

В самом деле, что представляет собою вся христология Л. Н. Толстого? Он переводил Евангелие на русский язык, имея бледное представление о греческом языке и никакого об арамейском. А между тем лингвистические трудности здесь велики и ⟨1 сл. нрзб.⟩. Не угодно ли эллинистическую речь, в которой смешались стихии мировой вульгаты с древнеантичными корнями, семитические напластования с александрийской фразеологией Septuaginta, в которой огни ⟨1 сл. нрзб.⟩ и намеки, параболы нравоучительных текстов, ⟨не⟩поддающихся непосредственному восприятию, — не угодно ли все это передать современным русским словом. Все требует комментария и процесса тончайших критических разграничений, все перепутано и сведено в аморфную массу, совершенно непригодную для простого[257] чтения, если только чтению придать хоть какой-нибудь познавательный характер. Правда, в церквах постоянно читается Евангелие, и ему благоговейно внимают все, не задаваясь целями[258] какой-либо критики,[259] какого-либо проникнове-

[253] Вписано над зачеркнутым «образ».
[254] Далее зачеркнуто: «центральным».
[255] Вписано над зачеркнутым «и ново историч.».
[256] Вписано над зачеркнутым «непротивл.».
[257] Далее зачеркнуто: «детского».
[258] Далее зачеркнуто: «никакой».
[259] Далее зачеркнуто: «никакого».

ния, как читают то же Евангелие и простые старые бабы с умилительною чистотою духа на пользу и утешенье смятенных сердец. Но ведь при всех этих чтениях воз христианского богопознания, конечно, с места не двигается. Он все еще там же, где и был с самого начала, несмотря на многочисленных[260] ⟨1 сл. нрзб.⟩ поборников старой и новой церковной реформы. Перевод[261] этой сложной идейной амальгамы на упрощенный язык тоже не дал под пером Толстого решительно ничего. В этом отношении он ушел не дальше переводческой стряпни Николая Морозова по «Апокалипсису»: сплошное какое-то недоразумение в мире литературы с применением решительных скифских рычагов к расчленению бриллиантовых ожерелий. В смысле перевода работа Л. Н. Толстого произведена совершенно всуе. Здесь, правда, могла бы пригодиться ему религиозно-философская интуиция. Однако и это средство не помогло. Реально-исторического Христа даже упрощенного блоковского типа[262] Толстой не увидел. А если бы увидел, то испугался бы. Л. Н. Толстой считался только с византийским ликом Христа, то и дело натыкаясь в нем на косточки реальной исторической[263] личности. Косточки эти Толстой с заботливой хозяйственностью Ясно-Полянского трезвого мужика вынимал одну за другой, разглядывал с изумлением и — отлагал в сторону, пока перед ним не осталась одна только непротивленная манная каша. Ничего историчного, ничего идейного, одно лишь каратаевское поучение для мужицкого царства во всех костюмах! Трогательно и обидно вместе с тем вспоминать неисчислимую массу всего написанного Толстым на тему о непротивлении злу. На твой дом нападают разбойники, расхищают твое достояние, насилуют твоих дочерей, а ты сиди рядом и ешь манную кашу! В России, где нет дифференцированного понимания революционной темы, где скиф с дубиной никогда не умирал, где все пронизано и проникнуто динамикой мышечных усилий, в России эта дикая мысль о непротивленстве злу все же прозвучала каким-то мгновенным протестантским откровением, создав немало последователей и мучеников в деревнях, сектах и даже в войсках. Это сплошной ужас — проповедывать идеи в культурной пустоте: какая чепуха может тут прозвучать ⟨1 сл. нрзб.⟩ с гипнотичностью ⟨?⟩ великого и плодоносного открытия! Манная каша, сдобренная евангельскими цитатами, сервировалась и подавалась на всех столах. И в заключение пустой, в сущности, бессодержательной пропаганды гром раскатившегося ⟨1 сл. нрзб.⟩, синод ударил по фантому лжеучителя, доставив ему лавры мученичества.

Я хочу сказать нечто совсем определенное: Л. Н. Толстой не увидел исторического Христа и не обнял своею мыслью всего идейного богатства Христа византийского. Христос византийский, вышедший из реторты Вселенских Соборов, был призван заместить самого Христа действительного. Этот действительный Христос всего лишь одну минуту прошел по улицам Иерусалима, измерив своею стопою Палестину от Севера до Юга, и все стало колебаться под его ногами. Умильные речи его, в которых так очевидна печать византийско-александрийской обработки, начинают терять свой вес, как только со страниц компилятивной книги вдруг воспринимается реальный свист бича, изгоняющего быт из храма, — вдруг слышится громовое обличение, отсылающее грешников[264] в вечные муки и неугасимый огонь.[265] Исто-

[260] Вписано над зачеркнутым «всех».
[261] Далее зачеркнуто: «Толстого».
[262] Вписано над зачеркнутым «карикатуры он».
[263] Вписано над зачеркнутым: «Христа».
[264] Далее зачеркнуто: «в вечный огонь».
[265] Далее зачеркнуто: «Этот».

рический Христос решительно заслонен византийским ликом, заворожившим мир. И в этом лике большие массы идейных тем, отрешенно от исторической действительности, сделались в Европе предметом особого изучения, нашедшего лишь отдаленный, слабый и бледный ⟨?⟩ отголосок в немногих трудах русских Духовных Академий. Со всем этим материалом Л. Н. Толстой знаком не был — он игнорировал его сознательно, и поэтому критика, направленная им в эту сторону, без знания документов, без серьезного анализа первоисточников, лишена всякого научного значения. Тут Л. Н. Толстой со всею дикарскою решительностью русского кустарного самоучки расчелся не только со всем европейским богословием, но и со всею философиею мира, которая как-никак растворила в себе[266] византийские темы и переработала их по-своему. Из византийского сооружения, представляющего в структурном отношении нечто сложное и замечательное, Л. Н. Толстой в результате упрощенного анализа взял только учение о непротивлении злу. Учение о троичности божества отброшено. Великое разногласие по коренному вопросу[267] о духе — между Восточною и Западною церквами даже не принято в поле зрения реформатора. Идея воскресения и личного бессмертия откинута с легкостью гимназического атеизма. Выдвинуты вперед какие-то пустяковые темы о неприсягании, о вреде куренья, о вегетарианстве — под флагом Христа, о всяком трезвенном воздержании. Я решительно затрудняюсь сказать, что в собственном смысле слова было христианского в учении Л. Н. Толстого и против чего поднимал он свой топор. Он рубил этим топором по пустоте. На некотором отдалении вся эта обличительная борьба производит впечатление беспомощности и беспредметности, как, впрочем, и ответная борьба православного духовенства. А все эти Чертковы, толстовцы всех толков и видов, все эти никчемные мученики или смешные модники во всем своем целом образуют только наносный туман на русской идейной и общественной жизни. Все это было вне эпохи, не наследственно, а именно наносно и эпизодично, все это не оставило по себе почти никакого следа. Вместе с религиозно-философским учением Толстого все это рассеялось, как туман. Только за этим уже рассеявшимся туманом и стоит перед нами во всей чистоте и во всем величии высокая гора искусства, на вершине которой несравненный художник видится рядом с другими гигантами русской[268] литературы. Эту-то фигуру нам и предстоит почтить трепетным и благодарным воспоминанием в сегодняшний день.

25 сентябрь 1923
А. Волынский

В одно время с Д. С. Мережковским[269] Волынский обратился к тесному сопоставлению двух крупнейших величин русской культуры — Толстого и Достоевского, но, в отличие от автора известного трактата, подробно развертывать эту богатую и соблазнительную параллель не стал. Толстому как «нормальному русскому типу» моралиста и художника (таковы же «нормальные эпические фигуры Тургенева и Гончарова») он противопоставил

---

[266] Далее зачеркнуто: «все».
[267] Сверху надписано: «борьбе».
[268] Вписано над зачеркнутым «России и ее».
[269] Концепцию метафизической «парности» Толстого и Достоевского Волынский разрабатывал во второй половине 1890-х годов и впервые высказал ее в 1897 году в заметке «О Достоевском (В купэ)», затем развил в 1899 году во вступлении к циклу статей об «Идиоте». Книга Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» начала печататься в «Мире искусства» в 1900 году.

Достоевского как «безумный тип» русского творца и метафизика[270] и вскоре исключительно на нем сосредоточил все внимание.[271]

«Безумием», «юродством» он называл небывалую интенсивность переживания и экспрессию выражения внутренних мотивов человека, под напором которых разрывались привычные культурные покровы. Возникая в интимно-психической сфере самого писателя, они, полагал Волынский, переносятся в его героев, в «вихревой», «огненный» поток повествования, создавая совершенно новый строй ощущений, новые формы мышления и миропонимания. Ничто так не совпадало с умонастроениями Волынского той поры, ничто так не оправдывало его религиозного идеализма, как творчество Достоевского.

Уверенность в бытии, онтологическую устойчивость сознания и существования Волынский связывал только с тем, что лежит вне конечной и изменчивой природно-исторической действительности, — с Богом, с абсолютными идеями. Туда должны быть устремлены порывы «человека внутреннего», освобождающегося по пути от «ветхих» одежд мира, но это освобождение сопряжено и с мучительными нравственными обнажениями, и с судорогами страстей, с борьбой богофильских и богофобских начал, с душевными экстазами и идейными подъемами. Полную художественную антропологию этих явлений и нашел Волынский в «Идиоте», «Братьях Карамазовых», «Бесах», критическим комментарием к которым стала его знаменитая книга.

---

[270] «Книга великого гнева». С. 167—172. Мотив «нормальности» и «ненормальности» в человеческой природе, их выражения в социальных и творческих формах (восходящий к романтическому мотиву «гениального безумия», противопоставленного заурядной житейской среде) в 1880—1890-е годы развивался и в русле европейского декаданса, и за его пределами; ср.: *Колышко И.* Маленькие мысли. СПб., 1900. С. 103—109.

[271] К заметкам «О Достоевском (В купэ)» (СВ. 1897. № 10), «Раскольников» (СВ. 1897. № 11) прибавился цикл статей 1899 года об «Идиоте» (тогда названный «Великий безумец» и опубликованный в книге «Борьба за идеализм»); в 1900 году был написан и напечатан в «Санкт-Петербургских ведомостях» цикл статей «Царство Карамазовых» (*Волынский А. Л.* Царство Карамазовых. Н. С. Лесков. Заметки); в 1902—1903 годах — цикл статей о романе «Бесы», озаглавленный «Книга великого гнева» и опубликованный в сборнике с тем же заглавием. Затем все эти статьи с некоторыми дополнениями вошли в книгу «Ф. М. Достоевский», вышедшую двумя изданиями (СПб., 1906; СПб., 1909). Волынский писал о Достоевском в атмосфере возрастающего интереса к психологической, религиозной и философской проблематике, выдвинутой и заостренной писателем. Тематически близкий к его статьям интеллектуально-литературный контекст идейно насыщен и плотен. Волынский, разумеется, не избежал влияния предшествующих и современных ему авторов, равно как и сам оказал воздействие на работавших вслед за ним. В этом плане нужно упомянуть статью К. Н. Леонтьева «О всемирной любви: По поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике» (1880), статьи Л. Е. Оболенского «Братья Карамазовы. Роман Ф. М. Достоевского» и «Оценка идей Ф. М. Достоевского» (1881), «Три речи в память Достоевского» (1881—1883) В. С. Соловьева, статью Н. С. Лескова «Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи» (1883), статьи Н. А. Зверева «Достоевский в своих последних романах» (1884), А. М. Бухарева «О романе Достоевского „Преступление и наказание" по отношению к делу мысли и науки в России» (1884), Д. С. Мережковского «О „Преступлении и наказании" Достоевского» (1890), В. В. Розанова «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1891), Антония (А. П. Храповицкого) «Пастырское изучение людей и жизни по сочинениям Ф. М. Достоевского» (1893), К. П. Медведского «Апостол всепрощения» (1894), книги И. И. Колышко «Два преступления и два искупления» (1901), Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» (1900—1902), Л. Шестова «Достоевский и Ницше» (1902), выступления С. Н. Булгакова «Иван Карамазов как философский тип» (1901) и «Венец терновый» (1906); «Два очерка об Успенском и Достоевском» (1902) А. С. Глинки-Волжского и его же статью «Религиозно-нравственная проблема у Достоевского» (1905); статьи Н. А. Бердяева «Великий инквизитор» (1907), «Ставрогин» (1914), работы Вяч. И. Иванова «Достоевский и роман-трагедия» (1911), «Экскурс: Основной миф в романе „Бесы"» (1914) и др. Содержательный и компактный обзор интерпретаций Волынским творчества Достоевского, а также вызванных ими откликов, см. в статье И. Д. Якубович «Достоевский в религиозно-философских и эстетических воззрениях А. Волынского» (Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 2000. Вып. 15. С. 67—89).

Пристальнее многих других истолкователей Волынский вчитывался в «апокалипсическое письмо» Достоевского, начиная с чувственно-телесных его знаков до утонченной «символической» каллиграфии, пока не проступил перед ним «чисто идеалистический»[272] почерк писателя. Никакой «программной богословской идее»[273] Волынский не следовал в своем прочтении, как не следовал ей и Достоевский в своем творчестве: самое ценное для обоих то, что идея Бога и любовь к Нему возникают и возрастают в недрах живого и теплого мироощущения человека, в чем участвует и природа своей «апокрифической осанной Богу».[274] Зоркое внимание к плоти, приемлющей в себя семена «миров иных» и носящей в себе Ἔρως τῆς ἰδέας и Ἔρως τοῦ Θεοῦ, Волынский не только разделял с Достоевским, но и усиливал, совпадая в этом с известной доктриной Мережковского и других сторонников «мистического материализма». Однако, в отличие от последних, он вовсе не предполагал «освящения плоти», с ее вожделениями и натуралистической эротикой, а видел в ее живых формах пластические символы личных состояний и сверхличных идей. Так прочитывал он телесную пластику Зосимы, так комментировал «философию поклонов» в романе,[275] от которой уже совсем недалеко до его «философии танца». С пластикой и динамикой тела сливается рисунок одежды, и в единстве таких черт князя Мышкина, например, Волынский узнает «пришедшего из неведомого далека и проходящего сквозь тяжелые жизненные драмы к глубочайшим трагедиям» «молодого русского Агасфера, возникшего на почве чисто христианских мистерий, предвестника новых истин и новых освободительных красот».[276]

По ходу прочтения «Бесов», однако, начинает усиливаться критицизм Волынского в отношении идейной тенденции романа и его литературных приемов. В изображении Ставрогина он увидел художественную незаконченность и неполноту, преобладание «какого-то научно-философского шифра, который приходится разгадывать, переводить на язык обычных представлений и понятий при помощи логического анализа».[277] Волынскому кажется теперь, что писатель и в других случаях слишком часто «расплавляет все видимое, все материальное в целый мир идей, непосредственно управляющих миром плоти. Можно даже сказать, что Достоевский слишком сближает эти идеи с процессами жизни, упрощая эти процессы, выбрасывая целый ряд звеньев, отделяющих тайные глубины души и духа от их видимого, земного воплощения».[278]

За жуткой маской персонажа он нашел несложную идейную механику, приводящую в действие эту фигуру; но он хотел понять ее органику и предположил, что важные подробности могут заключаться в исповеди Ставрогина, входящей в неопубликованную главу «У Тихона». В связи с этим во время работы над статьями он обратился к А. Г. Достоевской с просьбой разрешить ему ознакомиться с хранящимся у нее корректурным текстом главы. Сохранилась его переписка с нею и с А. А. Достоевским по этому поводу; одно письмо Волынского к Анне Григорьевне опубликовано Н. Ф. Будановой (вместе со вторым к ней же, но на другую тему);[279] остальные не опубликованы, выдержки из них приводим по автографам и копиям, хранящимся в РГАЛИ.

---

[272] Достоевский. С. 350.
[273] Там же. С. 289.
[274] Там же. С. 314.
[275] Там же. С. 291—294.
[276] Там же. С. 59.
[277] Там же. С. 390.
[278] Там же. Эту мысль Волынский разовьет и распространит на все творчество писателя в своем последнем выступлении о Достоевском (см. ниже).
[279] Достоевский: Материалы и исследования. Вып. 15. С. 462—464.

В недатированном письме 1902 года Волынский писал А. Г. Достоевской: «Я считал бы величайшим одолжением с Вашей стороны, если бы Вы дали мне возможность так или иначе познакомиться с этими драгоценными страницами — не для использования их в печати, а только для укрепления во мне догадок относительно личности Ставрогина, которые шевелятся у меня при чтении „Бесов"».[280]

Анна Григорьевна отвечала 12 декабря 1902 года отказом, объясняя его тем, что отдала главу вместе с другими документами в Исторический музей, и обещала исполнить просьбу после того, как будет напечатан Каталог музея и она поедет в Москву, что произойдет не раньше марта.[281] 31 мая 1903 года она сообщает, что едет 4—5 июня, «вышлет отрывки „Бесов" племяннику мужа Андрею Андреевичу», и просит «ничего из главы не выписывать, т. к. я обещала моим детям никому не давать права списывать из ненапечатанной главы. Если упомянете в печати, что ознакомились с ненапечатанной главой, не пишите, когда», настаивает она, поясняя, что отказывала всем просившим и теперь не хочет ссориться с ними.[282]

Волынский отвечал 1 июня благодарственным письмом и обещал: «Я свято исполню Ваши требования: не цитировать слов Ф. М. Достоевского и не упоминать ни в печати, ни на словах о времени моего ознакомления с этим литературным документом. Я имею в виду проверить для себя одну гипотезу относительно Ставрогина и воспользоваться настоящим счастливым случаем для оттенения некоторых моих мыслей в уже готовой работе».[283] Анна Григорьевна исполнила свое обещание, и 22 июня 1903 года А. А. Достоевский писал: «Милостивый Государь Аким Львович. Я получил от Анны Григорьевны ненапечатанную главу „Бесов". Не откажите сообщить, когда Вас можно ждать к себе для прочтения этой главы: завтра в Понедельник 23 июня в 8 ч. вечера или в Среду 25 июня в 2 ч. дня. Мой адрес: В. О. 8-я Линия, д. 39, кв. 3».[284] Однако 24 июня он извещает, что встречу придется отложить до конца июля или начала августа в связи с его отъездом.[285]

Скорее всего, Волынскому все-таки удалось прочитать главу «У Тихона»; следы знакомства с нею заметны в статьях о романе, хотя их датировка камуфлирует время прочтения. Прямых подтверждений факта у нас нет, но нет и выражений разочарования и недовольства по поводу несбывшихся надежд. В конце 1903 года он, видимо, передал Анне Григорьевне текст еще не вышедшей тогда «Книги великого гнева». Она, благодаря его за книгу, писала 28 декабря 1903 года: «Ваши статьи о „Бесах" я прочла с захватывающим интересом: Вы так глубоко и тонко поняли и объяснили Ставрогина, — этого загадочного героя романа, — и как мелки и легковесны показались мне наряду с „Книгой великого гнева" многие статьи наших критиков, напр., хотя бы г. Михайловского с его определением „жестокого таланта". Мне было чрезвычайно дорого прочесть, что Вы оценили женские типы Достоевского (Даша, Лизавета Николаевна); ведь составилось мнение, что „Достоевский не умеет рисовать женские характеры", — и как это мнение несправедливо! Позвольте пожелать Вашей книге успеха, который она так заслуживает. Искренне Вас уважающая А. Достоевская».[286]

---

[280] РГАЛИ. Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 187. Л. 1.
[281] Там же. Оп. 1. № 476-б. Л. 1—2.
[282] Там же. Л. 3—4 об.
[283] Достоевский: Материалы и исследования. Вып. 15. С. 463.
[284] РГАЛИ. Ф. 95. Оп. 1. № 476-а. Л. 1.
[285] Там же. Л. 2.
[286] Там же. № 476-б. Л. 5—5 об.

Книга имела успех, а через двадцать лет Волынский оказался от нее на очень большой дистанции — не только временно́й, но и идейной. В 1923 году появляются два печатных высказывания его о Достоевском (кажется, совершенно выпавших из поля зрения исследователей) и одно выступление, пока не опубликованное.

В статье «Литературные типы» он дал очень любопытную классификацию творческой манеры русских писателей с точки зрения двух основных фигур балетной пластики: en dedans (позиция и движение ноги внутрь; «свернутость») и en dehors (позиция и движение ноги наружу; «развернутость»). «Достоевский, — пишет он в статье, — творит свое искусство из масс расплавленной воли, ничто не остается скрытым, все выворочено, все выявлено вовне. Каждый герой ежеминутно разоблачает в разговоре с кем-нибудь интимнейшие побуждения своего слова и поступка. Такое постоянное разоблачение принимает у него характер иногда навязчивой, почти маниакальной декламации. Вот талант, вот первоклассный гений, который при всей своей углубленности являет собой чистейший пример литературного en dehors!»[287] Теперь Волынский готов предпочесть ему и «молчаливых героев Ибсена», и эпически сдержанного Толстого.

Возвратом к эпохе богофильства — но совсем на другом уровне — можно счесть несколько его суждений о Достоевском в рецензии на книгу А. Кашиной-Евреиновой «Подполье гения». Волынский справедливо замечает, что «в таком гипостазировании сексуального мотива заключается несомненно неизбежное преувеличение», которое особенно бросается в глаза, когда автор обращается к таким образам, как Зосима. «Универсальная премудрость византийско-русского отшельника облекается для него в непроницаемые туманы, в которых автор не может различить настоящих перлов и адамантов первоосновных философских прозрений. Зосима произносит слова, которые украсили бы собою общечеловеческую библию, когда, например, он говорит о трансцендентных семенах, посеянных в этом мире, и о том, что всякое бытие на земле живо только своим касанием мирам иным».[288] Вместе с тем Зосима — «не художественная фигура», и Достоевский создает такие фигуры затем, «чтобы путем романического эксперимента вырвать из человеческого хаоса некую новую светлую и гиперборейскую правду».[289] И Достоевский, и Толстой оказываются рядом в этой новой мифотеистической перспективе, открывавшейся Волынскому. «Героический дух, монолитный и завершенный, проходит светлою струею через бурные волны творчества обоих гениев мировой литературы. Если под построениями отвлеченной мысли искать расово-этнические мотивы, то мы могли бы дух этот, всегда чистый и благородный, всегда тяготеющий к бытию и самоутверждению, назвать аполлиническим и гиперборейским. Именно по отношению к нему сексуальность и является не больше как внешним ядовитым покровом, который, будучи простерт безраздельно в космосе, все бы испепелил, развеял и уничтожил навсегда».[290]

Последний аккорд на эту тему относится к сентябрю 1923 года. Прозвучал ли он где-либо, остается неизвестным, как и в случае с речью о Л. Толстом, приведенной выше. В архиве Волынского находится автограф (написанный на таких же листах, что и упомянутая речь) и машинопись этого выступления;[291] приводим его текст по автографу с учетом изменений, внесенных в машинописную копию.

---

[287] ЖИ. 1923. № 6. С. 3.
[288] Там же. № 14. С. 11.
[289] Там же.
[290] Там же. С. 12.
[291] РГАЛИ. Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 98 об.—101, 212—217.

Ф. М. Достоевский

Коллеги по литературе, я обращаюсь к вам сегодня с небольшою речью, в которую я заключил некую личную боль сердца, давно уже меня терзающую. Эту боль я должен выговорить в простых словах, не утаив ничего. Сразу же скажу с полною откровенностью: я разочаровался в Достоевском. Я жил-жил с ним целые годы, несколько десятилетий, посвятил ему ряд литературных трудов, и вот вдруг разошелся с ним — по-видимому, навсегда и окончательно. Прежде всего искусство Ф. М. Достоевского. Присмотримся к нему со всею любовью, со всею благодарностью за незабвенные моменты в прошлом. Искусство это все дуалистично, контрастно и схематично. Какие-то большие персонифицированные идеи сражаются между собою, любят, ненавидят и друг друга истребляют. Начнем с дуализма. Он представлен, обрисован и показан со всею выпуклостью совершенно элементарно — особенно на фигурах женских. Женское сердце является ареною борьбы черта и бога: такова Настасья Филипповна, Грушенька, Аглая, Лиза и другие. Но таковы же по природе своей Митя Карамазов, Алеша, Рогожин, Раскольников. Фигуры Версилова, Свидригайлова и Ставрогина, особенно эти две последние, я оставляю пока в стороне. Все действие в романах Достоевского сводится к постоянному колебанию чашки весов, на которой чередуются черные и белые гири. Но как все это в целом упрощено и обнажено! Бог представлен началом чрезмерно требовательным, громоздким, почти страшным Молохом добра. Читая Достоевского, приходится двигаться вместе со скалой по пути схоластических абстракций, увлекающих человека в ту или другую бездну. Все время надоедливо навязывается вам ощущение болезненности и греховности, неминучести для вас какого-то диалектического провала, господствующего во всякой судьбе. И еще вам с диким упрямством навязывается категорическое условие — познать добро через зло, падение и грех. В ту самую минуту, когда остервенелый армейский офицер Митя Карамазов замахивается топором на своего отца, в эту самую минуту он вдруг ощущает на себе веяние чего-то божественного и поцелуй каких-то спасающих сил. Раньше только ослепление и озлобление. А прозрение только сейчас! И так именно везде и всегда. Чтобы человек почувствовал прилив гордости, нужно его предварительно ввергнуть в пучину унижений, нужно ударить его хлыстом или заставить ползти на четверен⟨ь⟩ках за горящими деньгами в камине, при всеобщем недоумении и гоготании. Но что это за странный бог, глядящий из ямы, из западни, из омутов проституции, пропойства, мучительства и убийства! Конечно, от такого бога хочется отвернуться, хочется бежать от верховного маркиза де Сада, куда глаза глядят. Несмотря на ясно выраженное богофильство Достоевского, постоянно им возглашаемое, кричащее благим матом со всех его страниц, чертоносная стихия в произведениях его явно преобладает. Тут кнут его поистине[292] могуч. Тут все его огни и пожары, и дьявольские оттенки его письма приобретают минутами неотразимое очарование. Слышится голос инфернальной стихии в конкретностях, в частностях, в комбинировании мотивов, постоянно отдающих личным авторским переживанием. Хотя идея черта выписана в целом только абстрактно и, как уже сказано, упрощенно, почти брутально, но из адского пламени выхвачены настоящие светлые угольки, какие-то самоцветные камни, какие-то изумрудики, тревожными[293] глазками сияющие в страшном хаосе. Достоевский был самолично в аду, обошел его бездны, переболел его муками и страхами, но по дороге к Раю свалился в доли-

[292] Далее в машинописной копии зачеркнуто: «сатанински».
[293] Вписано в машинописной копии над зачеркнутым «инфернальными».

нах Чистилища. Райских бриллиантиков у него нет никаких, а имеющиеся взяты с византийских икон, обработанных на православном левкасном грунте.

И так черт и бог в произведениях Ф. М. Достоевского, два пугала, два полюса бытия, представленные условно, в вечном своем противоположении, как в больших, так и в малых величинах. Промежуточные же мотивы как бы отсутствуют. Иначе говоря, отсутствует вся действительная, подлинно реальная лестница причин и следствий, настоящая ткань жизни, проходящей и пробивающейся вперед через бесконечно малые величины, через космические дифференциалы, отсутствует повседневность, которую так полно описывает кисть Толстого почти на каждой странице его повестей и романов. При чтении Достоевского, все время бросающего вас то к одному, то к другому полюсу, играющего вами, как мячом, душою[294] иногда овладевает утомление, переходящее в скуку. При постоянном накоплении громоздких и неподъемлемых психологических груд и конфликтов, сам сюжет у Достоевского пребывает в стационарном состоянии. Сказка романа не двигается с места, и в этом пункте Достоевского далеко опережает любой, самый второстепенный европейский романист. Достоевский все хлопает дверями, кидается булыжниками, играет террористическими масками, но все это на большом протяжении, в окружении надоедливыми истерическими всхлипываниями, производит тягостное впечатление на нервы. Трудно прочесть роман Достоевского за один прием: его можно только читать порциями, урывками, напряженным принуждением себя и лишь отдельными захватными минутами. Недавно понадобилось мне перечесть «Подростка», и я провозился над этим романом свыше двух месяцев. Но сознаюсь откровенно — потрясался я не раз, но художественной прелести не ощутил ни однажды.

Но кроме брутального дуализма, повсюду выступающего у Достоевского, мы встречаемся у него еще с брутальным схематизмом фигур. Таковы Свидригайлов и особенно Ставрогин. Какая странная мысль: террористическим пугалом отшатнуть от преклонения перед западноевропейскою культурою, преодолеть рвущуюся из автохтонных недр бунтарскую силу и утвердить на русской земле обожествление русского народа! В Ставрогине нет ни единой реальной черты. Это какое-то вочеловечившееся рассуждение, проходящее от этапа к этапу свой тяжкий надуманный путь. Достоевский тут строит свою контрреволюционную мину, пробует подложить динамит под рельсы несущегося поезда, но не выходит решительно ничего. Все цело. Шпалы лежат невредимо. Слышны далекие сигналы, и виден дымок промчавшегося поезда. Несмотря на окрики Достоевского, революционное пожарище непрерывно, фатально и неугомонно разрасталось, разрастается и растет. Самые схемы Ставрогина и Свидригайлова мелькнули перед глазами бесплодными фантомами, никого не ужаснули, никого не заразили и — погасли.

Вся эта дуалистичность и схематизм в постройке отдельных фигур покоятся на основной философской ошибке. Человек по существу своему не двойственен, а единен. Единое начало управляет миром, двигает всем на свете — иначе не было бы воли, она исчезла бы в безнадежных расщелинах полярно расколовшегося на две половины бытия. Не только новейшая наука и философия, но и эстетика и поэзия всех времен свидетельствуют о наличности в мире связующего единства, облекающегося в различные формы. Мир страшно разнообразен в своих кристаллах, формах, красках и звуках. Перед нами развертываются постоянно чародейные ковры из блесков и све-

[294] Вписано в машинописной копии над зачеркнутым «вами».

тов разных типов. В мирах играют различные оркестры. Но за всеми этими пестрыми картинами угадывается, слышится и ощущается внутри нечто цельное и нераспаянное в своей монистичности. Эту цельность знает философ и интуитивно угадывает поэт. Вот это-то интуитивное угадывание и составляет художественную прелесть произведений настоящего искусства. И этой-то художественной прелести у Достоевского и нет. В своих схоластических построениях этот гений решительно устарел. Он никем не заслонен, и, может быть, пройдут многие и многие столетия[295] в русской литературе, прежде чем кто-нибудь будет в состоянии его заслонить. Но и не заслоненный Достоевский уже отходит от нас в историю. В[296] реальном смысле слова он уже больше не актуален для нас.

Перехожу к центральному пункту в идеологии Достоевского. Мелочи я[297] отбрасываю. Погоню за жидовством — откидываю прочь. Отметаю[298] французоедство и все славянофильские авантюры и измышления Достоевского. Останавливаюсь на кардинальной аксиоме о богоносности русского народа. Мне кажется, я говорю в аудитории, которая могла бы расхохотаться, услышав эти последние слова! А я беру их с горячих уст и из пламенного сердца Достоевского.[299] Для всех без исключения, однако, ясно, что в определении качеств русского народа правы не Гоголь, не Тютчев, не Москва сороковых годов, не Достоевский, а Герберштейн, Олеарий, Момзен и даже Белинский. Русский народ не богоносный народ. Даже Иоанн Кронштадтский должен был это признать на склоне дней своих в страстном письме под заглавием, если не ошибаюсь,[300] «Божье ли государство Россия». Я не скажу, что это народ чертоносный — для черта нужно что-то великолепно-большое, что-то каинское в байроновском смысле, великий пафос умственной мести в духе Кардуччи, вообще что-то грандиозное и обаятельное, как Люцифер. Здесь же перед нами сологубовский мелкий бес, черт с насморком, которого — по утверждению Достоевского — стоит только поповским пальчиком перекрестить, как он и исчезнет с глаз. Тут же[301] и обывательский средний черт скуки и пошлости, правящий свой бал по оградам и весям нашего уездного отечества. Но все эти мелкие бесы, чертенята, недотыкомки Сологуба, свидригайловские мыши, все это даже во всей своей совокупности не дает и намека на Люцифера. Русский народ при всем своем пропойстве трезвен, реален и ни в какой степени не трагичен. И в Кацапии, и на Украйне практические дела преобладают над всякой трагедией. Два хохла целыми часами торгуют друг у друга барана, боясь, что один перехитрит другого, а далекая Москва, гудящая колоколами, не верит никаким[302] слезам. В русской душе мало метафизичности. Если обыватель встречает священника, он отплевывается от этой встречи. Я знал одну православную даму, совершенно исконного типа, которая, если ей попался по дороге священник, сейчас же возвращалась домой, в убеждении, что дело, по которому она вышла, ей не удастся. Даже В. В. Розанов, свой человек в[303] среде духовенства, отмечал характерные сценки бесконечно долгой расплаты русского священника с извощиком на улице. Я не буду умножать примеров бездушного суеверия паст-

[295] Вписано в машинописной копии над зачеркнутым «декады».
[296] Далее в машинописной копии зачеркнуто: «живом».
[297] «я» вставлено в машинописной копии.
[298] Перед этим в машинописной копии зачеркнуто: «Откидываю и».
[299] Далее в автографе зачеркнуто: «Когда-то я сам возражал Белинскому по этому же вопросу. Но история сделала свой эксперимент, и для».
[300] «если не ошибаюсь» в автографе отсутствует.
[301] «Тут же» в автографе вписано над зачеркнутым «Кроме того есть еще».
[302] «никаким» зачеркнуто в автографе и вставлено в машинописной копии.
[303] В автографе далее зачеркнуто: «поповской».

вы, с одной стороны, и духа глубочайшего материализма пастырей, с другой стороны, особенно в переживаемые нами тяжкие дни, когда материальный вопрос сгустился над каждым из нас. Да я и не задаюсь целью низводить российское духовенство с его высоты, где сияют столь ценимые мною Тихон Задонский, Филарет, Порфирий Успенский и другие. Для меня важно только одно: установить в основной психологии окружающего нас быта несомненный факт. Если в составе всех европейских и азиатских народов существует народ наименее богоносный и наименее религиозный, то это, конечно, русский народ. Он будет делать свою дальнейшую историю не под флагом религии, навязанной ему когда-то равноапостольным Владимиром, а по совершенно иным, светским, мирским побуждениям и мотивам, ему понятным и доступным. Какие тут могут открыться перед русским народом горизонты, я отказываюсь говорить и судить. Я только решаюсь утверждать, что путь православия, показанный Достоевским, не тот действительный путь, которым шла и[304] будет идти народная русская масса. И в этом идеологическом пункте Достоевский тоже несомненно устарел.[305] Русский народ найдет свои эмпирические пути к справедливости и устроению своих общественных дел, а русская литература, изжив каратаевские мотивы Л. Н. Толстого и гипертрофию психологизма у Достоевского, выльется когда-нибудь в какие-то новые формы и русла. Мне думается, что будущая русская литература сделается адекватною[306] русскому народу, а литература Толстого и Достоевского сделается его легендою.

26 сентября 1923[307]

А. Волынский.[308]

Правда, М. С. Королицкий рассказывал, что при встрече с ним Волынский, уже незадолго до смерти, упоминал о возвращении «к кумиру своих ранних поклонений и давних изучений — Достоевскому, титаническое творчество которого требует дальнейшего освещения».[309] Однако, даже при колеблющемся в последние годы жизни умственном шаге Волынского, возвращение к «кумиру» было невозможным. Если какой-то свет и был бы направлен в сторону Достоевского, это мог быть только влекущий *воинствующего идеалиста* в новую даль гиперборейский свет.

---

[304] Далее в автографе зачеркнуто: «двигалась».

[305] Далее в автографе зачеркнуто: «По Достоевскому долго еще будет делаться рекогносцировка России со стороны разных иностранных анализаторов».

[306] Далее в автографе зачеркнуто: «подлинному духу».

[307] Дата есть в автографе и отсутствует в машинописной копии.

[308] Подпись отсутствует в автографе и есть в машинописной копии.

[309] *Королицкий М. С.* А. Волынский. Странички воспоминаний. С. 18.

К 120-летию СО ДНЯ СМЕРТИ И. С. АКСАКОВА

© *В. А. Кошелев*

ИВАН АКСАКОВ: КОНСЕРВАТИВНАЯ ОППОЗИЦИЯ КАК ЛИТЕРАТУРНАЯ ИДЕОЛОГИЯ

И. С. Аксаков, без сомнения, был чрезвычайно *цельной* и яркой фигурой русского славянофильства.[1] Другое дело, что за этой цельностью постоянно проступало внутреннее стремление встать, что называется, «*всуперечь потоку*», противопоставить этому общему «потоку» коллективного осознания конкретных житейских явлений собственное, изначально «необыденное» их видение.

А. И. Кошелев, который и в своей литературной деятельности, и в своих мемуарах представал как раз членом этого «потока», выразителем сознания «среднего» славянофила, не сочувствовавшего ни «парадоксам» А. С. Хомякова, ни несгибаемому доктринерству Константина Аксакова, никак не мог определить «место» в славянофильском кружке для Аксакова-младшего. В его «Записках» обстоятельно рассказывается «о нашем кружке», перечисляются и характеризуются все его члены, определяется тот круг занятий, который выполнял каждый из славянофилов. Об И. С. Аксакове — несколько неожиданных фраз в самом конце: «Не могу здесь не упомянуть об *Иване Сергеевиче Аксакове*, тогда только вышедшем в отставку, поселившемся в Москве и начинавшем с нами все более и более сближаться. *Тогда он был чистым и ярым западником*, и брат его Константин постоянно жаловался на его западничество. О нем я буду иметь случай говорить впоследствии и не один раз».[2]

Речь идет о начале 1850-х годов: И. С. Аксаков вышел в отставку весной 1851 года, окончательно поселившись в Москве в родном «славянофильском» семействе. Не один Кошелев воспринимал его как своеобразного «западника» в славянофильской среде. Когда он в конце 1851 года задумал издавать славянофильский «Московский сборник» (продолжение «Московских сборников» 1840-х годов), он первым делом проявил необычную широту взглядов, пригласив участвовать в нем «неисправимых западников» Т. Н. Грановского и И. С. Тургенева. Ни тот, ни другой участия в сборнике не приняли, но показательно, например, восприятие Тургенева, писавшего молодому члену противоположного ему кружка: «Наши мнения могут во многом расходиться (хотя, признаюсь, *с Вами я бы затруднился сказать, именно в чем*), но мы настолько сочувствуем друг другу, что дальнейшие изъяснения излишни».[3] Изданный же И. Аксаковым сборник стал весьма популярен и привлек внимание общества прежде всего своей «честной физиономией» (что констатировал издатель в письме к тому же А. И. Кошелеву).[4]

Впоследствии в своих «Записках» Кошелев действительно неоднократно упоминает И. Аксакова, но как бы между прочим и с явной неохотой, указывая лишь

---

[1] О противоречивости поэтического сознания И. С. Аксакова см.: *Калмановский Е. С.* Противоречия творческого сознания: Поэзия Ивана Аксакова // Русская литература. 1994. № 1. С. 58—71.

[2] Русское общество 40—50-х годов XIX в. Ч. 1. Записки А. И. Кошелева. М., 1991. С. 90. Курсив мой. — *В. К.*

[3] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. М.; Л., 1961. Т. 2. С. 36 (письмо от 4 декабря 1851 года). Курсив мой. — *В. К.* Письмо И. С. Аксакова к Тургеневу с просьбой принять участие в «Московском сборнике» см.: Русское обозрение. 1894. № 8. С. 458.

[4] ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. Ед. хр. 20. Л. 5 (письмо от 28 апреля 1852 года).

на несомненные заслуги: издание «Московского сборника» и правительственные преследования, ставшие его следствием; участие Аксакова в «Русской беседе» (при этом мемуарист поминает не то, что Аксаков, приняв на себя редакцию, не дал погибнуть журналу, а те ошибки редактора, которые он допустил); совместные заседания в Славянском комитете и т. д.[5] И лишь в самом конце, повествуя о начале 1880-х годов. (Аксаков тогда был редактором-издателем газеты «Русь»), мемуарист считает долгом уточнить: «В обществе и литературе продолжали нас обоих считать единомышленниками — славянофилами; и это было мне крайне неприятно; ибо я был глубоко убежден, что *пора так называемых славянофильства и западничества давно миновала.* ⟨...⟩ Прежде споры с И. С. Аксаковым бывали у нас частые и продолжительные; казалось, что мы приходили даже к соглашениям; но затем писались им статьи и высказывались мнения, *которые отзывались каким-то отжившим славянофильством.* ⟨...⟩ Мне особенно неприятны были выходки Аксакова против либералов, против правового порядка, земских учреждений, новых судов и т. д. Этим он становился явно против нас, сторонников предпринятых реформ, и как бы под знамя Каткова...» И чуть ниже: «И. С. Аксаков с немногими своими единомышленниками проповедовал в своей „Руси" *какой-то странный возврат к самобытности*, позволял себе самые резкие выходки против либералов, против правового порядка и пр.». Однако, тут же замечает мемуарист, «участвование в газете И. С. Аксакова могло повести к полному с ним разрыву — *чего я вовсе не желал*».[6]

Для «человека *потока*» Иван Аксаков предстает личностью вовсе непонятной — деятелем, которому для самореализации нужно встать непременно «*всуперечь*». В пору общественного признания славянофильства он, воспитанный в семье, которая была в глазах общества этакой славянофильской «колыбелью», не хочет быть «славянофилом», ратуя за «западнические» либеральные лозунги и провозглашая необходимость скорейших реформ в либеральном духе (чем возмущает старшего брата, «классика» славянофильской ортодоксии). А через тридцать лет, когда понятие «славянофил» становится едва ли не ругательным, тот же Иван Аксаков провозглашает себя «душеприказчиком покойных славянофилов» (выражение М. П. Погодина) и ратует уже за противоположные лозунги, становясь противником либеральных реформ (земской, судебной) и знаменем консервативной идеологии.

И в том, и в другом «противостоянии» И. Аксаков оказывается противником «человека *потока*». Но и какого-либо «разрыва» с ним Кошелев «не желает»: очень уж этот «поперечный» деятель талантлив — совершенно по-особому талантлив. И талант этот по-настоящему проявляется именно тогда, когда его носитель становится «всуперечь».

Подобное «самостоянье» литератора оказывается естественным в том случае, если он берет для себя в качестве основной жизненной позиции не просто позицию *противостояния*, но позицию *консервативного* противостояния. Носитель его не принимает устремлений «потока», отталкиваясь не от известных «прогрессистских» данностей (типа «свобода, равенство, братство»), а от глубоко оригинальных идей, носящих, по своей сущности, консервативный характер. Возможность такой *консервативной оппозиции* в XIX веке явил Карамзин в «Записке о древней и новой России» (1811), а в аксаковские времена — Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

---

[5] Русское общество 40—50-х годов XIX в. Ч. 1. Записки А. И. Кошелева. С. 93—95, 102—104, 154, 179, 182, 183.

[6] Там же. С. 192—193, 195. Курсив мой. — *В. К.*

* * *

18 августа 1846 года цензор разрешил к печати новую книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», и П. А. Плетнев «в возможном секрете»[7] приступил к ее изданию. Иван Аксаков в это время только начал служебную деятельность, в которой прославился способностью работать шестнадцать часов в сутки, точно и четко, без остатка погружаясь в скучное, на первый взгляд, дело. Почти год проведя на чиновничьей работе по ревизии Астраханской губернии, он понял — глубоко и изнутри, — что представляет собой русская провинция с ее грязным, смешным и бездуховным существованием и с огромными потенциальными возможностями, пропадающими втуне. И убедился, что честный и радетельный чиновник может действительно что-то *сделать* реальное для интересов других людей.

В интересующий нас период он служит в Калуге, на должности товарища председателя уголовной палаты, и часто общается с «персонажами» гоголевской «Переписки...» — губернатором Н. М. Смирновым и его супругой А. О. Смирновой (Россет). 26 августа 1846 года С. Т. Аксаков в письме к нему из Абрамцева сообщил «верное и секретное известие из Петербурга» о скором выходе книги Гоголя, прибавив при этом: «Увы, исполняется мое давнишнее опасение! Религиозная восторженность убила великого художника и даже сделает его сумасшедшим. Это истинное несчастие, истинное горе» (с. 159). Аксаков-отец, после бесед с автором, представляет и содержание будущей книги, и «направление» ее — и не без основания опасается, что она явится причиной «травли» Гоголя.

В конце ноября, когда книга Гоголя уже была отпечатана, но еще не вышла в свет, С. Т. Аксаков пишет письмо-предостережение Плетневу: «Ради Бога, неужели мы, друзья Гоголя, спокойно предадим его на поругание многочисленным врагам и недоброжелателям?» — и просит задержать книгу, чтобы не сделать автора ее «посмешищем всей России» (с. 160). Плетнев нашел эту просьбу странной и невыполнимой. 9 декабря Сергей Тимофеевич написал письмо Гоголю, упредив, что будет говорить с ним «глубоко откровенно», что напишет «беспощадную правду». Он писал о «религиозном направлении» Гоголя, о том тупике, куда приводят его творческие кризисы, он заклинал писателя не выпускать в свет книги, которая, по слухам, состоит «из проповедей и пророчеств» (с. 161—164). Гоголь ответил не сразу, но ответил жестко и жестоко.

1 января 1847 года в Петербурге поступила в продажу новая книга автора «Мертвых душ». Вскоре после этого П. А. Вяземский передал свое ощущение: «В первый день 1847 года пронеслась в Петербурге скорбная весть о кончине поэта Языкова и появилась новая книга Гоголя. ⟨...⟩ Это известие, это чтение, эти два события слились во мне в одно нераздельное чувство. Здесь настоящее открывает пред нами новое будущее; там оно навсегда замыкает прошедшее, нам милое и родное. Там событие, свершившееся и высказавшее нам свое последнее слово, поприще опустевшее и внезапно заглохшее непробудным молчанием. Здесь событие возникающее, поприще, озаренное неожиданным рассветом. На нем пробуждается новое движение, новая жизнь; слышатся новые глаголы, еще смутные, отрывчивые; но уже сознаем, что, когда настанет время, сим глаголам суждено слиться в стройное и выразительное согласие созревшего полного убеждения».[8]

На второй неделе января «Переписка» Гоголя получена была в Москве. 11 января Вера Аксакова пишет к Ивану: «Получена книга Гоголя, и мы пришли в ужас

---

[7] Из письма С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову от 26 августа 1846 года: *Аксаков С. Т.* История моего знакомства с Гоголем. М., 1960. С. 159. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

[8] *Вяземский П. А.* Сочинения. М., 1982. Т. 2. С. 162—163.

и уныние» (с. 165). Сергей Тимофеевич в том же письме высказался еще определеннее: «Самое лучшее, что можно сказать об ней, — назвать Гоголя сумасшедшим» (с. 164).

Но в тот же день, 11 января, Иван Аксаков из Калуги описывает то совершенно противоположное ощущение, которое произвело на него новое сочинение: «Книгу Гоголя надо читать не раз и не два, а двадцать тысяч раз! Я примирился с ним вполне, и вижу, что все, взводимое на него, — вздор и что не погиб он для нас как юмористический писатель. ⟨...⟩ Гоголь прав и является в этой книге как идеал художника-христианина, которого не поймет Запад так же, как и не поймет этой книги. Что за язык, Господи Боже мой, что за язык! Упиваться можно этим языком, лучшим всяких стихов. Серьезно надо взглянуть на эту книгу. Она способна пересоздать многих».[9]

Отзыв Ивана стал для родных полнейшей неожиданностью. Матушка Ольга Семеновна (доселе, как правило, на литературные темы письменно не рассуждавшая) посетовала: «С изумлением, разиня рты и поднявши руки, слушали мы письмо твое о книге Гоголя». Набожная Ольга Семеновна тут же нарисовала картину теперешней жизни Гоголя в Италии: «...он иначе не ходит, как потупя взор, и ему говорят тихо, с подобострастием: „Ник⟨олай⟩ Вас⟨ильевич⟩, хорошо ли это блюдо?" — а он, кушая, отвечает: „Соф⟨ья⟩ Петр⟨овна⟩, думайте о душе вашей". — Эта картина Тартюфа так мне противна, что я не могу ее выносить хладнокровно». И добавила: «Одно сильное действие возбудила во мне эта книга: *сильное негодование* — вот и польза его книги...» (с. 166).

Сергей Тимофеевич выразился многокрасочнее: «Письмо твое не изумило, не поразило меня, а просто уничтожило на некоторое время» (с. 165). Желая «образумить» сына, он со страстным негодованием обрушился на «изменившегося» Гоголя. Что стоят его «выходки на Погодина»? А «письмо к Веневитиновой», «которое нашпиговано *ангельскими устами* и *небесным голосом* и где определяется чисто католическое воззрение на красоту женщины и употребление оной»? А «печатное завещание человека живого и здорового, в каждом слове которого дышит неимоверная гордость»? («Боже мой, какое впечатление произведет это завещание на его бедную мать!») И дальше: «Я не мог без горького смеха слушать его наставленья помещикам, как надобно им пахать, жать и косить впереди своих крестьян; как заставлять их прикладываться к некоторым словам Священного Писания, *тыкая* в них пальцем, как чинить суд и расправу и как уверить умный русский народ, что помещик для того только справляет барщину, чтоб они в поте лица снедали хлеб свой; как раскладывать свой годовой доход, которого никогда при начале года в руках не бывает, на семь куч, и если в куче, назначенной для благотворения, недостанет денег, то дать людям умирать возле себя, а из другой кучи не брать! Я не мог без жалости слышать этот язык, пошлый, сухой, вялый и безжизненный, которым ты упиваешься...» (с. 165—166).

И в конце письма — предостережение Ивану, который оказался одинок: *вся семья* и *все друзья* Аксаковых новое произведение Гоголя решительно отвергли: «Мы все сбираемся писать к Гоголю более или менее в одинаковом смысле» (с. 166).

Пять дней спустя, 16 января, Аксаков-отец пишет к Ивану еще более жесткое послание, в котором позиция Аксаковых в отношении к книге Гоголя уяснена окончательно: «Обстоятельства переменяются. *Мы не можем молчать о Гоголе*, мы должны публично порицать его. Шевырев даже хочет напечатать беспощадный разбор его книги. Дело в том, что хвалители и ругатели Гоголя переменились местами: все мистики, все ханжи, все примиряющиеся с подлою жизнию своею воз-

[9] *Аксаков И. С.* Письма к родным. 1844—1849. М., 1988. С. 242. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием: Письма 1.

гласами о христианском смирении, весь скотный двор Глинки и особенно женская свита К. В. Новосильцовой утопают в слезах и восхищении. Я думал, что вся Россия даст ему публичную оплеуху и потому не для чего нам присоединять рук своих к этой пощечине; но теперь вижу, что хвалителей будет очень много и Гоголь может утвердиться в своем сумасшествии». И далее — вновь категорические инвективы: «Вся его книга проникнута лестью и страшной гордостью под личиной смирения: Он льстит женщине, ее красоте, ее прелестям; он льстит Жуковскому; он льстит власти. Он не устыдился напечатать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас». И тут же — новое жесткое предупреждение Ивану в форме отеческого наставления: «Я уверен, что мысли твои о книге Гоголя должны измениться. Ты обольстил сам себя предположением чистого христианского направления в Гоголе» (с. 166—167).

«Мне кажется, я свободнее вас, — пишет И. Аксаков отцу в ответ на его увещевания. — Я судил по одним впечатлениям, которые на меня производила эта книга, по тому ⟨...⟩ пробегали ли мурашки по коже или нет. Забудьте, что это писал Гоголь, и признайте за каждым человеком вещать такое серьезное, опытом жизни запечатленное слово. Вы чувствуете, что Гоголь не лжет, не надувает вас, но истинно борется, возится и страждет, и искренно молится и искренно удивляется при слове: молитва, Христос. Отчего же одному Филарету или Иннокентию можно писать проповеди, которыми всякий восхищается, но которым никто не верит и никто не следует ⟨...⟩ Гоголь мне ближе. Он действует не ex officio (по обязанности, *лат.*), он в таком же был положении, как и я» (Письма 1, 344).

В этом отношении И. Аксаков прямо противопоставляет свое, индивидуальное впечатление общей моде: «Мне дела нет до того впечатления, которое Гоголь произведет на публику. На меня он подействовал, точно будто новое поприще деятельности открылось для моей души. Вчера вечером и на ночь написал я стихи, которых еще и не перечитывал нынче. ⟨...⟩ Я чувствую себя другим и лучше» (Письма 1, 344). В апреле 1847 года в письме к Д. А. Оболенскому Аксаков писал о «трех стихотворениях о душе человеческой», написанных под впечатлением от «Выбранных мест...».[10] Действительно, эти «три стихотворения о душе» («Зачем душа твоя смирна?..», «Свой строгий суд установив...», «Не дай душе твоей забыть...») оказываются и по тональности, и по идеологии очень созвучны гоголевской книге с ее поисками общего, единящего всех людей:

Любовью кроткою дыша,
Вглядись в него: и пред очами
Предстанет каждая душа
С своими вечными правами.
Поверь: нетленной красоты
Душа не губит без возврата;
И в каждом ты послышишь брата,
И Бога в нем почуешь ты!

Ополчившиеся на новую книгу Гоголя Аксаковы, впрочем, готовы были признать и искренность Гоголя, и его мужество, и убежденность, и последовательность в провозглашении нетривиальной морализующей истины. Да, мир несовершенен. Да, в России есть «страхи и ужасы», многое в ней «горестно и грустно», а то и просто «гадко». Но если хочешь изменить этот мир, — взгляни прежде всего *на себя самого*: «Поверь, все придется к тебе самому, и я даже не знаю, есть ли такой упрек, которым бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя». Принимая на себя миссию учителя жизни, Гоголь взывал к русскому праведнику: он предлагал этому праведнику взять государственную

[10] ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. Ед. хр. 30.

должность и усердно, честно служить своей стране, думая не о своей выгоде, а о людском благе. Вот вам идеальный чиновник. А рядом — разумный помещик и добрый губернатор. «Начни с себя» — и да грядет великая утопия жизни русской.

Западники, отрицательно отозвавшиеся о «Переписке...», почти единодушно заявили, что именно славянофилы повинны в провозглашенных там реакционных идеях. Белинский зло заметил, что «славянофилы напрасно сердятся на Гоголя: он толь консеквентнее и добросовестнее их — вот и все». Боткин, в письме к которому эта идея была высказана, подхватил ее: «...славянская партия теперь отказывается от него (Гоголя. — *В. К.*), хотя она и сама натолкнула на эту дорогу».[11] Независимо от них эту же идею подробно развил (в письме к П. А. Вяземскому) Чаадаев: «Недостатки книги Гоголя принадлежат не ему, а тем, которые превозносят его до безумия...»[12]

Иван Аксаков довольно рано — еще до знакомства с «Перепиской...» — усвоил для себя многие тезисы, Гоголем провозглашенные. В письме к родным от 8 июля 1844 года он развивал идею о том, что московским «говорунам» нужно «проездиться по России», и выводил идеал деятеля, который «объездил бы нашу Россию, узнал бы действительные народа нужды и потребности» (Письма 1, 119). А в письме от 15 октября заявил, в противовес известному выступлению боготворимого им старшего брата: «Я никогда не надену зипуна прежде времени». Он не видит «существенной пользы» от подобной демонстрации, ибо, как позднее Гоголь, уверен: «Не через смешное достигают великие мысли исполнения...» (Письма 1, 162).

Оценивая новую книгу, которую становилось «модным» ругать, Иван вполне соглашался с тем, что в ней есть места смешные и странные: «...я сам при чтении книги сильно смущался выходками на Погодина, похвалами дому Романовых, разделением на 7 куч и т. п.». Но при этом он не хочет упускать главного: «...Гоголь искренен, он *действует так по обязанности, налагаемой на него убеждением, что все это может быть полезно людям*» (Письма 1, 347). Иван почувствовал, что он — именно тот человек, которому адресована Гоголева проповедь. Он был похож на своего отца и старшего брата и, как они, относился к собственной жизни как к «нравственному делу». Как и Константин, он стремился «возглашать громко во вся люди» выношенную им правду. Но Иван, кроме того, очень рано осознал себя не только *носителем* нравственности и правды, но и *деятелем* на ниве нравственных поисков общества. В этом смысле он оказывался одним из первых русских *интеллигентов* — тех, которые возникнут спустя полвека как большой социальный слой, тех, которые потом, будучи уничтожены, станут осознаваться своеобразным русским феноменом.

В 1842 году, окончив Императорское Училище правоведения, Иван стал чиновником Правительствующего Сената — разъезжал по России с различными поручениями или оставался служить в провинции. Через 9 лет, ставши обер-прокурором Сената, он вынужден был подать в отставку, ибо отказался подписать постановление, прикрывавшее злоупотребления «сильных мира сего»... Он не стремился к карьере, не имел корыстолюбивых мечтаний, но отдавался работе тогда, когда видел в ней нравственную цель:

Но нет, спаси меня, Творец,
От безнадежности покорной,
От сна ленивого души,
От жизни долгой, скучной, вздорной,
От прозябания в тиши!

(«К***», 15 августа 1846)

---

[11] П. В. Анненков и его друзья: Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 гг. СПб., 1892. Т. 1. С. 529.

[12] *Чаадаев П. Я.* Статьи и письма. М., 1987. С. 286—290.

Книга Гоголя давала иллюзию этого «спасения». Она позволяла молодому, думающему, ищущему себя деятелю создавать, «строить» самого себя в соответствии с отысканным-таки представлением о деятеле «гнетущей» современности. Заявив, что «Переписка...» Гоголя «способна пересоздать многих», Иван добавил: «Совестно становится перед этою торжественною важною тишиною, когда вспомнишь о наших скороспелых трудах, крикливых восторгах и всякой мелочной душевной возне. Мне страшно было вчера взяться за книгу, когда я почуял, что в ней заключается» (Письма 1, 342).

Иван как будто впервые соприкоснулся с высоким искусством, выполняющим общественную миссию, как будто заново уловил его способность вернуть человека к самому себе, сосредоточиться на душе человеческой. Художественное творение и общественная польза будто соединились воедино — и на этом пути вот-вот должно появиться «грандиозное здание» второго тома «Мертвых душ»: «...если „Мертвые души" явятся, если просветленный художник уразумеет всю жизнь, как она есть, со всеми ее особенностями, но еще глубже, еще дальше проникнет в ее тайны, не односторонне, не увлекаясь досадой и насмешкой, — ведь это должно быть что-то исполински страшное. 2-й том должен разрешить задачу, которой не разрешили все 1847 лет христианства» (Письма 1, 347—348).

Художество, творчество посягает на равенство жизненным «таинствам» — вот что увидел Иван Аксаков, и вот что определило и его литературную, и его общественную позицию. В своем лирическом творчестве он стал отражать прежде всего «заботы дум» — внутренние «мученья и сомненья» русского интеллигента. В отношении же к российским «спорам» он изначально отошел от тенденциозности и «программности» выступлений старшего брата — и более стал подумывать о том, как бы применить отдельные пункты этой «программы» к «разорванной» российской действительности. Это его «промежуточное» положение ощущалось и позднее — в середине 1860-х годов Н. Ф. Щербина ядовито отозвался об И. Аксакове в эпиграмме:

Он в охабне социалист французский,
Иль в синей блузе Посошков.[13]

И тем показательнее, что спустя пять лет после торжественного приятия отторгнутой обществом книги Гоголя он в своем панегирике Гоголю в «Московском сборнике» 1852 года заметил как будто противоположное: «Да, если и ошибался этот гениальный поэт в некоторых своих воззрениях (*высказанных, например, в «Переписке с друзьями»*), то тем не менее подвиг всей его жизни вполне чист и высок».[14] Впрочем, это отнюдь не означает, что он «отрекся от прежних своих взглядов на книгу» (как написал в своем исследовании Н. И. Цимбаев).[15] Просто в данном случае он говорил от имени некоей общественной группы, что обязывало к учету не только личных, но и коллективных суждений. Для себя же самого в истории со всеобщим неприятием «Переписки...» Гоголя он уяснил прежде всего то, насколько зыбкой и трудноуловимой становится «чистая», консервативная оппозиция, которая в книге Гоголя была заявлена русской культуре.

Эта «консервативная оппозиция» неизбежно оказывается зыбкой и трудноуловимой, ибо очень часто вплотную подходит к тому, что некогда было названо «официальной народностью». Странная «соотнесенность» их обнаружилась уже через несколько лет.

---

[13] *Щербина Н. Ф.* Избр. произведения. Л., 1970. С. 300.

[14] *Аксаков К. С., Аксаков И. С.* Литературная критика. М., 1982. С. 252.

[15] *Цимбаев Н. И.* И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978. С. 46.

* * *

С началом Крымской войны либеральные круги русского общества были охвачены «пораженческими» настроениями. А. И. Кошелев вспоминал: «В 1853 году началась война с Турциею и предчувствовалась борьба с Европою. Уничтожение турецкого флота под Синопом всех русских несколько оживило. Правительство, занятое военными приготовлениями и действиями, менее обращало внимание на дела внутреннего управления. Казалось, что из томительной, мрачной темницы мы как будто выходим если и не на свет Божий, то, по крайней мере, в преддверие к нему, где уже чувствуется освежающий воздух. Высадка союзников в Крым в 1854 году, последовавшие затем сражения при Альме и Инкермане и обложение Севастополя нас не слишком огорчили; ибо мы были убеждены, что даже поражения России сноснее и даже полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время. Общественное и даже народное настроение, хотя отчасти бессознательное, было в том же роде».[16]

Иван Аксаков, путешествуя по украинским захолустьям (где он находился по командировке Географического общества), будучи мало посвящен в дела обеих столиц, искренно засобирался на Дунай, в страны закабаленных «славянских братий»:

На Дунай! туда, где новой славы,
Славы чистой светит нам звезда,
Где на пир мы позваны кровавый,
Где, на спор взирая величавый,
Целый мир ждет Божьего суда!
Чудный миг! миг строгий и суровый!
Там, в бою сшибаясь роковом,
Стонут царств могучие основы,
Старый мир об мир крушится новый,
Ходят тени вещие кругом...

Большие призывные стихи Иван послал в письме от 29 апреля 1854 года из Елисаветграда.[17] Родные не на шутку встревожились, начали уговаривать его не делать опрометчивого шага. Но Иван был непреклонен: «Что касается до меня, то я не сознаю в себе способности принести большую пользу службой на Дунае, но для меня это просто потребность души: хочется быть рабочим, хоть самым темным и безвестным! ⟨...⟩ На Дунай, на Дунай!» (Письма 2, 259).

С другой стороны, это, пожалуй, единственные в своем роде *ура-патриотические* стихи Ивана Аксакова: этот «одический» призыв («Меж рабочих, темных и безвестных, / Ты везде рабочим добрым будь!») практически единичен во всем его лирическом творчестве. Творчество это, как известно, было не чуждо декламационно-ораторской, проповеднической интонации. Но подобная интонация возникала в общей атмосфере «вопросов и сомнений», одолевавших автора. «Сомнение или отчаяние, высказанные в его стихах, обычно касаются не личной судьбы и личного счастья, не духовной свободы самого автора и его друзей, а смысла и пользы того, что должно быть общим делом ради общего блага» — указывает Е. Калмановский.[18]

Явленные же здесь ноты прямой, «не сомневающейся в себе» призывности вовсе не были принадлежностью только аксаковского творчества: они оказались присущи всей русской поэзии периода Крымской войны, представившей какое-то новое качество в сравнении с поэзией предшествующего периода.

---

[16] Русское общество 40—50-х годов XIX в. Записки А. И. Кошелева. С. 94.

[17] *Аксаков И. С.* Письма к родным. 1849—1856. М., 1994. С. 253—254. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием: Письма 2.

[18] Русская литература. 1994. № 1. С. 61.

Поэзия переживала в эти времена довольно мрачный период. Уже в сороковые годы, в период решительного подъема русской прозы и журналистики, поэзия и стиховая речь начала терять свой прежний ореол, свое влияние, свой былой резонанс. Русские читатели 1840—1850-х годов нарасхват читали новые статьи Белинского — и оставались равнодушны к поэтическим откровениям Баратынского или Фета. Некоторые журналы вообще прекратили печатать стихи. На первый план выдвинулось обсуждение политических, экономических или философских проблем, связанных с практическими вопросами современности. На фоне страстных общественных полемик голос поэзии воспринимался как архаичный отголосок прошлых времен. Традиционные интимно-лирические жанры производили уже комическое впечатление и стали материалом для пародий. Текущая журнальная поэзия обращалась в некий «подголосок» прозы и публицистики.

Поэтому лучшие, наиболее яркие поэты молодого поколения судорожно искали выход из кризиса. В этом отношении показательна, например, общественная эволюция наиболее последовательного лирика этой переходной эпохи Аполлона Майкова. Майков начал в поэзии как «западник», «поэт-петрашевец», представитель вполне «демократического», передового крыла русской художественной мысли. Его ранние вещи — поэмы «Две судьбы» (1844) и «Машенька» (1845) — печатались во вполне «демократических» изданиях 40-х годов и приветствовались Белинским. Затем он вошел в так называемый «кружок „Современника"». От кружка Петрашевского он, правда, рано отстал — и потому избежал, например, судьбы Достоевского, каторги и солдатчины...

И вдруг в начале 1850-х годов Майков вдруг создает образцы ультрапатриотической, «официальной» поэзии, прославляющей русское самодержавие — единственную животворную форму правления Руси. Среди его стихов того времени шокирующее впечатление на современников произвело написанное 5 марта 1854 года стихотворение «Коляска», в котором был выведен образ «промыслителя России» и «первого труженика народа своего» Николая I, чей образ должно водрузить «на поклонение народам». Стихотворение было настолько откровенно льстиво, что даже сам царь запретил его печатать. Но оно, как водится, и без того стало известно обществу.

В этой перемене позиции Аполлон Майков, однако, отнюдь не был «подлецом». После «Коляски» он пережил не одно объяснение с былыми приятелями — а одному из них, Михаилу Языкову, послал даже большое письмо (сохранившееся в черновике).[19] В письме Майков исповедуется и признается, что чувствовал себя в кругу либеральных друзей не очень уютно: «О России и царе слышали мы только крайние суждения, и только думали, что вот хорошо, кабы кто-нибудь применил к ней формы конст⟨итуции⟩ или республ⟨ики⟩...» И далее: «Вообще в головах этой братии я не находил ничего такого, что бы принять душою и верою. Теперь вижу, что было много вздору, много эгоизма и мало любви!» И еще далее: «...мною писано много с недосказанною мыслью: все написанное гибнет от этого ложного основания и объясняется, конечно, тем гнетом, который на нас лежал, и господством кривды и всех мерзких правительственных систем, которые до того возбудили ненависть к существующему порядку вещей, что мы сделались неспособны к преследованию чистых целей искусства».

Далее следует парадоксальное поэтическое признание: искомые «чистые цели искусства» раскрылись перед поэтом с началом Восточной войны. Начало это, как известно, было весьма успешным. Турция объявила войну России 4 октября 1853 года; 20 октября вышел высочайший манифест. 12 ноября турки были разбиты наголову под Ахалцихом корпусом генерала И. М. Андроникова. 18 ноября

---

[19] Далее цитируется по: *Ямпольский И. Г.* Из архива А. Н. Майкова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год. Л., 1976. С. 35—41.

роизошла Синопская победа русского флота под командой П. С. Нахимова. 19 ноября князь В. О. Бебутов победил превосходящие силы турок при Баш-Кадыкларе. Весть о Бебутовской и Нахимовской победах, — пишет Майков, — потрясла меня пробудила во мне патриотическое, совершенно до того чуждое чувство; я плакал, ак безумный, и сердце мое сжималось от восторга и гордости, и я бессознательно овторял одно слово: ведь это *мы!* Мы в этих военных, героях скажу теперь, которых нас приучили презирать и над которыми нас приучили смеяться!»

У поэта произошел «переворот в мыслях» — и в одну ночь, со 2 на 3 декабря, н написал огромную оду, которая первоначально называлась: «На первые победы усских войск в 1853-м году». «Я это выразил в оде, — продолжает Майков в пись:е, — с коей прибежал к П⟨анаеву⟩ и Н⟨екрасову⟩, говоря им, что начинается новая эра р⟨усской⟩ и⟨стории⟩, что все выиграет от этого толчка, надо выиграть и ит⟨ераторам⟩, и первое — разрушить в правительстве предубеждение против нас, бъявив ему себя монархистами». Издатели демократического журнала «Современник», естественно, не захотели понять и оценить искренности Майкова — его да в журнале не была помещена. Майков, однако же, напечатал ее — в не очень одходящем журнале «Известия императорской Академии наук...», а затем включил ее в свой сборник патриотических стихотворений «1854-й год». Там она появиась под несколько неожиданным заглавием: «*Памяти Державина.* При получеии известия о победах при Синопе и Ахалцихе».

Имя Державина, возникающее в стихотворении, посвященном военным побеам 1853 года, кажется неуместным. «Старик Державин», умерший в 1816 году, коечно же, не имел к ним никакого отношения. Да и никакого особенного «юбилея» ержавина как будто не приближалось. Имя Державина возникает не из «внеших», а из «внутренних» поэтических данностей. Это заявлено уже в начале оды:

Что слышу? Что сердца волнует?
Что веселится царский дом?..
Опять Россия торжествует!
Опять гремит Кагульский гром!
Опять времен Екатерины,
Я слышу, встали исполины...
Но мой восторг неполон! Нет!
Наш век велик, могуч и славен;
Но где ж, Россия, твой Державин?
О, где певец твоих побед?..[20]

В современной России *нет Державина* — нет такого *поэта*, который, совершенно естественно и без какой-либо «задней мысли» восприняв победу в войне как *обеду*, как великое и героическое свершение близких к тебе людей, способен искренно и пламенно «воспеть» ее. Русская поэзия утратила способность восхищаться ощью и величием своих героев — здесь Майков дает своеобразный «сигнал»: «Кагульский гром». Победа войск генерала Румянцева над турками при бессарабской еке Кагул 12 июля 1770 года была первой из серии громких побед русско-турецих войн. Ее поминали даже в поэзии следующего века (ср. набросок Пушкина 822 года «Чугун Кагульский, ты священ...»). Но со временем это «незамутненое» восприятие победы как *победы* в русской поэзии утратилось и даже стало сорождаться нелестными эпитетами. Последние тексты подобного рода — стиховорения Пушкина и Жуковского, посвященные победам над восставшей Польей, — вызывали уже отрицательное отношение. А потом и вовсе сошли на нет...

Но ведь патриотическое чувство, охватывающее поэта, естественно! Естественно восхищаться блистательными победами вроде Синопа и Ахалциха; естественно оспевать собственную славу и гордиться тем, что это *мы* совершили! Отчего же эта

[20] Далее цитируется по: *Майков А. Н.* Избр. произведения. Л., 1977. С. 637—640.

державинская линия из русской поэзии ушла? Свою оду Майков строит еще как вполне «музейное» произведение: чеканный «ломоносовский» ямб, десятистишная одическая строфа (хотя и не выделенная графически), множество «возвышенных» архаизмов, придающих поэтической речи особенную торжественность. Это ориентация не столько на конкретно Державина, сколько на XVIII век как таковой: «неиспорченное» столетие, «нерефлектирующее» столетие, в котором всякое представление об «оборотной стороне» победы, какое бы то ни было «пораженческое настроение» было немыслимым. Конкретная ориентация Майкова в данном случае — ода Державина «На взятие Измаила», в которой русская православная монархия объявлялась спасительницей мира от «неправославного» варварства. Майков — на новом уровне поэтического мышления — пытается сказать то же самое:

И вновь Россия торжествует!..
Пускай Европа негодует,
Пускай коварствует и лжет:
Дух отрицанья, дух сомненья,
Врагов бессильное шипенье
Народный дух в нас не убьет!

Сам характер «воспеваемых» Майковым баталий в данном случае весьма напоминает легендарные сражения XVIII столетия: Кагул, Туртукай, Рымник, Чесменское морское сражение. Те же русские «ухватки» — неожиданность, быстрота, натиск — и разбиты превосходящие силы противника, а собственные потери ничтожны. Наконец, поэт осознает, что Синоп и Ахалцих — это *последние* победы русского оружия, символ былой непобедимости «русского духа» вообще. Он сознает необходимость коренных перемен — и в оде своей призывает тень Петра Великого, который «как матрос и плотник жил». В данном случае ему важен *символ* — этот символ Петра и Державина должен возродить и Россию, и русскую поэзию.

Апелляция поэзии к эпохе XVIII столетия, неожиданно продемонстрированная Майковым, оказалась очень перспективной. Показательно, что именно в это время, 1853—1854 годы, в творчестве многих поэтов начинают звучать «басовые струны», которых явно недоставало лирике пушкинской эпохи. Вот поэт совсем другого круга и другого лагеря — Алексей Хомяков. При известии о первых победах над турками он испытывает те же чувства, что и Майков: чувства гордости и надежды. «Победа Бебутова и Синопское дело очень всех порадовали, — констатировал он в письме к А. Н. Попову. — Что-то вперед Бог даст?» И далее: «А по-моему, узел дела в Сербии и в том, как сербы и черногорцы объявят свое отношение к вопросу об ограждении христиан вообще от разбоя и убийства». Лидер славянофильства видит в Синопской победе возможность будущей реализации своих панславистских мечтаний. В этот же период, точнее, весной 1854 года, узнав о создании англо-франко-турецкой коалиции против России, Хомяков тоже не смог не выступить как поэт. И тоже, как Майков, в одну ночь (с 22 на 23 марта) написал сразу три больших стихотворения — среди них самое знаменитое свое стихотворение, не опубликованное, но разошедшееся в огромном количестве списков: «России» («Тебя призвал на брань святую...»). Этот «канон покаяния» тоже содержал одические мотивы — и оказывался призывом родной стране начать новое, «очистительное» бытие. Об этих стихах он с гордостью заметил в письме к А. Ф. Гильфердингу: «Я хоть сколько-нибудь возвратил человеческому слову у нас слишком забываемое благородство».[21] Но в отличие от стихов Майкова «покаянные» мотивы были у Хомякова определяющими.

Подобная оценка «политических» стихов, часто выставляемых в литературоведческой науке на «задний» план, кажется неожиданной, — тем не менее, она вполне

[21] *Хомяков А. С.* Полн. собр. соч. М., 1900. Т. VIII. С. 84, 236.

правомерна. Тот поэтический «кризис», который захватил Россию в 1840-е годы, мог быть преодолен только «басовыми» данностями политической, «сиюминутной» поэзии. Поэтические «взлеты», как и «массовые» всплески интереса к поэзии, как давно замечено, связаны с серьезными политическими событиями. Если брать недавнюю для нас историю, то известный взлет поэзии в середине XX века связан с Отечественной войной и последующим разоблачением культа Сталина. Стихотворения К. Симонова «Если дорог тебе твой дом...» и «Жди меня» имеют в своей основе одни и те же трагические события.

И даже классицистический жанр оды тоже никуда не девается, постоянно трансформируясь и применяясь к новым поэтическим данностям (известная «ода» XX века «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!..»). Он оказывается необходим во все времена. Поэтому крупное политическое событие, несущее на себе еще и «патриотическую» нагрузку, становится постоянным стимулом поэтического развития нации.

Но патриотизм бывает разный. А. Н. Майков, собрав стихотворения, созданные в период Крымской войны, выпустил сборник под заглавием «1854-й год». Официозная печать приняла его поэзию как непосредственное выражение «русского духа» и декларировала близость поэта к славянофилам. И Майков специально поехал в Москву — «знакомиться с славянофилами и искать истины». Московский вояж поэта описан в письме И. Аксакова к родным от 2 апреля 1855 года: «Майков явился к Хомякову, который его однако же осадил легонько, показав ему, что между п⟨етер⟩бургским патриотизмом и московским направлением нет ничего общего. Майков, превознося теперешний жар в П⟨етер⟩бурге, говорит, что благодаря событию все там теперь почувствовали себя русскими. — „Что это за чувство, как это себя чувствовать русским, расскажите, пожалуйста?" — возразил Хомяков, ну и тот, разумеется, понес гиль. Майков хотел приехать ко мне (я его, впрочем, не видал), но сбивается все в адресе, да я и не думаю, чтобы после Хом⟨якова⟩ ему очень хотелось знакомиться; он ругает западников на чем свет стоит; Хом⟨яков⟩ объявил ему, что у нас в Москве действительно такого патриотического жара нет. Может быть, впрочем, он и явится в Абрамцево, если останется дольше» (Письма 2, 336).

И. С. Аксаков жил тогда в Москве: он вступил в ополчение и ожидал отправления к театру боевых действий. Остальные Аксаковы, жившие в Абрамцеве, вовсе не горели желанием принимать «благонамеренного казенного писателя».[22] Константин Сергеевич в письме к младшему брату с недоумением заметил: «Мне, признаюсь, даже странно, что этот человек после стихотворений своих хочет с нами познакомиться...» (Письма 2, 598). Впрочем, их опасения были напрасны: уже в следующем письме Иван заметил: «Майков не будет, да и вообще, кажется, знакомство с Хомяковым отбило у него охоту водиться с славянофилами» (Письма 2, 340).

Майков между тем захотел познакомиться с Хомяковым как раз вследствие того, что «канон покаяния» последнего — стихотворение «России» — приобрел большой общественный резонанс. И у самого Майкова в только что вышедшем сборнике было немало мотивов недовольства существующим режимом и критики, но эти мотивы не воспринимались в качестве «оппозиционных» именно потому, что за ними не стояло *позиции*. Когда Хомяков заявлял, что у славянофилов «патриотического жара нет», он немножко кривил душой: письма И. Аксакова свидетельствуют, что он призывал вступить в ополчение и Самарина, и К. Аксакова, и сам, на шестом десятке, заявлял, «что если б жена его была жива, то, вероятно, он пошел бы в ополчение» (Письма 2, 338). При этом и Хомяков, и Самарин, и И. Аксаков (вступивший в ополчение) прекрасно знали правду о Крымской войне. Просто

[22] Дневник Веры Сергеевны Аксаковой. СПб., 1913. С. 134.

этот жест был неотъемлемой данностью той *консервативной оппозиции*, которую они для себя приняли. Просто «казенного» негодования было уже недостаточно.

Показательно, что Восточная война была воспринята славянофилами как война за освобождение от турецкого ига православных славянских братьев. Одновременно с призывом «На Дунай!» Иван Аксаков пишет «крамольное» стихотворение:

Пленных братьев упованье
Все ли тщетные мечты?
Русь! познай свое призванье!
Стать на суд готова ль ты?

Стихотворение это создано явно «по следам» «канона покаяния» Хомякова: и в нем призыв к освобождению «пленных братьев» (сам по себе «неуместный») соединяется с указанием на духовную слабость России, которая должна начать великое дело, только сама будучи «свободною»:

Многих в цепь ты заковала,
Ты с покорностью рабы
Дух губила, мысль стесняла,
Развращалась без борьбы.
Но по Божьей благостыне
Ты от сна пробуждена...
Русь, прозри, покайся ныне,
К службе высшей ты звана!..[23]

Это стихотворение стало известно в Москве, распространилось в списках. Московский генерал-губернатор А. А. Закревский потребовал заключения автора в крепость «до окончания войны».[24]

Но практика консервативной оппозиции должна была примеряться к существующим условиям. Весной 1854 года. Иван Аксаков написал два стихотворения: одно «официально-призывное», другое «крамольное». Уже летом он высмеял первое из них. «При настоящем положении дел, — пишет он родным 23 июля, — смешно вспомнить многие стихи, в том числе и мои „На Дунай!". Оправдываются только стихи, в которых выражалось сомнение в возможности для России такого чистого подвига» (Письма 2, 289). Но показательно, что в эти же месяцы Ю. Самарин (в письме к К. Аксакову) просит напомнить автору «крамольного» стихотворения «о неуместности в настоящую минуту всякого намека на возможность разрыва между Россией и правительством».[25]

Оба разнородных поэтических «призыва» Ивана Аксакова оказывались одинаково невостребованными в бурном потоке исторического развития России предреформенного времени. Может быть, из-за этого их автор, ощутив в себе прежде всего публицистическое, «политическое» дарование, вскоре вообще отказался от поэтического творчества?

Консервативная оппозиция по своей сущности изначально «неблагодарна» для ее носителя: он чаще всего оказывается непонятен и преследуется как «справа», так и «слева». Тот же И. Аксаков в качестве редактора прославился как «великомученик русской цензуры» — и как «рутинер», «охранитель» в оценке демократи-

---

[23] Вольная русская поэзия XVIII—XIX веков. Л., 1988. Т. 1. С. 495—496. Стихотворение было впервые опубликовано Е. Г. Бушканцем, который приписал его Хомякову. Н. И. Цимбаев установил авторство И. Аксакова по находящейся в делах III Отделения выписке из его письма к О. Ф. Кошелевой с просьбой «дать прочитать стихи Хомякову» (*Цимбаев Н. И.* Указ. соч. С. 49—50).

[24] *Лемке М. К.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1909. С. 219.

[25] РГБ. Ф. Самариных. 140.2 (письмо № 115).

ческой публицистики. Это, как правило, «бессильная оппозиция». Но иногда она способна произвести неожиданно сильное действие, могущее потрясти всю национальную жизнь. Итоги этого действия оцениваются неоднозначно, но остаются необратимыми.

* * *

К началу 1860-х годов русское славянофильство разом осиротело. Ушли братья Киреевские, Хомяков, отец и сын Аксаковы. Оставшиеся члены кружка «разбрелись» в разные стороны. Ю. Ф. Самарин и князь В. А. Черкасский стали членами Редакционной комиссии по крестьянскому делу. Манифест 19 февраля 1861 года, ставший итогом работы этой комиссии, Иван Аксаков назвал «дурацким» и идущим «прямо наперекор народным понятиям». Едва оправившись от кончин и похорон, он вдруг ощутил себя едва ли не единственным славянофильским «душеприказчиком». По поводу смерти Хомякова он заметил: «Для меня точно потемки легли на мир, точно угасло светило, дневным светом озарявшее нам путь ⟨...⟩ Теперь для нас наступает пора доживанья, не положительной деятельности, а воспоминаний, доделываний. История нашего славянофильства как круга, как деятеля общественного, замкнулась».[26]

Ощутивши себя «славянофилом по духовному завещанию», он даже и личную жизнь свою решил отрегулировать по этому показателю. Весной 1862 года он сделал предложение старшей дочери А. С. Хомякова Марье Алексеевне.[27] Та в ответ удивленно заметила, что они мало знакомы друг с другом. В мае 1864 года Иван повторил свое предложение, настаивая в письме своем на том высоком общественном значении, которое мог бы иметь их брак. Однако Марья Хомякова и на этот раз ответила отказом. Вскоре избранницей славянофила стала старшая дочь Ф. И. Тютчева Анна: Тютчев тоже воспринимался славянофилами как «свой». Иван женился на Анне 12 января 1866 года. Жениху в то время шел 43-й год, невесте — 37-й.

В этот период И. С. Аксаков — уже прославленный журналист, редактор газеты «День» (1861—1865), потом газеты «Москва» (1867—1868), в которых его *консервативная оппозиция* проявилась вполне. Эта сторона его журналистской и публицистической деятельности требует специального исторического изучения.

«Звездный час» этой консервативной оппозиции пришелся на период Балканского кризиса 1875—1877 годов. Среди многочисленных «должностей» Аксакова было участие в деятельности Славянского благотворительного комитета, организованного в Москве после Крымской войны с целью оказания помощи братьям-славянам, находящимся под турецким владычеством. Официально Аксаков был заместителем председателя этого комитета (председателем числился М. П. Погодин) и долгие годы занимался благотворительной деятельностью: доставал денежные средства для создания в славянских землях «школ, училищ и других истинно полезных учреждений», собирал пожертвования от московских купцов: некоторые из них (как миллионер В. А. Кокорев) выплачивали стипендии студентам, учившимся в Москве; другие пытались организовать торговлю с Сербией и Болгарией.[28] В 1867 году в Москве усилиями Славянского комитета были организованы Славянский съезд и Этнографическая выставка. Но объявленные благотворительные цели были лишь частью программы Аксакова — уже с начала 1860-х годов он стал подумывать о возбуждении национально-освободительной борьбы среди угнетенных славян и искать «славянского Гарибальди».

---

[26] ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. Ед. хр. 48.

[27] ОПИ ГИМ. Ф. 178. Ед. хр. 57.

[28] *Никитин А. С.* Славянские комитеты в России в 1858—1878 годах. М., 1960. С. 36—37.

После проведения Славянского съезда Московский Славянский благотворительный комитет стал играть роль всероссийского центра. В 1868 году возникло Петербургское отделение, в 1869-м — Киевское, затем ряд провинциальных: Одесское, Казанское, Харьковское, Владикавказское, Варшавское, Саратовское, Самарское, Орловское и т. д.[29] Формировалась целая «благотворительная армия».

Когда в 1875 году в Боснии и Герцеговине вспыхнуло антитурецкое восстание, оно застало Аксакова врасплох (он поначалу счел его австрийской провокацией). Но турки провели ряд жестоких карательных мер, вызвавших в соседних полунезависимых славянских странах — Сербии и Черногории — сочувствие к восставшим. Затем восстание перекинулось на Болгарию, где оно было подавлено с невероятной жестокостью. В Европейскую Турцию для усмирения славян султан направил орды диких наездников — башибузуков, устроивших массовую резню женщин и детей, которая достигла невероятных размеров: 12 тысяч убитых. В городе Салоники были убиты французский и немецкий консулы. В июне 1876 года началась война Сербии и Черногории с Турцией.

И тут — на гребне пропаганды, которую проводили Славянские комитеты, — возникло то общероссийское движение, которое стало фактическим двигателем всех последующих событий. Национально-освободительная борьба балканских народов отозвалась в широчайших массах русских людей. Это патриотическое народное движение солидарности России с борющимся славянством — самобытный, малоизученный исторический феномен. Если бы в данном случае все дело сводилось к энергии Ивана Аксакова и деятельности Славянских комитетов, то вряд ли бы получилось то, что получилось. Странно и замечательно именно то, что стремление к освобождению славян оказалось в этот, краткий, период едва ли не субъективным желанием всякого русского человека. Какое, казалось бы, дело какому-нибудь орловскому канцеляристу, или питерскому гостинодворскому купцу, или деревенскому помещику до башибузуков и разгромов болгарских деревень? Но орловский канцелярист отдает последние деньги, гостинодворский купец выполняет бесплатный заказ на обмундирование сербской армии, а деревенский помещик, вспомнив о том, что он — офицер в отставке, просит отправить его добровольцем «послужить славянскому делу». Иван Аксаков, ставший после смерти Погодина уже и формально лидером Славянского комитета, поневоле возглавляет это движение. «Это пионеры русской политической идеи, русских желаний и русской воли, заявленных ими перед Европою», — констатировал Достоевский в «Дневнике писателя».[30]

Постепенно движение разрастается. Претендент на роль «славянского Гарибальди», «покоритель Ташкента», 48-летний генерал-лейтенант в отставке, последователь славянофильства М. Г. Черняев организует отряд добровольцев для отправки в Сербию. И. Аксаков пробовал отправить отряд Черняева официальным путем, но потерпел неудачу. Тогда Черняев, с благословения Аксакова, получив обманным путем заграничный паспорт, является в Сербии как частное лицо. Милан Обренович, будущий король Сербии, поручает ему командование главной из четырех сербских армий — моравской... Позже, после первых побед, он фактически становится во главе сербских войск. В июне 1876 года, когда Сербия начала военные действия (поначалу успешные), Аксаков от имени Славянского комитета опубликовал воззвание, в котором призвал «русскую общественную совесть» помочь славянам, «казнящимся за грех православия, за грех единоверия и единоплеменности с нами!».

В Славянские комитеты стали стекаться народные пожертвования. С сентября 1875-го по апрель 1876 года «на нужды православных славянских семей Герцего-

[29] Славянский вопрос и русское общество в 1867—1878 годах. М., 1948. С. 5.
[30] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1981. Т. 23. С. 104—105.

вины и Боснии» было переслано 96 тысяч рублей.[31] В сентябре 1876 года (когда военные действия стали складываться для сербской армии неудачно) при посредстве Аксакова Сербия получила крупный частный заем, а Петербургский Славянский комитет, по требованию Аксакова, отправил туда всю свою денежную наличность (100 тысяч рублей). Только Московский комитет получил за несколько месяцев около 600 тысяч рублей. На собранные деньги комитет заказывает в Германии оружие, которое по железной дороге доставляется в Одессу (доставляется, кстати, благодаря связям Аксакова, бесплатно!), а оттуда грузится на пароходы... И все это организует общество, которое должно бы ограничиться «благотворительными» деяниями!

Одновременно Славянским комитетам пришлось заняться еще одним, не записанным в их уставе, делом. Туда начали стекаться русские добровольцы, желающие воевать в армии генерала Черняева, числом гораздо большим, чем то, которое можно было отправить. Иван Аксаков открыл в помещении трактира «Славянский базар» особое отделение для приема заявлений от волонтеров. Желающих было много больше, чем возможностей, — и в «славянобазарском» отделении занимались тщательным отбором: допускались лишь опытные военные специалисты, прежде всего офицеры.

Складывается парадоксальная ситуация: русское общество, помимо правительства и «минуя» государство, начинает принимать участие в освободительной славянской войне! Правительство пытается закрывать комитеты, лишить их самостоятельности, но ничего не может поделать. При безобидных «благотворительных обществах» формируется фактически целая армия... Аксаков публикует собственные воззвания и речи поистине крамольные, взывающие к «бездействующему» правительству: «То, что творилось в России в эти последние месяцы, — неслыханно и не виданно не только в русской, но и в ничьей истории. Общество, точнее, сам Народ, помимо своего правительства, безусловно верного дипломатическим обязательствам, — без всякой помощи государственной организации, ведет войну в лице нескольких тысяч своих сынов (сынов, а не наемников), на свои частные средства в стране, хотя и родственной, но чужедальней, доселе ему почти неизвестной, — не из корысти, не за свои прямые, практические, материальные интересы, а за интересы, по-видимому, ему чуждые и отвлеченные. Ведет не прячась, не потаенно, а среди бела дня, с полным сознанием законности, правоты, святости, — скажу более, *естественности* своих действий...» (из речи от 24 октября 1876 года).[32]

Это было уже давление на правительство Александра II. Разочарованный неудачами действий добровольцев в Сербии, Аксаков пришел к выводу о том, что Восточный вопрос могла решить только сила русского оружия. Следовательно, необходимо вынудить русское правительство к объявлению войны.

Правительство никак не хотело этой войны: она явно противоречила объективным интересам России в данный период времени. Главное заключалось в том, что локальная «балканская» война очень легко могла превратиться в общеевропейскую: слишком много разнородных интересов она затрагивала. Она даже могла перерасти в новую «Крымскую кампанию», в войну России против Англии, Австрии и Турции при нейтралитете остальных держав. К такой войне Россия готова не была. Министр финансов Н. Х. Рейтерн предупреждал государя, что даже и локальная война может привести Россию к финансовому краху. Уже для выполнения одной частичной мобилизации, которую предписано было провести осенью 1876 года для устрашения Турции, потребовался стомиллионный заем. Рейтерн резко заявил государю, что если будет война, то возможно ожидать государственного банкротства. Военный министр Д. А. Милютин тоже возражал. Всего за два года до этого, в

[31] Цифровые данные приводятся по: *Цимбаев Н. И.* Указ. соч. С. 232—237.
[32] *Аксаков И. С.* Сочинения. М., 1886. Т. 1. С. 227—228.

1874 году, в России прошла военная реформа: замена рекрутчины всеобщей воинской повинностью. Эти преобразования были настолько новы и необычны, настолько перевернули все прежнее устройство армии, что выполнить объявленную мобилизацию оказалось делом далеко не легким. И численность российского войска резко сократилась.[33]

Александр II с неудовольствием видел, что, благодаря аксаковской агитации и деятельности Славянских комитетов, общественное мнение большинства народа склоняется именно к войне. А мнение это чутко воспринималось за границей и государь, которого оно опередило, вроде бы уже и не являлся, в глазах Европы, истинным вождем своего народа... Мнение это проникло и в придворные круги (в которых было много сторонников Аксаковых, в том числе и императрица); осенью 1876 года, когда император отдыхал в Крыму, его ближайшее окружение выказывало чрезвычайно воинственный пыл. Александр II не хотел войны, но был вынужден — дабы сохранить в глазах всего мира положение истинного вождя нации — решительно действовать в защиту балканских славян.

12 апреля 1877 года Россия объявила Турции войну — одиннадцатую по счету из русско-турецких кампаний. В своей речи от 17 апреля 1877 года Аксаков заявил: «Эта война потребна духу России, эта война за веру Христову, эта война за освобождение порабощенных и угнетенных народов, эта война — праведная, эта война — подвиг, святой, великий, которого сподобляет Господь Святую Русь».[34] Славянофильская мечта о спасении «пленных братьев» сбывалась. «Консервативная оппозиция» сумела добиться на самом высоком уровне осуществления своих идеалов.

По плану русского командования, война должна была быть наступательной и быстрой, однако реальное столкновение противников внесло в этот план значительные коррективы. Основные события этой героической, кровавой и благородной войны достаточно известны: переправа через Дунай, штурм и осада Плевны, оборона Шипки, Сан-Стефанский мир. Победа России в ней была далеко не безболезненной, а потери весьма значительны. Между тем Восточный кризис вступил в новую стадию. Лорд Биконсфилд послал русскому кабинету официальный протест против всяких изменений территории Турции без участия великих держав. Английские войска оккупировали остров Кипр — «ключ к Азии». России угрожала война с европейскими государствами.

13 мая 1878 года Берлинский конгресс (на котором с первых же дней обнаружилась полная изоляция России) изменил условия Сан-Стефанского договора. Он продемонстрировал очередной провал русской дипломатии, ориентировавшейся на «союз трех императоров». Общественное мнение России было возмущено действиями конгресса, «ополовинившего» результаты такой дорогой и желанной победы.

Тогда Иван Аксаков решил взять на себя исполнение «долга честного человека». 22 июня 1878 года на собрании Московского Славянского комитета он выступил со знаменитой речью, тотчас же прогремевшей на всю Европу.[35] Не говоря уже о политическом и публицистическом значении этой речи, перед нами замечательное литературное произведение. Она — как поэма, как плач, как надгробное слово десяткам тысяч погибших: «Не опять ли хоронить собрались мы сегодня, но уже не человека, а миллионы людей, целые страны, свободу болгар, независимость сербов? Хоронить великое, святое дело, заветы и предания предков, наши собственные обеты, — хоронить Русскую славу, Русскую честь, Русскую совесть?.. ⟨...⟩ Ты ли это, Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побежденную? Ты ли на скамье подсудимых, как преступница, каешься в святых, подъ-

[33] См.: *Корнилов А. А.* Курс русской истории XIX века. М., 1993. С. 359—364.
[34] *Аксаков И. С.* Сочинения. Т. 1. С. 262.
[35] Там же. С. 297—308. Далее цитируется по этому тексту.

ятых тобою трудах, молишь простить тебе твои победы?.. Едва сдерживая веселый смех, с презрительной иронией, похваляя твою политическую мудрость, западные державы с Германией впереди нагло срывают с тебя победный венец, преподносят тебе взамен шутовскую с гремушками шапку, а ты послушно, чуть ли не с выражением чувствительнейшей признательности, подклоняешь под нее свою многострадальную голову!..»

Аксаков и здесь остается «вечным оппозиционером». Он не собирается ни «хвалить», ни «жалеть» русское правительство, столкнувшееся с европейским непониманием: в славянофильской антиномии *публика—народ* его волнуют именно страдания и потери *народа*, который в очередной раз обманут: «Стоило ли для этого обмораживать ноги тысячами во время пятимесячного Шипкинского сидения, стоило гибнуть в снегах и льдинах, выдерживать напор бешеных сулеймановских полчищ, совершать неслыханный, невиданный в истории зимний переход через досягающие до неба скалы!.. Без краски стыда и жгучей боли нельзя уже будет теперь русскому человеку даже произнести имя Шипки, Карлова и Баязета и всех тех мест, прославленных русским мужеством, усеянных русскими могилами, которые ныне вновь предаются на осквернение туркам! Добром же помянут эту кампанию и русскую дипломатию возвратившиеся солдаты!»

От «русской дипломатии» Аксаков в этой речи не оставляет камня на камне — и даже Тютчева цитирует, дабы показать, насколько неоснователен был страх русской дипломатии перед «невозможной войной» с той же Австрией, которая «именно войны с Россией пуще всего и боится». Его приговор русскому правительству оказывается злым и однозначным. Но показательно, что самое это «правительство» консерватор Аксаков ставит в один ряд с русским нигилизмом: «Слово немеет, мысль останавливается, пораженная пред этим колобродством русских дипломатических умов, пред этою грандиозностью раболепства! Самый злейший враг России и престола не мог бы изобресть чего-либо пагубнее для нашего внутреннего спокойствия и мира. Вот они, наши настоящие нигилисты, для которых не существует в России ни русской народности, ни православия, ни преданий, — которые, как и нигилисты вроде Боголюбовых, Засулич и К°, одинаково лишены всякого исторического сознания и всякого живого национального чувства. И те и другие — иностранцы в России и поют с чужого европейского голоса; и те и другие чужды своему народу и смотрят на него как на tabula rasa, презирают его органические, духовные начала, стараются сдвинуть его с пути, заповеданного ему историей, и направлять насильственно на путь противоестественный».

А в финале, как и положено консерватору, показательная апелляция к «венчанному оберегателю»: «Если в нас, при одном чтении газет, кровь закипает в жилах, что же должен испытывать Царь России, несущий за нее ответственность пред историей? Не он ли сам назвал дело войны „святым"?» И наконец, риторический вопрос: «Долг верноподданных велит всем нам надеяться и верить, — долг же верноподданных велит нам и не безмолвствовать в эти дни беззакония и неправды, воздвигающих средостение между Царем и Землею, между царской мыслью и народною думой. Ужели и в самом деле может раздаваться нам сверху в ответ внушительное слово: молчите, честные уста! гласите лишь вы, лесть да кривда!»

Наказание консерватору-оппозиционеру последовало тотчас же. Когда Александр II узнал об этой речи, он до такой степени рассердился, что, несмотря на положение Аксакова, на его лета и на его заслуги, повелел выслать его из Москвы административным порядком и немедленно закрыть все Славянские комитеты.

Иное наказание не менее значимо, чем орден: его тоже надобно заслужить. Речь Ивана Аксакова получила самый живой отклик в России. Болгарская молодежь выдвинула его кандидатуру на Болгарский престол, а в Софии появилась улица его имени. Впечатление от речи, ставшей всемирно известной, привело к созданию мифа о том, что сам Восточный кризис 1875—1878 года был делом рук Ак-

сакова и Славянских комитетов и что им, в конечном итоге, Болгария, Сербия и Черногория обязаны своим освобождением. Какая-то доля истины, однако, в этом «мифе» была.

Показательно еще одно обстоятельство. 26 июля 1878 года Иван Аксаков отправился в ссылку — в село Варварино Владимирской губернии, где находилось имение его свояченицы Екатерины Тютчевой. Там он прожил до декабря. Там, после двадцатилетнего перерыва, *вновь начал писать стихи*. В этих стихах, как и прежде, была ясно выражена собственно лирическая стихия. Вот его послание «Варварино»:

Как тихо дни мои текут!
Как мил, укромен твой приют!
Как сердцу вид его отраден,
Как нежит душу, тешит взор,
Как в простоте своей наряден!
Как величав и безогляден
Пред ним раскинулся простор!..

Но на простом и умиротворяющем пейзаже («Какая ширь! какая тишь!..») Аксаков остановиться не может: его консервативная оппозиция проявляет себя и при соприкосновении с родным «приютом». Тотчас же мысли поэта устремляются в другой, чуждый России, мир, где господствуют «идолы чужие» и где «злая мгла / Вершины Руси облегла». И естественно, собственную задачу он представляет как задачу преодоления этого «чуждого» мира. Без подобного «преодоления» его поэтическое слово не самодостаточно:

В той безнародной вышине
Родная мысль в оковах плена;
Одни лишь властвуют вполне
Там лесть и ложь, и буйство тлена!..
Но внемлет Бог простым сердцам:
Сквозь смрад и чад всей этой плесни
Восходит к долу фимиам,
Несется звук победной песни,
Поющей славу небесам.

© *Д. А. Бадалян*

ГАЗЕТА И. С. АКСАКОВА «РУСЬ» И ЦЕНЗУРА

Для современников Ивана Сергеевича Аксакова не являлись секретом его драматичные отношения с цензурой. Об этом, как и о его независимости от официального мира, сразу после смерти Аксакова писали многие. Например, Н. П. Гиляров-Платонов — в газете «Современные известия», К. П. Победоносцев в «Гражданине» и Н. Н. Страхов в «Новом времени».[1]

Позднее известный историк печати М. К. Лемке несколько эмоционально назвал Аксакова «страстотерпцем цензуры всех эпох и направлений».[2] Отношение цензуры и различных аксаковских изданий не раз становилось одним из основных

[1] Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова († 27 января 1886 года). М., 1886. С. 7—8. 2-я пагин.; С. 21. 3-я пагин.; С. 5. 2-я пагин.; С. 93. 2-я пагин.

[2] *Лемке М.* Эпоха цензурных реформ 1859—1865. СПб., 1904. С. 270.

вопросов в исследованиях, посвященных общественной, издательской и журналистской деятельности Аксакова 1850—1870-х годов.[3] Тем удивительнее тот факт, что в подобном ракурсе никогда не рассматривалась последняя аксаковская газета — «Русь», которая выходила в Москве в 1880—1886 годах. Это может быть связано с тем, что «Русь» оказалась, в принципе, на периферии исследовательского внимания. Если о ней и писали, то бегло, без внимания к конкретным событиям. Даже в работе Н. И. Цимбаева,[4] самой обобщающей по отношению к деятельности Аксакова, последнему ее периоду уделено предельно мало внимания. На наш взгляд, это вызвано тем, что 1880-е годы в деятельности Аксакова подавляющее большинство исследователей охарактеризовало как пору окончательного формирования у него консервативных убеждений. Как известно, консервативное направление долгое время в отечественной науке считалось наименее интересным и перспективным для исследований. Из ученых советского времени Цимбаев первым последовательно представил Аксакова как деятеля либерального направления. Однако и для него поздний Аксаков не вписывался в это определение, поэтому деятельность последнего в 1880-е годы почти выпала из поля исследования.[5] Из всей цензурной истории «Руси» Цимбаев отмечает только два факта. Первый — известное еще с посмертных статей об Аксакове событие, связанное с вынесенным в 1885 году предостережением «Руси». Второй — впервые отмеченная им попытка Аксакова издать в 1881 году сборник своих статей из газеты «Русь». В работах других исследователей не отмечено ни одного иного эпизода из взаимоотношений цензуры и «Руси».

Цензура всегда была инструментом власти, поэтому, ставя перед собой вопрос об отношении органов цензуры к газете «Русь», мы видим за ним и более широкую проблему — взаимоотношения власти и Аксакова в 1880-е годы. Эта статья, в первую очередь, посвящена отношению органов цензуры к газете Аксакова. Однако в приложении к ней мы посчитали возможным поместить два письма, отражающие отношение к цензуре и власти самого редактора «Руси».

К началу издания «Руси» Аксаков-журналист имел вполне сформировавшуюся репутацию. Он был известен как редактор целого ряда изданий, закрытых либо по прямому решению органов цензуры, либо в силу возникших перед ними цензурных препятствий. Судьба его изданий решалась не только и не столько на уровне Московского цензурного комитета или Главного управления цензуры (с 1865 года — Главного управления по делам печати), сколько представителями высшей государственной власти — министрами внутренних дел, Правительствующим Сенатом, Государственным советом и, наконец, лично императором. Не случайно еще в

---

[3] См., например: *Греков В. Н.* И. С. Аксаков — журналист. 40—60-е годы XIX века // Автореф. дис. ... канд. фил. наук. М., 1988; *Китаев В. А.* Из истории идейной борьбы в России в период первой революционной ситуации (И. С. Аксаков в общественном движении начала 60-х гг. XIX в.). Горький, 1974; *Осповат А. Л.* И. С. Аксаков и «Русский архив»: к истории издания первой биографии Ф. И. Тютчева // Федоровские чтения. 1979. М., 1982. С. 73—79; *Пирожкова Т. Ф.* Славянофильская журналистика. М., 1997; *Порох В. И.* И. С. Аксаков — редактор «Дня» // Освободительное движение в России. Межвузовский науч. сб. Саратов, 1975. Вып. 5. С. 101—111. Тема Аксакова и цензуры затронута также в книге М. К. Лемке «Эпоха цензурных реформ 1859—1865». Отдельные аспекты отношения власти к Аксакову освещены в монографии: *Чернуха В. Г.* Правительственная политика в отношении печати в 60—70-е годы XIX века. Л., 1978.

[4] *Цимбаев Н. И.* И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978.

[5] Аксаков последних лет, в сравнении с его предыдущей деятельностью, остается своего рода феноменом и в научных работах, вышедших в 1990—2000-е годы (*Анненкова Е. А.* Аксаковы. СПб., 1998; *Греков В. Н.* В поисках истинного времени: Иван Аксаков историк и публицист // Аксаков И. С. М., 2002. С. 3—22; *Кошелев В. А.* Век семьи Аксаковых. Север. 1996. № 4. С. 79—114). В этом ряду исключение составляет исследование Е. А. Дудзинской (Славянофилы в пореформенной России. М., 1994), видящей и в позднем Аксакове умеренного либерала. Однако в силу стоящих перед ней задач Дудзинская не сосредоточивалась на журналистской деятельности Аксакова.

1867 году Ф. И. Тютчев сообщал Аксакову в письме от 23 августа, что в самом Главном управлении по делам печати (ГУДП) против него нет «положительной враждебности». «Их, — утверждал Тютчев, говоря о чиновниках Главного управления, — только огорчает ваша чрезмерная резкость. — Враждебность свыше».[6] В 1860-е, а затем и в 1870-е годы чаще всего замечания цензуры вызывали суждения Аксакова об истоках самодержавной власти и земства, о свободе слова и свободе совести, об отношениях правительства и Церкви, о притеснениях коренного населения Остзейского края, а также его взгляды на внешнюю политику, проводимую русским правительством (в частности, в «славянском вопросе»).

После вынужденного длительного молчания новую попытку вернуться к редакторской и издательской деятельности Аксаков предпринял в августе 1877 года. Он решил возобновить издание еженедельной газеты «День», единственной долгое время выпускаемой им, получившей признание у читателей и не запрещенной цензурой. Это событие можно рассматривать как первую предпринятую им попытку издания будущей газеты «Русь».[7] Получив прошение Аксакова, начальник ГУДП В. В. Григорьев 4 августа 1877 года направил конфиденциальный запрос в III Отделение собственной его императорского величества канцелярии: «Не имеется ли в оном сведений, могущих служить препятствием к удовлетворению вышеизложенного ходатайства».[8] Одновременно запрос об отзыве «по сему ходатайству» был направлен московскому генерал-губернатору князю В. А. Долгорукову.[9] 21 августа Долгоруков в конфиденциальном письме сообщал ГУДП, что Аксаков «известен по своим нравственным качествам за человека вполне честного и пользуется репутацией заслуженного и даровитого писателя». Однако затем отмечал: «Будучи характера увлекающегося доходит в преследовании своих идей до крайности, почему газеты, выходившие под его редакторством, или в которых он принимал близкое участие, наполнялись статьями такого содержания, что по поводу их или возбуждалась правительственная переписка, или делалось распоряжение о прекращении тех изданий».[10] Сославшись на примеры из практики газет «День» и «Москва», а также на цензурные санкции, постигшие в марте 1877 года «Московские ведомо-

---

[6] *Тютчев Ф. И.* Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. М., 2004. Т. 6. С. 257. Тютчев был на этот счет действительно хорошо информирован, поскольку, как известно, служил председателем Комитета цензуры иностранной и в этом качестве являлся членом Совета Главного управления по делам печати.

[7] Основаниями для такого суждения являются: 1) то, что и в 1880 году, когда «Русь» действительно начала выходить, Аксаков первоначально рассчитывал выпускать ее под названием «День» или «Новый День». Он писал 19 сентября 1880 года Н. С. Соханской: «Это будет совершенно как „День". Я и хотел дать название „День", или „Новый День", но в высших сферах мне отсоветовали» (Переписка Аксаковых с Н. С. Соханской (Кохановской) // Русское обозрение. 1897. № 12. С. 467), об этом же он сообщал 15 сентября 1880 года своему будущему корреспонденту В. Ф. Пуцыковичу (*Якобсон С. О.* Письма Ивана Сергеевича Аксакова к В. Ф. Пуцыковичу // На чужой стороне. Историко-литературный сборник под ред. С. П. Мельгунова. Берлин; Прага, 1924. Т. V. С. 151); 2) то, что «Программа политической и литературной газеты „День"», поданная Аксаковым вместе с прошением об издании газеты в ГУДП в августе 1877 года (РГИА. Ф. 776. Оп. 6. Ед. хр. 185. Л. 1; Прошение И. Аксакова подписано 2 августа 1877 года), не имеет принципиальных различий с «Программой еженедельной газеты под названием „Русь"», которая была утверждена министром внутренних дел 12 сентября 1880 года (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 5. Ед. хр. 39. Л. 2—3). Более пространственный вариант последней программы опубликован: Голос. 1880. 5 окт. № 275. С. 5; 8 окт. № 278. С. 7; 10 окт. № 280. С. 8; Новое время. 1880. 2 окт. № 1651; 4 окт. № 1652; Московские ведомости. 1880. 1 окт. № 272. С. 1; 4 окт. № 275. С. 1.

[8] РГИА. Ф. 776. Оп. 6. Ед. хр. 185. Л. 3. Запросы в III Отделение предусматривались действовавшим в то время законодательством ([*Варадинов Н. В.*] Сборник узаконений и распоряжений правительства по делам печати. СПб., 1878. С. 15).

[9] РГИА. Ф. 776. Оп. 6. Ед. хр. 185. Л. 3. Запросы в адрес генерал-губернатора, хотя и не предусматривались законом, были приняты в практике того времени ([*Варадинов Н. В.*] Указ. соч. С. 16).

[10] РГИА. Ф. 776. Оп. 6. Ед. хр. 185. Л. 9—9 об.

сти» и «Современные известия» за публикацию речи Аксакова в Славянском благотворительном комитете, Долгоруков заключил, что «едва ли может быть разрешено г. Аксакову издание испрашиваемой им еженедельной политическо-литературной газеты „День"».[11] Затем пришел ответ из III Отделения. В документе с грифом «секретно» от 31 августа на имя министра внутренних дел сообщалось, что при «высочайшем докладе» главного начальника III Отделения по поводу прошения Аксакова «Государь Император высочайше повелел отклонить означенное ходатайство».[12] Таким образом, судьба несостоявшегося издания Аксакова была решена самим императором, и 31 августа на этом же листе появилась резолюция, предписывающая отклонить его ходатайство.

Тем не менее уже спустя время, 9 сентября 1877 года, начальник ГУДП В. В. Григорьев излагал министру внутренних дел А. Е. Тимашеву свое видение ситуации: «Принимая во внимание, что проситель, издававший уже газету под этим названием в начале шестидесятых годов по особому последовавшему в Июне 1862 г. Высочайшему повелению, был лишен права на издание этой газеты,[13] вследствие не исполнения им цензурных правил; и что последующие затем издания его: газеты „Москва" и „Москвич", были прекращены по тем же причинам, — я, согласно с мнением Московского Генерал-Губернатора, полагал бы отклонить настоящее ходатайство просителя».[14] Надо отметить, что, хотя в формировании такой позиции принял участие и московский генерал-губернатор Долгоруков, свое мнение по предложенному вопросу он сформулировал не в категоричной форме («едва ли может быть разрешено»), а главное — не он и по закону,[15] и на практике принимал окончательное решение. Поэтому нельзя согласиться с Цимбаевым, указавшим, что в 1877 году разрешение на новое аксаковское издание не дал генерал-губернатор Долгоруков.[16] Решение принял именно император, но это не было сообщено Аксакову. Характерно, что и сам Аксаков ожидал подобного результата. Еще 9 августа, т. е. через неделю после подачи прошения об издании газеты, он писал по этому поводу П. Н. Батюшкову: «Вероятно откажут, но я хочу получить отказ *официальный*, это мне нужно».[17] Тем не менее и после этого отказа Аксаков не оставил надежд продолжить деятельность издателя и редактора газеты. В письме к В. Ф. Пуцыковичу от 15 сентября 1880 года Аксаков вспоминал: «И при Тимашеве, в последний год его воеводства, и при Макове пытался я получить разрешение на издание, но безуспешно».[18] А. Е. Тимашев, как известно, являлся министром внутренних дел до 22 ноября 1878 года, Л. С. Маков — до 6 августа 1880 года. Однако и в документах ГУДП, и в документах Московского цензурного комитета (МЦК) не удалось обнаружить никаких свидетельств о подаче Аксаковым в это время прошений о выпуске периодических изданий. Скорее всего, он их и не подавал. Аксаков имел немало влиятельных знакомых в высших петербургских сферах. Получив в 1877 году официальный отказ, в дальнейшем он, вероят-

---

[11] Там же. Л. 9 об.—10 об.

[12] Там же. Л. 11.

[13] В действительности газета Аксакова была тогда только приостановлена.

[14] РГИА. Ф. 776. Оп. 6. Ед. хр. 185. Л. 13—13 об.

[15] По действовавшему в то время закону «как самое разрешение, так и не разрешение нового издания, по представленной ли программе или с изменением ее зависит всецело от усмотрения министра внутренних дел» ([*Варадинов Н. В.*] Указ. соч. С. 17).

[16] *Цимбаев Н. И.* Указ. соч. С. 246.

[17] РНБ. Ф. 52. Ед. хр. 1120. Л. 29.

[18] *Якобсон С. О.* Письма Ивана Сергеевича Аксакова к В. Ф. Пуцыковичу. С. 151. О том же спустя четыре дня Аксаков писал Н. С. Соханской: «Пока был министром Внутренних Дел Тимашев, я не мог получить разрешение. ⟨...⟩ Когда Тимашев „прошел", наступил Маков; я полагал, что трагические события, осрамившие Русскую землю, вразумили нашу администрацию, — и возобновил попытку ⟨...⟩, но не добился никакого результата» (Переписка Аксаковых с Н. С. Соханской (Кохановской). С. 467).

но, лишь проводил своего рода зондаж, выясняя через свои связи, как отнесутся к новой его попытке, предпринятой в этом направлении. По крайней мере, именно так он вел себя в 1880 году.

10 апреля 1880 года Аксаков сообщал Г. П. Галагану, что «подумывал об издании еженедельной газеты», но это не удалось. «Я еще не получил официального отказа, — писал Аксаков, — вероятно и не получу его, потому что и сам писал неофициально; но власти, заведывающие нашею печатью, не сочли возможным дать мне даже частный ответ без доклада Государю!»[19] В том же письме он не без горечи заметил: «Вообще до нового царствования нельзя ожидать никаких перемен существенных».[20]

Однако отношение властей к Аксакову изменилось вместе с корректировкой политического курса, произошедшей во второй половине 1880 года. Впрочем, не так быстро, как виделось это некоторым исследователям — младшим современникам Аксакова. Например, С. А. Венгерову, писавшему в 1889 году об Аксакове: «Он подал прошение о разрешении ему издавать еженедельную газету „Русь" и времена стояли такие, что разрешение это, несмотря на то что оно давалось бывшему редактору „Москвы", последовало в течение одного дня».[21] В действительности даже с приходом к власти графа М. Т. Лорис-Меликова «времена» изменились не сразу, и принятию новым министром внутренних дел соответствующего решения предшествовали шаги, предпринятые со стороны Аксакова и его окружения. По рассказу П. И. Бартенева, во второй половине августа 1880 года некий москвич при встрече с Лорис-Меликовым в Алупке в неофициальной обстановке заметил тому, что хотя уничтожено «ненавистное» III Отделение и разрешен новый журнал «издателю еврейского происхождения», по-прежнему «у И. С. Аксакова замок на устах».[22] В это время Лорис-Меликов мог уже получить письмо от самого Аксакова. По его собственным словам, когда министр в августе был в Ливадии, он направил к нему письмо с просьбой о разрешении газеты. После этого, 25 августа Аксаков делился своими опасениями с профессором Петербургского университета О. Ф. Миллером: «Без доклада Государю не разрешат. Не уверен в дозволении, потому, что на меня гневаются за... войну не только в 1876 г., но и в 1877 г.! А М⟨инистерст⟩во Ин⟨остранных⟩ Дел боится гвалта, который поднимут „Neue Freie Presse" и вообще Австрийские и Немецкие газеты при известии о разрешении мне газеты».[23] Примерно в то же время, обращаясь к корреспонденту «Нового времени» А. Н. Молчанову, он писал, что в случае неудачи ему «придется прибегнуть к чужому органу, — и, вероятно, к вашему», — добавлял Аксаков, имея в виду суворинское издание, где Молчанов с ведома А. С. Суворина предлагал ему участвовать.[24]

Однако вскоре Аксаков получил от Лорис-Меликова «очень благосклонный письменный ответ с приглашением повидаться с ним в Петербурге».[25] Согласно рассказу Аксакова Е. Ф. Тютчевой, 3 сентября, после возвращения Лорис-Меликова из Крыма, он получил от него «пригласительную телеграмму». Далее Аксаков описывал: «В Петербурге я провел три дня, и с огромным удовольствием побеседовал с этим замечательно умным и талантливым человеком (он к тому же был одним из первых подписчиков „Дня" на Кавказе, следовательно вполне знаком с на-

---

[19] Из писем И. С. Аксакова к Г. П. Галагану // Русский архив. 1902. № 7. С. 493.

[20] Там же. С. 492.

[21] *Венгеров С. А.* Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. СПб., 1889. Т. I. С. 340. Вероятно, следуя С. А. Венгерову, писал об этом А. К. Бороздин: «Как только он подал прошение о разрешении издавать газету „Русь", это разрешение было дано» (*Бороздин А. К.* Литературные характеристики. Девятнадцатый век. СПб., 1905. Т. II. С. 286).

[22] *П[етр] Б[артенев]*. [Примечание] // Русский архив. 1902. № 7. С. 494.

[23] ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. Ед. хр. 27. Л. 25—25 об.

[24] *Молчанов А. Н.* Воспоминания об И. С. Аксакове // Исторический вестник. 1886. № 7. С. 375.

[25] РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 186. Л. 152.

правлением)».[26] Об общении с Лорис-Меликовым Аксаков писал также А. И. Кошелеву: «Виделся с ним раза два и общался весьма продолжительно. — Знакомство с ним и беседы доставили мне истинное утешение. Теперь оформливаю разрешение, данное на словах».[27] Поездка в Петербург заметно подняла настроение Аксакова. По крайней мере, рассказывая о ней осторожной (если не скептичной) к его газетному предприятию Е. Ф. Тютчевой он старался акцентировать замеченные им перемены в правительственном курсе: «Мое намерение издавать газету было встречено с радостью, даже с благодарностью, ибо чувствуется потребность в притоке *положительных* сил, положительных идеалов среди разгула отрицающей мысли. Появление моего издания теперь вполне благовременно, иначе: я воздвигаюсь „во время благопотребно"».[28] Правда, спустя месяц и в письме к другому адресату О. А. Киреевой Аксаков, описывая ситуацию с прессой, выражался скорее иронично, чем восторженно: «8 ежедневных больших газет *совсем новых* будет выходить, да еще несколько еженедельных. Лор⟨ис-⟩Меликов раздает разрешения свободно: пусть де они сами себя поедят!»[29]

12 сентября, вероятно, именно когда Аксаков был в Петербурге у Лорис-Меликова, тот утвердил «Программу еженедельной газеты, под названием „Русь"».[30] 22 сентября начальник ГУДП Н. С. Абаза подписал «Свидетельство № 3502», удостоверяющее, что надворный советник Иван Сергеевич Аксаков «состоит издателем газеты „Русь"».[31] Новая газета стала выходить еженедельно начиная с 15 ноября 1880 года. Закон предоставлял для столичных и московских периодических изданий право печати без предварительной цензуры — по желанию издателя, с внесенным денежным залогом.[32] Именно этот путь выбрал Аксаков, 22 сентября 1880 года внесший необходимый залог в главное казначейство.[33]

Дальнейшая цензурная история «Руси» должна была быть отражена в так называемом «Деле по изданию газеты». Подобные дела заводились на любые периодические издания в местном цензурном комитете, а если, как «Русь», они выходили без предварительной цензуры, то — и в ГУДП. Однако поиски в фонде ГУДП (РГИА. Ф. 776), в которых нам оказала помощь Н. Г. Патрушева, и в фонде МЦК (ЦИАМ. Ф. 31) не выявили подобного дела. Тем не менее целый ряд случаев трений или конфликтов, возникших между органами цензуры и издателем-редактором «Руси», удается восстановить по отдельным документам ГУДП, МЦК, а также по материалам самой редакции газеты и источникам личного происхождения. Все вместе они позволяют реконструировать историю взаимоотношений «Руси» и цензуры.

Первые серьезные неприятности с цензурой у редактора-издателя «Руси» возникли едва ли не через полгода после начала выхода газеты. В мае 1881 года Аксаков представил в МЦК текст сборника, составленного, как значилось в цензурных документах, из статей газеты «Русь».[34] В действительности, он состоял из семи статей, опубликованных в аксаковской газете (с 13 декабря 1880 по 14 февраля 1881 года в разделе «Наше земское самоуправление») и одной новой, прежде не пе-

---

[26] Там же. Все это опровергает версию П. И. Бартенева, который в 1902 году вспоминал, что М. Т. Лорис-Меликов, будучи в Москве проездом из Крыма, вызвал к себе Аксакова и объявил, что он «может возобновить свою издательскую деятельность». Доверие к точности Бартенева окончательно подрывает то, что он датировал эту встречу поздней осенью (см.: *П[етр] Б[артенев]*. [Примечание] // Русский архив. 1902. № 7. С. 494).

[27] ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. Ед. хр. 20. Л. 112.

[28] РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 186. Л. 151. В конце пассажа Аксаков цитирует Библию. См.: Псл. 31 : 6; Зах. 10 : 1.

[29] РГБ. Ф. 126. Карт. 8337 а. Ед. хр. 5. Л. 24 об.

[30] ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 5. Ед. хр. 39. Л. 2.

[31] Там же. Л. 6.

[32] ПСЗ. [Собр. 2-е.] Т. 40. 867. № 41988, 41990.

[33] ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 5. Ед. хр. 39. Л. 44.

[34] Центральный исторический архив г. Москвы (ЦИАМ). Ф. 31. Оп. 3. Ед. хр. 2172. Л. 171.

чатавшейся статьи.[35] Аксаков, вероятно, специально постарался придать всем статьям вид уже опубликованных материалов. Весь текст сборника (включая последнюю статью) был представлен в виде вырезок из газет, наклеенных на листы бумаги. Аксаков только добавил от руки к каждой статье отдельное заглавие и внес немногочисленные поправки, касающиеся примечаний и эпиграфов. Сборник получил заглавие по его первой статье «Взгляд назад». Вполне возможно, Аксаков специально выбрал такое «маскирующее», отсылающее к прошлому название. В действительности его статьи были посвящены актуальным проблемам общественной жизни. В них он представил критику современного положения земства, указав на «факт безгласности и недоверия народа к нынешней земской работе»,[36] затем Аксаков предлагал или даже подробно разрабатывал меры, направленные на изменение существующего общественного устройства. В самой последней статье, названной «Царь и Земля», он высказал свои представления о том, какими надлежит быть отношениям верховной власти и народа. Причем источник царской власти он видел именно в народе — «земле».

Согласно действовавшему законодательству, такое издание подлежало предварительной цензуре,[37] и 27 мая 1881 года представленный текст был отдан на рассмотрение цензору, коллежскому советнику К. Н. Леонтьеву. Ознакомившись с текстом сборника, Леонтьев пришел в замешательство. В составленном им докладе цензор прямо говорит об аксаковском сборнике: «Я решительно недоумеваю, как к нему должно отнестись и нахожу, что единоличное решение мое в этом случае было бы непозволительной смелостью».[38] Отсутствие четкой позиции у Леонтьева могло быть вызвано несколькими предпосылками. Вероятно, сыграло свою роль то, что в качестве цензора он служил к тому времени только семь месяцев.[39] В то же время, возможно, не отдавая себе ясного отчета, Леонтьев мог почувствовать, что идеи, излагаемые Аксаковым, не вписываются в русло последних идеологических перемен. Как известно, после обнародования Высочайшего манифеста 29 апреля 1881 года правительство выдвинуло задачу упрочения самодержавия, противопоставив этот путь прежнему курсу на сближение с обществом и развитие общественных сил. Однако коллизия осложнялась тем, что к печати были предложены статьи уже опубликованные и не вызвавшие претензий цензуры. Причем издатель словно бы подчеркивал это, представив текст именно в оттисках. Леонтьев писал: «По моему разумению это сочинение в одно и то же время подходит и не подходит под предписание Главного управления по делам печати от 1 сентября 1880 года за № 2285, приглашающее гг. редакторов воздерживаться от всяких намеков на изменения нашего государственного строя».[40] В итоге Леонтьев представил сборник Аксакова «на благоусмотрение Комитета». Излагая «общий вывод» сборника, вызвав-

[35] Н. И. Цимбаев ошибочно назвал «Взгляд назад» сборником из передовых статей «Руси» за первые полгода (см.: *Цимбаев Н. И.* 1) И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. С. 253; 2) Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М., 1986. С. 134).

[36] ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 2. Ед. хр. 88. Л. 3 об. (6). Документ имеет двойную нумерацию. Первая цифра соответствует современной архивной нумерации, цифра в скобках — нумерации, на которую ссылался в своем докладе К. Н. Леонтьев.

[37] «Временные правила» о цензуре и печати от 6 апреля 1865 года не освобождали от предварительной цензуры оригинальные сочинения объемом до 10 печатных листов (ПСЗ. [Собр. 2-е.] Т. 40. 1867. № 41988).

[38] ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 3. Ед. хр. 2172. Л. 171.

[39] Службу цензором К. Н. Леонтьев начал с 19 ноября 1880 года (Формулярный список К. Н. Леонтьева // Российский архив. Т. II—III. М., 1992. С. 390). Впрочем, и в дальнейшем служба в цензуре была для него, в первую очередь, средством заработка, и к своим обязанностям он относился отнюдь не вдумчиво. Близко знавший его Л. А. Тихомиров отмечал, что «все жгучие интересы жизни Леонтьева не имели ничего общего со службой; и в Московском Цензурном Комитете сохранилось только воспоминание о разных причудливых его выходках» (*Тихомиров Л. А.* Тени прошлого. К. Н. Леонтьев // Литературная учеба. 1992. № 1—2—3. С. 145).

[40] ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 3. Ед. хр. 2172. Л. 171—171 об.

ший у цензора главные сомнения, Леонтьев первым делом обратил внимание на слова Аксакова: «Самодержавный царь и земство — больше ничего, или почти ничего, Все посредствующее (т. е. вся или почти вся администрация) должно исчезнуть, атрофироваться. ⟨...⟩ Управлять „по божьему" способны только два элемента „мир" и „Царь"». Леонтьев отметил мысль Аксакова, говорящего, что при описываемом порядке вещей центральная власть будет иметь дело не со всем населением, а с «ограниченным числом земств» и, следовательно, «едва ли будет нуждаться в той массе учреждений разных наименований, какие существуют теперь». В такой ситуации административные органы постепенно будут атрофироваться, пока «царь и земля не станут лицом к лицу».[41] Далее он подчеркнул аксаковскую мысль, что государству при таком развитии «останутся только те отрасли управления, которые не могут быть дробны», и в перспективе, нарисованной Аксаковым, падает даже роль полиции. Не без удивления Леонтьев пересказывал Аксакова: «Полиция мало-помалу превращается в простой исполнительный орган земства, в чиновников данного населения служащих ему».[42] Самое пристальное внимание цензора вызвали идеи, изложенные именно в его статье «Царь и Земля». Она хранит на себе целый ряд цензорских отметок. В частности, цензорский взгляд не мог миновать слов Аксакова «Мужик не признает царя, управляемого господами».[43] В результате обсуждения, состоявшегося после доклада Леонтьева, члены МЦК пришли к выводу: в статьях Аксакова «действительно проводятся мысли равносильные совершенному почти уничтожению администрации и мысли о расширении прав и компетентности земства до крайних пределов, и что таким образом брошюра представляет проект глубокого изменения нашего государственного строя».[44] После этого «брошюра» Аксакова неизбежно должна была быть признана «противоречащей цензурным правилам», и, сославшись на «конфиденциальную инструкцию» от 23 августа 1868 года, МЦК не разрешил брошюру к печати.[45] Относительно участия в этой истории Леонтьева надо заметить: мы не можем согласиться с Цимбаевым, который указывал, что цензор Леонтьев «предложил запретить сборник И. Аксакова».[46] Как видно из протокола заседания МЦК, Леонтьев постарался избежать принятия единоличного решения и не высказал категорического суждения о запрещении «Взгляда назад».

В предыдущие годы, встретив препятствия со стороны цензуры, Аксаков неизменно вступал в борьбу за свои издания. Вероятно, так должно было быть и на этот раз. В связи с этим интересен следующий факт: 22 августа 1881 года Аксаков, отвечая на письмо литератора Д. В. Аверкиева, предложившего к публикации в «Руси» собственный проект преобразований государственных учреждений, сообщил своему корреспонденту: «Сам государь поручил мне передать через одну мою близкую родственницу, которую он видел у императрицы,[47] что инициативу всех таких преобразований он желает удержать за собою».[48] Можно предположить, что

---

[41] Там же. Л. 172.

[42] Там же. Л. 172 об.

[43] ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 2. Ед. хр. 88. Л. 33 (65).

[44] Там же. Оп. 3. Ед. хр. 2172. Л. 175 об.

[45] Там же.

[46] *Цимбаев Н. И.* Славянофильство. С. 134.

[47] Скорее всего, речь идет о его свояченице Д. Ф. Тютчевой, долгое время являвшейся фрейлиной императрицы Марии Александровны и продолжавшей жить при дворе. Аксаков был лично знаком с Александром III. Еще в бытность императора великим князем его товарищ князь В. П. Мещерский устраивал для него в 1868—1873 годах «маленькие беседы за чашкою чая». Подчеркивая, что он приглашал на них людей, которые были великому князю «симпатичны и между которыми живая беседа о вопросах русской жизни могла быть для него занимательна», Мещерский назвал среди таковых Аксакова, иногда посещавшего столицу (*Мещерский В. П.* Мои воспоминания. М., 2003. С. 335).

[48] Неизданная «Записка о значении наших государственных учреждений» Д. В. Аверкиева и письмо о ней И. С. Аксакова // Исторический вестник. 1916. № 9. С. 701. Обстоятельство, переданное Аксаковым, стало также причиной отказа от публикации проекта, предложенного в газету Д. В. Аверкиевым.

такую реакцию императора Аксаков вызвал, неофициально обратившись к нему по поводу запрещения сборника «Взгляд назад», оцененного цензурой, именно как «проект глубокого изменения нашего государственного строя». Однако возможна и иная трактовка ситуации. Аксаков в письме Д. В. Аверкиеву отметил, что слова Александра III были переданы ему «месяца четыре тому назад». Писал он это 22 августа. Текст сборника попал в руки к Леонтьеву только тремя месяцами (без одной недели) ранее — 27 мая. Если Аксаков не ошибся в сроке, вернее всего будет предположить, что издание сборника он предпринял как попытку апеллировать к общественному мнению уже после неудачного обращения к императору.

В дальнейшем официальные представители цензуры и высшая власть не раз обращали внимание на публикации в аксаковской «Руси». За газетой вели наблюдение не только в МЦК, но и в Петербурге, в ГУДП. Кроме того, на выступления газеты могли отреагировать и органы духовной цензуры. Всякая реакция петербургских цензоров на печатные заявления, нарушающие закон или лишь привлекшие их внимание, фиксировалась в документах ГУДП.

14 ноября 1881 года в 53-м номере своей газеты Аксаков опубликовал статью, осуждающую решения Берлинского договора 1878 года. Для обычного читателя она являлась демонстрацией твердой приверженности своим прежним взглядам (ведь Аксаков публично повторил то, за что около трех лет назад при императоре Александре II он был отправлен в ссылку). Однако за этой публикацией можно видеть и скрытые внутриправительственные противоречия. Дело в том, что позицию Аксакова по Берлинскому конгрессу разделял министр внутренних дел граф Н. П. Игнатьев, искавший повода к пересмотру позорного, как считал он, договора.[49] Именно в связи с этим рассматривает статью в «Руси» и И. В. Лукоянов, отнесший ее к «демаршам» Игнатьева, связанным с его «навязчивой, маниакальной идеей любой ценой добиться пересмотра итогов Берлинского конгресса и наказания Германии».[50] Статья не осталась незамеченной цензурой. 17 ноября «наблюдающий за газетой тайный советник Н. В. Варадинов[51] обратил внимание Совета ГУДП на эту публикацию. При этом он не обсуждал позицию Аксакова по сути, а подчеркнул, что эта статья порицает Берлинский трактат „в таких резких выражениях, которые решительно выходят из пределов дозволенного законом обсуждения правительственных действий"».[52] Цензор Варадинов предложил Совету «просить Московского Генерал-Губернатора сделать внушение редактору-издателю газеты „Русь" за столь резкое обсуждение правительственных действий». Однако Совет постановил большинством голосов ограничиться более мягкой мерой — записью о данной статье в журнал заседания «с тем, чтобы иметь ее в виду при дальнейшем наблюдении за изданием».[53]

---

[49] См.: *Валуев П. А.* Дневник 1877—1888 / Ред. и прим. В. Я. Яковлева-Богучарского и П. Е. Щеголева. Пг., 1919. С. 177. Запись 18 ноября 1881 года.

[50] *Лукоянов И. В.* Н. П. Игнатьев и его воспоминания // Игнатьев Н. П. Земский Собор. СПб., Кишинев, 2000. С. 14.

[51] Варадинов Николай Васильевич (1817—1886) — член Совета ГУДП, вступил в эту должность еще при министре внутренних дел П. А. Валуеве в 1865 году. В 1874 году именно Варадинов, будучи исправляющим должность начальника ГУДП, вместе с князем А. Б. Лобановым-Ростовским (товарищем министра внутренних дел, в тот момент исполнявшим обязанности министра) наложил арест на тираж книги Аксакова «Федор Иванович Тютчев», но Аксаков добился того, что она была выпущена в свет (*Осповат А. Л.* И. С. Аксаков и «Русский архив». С. 75—76).

[52] РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 454.

[53] Там же. Л. 454—455. Если к публикации в периодическом издании невозможно было применить предостережение или судебное преследование, «статьи брались на заметку как характеризующие направление издания, чтобы прибегнуть к карательным мерам при первом удобном случае» (*Патрушева Н. Г.* Цензура в России во второй половине XIX—начале XX в.: Законы и практика // Цензура в России в конце XIX—начале XX века. Сборник воспоминаний. СПб., 2003. С. 20—21).

Тем не менее спустя две недели, 1 декабря 1881 года, Варадинов снова поднял вопрос о «Руси» на заседании Совета. Теперь для этого было названо несколько причин. Первой из них стало новое заявление Аксакова о Берлинском трактате, сделанное им в 55-м номере газеты. На этот раз цензор увидел в словах Аксакова «прямое возбуждения недоверия», как писал он, «к нашему дипломатическому ведомству, предусмотренное 1035 ст⟨атьей⟩ улож⟨ения⟩ о наказ⟨аниях⟩ и в особенности примечанием к этой статье, воспрещающим „выражения оскорбительные для установленных властей"». Цензор предлагал сделать в журнал заседания запись об этой статье «для представления на благоусмотрение Его Сиятельства Г. Министра Внутренних Дел».[54] Далее Варадинов обратил внимание и на «вторую передовую статью» того же 55-го номера «Руси», представляющую историю судебного процесса газеты «Москва», проходившего в 1868—1869 годы. В ней Аксаков заявил «о неблагонадежности, о шаткости тех оснований, на которых построена существующая у нас система карательной цензуры».[55] Рассуждения Аксакова цензор назвал «в высшей степени неуместными в печати», так как тот был «осужден по этому делу *Высочайше* утвержденным мнением Государственного Совета».[56] В итоге обсуждения Советом предложения Варадинова были приняты, и Совет Главного управления по делам печати постановил «записать о них в журнал заседания».[57] Порой предложения, выдвинутые отдельными цензорами, могли носить оттенок их субъективного отношения, но коррективы, вносимые при принятии окончательного решения членами Совета, как правило, отражали актуальные политические тенденции.

Как известно, в 1882 году с приходом к руководству Министерством внутренних дел графа Д. А. Толстого изменилось и отношение к прессе. В сентябре—октябре 1882 года в 38—40-м номерах «Руси» была напечатана статья В. С. Соловьева «О церкви и расколе». Она вышла в свет без разрешения духовной цензуры. И духовная власть тут же отреагировала на это. 22 сентября (т. е. уже после выхода 38-го номера, где появилась первая часть статьи) обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев обратился к министру внутренних дел с письмом, где указал на факт нарушения цензурного устава, допущенный Аксаковым.[58] После этого по распоряжению министра внутренних дел графа Д. А. Толстого к редактору-издателю «Руси» обратился Варадинов, «исправляющий должность начальника ГУДП». В «конфиденциальном письме» к Аксакову от 28 сентября он отметил, что публикация статьи состоялась «вопреки, примеч⟨анию⟩ 1 к ст⟨атье⟩ 5 и ст⟨атьям⟩ 37, 38 и 199 Уст⟨ава⟩ ценз⟨уры⟩ Св⟨ода⟩ Зак⟨онов⟩ Т⟨ом⟩ XIV по прод⟨олжении⟩ 1876 г.» и «обратил внимание» на необходимость соблюдения этого закона «при печати сочинений и статей по вопросам веры и церкви, а равно и статей касающихся духовного управления».[59] Отчет об этом был отправлен Варадиновым Победоносцеву 28 сентября 1882 года.[60] Надо заметить, что и в дальнейшем Аксаков продолжал печатать статьи Соловьева, вызывавшие неодобрительные замечания Победоносцева. Порой эти публикации, как понимал и сам автор, граничили с представлениями о допустимых духовной цензурой пределах. Так, в январе 1883 года Соловьев уже было заказал Аксакову отпечатать для него дополнительно тысячу оттисков его первых статей из публиковавшегося в «Руси» цикла «Великий спор и христианская политика», чтобы распространить их в качестве отдельного издания,

[54] РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 469—470.
[55] Русь. 1881. 28 нояб. № 55. С. 5.
[56] РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 471.
[57] Там же. Л. 471.
[58] «Временные правила» о цензуре и печати от 6 апреля 1865 года не распространялись на сочинения и отдельные места в них, подлежащие духовной цензуре (ПСЗ. [Собр. 2-е.] Т. 40. 1867. № 41988).
[59] ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 5. Ед. хр. 39. Л. 16—16 об.
[60] РГИА. Ф. 797. Оп. 52. Отд. II, стол 3. № 298. Л. 1—1 об.

однако затем отказался от этого. Объясняя отказ, Соловьев писал, что не хочет пока печатать свою работу из опасения возможных препятствий со стороны духовной цензуры.[61] В дальнейшем отношения между Соловьевым и Победоносцевым только ухудшались. В этот конфликт оказалась вовлечена и «Русь», где Соловьев печатался в 1881—1883 годах и, после пережитой размолвки с ее редактором-издателем, продолжил публиковаться в 1885 году.

Важные обстоятельства отношений редактора-издателя «Руси» с властью не всегда фиксировались органами цензуры. Это связано с тем, что порой газета и ее дальнейшая судьба обсуждались не на заседаниях ГУДП, а в резиденции императора. Тем не менее даже по отрывочным сведениям можно видеть, что отношения Аксакова с властью были отнюдь не безоблачными все годы выхода его газеты. Так, один из самых драматичных эпизодов в жизни «Руси» связан с 1882 годом, когда министр внутренних дел граф Н. П. Игнатьев путем политических интриг пытался провести идею Земского собора. Разгорелась закулисная борьба, в разгар которой «Московские ведомости» М. Н. Каткова начали публикацию статей, направленных на дискредитацию Игнатьева. Уже по поводу первой из них Аксаков предположил, что она «внушена» Победоносцевым.[62] «Русь» поддержала министра, опубликовав в ответ свою передовую статью о Земском соборе. И хотя Аксаков стремился координировать свои действия с Игнатьевым, решение о публикации он принял вопреки мнению министра.[63] Статья вышла 22 мая,[64] а ровно через неделю на совещании, устроенном Александром III в узком кругу в Петергофе, был предрешен вопрос об отставке Игнатьева с министерского поста. При этом, как отмечает И. В. Лукоянов, особенно задело Александра III то, что Игнатьев поднял в прессе «кампанию» в защиту своих идей.[65] После этого трое основных противников Игнатьева К. П. Победоносцев, граф И. Д. Делянов и М. Н. Островский хлопотали, как выразился чиновник по особым поручениям П. Д. Голохвастов, чтобы восстановить Александра III против Аксакова «как зачинщика всего». Игнатьев «энергически отстоял» редактора «Руси». «Впрочем, — рассказывал Голохвастов в письме Аксакову, — и сам Г⟨осударь⟩ нашел нападки на вашу статью в 21-м № тех трех Катковистов слишком преувеличенными; статью довольно, по обстоятельствам, умеренной; строго подтвердил однако же, чтоб ни за ни против ничего больше писано не было».[66] В том же письме Голохвастов добавлял: «Островский, Делянов и Победоносцев выработали программу. Мне передавали ее со слов Победоносцева: запретить все (sic!) газеты, обуздать земство, успокоить умы. *Все* не значит, конечно, „Московские ведомости"».[67] Через две недели эмоциональный накал тех дней несколько спал, и Аксаков располагал уже большей информацией. Объясняя одному из своих корреспондентов Д. А. Хомякову про «программу Победоносцева», Аксаков добавлял тогда, что тот «еще недавно требовал чтоб „Руси" дали предостережение за полемику с Катковым».[68] Уже в сентябре 1882 года Аксаков сообщал своему корреспонденту в Германии В. Ф. Пуцыковичу: «Настоящие начальства не очень ко мне благоволят, а К. П. Побе⟨доносцев⟩ ⟨...⟩ враждебен до непримиримости».[69]

---

[61] Переписка Владимира Сергеевича Соловьева с Иваном Сергеевичем Аксаковым // Русская мысль. 1913. № 12. С. 77—78. Здесь повторялась ситуация 1881 года со сборником «Взгляд назад»: вышедшие в периодическом «бесцензурном» издании статьи при их публикации отдельной брошюрой должны были пройти предварительную цензуру.

[62] Переписка Аксакова с Голохвастовым о «Земском соборе» // Русский архив. 1913. № 2. С. 183.

[63] Там же. С. 185.

[64] Русь. 1882. 22 мая. № 21. С. 1—4.

[65] *Лукоянов И. В.* Указ. соч. С. 60.

[66] Переписка Аксакова с Голохвастовым о «Земском соборе». С. 187.

[67] Там же. С. 188.

[68] ОПИ ГИМ. Ф. 178. Ед. хр. 74. Л. 38—38 об.

[69] РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. № 161. Л. 9. В оригинале «К. П. Побе» зачеркнуто и заменено многоточием.

Остроту этому конфликту добавляло то, что Победоносцев являлся однокашником Аксакова по Училищу правоведения. Многие годы они поддерживали товарищеские отношения, часто переписывались. Теплые отношения связывали Победоносцева с близкими Аксакову сестрами Тютчевыми. Судя по письму Аксакова от 11 ноября 1882 года, охлаждение их отношений и пауза в переписке длительностью в «месяцев восемь» наступила, вероятнее всего, в марте 1882 года. Иначе говоря — когда Аксаков начал продвигать через Игнатьева идею Земского собора. Затем, уже в сентябре возникла история со статьей Соловьева. Обмен письмами и восстановление отношений между ними произошел в ноябре 1882 года.

Еще одна неприятная для Аксакова история случилась в мае 1883 года. Тогда возникли и распространились слухи о высылке его из Москвы. Соловьев услышал об этом в июне, находясь в Брянске,[70] а А. И. Кошелев — в Эмсе.[71] Причиной ссылки называлась передовая статья в 10-м номере «Руси» от 15 мая 1883 года. Через месяц сам Аксаков объяснял в «Руси», что первый повод к тому дал «официозный орган Венгерского правительства» газета «Pester Lloyd». Она пустила ложь, растиражированную затем другими газетами, возмущался Аксаков, «о ссылке редактора „Руси" в Сибирь, или просто о высылке его из Москвы, — и за что? — Восклицал он, — за статью в 10 №!»[72] В действительности Аксаков оставался в Москве и не подвергся никаким административным наказаниям. Однако можно предположить, что это известие было принято на веру и получило распространение внутри России потому, что имело под собой основания. То есть ряд аксаковских высказываний, появившихся в газете в связи с коронаций Александра III, могли возмутить представителей высшей власти и побудить желание наказать его. Подобную реакцию могло, к примеру, вызвать заявление, что «русское самодержавие возможно только как учреждение *вполне народное*, вполне национальное».[73] Другим примером можно назвать призыв Аксакова к императору: «Совлеки с Твоих слуг, Государь, ветхого-казенного человека, внедренного в русскую жизнь петербургским периодом нашей истории ⟨...⟩ Изжени ложь и лесть, и всякое низкое угодничество или попросту подлость, так обильно разросшуюся в нашей официальной среде».[74]

В 1884 году Аксаков, вероятно, снова, как и двумя годами прежде, вызвал недовольство Александра III. Поэтому-то в октябре того года он обратился в письме к императору с объяснениями. В ответ тот велел Д. А. Толстому передать ему, что «вполне верит искренности и правдивости Аксакова».[75] Что причиной таких объяснений послужила именно газетная деятельность Аксакова, можно заключить из самой процедуры подачи письма. Лично знакомый с Александром III, он, как уже отмечалось, мог обратиться к государю неофициальным путем. Однако здесь он обратился к императору так, как надлежало обращаться издателю газеты — через министра внутренних дел, и таким же образом ему был дан ответ. Письмо Толстого, передавшего через Победоносцева ответ, данный Аксакову императором, датировано 20 октября 1884 года.[76] Из вышедших в ближайшие недели перед тем статей Аксакова, на наш взгляд, скорее всего могла привлечь внимание императора

---

[70] Переписка Владимира Сергеевича Соловьева с Иваном Сергеевичем Аксаковым. С. 84.

[71] А. И. Кошелев в связи с этим писал Аксакову: «Иностранные газеты очень вами заняты» (Письма А. И. Кошелева к И. С. Аксакову (1881—1883 гг.) // О минувшем. Исторический сборник. СПб., 1909. С. 416).

[72] Русь. 1883. 15 июня. № 12. С. 9—10.

[73] Там же. 15 мая. № 10. С. 15.

[74] Там же. С. 18.

[75] К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. II. Минск, 2003. С. 18. Письмо Аксакова к Александру III не сохранилось. Надо отметить, что факт объяснения И. Аксакова перед императором и ответ того напоминают более драматическую ситуацию, сложившуюся уже в конце 1885 года, речь о которой пойдет далее.

[76] Там же.

передовая статья в номере от 1 октября. В ней Аксаков снова позволил себе критику политики, проводимой Россией в международной сфере в отношении Балкан, снова заявил о «позоре Берлинского трактата» и осуждал «Петербург» и «легкомысленное» современное общество «совсем отрешенное от русской народности».[77]

Известно, что власть нередко использовала по отношению к печати предусмотренные законом меры экономического воздействия. К примеру, запрещение розничной продажи[78] или размещения частных объявлений.[79] На примере «Руси» видно, как высшая администрация пользовалась и непредусмотренными законодательством возможностями ограничения периодических изданий. В 1884 году попечители Виленского и Киевского учебных округов не разрешили подписку на «Русь» во вверенных им учебных заведениях. «А это ведь 10 губерний», — заметил по тому поводу Аксаков в письме к Победоносцеву от 15 февраля 1884 года. Как предполагал издатель «Руси» это распоряжение исходило от министра народного просвещения И. Д. Делянова.[80] Таким образом, не только ограничивали читательскую аудиторию газеты, но и, лишая ее подписчиков, наказывали экономически.

Осенью 1885 года В. С. Соловьев опубликовал в «Руси» две статьи, подписанные им «П. Б. Д.». Обе они были связаны с «вопросами веры и церкви». Первая — называлась «Государственная философия в программе Министерства народного просвещения».[81] Вторая — «Как пробудить наши церковные силы? Открытое письмо С. А. Рачинскому».[82] Сам Соловьев так объяснял взятый им криптоним брату Михаилу: «Подпись П. Б. Д. желающим не возбраняется принять за сокровенную фамилию Победоносцева».[83] В другом письме за тот же год он сообщал брату: «Виделся с одною важною петербургскою особою, которая говорила мне, что моя статья в „Руси" произвела волнения в высших сферах. Надеюсь, однако, что Аксаков не предостережен».[84] Скорее всего, речь шла именно о статье «Государственная философия...». Позднее Соловьев вспоминал, как еще в 1871 году Ю. Ф. Самарин предсказывал, что «в один прекрасный день у нас провозгласят непогрешимость царя или иначе сказать обер-прокурора Святейшего Синода, так как царь будет тут ни при чем». При этом Самарин полагал, что «наше несчастное духовенство» будет молчать. И если кто и заявит протест, то это будет, писал он А. О. Смирновой-Россет, «мирянин, ваш покорнейший слуга и Иван Сергеевич (Аксаков), если только мы будем тогда в живых». Рассказывая об этом Соловьев подчеркивал, что знает немного пророчеств, «которые сбылись бы с большой точностью». В 1885 году правительство выпустило официальный документ, объявлявший, что Восточная Церковь отреклась от своей власти и передала ее в руки царя. Самарин тогда уже умер, а Аксакову оставались последние месяцы жизни. И именно он, отмечал Соловьев, «напечатал в своем журнале («Русь») протест писателя мирянина, не принадлежащего, впрочем, к группе славянофилов».[85] Здесь он имел в виду свою статью «Государственная философия...».

Самое серьезное столкновение с цензурой произошло у Аксакова уже в последние месяцы издания «Руси». Еще в сентябре 1885 года в международной сфере возник так называемый болгарский кризис, вызванный воссоединением Болгарского княжества и Восточной Румелии. Русское правительство тогда отказалось

---

[77] Русь. 1884. 1 окт. № 19. С. 5.
[78] ПСЗ. [Собр. 2-е.] Т. 43. 1873. № 45973.
[79] Там же. Т. 54. 1881. № 59985.
[80] Письма И. С. Аксакова к Победоносцеву // Русский архив. 1907. № 10. С. 176.
[81] Русь. 1885. 14 сент. № 14. С. 5—8.
[82] Там же. 19 окт. № 16. С. 5—6.
[83] *Соловьев В. С.* Письма: В 4 т. Пг., 1923. Т. 4. С. 93.
[84] Там же. С. 92.
[85] *Соловьев В. С.* О Христианском единстве. М., 1994. С. 223. Под официальным документом Соловьев имел в виду «Правила о государственных экзаменах по юридическому факультету».

признать объединенное государство. Аксакова возмущала позиция, занятая российским Министерством иностранных дел. Тем не менее 27 сентября И. Аксаков объяснял в личном письме к Победоносцеву: он не пишет о болгарских событиях, надеясь, что государь, видя, куда завела Россию политика министра иностранных дел Н. К. Гирса, прогонит его.[86] Вряд ли Аксаков не догадывался, что именно император определял политику, проводимую Министерством иностранных дел. Возможно, его слова — форма зондажа. Он подталкивал своего прекрасно информированного собеседника к обмену информацией об отношениях в политической сфере и одновременно предупреждал представителя власти о своей позиции. Так или иначе, но 23 ноября 1885 года в 21-м номере газеты была опубликована передовая статья о событиях, происходящих в Болгарии и вокруг нее. Подвергнув жесткой критике политику, осуществляемую правительством на Балканах, Аксаков заявил о «лживости всего нашего политического пути с Берлинского Конгресса» и требовал гораздо более решительных действий по отношению к Австро-Венгрии.[87] 26 ноября на заседании Совета ГУДП выступил его председатель Е. М. Феоктистов с «заявлением о направлении газеты „Русь"». Заметим, вопрос о газете был поднят не наблюдающим за газетой цензором, а именно руководителем цензурного ведомства. И предметом заявления (именно заявления, а не обсуждения) явилось «направление газеты», а не отдельная ее публикация. Феоктистов заявил членам Совета, что с самого начала «замешательств, возникших на Балканском полуострове» редактор «Руси» враждебно повел себя по отношению к «деятельности нашей дипломатии». Причем председатель Совета подчеркивал, говоря об Аксакове: «Еще прежде чем деятельность эта могла уясниться для публики, он уже преследовал ее язвительными нападками, утверждая, что нельзя ожидать от нее ничего доброго».[88] Как утверждал Феоктистов, на общем фоне русской журналистики газета «Русь» представляла «печальное исключение». В то время когда все иные органы печати «старались не усложнять существующие затруднения», Аксаков, считал председатель Совета, «видимо поставил себе задачею раздражать общественные страсти. Обычная его тема, заключалась в том, что политика, усвоенная нашим правительством, может привести к умалению достоинства России и к нарушению самых дорогих ее интересов». Отмечая, что тон аксаковских статей и прежде становился все заносчивее и раздражительнее, Феоктистов заявил, что «передовая статья, помещенная в № 21 „Руси", по своей дерзости, превосходит все, чего можно было ожидать от этой газеты».[89] Приведя ряд цитат из последней статьи Аксакова, председатель Совета подытожил: «Вся статья есть не более, чем злобный памфлет, который вместо аргументов старается произвести впечатление запальчивостью своих нападок на правительство». Далее почти как приговор прозвучало заявление Феоктистова: «г. Аксаков принадлежит к числу журнальных деятелей, на которых, как уже доказал опыт, не действуют никакие частные внушения. Если не остановить его, то он будет идти по избранному им пути, порождая соблазн в публике, которая может лишь удивляться, что подобное бесцеремонное порицание власти остается безнаказанным, и подавая прискорбный пример лицам, действующим на данном с ним поприще». Итак, руководитель цензурного ведомства ясно заявил если не о необходимости, то о готовности «остановить» Аксакова. Показательно, что сразу после этого, без какой-либо полемики между членами Совета, в протоколе было записано общее решение: «Признавая, что газета „Русь" обсуждает

---

[86] См.: Письма И. С. Аксакова к Победоносцеву. С. 191.

[87] Русь. 1885. 23 нояб. № 21. С. 4. Б. Н. Чичерин, никогда не являвшийся единомышленником Аксакова, по этому поводу заявил, что тот «один из всех русских журналистов осмелился высказать правду насчет наших отношений к Болгарии» (*Чичерин Б. Н.* Москва сороковых годов. М., 1997. С. 213).

[88] РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Ед. хр. 24. Л. 136—136 об.

[89] Там же. Л. 136 об.—137.

текущие события тоном, несовместимым с истинным патриотизмом, и явно стремится возбудить неуважение к правительству, Совет Главного управления по делам печати единогласно полагает объявить газете „Русь" *первое* предостережение».[90] Очевидно, действия председателя Совета ГУДП были согласованы с министром внутренних дел гр. Д. А. Толстым. Связь между действиями министра и подчиненного ему начальника ГУДП видна из того, что уже в тот же день, 26 ноября, Толстой представил всеподданнейший доклад о первом предостережении газете «Русь», где слово в слово повторил заявление Феоктистова на заседании Совета. Толстой сообщил императору Александру III, что согласно заключению Совета, он «признал необходимым объявить газете „Русь" *первое* предостережение, в лице издателя-редактора Надворного Советника Ивана Аксакова».[91]

На этом докладе император наложил резолюцию: «Действительно он уж слишком зашел далеко, и ему по делом».[92] Однако на этом коллизия не закончилась. Вслед за этим, при докладе Александру III о выступлении в Санкт-Петербургском славянском благотворительном обществе П. П. Дурново, Д. А. Толстой отметил, что, по его мнению, статья Аксакова «находится в прямой связи с речью Дурново». Выступление генерал-лейтенанта П. П. Дурново[93] состоялось, как подчеркивал Д. А. Толстой, 21 ноября, а статья в «Руси» появилась 23 ноября. «По всей вероятности было соглашение произвести одновременно политическую демонстрацию», — заключал Толстой.[94] В результате на докладе Толстого о статье Аксакова и речи Дурново появилась весьма красноречивая резолюция императора: «Все эти господа думают, что они *истинно-русские* и кроме их никого нет. Должно быть они и меня считают *немцем или чухонцем.* — Слишком легко достается им этот балаганный патриотизм, а к тому же не они отвечают за последствия. Уж не я дам Россию в беду!»[95] Здесь ясно ощутимы задетые личные чувства Александра III. Из его слов можно предположить, что поступки Аксакова и Дурново были представлены императору как действия сплоченной группы, противостоящей проводимой им политике. В тот же день Дурново был объявлен высочайший выговор. Официальное сообщение об этом, как и предостережение, вынесенное «Руси», было опубликовано в «Правительственном Вестнике» на следующий день, 27 ноября.[96]

Аксаков был искренне оскорблен.[97] В следующем, 22-м номере своей газеты он, в соответствии с требованиями закона,[98] опубликовал распоряжение министра внутренних дел о вынесенном «Руси» первом предостережении, а также, уже по собственной инициативе, рядом текст телеграммы Северного телеграфного агентства о высочайшем выговоре генералу Дурново за произнесенную им 21 ноября речь.[99] Из этого следует: если власть видела непосредственную связь между статьей Аксакова и речью Дурново, то и редактор «Руси» подчеркивал неслучайный

---

[90] Там же. Л. 137 об.—138. Третье полученное изданием предостережение означало временную его приостановку (ПСЗ. [Собр. 2-е.] Т. 40. 1867. № 41990).

[91] РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 29.

[92] Там же. Л. 26.

[93] Дурново Петр Павлович (1835—1919) — генерал-лейтенант, председатель Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества. На заседании общества произнес «воинственную славянофильскую» (*Мещерский В. П.* Мои воспоминания. С. 707) речь о событиях на Балканском полуострове и внешней политике России.

[94] РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 30.

[95] Там же. Л. 30. Позднее в «Русском архиве» эти слова Александра III были опубликованы с некоторыми разночтениями, как цитата из письма императора к К. П. Победоносцеву, относящегося к 1886 году (Русский архив. 1906. № 4. С. 624). Упоминание императором о «чухонце», вероятно, связано со слухом о якобы произошедшей в свое время подмене Павла I, прадеда Александра III, неким чухонцем (указано С. В. Яровым).

[96] Правительственный вестник. 1885. 27 нояб. № 259. С. 1.

[97] ИРЛИ. Ф. 318. 9120 LII б. 12 (фонд не описан). Л. 4 об.

[98] ПСЗ. [Собр. 2-е.] Т. 40. 1867. № 41990.

[99] Русь. 1885. 30 нояб. № 22. С. 1.

характер обоих взысканий, выражающих явную тенденцию власти. 22-й номер Аксаков выпустил в свет вовсе без передовой статьи. Для «Руси» это был необычный случай. Ее редактор как бы подчеркивал: если нет возможности заявить то, что он думает, лучше вообще воздержаться от слов.

Однако в следующем, 23-м номере, вышедшем в свет 6 декабря, Аксаков дал самый решительный ответ на обвинения в недостатке «истинного патриотизма». Причем на этот раз оппонентом, а точнее, объектом критики он выбрал не внешнеполитическое ведомство, а Министерство внутренних дел, как назвал его Аксаков, «высшее литературно-полицейское ведомство».[100] Конечно, это был рискованный шаг. Аксаков решился выступить против своего главного противника. Важно заметить, противника более опасного, чем Министерство иностранных дел. Обратившись к логике юриспруденции, он заявил, что понятие «истинный патриотизм» не предусмотрено никаким законом, а следовательно, незаконно и обвинение, выдвинутое на этом основании.[101] Наконец, далее в этой же статье Аксаков снова обратился к изложению собственных взглядов на ситуацию на Балканском полуострове. На следующий день, 7 декабря, он направил императору письмо. В нем подчеркивалось, что причиной для обращения стало не объявленное ему предостережение, а то, что «некоторые лица», как известно Аксакову, «воспользовались этою статьей для очернения» его в глазах Александра III. Аксаков был глубоко оскорблен тем, что его передовая статья трактовалась, как «неприличные дерзкие намеки», прямо относящиеся к личности императора. Он объяснял Александру III: «Именно то место, в котором хотят видеть дерзкий *личный* намек, относится к моей полемике с некоторыми русскими газетами».[102] Если вспомнить, исполненную личных чувств резолюцию, которую Александр III наложил на доклад Толстого о статье Аксакова и речи Дурново, возможно, допустить: причиной тому могла быть вовремя предложенная недоброжелательная интерпретация поступков обоих этих деятелей. Кто именно выступил с такой инсинуацией, сказать сложно. Однако мы можем отметить участие в этой истории, по меньшей мере, троих высокопоставленных противников Аксакова. Первые два — это, несомненно, министр Толстой и подчинявшийся ему начальник ГУДП Феоктистов. Третий — Победоносцев. Именно он настоял, как пишет в своем дневнике Феоктистов, на возмутившей Аксакова формулировке: «Тон, несовместимый с истинным патриотизмом».[103] Если это так — обсуждение формулировки взыскания произошло еще до заседания Совета ГУДП, который формально предложил вынести предостережение и огласил эту формулировку.

В своем письме Аксаков признавал, что его суждения по поводу Балканских событий «выражены были порою резко, может быть слишком резко». Но это потому, продолжал автор, что он «глубоко, к прискорбию убежден» — нынешняя внешняя политика России не согласуется «ни с историческим призванием России, ни с ее действительными национальными интересами».[104] В заключение Аксаков

---

[100] Там же. 6 дек. № 23. С. 1. Характерно, что уже в 1889 году С. А. Венгеров, пересказывая эту историю, назвал статью Аксакова отповедью, «совершенно неслыханною по своей резкости». При этом Венгеров должен был признать: «Условия современной печати не позволяют нам привести выдержек из статьи Аксакова, за которую его, вероятно, постигло бы какое-нибудь административное взыскание, если бы судьба не распорядилась иначе. ⟨...⟩ 27 января 1886 года Ив⟨ана⟩ Сергеевича не стало» (*Венгеров С. А.* Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. I. С. 342).

[101] Русь. 1885. 6 дек. № 23. С. 1—2.

[102] РГИА. Ф. 776. Оп. 20. Ед. хр. 312. Л. 14—14 об.

[103] ИРЛИ. Ф. 318. 91120 LII б. 12. Л. 4 об. Стоит заметить, что когда в марте 1887 года Александр III приказал, было, вынести предостережение газете Каткова за статью о внешней политике России (вскоре он передумал), в решении этого вопроса, кроме императора, приняли участие те же лица (*Феоктистова Е. М.* За кулисами политики и литературы // За кулисами политики. 1848—1914. М., 2001. С. 161—162).

[104] РГИА. Ф. 776. Оп. 20. Ед. хр. 312. Л. 15.

заявил: «Если бы правительству угодно было закрыть мою газету, я повиновался бы беспрекословно. Поэтому и настоящее мое письмо не имеет ровно никакой *практической* цели, а внушено единственно желанием снять с души моей обвинение в дурном, относительно *лично* Вас, Государь, поступке».[105] Вскоре Аксаков получил известия о том, как развивались события далее и 20 декабря рассказывал об этом в письме к Б. Н. Чичерину: «Моя статья 23 № привела в превеликое смущение Главное Управление по дел⟨ам⟩ печати и председателя оного — Феоктистова. Вертели, вертели статью: как быть? Давать ли второе предостережение, или просто, без мотива ее запретить? Пошли к Толстому, который, рассказывают, на них напустился и разбранил, что подвели его в такое некрасивое положение, подсунули такую неумную редакцию предостережения, — и велел оставить совсем без последствий, чтоб скорее замять все дело».[106] Отметив, что «даже иностранные газеты посмеялись над обвинением в недостатке „патриотизма"», он снова заметил о власти: «Может быть со временем и выместят свою досаду».[107] В этот день, 20 декабря, Аксаков получил ответ на свое письмо к Александру III. По поручению императора, министр внутренних дел днем раньше писал редактору «Руси»: «Государь Император, получив письмо ваше, изволили поручить мне благодарить вас за это письмо, и передать вам, что Его Величество вполне уверены в ваших патриотических чувствах, но советуют вам быть осторожнее в изложении ваших мыслей печатно».[108]

Итак, новых взысканий за резкий публичный ответ на газету «Русь» наложено не было. Современники Аксакова, считавшие, что в декабре 1885 года газета «Русь» оказалась близка к закрытию ее властями,[109] несколько преувеличивали опасность. Возможно, в какой-то момент для газеты существовала реальная угроза закрытия, но объяснение с императором, предпринятое редактором «Руси», заметно изменило ситуацию. Александр III ответил на его письмо вполне мирно, даже благосклонно. Для противника Аксакова уже это явилось ощутимым «контрударом». Александр III, конечно же, догадывался, кого Аксаков назвал в своем письме «некоторыми лицами», а главное, понимал, что он, император, оказался дезинформирован своими приближенными. Возможно, поэтому именно Толстому была поручена неприятная для него обязанность — передать благосклонные слова императора Аксакову.

На официальное послание Толстого[110] 21 декабря Аксаков отослал краткий, вежливый ответ, в котором известил министра внутренних дел, что его письмо он получил «и содержание его принял к сведению».[111] Таким образом закончилась история с первым предостережением газете «Русь». Вынесенное взыскание осталось в силе, но газета была выведена из-под более серьезного удара и могла продолжить свое существование. ...Однако через месяц с небольшим ее редактора-издателя не стало. 27 января 1886 года Аксаков скончался от сердечного приступа, и вскоре его газета закрылась.

* * *

За исключением первого и весьма краткого периода существования газеты, связанного с управлением Лорис-Меликова, мы не можем отметить в отношении власти к аксаковскому изданию никаких серьезных улучшений. Избавить газету от проблем с цензурой, как оказалось, не мог даже симпатизировавший Аксакову

[105] Там же. Л. 15 об.
[106] РГБ. Ф. 334. Карт. IV. Ед. хр. 46. Л. 3—3 об.
[107] Там же. Л. 3 об.
[108] ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 605 (без нумерации); Отпуск: РГИА. Ф. 776. Оп. 20. Д. 312. Л. 13.
[109] Эту версию повторил и Н. И. Цимбаев (*Цимбаев Н. И.* И. С. Аксаков в общественной жизни. С. 255).
[110] ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 605.
[111] РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 164. Л. 2.

министр Игнатьев. Уход же Игнатьева со своего поста в какой-то момент поставил под вопрос и само существование газеты. В дальнейшем тяжелая ситуация для газеты сложилась, как минимум, еще однажды в конце 1885 года. В обоих случаях на более суровом для газеты Аксакова исходе настаивали представители высшей администрации.

Однако окончательное решение об аксаковской газете принимал лично император (что случалось и в прошлом, при Александре II). Такое внимание к этой газете еще раз подчеркивает роль, которую занимал в обществе ее редактор-издатель. Александр III, выслушав доклад о «Руси», мог вспылить, но в целом по отношению к И. Аксакову вел себя более последовательно, чем его отец.[112] Вникнув в суть вопроса, он, как правило, смягчал решение, которое подсказывали ему недоброжелательно настроенные высшие чиновники, даже в тех случаях, когда шла речь о критике, проводимой Александром III политики. Император как человек, вероятно, уважал прямоту и честность позиции Аксакова, как политик видел в нем лидера направления, активно полемизирующего с его оппонентами на левом фланге.[113] Скорее всего, газета Аксакова интересовала Александра III как своего рода противовес, выполняющий определенную роль в сложившейся политической системе. Поэтому император игнорировал попытки своих приближенных прекратить издание «Руси».

Враждебная позиция по отношению к газете Аксакова членов кабинета министров связана в первую очередь не с личными отношениями, а с их принципиальными политическими разногласиями.[114] Высших правительственных чиновников вроде Толстого, Победоносцева или Делянова Аксаков относил к бюрократии, «казенщине», с осуждением которой он выступал на страницах своей газеты.

В восприятии власти позиция последней газеты Аксакова никак не отделялась от его предыдущих изданий. Итог эволюции аксаковских газет, как ее зафиксировали официальные оценки властей, незначителен — от газеты «противоправительственного» направления (как назвали «Москву» при ее закрытии в 1869 году) до: «стремиться возбудить неуважение к правительству» (о «Руси» в 1885 году). Никакое более жесткое суждение о газете, пожалуй, не оставило бы надежды на ее дальнейшее существование.

Проблемы с цензурой вызывали суждения Аксакова о свободе печати и свободе совести, об отношениях Церкви, государства и общества, о земстве, но более всего — его проекты развития местного самоуправления и учреждения Земского собора, а также заявления о внешней политике России. По сути это те же проблемы, что обсуждались Аксаковым за двадцать лет до того.

В целом же эволюция отношений «Руси» и цензуры вписывается в известную в исторической литературе схему отношений власти и прессы в 1880-е годы. Существовал недолгий относительно благополучный период в начале 1880-х (когда «Русь» только и могла появиться), затем — осложнения, связанные с деятельностью Толстого (для «Руси» они начались буквально накануне утверждения Толстого министром). Начав с репрессий по отношению к либеральным и народническим изданиям, власть затем принимает серьезные меры по отношению к иным органам

---

[112] Об отношении Александра II к Аксакову см.: *Чернуха В. Г.* Правительственная политика в отношении печати в 60—70-е годы XIX в. С. 29—30.

[113] Когда Александр III узнал о смерти Аксакова, он написал Победоносцеву: «Действительно, потеря в своем роде незаменимая. — Человек он был истинно русский, с чистою душою, и хотя и маньяк в некоторых вопросах, но защищающий везде и всегда русские интересы» (К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. II. С. 113).

[114] Уже после смерти Аксакова Феоктистов писал о нем в своем дневнике: «Это был человек в высшей степени благородный и с искренними, горячими убеждениями; как публицист принес он большую пользу, но все-таки горе правительству, если бы оно в своих действиях сообразовывалось с его указаниями. ⟨...⟩ Аксаков чуть не причинил великих бед, убедив в 1882 г. пустоголового графа Н. П. Игнатьева созвать земский собор» (ИРЛИ. Ф. 318. 9120 LII б. 12. Л. 4 об.).

печати.[115] Именно в этот момент «Русь» привлекла внимание высшей цензуры. Возможно, повод для первого предупреждения нашелся бы и ранее, но в 1885 году газета не выходила более шести месяцев из-за болезни ее редактора-издателя. Для понимания репутации, которую «Русь» приобрела в глазах власти к 1885 году, показательно, что предупреждение было дано газете, когда эта мера уже становилась редкостью. Ведь за 1885—1889 годы всеми российскими органами печати было получено всего 13 предупреждений.[116]

Отношение Аксакова к разным представителям власти складывалось по-разному, но никогда его издание не пользовалось ни прямыми субсидиями (как «Гражданин» или «Голос»), ни косвенными, в виде финансовых льгот (как «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости» или «Новое время»). «Русь» не служила официозом (как тот же «Голос», «Сельский вестник» иди «Варшавский дневник»). Даже в период управления Игнатьева, несмотря на их хорошие отношения, министр не мог сделать Аксакову предложения, которое сделал в мае 1881 года редактору «Голоса»: опубликовать статью с критикой Лорис-Меликова и его единомышленников.[117] Так и идею Земского собора, о которой писала «Русь», Аксаков начал разрабатывать еще в 1860-е годы,[118] и именно он подтолкнул к ней Игнатьева, а не наоборот.

В отношениях с обер-прокурором Св. Синода Победоносцевым Аксаков если и пользовался возможностями личных обращений, то в ряде важных общественно-политических вопросов они являлись противниками. В официальных отношениях Аксаков не рассчитывал и не мог рассчитывать на снисхождение к нему обер-прокурора.

Находясь в состоянии конфронтации с «петербургской бюрократией», Аксаков, тем не менее, всегда проявлял лояльность к личности императоров. Для него оскорблением являлось даже подозрение в попытке задеть честь монарха.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Письмо И. Аксакова и К. П. Победоносцеву публикуется по автографу, хранящемуся в РГБ (Ф. 230. Карт. 1082. Ед. хр. 11). Письмо И. Аксакова к императору Александру III публикуется по автографу, хранящемуся в РГИА (Ф. 776. Оп. 20. Ед. хр. 312. Л. 14—15 об.). Курсивом выделены слова, подчеркнутые в оригинале.

1

И. С. Аксаков — К. П. Победоносцеву

[11 ноября 1882 года. Москва]

От искреннего сердца благодарю Тебя за Твое письмо, любезный друг Константин Петрович. Во мне собственно не было никакого *личного* раздражения на Тебя

---

[115] В 1883 году были закрыты газеты «Московский телеграф» и «Страна», «Голос», прекративший выходить в 1883 году, был окончательно закрыт в 1884-м, тогда же закрыли журнал «Отечественные записки», а в 1885 году — менее заметные издания «Светоч», «Здоровье», «Дрозба» (см.: *Патрушева Н. Г.* Цензура в России. С. 32; *Жирков Г. В.* История цензуры в России. С. 163).

[116] См.: *Розенберг В.* В мире случайностей // Розенберг В., Якушкин В. Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. М., 1905. С. 137.

[117] См. об этом: *Луночкин А. В.* От сотрудничества к конфронтации: Газета «Голос» и цензура (1863—1883) // Цензура в России: История и современность. Сб. науч. трудов. СПб., 2001. Вып. 1. С. 88.

[118] См., например: День. 1862. № 13. С. 3.

лично, но так как уже месяцев с восемь Ты прекратил всякие сношения и будучи в Москве (о чем я раза два узнавал лишь от Б. Н. Чичерина)[1] не заглянул ни ко мне, ни к моей жене,[2] и не давал знать о себе, то я и счел это указанием, что при нашем, так сказать политическом разногласии Ты желаешь избежать свиданий.. Тем приятнее мне было получить от Тебя письмо: политическое разногласие не мешает согласию в независимых основах, и я дружески жму Твою руку.

Толстому[3] я о Тебе ничего не писал, но отвечал на его «конфиденциальное» напоминание о духовной цензуре, со ссылкою на Твое заявление, что обязательное применение правил о духовной цензуре есть премия в пользу атеизма. Ибо проповедь атеизма совершается у нас беспрепятственно чуть не ежечасно, и нет такой цензуры, которая бы имела право и возможность преградить такую проповедь: нельзя же запретить сообщение научных заграничных новостей, речи какого-нибудь Ренана[4] во Французской Академии, дебатов о французском ⟨нрзб.⟩ном законе, судебных процессов, и т. д., не говоря уже о проповеди *междустрочной*. Если же статьи в защиту веры и церкви будут отсылаться в духовную цензуру, то лучше отказаться от их помещения: не говоря о проволочке рискуешь, из-за живого, своеобразного выражения, которого на личную свою ответственность цензор-священник принять не пожелает или побоится — запретом или искажением статьи. — Слово газетное в вопросах веры и церкви не есть что-либо каноническое; одобрение духовной цензуры б⟨ольшей⟩ ч⟨астью⟩ только компрометирует духовное ведомство. Это одобрение стоит на брошюрах чисто протестантского характера, изданных каким-то Петерб⟨ургским⟩ обществом и раздававшихся даром на выставке.[5] Оно стоит на страницах Епарх⟨иальных⟩ Ведомостей (Литовских), где недавно прочел я напечатанное письмо к архиерею Таврического предводителя дворянства с приглашением к пожертвованию на памятник Екатерине, — и в этом письме такое выражение: «Державный Глава Российской Православной Церкви, Государь-Император соизволил»[6] и пр. Поди тут, спорь после этого с католиками о цезаре-папизме или с раскольниками![7]

Иное дело, любезный друг, жизнь и практическое действие: тут без компромиссов нельзя ступить ни шагу. Иное дело — рассуждение теоретическое, изъяснение принципов и идеалов. В этой последней области сделки не должно быть, и никакой подтасовки начал допускать не желательно, да и не следует. Руководясь этою точкою зрения, я и допустил статью Соловьева,[8] произведшую, как Ты говоришь, скандал, скандал неприятный и для меня. Но резкое отделение начала в его чистоте от случайных засажений кажется мне самым лучшим способом защиты истины. И этот прием дал и дает мне теперь право обращаться к расколу со словом строгим и обличительным. Во имя той же любви к правде, которая побудила нас сознаться[9] в нашей неправоте, требуем мы такого же сознания и от раскольников. — Соловьев не полоумный. Он напротив, непрестанно зреет и мыслью и нравственной своей стороной, — и ничто его так не покоробило, как сочувствие выраженное ему теми, с которыми у него ничего не было общего.

Рекомендую Тебе статьи протоиерея Астрах⟨анской⟩ Семинарии Григ⟨ория⟩ Покровского, особенно же в будущем, 46 №.[10] Они грубоваты, не мало в них семинарской крупной соли, — но когда речь касается веры, церкви, богослужения, он само собой поднимается до лиризма. Пожалуйста, обрати внимание на его статью в 46 №. Он стоит на почве самой реальной, но тут-то и зарыт ключ самой живой воды..

О светской цензуре спорить не станем. Замечу только, что ей *недоступно* главное: тот дух отрицания, что разлагает и подтачивает в человеке и в обществе всю нравственность основы. Его не соследишь, не ухватишь цензурными щипцами.

У меня жена все больна, и ее нездоровье лежит камнем у меня на сердце... Я переменяю форму издания,[11] не знаю как пойдет дело: если увижу своих подписчиков, то буду издавать, если же нет, то вынужден буду прекратить; газета мне не

дает *ни малейшей прибыли*, но пока и не причиняет убытка; но нести же убыток я не могу, ибо он, раз начавшись, что снежный ком.

Прощай Константин Петрович, будь здоров, жму твою руку.

Ив. Аксаков.

11 ноября 1882
Москва

[1] К. П. Победоносцев встречался с московским городским головой Б. Н. Чичериным, скорее всего, в сентябре 1882 года, когда обер-прокурор Св. Синода приезжал в Москву вместе с царской семьей и некоторое время оставался там после ее отъезда. Чичерин, вспоминая о спорах, которые возникли тогда между ним и Победоносцевым, отмечал, что после этого их «внешние отношения сохранились, но дружеская связь прервалась навсегда» (Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская дума. М., 1934. С. 223).

[2] Жена Аксакова Анна Федоровна летом и в начале осени жила на даче под Москвой.

[3] Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889) — граф, министр внутренних дел.

[4] Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский историк и филолог, автор написанной с позитивистских позиций многотомной «Истории происхождения христианства».

[5] Всероссийская промышленная и художественная выставка проходила в Москве с 20 мая по 10 октября 1882 года.

[6] Неточная цитата слов таврического губернского предводителя дворянства В. Попова, обращенных к Литовскому и Виленскому архиепископу Александру (Литовские епархиальные ведомости. 1882. 3 окт. № 40. С. 327). Тем не менее сам «титул» императора, приведенный в публикации, передан точно.

[7] По учению Православной Церкви, Ее глава — Иисус Христос. Однако в XVIII—XIX веках фактическая власть Российского императора над основными сторонами церковной жизни и ряд закрепивших ее юридических актов способствовали развитию представления об императоре как главе поместной Церкви.

[8] Статья В. С. Соловьева «О Церкви и расколе» была опубликована 18 сентября — 2 октября 1882 года в 38—40-м номерах «Руси».

[9] зачеркнуто: обличит⟨ь⟩.

[10] В 46-м номере «Руси» за 1882 год за подписью «Пр. Г. П.» опубликована статья «Что в настоящее время более всего и прежде всего нужно православной Всероссийской церкви для возвращения ей... подобающей силы, жизни и значения» (С. 9—11). Это была пятая из шести публикаций, появившихся в «Руси» под теми же названием и подписью (Русь. 1882. № 42—47).

[11] С января 1883 года «Русь» стала выходить два раза в месяц, однако в 1885 году она снова вернулась к еженедельной форме издания.

2

И. С. Аксаков — Александру III

[7 декабря 1885 года. Москва]

Всемилостивейший Государь.

Если я осмеливаюсь утруждать Ваше Императорское Величество письмом, то единственно из нравственного побуждения и даже не по поводу «предостережения» объявленного мне Министром Внутренних Дел за статью в 21 № «Руси».[1] До сведения моего дошло, что некоторые лица воспользовались этою статьей для очернения меня в глазах Ваших, — взвели на меня обвинение, будто в ней заключаются неприличные дерзкие намеки, относящиеся непосредственно к самой Особе Вашего Величества. Вот что собственно с одной стороны возмущает меня как низкая клевета, с другой — причиняет мне глубокую скорбь при мысли, что Ваше Величество могли ей поверить. Всем существом протестую, Государь, против такого злонамеренного истолкования некоторых слов и выражений статьи, взятых отдельно, без связи с последующими речениями и всем ее содержанием. Именно то место, в котором хотят видеть дерзкий *личный* намек, относится к моей полемике с некоторыми русскими газетами, обсуждавшими современные события с точки зрения —

если даже и общей русскому Кабинету, то все же, как выраженной частными органами печати, подлежащей полной свободе журнальной критики. Во всяком случае, я был не только чужд приписываемому мне намерению, но подобный поступок совершенно противен как моим коренным воззрениям на достоинство Царского сана, так и моему нравственному чувству.

Смею думать, я заслужил, чтобы верили моему слову. Если я с полною искренностью и *независимостью* убеждений открыто исповедую наш русский исторический принцип монархической власти, то с точно такою же искренностью и независимостью высказываю свои мнения и по всем современным вопросам, в том числе и по вопросам внешней политики, не справляясь о том — выгодно или невыгодно такое высказывание. Не отрицаю, что суждения мои по поводу Балканских событий выражены были порою резко, может быть слишком резко, но это потому, что глубоко, к прискорбию, убежден, что настоящее ее направление, во сколько оно известно по официальным, представляется мне не согласным ни с историческим призванием России, ни с ее действительными национальными интересами.

Вашему Величеству известно, что я ничего никогда не искал и не ищу, ни чинов, ни денег, газету издаю не для спекуляций, а почти в убыток, — никогда не беспокоил Вас никакою просьбою или ходатайством о себе. Если бы правительству угодно было закрыть мою газету, я повиновался бы беспрекословно. Поэтому и настоящее мое письмо не имеет ровно никакой *практической* цели, а внушено единственно желанием снять с души моей обвинение в дурном, относительно *лично* Вас, Государь, поступке.

Вашего Императорского Величества верноподданный

Иван Аксаков.

Декабря 7 дня 1885 г.
Москва

[1]Русь. 1882. 22 мая. № 21. С. 1—4.

ИВАН АКСАКОВ И «ФАНАТИКИ-ФАНАРИОТЫ»

I. ПЕРЕПИСКА И. С. АКСАКОВА И Т. И. ФИЛИППОВА (1870—1885)

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ © О. Л. ФЕТИСЕНКО)

«Его убеждения до того крайние, что это *ужасно*!»[1] — воскликнул И. С. Аксаков весной 1882 года в разговоре с О. А. Новиковой о К. Н. Леонтьеве. «Он не столько христианин, сколько церковник».[2] Для Леонтьева же, в свою очередь, именно редактор «Руси» олицетворяет собой либеральное славянофильство; у него даже появляется выражение «славянофилы Аксаковского стиля».[3] Можно было бы, продолжив мысль Леонтьева, сказать и о «православии аксаковского стиля» (он, правда,

[1] Цит. по: *Леонтьев К. Н.* Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. / Подгот. текста и комм. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб., 2004. Т. 6. Кн. 2. С. 454 (далее сокращенно: *Леонтьев*). По-другому та же мысль была сформулирована Н. П. Гиляровым-Платоновым: «Да уж он слишком православен». Эти слова Леонтьев привел в одной из записей, адресованных В. В. Розанову (цит. по: *Аггеев К., свящ.* Христианство и его отношение к благоустроению земной жизни. Опыт критического изучения и богословской оценки раскрытого К. Леонтьевым понимания христианства. Киев, 1909. С. 10).

[2] *Леонтьев.* Т. 6. Кн. 2. С. 456.

[3] Там же. С. 24.

говорил о «филаретовском» и «хомяковском» православии, себя относя к последователям первого).

Наметившееся в последней трети XIX века разделение (названное Р. А. Гальцевой и И. Б. Роднянской «расколом в консерваторах») действенно до сих пор. Существуют последователи и «аксаковского», и «леонтьевского» направлений (наследие Т. И. Филиппова в настоящее время только понемногу начинает осваиваться). Мне хотелось бы представить в этой публикации материал, введение которого в научный оборот, думается, может способствовать более глубокому изучению означенных течений. Публикация состоит из двух частей, каждую из которых предваряет вступительная статья.

Знакомство И. С. Аксакова и Т. И. Филиппова восходит к 1850-м годам. Выпускник Московского университета, преподаватель 1-й гимназии Филиппов входил тогда в «молодую редакцию» «Москвитянина», а также участвовал в издательской деятельности Оптиной пустыни. Из «старших славянофилов» Филиппов особенно чтил И. В. Киреевского.[4] Именно Киреевский рекомендовал его А. И. Кошелеву: «Филиппов в вашем кругу будет проникнут вашим духом и воззрением на литературу и проч. ⟨...⟩ Пишет он не только не вяло, но с замечательным талантом».[5] Кошелев привлек Филиппова к изданию журнала «Русская беседа». Не случайно в одном из писем Филиппов просит Аксакова показать свою статью бывшему кружку «Русской беседы».

Вскоре Филиппов переехал в Петербург, служил в Синоде. После отставки своего покровителя, обер-прокурора гр. А. П. Толстого, он перешел на службу в Государственный контроль, где и сделал свою карьеру, возглавив со временем это ведомство. Однако Филиппову было тесно в чиновном мире, и вторую (а по значению — первую, конечно) часть его жизни занимали дела церковные. Он представлял собой не менее влиятельную фигуру, чем когда-то А. Н. Муравьев. Филиппов стал известным церковно-общественным деятелем (вспомним хотя бы его участие в деятельности Общества любителей духовного просвещения, его вице-президентство в Палестинском обществе и т. д.). Неоднократно молва прочила его то в обер-прокуроры Синода, то в министры народного просвещения, но этому не суждено было осуществиться.

К сожалению, переписка Аксакова и Филиппова сохранилась не в полном виде. Например, в настоящий момент не выявлены ответы Аксакова на письма Филиппова 1870 года. Эти письма свидетельствуют о том, что Филиппов не исключал возможности сотрудничества с Аксаковым, но в то время у Аксакова не было своего издания, а к моменту, когда начала выходить газета «Русь» (1880), расхождения были столь значительными, что о сотрудничестве уже и речи быть не могло. Филиппов к этому времени был давним и активным сотрудником петербургского «Гражданина» — издания, ставшего постоянным оппонентом «Руси».

Первые письма Филиппова Аксакову связаны с темой греко-болгарской церковной распри. Рамки вступительной статьи не позволяют подробно остановиться

---

[4] Памяти И. В. Киреевского Филиппов посвятил свой «Сборник» (1896). 27 сентября 1885 года (год установлен по контексту переписки) дочь философа, М. И. Бологовская, отвечала на письмо к ней Филиппова: «Ваше дорогое письмо совершенно очаровало меня! Благодарить за него — невозможно. Такое глубокое, чистое чувство, какое Вы храните к памяти моего покойного Отца — заставляет лишь благоговеть перед Вами! ⟨...⟩Любовь и почитание к памяти моего Отца — я видела и слышала от многих, но такого всеобъемлющего чувства, каково Ваше, признаюсь, — ни от кого. Если бы, Искренне-Уважаемый Тертий Иванович, нашлось хоть несколько человек такого искреннего единения, с такими духовными и душевными богатыми данными, как был мой покойный Отец и как Вы — какая могучая была бы сила!?» (ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 1487. Л. 75—75 об.).

[5] *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 2. С. 287.

на этом вопросе. Достаточно глубоко история греко-болгарских церковных отношений раскрыта в статье «нулевого» тома современной «Православной энциклопедии», хотя следует отметить явное предпочтение, оказываемое одной из сторон конфликта, а именно болгарской.[6]

Аксаков, как большинство «прогрессивной общественности», был целиком на стороне болгар.[7] Тем интереснее, что Филиппов обращается к нему с просьбой помочь напечатать отвергнутую петербургским «официозом» статью. Видимо, это обусловлено некоторым противостоянием Филиппова властям предержащим. Здесь нужно подчеркнуть особость положения и позиции Филиппова в церковных вопросах. Упомянутый в первом публикуемом письме граф Дмитрий Андреевич Толстой (1823—1889) — одновременно министр народного просвещения и обер-прокурор Синода — для Филиппова в церковном отношении был фигурой неприемлемой. Филиппов был близким сотрудником и «домашним человеком» для другого обер-прокурора графа Толстого — Александра Петровича (1801—1873). Именно в годы службы Филиппова в Синоде завязались его личные контакты с греческой церковной иерархией. Неопределенная, выжидательная позиция в Болгарском вопросе Синода, направляемого Д. А. Толстым, чужда Филиппову. Ему более близка, хоть и не без оговорок, точка зрения митрополита Филарета Московского, не дожившего, правда, до обострения церковных дел на Востоке.[8] В 1870 году еще труд-

---

[6] То же самое можно сказать и о соответствующих главах адресованного духовным школам учебного пособия, в котором есть и явные натяжки (возможно, их лучше назвать «фигурами умолчания»). Сложнейшая история рецепции греко-болгарской распри в Русской Православной Церкви сведена здесь к одной фразе: «Что же касается отношения Русской Православной Церкви к данным событиям, следует отметить, что Святейший Синод считал требования болгар законными» (*Скурат К. Е.* История Поместных Православных Церквей. М., 1994. Т. 1. С. 264). Вслед за тем помянуто «живейшее участие» в этом деле Н. П. Игнатьева. Вот и все, что «достаточно» знать студенту духовных школ. Дело обстояло значительно сложнее, и далеко не сразу новая болгарская иерархия была признана в России официально (т. е. «принята в общение»). Другой современный историк справедливо замечает: «Некоторые русские архиереи допускали болгарских клириков сослужить с русским духовенством ⟨...⟩ Вместе с тем Святейший Правительствующий Синод оставался вне полноты канонического общения с Болгарской Церковью» (*Буевский А. С.* Русская Церковь и другие Православные Церкви // История Русской Церкви: В 9 т. М., 1997. Т. 8: Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700—1917. Кн. 2. С. 755).Что касается «живейшего участия» в греко-болгарском деле посла в Константинополе, то, на мой взгляд, ближе всего к реальной картине оказался один из его преемников, А. И. Нелидов, писавший в 1910 году К. А. Губастову об Игнатьеве: «В Церковном вопросе интересы Церкви для него не существовали. Он задавался главным образом политическими видами» (цит. по: *Леонтьев.* Т. 6. Кн. 2. С. 386). Игнатьев мог как угодно *лично* сочувствовать и содействовать болгарам в их стремлении к обретению церковной независимости, мог беседовать об этом в посольском кругу, мог пытаться побуждать К. Н. Леонтьева писать «в их пользу», но в качестве *официального* представителя Императора (а значит, и «официальной позиции» Синода) он этих своих сочувствий проявлять не мог. Леонтьев как очевидец писал об этом периоде в статье «Еще о греко-болгарской распре», оставшейся неопубликованной при жизни: «Святейший Синод после объявления схизмы безмолвствует. Он, как слышно, твердо решился не отвечать, — „пока на Востоке не успокоятся страсти".

Официальная Россия в лице генерала Игнатьева чтит Патриархию. Он едет к Патриарху на праздник парадно в мундире, орденах, с огромною свитой; к Экзарху Болгарскому, если случится, официальная Россия заезжает в будничном штатском платье, так, как может заехать ко всякому турку-дервишу» (Там же. Т. 7. Кн. 1. С. 286—287).

[7] Хотя в одном из разговоров с К. Н. Леонтьевым и признал их каноническую неправоту. «Вот видите, — воскликнул он, — положим, это и правда. Да мало ли что правда. *Так нельзя писать для печати...* Разумеется, болгары неправы, это бесспорно... Но ведь и греки солгали Духу Святому...» (*Леонтьев.* Т. 6. Кн. 1. С. 115).

[8] В 1886 году была издана книга «Собрание отзывов и мнений Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по делам Православной Церкви на Востоке». Прочитав ее, Филиппов написал 5 августа 1886 года вдове гр. А. П. Толстого, гр. Александре Георгиевне Толстой: «Недавно получил я особый том мнений Митрополита Филарета, относящихся к Греко-Болгарскому вопросу; там напечатано много писем и должностных отношений к нему Графа, которые перенесли меня в далекое уже от настоящей минуты прошедшее и которыми я любовался и утешался. Какой изящный язык! Какая смелая и решительная прямота в суждениях! Изредка ему

но было предвидеть, что «распря» завершится расколом, созывом Константинопольского собора (сентябрь 1872 года), отлучением болгарских епископов, но уже тогда важность этого конфликта для судеб всего православного мира была для Филиппова очевидна.

Пресса обеих столиц еще в те годы подготовила русское общество к тому, что близкий Филиппову К. Леонтьев позднее обозначил словами «наше болгаробесие».[9] Вся информация подавалась исключительно в проболгарском ключе, греческие иерархи безоговорочно клеймились словом «фанариоты».[10] Аксаков в данном вопросе тоже не проявил сочувствия к иному воззрению и ничем не помог Филиппову.[11]

Если в *Болгарском вопросе* Аксаков и Филиппов разделены уже в 1870 году,[12] то в отношении к *русской* церковной проблеме — проблеме старообрядчества и единоверия — поводов к разделению у них не было, и точку зрения Аксакова на старообрядчество Филиппов считал правильной. В 1873—1874 годах Филиппов выступил в Обществе любителей духовно-нравственного просвещения с рядом чтений «О нуждах единоверия»; на одном из них присутствовали Аксаков и Ю. Ф. Самарин.[13]

Тема единоверия затрагивается в первых письмах Филиппова к Аксакову. Ситуацию можно реконструировать так: Филиппов ждал от Аксакова присылки не-

---

случалось отойти от прямой черты вопроса, и тут Митрополит его уловлял и исправлял; но в общем его мнения отвечали более истинному положению дел, чем мнения Филарета, который не был чужд и человекоугодию. Зная наклонность покойного Государя и особенно Государыни к болгарам, он смотрел на их церковный мятеж не так строго, как он взглянул бы на него при иных обстоятельствах. Ошибки Митрополита были не столько в суждениях его, которые большею частию были правильны, а в нерешительности его характера, по которой он отклонял всякое намерение более деятельного вмешательства нашего в распрю. А оно было необходимо, как свидетельствует горький опыт. Дипломатам нельзя было предоставить в таком вопросе первенствующей роли: требовалось братолюбивое и о Церкви заботливое посредничество наших иерархов, личное объяснение коих с Патриархиею и предводителями мятежа давно раскрыло бы нам зиявшую бездну» (ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 1264. Л. 241—241 об.). Ср. также с другим отзывом Филиппова о свят. Филарете: *Леонтьев*. Т. 6. Кн. 2. С. 387.

[9] Так названо одно из его «Писем отшельника», опубликованное в 1879 году в газете «Восток» (*Леонтьев*. Т. 7. Кн. 1. С. 539—549).

[10] Эти настроения Филиппов объяснял чисто племенными пристрастиями (славянская общность и проч.). В позднейшем письме к Леонтьеву (от 21 декабря 1887 года) он писал: «В известном письме Хомякова ко мне есть превосходное положение о господстве в наше время ересей чувства (по поводу Ж. Занд); и это нападение на фанариотов, проистекая из племенных пристрастий, можно подвести под понятие о ереси чувств. И еще у нас толковали (даже Гиляров), что „филетизм", как греховное заблуждение, выдумано на Константинопольском соборе 1872 г. ad hoc! Вот тема, достойная Вашего пера и ума!» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1035. Л. 20). Упоминаемое здесь письмо А. С. Хомякова, впервые опубликованное в «Русской беседе» (1856. № 4), Филиппов позднее включил в свой «Сборник» (Сборник Т. Филиппова. СПб., 1896. С. 298—314). Поскольку в цитируемом письме упомянут Н. П. Гиляров-Платонов, приведем фрагмент из его письма к Филиппову от 20 октября 1872 года: «Собор ли подчинял болгарскую церковь Константинопольскому престолу? Не турецкая ли власть? С этой точки зрения даже магометанская власть могла и снова отложить. ⟨...⟩ Чтобы отпустить болгар *совсем*, для этого достаточно было доброй воли. ⟨...⟩ никто не мешал дать болгарам больше того, чем они просили, дать все, больше чего нельзя желать, и для *этого* не нужно никакого собора. Собор оказывается нужным только по нежеланию патриархата дать все, другими словами, по его властолюбию и корыстолюбию. Но освободиться от уз любочестия и корысти опять нет надобности в соборе» (РНБ. Ф. 847. Ед. хр. 396. Л. 3—4).

[11] 21 декабря 1887 года Филиппов вспоминал в письме к Леонтьеву о другом эпизоде: «Аксаков взял у меня однажды напечатать письмо к Вселенскому Патриарху о делах единоверия и не напечатал» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1035. Л. 20 об.). Возможно, речь здесь идет о «Признательном приветствии единоверцев вселенскому патриарху Иоакиму III», написанном Филипповым и опубликованном в его книге «Современные церковные вопросы» (С. 462—463); Филиппов включил его и в свой «Сборник» (Сборник Т. Филиппова. СПб., 1896. С. 210— 211).

[12] И до конца Филиппов считал его в этом отношении одним из «заблуждающихся» (ср. в письме к Леонтьеву от 7 декабря 1882 года: ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 271. Л. 29).

[13] См.: Петербургское обозрение // Гражданин. 1873. 22 янв. № 4. С. 92.

кой рукописи, посвященной проблемам единоверия, а затем узнал, что автор живет в Петербурге и, более того, хорошо ему знаком. Им оказался священник Иоанн Тимофеевич Верховский (1818—1892), сын протоиерея Тимофея Верховского (оба они известны как церковные публицисты, статьи о. Иоанна в середине 1870-х годов будут печататься в «Гражданине»).[14]

1875—1877 годы, эпоха восстаний в Боснии, Герцеговине и Болгарии, первых сербских добровольцев и начала русско-турецкой войны, — это время наибольшего единства наших корреспондентов. Аксаков был одним из основателей и председателем Московского славянского благотворительного комитета (1858—1878), Филиппов входил в Петербургский славянский комитет, созданный в 1868 году,[15] в 1876 году возглавил комиссию для сбора пожертвований, исполнял обязанности председателя комитета. Теме помощи добровольцам посвящено несколько писем.

Однако именно в это время намечается и разрыв. Поводом к нему стал резкий ответ Аксакова на письмо, в котором Филиппов напомнил о неизлеченности болгарского раскола и о том, что современные обстоятельства — создание независимого болгарского государства — способствуют примирению Церквей при непосредственном содействии России. Единомысленный Филиппову Леонтьев писал тогда же в статье «Храм и Церковь» о необходимости для России прежде всего способствовать именно исцелению раскола.[16] Может быть, именно эта статья и послужила поводом для Аксакова так резко помянуть Леонтьева в письме, на которое Филиппов не стал отвечать.

Обостренность проблематики иногда мешала оппонентам слышать друг друга.[17] Так, рассуждения Аксакова о том, что Филиппов отождествляет «Патриаршество Константинопольское с Греческой национальностью», не имеют под собой реальной почвы. И Филиппов, и Леонтьев, при всем их грекофильстве, отнюдь не считали, что Вселенский престол может занимать исключительно грек. Леонтьев (а его в данном случае вполне можно рассматривать как «голос» Филиппова[18]) неоднократно объяснял, что совершенно не важно, человек какой национальности занимает вселенский Патриарший престол.[19]

Не был Филиппов и завзятым русофилом. С какой болью он писал графине А. Г. Толстой 15 апреля 1882 года: «Одно могу сказать: время такое трудное, что чаще обыкновенного надобно обращаться мыслию и молитвою к помощи Божией. Людям, очевидно, не под силу тяжесть! Время сотворити Господеви![20] Но и от Него

---

[14] Сохранилась переписка Филиппова с о. И. Верховским. Письма Филиппова: ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 1140. Письма о. Иоанна: Там же. Ед. хр. 1552.

[15] См.: *Никитин С. А.* Славянские комитеты в России в 1858—1876 годах. М., 1960; Освобождение Болгарии от турецкого ига: В 3 т. М., 1961.

[16] «Сочувствуя вполне желанию многих москвичей, — видеть храм Св. Софии восстановленным и освященным даже и в том случае, если Султан еще останется в Царьграде, — я нахожу, однако, необходимым обратить внимание на нечто гораздо более важное и драгоценное, на благоустройство *невещественной Церкви*, на *умиротворение и утверждение Православия на Востоке*. ⟨...⟩ Не восстановление *храмов вещественных* важно: утверждение *духовной Церкви*, потрясенной последними событиями.

Надо прежде всего примирить болгар с греками» (*Леонтьев*. Т. 7. Кн. 1. С. 515, 517).

[17] Вспоминается отмеченная Н. И. Цимбаевым особенность эпистолярного наследия Аксакова: «Его письма часто являлись результатом минутного настроения, личной обиды и т. п. и не всегда выражали его коренные убеждения. Нельзя забывать и о склонности Аксакова к броской фразе, иногда искажавшей его мысль» (*Цимбаев Н. И.* И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978. С. 12).

[18] См.: *Фетисенко О. Л.* «Златая цепь единомыслия» (Церковь и мир в неизданной переписке К. Леонтьева и Т. Филиппова) // Новая Европа. 2001. № 14. С. 104—113.

[19] По мнению Леонтьева, «после взятия нами Босфора» «на этом троне не будут греки и только греки, а будут Православные разных племен» (*Леонтьев*. Т. 6. Кн. 1. С. 102). Ср.: «*Дело не в лицах, занимавших* за последнее время этот великий и многозначительный по свойству самой местности престол: *дело не в национальности этих лиц* и не в поведении их; дело в значении самого *престола*» (Там же. Т. 7. Кн. 1. С. 515).

[20] Возглас диакона перед началом Божественной литургии.

чего же мы можем ожидать, кроме праведного гнева и прещения? Чем можем мы привлечь Его милость? Мы, действительно, были Им избраны и призваны к высочайшей и святейшей цели — служить опорою Его Церкви; но что же мы сделали с этим залогом Его благоволения? Кто может измерить глубину бездны, в которую мы низринуты, поправ завет наш? И кто может восставить нас от такого позорного падения? Увы нам!» (ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 1264. Л. 81 об.—82).

Поводом к примирению Аксакова и Филиппова стал «благотворительный» эпизод 1879 года: помощь инвалиду Н. А. Матову, одному из добровольцев, сражавшихся в Сербии. После этого никаких серьезных общих дел больше не возникало. От 80-х годов сохранились лишь письмо Филиппова (1881) и короткое рекомендательное письмо Аксакова, врученное неустановленному лицу, желавшему служить в Государственном контроле (1885).

Когда зимой 1882 года Филиппов издал свою книгу «Современные церковные вопросы», он предвидел, что «„Русь" ополчится на нее» (письмо Леонтьеву от 22 февраля 1882 года; ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 271. Л. 21). Однако Аксаков предпочел другую тактику — не полемику, а предание молчанию.

Имя Аксакова не раз всплывает в переписке Филиппова с Леонтьевым. Именно в этой переписке Филиппов был наиболее откровенен в своих оценках современных общественных деятелей и политических явлений. Подобно тому как Филиппов несколько смягчал и корректировал резкие суждения Леонтьева о Достоевском,[21] при упоминании об Аксакове он также был спокойнее и трезвее. «Аксакова фарисеем нельзя назвать ни в каком смысле, по моему мнению, — поправлял он своего корреспондента.[22] — Беда его и его друзей в том, что они не ставят правды выше своих сложившихся и для них как бы обязательных мнений. Есть точка, дойдя до которой и они, забыв истинного Бога, становятся на колени перед своим умотворным кумиром» (ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 271. Л. 4). Но при этом Филиппов объяснял и суть своих расхождений с московским славянофилом по церковному вопросу. Интересна оценка, данная в письме от 5 декабря 1884 года: «Аксаков, конечно, имеет своего рода почтение к церкви, но только из-за Алексея Степановича (Хомякова. — *О. Ф.*) и в его изображении; а в своем истинном строгом и величественном образе она ему как-то не вполне угодна» (Там же. Л. 32). Яркий эпитет найден в письме от 25 ноября 1886 года: «...своенравное православие Аксакова» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1035. Л. 4).

Есть в переписке с Леонтьевым и отклик на кончину Аксакова. «Читали ли Вы отвратительную по лицемерию и пошлую по изложению статью К. П. (Победоносцева. — *О. Ф.*) об Аксакове и древних славянофилах[23] в „Гражданине"? Эта хвала от скверных устен, от мерзкого сердца, от души осквернены[24] писана тем же лицом, которое настояло, чтобы в последнем предостережении „Руси" был опорочен патриотизм Аксакова.[25] „Вверните-ко ему это, сказал он Феоктис-

---

[21] См. об этом: *Фетисенко О. Л.* К истории восприятия Пушкинской речи (Достоевский в неизданной переписке К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова) // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 2001. Т. 16. С. 334, 339.

[22] Ответ на замечание в письме Леонтьева от 5 февраля 1876 года: «...Ив⟨ан⟩ Серг⟨еевич⟩ Аксаков ⟨...⟩ на честного полугерманского фарисея похож...» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 6). Ср. в письме Леонтьева к К. А. Губастову от 24 декабря 1875 года: «Аксаков оказался пока довольно неприятным Фарисеем» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 32).

[23] Речь идет о статье: *К. П.* [*Победоносцев К. П.*] Аксаковы // Гражданин. 1886. 9 февр. № 12. С. 1—3.

[24] Цитата из молитвы св. Симеона Нового Богослова перед причастием Святых Таин.

[25] Последнее цензурное предостережение «Руси» было сделано за статьи о сербско-болгарской войне и русской внешней политике. Оно было подписано 26 ноября, а вручено Аксакову 29 ноября 1885 года. В предостережении говорилось о «недостатке» у редактора «Руси» «истинного патриотизма». Аксаков ответил на это обвинение в передовой от 6 декабря: «Благоразумнее, быть может, было бы теперь оставить вовсе без оговорок это официальное назидание, но в нем есть нечто необыкновенное даже и для официального языка нашего высшего литера-

тову,[26] это ему будет чувствительно". А теперь, как пес, старается засыпать песком свое извержение. А Анна Федоровна,[27] гляди, плакала от умиления, читая эту дребедень. Заметили ли Вы там выражение: „Аксаков был ни тепл, ни студен, но горел"?..[28] В Апокалипсисе сказано так (пишу на тот случай, если Вы не помните): „понеже ни тепл, ни студен, но обуморен (tiede) еси, сего ради изблевати тя имам от уст моих"[29]» (письмо от 13 февраля 1886 года; ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 271. Л. 33).

«Мне кончина Аксакова очень чувствительна, — продолжал Филиппов в том же письме, — но я не имел духу сказать о нем что-либо при виде этой омерзительной, поддельной, лицемерной грусти о нем всякого сброда. Для меня древние славянофилы действительная святыня, в особенности И. В. Киреевский. Иван Сергеевич запутался в греко-болгарском вопросе и, при его влиянии на славян, в этом деле был несомненно вреден; вместе с тем он уже не мог разобраться как следует и в тех событиях, которые в последние дни поразили его неожиданностью,[30] несмотря на то, что они были естественным и даже неизбежным последствием общей огульной ошибки и нашего правительства, и нашего общества, и даже введенного в заблуждение народа, и в особенности нашей печати, которая, почти вся сплошь, в греко-болгарском споре была за буйный мятеж против Церкви, исключенья были так редки, что можно вспомнить Мицкевича: Znałem ludzi dwoje.[31]

В других вопросах он тоже иногда не попадал в точку; но так как они не имели того верховного значения, которое имел вопрос болгарского церковного мятежа, то это было неважно, тем более что его ошибки были непорочны по побуждениям, да их и было немного.

турно-полицейского ведомства, есть выражения, которые обойти молчанием не дозволяет нам чувство чести и нравственного достоинства. Газете „Русь" брошено в лицо обвинение в недостатке „истинного патриотизма"... Понятно, разумеется, то негодование, которое должно было вызвать в нас подобное публичное оскорбление, — и уж конечно, не с тем, чтоб оправдываться пред литературным начальством, беремся мы теперь за перо: смеем думать, что относительно патриотизма редактор „Руси" в оправдании не нуждается. ⟨...⟩ Но мы позволяем себе утверждать, что и самый закон не уполномочивает Главное Управление по делам печати на подобную формулу обвинения; не предоставляет полиции, хотя бы и высшей, делать кому-либо внушения по части „патриотизма". ⟨...⟩ В самом деле, чтó такое „истинный" и „неистинный патриотизм"? ⟨...⟩ С нашей точки зрения, например, истинный патриотизм для публициста заключается в том, чтобы мужественно ⟨...⟩ высказывать правительству правду — как бы горька и жестка ни была, а для правительства — в том, чтоб выслушивать даже и горькую, жесткую правду. По мнению же многих в так называемых высших сферах, наи⟨и⟩стиннейший патриотизм — в подобострастном молчании... ⟨...⟩ мы вполне готовы признать, что откровенные изъявления патриотизма могут быть подчас для правительства, по разным его соображениям, почему-либо *не желанны*, но было бы уж совершенно неуместным с его стороны приемом обесценивать в подобных случаях их искренность и отрицать патриотичность.

Да и всегда ли само правительство стоит на точке зрения безошибочного патриотизма? ⟨...⟩ „истинными патриотами" считали себя ведь и русские радетели Берлинского трактата, тогда как „неистинные патриоты", вроде редактора „Руси", видят в их действиях только малосмысленность и малодушие патриотизма. И может ли быть обозвано, например, непатриотичным то чувство срама, которым содрогнулась почти вся Россия, познакомясь с содержанием этого договора, и которое было высказано пишущим эти строки в его публичный речи, навлекшей на него известную правительственную кару?.. ⟨...⟩ Правительство может закрыть нашу газету, отнять у нас право печатного слова: это вполне в его власти. Но пока мы держим перо в руках, оно будет все тем же независимым и искренним, и уж несомненно *истинно*-патриотическим, каким было и есть — теперь и всегда» (*Аксаков И. С.* Собр. соч.: В 7 т. Т. I. М., 1886. С. 719—721, 725).

[26] Евгений Михайлович Феоктистов (1829—1898), начальник Главного управления по делам печати в 1883—1896 годах.

[27] А. Ф. Аксакова (урожд. Тютчева; 1829—1889), жена И. С. Аксакова.

[28] «Всякий чувствовал, подходя к нему, что в нем нет лести и своекорыстия, что он ни тепл, ни холоден, а *горит* огнем любви и негодования — для истинных интересов Русской земли и всего языка славянского» (Гражданин. 1886. 9 февр. № 12. С. 3).

[29] Откр. 3: 16.

[30] Речь идет о государственном перевороте в Болгарии и о сербско-болгарской войне.

[31] Я знал двоих людей (*польск.*). Под этими «двумя людьми» Филиппов подразумевает себя и Леонтьева.

В вопросе старообрядческом он стоял даже на совершенно правильной точке зрения» (Там же. Л. 33—34).

Память об Аксакове побудила Филиппова поддержать одного из его учеников, С. Ф. Шарапова, задумавшего основать газету, которая бы стала преемницей аксаковской «Руси».[32]

В 1892 году Филиппов посетил могилы Аксакова и Леонтьева, о чем оставил запись в дневнике. На скромный белый крест на могиле друга ему было смотреть «приятнее», «чем на гордый памятник Аксакова, не соответственный размеру его заслуг и дарований, созданный не одною любовию, но и суетностию» (РГИА. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1. Л. 15 об.). Эти слова требовали какого-то пояснения (Филиппов, по-видимому, рассчитывал на появление у дневника читателей). Свою резкость Филиппов объясняет так: «Я не хотел бы этою заметкою ввести кого-нибудь в заблуждение, будто я не отдаю Аксакову должного; нет! Я знаю цену его подвигу. Дело нешуточное держать — в роде сем прелюбодейном[33] — знамя чистого учения, проповедовать святость и верховное достоинство Церкви; стоять за угнетенные преобразованием Петра священные начала. Но он был в полном смысле *страж* — не более того — отданного ему на сохранение духовного сокровища, к которому он не прибавил от себя ни единого обола» (Там же).[34]

Интересно, что в этой записи он почти дословно вторит Леонтьеву, который в 1885 году при подготовке сборника «Восток, Россия и славянство» значительно расширил фрагмент, посвященный Аксакову в статье «Г. Катков и его враги на празднике Пушкина» (1880). В этом достаточно комплиментарном фрагменте есть, однако, слова: «Ив⟨ан⟩ Серг⟨еевич⟩ Аксаков ⟨...⟩ по *культурному* вопросу собственно не захотел, видимо, в литературной своей деятельности ни на шаг отклониться от завещанных его предшественниками общих идей; он приложил очень много своего труда к развитию подробностей прежнего учения, но едва ли прибавил что-либо свое к основам его».[35]

Филиппов (вкупе с Леонтьевым) и Аксаков — знаковые фигуры в истории русского церковно-общественного движения. Оппозиция, обозначенная их именами, как мы уже сказали, сохраняется до сих пор. «Казенное православие»[36] (оценка, данная, правда, в редакции не «Руси», а «Московских ведомостей»[37] и, конечно,

---

[32] См. об этом: Переписка К. Н. Леонтьева и С. Ф. Шарапова (1888—1890) // Русская литература. 2004. № 1. С. 113—114; Переписка И. С. Аксакова и С. Ф. Шарапова (1883—1886) // Русская литература. 2005. № 1. С. 151—152.

[33] Аллюзия на Мф. 12: 39, 16: 4.

[34] Далее следует сравнение с Леонтьевым, «мыслителем самобытным», и сопоставление позиций двух публицистов в деле «болгарского народного мятежа» (Там же. Л. 16).

[35] См.: *Леонтьев.* Т. 7. Кн. 2. С. 202—203 (в печати). Ср. с оценкой, данной Леонтьевым в письме к Филиппову от 25 июня 1882 года: «Аксаков как-то ограничен» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 70).

[36] Определение неверно уже потому, что Филиппов был противником подчинения Церкви Государству.

[37] Пользуясь случаем, приведу чрезвычайно любопытный фрагмент из письма к Филиппову М. И. Бологовской от 4 ноября 1885 года (год установлен по содержанию). Бологовская, по просьбе Филиппова, узнала мнение Леонтьева (он был тогда ее соседом по дому в Денежном переулке) о некой статье «Московских ведомостей» по церковному вопросу: «...Константин Никол⟨аевич⟩ говорит, „что он не слишком ею возмутился, ибо ничего не поделаешь, и он махнул рукой. И вспомнил, что еще во время последней войны Катков ясно выражал недовольство на Вас и на него за старание устроить антипапство в Константинополе: и сейчас стремление Каткова то же самое: умалить, уничтожить силу греческой Церкви, и, как только русский Царь войдет в Константинополь, так объявить русскую Церковь — первенствующей. Статьи же подобного рода — суть его средства к достижению цели"» (ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 1487. Л. 77—77 об.). О Леонтьеве и Филиппове как идеологах «антипапства в Константинополе» чуть позже писал Вл. С. Соловьев. Так в неприятии церковной позиции Филиппова и Леонтьева сходились люди самых разных взглядов и общественных течений.

Рядом с Катковым Аксаков (как своеобразный его антипод) упомянут в письме Филиппова от 25 ноября 1886 года. Мы уже приводили цитату из него, но здесь важно расширить кон-

не в печати) — вот что для аксаковского круга олицетворяли Филиппов и Леонтьев. Либерализм, внесенный в понимание церковной жизни, — вот что вменяется в вину «аксаковской школе» последователями Филиппова и Леонтьева. Публикуемые письма дают богатый материал для изучения этого противостояния и в этом смысле могут быть интересны историкам Церкви, а также исследователям русского общественного сознания.

Потребность в научно подготовленном издании эпистолярного наследия Аксакова (как и других славянофилов) велика, и каждая публикация приближает выполнение давно назревшей задачи. Растет в последние годы и интерес к общественной деятельности и публицистике Филиппова. Публикуемые письма могут иметь большое значение для тех, кто занят разработкой этой темы. Вот вторая причина, побудившая нас представить вниманию читателей переписку Аксакова и Филиппова.

Письма печатаются по автографам. Письма Аксакова: ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 1336. Письма Филиппова: ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 649 (Письмо от 10 июля 1878 года сохранилось и в копии: Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 649. Л. 11—12 об.). Письмо Аксакова от 5 октября 1876 года впервые было опубликовано по копии ЦИАМ: Освобождение Болгарии от турецкого ига. Документы: В 3 т. М., 1961. Т. 1. С. 440—441. Там же (С. 411—412) опубликовано и письмо Филиппова от 17 сентября 1876 года (автограф: ЦИАМ. Ф. 1750. Д. 57. Л. 42—43 об.), которое тем не менее нельзя было не включить и в представленную ниже публикацию.

текст. Филиппов показывает, что непохожие друг на друга идеологи одинаково далеки от его церковного идеала: «Ни своенравное православие Аксакова, ни грубая антрополатрия Каткова не отвечают запросам строго православной души. При разладе же с Православием всякое охранительное направление солжет себе: или Церковь повергнет к ногам буйной толпы, или Божия воздаст Кесареви!» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1035. Л. 4). Ср. в письме от 21 декабря 1887 года: «У Каткова самые основные положения Вашего катихизиса не нашли бы приюта; про Аксакова и говорить нечего» (Там же. Л. 20 об.). Ясно, что Аксаков намного ближе Филиппову, чем Катков. Уже в 1890 году, во время, ознаменованное полемикой с Вл. Соловьевым, автор «Современных церковных вопросов» написал Леонтьеву: «Соловьев смешал древних славянофилов с Катковым, взгляд которого на Церковь был прямою противоположностию их воззрению. Они ошибались в применении общих начал к историческим явлениям, но не в самых началах. Я помню отвратительную выходку Каткова или ⟨П. М.⟩ Леонтьева в М⟨осковских⟩ Вед⟨омостях⟩ против И. Аксакова, который ставил духовное или церковное начало над государственным: „И. Аксаков грубому государственному единству предпочитает свое возвышенное nichts"» (РГИА. Ф. 728. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 28 об.—29).

1

Филиппов — Аксакову

[5 февраля 1870]

Милостивый Государь,
Иван Сергеевич!

Министр Нар⟨одного⟩ Просвещения признал возможным напечатать в своем журнале мою статью,[1] но не всю; ее заключительная часть, самая живая и занимательная, касающаяся вопроса о созвании собора Православной Церкви и обсуждающая последствия отказа Синода от приглашения на собор как для самого Греко-Болгарского дела, так и для всей Церкви вообще,[2] — по суду Гр⟨афа⟩ Т⟨олсто⟩го в журнале М⟨инистерст⟩ва Нар⟨одного⟩ Просв⟨ещения⟩ напечатана быть не может. К счастию, она составляет нечто целое и может вследствие того очень удобно быть напечатана особо, для чего нужно приделать к ней только приличное

вступление и иное заключение, да, может быть, кое-где пополнить. Впрочем, и самый тон может быть до некоторой степени изменен, так как при печатании этой статьи в журнале, не имеющем никакого отношения к Гр⟨афу⟩ Т⟨олсто⟩му, который сам участвовал в распоряжении Св. Синода, не будет причины к соблюдению той изысканной и излишней сдержанности, с какою я должен был излагать предмет, норовя свою статью в его журнал, а также и к оставлению в статье тех[a] оговорок, которые были вызваны тем же соображением. Итак, угодно ли Вам получить мою статью для Вашего сборника? Если этот сборник уже в пути, то я немедленно переслал бы к Вам мою статью пока в том виде, в каком она у меня написана, чтобы Вы могли, ознакомившись с нею, сказать мне свое решительное слово: подходит ли такого рода статья к Вашей цели? И если подходит, то когда можно надеяться увидеть ее в печати? По моему мнению, очень откладывать этого дела нельзя; и без того стыд для нас немалый, что приглашение Конст⟨антинопольского⟩ Патриарха[3] на Собор и отказ нашего Синода оставлены были нашею литературою без малейшего внимания, точно как ничего и не случилось. Нас гораздо более занимает Собор Римской Ц⟨ерк⟩ви.[4] Ведь это тоже признак. И определение этого признака могло бы войти в вещественную часть моей статьи. Буду ждать Вашего ответа с большим нетерпением. Статья моя, т. е. та ее часть, которая одобрена (к печати только) Гр⟨афом⟩ Т⟨олсты⟩м, появится в Февр⟨альской⟩ и Март⟨овской⟩ книжках Журнала М⟨инистерст⟩ва Нар⟨одного⟩ Просвещения. Очень был бы Вам обязан, если бы, по прочтении ее, Вы потрудились написать мне о том, какое впечатление произведет она на Вас и других членов бывшей Русской Беседы.[5] Если Вы не получаете журнала М⟨инистерст⟩ва, то я вышлю Вам (впрочем, это я сделаю во всяком случае) отдельный оттиск.

За тем прошу Вас также не замедлить высылкою рукописи о Един⟨оверческ⟩ой Церкви.[6]

До свидания! На Святой Неделе мне хотелось бы побывать в Москве, что и постараюсь исполнить, аще Бог восхощет и живи будем.[7]

Душевно преданный Вам и глубоко уважающий

Т. Филиппов

Спб. 1870. Фев⟨раля⟩ 5.

[1] *Филиппов Т. И.* Вселенский Патриарх Григорий VI и Греко-Болгарская распря // Журнал Министерства народного просвещения. 1870. № 2. С. 245—301. 2-я паг.; № 3. С. 1—54. 2-я паг. Вышла также отдельной брошюрой. Включена в книгу «Современные церковные вопросы» (1882). Министр — гр. Д. А. Толстой, обер-прокурор Св. Синода в 1865—1880 годах, с 1866 года — министр народного просвещения.

[2] Опубликовано в «Русском вестнике» (1870. № 6. С. 678—723) под названием «Решение Греко-болгарского вопроса»; вошло в книгу «Современные церковные вопросы». Речь в письме идет о попытке решения греко-болгарского вопроса: в конце 1868 года Вселенский патриарх Григорий VI разослал окружное послание предстоятелям Поместных православных Церквей, призывая к созванию Вселенского Собора.

[3] Григорий VI (в миру Георгий Фуртуниадис; 1798—1881) занимал Вселенский престол в 1835—1840 и в 1867—1871 годах.

[4] В 1870 года состоялся I Ватиканский Собор, принявший догмат о непогрешимости Папы.

[5] «Русская беседа» — журнал, выходивший в Москве в 1856—1859 годах. Аксаков был его редактором с 1858 года.

[6] Речь идет о рукописи единоверческого священника И. Т. Верховского (см. вступ. статью и прим. 2 к следующему письму).

[7] Иак. 4: 15.

---

[a] Вписано над зачеркнутым: множества

2

Филиппов — Аксакову

[20 февраля 1870]

Милостивый Государь,
Иван Сергеевич!

По переделке своей статьи тот же час Вам ее доставлю; думаю, что эта часть моего рассуждения не может вызвать каких-либо *существенных* возражений с Вашей стороны, а in dubiis libertas[1] дозволяется даже в пределах одного и того же исповедания веры, не только в деле литературном. Не скрываю и не хочу скрывать, что помещение моей статьи в Вашем именно издании я счел бы для нее особенно счастливым обстоятельством, и потому Вам самим предоставляю, по получении ее, рассудить: ждать ли ей выхода Вашего сборника, или же пристраиваться инде. Одно только попрошу Вас принять при этом во внимание, что со времени отказа Св. Синода от приглашения Конст⟨антинопольского⟩ Патриарха прошло уже около года и что *очень* медлить обнародованием моей статьи было бы для нее невыгодно, тем более что статьи журнала М⟨инистерст⟩ва Нар⟨одного⟩ Просв⟨ещения⟩ о Греко-Болгарском вопросе, на которые, уже ради самого их предмета, вероятно, будет обращено внимание, потребуют появления моей статьи, предназначаемой для Вас, как естественного продолжения тех.

О рукописи единоверческой не заботьтесь; я отыскал автора и вчера от него получил его работу; вечером сажусь за ее чтение и ожидаю не только много удовольствия, но и немалого научения; так я сужу по прочитанным мною другим вещам О. Ивана Верховского.[2] Это, между прочим, решительное литературное дарование. Мне даже стыдно, что, проживши 13 лет в Петербурге и даже быв лично с ним знакомым, я только от Вас, и совершенно случайно, узнал, что он писатель и, по моему мнению, замечательный. А о мужестве его и говорить нечего; ничего подобного между духовными лицами мне не случалось ни видеть, ни даже слышать.

Если статья моя будет готова скоро, то перешлю с кем-нибудь (почте не вверю), а не то так Кн. Черкасского[3] попрошу взять на себя труд свезти ее к Вам.

Всею душею преданный Вам

Т. Филиппов

Спб. 1870. Февр⟨аля⟩ 20.

[1] В сомнительном — свобода (*лат.*). Часть крылатых слов «In necessaries unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas» св. Викентия Лиринского, приписываемых разным авторам — от Тертуллиана и блаж. Августина до богослова XVI века Руперта Мельденига.

[2] Иоанн Тимофеевич Верховский (1818—1891), священник Никольской единоверческой церкви на Захарьевской улице в Петербурге, церковный публицист; в 1885 году из-за грозившей ему ссылки в Соловецкий монастырь (это было вызвано гневом К. П. Победоносцева на обращение священника Верховского к русскому епископату в защиту старообрядцев) бежал в Белую Криницу, но к Древлеправославной церкви официально не присоединялся. Перед смертью вернулся в Россию.

[3] Владимир Александрович Черкасский (1824—1878), князь, государственный и общественный деятель, публицист.

3

Филиппов — Аксакову

[5 марта 1870]

Милостивый Государь,
Иван Сергеевич!

Посылаю Вам на суд мою статью, которую я озаглавил: «Несостоявшийся Собор Православной Церкви».[1] Мне было бы в высшей степени дорого услышать от Вас, что в самой сущности моих воззрений на предмет нет ничего, не соответствующего исповедуемым Вами началам. Что касается разномыслия в частностях, которое совершенно неизбежно в людях, мыслящих по-своему и думающих своим умом, то для них существует золотое правило: in dubiis libertas.[2] Если бы какое-нибудь из моих мнений потребовало оговорки, то я в этом отношении доверяюсь Вам вполне.

По прочтении моей статьи в ее настоящем виде, у меня родилось сомнение: достаточно ли полно и обстоятельно сделанное мною вступление и совершенно ли плотно прилегает оно к самой статье?* Мне самому не трудно впасть в этом отношении в ошибку, ибо в статье (Вселенский Патриарх Григорий VI и Греко-Болгарская распря), которую я отдал в Ж⟨урнал⟩ М⟨инистерст⟩ва Н⟨ародного⟩ Пр⟨освещения⟩ и которой настоящее рассуждение составляло заключительную часть, изложены подробно все обстоятельства, предшествовавшие решению Патриарха созвать собор и объясняющие его необходимость, и мне вследствие того может показаться и в настоящей статье совершенно ясным то, что́ для читателя, не столь близко знакомого с предыдущею историею вопроса, может представиться невнятным. Ссылки на мою статью, помещенную в Ж⟨урнале⟩ М⟨инистерст⟩ва Н⟨ародного⟩ Пр⟨освещения⟩, будут ли в этом отношении достаточны? Это всего виднее будет Вам, так как Вы будете читать эту статью прежде той. Обстоятельство это не представляет, впрочем, особой важности, ибо для меня было бы достаточно самых легких с Вашей стороны указаний, чтобы ввести в эту статью необходимые пополнения и разъяснения. Существенно важный вопрос в том: будет ли моя статья признана способною, по достоинству содержания и исполнения,[b] обратить на себя внимание людей мыслящих? Если суд Ваш будет для нее благоприятным, то да отыщет она себе уголок в Вашем сборнике.

Затем, если сборник Ваш решительно не состоится, то потрудитесь меня об этом уведомить, не возвращая мне самой статьи, так как мне придется тогда обдумать и решить, куда ее деть, в Р⟨усский⟩ Вестник или в Зорю,[3] кото⟨рая⟩ становится на ноги и обещает быть очень хорошим журналом. И если бы дело кончилось Р⟨усским⟩ Вестником, то, быть может, Вы не отказали бы мне в одолжении, приняли бы на себя труд передачи статьи в редакцию Р⟨усского⟩ В⟨естни⟩ка.

О рукописи, касающейся единоверия, не беспокойтесь; она уже в моих руках. Я познакомился с автором, которого я, впрочем, и прежде знал в лице, но о его творениях, к стыду моему, узнал лишь так поздно.

Что Ваше намерение издавать еженедельник?[4] Не покидайте его, ради Бога! В издании совершенно честном и истинно свободном чувствуется потребность, доходящая до тоски. Слышать голос человека, вдохновляемого единственно своею совестию, есть отрада, ничем не заменимая, для душ, утомленных беспрерывным зрелищем всеобщего малодушия и преклонения пред грубою силою. Вас призывают к деятельности те Богу ведомые семь тысяч мужей, которые, среди всеобщего погру-

---

* Статьею я считаю те страницы, которые перенумеровал; а ненумерованные страницы содержат позднее сделанное вступление.

[b] Далее зачеркнуто: а еще прежде того

жения в мерзость идолослужения, не поклонили колена Ваалу.[5] На успех, вроде Катковского, Вам рассчитывать нельзя; Ваше дело — долг и подвиг! Всякому своя часть; Вы избрали себе хоть и самую трудную, но зато и самую благую.[6]

Душевно преданный Вам

Т. Филиппов

Спб. 1870. Марта 5. vertas.

Посылаю Вам изготовленные Микешиным образа, к которым я составил жития изображенных угодников.[7] Прошу Вас обратить внимание на житие Св. Кирилла и Мефодия,[8] в котором, несмотря на его краткость, изложено все существенное: первоначальное племенное (по плоти) единство Славян; утверждение и возведение этого единства к высшему союзу[c] в духе при помощи просветителей и оставленного ими в наследие Славянскому миру Слова Божия на их языке; изначала идущие замыслы Латин и Немцев, направленные против союза Славян; значение Кирилла и Мефодия как символа воссоединения Славян; молитва об осуществлении сего воссоединения.

Нельзя ли предпринять чего-либо для распространения этих образов, которые продаются очень дешево; в розницу по 15 к., а большими партиями по 12 р.? Считаю нужным предупредить Вас, что я участвую в этом издании *безмездно*, и если забочусь об его успехе, то единственно из желания добра народу.

[1] См. прим. 2 к письму Филиппова от 5 февраля 1870 года.

[2] См. прим. 1 к письму от 20 февраля 1870 года.

[3] «Заря» — журнал, выходивший в Петербурге в 1869—1871 годах; издателем его был В. В. Кашпирев, редактором Н. Н. Страхов.

[4] В период после закрытия газеты «Москвич» (1868) и до возникновения газеты «Русь» (октябрь 1880 года) Аксаков не выпускал никаких периодических изданий.

[5] Аллюзия на 3 Цар. 19: 18; Рим. 11: 4.

[6] Аллюзия на Лк. 10: 42.

[7] Михаил Осипович Микешин (1835—1896), скульптор, график, иллюстратор. «Михаил Осипович был большой знаток русской иконописи. ⟨...⟩ его всегдашней мечтой было распространение знания правильно изображать лики чтимых русскою церковью святых. Кое-что на этом поприще ему удалось сделать. Изданы листы: св. Георгий Победоносец, Сергий Радонежский, Николай Чудотворец, Кирилл и Мефодий, князья Борис и Глеб, несколько листов с изображениями известнейших чудотворных икон Богоматери, с текстом вокруг изображений на церковно-славянском языке Т. Ив. Филиппова, ныне государственного контролера. Издания эти имели небывалый успех...» (*Уманский А. М.* Памяти М. О. Микешина // Исторический вестник. 1897. Т. 67. № 2. С. 624—651).

[8] «Краткое сказание о житии святых Кирилла и Мефодия» было прочитано Филипповым на заседании Петербургского славянского благотворительного комитета 14 февраля 1870 года. Впервые опубликовано (с воспроизведением рисунка М. О. Микешина): Первые 15 лет существования Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества. СПб., 1883. С. 47—49. В 1885 году издано в виде отдельной брошюры под названием «Краткое сказание о жизни и подвигах святых Кирилла и Мефодия». Вошло в «Сборник Т. Филиппова» (СПб., 1896. С. 171—173). О славянских просветителях Филиппов неоднократно писал и позднее. В 1886 году он намеревался выступить с речью о них на заседании Литературного общества в Константинополе, но его поездка не состоялась. «Вот мое новое витийственное произведение, — писал он гр. А. Г. Толстой от 2 октября 1886 года, — которое, как не достигшее своего назначения, обречено быть заново погребенным в моем письменном столе.

Я очень жалею, что не могу его напечатать; мне хотелось возвратить греческому народу Св. Климента и Мефодия, коих мы у них похитили, на глазах всего мира, окрестив их „Словенскими учителями или просветителями". Под этим именованием как-то совсем исчезло их греческое происхождение, которое и оспаривал Погодин, вообще не умевший провести точной черты между своим и чужим» (ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 1264. Л. 248—249).

---

[c] в рукописи: союзе

4

Филиппов — Аксакову

17 сентября 1876 г.

Дорогой Иван Сергеевич!

Предложение ваше об устройстве в Белграде комитета обсуждалось вчера в нашей комиссии,[1] которая поручила мне сообщить вам следующее:

1. Мысль об учреждении комитета она признает столь же достойною осуществления, как и вы.

2. Но прежде всего она находит безусловно необходимым выделить из круга деятельности этого комитета все те дела, которые вверены заведованию Дандевиля,[2] так как эти дела, по самому свойству своему, требуют быстрых распоряжений, коим коллегиальный способ действий комитета мог бы послужить в большей части случаев помехой. Посему комиссия и сама полагает, и вас просит усердно принять и усвоить ее мысль: чтобы вся собственно военная часть была выделена из круга действий комитета и была поручена как нами, так и вами Дандевилю единолично. Ему для этого нужны не советники, а верные и послушные исполнители, которых, если он не найдет на месте, необходимо ему подыскать и послать. Само собою разумеется, что в тех случаях, когда Дандевилю потребуется совет комитета, он будет обращаться к его помощи, — и наша мысль такова, чтобы, освободив его от стеснений в распоряжениях по военной части, все-таки сделать его членом этого комитета, с целью постоянного с ним общения, а также и по надежде на то, что участие Дандевиля в комитете будет полезно во всех отношениях.

3. При Дандевиле, вроде его помощника, должен состоять кн. П. П. Мещерский,[3] который, к сожалению, еще не успел нам из Белграда написать. В Белграде же теперь и Г. А. Деволан,[4] член нашей комиссии, вполне преданный делу, умный, способный, сведущий и, сверх всего, обеспеченный, даже, как кажется, богатый, вот, кроме Дандевиля, два готовые и великолепные члена предполагаемого белградского комитета — со стороны русской. Больше трех русских, конечно, и не нужно: ибо многочисленный комитет обыкновенно никуда не годится. При этом назначение еще особого уполномоченного представляется вообще излишним, если же говорить ad hominem,[5] то, пожалуй, и не безвредным.

Наша комиссия in pleno[6] составила себе о Висковатове[7] не очень благоприятное для него мнение. Мы все согласно думаем о нем как о человеке решительно *неспособном* для такого поручения. Не говоря ничего о его нравственных свойствах, которые вне всякого упрека (в моем, по крайней мере, мнении), я ни за что не поручил бы ему вести отчетности, например, так как он непременно в ней запутался бы и поставил бы себя в самое тяжелое положение. Нравственного и умственного влияния он производить не в силах, как человек очень ограниченный и плохо образованный (хотя и профессор). Многим очень не нравится и то, что он возится с «Голосом», не чувствуя к этой гадине столь естественного при настоящих обстоятельствах отвращения.[8] Потом кое-кто из прибывших из Сербии и слышавших его сообщения о нашей комиссии находит большую разницу между его мнениями и воззрениями белградскими и здешними: из одной печи, да не одни речи. Вот сколько причин не посылать туда Висковатова, если только найдется средство его отклонить от этой поездки и, главное, если наш отзыв подействует на вас и внушит вам те же относительно его поездки в Белград намерения. Будем ожидать от вас ответа, и если вы согласитесь на то, чтобы членами белградского комитета были Дандевиль, Деволан и кн. Мещерский и чтобы один из них был облечен особенным доверием Московского и нашего комитета, то я сумел бы, может быть, найти такие обороты речи, которые, не оскорбляя Висковатова, могли бы его отклонить от поездки. Да слышим же паки о сем![9]

Имя Дандевиля — Виктор Десидериевич! Адрес — Белград.

4. Комитет из сербов и русских, хорошо составленный и имеющий во главе митрополита Михаила,[10] необходим, кроме прямой его цели, и для того, чтобы улеглись — увы! уже возникшие между сербами и русскими и все идущие в гору неудовольствия.

Из моего письма вы видите, что наша мысль об учреждении белградского комитета почти ничем не отличается от вашей, кроме того, может быть, что мы более выделяем из комитета деятельность Дандевиля; он, впрочем, лучше нас сумеет там найти ту грань, которая должна отделять его особливую деятельность от его деятельности как члена комитета.

Остается, стало быть, вопрос личный о Висковатове. Некоторые из наших думают, что вы будете поддерживать свой выбор quand même;[11] а моя вера в вас такова, что вы по толику лишь будете его держаться, по колику им связаны; получив же свободу, вероятно, вы уступите нам.

Всей душой преданный вам Т. Филиппов.

[1] Филиппов был председателем комиссии для сбора пожертвований Санкт-Петербургского славянского комитета (далее: ПСК). Речь идет о предложении Аксакова создать русско-сербский комитет в Белграде под председательством митрополита Михаила (см. прим. 10).

[2] Виктор Дезидериевич Дандевиль (1826—1907), генерал, военный писатель; уполномоченный комиссии для сбора пожертвований ПСК в Белграде. 5 сентября 1876 года Филипповым была составлена адресованная В. Д. Дандевилю инструкция о порядке обеспечения русских добровольцев в Сербии (Освобождение Болгарии... Т. 1. С. 382—383).

[3] Петр Петрович Мещерский (1838—1908), князь.

[4] Григорий Александрович Де-Волан (де Воллан) (1847—1916), этнограф, историк; в 1870-е годы служил в Азиатском департаменте МИДа, член ПСК с 1871 года, уполномоченный комитета в Сербии.

[5] В отношении данного лица (*лат.*); подразумевается П. А. Висковатов, которого Аксаков решил сделать особым уполномоченным Московского славянского комитета (далее: МСК) при задуманном им русско-сербском комитете. На письмо Аксакова в ПСК ответил, помимо Филиппова, В. И. Ламанский (см. прим. 6 к письму Аксакова от 5 октября 1876 года). Приведем большой фрагмент из его письма: «Дражайший и многоуважаемый Иван Сергеевич. Я тотчас не отвечал Вам на Ваше последнее письмо к Филиппову, раз потому что оно уж слишком было грозное и сердитое, а затем и потому что Филиппов взялся Вам отвечать, а наш неутомимейший Петров хотел уловить свободное время и прислать Вам подробные сведения. Впрочем, вчера трое членов взялись составить отчет Общему Собранию о нашей летней деятельности. Это работа большая. Когда она будет кончена, то добавленная для Вас более откровенными указаниями, чем для Общ⟨его⟩ Собр⟨ания⟩ и печати, она покажет Вам, что Вы совершенно напрасно так опрокинулись и даже упрекнули нас за ничегонеделанье. Вчера мне пришло в голову — отправлять Вам копию с протокола каждого нашего заседания, что и принято и будет исполняться. Извещайте и Вы нас. ⟨...⟩ Вчера был у нас Висковатов. Мы, откровенно говоря, очень затрудняемся решиться на это дело, по разным причинам. Первее всего мы заботимся теперь об одной армии да содержим нашу больницу, врачей и пр. в Пожаревце. Прилично ли, да и какая нужда вмешивать в дела о добровольцах, о ружьях и патронах — митрополита Михаила. И чем он нам может тут помочь. Да и есть у нас на это Дандевиль, человек порядочный и сведущий. Во-вторых, знаете ли Вы годность Висковатова на это дело, и вообще можете ли Вы поручиться, что с ним можно и стоит связываться. Между нами, этот барин мне лично почему-то противен. Много дурного рассказывала о нем в прежнее время Русская молодежь в Германии, в бытность его там. Да и никому из членов наших не внушает он довольно доверия. Он слишком барин и фразер для того, чтоб помогать Дандевилю в черной работе. Он захочет учить Дандевиля, давать ему советы, станет соединяться с Сербами против него. Белград и эти ничего не делающие министры так заняты интригами, сплетнями. Не прибавит ли это матерьяла для новых ссор. Поехал от нас и известный, кажется, Вам родственник покойного Гильфердинга Григорий Александрович Деволан. Он взялся быть постоянным нашим корреспондентом, агентом. Это человек истинно порядочный, несомненно чистый и честный, и за него бояться нам нечего. Может быть, Вы Висковатова хорошо знаете и за него поручитесь? Едва ли, Иван Сергеевич, может от него быть какой-либо прок. Что он очень пуст и недалек, в этом убеждает меня, между прочим, его хвалебный отзыв о министре Николиче» (РНБ. Ф. 14. Ед. хр. 195. Л. 10—11).

[6] В полном составе (*лат.*).

[7] Историк литературы, профессор Дерптского университета, один из редакторов газеты «Русский мир» и член ПСК комитета с 1874 года Павел Александрович Висковатов (1842—1905) был направлен в Сербию как представитель МСК; во время русско-турецкой войны он стал уполномоченным Общества Красного Креста на Дунае.

[8] «Отрицательное отношение Т. И. Филиппова к газете „Голос" объясняется позицией последней в Восточном вопросе. В общем сочувствуя славянам, „Голос", однако, выступал против вовлечения России в войну с Турцией, боясь возникновения общеевропейской войны» (Освобождение Болгарии... Т. 1. С. 412).

[9] Измененная цитата: Деян. 17: 32.

[10] Михаил (Иованович) (1826—1898), митрополит Сербский с 1859 года, выпускник Киевской духовной академии; в 1881 году за свои симпатии к России был изгнан с кафедры кн. Миланом Обреновичем, вернулся к управлению Сербской церковью в 1889 году, до этого с 1884 года жил в России. Письма его к Филиппову (1879—1897): ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед. хр. 2199; к Аксакову (1860—1886): ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 390; РНБ. Ф. 14. Ед. хр. 219.

[11] Тем не менее (*фр.*).

5

Аксаков — Филиппову

[5 октября 1876[1]]
5/76 окт⟨ября⟩

Посылаю Вам, любезный Тертий Иванович, адрес, мною написанный, принятый и подписанный вчера Московскою Думою.[2] Будет ли он отослан Государю Генерал-Губернатором,[3] или нет, — это уже все равно. Постарайтесь, чтоб Петербург последовал этому примеру. В Москве дело сделано было так, что Председатель Собрания, т. е. Голова,[4] не был (якобы) предупрежден и захвачен врасплох предложением одного из Гласных,[5] поддержанным другими.... Адрес написан был спешно, — надо было в несколько часов написать, прочесть тому и другому, переписать, доложить Думе и проч. Тем не менее заключительные слова, если произнесутся устами всей России, будут иметь значение.

Прочтите Ламанскому[6] и вообще дайте ход всему делу.

Ваш Ив. Аксаков

1876 окт⟨ября⟩ 5

[1] Письмо Аксакова было перлюстрировано; на копии (ЦИАМ. Ф. 109. Оп. 4. Д. 466. Л. 1—1 об.) есть помета Императора Александра II. См.: Освобождение Болгарии... Т. 1. С. 441.

[2] См.: Русские ведомости. 1876. 5 окт. № 250. С. 2; *Цимбаев Н. И.* Указ. соч. С. 235.

[3] Владимир Андреевич Долгоруков (1810—1891), князь, московский генерал-губернатор в 1865—1891 годах.

[4] Председателем собрания был исправляющий обязанности московского городского головы Сергей Александрович Ладыженский (1830—1877); с 16 апреля 1876 года городской голова Д. Д. Шумахер был в отставке, до новых выборов должность занимал товарищ городского головы.

[5] Подразумевается Дмитрий Федорович Самарин, произнесший на заседании Московской городской думы 4 октября 1876 года речь об освободительной борьбе балканских славян. Предложение о всеподданнейшем адресе Государю было вынесено им.

[6] Владимир Иванович Ламанский (1833—1914), историк, славист, член ПСК. Его письма и телеграммы к Аксакову (1876—1879) см.: РНБ. Ф. 14. Ед. хр. 195—197; ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 323.

6

Аксаков — Филиппову

[9 октября 1876]

Почтеннейший Тертий
Иванович.

Вот в чем дело.

1) Вы знаете, что так называемое Фадеевское дело перешло ко мне.[1] Я же тотчас устроил Комиссию из жертвователей, т. е. московских купцов. Дело это заклю-

чается единственно в довершении покупки и доставки уже закупленного оружия, 207 т⟨ысяч⟩ ружей Шаспо и двух батарей Круп⟨п⟩овских пушек.[2] Собранных средств на это почти не хватает; из их числа считается в долгу за Вашим Петербургским Отделом 10 т⟨ысяч⟩ рублей, заимообразно выданных Вам на волонтеров, в чем имеется, кажется, и расписка. Знаю, что теперь у Вас, после великодушно сделанного Вами аванса в счет Сербского займа, денег в кассе не много,[3] но из газет вижу, что Тульский архиерей[4] Вам выслал 12 т⟨ысяч⟩ р., и потому можно надеяться, что деньги накопятся настолько, что Вы будете скоро в состоянии уплатить этот долг, который считается за Вами московским Купечеством.

2) К Вам поехали Цанков и Наботков.[5] Я их встретил строго и тотчас же объявил, что от нашего Комитета они не получат ни гроша на то предприятие, о котором на 4-х страницах изложено в бумаге, представленной ими Комитету. Вероятно, такая же бумага будет или уже была передана и Вам. Это предприятие — та самая затея поручика Зандрока,[6] о котором писал мне, вероятно, и Вам барон Стюарт.[7] Я держусь того мнения, что теперь никакие *частные* восстания в Болгарии не должны быть поощряемы, как потому, что они не имеют никаких шансов успеха, так и потому, что подают Порте некоторый «легальный», с точки зрения европейской дипломатии, повод к «подавлению» восстания, т. е. к новой поголовной резне болгар. Особенно же это скверно ввиду ожидаемого перемирия, когда ничто не помешает Турции направить все свои свободные силы на восставших. Поэтому не только предприятию Зандрока, но и предприятию, затеваемому Вашим полковником Мишиным, о чем мне писал из Кишинева Иванов,[8] прося на это 30 т⟨ысяч⟩ р. и 3000 ружей, я не расположен содействовать. Единственным практическим способом помощи болгарам я признаю формирование русско-болгарских батальонов на Сербской почве, с русскими кадрами; будь Фадеев порасторопнее, почестнее, не затевай он дело в таких грандиозных размерах, какие превышают всевозможные частные средства, не интригуй он против Черняева,[9] желая создать нечто от него независимое и как бы роняющее его авторитет, дело было бы теперь устроено. Но он понапрасну потерял два или три месяца, пируя и разглагольствуя у купцов на ярмарке и компрометируясь в их мнении своими презрительными отзывами о Черняеве, обличавшими дух интриги и зависти.[10] Я совершенно понимаю, что Черняев всеми силами воспротивился появлению в Сербии Фадеева и добродушного, но пустоголового Кишельского.[11] Два медведя в одной берлоге не живут. Я тогда же ему писал с особым нарочным о необходимости для него не смешивать Фадеева и Кишельского с самим болгарским делом, и перенять у них в свои руки самое дело, причем объяснил, как вредно было бы для него в России, если б здесь подтвердились наветы на него Кишельского.[12] Не знаю, подействовало ли на него письмо, или вернее — он сам понял все это, но его отношения к болгарам переменились, и он поручил Медведовскому формировать русско-болгарские батальоны.[13] Мне же Черняев недавно писал, в нескольких строках, что желал бы увеличить число болгарских добровольцев, что кадры — как офицеры, так и унтер-офицеры из русских и что они мигом обучатся и обстреляются.[14]

И действительно Черняев обратился еще прежде письма ко мне к Болг⟨арскому⟩ Центр⟨альному⟩ Обществу[15] с требованием волонтеров, которое в свою очередь отнеслось о том к нам в Москву, — верно и к Вам. Я послал тысяч пять р. через Стюарта, но Стюарт не выдал их вследствие протеста пяти членов этого Общества, а их всех что-то около 10, и вследствие ставшей ему известной затеи Зандрока. Он просил у меня подтверждения о выдаче, но я ему еще и не отвечал, имея в виду приезд сюда Цанкова. — Цанков и Наботков выразили готовность отказаться от всяких затей касательно частных восстаний и сосредоточить все усилия на поставку болгарских волонтеров к Черняеву, но дело в том, что у них нет ни гроша, а одна доставка 8000 болгар из Букарешта до Кладова[16] стоила бы 200 т⟨ысяч⟩ франков, по 25 фр⟨анков⟩ на человека. Это ни нам, ни вам не по силам. Между тем

в Букареште есть старое Человеколюбивое общество,[17] старая партия болгар, состоящая из людей очень авторитетных, солидных и чрезвычайно богатых, которая, с своей стороны, уже поставила однажды 800 человек на свой счет, — но не хочет действовать заодно с Цанковым и К°, как с «красными» по их мнению, а главное «западниками». (Цанков не говорит по-русски, но говорит по-французски![18])

Следовательно, что́ нужно? Нужно привлечь к Болгарскому делу все местные болгарские денежные средства и все нравственные болгарские силы. Мы поступим в высшей степени неразумно, если, пренебрегая старыми солидными болгарами, будем их обходить и оскорблять, связавшись только с «молодой партией», у которой нет ни гроша, но много «либерализма» во вкусе сербской интеллигенции. Бывший консул Леонтьев, теперь полусумасшедший, очень остроумно выразился мне однажды, говоря про известного болгарина, доктора Чумакова, что это «соединение Собакевича с Гамбеттой».[19] Можно бы даже, вместо Гамбетты, взять № пониже.

Мне кажется, Вы сделали большую ошибку, выбрав Владимира Ионина[20] для миссии в Болгарию. Я его давно знаю, и потому никогда бы не присоветовал Вам его посылать. Он больной, раздражительный и враг, по натуре, всякого солидного дела, поэтому всегда подпадает под влияние молодых «либералов».

Достичь теперь изложенной мною цели нельзя, кажется, иначе, как послав в Букарешт человека, довольно авторитетного, не принадлежащего ни к какой партии, и который имел бы одну задачу: содействовать формированию Болгарского легиона на Сербской почве, что́ особенно было бы удобно исполнить во время перемирия. При открытии военных действий, особенно если Россия примет в них участие, этот легион, перешагнув в Болгарию, был бы авангардом России и поднял бы болгарское имя. Этот посланный старался бы привлечь все силы болгарские и всех богатых купцов, и вероятно, в этом бы успел. Но он должен быть русский. Я думал некоторое время о Михаиле Раевском[21] (он дружен с многими болгарами), но он, кажется, не хочет. Нет ли у Вас никого, вроде Дандевиля, и главное — *без притязания* действовать самостоятельно, независимо от Черняева или во вред ему; хорошо бы военного, с именем.[22] Ему бы я из *наших* болгар, русских воспитанников, придал отличного в помощь. Тогда дело пошло бы на лад, встретило бы содействие и в Стюарте. Телеграфируйте мне ответ.

3) Несколько слов о займе Сербском. Писал я об этом предмете пространно Евг. Ив. Ламанскому,[23] но ничто не берет. Думать, что Сербских облигаций раскупят на 4 миллиона, может только человек, не понимающий России и настоящего народного движения. Никто не хочет увеличивать тягости Сербии — долгом, считать ее у себя в долгу; да и нам нет расчета сокращать сумму денежных *жертв*. Дело бы давно уладилось, если бы глупый Сербский Князь[24] написал теплое просительное письмо нашему Государю, вошел с ним в *личные*, интимные сношения, отнесся к нему как сын к отцу или меньший брат к старшему. Когда Протич приехал,[25] первый мой вопрос к нему был: привез ли он письмо от Милана к Государю? Оказалось, что нет, что сами Министры этого хотели, но Милан раздумал. Не знаю, просил ли он Государя в Крестные отцы,[26] но я положительно знаю, что около времени проезда в Ливадию Государыни этого приглашения, к изумлению Двора, еще не было. О, как они глупы, интеллигентные сербы с своею Хуманитарностью, цивилјизацией и Јевропой, глупы преимущественно те, которые воспитались в Европе.[27]

Моск⟨овский⟩ Комитет с своей стороны не послал денег в счет займа, не зная хорошенько надобности, а главное — не имея ручательств, что деньги возвратятся. Мы вот им выкупили и послали их свинец на свой счет, сегодня я перевел Дандевилю 4000 р., Новоселову[28] 12 и Черняеву 24 000 р., итого 40 т⟨ысяч⟩ р. Расходы громадные, и надобно иметь в резерве фонд для возвращения массы добровольцев, для раненых и проч. и проч.

4) Митрополит устроил Комитет,[29] не дождавшись наших писем, Комитет чисто Сербский. Вы верно получили и письмо его, и Проглас, и утверждение Министра унутрашних дела. Обращаются к Европе, как будто кто другой, кроме России, даст им денег! — От Мещерского[30] я не получил ответа, да он, кажется, и возвратился. — Висковатова, не во гнев Вам, если он отпущен будет Начальством, я все же пошлю:[31] необходимо, чтоб был Русский для наблюдения за употреблением Русских денег. Пусть Комитет и останется благотворительным, — это ничего. К тому же мне просто необходимо иметь там Комиссионера для справок, которыми неудобно обременять самого Дандевиля. Комитет не может отказать семьям волонтеров в посредничестве для сношений. Кроме того навяжу Митрополиту двух болгар отсюда — из наших, полурусских, чтобы показать *наше*, русское, участие к болгарским страждущим семействам.

Кажется, покуда все. Московск⟨ий⟩ адрес[32] повис в воздухе. Ни ответа, ни привета — разумею официального. А все-таки следовало бы и Петербургу попытаться. Толцыте.[33] Доложите мое письмо Вашей Комиссии и сообщите мне ответ.

Ваш Ив. Аксаков

9 / 76 окт⟨ября⟩ вечер
Москва.

Пороховщиков[34] *никогда* не был послан от нас, как — слышу — у Вас рассказывают. Он сам собою скатал.[35] Напротив, узнав об его намерении, я потребовал от него даже не упоминать имени ни Комитета, ни моего.[36] Не подлежит, однако, сомнению, что он был принят, и хорошо принят, хотя существенных практических результатов от того ни малейших не вышло. Насчет адресов он точно имел разговор и *вызвался*, для рассеяния страхов, привезти из Москвы два проекта адресов для установления нормального для всей России типа. Этому обрадовались, но охотников сочинять такие проекты здесь не нашлось; напротив, Дума приняла и подписала адрес (сюрпризом для Пороховщикова) без предварительной цензуры и не желая прибегать к его посредничеству между Москвою и Царем.

Кланяйтесь Вл. И. Ламанскому. Писать ему не имею больше времени теперь.

[1] Ростислав Андреевич Фадеев (1824—1883), генерал-майор, публицист, общественный деятель; руководил отправкой добровольцев в Сербию и сбором пожертвований. 16 сентября 1876 года Аксаков писал Фадееву: «На основании письма Вашего Превосходительства и вследствие полученного мною предложения от представителей здешнего Купеческого и Биржевого Общества, заведование специальным сбором пожертвований в пользу болгар и распоряжение этими пожертвованиями переходит ко мне» (РНБ. Ф. 14. Ед. хр. 28. Л. 1).

[2] Речь идет о закупленной Р. А. Фадеевым у прусского военного министерства крупной партии оружия, которое МСК постановил 17 сентября 1876 года передать русско-болгарской бригаде в Сербии. Ружья Шаспо, бывшие на вооружении во французской армии, в 1870-е годы считались лучшими. Партия ружей, приобретенных Фадеевым, составляла часть трофеев франко-прусской войны.

[3] ПСК 1 октября 1876 года выслал сербской армии 100 000 руб. См. письмо Филиппова кн. Милану Обреновичу от 3 октября: Освобождение Болгарии... Т. 1. С. 437—438.

[4] Никандр (в миру Николай Иванович Покровский; 1816—1893), епископ Тульский и Белевский с 1860 года (с 1873 года в сане архиепископа).

[5] Кириак (Ячо) Антонов Цанков (1847—1903), болгарский политический деятель, публицист, председатель Болгарского центрального благотворительного общества (далее: БЦБО); Пантелей Наботков, член БЦБО. Решение направить их в Россию было принято БЦБО 21 сентября 1876 года. В Петербурге они должны были просить помощи России «и заручиться ее поддержкой в ходатайстве перед румынским правительством о разрешении организовать болгарские четы на румынской территории» (Освобождение Болгарии... Т. 1. С. 446).

[6] Поручик русской армии Григорий Филиппович Зандрок, посланный в Сербию БЦБО для подготовки вторжения в Болгарию. См.: Освобождение Болгарии... Т. 1. С. 446 (здесь его фамилия ошибочно пишется «Зандрик»).

[7] Барон Дмитрий Федорович Стуарт (Стюарт; ум. 1902), дипломатический агент и генеральный консул в Бухаресте в 1876—1879 годах (с 31 августа 1878 года — министр-резидент).

[8] Иван Степанов Иванов (1831—1902), болгарский учитель, публицист, политический деятель, кишиневский уездный исправник, председатель Кишиневского благотворительного общества, основанного им в 1871 году. Его письма к Аксакову: РНБ. Ф. 14. Ед. хр. 145, 146; ЦИАМ. Ф. 1750. Ед. хр. 278. Письмо от 28 октября 1876 года см.: Освобождение Болгарии... Т. 1. С. 471—472.

[9] Михаил Григорьевич Черняев (1828—1898), генерал-лейтенант (1882), военный и общественный деятель, журналист. 15 мая 1876 года принял сербское подданство и произведен в сербские генералы, руководил военными действиями в Сербии.

[10] 7 сентября 1876 года Аксаков писал М. Г. Черняеву: «Личность Фадеева произвела и производит на купцов отталкивающее впечатление. Он вздумал здесь осуждать деятельность комитета Славянского, издеваться над нашею вербовкою...» (Освобождение Болгарии... Т. 1. С. 388).

[11] Иван Кирович Кишельский (1820—1881), болгарин, отставной генерал-майор русской армии, член МСК; участвовал в русско-турецкой войне. 7 сентября 1876 года Аксаков писал о нем Черняеву: «Кишельского я всегда считал и считаю *пустым* человеком, хотя и храбрым; Фадеев же мне антипатичен до омерзительности, хотя бесспорно писатель не без таланта» (Освобождение Болгарии... Т. 1. С. 387).

[12] Свое недовольство действиями Черняева Кишельский изложил в адресованной военному министру Д. А. Милютину Записке от 8 октября 1876 года. См.: Освобождение Болгарии... Т. 1. С. 444—448. Ср. в письме Аксакова к Черняеву от 7 сентября 1876 года: «Надобно было перенять это дело и взять *его в свои руки*» (Там же. С. 388). В. И. Ламанский писал Аксакову в середине сентября того же года: «Кишельский воротился из Белграда решительным врагом Черняеву, жалуется на него, бранит его. Фадеев тоже его подбивает и ругает Черняева на чем свет стоит. Видно, что этот план Фадеевск⟨ий⟩ не удастся и жалеть ли об этом? Ростислав даровит, это бесспорно, но он же и легкомыслен, не деловит и не особенно, по-моему, совестлив. Надо бы непременно ружья и батареи, если они уже куплены, обратить на Сербское дело. ⟨...⟩ Кишельский своими рассказами о Черняеве и собственною своею вялостью и неуклюжестью, откровенно говоря, внушает мне мало доверия» (РНБ. Ф. 14. Ед. хр. 195. Л. 11—11 об.).

[13] Полковник в отставке (ротмистр Его Величества Кавалергардского полка) Николай Юлианович Медведовский командовал бригадой, сформированной из русских и болгарских добровольцев. См. его письмо в ПСК от 1 сентября 1876 года: Освобождение Болгарии... Т. 1. С. 371—372. «После заключения перемирия между Сербией и Турцией русско-болгарская бригада фактически распалась» (Русско-турецкая война 1877—1878. М., 1977. С. 71).

[14] Вероятно, подразумевается письмо М. Г. Черняева из Делиграда от 24 сентября — 2 октября 1876 года, в котором генерал, в частности, сообщал: «До сих пор у меня сформировано два баталиона с русскими кадрами и русскою командою. В сражении 16 сентября они были введены первый раз в огонь и выдерживали его довольно сносно, в следующий раз пойдут еще лучше и уже могут сами служить как кадры для новых 4 баталионов. Если б не фантазия Фадеева образовать отдельное болгарское восстание, то я уверен, что к зиме у меня было бы 2 болгарские бригады достаточно окрепшие духом и обстреленные» (РНБ. Ф. 14. Ед. хр. 387. Л. 18). Вместе с тем в том же письме Черняев подчеркивал: «Болгария может подняться только тогда, когда будет занята постороннею силою. Ей два выхода — или занятие русскими войсками, или движение вперед к Балканам сербской армии» (Там же. Л. 17 об.).

[15] БЦБО было образовано в Бухаресте в июне 1876 года.

[16] Город в Сербии на Дунае, в район которого летом и осенью 1876 года направлялись добровольческие формирования.

[17] Болгарское человеколюбивое настоятельство в Бухаресте было восстановлено 1 мая 1876 года. 10 июля того же года «старыми» болгарами был организован комитет для сбора помощи добровольцам. См. характеристику этого общества в письме Д. Ф. Стуарта А. И. Васильчикову от 10 сентября 1876 года (Освобождение Болгарии... Т. 1. С. 390).

[18] К. Цанков учился в Германии (см.: Там же. С. 391).

[19] Аксаков вспоминает свой разговор с К. Н. Леонтьевым, состоявшийся осенью 1874 года (Леонтьев бывал тогда у Аксакова, надеясь на его помощь в публикации книги «Византизм и Славянство»). Образное выражение «соединение Собакевича с Гамбеттой» Леонтьев применил не к доктору Стояну Иванову Чомакову (1819—1893), а вообще ко всем «болгарским вождям-буржуа», самым ярким представителем которых ему представлялся константинопольский купец и общественный деятель Христо Тыпчелештов (Топчилешта) (1808—1875). Ср. в записках «Моя литературная судьба»: «Он (Аксаков. — *О. Ф.*) стал меня расспрашивать о болгарах, и я ему сказал между прочим вот что:

— Многие у нас воображают себе болгар какими-то жертвами и только. ⟨...⟩ Но надо видеть самому вблизи этих болгарских вождей-буржуа... Какое-то противное соединение Собакевича с Гамбеттой. ⟨...⟩ Я описал ему также, как болгарский архонт Топчилешта, здоровый болгарский Собакевич, идет по улице с базара и несет сам под мышкой огромную связку лука...» (*Леонтьев.* Т. 6. Кн. 1. С. 93). Далее свое определение Леонтьев применяет к увиденному в гостиной Аксакова Н. А. Попову: «...ученый и ограниченный мужлан Нил Попов, к которому

наилучшим образом прилагается то, что я сказал о разных болгарских Топчилештах — *Собакевич в соединении с Гамбеттой*» (Там же. С. 103).

[20] Владимир Семенович Ионин (1838—1886), русский дипломат, консул в Боснии, член ПСК. В 1877 году Ионин возглавил временное правительство в Боснии.

[21] Михаил Федорович Раевский (1811—1884), протоиерей, настоятель посольской церкви в Вене в 1842—1884 годах. Письма к нему Аксакова: Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Ч. 2. Письма к разным лицам. Т. 4. СПб., 1896. Его письма к Аксакову: ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 503; РНБ. Ф. 14. Ед. хр. 287. См. также: Зарубежные славяне и Россия: Документы из архива М. Ф. Раевского, 40—80-е гг. XIX в. М., 1975.

[22] Начальником болгарского ополчения осенью 1876 года был назначен генерал-майор Николай Григорьевич Столетов (1834—1912).

[23] Евгений Иванович Ламанский (1825—1902), государственный деятель, экономист, в 1867—1881 годах управляющий Государственным банком, член-корреспондент Императорской академии наук. О сербском займе см. прим. 25.

[24] Милан Обренович (1854—1901), Сербский князь (с 1868), король (с 1882); в 1889 году отрекся от престола в пользу своего сына Александра.

[25] Милослав Радойкович Протич, председатель сербского кассационного суда, посланный летом 1876 года в Россию для переговоров о займе; позднее посланник в России. Митрополит Михаил Сербский снабдил его рекомендательными письмами (одно из них, к А. А. Кирееву, см.: Освобождение Болгарии... Т. 1. С. 244). См. также письмо М. Протича к Аксакову из Петербурга от 7 июля 1876 года (Там же. С. 283—284). Упоминание о нем есть в письме Аксакова к кн. Д. А. Оболенскому: «Протичь обратился ко мне с письмом о займе. Нужно бы повидаться с Вами» (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 20. Ед. хр. 109. Л. 1). В результате проведенных Протичем переговоров русское правительство согласилось на секретный заем Сербии 4 млн руб.

[26] В крестные отцы для новорожденного кн. Александра Обреновича (1876—1903).

[27] Ср. в письме В. И. Ламанского к Аксакову: «Вообще, как вероятно и Вы заметили, эта Сербская война подписывает смертный приговор Сербской интеллигенции. Полнейшая неспособность и пошлость этого конституционного либеральничанья воочию проявляется на каждом шагу» (РНБ. Ф. 14. Ед. хр. 195. Л. 11).

[28] Генерал-майор в отставке Семен Корнилович Новоселов (1816—1876) в 1876 году командовал Ибарской армией, геройски погиб в Сербии.

[29] Речь идет о возобновлении в сентябре 1876 года в Белграде деятельности Комитета для оказания пособия жертвам войны (в начале августа 1875 года под председательством митрополита Михаила был основан Главный комитет помощи восстанию, который был распущен в июне 1876 года).

[30] Вероятнее всего, подразумевается кн. П. П. Мещерский. См. письмо Филиппова от 17 сентября 1876 года.

[31] См. прим. 7 к письму Филиппова от 17 сентября 1876 года. Сохранилось шесть писем П. А. Висковатова к Аксакову (1877—1878 годы и без даты): ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 105.

[32] Всеподданнейший адрес Московской городской думы (4 октября 1876 года).

[33] Часть евангельского речения «Толцыте — и отверзется вам» (Мф. 7: 7).

[34] Крупный московский предприниматель, офицер Семеновского полка в отставке, гласный городской думы и член МСК Александр Александрович Пороховщиков (1809—1894) летом 1876 года стал председателем вербовочного присутствия; оставил воспоминания: *Пороховщиков А. А.* Из записок московского старожила // Исторический вестник. 1897. № 2. С. 539—554. См. о нем также: Накануне нашей последней войны. Переписка между Москвою и Белградом // Русский архив. 1897. Кн. 2. № 5—8. С. 281.

[35] «Скатал» Пороховщиков в Петербург (где 12 и 13 сентября был принят шефом жандармов Н. В. Мезенцевым), а затем и в Ливадию. Вначале Мезенцев был разгневан: «...Черняева объявить изменником отечества, Аксакова выслать из России навсегда, а вас выслать из Москвы года на три» (Исторический вестник. 1897. № 2. С. 545). При следующей встрече он посоветовал Пороховщикову ехать в Ливадию, где, по его выражению, были собраны «решающие силы».

[36] «Порешили так: ехать посланцу в Ливадию не от лица комитета, дабы в случае какой беды отвечать одному, а комитету оставаться в стороне...» (Там же. С. 546). 19—21 сентября Пороховщиков встречался в Ореанде с Н. П. Игнатьевым, гр. В. Ф. Адлербергом, Д. А. Милютиным и канцлером А. М. Горчаковым. Каждый день Пороховщиков посылал Аксакову шифрованные телеграммы. 21 сентября он был благожелательно принят Государем. Во время аудиенции имя Аксакова все же было названо.

7

Аксаков — Филиппову

[5 июля 1878]

Многоуважаемый Тертий Иванович.

Вот в чем дело. В настоящую минуту важнее всего завязать тесные торговые связи России с Болгариею и предупредить в этом отношении англичан. Русское Купечество уже имело случай ощутить все значение того рынка, который представляет Болгария для русских мануфактур и прочих изделий.

Податель сего — болгарский купец, очень горячо рекомендованный мне болгарами.[1] Он приехал с деньгами, чрез мое посредство познакомился здесь со всеми купцами и со всеми завязал торговые дела. Он и все здешние просят, нельзя ли на первое время освободить русские товары от пошлин, которым они подлежат в болгарской таможне в *Бургосе*. Эти таможни устроены уже нашим Гражд⟨анским⟩ Управлением. Не можете ли Вы выхлопотать из М⟨инистерст⟩ва Финансов рекомендательное письмо к князю Дондукову-Корсакову?[2] Я бы и сам написал, да для Сиятельства не авторитетен. Будь жив Черкасский,[3] дело было бы иное. Говорят, что ген⟨ерал⟩ Грейг назначается М⟨инист⟩ром Финансов.[4] Вот оно и кстати. А как были бы Вам благодарны русские купцы. Стоит только завязаться торговому делу с кредитом (а русские кредитуют отважно), и англичане не скоро выживут русские товары из Болгарии.

Душевно Вам преданный

Ив. Аксаков

5 июля / 78

[1] Попович (фамилия устанавливается по ответному письму Филиппова). Не смешивать с боснийским корреспондентом Аксакова, поэтом Иованом Юрьевичем Поповичем-Липовацем.

[2] Алексей Михайлович Дондуков-Корсаков (1820—1893), князь, государственный деятель, генерал от кавалерии (1878), Верховный русский комиссар в Болгарии в 1878—1879 годах.

[3] Кн. В. А. Черкасский, возглавлявший русское гражданское управление в Болгарии, скончался в день подписания Сан-Стефанского мирного договора, 19 февраля (3 марта) 1878 года.

[4] Самуил Алексеевич Грейг (1827—1887), государственный контролер (1874—1877), министр финансов (1878—1880); на посту министра финансов сменил М. Х. Рейтерна.

8

Филиппов — Аксакову

[10 июля 1878]

Многоуважаемый Иван Сергеевич!

Я с большим вниманием и полным участием выслушал Поповича и от всей души готов помогать его предприятию, как и сколько могу. Но пределы моего могущества очень тесны; вся моя сила состоит в том, что новый М⟨инист⟩р Фин⟨ансов⟩ имеет ко мне сердечное расположение, которое нисколько не изменилось и не уменьшилось от нашего взаимного несогласия во взглядах на современные события. Поэтому я вчера думал у него на даче, где я провел день, передать ему о просьбе Поповича; но, при всем желании моем, сделать этого никак не мог за многолюдством и суетою, а еще более потому, что он вчера проводил последний свой свободный день перед каторгой, на которую он обречен своим новым назначением, и

вследствие того прекращал все попытки завязать деловой разговор. Дорожа делом, которое Вы поручили моему особенному вниманию, я должен был вчера воздержаться от всякой беседы о нем. И так как это уже случилось и увидеть Грейга ранее будущего Воскресенья я не надеюсь, то прошу Вас, любезнейший Иван Сергеевич, помочь успеху этого дела таким образом: нельзя ли составить недлинную, но делового характера, записку о выгодах предложения Поповича преимущественно для русских купцов и прислать эту записку ко мне для представления ее Грейгу от имени нашего купечества? Таким путем мы скорее достигнем цели, особенно если в числе купцов, которые поднимут этот вопрос, будут какие-либо именитые москвичи.

При этом необходимо было бы выяснить и тот вопрос, в какой мере возможно для нашего Комиссара установить такую льготу для русских товаров, не распространяя ее на товары иных стран? Если бы это было возможно, то кто ж бы не оценил всех важных последствий для нашей и болгарской торговли от осуществления мысли Поповича. Но, не уяснив себе вопроса со всех сторон, нельзя заводить о нем разговора с человеком, которому некогда собирать самому нужных для его решения данных. Попович этой стороны дела мне разъяснить не мог; потрудитесь сообщить мне Ваши об этом мысли, а я тем временем переговорю здесь в М⟨инистерст⟩ве Ин⟨остранных⟩ Д⟨ел⟩ и в Д⟨епартамен⟩те Торг⟨овли⟩ и Мануф⟨актур⟩. Знайте одно: что за моим усердием и хлопотами дело не станет, и если оно будет обставлено должным образом, то и успеха, Бог даст, добьемся. Передайте московскому купечеству, что я в полном его распоряжении.

Я с Поповичем долго говорил о церковном положении его родины, которое, если не будет исправлено, грозит такою бедою, перед которою малостью покажется и берлинский погром.[1] Иван Сергеевич! *Вам* необходимо об этом подумать позаботливее и всею силою Вашего влияния действовать на Болгар, между которыми без сомнения есть немало людей (надобно только их отыскивать), болезнующих о Церкви и не одобряющих поведения своих продажных первенцев, доведших дело до раскола. Не большая будет радость, если вселенский православный союз, и без того не обширный, утратит навсегда Болгарский народ; и нас самих это дело вяжет и держит в опасном и унизительном положении. Не будет ли у Вас ревности к этому делу и не подумаем ли мы с Вами об этом союзе? Я могу рассчитывать на то, что мое посредство Конст⟨антинопольск⟩ою патриархиею будет принято благосклонно. Без восстановления церковного мира еще возможен успех, но о благословении свыше нечего и думать. И самый успех не пойдет впрок.

От души преданный Вам

Т. Филиппов

Спб. 10 июля 1878.

[1] «Берлинским погромом» Филиппов называет решения Берлинского конгресса, подведшего договором 1 (13) июля 1878 года итоги русско-турецкой войны, значительно изменив решения Сан-Стефанского мирного договора.

9

Аксаков — Филиппову

[13 июля 1878]

Многоуважаемый Тертий Иванович.

Благодарю Вас за внимание к моему ходатайству, но Вы отнеслись к нему уже слишком внимательно и как-то сложно. Если б все проделать, что́ Вы предлагаете, так нужно на это два-три месяца (minimum). Бедовые Вы люди, Петербургские сановники! Дело шло только о том, чтобы написать два слова в форме *частного пись-*

ма к кн. Дондукову-Корсакову... Сообразите сами. *Бургас*, куда Попович повез русские товары, — *отходит* от Болгарского Княжества и возвратится *Турции*, — следовательно, относительно этого порта, как и вообще всей «Румелии», никаких *общих мер* касательно русских товаров принимать не приходится.[1] Затем: разве можно официально в Петербурге (да еще, вероятно, посредством какой-нибудь «всесторонне обсуждающей» Комиссии) устанавливать такое «мероприятие»: «в Болгарии брать пошлины со *всех* ввозимых товаров, *кроме* русских!» Покуда вы будете там себе «уяснять этот вопрос» со всех сторон, учредятся в новом Княжестве и Английский Комиссар, и Турецкий рядом с Русским, и не дадут ему шагу сделать без своего разрешения. Вся забота в том, чтоб воспользоваться *теперь* тем исключительным положением, которое создает *оккупация* ***русских*** войск вместе с гражданским *местным* управлением, введенным там ***русскими*** же властями (и подлежащим окончательной сломке в Румелии и совершенному искажению в Придунайской Болгарии). Надобно пользоваться временем *пока мы там одни хозяева*, чтобы приучить население к русским товарам, завязать торговые сношения, устроить связи кредита. Так как наши товары (мануфактурные, сахар и пр.) лучше австрийских и английских, да и кредитуют русские купцы тароватее, то в течение 9 месяцев могла бы образоваться некоторая привычка, которая в торговле имеет громадное значение.

Затем еще: Болгария и теперь, во время оккупации русских войск, не состоит в ведомстве Министерства Финансов, и последнее не может никаких предписаний давать Российскому Комиссару. Теперь существующие там таможенные пошлины учреждены *нами же*, т. е. Князем Черкасским с профессором Иванюковым,[2] исправлявшим у него по Болгарии должность М⟨инист⟩ра Финансов. Будь жив князь Черкасский, я бы сам черкнул ему несколько слов и этого было бы довольно. При жизни его — здесь в Москве организовалось товарищество Задунайской торговли — преимущественно бакалейными товарами — из трех-четырех лучших торговых домов. По их просьбе я телеграфировал Черкасскому, и он тотчас же распорядился по своему таможенному ведомству, чтоб не брали пошлин: в установлении торговых связей заключается интерес как Болгарии, так и России. Я бы и теперь написал Иванюкову, но по последним известиям он уходит от Дондукова. Впрочем, я дал Поповичу письмецо к Генералу Домонтовичу,[3] Правителю Канцелярии Русского Комиссара, на всякий случай, и Попович уже уехал. Стало быть, Вам теперь беспокоиться незачем.

И затем — как же Вы — простите мне — неисправимо простодушны! Если бы весь вышеизложенный вопрос попал в Совет М⟨инистерст⟩ва Финансов, и потом — horribile dictum[4] — в Комитет Министров, да еще — чего Боже упаси! — с участием в обсуждении кого-либо из наших дипломатов, — неужели можете Вы ожидать результата благоприятного для русской торговли, для русских интересов?

Вот если бы дело шло о том, чтоб принести их в жертву интересам английским или «общеевропейским», тогда, конечно, невозможно и придумать лучшего пути. Кажется — заблуждаться на этот счет нам с Вами уже непозволительно!

Теперь обращаюсь к вопросу Церковному. Вполне признаю, что это вопрос капитальный, всемирно-исторической важности. Если бы Россия взяла Царьград, следовало бы, вслед за тем, созвать вселенский собор... Но этого не случилось, может быть, и не могло случиться на том основании, что и «рад бы в рай, да *грехи* не пускают». А теперь Берлинским Конгрессом дело окончательно испорчено. При устройстве *всей* Болгарии — спор упразднялся бы сам собою, — Болгарская независимая Церковь установлялась бы ipso facto,[5] согласно с каноническими правилами, точно так же, как церковь Греческого Королевства, Сербии и т. п.[6] Оставалось бы только для болгар повиниться в нарушении дисциплинарных постановлений относительно Патриархии — и для торжествующих болгар это было бы не трудно. Но теперь, когда происками греков, поддержанными Западом и Турцией, от Болга-

рии отрывается лучшая ее половина, то, конечно, эта Румелия с двумя миллионами болгар будет возвращена под власть Константинопольского патриарха и изъята из ведения Экзархата.[7] Надобно ожидать, что греки самым ревностным, бесстыжим и свирепым образом примутся за эллинизацию в Румелии, подчинят болгар греческим архиереям, будут преследовать болгарский язык в церквах, болгарские училища и т. д. Дело — грекам привычное. Вот Вы и подействуйте на них чрез Патриарха, — внушите им, что такой образ действий противен духу православия и что поступая таким образом с Болгарской нацией, греки *сами* «творят ю прелюбодействовати».[8] Но и ваши и мои слова, вероятно, будут бессильны, потому что дело идет не о церкви — в сущности неразделенной — а о борьбе двух национальностей, и о борьбе не в сфере церковной собственно, а просто о борьбе за жизнь, за бытие. В пределах Румелии и значительной части Македонии — право на стороне болгар. Утишите вражду национальностей, отнимите повод к вражде, потом и толкуйте о *церковном союзе*.

Ведь это дело не отвлеченное, а *живое*. Оно решается не *справками* с канонами, а живым сознанием, духом согласия и любви. *Буква* канона не оживотворит духа, не создаст союза.[9] Пусть кто-нибудь покажет дух смирения. Так как греки, по Вашему мнению, правы, ну да им и книги в руки, — они эллины, а болгаре — варвары, так грекам — мудрым, просвещенным и пр. и пр. и следует показать пример. Ну-ка попробуйте!.. Вы надеетесь, что Ваше посредство будет принято Конст⟨антинопольской⟩ Патриархией благосклонно. И прекрасно. Посредничайте. Возьмите к себе в помощь К. Н. Леонтьева и посредничайте.[10]

Знаете — в чем, по моему мнению, капитальнейшая ошибка. В том, что Вы отождествляете Патриаршество Константинопольское с Греческою национальностью. Вообразите, что греки большею частью оттуда выселились или остались в меньшинстве: в Патриархи попал бы какой-нибудь Алексей Осипыч Ключарев,[11] большая часть архиереев была бы великороссийского происхождения, или из болгар, или же арабы... И спора бы никакого не было, и порухи Канонам никакой, и делу Церкви — также никакого. Я не желаю этого теперь, при состоянии церковного дела у нас в России, — при наших *отцах-командирах* Церкви вроде обер-прокуроров, — но, впрочем, еще вопрос: что́ лучше: коварный, растленный,[12] узкомыслящий и презирающий славян грек, или же Алексей Осипыч? Право, последний лучше, поскольку в нем жива русская добродушная стихия.

Если Церковь вечна и врата адова не одолеют ю,[13] то «престолы патриаршие» весьма одолимы адовыми вратами, и если бы они уничтожились совсем, — это было бы жаль — но Церковь от того не только не погибнет, но не будет и сиротствовать. Все эти патриархии запечатлены печатью *историческою — временности*. Изменились исторические условия — видоизменяется и формация церковная.

Предания, старина — вещь великая. «Древний храм» — что́ и говорить — поэтическое явление. Но ведь был же он когда-нибудь *нов, с иголочки*? Был ли он от того хуже? Старина заслуживает почтения, но не должна глушить *живой жизни*. Ради «старины и ее преданий» теснить современность — значит мертвить живое. Тогда и старина не будет действенна. Не рабствуйте ничему, ни старине, ни канону. Будьте в свободе Христа.[14]

Примите в соображение ту аномалию, что вот уже тысячу лет к Православной Церкви присоединился член — Славянское племя, — хоть бы даже одна Россия, с своею своеобразною национальностью. Одним словом, целый мир, шире, пространнее, многолюднее всего остального православного мира. Этот целый мир внес в жизнь православную новые бытовые стихии, и однако ж в течение тысячи лет не получил права самостоятельного гражданства в церковной жизни, а должен пробавляться до сих пор каноническим правом, выработанным за 1000 лет назад при господстве иных исторических, иных климатических, социальных, этнических условий жизни Лаодикийскими, Сардикийски⟨ми⟩, Александрийскими и иными

Поместными Соборами.[15] Творчеству славянского православного верующего духа нет места. Это очень, очень важный вопрос. А Ваши греки его не признают! Вот *мы* чтим всех греческих святых и мучеников, а греки если и признают наших святых, так все-таки с различием: наши-мол — Генералы, а ваши — прапорщики! Так очень-то поощрять подобное миросозерцание греков незачем, а раболепствовать им духовно, как это делает К. Н. Леонтьев,[16] и еще менее подобает.

Впрочем — все это речи теперь праздные. Мы собственными руками насаждаем теперь католичество в Боснии и Герцеговине, т. е. правильнее: не насаждаем, а выращиваем уже прежде посеянное.[17] Римская Курия оживилась и деятельно принялась за дело, — а Россия, благодаря Петербургскому Кабинету, потеряла всякий авторитет в глазах и греков и славян.

Не знаю, как у вас в Петербурге, но вся остальная Россия неможет от позора. Все ходят, как оплеванные и заушенные. Озлобление сильное, и удивительна слепота правительства, не принимающего такого расположения духа в расчет!

Вы, вероятно, знаете, что по Высочайшему повелению я отрешен от должности Председателя Московского Славянского Общества.[18] Следовательно, и действию моему на болгар положен предел.

От души Вам преданный

Иван Аксаков

13 июля / 78
Москва. Молчановка, д. Белкиной.

[1] Восточная Румелия (Южная Болгария), по решению Европейской комиссии, назначенной Берлинским конгрессом, была возвращена Турции с дарованием ей некоторых прав автономии. Воссоединена с Болгарским княжеством в 1885 году.

[2] Иван Иванович Иванюков (1844—1912), доктор политической экономии, профессор Петровской земледельческой и лесной академии, впоследствии профессор Санкт-Петербургского политехнического института.

[3] Михаил Алексеевич Домонтович (1830—1901), генерал, участник русско-турецкой войны, военный историк.

[4] Страшно сказать (*лат.*).

[5] Сама собою, в силу факта (*лат.*).

[6] Автокефалия Элладской Церкви (Православной Церкви Королевства Греческого) была провозглашена правительством короля Оттона в июле 1833 года. Только в 1850 году правительство известило об этом Вселенскую патриархию и просило благословить автокефалию Элладской Церкви, что и было сделано в том же году Константинопольским Собором. Автокефалия Сербской архиепископии была установлена в 1219 году, в 1346 году Собор Сербской Церкви провозгласил ее патриархией. В 1352 году Вселенский патриарх анафематствовал Сербскую патриархию (анафема снята в 1374 году). После турецкого завоевания Печская патриархия прекратила свое существование до 1557 года. В 1767 году патриархия была подчинена Константинополю, став митрополией (с 1831 года получила церковную автономию). После русско-турецкой войны, в 1879 году, Сербская Церковь стала автокефальной.

[7] Болгарский экзархат учрежден в 1870 году, в 1872 году отделился от Константинопольского патриархата.

[8] Мф. 5: 32.

[9] Ср. в письме Аксакова Н. П. Гилярову-Платонову от 7 мая 1879 года: «Неправославие Болгар (в котором их обвиняла газета «Восток», о чем выше идет речь в письме. — *О. Ф.*) заключается в нарушении *буквы* дисциплинарных положений церковных, — той церкви, для которой сказано, что *буква мертвит*. Вина греков заключается в нарушении *духа* заповеди Христовой. Чуждый церкви элемент племенной внесен греками, стремившимися огречить болгар, притеснявшими их народность. Болгаре только защищались и ограждали себя. Наконец кому не ясно, что воссоединение Восточной Румелии факт *почти* совершившийся, почти признанный: это вопрос времени, двух-трех лет; только теперь неудобно совершить его вполне. Требовать теперь применения *буквы* канонического устава есть явное лицемерие» (Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Ч. 2. Т. 4. С. 283).

[10] Филиппов был другом и покровителем К. Н. Леонтьева.

[11] Мирское имя епископа Дмитровского (впоследствии Харьковского и Ахтырского) Амвросия (Ключарева; 1820—1901). В епископы посвящен (после монашеского пострига) из московских протоиереев; в 1878—1882 годах являлся первым викарием Московской епархии.

[12] По этому поводу нельзя не вспомнить статью Леонтьева «Письма отшельника» (1879), в которой затронут именно этот мотив «растленности греков». Автор вспоминает два разговора.

Первый — 1861 года — «с одним чиновником Министерства иностранных дел» (им был будущий консул Дубницкий): «„Греки эти такие *растленные!*" ⟨...⟩ „Почему же они растленные? — с удивлением спросил я. — Где вы их видели?" — „Нет, конечно, я не изучал их быта, — отвечал чиновник Министерства, — но ведь это так известно, что они *растленны...*"» (*Леонтьев.* Т. 7. Кн. 1. С. 552). Второй разговор состоялся в 1874 году с «одним старым знакомым». Некоторые детали — время разговора, особо отмеченные автором нелюбовь собеседника к монашеству и почтение к митрополиту Михаилу Сербскому, упоминание о его жизни «скромной, семейной» (Леонтьев считал «фамилизм» свойством московских славянофилов), а главное, характерный стиль высказывания «знакомого» — позволяют высказать осторожное предположение, что под ним может подразумеваться Аксаков. Старый знакомый «сказал то же самое, что говорил чиновник Министерства в 61-м году». «Греки люди *растленные... Фанариотское духовенство исполнено лжи...* Болгаре, народ молодой и свежий, как и вообще юго-славне. *Они сохранили в чистоте весь дух первобытного Христианства!!!*» (Там же. С. 553).

[13] Мф. 16: 18.

[14] Измененная цитата: Гал. 5: 1.

[15] Речь идет о Поместных соборах, чьи постановления вошли в «Книгу правил святых апостол, святых соборов Вселенских и Поместных и святых отец», которой руководствуется Православная Церковь. Лаодикийский собор состоялся ок. 364 года, Сардикийский — в 347 году. Что имеется в виду под Александрийским собором — неясно, но в «Книгу правил» включены канонические послания и правила нескольких св. Александрийских патриархов (Дионисия, Петра, Афанасия Кирилла и Феофила). Возможно, здесь есть и аллюзия на Апокалипсис — среди названных в 3-й главе семи Церквей присутствуют Лаодикийская и Сардийская.

[16] Аксаков подразумевает здесь статьи Леонтьева «Византизм и Славянство» (1875), «Русские, греки и юго-славяне» (1878) и др.

[17] По решению Берлинского конгресса, Босния и Герцеговина отошли к Австро-Венгрии, с этого времени здесь усиливается католическая экспансия.

[18] 22 июня 1878 года Аксаков выступил в Московском славянском благотворительном обществе (в «общества» после начала русско-турецкой войны были переименованы Славянские комитеты, тогда же они были подчинены Министерству внутренних дел) с речью, осуждающей решения Берлинского конгресса. Речь была опубликована в чешских газетах и в русском берлинском «Гражданине». 7 июля московский генерал-губернатор объявил Аксакову «строжайший выговор», а Министерство внутренних дел отстранило его от председательства в Славянском обществе. Аксаков узнал об этом 10 июля (вот чем объясняется особая резкость его письма к Филиппову, написанного через три дня!). Постановлением от 21 июля Московское славянское общество было закрыто, 26 июля Аксаков был «выслан» из Москвы и поселился в с. Варварино, владимирском имении Е. Ф. Тютчевой. Подробнее см.: *Цимбаев Н. И.* Указ. соч. С. 239—246.

10

Аксаков — Филиппову

[19 января 1879]

Милостивый Государь
Тертий Иванович.

Говорят, что honores mutant mores,[1] но к Вам это изречение применено быть не может, потому что Вы и в качестве Товарища Государственного Контролера не забываете Вашей соименности с Апостольским мужем Тертием.[2] Обращаясь к Вам не только как к старому знакомому и литературному сотруднику, но и как к Государственному Сановнику, я черпнул смелости из... Вашего конверта, того конверта, в котором Вы прислали письмо к А. И. Кошелеву[3] и на котором, кроме печатной надписи, означающей Ваше звание, стоит и печать, изрекающая целование Тертиево.[4] Я к Вам с просьбой, с ходатайством... Позвольте же надеяться, что Вы не захотите совместить или вернее — запечатлеть *отказ* в просьбе об очень добром деле — *целованием* во имя Апостольского мужа! Вот в чем дело:

Если Вы не забыли Вашей соименности с переписчиком Павлова послания, то, конечно, не забыли и Вашего участия в деле общем со мною, в деле, к участникам которого относятся теперь вовсе не по-Тертиевски. Я говорю о Вашем и нашем участии в Сербской войне 1876 г. и об отправлении добровольцев. Вот об одном из лучших между последними я к Вам и пишу. Это Николай Алексеевич Матов,[5] которо-

го Вы, может быть, помните, потому что встречали его у Погодина, если не М⟨ихаила⟩ П⟨етровича⟩, то Дм⟨итрия⟩ Михайловича.[6] Превосходный, честный, дельный, симпатичнейший человек, он оставил службу по таможенному ведомству, увлеченный общим тогда движением, отправился, при моем содействии, в Сербию, там снискал общее уважение и любовь своим поведением и храбростью, отличился в сражениях и потерял ногу. Она ему отрезана выше колена. Но он лечился при помощи Московского Славянского Общества, и хоть теперь и на костылях, но frais et dispos,[7] так что смотреть любо... Пока он еще лечился, узнала как-то о нем по рассказам Е. Д. Милютина (дочь Военного Министра)[8] и написала мне о нем целое послание, упрекая Моск⟨овское⟩ Слав⟨янское⟩ Общество в недостатке внимания к несчастным добровольцам.[9] Мне не трудно было опровергнуть это обвинение, потому что мы ничего не пощадили для его излечения, и напротив, попрекнуть Военное ведомство в том, что оно до сих пор не хочет уравнять добровольцев, раненных в Сербской войне 1876 года с нашими солдатами и офицерами, раненными в войне 1877 г., которая была лишь вторым актом первой. Но Е⟨лизавета⟩ Д⟨митриевна⟩ не ограничилась этим письмом ко мне, а расположила в пользу Матова и Государыню Императрицу, так что Секретарь Ея Величества Мориц[10] спрашивал Матова от Ея Имени, чем можно ему помочь. Матов отвечал очень просто и благородно: благодарил умиленно, но объяснил, что он ищет только службы, потому что чувствует себя в силах трудиться. Ему выслали 200 рублей...[11]

Вот именно этого, — возможности содержать себя трудом, — он и не находит до сих пор! С отчаяния он готов принять место даже помощника исправника, как оно ни неудобно при костылях, — но и это место только обещают.[12] Между тем он человек способный занять место лучшей обстановки. Принимая в нем самое сердечное участие, я обращаюсь к Вам: дать ему место в Контроле, — в Москве ли, в Петербурге ли или даже в провинции (где-нибудь в медвежьем углу), с жалованьем хоть в 900 или 1000 рублей. У него и почерк прекрасный. С цифрами он дружен — и очень усерден вообще. Прилагаю выписку из его формулярного списка. Если желаете видеть его лично, черкните мне строчку, и он к Вам явится, — только примите в соображение, что *напрасные* поездки в Петербург очень накладны для бедного человека. Авось либо добросовестность Товарища Госуд⟨арственного⟩ Контролера, подбитая любовью Тертия, мужа Апостольского, дозволит Вам пристроить Матова и доказать, что Вы и в качестве Сановника не отрекаетесь от народного движения 1876 года. Пожалуйста, отвечайте мне не только любовно, но и категорически, чтобы не томить несчастного неопределенностью положения, — и не сердитесь на меня за шутку.

Вас душевно уважающий

Иван Аксаков

Янв⟨аря⟩ 19-го 1879.

Москва. Мой адрес — или в Общ⟨ест⟩во Взаимного Кредита, или на Малую Никитскую, дом Княгини *Урусовой*.

Я ведь и сам понимаю «пользу службы» и ручаюсь, что именно для пользы службы следует воспользоваться Матовым.

[1] Часть крылатых слов «Honores mutant mores, sed raro in meliores» («Почести изменяют нравы, но редко в лучшую сторону» (*лат.*)).

[2] Небесный покровитель Филиппова — св. апостол Тертий.

[3] Александр Иванович Кошелев (1806—1883), публицист, общественный деятель.

[4] «Целую вы аз, Тертий, написавый сие послание» (Рим. 16: 22). Эта печать так возмутила Аксакова, что он долго не мог о ней забыть. Ср. в его письме к Н. П. Гилярову-Платонову от 7 мая 1879 года: «Знаете ли вы, что Филиппов запечатывает свои письма печатью с надписью: „целует вас Тертий любовью и пр.", из послания Ап. Павла. Я сам видел эту печать на письме к Кошелеву!» (Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Ч. 2. Т. 4. С. 283).

[5] Сохранилось два письма Н. А. Матова к Аксакову от 16 октября и 10 ноября 1878 года (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 368).

[6] Дмитрий Михайлович Погодин (1836—1890), сын историка и писателя М. П. Погодина (1800—1875), издатель.

[7] Свеж и бодр (*фр.*).

[8] Елизавета Дмитриевна Милютина (1844—1939) — дочь графа Дмитрия Алексеевича Милютина (1816—1912), военного министра в 1861—1881 годах; в замужестве — кн. Шаховская (жена Эстляндского генерал-губернатора кн. Сергея Владимировича Шаховского), фрейлина Императрицы Марии Александровны.

[9] Е. Д. Милютина написала Аксакову еще раз 18 января 1878 года (см. прим. 11). 6 ноября 1878 года о Матове Аксакову писал и А. А. Киреев (см. прим. 2 к письму 12): «Вам, конечно, известно то бедственное положение, в котором находятся наши раненые добровольцы. С уничтожением Московского Комитета положение их значительно ухудшилось... вчера еще приполз ко мне один из посланных в Сербию московских добровольцев* (в сноске: некто Матов, ***безногий***), сердце надрывалось при рассказе о том, что ему пришлось и *приходится* терпеть. Как помочь горю? Ваши все капиталы отобраны, наши средства очень скромны. Очевидно — что тут помочь может лишь Государство. В минувшем году я говорил об этом с Д. А. Милютиным и он, по-видимому, понимал необходимость помочь беде. ⟨...⟩ Я намерен сделать все возможное, чтобы наши раненые добровольцы (офицеры и рядовые) были причислены к числу офицеров и рядов⟨ых⟩ *казенных*, пользующихся пособием от Комитета о раненых, т. е. чтобы они были, т⟨ак⟩ ск⟨азать⟩, задним числом причислены к войскам русского Государства» (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 265. Л. 1—2 об.).

[10] Петр Алексеевич Мориц (1818—1898), секретарь Императрицы Марии Александровны.

[11] Ср. в письме Е. Д. Милютиной: «...узнала сегодня, что Матову 3-го янв⟨аря⟩ послана небольшая сумма в 150 р. в пособие от Ея Величества. Отсутствие ж Качалова было препятствием к ходатайству о месте; но на днях он вернулся, и на этой неделе Секретарь Императрицы узнает от него, есть ли надежда пристроить Матова в Москве, как он этого желает.

Я не сомневалась, разумеется, в Вашем горячем сочувствии пострадавшим добровольцам Сербской кампании, но Ваше письмо от 7-го дек⟨абря⟩ окончательно успокоило меня насчет того, что забота Славянского Комитета в самом деле простирается на тех, которые служат его идеям. — По окончании войны Ваши задачи еще, вероятно, усложнятся...» (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 385. Л. 1—2).

[12] 10 ноября 1878 года Матов писал Аксакову: «Я хочу искать, как кажется, подходящей для меня должности Исправника или его помощника.

В недавнее мое свидание с Михаилом Григорьевичем Черняевым, он предложил поговорить обо мне с Вице-Губернатором Красовским, который и обещал поместить меня на первую подобную ваканцию» (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 368. Л. 1).

11

Филиппов — Аксакову

[20 января 1879]

Дорогой и глубокоуважаемый Иван Сергеевич!

Как много оговорок по такому простому делу, как устройство участи человека несчастного, достойного и нам единомысленного. Если бы я был известен за бессердечного и жесткого человека, так я понял бы это; а то я, слава Богу, никогда не был глух к человеческой нужде и скорби. Свидетельствовать могла бы об этом, если бы за давностию не забыла, и Ваша супруга, к которой я нередко обращался в былое время[1] с ходатайством о чужих нуждах и благодеяния которой доныне храню в своей признательной памяти. В том, что я испытал приращение чести и благосостояния, я мог бы найти побуждение к еще большей заботливости о ближнем, а не к тому, чтобы о нем забыть. Тут не было бы логики! Писано: «*Тебе* оставлен есть нищий!»[2] А кто этот «Ты», об этом умолчано, так что я беру это всякий раз на свой счет. Посему и Матов оставлен *мне*, и я употреблю все силы, чтобы его устроить. И так как мои хлопоты большею частию благословляются успехом, то и за него я надеюсь, чтобы не сказать больше. А больше не хочу сказать, потому что

Гнило слово похвальное,
Похвала живет человеку пагуба.[3]

По всем признакам, Матову нужно добыть место Помощника Ревизора в одной из наших Палат. Места эти предоставлены в распоряжение Управляющих и потому моей власти тут не хватает. Надобно сыскать человека из Управляющих, который бы сделал для меня это из любви. И таковые есть! Одного из них, и Вам, кажется, присного, Ивана Васильевича Павлова[4] жду на днях сюда, и у него кстати выходит по болезни из Палаты чиновник, тоже безногий, как и Матов, и такой же достойный. Другого случая заменить того, кого Иван Васильевич теряет, ему не представится. А может быть, и в Московской Палате можно будет поместить его, но для этого надобно будет еще многое соображать. Временно Управляющего Елагина[5] я не знаю; но так как я надеюсь в марте быть в Москве, то я увижу, что́ можно будет сделать. В Витебске, впрочем, дело должно устроиться быстрее! Сюда Матова пока не зову, чтобы ему даром не ездить. Потрудитесь сказать ему, что о дальнейшем движении его дела он может писать ко мне, не беспокоя Вас.

На конверте этого письма Вы не найдете соблазнившей Вас надписи, а целование прошу принять не в шутку, а в мире и любви, в которых ощущается заметный недостаток даже между близкими по убеждениям людьми.

Целую и обнимаю Вас

Ваш *искрьний*[6] Т. Филиппов

Спб. 20 января 1879 г.

[1] Вероятно, в бытность А. Ф. Тютчевой фрейлиной Императрицы Марии Александровны.
[2] Пс. 9: 35.
[3] Цитата из «Повести о Горе-Злочастии».
[4] Иван Васильевич Павлов служил в Витебске (в 1877—1878 годах заведовал витебским госпиталем Красного Креста). Его письма к Аксакову (1861—1885) см.: ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 454; РНБ. Ф. 14. Ед. хр. 250. Аксаков осенью 1877 года просил о Павлове братьев Ламанских; Е. И. Ламанский передал через брата, «что надо погодить, сейчас места нет никакого, а о Павлове он будет помнить» (письмо В. И. Ламанского к Аксакову от 7 ноября 1877 года; РНБ. Ф. 14. Ед. хр. 195. Л. 1 об.).
[5] Лев Леонтьевич Елагин, до этого времени занимавший должность помощника управляющего Московской контрольной палатой.
[6] Филиппов графически подчеркивает «славянизм».

12

Аксаков — Филиппову

[22 февраля 1879]

На сей раз я готов приложить к моему письму печать с «целованием братским»,[1] любезнейший Тертий Иванович! Просто и не знаю, как Вас благодарить за внимание, оказанное моей просьбе, — только тем разве, чтоб вовсе Вас не благодарить, признав, что Вы благодеете по сердечному влечению к добру, а не по уважению к чьему-либо ходатайству. Матов просит меня передать Вам его глубокую признательность. Он принимает место, но не решается ехать до утверждения его в должности, ибо прошлым летом он таким образом прокатился в Житомир понапрасну: приехал, а оказалось, что чиновник, на место которого прочили Матова, в отставку не вышел и остался. Будьте так добры, уведомьте, что́ должен учинить Матов?

1) Подать прошение о принятии на службу? Куда? Означать ли в прошении прямо должность и место?

2) Ожидать утверждения или нет? И от кого и когда может оно последовать? Ведь жалованье будет считаться *только* со дня утверждения....

Вот еще вопрос. В ходу теперь ходатайство о сопричислении раненых и изувеченных русских добровольцев в Сербской войне к Комитету о раненых. Киреев[2] мне писал даже, что ходатайство уважено, но о каждом случае испрашивается Высочайшее разрешение. Матов имеет все права на получение пенсии и потому для него важно знать: с поступлением на службу лишится он права на получение пенсии из Комитета о раненых или нет? Жалованье, предлагаемое ему (800 р.), не так велико, чтоб он мог пренебрегать пенсией.

Мне истинно совестно затруднять Вас всеми этими вопросами, но для Матова они очень существенны. Согласитесь сами: приехать в Киев и жить там *без жалованья* — пока прошение о принятии на службу пойдет в Петербург и последует утверждение; затем — лишиться права на пожизненную пенсию, которая, при *частных* занятиях в Москве (черчение карт и т. п.), составит те же 800 р.

Прощайте. Крепко жму Вам руку.

Вам искренно преданный

Ив. Аксаков

22 февр⟨аля⟩ / 79

[1] См. письмо от 19 января 1879 года.

[2] Александр Алексеевич Киреев (1833—1910), генерал, общественный деятель, публицист-славянофил; в 1878—1879 годах — председатель Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества.

13

Филиппов — Аксакову

[27 февраля 1881 г.][1]

Многоуважаемый
Иван Сергеевич!

Я сегодня уезжаю на сутки в Павловский посад. Затем пробуду здесь вечер субботы и воскресенье до отхода курьерского поезда. Прошу Вас посему не позже 2-х часов воскресенья возвратить мне тетрадь Мережковского и прислать свой отзыв о его даровании.[2] Если бы Вас это не затруднило, то я просил бы Вас а) приказать отпечатать штук 100 оттисков собственно адреса единоверцев[3] и б) прислать мне нумер «Руси» от 28 февр⟨аля⟩,[4] чтобы мне познакомиться с ним здесь.

От всей души желаю Вам дальнейшего успеха в Вашей просветительной деятельности. Как хороши у Вас статьи, касающиеся классического образования![5] Это долг, который давно за Вами числился и который Вы только что начинаете уплачивать. Классическое образование было одним из догматов исповедания наших общих учителей — и мне всегда было тяжело видеть, что всю тяжесть и всю честь защиты этого великого вопроса Вы оставляли Каткову. Если бы для Павлова[6] что-нибудь значило мое приветствие, то я просил бы Вас передать ему мою радость о его превосходных статьях.

На случай, если у Вас затерян мой адрес, возобновляю его в Вашей памяти: Садовая, близь Спиридоновки, дом Гр⟨афини⟩ Толстой.[7]

От души преданный Вам

Т. Филиппов

27 февр⟨аля⟩

[1] Год установлен по содержанию.

[2] Любопытное свидетельство о протекции, оказываемой Филипповым Дмитрию Сергеевичу Мережковскому (1865—1941) в начале его литературной деятельности. Вероятно, Филиппов мог получить тетрадь от отца поэта, Сергея Ивановича Мережковского (1823—1908).

[3] См. прим. 11 во вступительной статье.

[4] Русь. 1881. 28 февр. № 16.

[5] Речь идет о статьях публициста и критика Ипполита Николаевича Павлова (1839—1882) «В чем дело (К вопросу о наших гимназиях)» (Русь. 1881. 3 янв. № 8. С. 11—13); «Живое дело мертвых языков (К вопросу о наших гимназиях)» (17 янв. № 10. С 16—17); «Лишнее и нужное (По вопросу о наших гимназиях)» (31 янв. № 12. С. 17—19).

[6] См. прим. 5.

[7] Анна Георгиевна Толстая (1798—1889), графиня, вдова гр. А. П. Толстого. Филиппов переписывался с ней до ее кончины.

14

Аксаков — Филиппову

[6 октября 1885]

Почтеннейшему Тертию Ивановичу Филиппову Иван Сергеевич Аксаков усердно рекомендует подателя, в котором горячее участие принимает отец Наумовский (имею письмо)[1] и который ищет место по счетной части, как отличный бухгалтер.

Ради Бога пристройте его.

6 окт⟨ября⟩ 85.

[1] Лицо неустановленное (не смешивать с известным галицийским протоиереем И. Г. Наумовичем).

© *Л. М. Солдатова*

ТРАДИЦИЯ ПАМЯТИ ПУШКИНА НА ВИРАЖАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИИ XX ВЕКА

I

Особенное почитание А. С. Пушкина как национального гения возникло после его трагической гибели, стихийно, когда, испытав боль утраты, люди осознали масштаб личности поэта и оценили его значение для России.

В первые дни после смерти Пушкина вдова дарила друзьям на память его личные вещи. Годы спустя эти реликвии стали собирать, спасая от разрушительных воздействий времени.

Первый пушкинский музей был основан в 1879 году в Петербурге, в Александровском Императорском лицее (на Каменноостровском проспекте), сохранившем память о первом Царскосельском выпуске. Лицеисты стали инициаторами и организаторами установки первого памятника поэту работы скульптора А. М. Опекушина.

В 1880 году в Москве в день его торжественного открытия писатели и философы — мыслители России — в своих речах определили значение Пушкина как непреходящей духовной ценности русской культуры.

100-летний юбилей поэта в 1899 году стал праздником всей просвещенной России, после которого повсеместно возникла традиция отмечать день рождения А. С. Пушкина.

Разработка программы юбилейных торжеств и ее реализация проходили под руководством Комиссии, созданной при Российской Академии наук в октябре 1898 года. Одним из центральных событий праздничных мероприятий стала Пушкинская выставка, открытая в Большом конференц-зале Академии наук с 15 по 26 мая 1899 года. В ее создании большое участие принимал Л. Н. Майков, вице-президент Академии наук и пушкинист. Основным организатором стал Б. Л. Модзалевский,[1] который составил каталог юбилейной выставки, а год спустя издал альбом ее материалов.

Необходимость увековечить память Пушкина «соответственно его значению в русской культуре» была осознана в академических кругах задолго до 100-летнего юбилея поэта. После всероссийских праздников 1899 года она стала задачей государственной важности. Под председательством великого князя Константина Константиновича (поэта К. Р.), президента Российской Академии наук, по инициативе и при активном участии ее вице-президента Л. Н. Майкова, 30 марта 1899 года была создана «особая Комиссия для сооружения памятника Пушкину», на которую был возложен сбор средств на его создание и постройку.[2]

К обсуждению многих вопросов в работе Комиссии привлекались известные ученые, государственные деятели, педагоги и поэты, писатели и композиторы. Представление о живом начале пушкинской лирики, о неисчерпаемости этого «нерукотворного памятника» вызвало стремление увековечить имя Пушкина наиболее адекватным образом. В течение нескольких лет формировалась идея «особенного»

---

[1] *Баскаков В. Н.* Пушкинский Дом. 1905—1980. Л.: Наука, 1988. С. 14.

[2] Там же. С. 15.

памятника Пушкину, не в виде монумента, а в виде учреждения, «какого еще никогда не было в России», которое отличалось бы «обособленностью», «цельностью» и «принадлежало бы также развитию». Инициатором такого подхода был поэт и редактор «Правительственного вестника» К. К. Случевский.

Спектр мнений о содержании, задачах, облике, месте расположения памятника был чрезвычайно разнообразен.

И. Я. Ростовцев (попечитель Оренбургского учебного округа) предлагал создать «Одеон имени Пушкина» и устраивать в нем поэтические состязания и драматические представления. В. В. Розанов считал, что лучшей памятью о поэте может стать «Академия изящных искусств в Петербурге, а еще лучше в Царском Селе».[3]

Будущий памятник в результате многократных обсуждений стал «общим делом» научной и творческой интеллигенции.

П. Е. Рейнбота, лицеиста выпуска 1877 года, одного из основателей Лицейского Пушкинского общества, члена его комитета и бессменного секретаря, заведующего Пушкинским музеем Александровского лицея, Б. Л. Модзалевский считал автором идеи памятника поэту в виде музея, в котором должно быть сосредоточено все, что касается не только Пушкина, но и остальных русских классиков.[4]

Идея позволяла синтезировать множество частных мнений и органично соединить в замысле «Пантеона русской литературы»[5] задачу собирания, сохранения, изучения рукописей поэта и реликвий, документов, книг и изобразительного материала пушкинской эпохи, а также широкую культурно-просветительскую направленность научного знания.

Устремленность в будущее обеспечивала преемственность культурной памяти, перспективу плодотворного диалога многих поколений.

Непростым был путь кристаллизации идеи, но особую сложность представляло ее материальное воплощение. Средства для организации и строительства уникального памятника Пушкину собирала вся грамотная Россия в течение семи лет.

15 декабря 1905 года на заседании «Комиссии по постройке памятника А. С. Пушкину в Петербурге», которое происходило в Мраморном дворце у великого князя Константина Константиновича, был окончательно решен вопрос о создании памятника поэту — в виде музея, архива и библиотеки. В 1906 году в правительстве было утверждено Положение об «учреждении-памятнике», где было сказано, что «Дом Пушкина учреждается в благоговейную память о великом русском поэте Александре Сергеевиче Пушкине, для собирания в нем всего того, что касается Пушкина, как писателя, человека и гражданина». В 1907 году «Положение о Пушкинском доме» было подписано Николаем II. В подкомиссию по созданию Пушкинского Дома, избранную членами «Комиссии по постройке памятника А. С. Пушкину в Петербурге», вошли академики С. Ф. Ольденбург, А. А. Шахматов, Н. А. Котляревский, М. П. Боткин, М. Я. Виллие, П. Н. Исаков и П. Е. Рейнбот, хранитель музея Александровского Императорского лицея, а также В. А. Рышков и Б. Л. Модзалевский, ставшие по существу его главными организаторами.[6]

---

[3] *Розанов В. В.* О Пушкинской Академии // Розанов В.В. Сумерки просвещения. М.: Педагогика, 1990. С.256.

[4] Модзалевский — Рейнботу. 10 июня 1908 г. // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1996 год. СПб.: Наука, 2001. С. 253. О П. Е. Рейнботе см.: *Яценко О. А.* «Принадлежавший к числу достойнейших бывших лицеистов» (П. Е. Рейнбот) // Страницы истории пушкиноведения. Всероссийский музей А. С. Пушкина. Сб. научн. трудов. СПб.: Образование, 1994. С. 45.

[5] «Пантеон русской литературы, достойный и по своей внешности и размерам памятник великому русскому поэту», — писал Б. Л. Модзалевский Л. Э. Бухгейму 18 января 1917 года (цит. по: Пушкинский Дом. Статьи. Документы. Библиография. Л.: Наука, 1982. С. 194).

[6] Борис Львович Модзалевский. Материалы к научной биографии // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1996 год. С. 6—7.

В соответствии с «Положением», управление Пушкинским Домом должно было осуществляться Советом под председательством Президента Академии наук. На него была возложена почетная представительская роль. Практическое управление деятельностью Пушкинского Дома возлагалось на Комитет, избиравшийся Советом, в составе председателя, трех членов, ученого секретаря Пушкинского Дома и хранителей его отделений. В действительности руководство новым учреждением в то время осуществляли: Н. А. Котляревский, впоследствии его первый директор, Б. Л. Модзалевский и В. А. Рышков.

Организационная структура уникального памятника определялась как единство трех отделений: рукописного отдела, библиотеки и музейного собрания. Основной задачей стало собирание, научное хранение и изучение всего, что имело отношение к Пушкину и русским писателям XIX века. День гибели Пушкина, 29 января, объявлялся днем памяти поэта и чествования всех русских писателей.

У создававшегося памятника поэту были и противники. В 1909 году газета «Новая Русь» так оценила деятельность «Комиссии» по увековечению памяти Пушкина: «Русский народ нуждается в школах и в хлебе, и стыдно взваливать на его многострадальную спину новое казенное заведение... Своего поэта народ и без того любит и помнит. Разные Модзалевские и Рышковы, старающиеся увековечить имя Пушкина!.. Зрелище смешное и „кощунственное"».[7]

В первые же годы еще «номинального» существования Пушкинского Дома событием в культурной жизни столицы стали выставки в конференц-зале Академии наук, в организации и создании которых деятельное участие принимал Б. Л. Модзалевский. Выставки создавались «по тому же образцу, как пушкинская юбилейная выставка в мае 1899 года».[8] В 1908 году была открыта выставка к двадцатипятилетию со дня смерти И. С. Тургенева, в 1909 году — к столетию со дня рождения А. В. Кольцова. В 1912 году в залах Академии художеств была организована большая экспозиция «Ломоносов и Елизаветинское время». Б. Л. Модзалевский был и составителем научных каталогов этих временных экспозиций. За организацию Тургеневской выставки он был награжден золотой Пушкинской медалью.[9]

Поиск жизненного пространства, «достойного по своей внешности и размерам», был непростым для Пушкинского Дома. При широком обсуждении вопроса о месте его размещения единообразия мнений не было. В. В. Розанов, А. Ф. Онегин-Отто (воспитанник В. А. Жуковского и впоследствии создатель пушкинского музея в Париже) предлагали Пушкинский Дом построить в Царском Селе. Н. О. Лернер советовал национализировать для него дом на Мойке, в котором умер поэт.[10] После многолетних дискуссий решено было здание строить заново в «центральной местности Петербурга», в стиле «ампир». Комиссия ходатайствовала перед Городской управой о выделении участка для строительства на углу Каменноостровского проспекта и Петровской набережной. В 1910 году Академией художеств был объявлен конкурс на лучший проект. Строительству помешала гражданская война и революция.

«Никогда еще такое огромное количество темных и полутемных людей не получало такой власти над ходом жизни, как теперь, — писал в 1917 году Н. А. Котляревский. — И все они получили возможность действовать, прикрываясь святыми именами „народа" и „свободы". Никогда еще эта огромная масса не жила так долго в атмосфере войны... которая, как бы она ни была законна и нужна для до-

---

[7] Пушкинский Дом. С. 181—182.

[8] Речь. 1908. 20 ноября. № 283.

[9] В эти же годы Б. Л. Модзалевский был редактором и комментатором издававшегося Архива Раевских (СПб. 1908—1915. Т. 1—5), издателем сборников «Пушкин и его современники» (I—XVI выпуски).

[10] *Лернер Н.* «Дом на Мойке» // Биржевые ведомости. 1905. 14 мая. № 8822.

стижения гуманной цели, всегда озлобляет человека, делает его поневоле жестоким и равнодушным к страданиям ближнего...

Назначение жизни всех народов на земле есть накопление духовных ценностей; лишь ими одними связывается прошлое с настоящим и они только бросают свет в будущее, к которому мы идем; лишь в них сохраняется память о народах, уже ушедших из мира, и они покойникам дают возможность помогать в их работе над жизнью».[11]

Несмотря на тяжелые условия периода военного коммунизма, Пушкинский Дом продолжал развиваться, спасая от истребления, получая в дар и приобретая на небольшие средства, выделяемые Академией наук, целые семейные архивы и библиотеки. В 1917 году в музейный отдел были приняты материалы упраздненного новой властью Пушкинского музея Александровского Императорского лицея[12] и Лермонтовского музея Николаевского кавалерийского училища. Вслед за ними в Пушкинский Дом вскоре пришел работать П. Е. Рейнбот, последний хранитель лицейских традиций.

Сокровища музейного и рукописного отдела Пушкинского Дома размещали в разных местах. В 1913—1914 годах — в трех залах главного здания Академии наук, с 1914 года — на чердаках и в помещениях Архива Конференции Академии наук.

20 апреля 1918 года Н. А. Котляревский, как управляющий делами Пушкинского Дома, на Общем собрании Российской Академии наук обратился в Конференцию Академии с предложением, учитывая значение «особого памятника поэту» и трудные условия его самостоятельного существования, перевести его в число академических музеев и выбрать комиссию для выработки его нового устава.

«Пушкинский дом за последнее время занял очень видное и совсем особое место в ряду наших книгохранилищ и музеев, — сказал Котляревский. — В число книжных, рукописных и иных его коллекций вошли целые библиотеки, ряд больших и малых архивов и собрания разных реликвий, относящихся к истории жизни и творчества русских писателей XIX века от Державина до Чехова. В относительно короткий срок Пушкинский дом стал национальным музеем особого типа, просветительным учреждением, которое во многом может облегчить работу историка литературы».[13]

В 1919 году в Комиссариат народного просвещения из канцелярии Непременного секретаря Академии наук С. Ф. Ольденбурга вместе с «Положением о Пушкинском доме» была послана и докладная записка, в которой новой власти старались объяснить смысл и назначение особенного памятника великому поэту России:

«...Только созданием памятника, проникнутого идеей объединения, будет доказано понимание людьми нашего времени научного, художественного и реального значения Пушкина в истории нашего духовного развития. В практическом и жизненном осуществлении этой идеи должна отразиться мощь, величие и красота Пушкина и вообще русского гения и его воспитательное (гуманное) в самом широком смысле значение...Таким памятником представляется создание Пушкинского дома, пантеона новой русской литературы, возглавляемого Пушкиным. Наша новая русская литература, литература XIX века, давно стала не только национальной, но и общемировой культурной силой. Возможно полное объединение в одном учреждении памятников деятельности представителей этой литературы и сосредоточение в нем всего, что может способствовать научному изучению людей и идей этой эпохи, является не только очередной задачей одной специальной области рус-

---

[11] *Котляревский Н. А.* Народ и высшие культурные ценности. Петроград, 1917. С. 4, 14.

[12] В июне 1917 года Б. Л. Модзалевский писал М. О. Гершензону: «...принял в Пушкинский Дом, как Симеон Богоприимец, на свои руки Пушкинский Лицейский Музей, ибо в помещении Лицея Союз городов устроил лазарет для 800 сифилитиков. Это уже садизм» // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1996 год. С. 340.

[13] Архив РАН. Петербургский филиал. Ф. 150. Оп. 1 (1916). Ед. хр. 1. Л. 16.

ской науки, но выдвигается на очередь естественным ходом [русской] [научной мысли вообще] всей русской жизни, идущей таким быстрым и решительным ходом... Пушкинский дом при Академии наук уже существует. Созданный усилиями немногих лиц, преданных делу изучения Пушкина и его эпохи, он уже теперь является [центром] хранителем таких первоклассных материалов — рукописных и печатных, — без обращения к которым невозможно ни одно серьезное исследование по новой русской литературе и русской общественной жизни. Музейные же коллекции Пушкинского дома таковы, что ставят его в ряд выдающихся художественных и исторических сокровищниц. Достаточно лишь упомянуть, что Пушкинский дом хранит в своих папках свыше 30 000 рукописей Пушкина и всех крупных и второстепенных русских писателей, что его специальная библиотека исчисляется 40 000 томами, что музейный отдел его вмещает в себе свыше 1 500 предметов значительной ценности... Но отсутствие прочной организации, присущей всякому жизненному и самостоятельному учреждению; совершенно не отвечающие блестящим перспективам этой сокровищницы ассигнования; отсутствие необходимых штатов, специального помещения и т.д. мешают Пушкинскому дому окончательно развиться во вполне жизнеспособный институт, обрекают это ценнейшее собрание на роль музейного склада и могут обратить его живоносные источники в замуравленные колодцы.

Необходима скорая помощь правительства, его энергичное участие в деле строительства. До полного осуществления, притом в самый короткий срок, необходимейшего для русской культуры нового рассадника знания и просвещения всего лишь один шаг: официального признания его делом государственной важности путем проведения штатов и отпуска средств...»[14]

Из Отдела ученых учреждений и высших учебных заведений Комиссариата по просвещению 5 июня 1919 года пришел ответ за подписью зав. отделом М. П. Кристи, в котором обнаружилась подозрительность в отношении представителей новой власти к памятнику поэта, созданному до революции: «Рассмотрев Положение о Пушкинском Доме при Академии наук и докладную записку к этому Положению, уведомляем, что, отнесясь с полным сочувствием к самой идее Пушкинского Дома, отдел... не может согласиться с порядком организации этого учреждения и управления им, как они намечены в Положении, ввиду очевидной несовременности основных начал этого Положения, несоответствия их общим началам демократии».

Вопрос об утверждении Положения Пушкинского Дома был оставлен М. П. Кристи «открытым» «впредь до решения общего вопроса о реорганизации Академии наук».[15]

Сметы и штаты на 1919 год после обращения Академии наук к властям все-таки были утверждены. Пушкинскому Дому предоставили здание Архива бывшего Таможенного департамента на Тифлисской улице, рядом с Библиотекой Академии наук, где была открыта экспозиция XVIII—XIX веков. В 1920 году в его распоряжение был передан и особняк Абамелек-Лазаревых на Миллионной улице, д.22, где началась активная выставочная деятельность.

В течение пяти лет были организованы юбилейные выставки к столетию со дня рождения Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова, Ап. Григорьева, В. В. Стасова, к 125-летию со дня рождения Пушкина, памяти Л. Н. Андреева, декабристов. Устраивались разнообразные тематические временные экспозиции, научные собрания, литературные вечера и концерты.

11 февраля 1921 года на торжественном памятном собрании в Доме литераторов, посвященном 84-й годовщине со дня гибели Пушкина и 40-летию со дня кон-

[14] Там же. Л. 70—71.
[15] Там же. Л. 76.

чины Достоевского, устроенном по инициативе Пушкинского Дома, была принята «Декларация о ежегодном всероссийском чествовании памяти Пушкина в день его смерти». В ней от имени научной и творческой интеллигенции выражалась надежда, что «жестокий век прошел» и «чувство благоговения перед Пушкиным, которое всегда было свойственно лучшим представителям последних трех поколений, не должно угаснуть — оно должно разрастаться, оно должно стать всеобщим, всенародным».[16]

Через полгода не стало подписавших декларацию Н. Гумилева и А. Блока. Оказались в эмиграции В. Ходасевич и Е. Замятин. А. Ахматова испытала унижение и долгое забвение нового века. В связи с идеологическим расслоением общества по социальному признаку, в 20-е годы началось последовательное истребление дворянства и интеллигенции.[17]

Н. А. Котляревский, помнивший чествование памяти В. Шекспира в Англии в 1916 году по случаю 300-летия со дня его кончины, на котором он был представителем от Российской Академии наук, не мог равнодушно относиться к бедственному состоянию памятных пушкинских мест в России, поневоле сравнивая их с «маленьким Стратфордом», «где культ английского гения проведен разумно, целесообразно... выявлен в художественных формах, гармонирующих с прелестным пейзажем и составляющих с последним одно общее целое».[18]

В 1918 году усадьбы Михайловское и Тригорское были разграблены и превращены в пепелище. В 1922 году из Святогорского монастыря были изгнаны монахи. Возникла угроза сноса Успенского собора. В эти годы Пушкинским Домом и Центральным Бюро краеведения[19] при Академии наук было организовано несколько совещаний по поводу состояния и судьбы Пушкинского уголка в Псковской губернии.

Председательствовал на них Непременный секретарь Академии наук, академик С. Ф. Ольденбург. В выработанной под его руководством программе совместных действий Академии наук и Центрального Бюро краеведения было отмечено, что «Пушкинские места представляют одно общее художественное целое и потому все меры увековечения памяти великого поэта должны быть согласованы с общим характером местности, сливаясь в одно гармоническое целое».[20]

Многочисленные обращения в правительство возымели свое действие, и постановлением Совнаркома от 17 марта 1922 года Михайловское, Тригорское и могила Пушкина в Святогорском монастыре были объявлены Государственным Пушкинским заповедником.[21] 26 марта 1922 года Совнарком постановил «передать Пушкинский уголок: Михайловское, Тригорское, а также место погребения Пушкина в Святогорском монастыре, как исторические памятники, музейному отделу Главнауки».[22] Было организовано Общество друзей Пушкинского заповедника, председателем которого стал Президент Академии наук А. П. Карпинский.

---

[16] Декларация о Ежегодном Всероссийском чествовании памяти Пушкина // Пушкин. Достоевский. Пб.: Издание Дома литераторов, 1921. С. 11.

[17] 31 августа 1922 года газета «Правда» (№ 194) в статье «Первое предостережение» сообщила, что «Советская власть, обнаружившая слишком много терпения, дала, наконец, первое предостережение: наиболее активные контрреволюционные элементы из профессоров, врачей, агрономов и пр. высылаются частью за границу, частью в северные губернии. Для рабочих и крестьян все это служит напоминанием о том, что им скорее нужно иметь свою рабоче-крестьянскую интеллигенцию». По «делу лицеистов» в 1925 году было репрессировано 38 человек, из них 11 человек получили высшую меру наказания. См.: *Телетова Н. К.* «Дело лицеистов» 1925 года // Звезда. 1998. № 6. С. 115—131.

[18] Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1922). Ед. хр. 3. Л. 33.

[19] Центральное Бюро краеведения возглавляло всю краеведческую работу в стране. До 1924 года было в ведении Академии наук. В 1930—1931 годы было разгромлено как враждебное советской власти.

[20] Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1922). Ед. хр. 3. Л. 33.

[21] С 1922 по 1932 год Государственный Пушкинский заповедник находился в ведении Леноблполитпросвета, под руководством Главнауки (Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1933). Ед. хр. 24. Л. 85).

[22] Известия ВЦИК. 1922. № 69/1508.

В 1922 году были приняты действенные меры и по охране места дуэли поэта. В объяснительной записке к смете Пушкинского Дома на 1922 год было обозначено: «Состояние памятника грозит полным разрушением, почему для предохранения его от окончательной гибели необходимо произвести ремонт пьедестала, установить на нем металлический бюст и поместить металлическую доску с соответственной надписью, устроить железную ограду и разбить цветочную клумбу вокруг памятника. Расход на все эти работы исчисляется в 5 000 рублей».[23]

Еще в сентябре 1921 года Пушкинский Дом возбуждал перед Академией наук «вопрос об изъятии квартиры, где скончался Пушкин, из частного пользования и об устройстве в ней памятного учреждения музейного типа». Но только через три года, в 1924 году, благодаря деятельным хлопотам сотрудника Пушкинского Дома М. Д. Беляева, квартира поэта была выкуплена у РЖУ и расселена. Однако из-за отсутствия средств на ее содержание у Академии наук в октябре этого же года передана специально для этого образованному Пушкинскому кружку добровольного общества «Старый Петербург — Новый Ленинград».[24] «Тем не менее Пушкинский дом не теряет тесной связи с квартирой, где жил и умер поэт, — писал 20 августа 1925 года С. Ф. Платонов, отвечая на запрос Ленинградского управления Главнауки, — и руководит деятельностью Пушкинского отделения Общества „Старый Петербург". Из состава пяти членов Президиума упомянутого отделения четыре являются в то же время работниками Пушкинского дома — академик С. Ф. Платонов, член-корреспондент Академии наук Б. Л. Модзалевский и ученые хранители М. Д. Беляев и Н. В. Измайлов... Еженедельно в ней происходят научные собрания, на которых читаются доклады, касающиеся жизни и творчества Пушкина, собирающие в среднем около 80 слушателей. При этом не теряется из виду основное задание устройства в квартире бытового музея при содействии Ленинградского Музейного фонда».[25] С. Ф. Платонов настаивал на целесообразности национализации квартиры поэта, «изымающей ее совершенно из гражданского оборота».

Год первого пушкинского юбилея, отмеченного официально в послереволюционное деєятилетие, 1924-й, начался арестом Б. Л. Модзалевского, обвиненного в махинациях с государственными средствами и имуществом учреждения.[26] (Пережитый во время многодневного заключения и допроса сильнейший стресс подкосил здоровье Б. Л. Модзалевского.)

После того как футуристы «сбросили Пушкина с корабля современности», для новой власти поэт первое время был чуждым, «типичным представителем дворянской идеологии».

Но 125-летие со дня рождения Пушкина было отмечено официально и торжественно, хотя прошло под знаком язвительной критики пушкинистов.

На митинге, устроенном возле памятника поэту в Москве 6 июня, В. В. Маяковский в стихотворении «Юбилейное», в котором признался Пушкину: «Я люблю Вас, но живого, а не мумию», в адрес хранителей и исследователей его наследия сделал саркастический выпад: «Бойтесь пушкинистов. Старомозгий Плюшкин, перышко держа, полезет с пережавленным — Тоже, мол, у лефов появился Пушкин...»

На следующий день, 7 июня 1924 года, в газете «Правда» (№ 127) в статье «О Пушкине. За что любил Пушкина В. И. Ленин?» (которая начинала советскую

---

[23] Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1921). Ед. хр. 10. Л. 22.

[24] Общество «Старый Петербург — Новый Ленинград» существовало с 1921 по 1938 год. См. статью А. М. Конечного (Музей. № 7. М., 1987. С. 249—252). В Пушкинский кружок общества вошли многие сотрудники Пушкинского Дома. См.: Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1921). Ед. хр. 7. Л. 92.

[25] Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1921). Ед. хр. 7. Л. 101 об.

[26] Переписка Б. Л. Модзалевского с А. Ф. Кони / Публикация Л. Д. Зародовой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1996 год. С. 374.

канонизацию поэта) критик-марксист Л. Сосновский резко «отмежевался» от пушкинистов: «Но пусть не радуются спецы-пушкинисты. Они не будут именинниками в грядущие „пушкинские дни". Мы вежливенько отстраним этих гробокопателей. На них несмываемый грех перед народом. Изучившие, сколько раз буква „з" встречается в каждом стихе Пушкина, докопавшиеся до выяснения количества пуговиц на жилете Пушкина, эти книжные черви не написали даже двух-трех брошюр для рабочего и крестьянина о значении Пушкина, о его заслугах перед нашим поколением».

Стремление «осовременить» Пушкина[27] побуждало идеологов «отмежеваться» от «пушкинистов» как деятелей старой дворянской культуры и, как следствие, вызывало пренебрежение к научным методам исследования биографии и текстов поэта, к трепетному собиранию реликвий, к охране памятных мест, к созданию музеев — ко всему, чем занимались тогда представители гуманитарной науки, продолжая академические традиции XIX века.[28]

В 1925 году у Пушкинского Дома отобрали дворцовый особняк Абамелек-Лазаревых, передав ему более скромное здание на Тучковой набережной, д. 2а, в котором пушкинисты к приближающемуся юбилею — 200-летию Академии наук — развернули новую историко-литературную экспозицию, посвященную русской литературе со второй половины XVIII до начала XX века.

Большой утратой для Пушкинского Дома стала кончина Н. А. Котляревского в 1925 году, а спустя три года (3 апреля 1928 года) — Б. Л. Модзалевского, который был душой и неистощимой деятельной силой учреждения-памятника.

1 августа 1925 года директором Пушкинского Дома был назначен академик С. Ф. Платонов, известный историк, исследователь «смутного времени», одновременно председатель Археографической комиссии Академии наук и директор Библиотеки Академии наук.

В одной из объяснительных записок для руководства к смете финансирования Пушкинского Дома на 1926/1927 год, подписанной академиком С. Ф. Платоновым, есть очередная безуспешная попытка объяснить власти, что «в высшей степени важным, часто необходимым» представляется приобретение материалов для пополнения коллекции во имя «сохранения культурных ценностей от постоянно грозящей им гибели в частных, сплошь и рядом необеспеченных, а иногда и невежественных руках».[29]

Отчет о деятельности Пушкинского Дома за 1926 год проверяла комиссия Совнаркома. В ее составе были А. Я. Вышинский (впоследствии Генеральный прокурор) и заместитель наркома просвещения М. Н. Покровский, историк, один из создателей советской системы управления наукой и культурой. В отзыве Покровского на отчеты академических гуманитарных институтов Пушкинский Дом именовался не иначе как «пресловутый Пушкинский дом» и обвинялся в «дезорганиза-

---

[27] «Вместе со всей русской общественностью и культурой поэт вступил в октябрьский период нашей истории — он наш современник! — писал В. Фриче в статье «Проблема Пушкина», опубликованной в газете «Правда» 10 февраля 1927 года. — Надо было доказать, что пролетариат может найти в творениях великого поэта источник ценных и нужных переживаний».

[28] И. Сергиевский в журнале «Печать и революция» (1928. № 3) в статье «Пути социологического пушкиноведения» заметил: «Научная революция наших дней окончательно вырвала почву из-под ног пушкиноведения, как особого умственного спорта. Биографическому крохоборству, погоне за все новыми и новыми биографическими раритетами, по принципу „давай и веревочку, и веревочка в дороге пригодится", была противопоставлена строгая дифференциация отдельных отраслей и приемов исследования. Иконописная позолота была стерта, биографический фетишизм ликвидирован: с личности поэта центр тяжести перенесен на его поэтическое наследие, а его поэтическое наследие было вдвинуто в исторические рамки эпохи».

[29] «Только что, например, Дом должен был отказаться, за полным отсутствием средств, от автографов Гончарова, — писал С. Ф. Платонов, — от ценного собрания писем Фета, отложить на неопределенное время покупку собрания П. И. Бартенева, архивов Лескова, П. П. Перцева и др.» (Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1921). Ед. хр. 10. Л. 140—140 об.).

ции других, родственных по задачам научных учреждений», потому что собирал материалы, имеющие отношение не только к Пушкину, но и к русской литературе в широком масштабе.

Покровский требовал «принять соответствующие меры — отобрать у Пушкинского дома все, что не имеет отношения к Пушкину и его эпохе... а рукописи передать в рукописные отделения наших больших библиотек». По поводу выставки, устроенной к 100-летию Н. М. Карамзина, он высказал подозрение в идеологической враждебности деятельности Пушкинского Дома советской власти: «Было бы очень любопытно знать, в каком освещении был подан посетителям самый монархический из русских историков».

«Существующий Пушкинский дом, в его теперешнем виде, — подвел итог Покровский, — резко подчеркивает, что в деятельности Академии наук помимо просто обветшавшего есть злостно обветшавшее, помимо непланового есть нечто такое, что будет всегда мешать плановой работе других учреждений». «Нужно или радикально реорганизовать, в смысле личного состава и в отношении программы занятий, гуманитарное отделение Академии, или вовсе его прикрыть».[30] Выводы комиссии Совнаркома свидетельствовали о том, что «карательные меры» по отношению к Пушкинскому Дому и к Отделению литературы и языка Академии наук не заставят себя ждать.

Несмотря на все нелицеприятные отзывы и заключения со стороны вышестоящих и проверяющих органов, работа Пушкинского Дома не прекращалась.

В 1927 году «особенный» памятник поэту, благодаря хлопотам С. Ф. Платонова, получил наконец свой архитектурный образ: здание в центре Петербурга на стрелке Васильевского острова, построенное в 1832 году архитектором И. Лукини для управления Таможни. В десяти залах нового помещения 6 ноября — к 10-летию Советской власти — была развернута постоянная музейная экспозиция. Пушкину и его современникам предоставили три зала. В Пушкинский Дом в это же время было принято собрание Толстовского музея и материалы Некрасовского, переведенные из Областной центральной библиотеки Губполитпросвета.[31]

10 февраля 1927 года, в день 90-й годовщины со дня смерти А. С. Пушкина, Президентом Академии наук СССР А. П. Карпинским было открыто памятное помещение — кабинет поэта в доме на Мойке, 12. «Открытие это привлекло множество народа и было сочувственно отмечено в ленинградской и иногородней печати», — докладывал академик С. Ф. Платонов в правление Академии наук, сетуя на отсутствие денег для того, чтобы «полностью осуществить план реконструкции квартиры» и восстановить переднюю комнату, где некогда стоял гроб поэта. (Директору Пушкинского Дома приходилось «выпрашивать» средства на «исправление входной двери и замков в Пушкинской квартире», на «устройство железных раздвижных решеток на окна».)[32]

К концу 20-х годов Пушкинский Дом превратился в Литературный Пантеон, как и мечтали его устроители.

Несмотря на недостаток денежных средств и малое число сотрудников, «особенный» памятник поэту стал крупным научным центром и приобрел высокий моральный авторитет в обществе.

Пушкинский Дом занимался собиранием, изучением и публикацией памятников русской литературы XVIII—XIX веков. С. Ф. Платонов вел обширную переписку по вопросам охраны памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью литераторов XIX века, и организации музеев в самых разных уголках страны.

---

[30] Звенья. Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 583—592.

[31] *Назарова Л. Н.* Литературный музей Пушкинского дома за 75 лет // Русская литература. 1981. № 1. С. 107—122.

[32] Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1921). Ед. хр.7. Л. 239, 245 об.

Но критики марксистского направления настойчиво формировали против него негативное общественное мнение.[33]

Пушкиноведение осуждалось за то, что «не могло дать целого», и ему противопоставлялось новое советское литературоведение, которое «к юбилейным дням 1937 года точно (! — *Л. С.*) определит значение Пушкина в истории нашей культуры и революционно-освободительного движения».[34]

Переломным в судьбе Пушкинского Дома оказался 1929 год.

После Первой Московской областной партийной конференции началась «чистка государственного аппарата», которая стала «делом всей партии, профсоюзов, рабочего класса».

В аппарате Академии наук, как писала «Ленинградская правда» 21 сентября,[35] в числе снятых было «немало махровых представителей близких царской монархии, бывших людей». В газетах публиковали просьбы трудящихся «поставить академиков под контроль пролетарской общественности».

6 ноября та же «Ленинградская правда» сообщила, что «в Академии наук обнаружено незаконное хранение важнейших политических документов» и решением общего собрания Академии наук ее Непременный секретарь, академик С. Ф. Ольденбург отстранен от должности.

1929 год закончился обвинениями администрации Пушкинского Дома в «незаконном хранении документов, имеющих важное политическое значение» и «чисткой кадров». Учреждения, которыми руководил академик Платонов, Библиотека Академии наук и Пушкинский Дом, были представлены широкой общественности как «оплот контрреволюционной интеллигенции». В январе 1930 года к «делу о контрреволюционных замыслах академиков и профессоров истории» были привлечены академик С. Ф. Платонов и сотрудник Пушкинского Дома Н. В. Измайлов.[36] 70-летнему директору Пушкинского Дома было предъявлено обвинение в организации монархического заговора и намерении возглавить новое Временное правительство.

По «делу историков», «делу Платонова — Тарле» или «делу Академии наук», с которым соединилось «дело краеведов», в течение 1929—1930 годов была репрессирована значительная часть историков-архивистов Академии наук, среди них третья часть сотрудников Пушкинского Дома (в то время очень малочисленного): М. Д. Беляев (зав. музейным отделом), П. П. Зиссерман (ученый хранитель), Б. И. Коплан (ученый хранитель рукописного отдела), академик Н. П. Лихачев, С. П. Шестериков, Н. А. Пыпин.[37]

2 февраля 1931 года С. Ф. Платонов был отправлен в Самару, где и умер через несколько лет.[38]

Уникальный замысел и своеобразие структуры Пушкинского Дома были подвергнуты проверке специальной комиссией. Выводы ее были разрушительные:

---

[33] Критик-марксист Д. Мирский, бывший эмигрант, впоследствии репрессированный и погибший на Колыме, в статье «Проблема Пушкина» писал: «Самый термин „пушкиноведение" пора бы сдать в архив. Оно унаследовано от времени, когда „пушкинисты", следуя общей тенденции буржуазной культуры к максимальной специализации и максимальному отгораживанию „чистой науки" от масс, стремились замкнуться в особую касту, сделав из Пушкина предмет своей монопольной эксплоатации. Какие бы ни были мотивы этого выделения, оно всячески способствовало той чрезмерной детализации, которая за деревьями забывает о лесе» (Лит. наследство. 1934. Т. 16—18. С. 92).

[34] От редакции // Лит. наследство. Т. 16—18. С. 1.

[35] Ленинградская правда. 1929. 21 сентября. № 217. С. 3.

[36] Кроме них по сфабрикованному делу о «Всенародном союзе борьбы за свободную Россию» были арестованы также ректор Московского университета академик М. К. Любавский, проф. Е. В. Тарле и проф. С. В. Рождественский. См.: Академическое дело. 1929—1931: Сб. документов. Вып. 1. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993.

[37] *Ростов А.* Дело четырех академиков // Память. Исторический сборник. Вып. 4. Париж, 1981. С. 469—495.

[38] *Анциферов Н. П.* Из дум о былом: Воспоминания / Вступительная статья, составление, примеч. и аннотированный указатель А. И. Добкина. М.: Феникс, 1992. С. 449.

Пушкинский Дом создавался стихийно и не имеет определенных задач, его «структура не является структурой научно-исследовательского учреждения».

20 июня 1930 года Комитетом по заведованию учеными и учебными учреждениями при ЦИК СССР Пушкинский Дом был утвержден как Институт новой русской литературы Академии наук СССР, сокращенно ИНЛИ.[39]

Так из музейно-источниковедческого и научно-просветительского учреждения-памятника Пушкинский Дом был превращен в материальную базу типового научно-исследовательского института. Рукописный архив, библиотека и литературный музей стали его вспомогательными структурными подразделениями.

1 октября 1930 года Отделение общественных наук Академии наук СССР утвердило Положение Института новой литературы, бывшего Пушкинского Дома. Оно обозначило не только другой статус, но и новое содержание работы: «в области литературоведения на основе историко-материалистической теории».

Формировать структуру института стали заново, по «признакам социально-историческим», «характеризующим целую отрасль».[40] Практиковали коллективное руководство «производственным планом» и «коллективный метод разработки тем не только научными работниками, но и аспирантами».

«Научно-исследовательское учреждение подобного типа создавалось в стране впервые... в условиях постоянной и ожесточенной борьбы различных групп и направлений в литературной науке, как правило, различной не только по своей методологии, но и идеологии», — писал первый исследователь истории Пушкинского Дома В. Н. Баскаков.[41]

Перестройка учреждения, «чистка» кадрового состава и «работа по освежению, коммунизированию и орабочиванию сотрудников и технического аппарата института» производились представителями бюро малочисленной партийной ячейки института.[42]

На место тех, кто стоял у истоков Пушкинского Дома, ставили молодых специалистов с «чистым» прошлым.

На заседании партбюро 8 октября 1930 года было вынесено постановление: «освободить от работы: а) старшего ученого хранителя И. А. Кубасова, б) зав. библиотекой, ученого хранителя П. Е. Рейнбота, в) ученого хранителя В. С. Спиридонова, г) научного сотрудника I разряда А. А. Достоевского, д) научного сотрудника I разряда Н. В. Яковлева;

перевести в ученого хранителя а) научного сотрудника I разряда С. А. Родова;

перевести в научные сотрудники II разряда а) ученого хранителя (библиотека) С. А. Шахматову-Коплан, б) старшего библиотекаря (ученого хранителя) Е. А. Малютина».[43]

Так же механически и формально, как кадровые вопросы, решали и проблему управления институтом.

В том же протоколе записано: «поручить заведывание а) теоретико-методологическим сектором — В. И. Бухаркину (по совмещению с должностью ученого сек-

---

[39] «В 1929 году академика С. Ф. Платонова сменил академик П. Н. Сакулин, который хотя и недолго находился в должности директора (он умер 7 сентября 1930 года), но тем не менее с его именем связана инициатива преобразования Пушкинского дома в научно-исследовательский институт» (*Баскаков В. Н.* Указ. соч. С.73).

[40] *Ровда К. И.* А. В. Луначарский — директор Пушкинского дома // Пушкинский Дом. С. 54.

[41] *Баскаков В. Н.* Указ. соч. С. 75.

[42] В состав ячейки парбюро входили: Ухмылова, Камегулов, Родов, Горбачев, Бухаркин, Капрель, Михайлов, Барашенков, Волынский, Морачевский (Протокол заседания бюро ячейки ВКП(б) № 5 от 8.3.31 // Архив истории политических документов. Ф. 2019. Оп.2. Ед. хр. 55. Л. 51).

[43] Протокол № 2, 8 октября 1930 г. Присутствовали: Горбачев, Бухаркин, Бусыгин, Родов, Камегулов // Архив истории политических документов. Ф. 2019. Оп. 2. Ед. хр. 55. Л. 2—4.

ретаря), б) отделом литературы эпохи буржуазно-демократической революции — т. Г. Е. Горбачеву, в) отделом современной литературы — С. А. Родову».

13 сентября 1930 года партийная ячейка в лице Бухаркина, Горбачева, Камегулова, Родова обсудила назначение Академией наук Н. К. Козьмина временно исполняющим обязанности директора института и постановила: «считать неправильным решение этого вопроса без привлечения к его обсуждению коммунистов, работающих в институте», и сочла Н. К. Козьмина, «как не имеющего научного авторитета», не заслуживающим «политического доверия фракции». Вместо него «целесообразным» признали «поручение руководством института по преемственности (?! — *Л. С.*) тов. Бухаркину, впредь до разрешения вопроса собранием фракции академиков».[44]

Таким образом, молодой коммунист Бухаркин какое-то время был не только руководителем института, но ученым секретарем и заведующим теоретико-методологическим сектором!

Предложенное Академией наук «назначение т. Фадеева на должность зам. директора института» было также признано «нецелесообразным», и решено было просить «бюро коллектива поднять в соответствующих инстанциях вопрос о пересмотре этого решения».[45]

В октябре 1930 года Президиум Академии наук СССР избрал директором Института новой литературы академика и коммуниста А. В. Луначарского[46] (в то время наркома просвещения).

Учитывая то, что новый директор жил в Москве и по причине своей занятости не мог часто бывать в Ленинграде, партбюро постановило «усилить коллективное партруководство работ института, причем обязать т. Родова и т. Бухаркина предварительно согласовывать вопросы разрешающиеся на совете института (при обязательной фиксации мнений)».[47] Жесткая административная роль партийного бюро сохранялась в деятельности всего института до середины 1950-х годов.

В январе 1931 года в Ленинграде в Академии наук прошла шумная дискуссия «Классовый враг на историческом фронте», которая надолго определила судьбу всех гуманитарных академических учреждений.

В марте 1931 года, после ареста заведующей музеем и рукописным отделом института Е. Гиппиус, Г. Е. Горбачев, в то время секретарь партбюро и заместитель директора, издал приказ «о невпуске с портфелями» и создал специальную комиссию из четырех человек для выработки особых правил внутреннего распорядка.

Политически нелояльными снова стали библиотека, музей и рукописный отдел.

«Из маленького дела Гиппиус надо делать политические выводы, — сказал один из членов партбюро на заседании 8 марта. — Мы еще здесь не хозяева. Дальнейшую чистку надо проводить в порядке завоевания научных мест».

На этом же собрании партийной ячейки института обсуждали почти всех, не только старых, но и новых сотрудников института. Решено было подвергнуть «чистке» 16 человек.

В списке против их фамилий были специальные пометки: И. Г. Ямпольского («уволить»), Г. А. Гуковского («разоблачить как классового врага по научной ли-

---

[44] Протокол № 1, 13 сентября 1930 г. Присутствовали: Бухаркин, Горбачев, Камегулов, Родов // Там же. Л. 1.

[45] Протокол № 2, 8 октября 1930 г. Присутствовали: Горбачев, Бухаркин, Бусыгин, Родов, Камегулов // Там же. Л. 2.

[46] А. В. Луначарский был директором института в 1930—1933 годах. Во время своих нечастых приездов в Ленинград он посещал заседания партбюро ИНЛИ (по сохранившимся протоколам его присутствие зафиксировано дважды — 28.1.31 и 29.4.31), на которых заслушивал сообщения о производственных планах института (Архив истории политических документов. Ф. 2019. Оп. 2. Ед. хр. 55. Л. 48, 59).

[47] Там же. Л. 7.

нии и вычистить»), Е. Н. Враскую («вычистить»), С. А. Коплан-Шахматову («удалить, исхлопотав предварительно пенсию»), И. А. Васильеву («вычистить»), И. М. Орлеанского («уволить при приискании подходящей замены»), Пушкарева («подлежит замене»), Е. А. Милютина («подлежит замене»), Б. В. Томашевского («желательна замена марксистом»), Коматову («оставить до получения пенсии»), Н. В. Яковлева («проверить его способности к работе»), Переселенкова («оставить до пенсии»), Мотовилову («проверить»), Е. П. Населенко («оставить в ожидании дополнительных сведений»), Балухатого («тоже»), Чебушеву («если не уйдет, оставить до проверки»), Ориадского («перевести в другое учреждение»), Наумович («уволить»). «Признать, что среди сотрудников части партийных и остальных беспартийных нет вызывающих сомнений».

В отношении аспирантов, «общественное лицо коих вызывает сомнения», решили «запросить партколлективы их учреждений, где они работали», особенно «в отношении следующих: Векслера, Сорокина, Цехновицера и Анорусского, в отношении последнего за период 1920 года, пребывания его в Крыму».[48]

После возвращения на работу Е. Гиппиус, «в связи с освобождением из-под ареста», партбюро решило «поставить перед администрацией вопрос о снятии ее с работы по следующим мотивам: 1 — вследствие часто производимых ею краж (хотя бы даже они и были совершены в состоянии клептомании); 2 — вследствие обнаружения после ее ареста в ее столе рукописей, принадлежащих рукописному отделению и не описанных при ней в бытность ее зав. рукописным отделом, рукописей, хранимых крайне небрежно и несомненно с целью присвоения; 3 — хранила в ИНЛИ в столе музея частные материалы по просьбе частных лиц; 4 — не проявила никаких организаторских способностей в области своей работы по рукописному отделу и музею — где проявила бесконтрольность и небрежность; 5 — оставление ее на работе несомненно имеет дезорганизационное влияние на работников ИНЛИ».

23 марта 1931 года постановили, что «вход в хранилище воспрещен даже для сотрудников ИНЛИ».[49] Чтобы повысить ответственность, «для учета работы каждого были введены дневники».

Институт стал похож на режимное предприятие. В каждом подозревали расхитителей музейных ценностей и рукописей.

В соответствии с установкой «держать курс на расслоение служащих, продолжать курс коммунизации, иметь постоянных партработников в отделах» партбюро составляло и обсуждало научно-производственные планы института на 1930—1931 годы.

Разрабатывались условия социалистического соревнования между сотрудниками, отделами и с институтом им. Т. Г. Шевченко. Институт брал шефство над Кронштадтом и Хибинами.[50]

Подобная кадровая и «научно-просветительская» политика лишала институт настоящих специалистов. После ареста М. Д. Беляева долгое время не могли найти «заведующего музеем, музееведа и литературоведа». После выражения недоверия Е. Гиппиус, вынудившего ее подать заявление об уходе, на очередном заседании партбюро 24 мая 1931 года постановили: «поручить т. Горбачеву подыскать соот-

---

[48] Обсуждение кандидатур на увольнение из института, зафиксированное в протоколе, выглядит еще более агрессивно, например: «Гуковский связан со старыми реакционными кругами литературоведов. Он несомненно враждебен. Блок с нами это тактика, позволяющая ему работать в ИНЛИ. Нужно разоблачить его, не связывая с делом Гиппиус, и уволить... Ямпольский — все время перекрашивается, в марксизм не идет, политики большой не одобряет... Подождать с ним до весны и если найдем заместителя — вычистить... Ямпольский — старый академический работник, сведений, что он крадет рукописи, не имею, но считаю его способным на кражи, не из материальных соображений, но из вредительских. Его в первую очередь нужно включить к чистке» (Там же. Л. 52—52 об.).

[49] Там же. Л. 57—57 об.

[50] Там же.

ветствующую кандидатуру, в частности не возражать против переговоров с Д. Д. Благим...»[51] или договориться с партъячейкой Эрмитажа и ЛГИС о заведовании музеем ИНЛИ.[52]

12 июня 1931 года на заседании партбюро Академии наук был заслушан доклад Родова о работе партийной ячейки ИНЛИ с декабря 1930-го до середины марта 1931 года и вынесено заключение, что она «провела в основном успешно реорганизацию б. Пушкинского дома в Институт новой русской литературы».[53]

Но не все было так благополучно, как полагали члены партийной ячейки института. В августе 1931 года в журнале «Звезда» появилась статья Малахова, в которой «было указано на троцкизм в работах Горбачева», исполнявшего обязанности заместителя директора института.

19 ноября в газете «Правда», в открытом письме поэта А. Безыменского, осуждалась деятельность группы «Литфронта» с позиции руководства РАПП.

После этих «сигналов» в институте стали пересматривать не только итоги работы ИНЛИ, но и политическое «лицо» его фактических руководителей, секретаря партбюро С. А. Родова и заместителя директора Г. Е. Горбачева (бывших руководителями «Литфронта»).

Им предстояло держать ответ за состояние всего учреждения и перед обследовательской бригадой от Академии наук.

23 ноября 1931 года на заседании партийной ячейки института были заслушаны заявления Горбачева и Родова «о признании ими своих литературно-политических и общеполитических ошибок», приобщены к делу их покаянные письма в «Ленинградскую» и центральную «Правду».

«Ввиду исключительной политической важности» самокритического доклада т. Горбачева, решено было «в связи с разоблачением его политических ошибок» «заострить на нем внимание широкой общественности», для чего «широко оповестить о дне и часе и месте доклада в газете, послать спец. приглашения аспирантам и работникам Комакадемии, пригласить членов правления РАПП, коллектив ВКП(б) АН, президиум РАПП и разослать ряд индивидуальных приглашений. Доклад и содоклад т. Десницкого и все выступления застенографировать и обработанные стенограммы опубликовать в печати».

Судьба Г. Е. Горбачева была предрешена его покаянием и этим открытым партийным собранием. Уже 13 декабря «ввиду снятия т. Горбачева» партийное бюро решило поставить вопрос перед партколлективом Академии о его замене: «подыскать соответствующие кандидатуры — членов партии, а в случае невозможности найти такого, просить назначить заместителем директора академика А. С. Орлова...»[54]

Для бригады, выделенной от Академии наук с целью «обследования ИНЛИ», временно исполняющим обязанности заместителя директора ИНЛИ В. В. Бушем было составлено донесение о состоянии Института, на этот раз «совершенно неудовлетворительном, требующем решительного пересмотра почти всех сторон его работы (расстановки сил, планов исследовательской работы, выставок современной литературы и др.)».

---

[51] Из протокола № 5 заседания бюро ячейки ВКПб от 8.3.31: «2. В музей назначен пока Максимов, а помощник Мораческий; необходимо выявить, все ли там на месте, изменить систему записки музейного материала, необходимо осмотреть все шкафы и столы в музее и всем ИНЛИ, многие до сих пор не осматривались... обнаруженный материал сдать в рукописный отдел. Для последнего создана бригада в составе: Михайлов, Сторик, Могилянский, Дымшиц, Абрамкин. 3. Слабо выполняется приказ о невпуске с портфелями и т. д. Создана комиссия в составе: Михайлова, Томашевского, Векслера, Козьмина, Сторика, Могилянского и Максимова для выработки правил внутреннего распорядка. 4. Необходимо подыскать заведующего музеем, возможно придется для этого поехать в Москву, надо музееведа и литературоведа» (Архив истории политических документов. Ф. 2019. Оп. 2. Ед. хр. 55. Л. 51).

[52] Там же. Л. 63.

[53] Там же. Л. 70—71.

[54] Там же. Л. 97.

В институте в то время было 33 штатных места и большая «текучесть» кадров. Из семи членов и кандидатов ВКП(б) двое «не состояли в ячейке ИНЛИ и в общей жизни ИНЛИ почти не принимали участия». «Партийная прослойка» была «распределена совершенно неравномерно: в архиве — 3, в музее — ни одного, в библиотеке — 1, в исследовательском секторе, если не считать руководившего сектором Горбачева — ни одного». «Беспартийный состав исследовательского сектора методологически» был «совершенно недостаточно выдержан».

«Директор Луначарский ИНЛИ не руководил: был в течение 8 месяцев в институте 2 раза; зам. директора Горбачев бывал в ИНЛИ далеко не каждый день и не вникал в работу в целом. Взаимоотношения с вышестоящими органами ИНЛИ были совершенно формальными. ИНЛИ в течение года ни перед кем не отчитывался».[55]

Так бывший Пушкинский Дом стал ареной жестокой политической борьбы.

Идея «особенного» памятника Пушкину в 30-е годы стала неактуальна. Партийное руководство института, занятое «чисткой» кадров и перестройкой работы учреждения, не проявляло интереса к собиранию и изучению памятников материальной культуры, деятельность по охране памятных мест была заброшена.

В 1930 году в связи с постановлением Совнаркома о передаче всех учреждений культуры на местный бюджет Пушкинский заповедник из системы отдела музеев Главнауки был переведен в систему Леноблполитпросвета и 7 апреля 1932 года вместе с домом-музеем А. С. Пушкина в Михайловском передан Ленинградскому музею социалистического строительства и реконструкции сельского хозяйства за 10 000 рублей, якобы «затраченных Политпросветом на заповедник». В 1932 году была снята охрана могилы поэта. 17 февраля 1933 года по договору за 45 000 рублей артели общества «Красный партизан» были переданы заповедные пахотные земли и луга, два яблочных сада и здания с находившимся в них «инвентарем». Пушкинскому заповеднику оставили фундамент сгоревшего дома поэта, домик няни, дом-музей и заповедный лес-парк. В июле 1933 года общество «Красный партизан» продало право на аренду заповедника за 240 000 рублей типографии им. Лоханкова, которая организовала там совхоз имени Халатова. Рядом с усадьбой поэта был устроен свинарник, в центре усадьбы пасли скот, через парк ездили на тракторах, ломая кусты и молодые деревья.[56]

В пушкинскую квартиру в доме на Мойке, 12 в 1931 году, потеснив музей поэта, вселился поэт-«пролеткультовец» С. А. Родов, секретарь партбюро ИНЛИ.

На судьбе уникального гуманитарного учреждения, резко видоизменив его внутренний облик, отразилась новая политика государства, нормами жизни которого становились враждебное отношение к прошлому и стандартный подход к созиданию нового.

Название Пушкинский Дом по старой памяти употребляли те, для кого содержание «особенного» памятника поэту продолжало существовать и в новой форме учреждения.

После Первого Всероссийского музейного съезда, который прошел в Москве в декабре 1930 года, была дана установка «на перестройку музеев на началах диалектического материализма», «на разоблачение классового существа буржуазных музеев» и на ликвидацию «старой системы, основанной на чисто эстетическом принципе».[57]

В 1931 году в Москве был организован Государственный Литературный музей, работу которого возглавил марксист и личный друг Ленина В. Д. Бонч-Бруевич.

---

[55] Там же. Л. 98.
[56] Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1933). Ед. хр. 24.
[57] Советский музей. 1931. № 1. С. 5, 50.

Новое музейное учреждение стало идеологически лояльным «заместителем» крамольного ИНЛИ, бывшего Пушкинского Дома. На него была возложена та же задача[58] изучать все о Пушкине и русской литературе, собирать рукописи, книги, портреты и музейные реликвии. Огромное значение придавалось издательской деятельности.

Но петербургские традиции, несмотря ни на что, оказались сильны. 30 декабря 1931 года состоялось первое собрание Пушкинского общества.[59] После идеологической перестройки Пушкинского Дома эта добровольная организация сумела в значительной мере восполнить утраченные в ИНЛИ культурно-просветительские аспекты его деятельности.[60]

Среди учредителей Пушкинского общества были молодые писатели и литературоведы-пушкинисты, актеры и композиторы.[61] Председателем его был избран академик Н. С. Державин. В середине 30-х годов в обществе по разным направлениям работы было организовано несколько секций: научно-методическая, которую возглавил ученый секретарь Пушкинской комиссии и «правая рука» Ю. Г. Оксмана (заместителя директора ИНЛИ) Д. П. Якубович; секция охраны памятных мест, которую возглавил А. Г. Яцевич. Пропагандистской секцией руководили Л. Р. Коган и В. А. Мануйлов (одновременно и ученый секретарь общества).

Членами Президиума Пушкинского общества были Ю. Н. Тынянов и И. А. Оксенов, членами Правления — писатели К. А. Федин, А. П. Чапыгин, библиограф М. Н. Куфаев, композитор Б. В. Асафьев.

Общество организовывало вечера и концерты, циклы лекций о Пушкине и декабристах, устраивало выставки, в целях популяризации научных идей занималось издательской деятельностью, возложило на себя миссию спасения и охраны пушкинских мест и памятников.

Весной 1932 года после увольнения из ИНЛИ секретаря партбюро С. А. Родова и выселения его из квартиры поэта на Мойке, 12 специально образованная комиссия Пушкинского общества осмотрела квартиру, по поводу чего составила соответствующий акт, в котором говорилось, что за это время музей был сокращен до 3-х комнат, в остальных пяти находился «склад мебели», что в помещениях развилась сырость вследствие прекращения систематического отапливания, что исчезла с фасада дома мемориальная доска.[62]

20 августа 1932 года в Пушкинский заповедник был командирован представитель общества, который по результатам поездки представил доклад об удручающем состоянии Михайловского, Тригорского и Святогорского монастыря с могилой поэта.

В план своих ближайших работ в 1933 году Пушкинское общество поставило «учет всех пушкинских мест на территории Союза и принятие мер к их сохранению и восстановлению».[63]

26 сентября 1933 года на заседании Президиума правления Пушкинского общества было выработано ходатайство к наркому просвещения, в котором, в связи с приближающимся столетием со дня гибели Пушкина, был поставлен вопрос о бедственном состоянии пушкинских мест.

---

[58] Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1933). Ед. хр. 24. Л. 214.

[59] Вестник АН СССР. 1932. № 4. С. 31.

[60] *Назарова Л. Н.* Из воспоминаний о Пушкинском обществе в Ленинграде 1930-х годов // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 27. СПб. 1996. С. 210—221.

[61] Первым председателем правления общества был писатель С. А. Семенов. В числе учредителей: писатель Б. Лавренев, поэты А. Прокофьев, В. Рождественский, А. Крайский и др. (РГАДА. Ф. 305. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 172).

[62] *Седова Г. М., Солдатова Л. М.* Особняк на Мойке, 12. СПб.: Белое и черное, 1999. С. 104—105.

[63] Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1933). Ед. хр. 24. Л. 215—216.

В 1934 году вместе с Пушкинской комиссией Академии наук и Институтом литературы Пушкинское общество добилось передачи расхищенного заповедного Пушкинского уголка в ведение Академии наук.[64] Постановление Президиума АН СССР от 10 июня 1934 года гласило: «Принять Пушкинский заповедник в ведение Академии наук и внести его в виде самостоятельной единицы в титульный список учреждений АН СССР. Научная и административно-хозяйственная руководящая работа заповедника возложена на ИНЛИ».[65]

В кратчайшие сроки в институте была разработана широкая программа восстановления территории и реконструкции музея к 1937 году, сформирован штат сотрудников заповедника. Постоянный контроль за музейно-научной работой заповедника был «возложен на специальную тройку из состава Пушкинской комиссии: тов. Оксмана (зам. пред.), тов. Якубовича (уч. секретарь), тов. Калаушина (музей)».[66]

Члены Пушкинского общества выработали свой план реэкспозиции музея-квартиры Пушкина на Мойке,12, который вызвал возражения сотрудников ИНЛИ. В конце 1935 года в архитектурной секции Пушкинского общества под началом архитектора Б.Альмединген был разработан проект возрождения идеи Пушкинского дома на Мойке, 12, в виде просветительского варианта: «Дома культуры или Дома писателей им. А. С. Пушкина». «Пушкинское общество считает необходимым поднять вопрос о создании в Ленинграде, где жил, работал и погиб великий поэт, памятника ему в виде учреждения, которое явилось бы источником распространения в широких массах и в кругу специалистов-пушкинистов всяческих сведений, связанных с личностью и творчеством Пушкина... распространяя в массах интерес ко всему литературному наследию, тем самым помогая созданию творческих методов сегодняшнего дня».[67] Архитектурной секцией Пушкинского общества под руководством Б. Альмединген было разработано три эскизных проектных задания. Центральное здание, флигеля и конюшни предполагалось освободить от жильцов. «Кроме восстановления квартиры поэта в ее первоначальном виде» представлялось возможным над музеем-квартирой «устроить лекторий на 300 человек с двусветным залом, библиотеку с книгохранилищем в 387 кв. метров, кабинеты для историко-литературной работы площадью в 355 кв. метров, помещение для музея, ряд помещений для исследовательских кружков и организаций... К эскизному проекту была приложена ориентировочная смета... на 1 027 000 рублей». Проект был опубликован.[68] Для его реализации необходимо было участие Ленсовета и государственное финансирование.

К 1937 году в Пушкинском обществе состояло 487 членов.

Как и предсказывал В. Ф. Ходасевич в своей речи, произнесенной в 1921 году на памятном пушкинском собрании в Доме литераторов, именем Пушкина стала «перекликаться в надвигающемся мраке» интеллигенция.

II

В 1932 году во всем мире отмечали 100-летие со дня кончины немецкого гения, И. В. Гете. Для советского правительства делом политического значения стало чествование А. С. Пушкина, приуроченное к 100-летию со дня его гибели.

---

[64] Акт передачи был составлен в Михайловском 17 января 1934 года (Там же. Л. 43—67).
[65] Там же. Л. 296.
[66] Там же. Л. 87.
[67] Там же. Оп. 1 (1936). Ед. хр. 63. Л. 65.
[68] *Альмединген Б., Широкий В.* Последняя квартира Пушкина // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. № 2. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1936. С. 475—479.

В декабре 1932 года А. В. Луначарский созвал Пушкинскую комиссию и поднял вопрос о необходимости подготовки к юбилейной дате издания Академического собрания сочинений А. С. Пушкина.[69]

В 1934 году при ЦИК СССР был учрежден Всесоюзный Пушкинский юбилейный комитет под председательством А. М. Горького «для разработки мероприятий по увековечению памяти великого поэта и содействию широкой популяризации его творчества среди трудящихся Советского Союза».

Уже в 1933 году в ИНЛИ под руководством профессора Ю. Г. Оксмана, председателя Пушкинской комиссии, заместителя директора Института новой литературы и его фактического руководителя, члена Всесоюзного Пушкинского юбилейного комитета, начали разрабатывать программу юбилейных мероприятий, которая включала охрану пушкинских мест Ленинграда и окрестностей, расселение жильцов в зданиях бывшего Пушкинского Дома, помещении Лицея в Детском Селе, в доме на Мойке, 12, крупные строительные и реставрационные работы, а также создание новых экспозиций в музеях, установку памятников, организацию выставок, издание многотомного полного собрания сочинений поэта.

С мая 1934 года директором института стал Л. Б. Каменев,[70] одновременно директор и создатель Института мировой литературы в Москве.

В ноябре 1934 года Л. Б. Каменев за своей подписью представил в правительство подготовленную Ю. Г. Оксманом докладную записку с проектом мероприятий юбилейной программы, в которой кроме работы по изданию сочинений Пушкина и создания его биографии, «предназначенной для распространения в массах», предусматривалась организация Всесоюзной Пушкинской выставки, приведение в порядок и охрана пушкинских мест. Большое внимание уделялось превращению «в показательный заповедник усадьбы и места ссылки Пушкина — села Михайловского, объявленного еще в 1922 году Государственным заповедником», национализации и реставрации дома, в котором находилась последняя квартира Пушкина, приведению в порядок и охране места дуэли Пушкина «с постановкой здесь небольшого памятника». Кроме этого, юбилейная программа предполагала «приведение в порядок Лицея в Детском Селе», «охрану помещений в селе Болдино», «приобретение и превращение в дом отдыха дома Раевских в Гурзуфе», «помещение мемориальных досок на зданиях, где жил Пушкин».

Среди последних пунктов программы особо было отмечено увеличение «ассигнований на Пушкинский дом Академии наук в целях расширения его рукописных и музейных собраний, связанных с Пушкиным».[71]

В декабре 1934 года, после убийства С. М. Кирова, Л. Б. Каменев был арестован.

А. М. Горький, уже тяжело больной, был назначен директором Института новой литературы.

Трагизм политической ситуации в Ленинграде на какое-то время заслонил собой идеологическое значение предстоящего чествования национального гения, умершего век назад. Реализация юбилейной программы остановилась.

Только через год, в декабре 1935 года, в «Правде» было опубликовано правительственное постановление «Об ознаменовании столетия со дня гибели Пушки-

---

[69] Пушкинский Дом. С. 61.

[70] Л. Б. Каменев (Розенфельд) — член партии большевиков с 1901 года, революционер и литератор, был членом Политбюро ВЦИК, членом ЦК ВКП(б), зам. Председателя Совнаркома. С 1925 года был одним из вождей партийной ленинградской оппозиции. Дважды, в 1928 и в 1932 годах, был исключен из партии. В 1933 году восстановлен, отошел от политической деятельности.

[71] Перечень мероприятий, которые должны быть осуществлены в связи со столетием смерти А. С. Пушкина. (Для обсуждения на Пушкинском Комитете при ЦИК СССР) // Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1934). Ед. хр. 63. Л. 116—117.

на», в котором было сформулировано новое советское понимание исторической роли и значения творчества поэта: «Создатель русского литературного языка и родоначальник новой русской литературы, обогативший человечество бессмертными произведениями художественного слова».

16 декабря 1935 года Постановлением ЦИК об учреждении Всесоюзного Пушкинского комитета было предписано открыть к пушкинским дням две выставки в Москве и Ленинграде, которые должны были продемонстрировать «жизнь великого поэта, его борьбу с самодержавием и гибель в этой борьбе».[72]

Выставочную комиссию Всесоюзного Пушкинского комитета возглавила директор Государственной библиотеки им. В. И. Ленина Е. Ф. Розмирович. Для создания центральной экспозиции в столице, отбора материалов для нее по всей стране были сосредоточены лучшие интеллектуальные силы Москвы и Ленинграда.

Тематический план Всесоюзной Пушкинской выставки и ее концепцию в Москве разрабатывали известные пушкинисты: М. А. Цявловский, И. Н. Розанов, С. М. Бонди, Д. Д. Благой, Н. Б. Ашукин, Г. О. Винокур, историк М. В. Нечкина, музыковед А. Г. Гольденвейзер, искусствовед А. Д. Чегодаев. В создании экспозиционных планов принимали участие опытные сотрудники Государственного Исторического и Государственного Литературного музеев. В обсуждениях и рецензировании планов участвовали директор ГЛМ В. Д. Бонч-Бруевич, писатели В. В. Вересаев, Н. Л. Бродский.[73]

В Ленинграде ИНЛИ возглавил к памятной пушкинской дате всю издательскую, культурно-просветительскую, а также выставочную, музейную и реставрационную работу, непосредственно, в силу нового социального заказа, продолжив традиции Пушкинского Дома.

Заведовать музейным отделом института с мая 1936 года стал Б. В. Шапошников, художник и музейщик (создатель музея 40-х годов в Москве на Собачьей площадке). С 1932 года в музее работал и М. М. Калаушин, старший научный сотрудник и заведующий экспозиционной работой (впоследствии, с 1953 года, первый директор Всесоюзного музея А. С. Пушкина).

Б. В. Шапошников вместе с художником-архитектором Б. А. Альмедингеном, членом Пушкинского общества, возглавили реставрационные и экспозиционные работы в доме на набережной Мойки, 12. К пушкинскому юбилею была открыта экспозиция, посвященная последнему периоду жизни и творчества поэта. Кабинет был восстановлен по плану В. А. Жуковского и воспоминаниям современников как мемориальный. М. М. Калаушин курировал от Института литературы работы в Пушкинском заповеднике, в селе Михайловском. В 1936 году в состав Пушкинского заповедника ввели Петровское, Савкину горку, городище Воронич и всю территорию Святогорского монастыря. Дом-музей поэта в Михайловском заново строили на сохранившемся фундаменте. В музее Института литературы создавались выставки, посвященные жизни и творчеству поэта, которые предназначались для библиотек, домов культуры, школ, заводов и фабрик, а также для отправки за границу по линии Всесоюзного общества культурных связей с заграницей.

В течение всего 1936 года специалисты всех научных отделов института ежедневно консультировали по вопросам творчества и биографии поэта работников печати, представителей фабрично-заводских и вузовских пушкинских комиссий, художников, занявшихся иллюстрированием Пушкина. Был организован лекторий и открыты курсы для подготовки экскурсоводов, на которых обучалось более 30 человек.

Частичное финансирование строительных и реставрационных работ к юбилею было открыто лишь во II квартале 1936 года.

---

[72] Известия ЦИК СССР. 1935. 16 дек. № 292.

[73] *Солдатова Л. М.* Взаимодействие пространства и сюжета экспозиции // Музей в современной культуре. Сб. научных трудов. Академия культуры. СПб., 1997. С. 22—51.

Работы по реконструкции дома поэта в Михайловском, последней квартиры Пушкина, по установке памятника на месте дуэли пришлось вести за один летний строительный сезон, в авральном порядке. Национализация дома на Мойке, 12 и устройство в нем культурно-просветительского центра — «Дома Пушкина» в такие сроки было невыполнимой задачей. Не удалось расселить жильцов и в здании Института на Васильевском острове.

Повсеместной организации пушкинских выставок придавалось особое идеологическое и политическое значение. Их устраивали на предприятиях в красных уголках, в библиотеках и в школах, на кораблях и в местах заключения.

Однако необходимость создания Областной пушкинской выставки в Ленинграде пришлось отстаивать Ю. Г. Оксману, введенному в состав московской экспозиционной комиссии для формирования на Всесоюзной Пушкинской выставке раздела «Рукописи и реликвии».

21 апреля 1935 года, в своих возражениях на план работы московской юбилейной выставочной подкомиссии, Ю. Г. Оксман подчеркнул необходимость организации выставки в Ленинграде. «Ленинградская Пушкинская выставка, — писал он, — ни в коей мере не должна дублировать Всесоюзную или строиться на материалах, необходимых для экспонирования в Москве, но тем не менее выставка эта, разместить которую Пушкинский Дом предполагает в последней квартире Пушкина, должна быть достойной города Ленина».[74]

Места размещения главных юбилейных выставок страны, как в Москве, так и в Ленинграде, долго не могли определить.

На заседании Всесоюзного Пушкинского комитета в Москве 10 апреля 1936 года был принят проект постановления СНК СССР: «Поручить Всесоюзному Пушкинскому комитету организовать в Москве в 1937 году Всесоюзную Пушкинскую выставку в Музее изобразительных искусств и Пушкинскую выставку в Ленинграде в Русском музее и в столицах союзных республик».[75] Через полгода Всесоюзная Пушкинская выставка была организована рядом с Кремлем, в Государственном Историческом музее.

14 апреля 1936 года в Институте литературы, под председательством Ю. Г. Оксмана, была создана организационная комиссия по делам подготовки к пушкинскому юбилею. В состав ее вошли сотрудники института: В. А. Десницкий, К. И. Ровда, Д. П. Якубович, от музейного отдела старший научный сотрудник М. М. Калаушин и представитель Обкома т. Камская.

Комиссия выступила с инициативой создать Выставочную комиссию при Ленинградском Областном Пушкинском комитете из представителей музеев и культурно-просветительных учреждений города, которые под руководством Пушкинского Дома могли бы «приступить к заблаговременному выявлению и учету музейных материалов по Пушкину и его эпохе в музеях г. Ленинграда и области... составлению рабочего плана выставки, а также организации высокохудожественного копирования тех материалов, которые предположены и выделены на московскую выставку».[76]

По вопросу организации Областной юбилейной выставки постановили считать целесообразным развернуть ее по двум основным разделам: 1. Пушкин и его эпоха (1799—1837); 2. Пушкин за сто лет (1837 —1937) (в критике, исследованиях, собраниях сочинений, переводах, в музыке, живописи, иллюстрациях, кино, театре

---

[74] Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1935). Ед. хр. 47. Л. 60—61.

После реставрации последней квартиры поэта к 1937 году в ней, под руководством Б. В. Шапошникова и при участии архитектора Б. Альмендингена, была создана литературная экспозиция, посвященная дуэли и смерти Пушкина. По воспоминаниям современников восстановлен кабинет поэта.

[75] Там же. Л. 61.

[76] Там же. Оп. 1 (1936). Ед. хр. 63. Л. 59 об.

и проч.). Во избежание «параллелизма в материалах с Юбилейной выставкой в Москве считать необходимым в организации выставки сделать упор на период жизни и творчества Пушкина (1831—1837), непосредственно связанный с Петербургом».[77]

Членами Выставочной комиссии института был произведен просмотр, отбор, экспертиза экспонатов для пересылки музейных и рукописных материалов в Москву и разработан общий план Областной пушкинской выставки в Ленинграде. Вопрос о размещении экспозиции дискутировался долго. Наконец, на заседании Областного юбилейного комитета решено было развернуть выставку в помещении Государственного Эрмитажа, так как Русский музей в то время не располагал свободными площадями.

Целевой лозунг центральной выставки был разработан в Центральном Исполнительном Комитете ВКП(б) и принят в Ленинграде без обсуждения: «Широкая популяризация творчества Пушкина как создателя русского литературного языка и родоначальника новой русской литературы, обогатившего человечество бессмертными произведениями художественного слова». Согласно идеологической установке, в экспозиции необходимо было проиллюстрировать пять тем: «1. Жизнь Пушкина. 2. Творческое дело Пушкина. 3. Наследие Пушкина в русском историко-литературном процессе. 4. Пушкин — великий поэт народов Советской страны. 5. Пушкин и мировая литература».[78]

По созданию тематико-экспозиционного плана Областной пушкинской выставки в Ленинграде работало пять бригад, составленных из лучших специалистов всех научных отделов Института новой литературы.[79]

Биографию Пушкина «поручили представить» Л. Б. Модзалевскому, Б. П. Городецкому, Б. С. Мейлаху, Б. В. Шапошникову и Е. П. Населенко.

Проблемы творчества — Д. П. Якубовичу, Б. В. Томашевскому, Б. В. Шапошникову и М. М. Калаушину.

Работу над темой «Пушкин в истории литературы» возглавил В. Е. Евгеньев-Максимов, при участии С. А. Рейсера и Л. Г. Гринберг.

Г. А. Гуковский, Н. П. Свирин, В. А. Мануйлов, А. Г. Софронов (от Русского музея) и от Союза художников — Н. Э. Радлов разрабатывали тему «Пушкин и Советский Союз».

Тему «Пушкин и мировая литература» представляли Б. В. Томашевский, М. П. Алексеев и В. М. Жирмунский.

Идеологический надзор за работой экспозиционной группы осуществляли представители Обкома т. Кузнецов и т. Брискман.

Директором Областной Пушкинской выставки стал директор Государственного Эрмитажа И. А. Орбели. Ответственным секретарем — Л. А. Раков. Ученым секретарем от Института литературы был С. Е. Гессен, а после его трагической гибели — М. М. Калаушин.

Оформление выставки создавалось с участием художников Б. М. Серебровского и Б. В. Щуко. Они старались «вписать» экспонаты в архитектурную среду и эстетически организовать на щитах, обтянутых тканью.

В мае 1936 года умер А. М. Горький.

Финансирование всех долгосрочных юбилейных мероприятий было задержано до конца года!

Обращение наркома просвещения А. С. Бубнова в Совнарком в апреле 1936 года об отпуске на реставрационные работы 700 тысяч рублей результата не имело,

---

[77] Там же. Л. 59.

[78] Там же. Ед. хр. 65. Л. 129.

[79] *Солдатова Л. М.* История создания Пушкинских экспозиций в Государственном Эрмитаже // А. С. Пушкин — Эрмитаж — Петербург. Педагогика диалога культур. СПб.: ГЭ, 1999. С. 63—75.

так же как и его письмо к И. В. Сталину и В. М. Молотову с «Проектом постановления об ознаменовании 100-летия со дня смерти А. С.Пушкина».

15 июля 1936 года Институт литературы отправил свое письмо на имя Председателя Ленсовета И. Ф. Кодацкого с просьбой «форсировать созыв Ленинградского юбилейного Пушкинского комитета» и «учесть большую политическую важность Пушкинской годовщины». 17 июля подобное письмо было составлено на имя А. С. Щербакова, в то время первого секретаря Ленинградского Обкома партии:

«Многочисленные напоминания дирекции ИНЛИ о необходимости форсировать созыв Ленинградского юбилейного Пушкинского комитета и разрешить вопросы, связанные с теми работами, которые поручены Всесоюзным Пушкинским комитетом непосредственно Институту — остались безрезультатными. ИНЛИ при подобном отношении не может считать себя ответственным за невыполнение или опоздание мероприятий по Пушкинскому юбилею».[80] По-видимому, это были последние документы, составленные при непосредственном участии Ю. Г. Оксмана.

В начале июля в «Правде» были опубликованы статьи по «делу математика Лузина»:[81] «Враги в советской маске» и «Традиции раболепия». Началась очередная политическая кампания против Академии наук.

На общем собрании сотрудников гуманитарных институтов Ленинградского отделения АН СССР, организованном 20 июля 1936 года для обсуждения «дела Лузина», клеймили «гнилой либерализм», «так называемые академические традиции» и врагов народа. Выступающие, не называя имени заместителя директора Института новой литературы Ю. Г. Оксмана, находили в его действиях «элементы лузинщины», обвиняли его в засорении научных кадров, упрекали в открытом вредительстве. Секретарь партийного бюро института восклицал с трибуны: «Людям, политически дискредитировавшим себя, создается авторитет и вручается ведущее дело классической литературы».[82]

Ю. Г. Оксман вскоре был уволен и, как «враг народа», арестован.

В августе 1936 года в столице начался открытый суд над троцкистско-зиновьевским «антисоветским объединенным центром», «поставившим себе задачей в целях захвата власти совершение ряда террористических актов против руководителей ВКП(б) и советского правительства». Л. Б. Каменев вместе с Г. Е. Зиновьевым был одним из главных обвиняемых. Прокурор А. Я. Вышинский требовал от подсудимых чистосердечных признаний в терроризме и шпионаже в пользу иностранной разведки.

В 1934 году Л. Б. Каменев признал свою моральную и политическую ответственность за убийство Кирова, в 1935 году был осужден по делу «Московского центра» и по «кремлевскому» делу, в 1936 году, обвиненный в тайной связи с Троцким и с гестапо, после окончания процесса был расстрелян как «враг народа».

Ленинградский Областной Пушкинский комитет был образован лишь в октябре 1936 года. Официально его возглавил Председатель Ленсовета И. Ф. Кодацкий. Заседания проходили в Управлении по делам искусств при Ленсовете. От Академии наук и Пушкинского общества на них присутствовал академик Н. С. Державин, от ИНЛИ — ученый секретарь Н. Г. Свирин, секретарь Пушкинской комиссии Д. П. Якубович и Л. Б. Модзалевский (сын создателя Пушкинского Дома).

Монтаж выставки в Государственном Эрмитаже начался в ноябре 1936 года и происходил в борьбе за каждый значительный экспонат. Приоритет Москвы в использовании музейных ценностей сразу поставил под угрозу саму возможность открытия Ленинградской Областной выставки.

---

[80] Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1936). Ед. хр. 66. Л. 28.

[81] Несколько статей Лузина были переданы им за границу и там опубликованы.

[82] Стенографический отчет собрания гуманитарных институтов Лен. отделения АН СССР по обсуждению статей, помещенных в газете «Правда». 20 июля 1936 // Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1936). Ед. хр. 1. Л. 47 об.

В Государственный Исторический музей по спискам, представленным специальной комиссией, была отправлена лучшая часть пушкинианы из собрания Пушкинского Дома (128 портретов Пушкина и его современников, 41 картина «на тему жизни поэта», иллюстрации, изображения пушкинских мест, 96 рукописей и документов).[83] Этого оказалось недостаточно.

30 декабря 1936 года Совнарком СССР обязал Центральное архивное управление и государственные музеи «немедленно предоставить Всесоюзному Пушкинскому комитету необходимые выставочные материалы» и запретил государственным хранилищам и музеям, имеющим пушкинские материалы, организацию выставок без разрешения Всесоюзного Пушкинского комитета.

Финансирование Областной Пушкинской выставки было открыто в последние дни 1936 года, но вместо 200 тысяч рублей по смете на нее было выделено 150 тысяч.

21 января 1937 года в Ленинград приехала Е. Ф. Розмирович, председатель Всесоюзной выставочной комиссии. Придя в Эрмитаж, где монтажные работы велись уже круглосуточно, она стала отбирать экспонаты для Москвы из кладовой и со стен. На возражения сотрудников и Л. А. Ракова, ответственного секретаря Областной Пушкинской выставки, «т. Розмирович указала, что всякая попытка задерживать вещи для ленинградской выставки приведет лишь к запрещению строить последнюю».[84]

На первой научно-производственной конференции, которая в эти дни проходила в Государственном Эрмитаже, И. А. Орбели, отвечая сотрудникам, обеспокоенным судьбой пушкинской выставки, с отчаянием признался: «Я сегодня перед Вами стою и не знаю, должна быть тут выставка или не должна быть, а открыться она должна 1 февраля, чтобы массы могли еще до пушкинской годовщины посетить эту выставку».[85]

Для всех было очевидно, что все мероприятия к 100-летию со дня смерти Пушкина были обязательным политическим заданием для Института литературы и всех музеев города, поэтому необъяснимы были трудности, которые создавались невидимым дирижером.

23 января в Военной коллегии Верховного суда в Москве началось открытое слушание дела троцкистского «параллельного центра». Бывшие сотрудники Института, некогда состоявшие в «троцкистско-зиновьевской оппозиции», среди них Г. Е. Горбачев, заместитель директора института в 1931 году А. Д. Камегулов, бывший староста аспирантского партийного бюро и заместитель редактора печатной газеты Академии наук Горелов, а также еще несколько человек, уволенных из ИНЛИ, были осуждены и расстреляны в 1937 году.

В феврале 1937 года, после того как очередная «презренная кучка предателей и изменников нашей великой Родины была стерта с лица земли» (так сообщал журнал «Искусство» о расправе с виднейшими военачальниками Советского Союза Тухачевским, Якиром, Уборевичем, Гамарником и др.), по всей стране с необыкновенным размахом началось чествование Пушкина, «убитого царской Россией».

На фоне судебных процессов юбилей Пушкина выглядел грандиозной политической кампанией. Образ поэта, «невольника чести», как назвал его М. Ю. Лермонтов, в каком-то отношении превращался в лубочный фетиш.

Газеты публиковали известия о празднованиях в Киеве, Тбилиси, Ташкенте, о пушкинских днях в Брюсселе и Тегеране, в Вене и Софии. Печатали сводки из ино-

---

[83] На Всесоюзную Пушкинскую выставку в Москву Государственный Эрмитаж предоставил 136 экспонатов из разных отделов, Музей города — 106, Русский музей — 159, Музей революции — 19.

[84] Л. А. Раков — И. А. Орбели. Докладная записка. 29 января 1937 // Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Ед. хр. 2181. Л. 41.

[85] Протокол первой научно-производственной конференции Государственного Эрмитажа // Там же. Л. 40.

странных газет о торжественных мероприятиях в Париже и в Лондоне, в Стокгольме и в Анкаре, в Праге.

Главным событием юбилея стал праздник в Москве.

10 февраля днем возле памятника А. С. Пушкину состоялся митинг, собравший 25 тысяч человек.

11 февраля на торжественном заседании в Большом театре СССР, в присутствии сидевших в правительственной ложе Сталина, Молотова, Кагановича, Орджоникидзе и других членов ЦК партии, а также представителей дипломатического корпуса и министра иностранных дел Финляндии Р. Холсти, занявших всю сцену членов президиума, представителей Всесоюзного Пушкинского комитета, перед залом, «заполненным делегатами от колхозов, заводов и фабрик, трудовой интеллигенции», нарком просвещения А. С. Бубнов произнес речь «о гениальном поэте — преобразователе русской литературы, русского художественного слова, великом гуманисте, затравленном николаевской Россией». «Пушкин — наш! — с пафосом воскликнул он в конце. — Только в стране социалистической культуры окружено горячей любовью имя бессмертного гения, только в нашей стране творчество Пушкина стало всенародным достоянием. Пушкин принадлежит тем, кто под руководством Ленина и Сталина построил социалистическое общество, он принадлежит народам СССР, которые под великим знаменем Ленина—Сталина идут к коммунизму».[86]

13 февраля из Соловецкого лагеря строгого режима домой написал письмо заключенный — П. А. Флоренский: «Получена газета, заполненная Пушкиным. Можно чувствовать удовлетворение, когда видишь хотя бы самый факт внимания к Пушкину. Для страны важно не то, что о нем говорят, а то, что вообще говорят; далее Пушкин будет говорить сам за себя и скажет все нужное».[87]

16 февраля, рядом с Кремлем, в 17 залах Государственного Исторического музея (на площади 2000 кв.м) состоялось торжественное открытие Всесоюзной Пушкинской выставки, в организации которой участвовали более 100 музеев и архивных учреждений Советского Союза. Создание выставки стоило государству 1 200 тысяч рублей. «Выставка явилась не только большим культурным событием, но и большим событием в музейной жизни столицы», — писали центральные газеты.

В Ленинграде памятные пушкинские дни проходили с такой же официальной пышностью, как и в Москве.

8 февраля был установлен гранитный обелиск на месте дуэли Пушкина и на некоторых домах «пушкинского Петербурга» появились мемориальные доски.

10 февраля после реконструкции была открыта последняя квартира поэта, где прошло научное заседание Института литературы совместно с Союзом писателей.

11 февраля на Стрелке Васильевского острова состоялась закладка памятника Пушкину и многотысячный митинг.

«Сегодня трудящиеся города Ленина закладывают монумент памятника А. С. Пушкину... Сюда, на эту площадь, стекаются многотысячные колонны рабочих, служащих, бойцов Красной Армии и Флота, работников науки и техники, артистов, художников, учащихся, — восторженно писал собственный корреспондент центральной «Правды». — Они идут со знаменами и лозунгами, высоко поднимая портреты великого поэта, товарища Сталина, членов Политбюро и Правительства».

Вечером 11 февраля в Театре оперы и балета им. С. М. Кирова, при участии правительства города и представителей широкой общественности, было организовано торжественное траурное собрание и концерт.

Завершились всесоюзные юбилейные мероприятия 22 февраля 1937 года открытием в 19 залах Зимнего дворца Областной Пушкинской выставки.

---

[86] Ленинградская правда. 1937. 11 февр. № 34 (6620).

[87] *Флоренский П. А.* Из письма семье 13 февраля 1937. Соловки // Флоренский Павел, священник. Соч.: В 8 т. М., 1998. Т. 4. С. 662—663.

В Георгиевском зале разместили раздел «Пушкин и Советский Союз», и первое, что видел посетитель при входе с Иорданского подъезда, был громадный гипсовый бюст Сталина. Специально к юбилею поэта отреставрировали Военную галерею 1812 года. В бывших покоях Екатерины II, в анфиладе, выходившей окнами на Дворцовую площадь, на экспонатах XIX века был развернут основной монографический сюжет экспозиции. Вид на «Александрийский столп» становился цитатой из пушкинского «Памятника», Зимний дворец и весь город, видимый из окон, — грандиозными мемориальными экспонатами выставки.

В печати было отмечено, что ленинградская выставка превосходила центральную глубиной научной разработки темы, но значительно уступала ей по ценности своих экспонатов.

Областная Пушкинская выставка имела большой успех, и, по просьбе И. А. Орбели, ее работа была продлена до 15 мая.

В двух таких непохожих друг на друга, грандиозных по тому времени, экспозициях, посвященных жизни и деятельности Пушкина, его биография впервые была представлена в едином последовательно развивающемся сюжете и проиллюстрирована подлинными изобразительными материалами и документами эпохи. Творчество поэта впервые было наглядно соотнесено с реалиями его жизни и с широким историко-социальным контекстом.

В 1937 году возник новый жанр экспозиции и особый тип историко-литературного монографического музея, принцип построения которого сравнивали с книгой. Обязательными были хронологическая последовательность в организации тематического материала и цитата, идеологически направляющая внимание посетителя.

После Пленума ЦК ВКП(б), который прошел в Москве в феврале—марте 1937 года, газета «Ленинградская правда» (№ 72 (6658)) опубликовала доклад Сталина «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников». По постановлению Пленума, была «развернута программа перестройки методов руководства на всех уровнях, в целях быстрейшей ликвидации последствий вредительства на отдельных участках».[88]

По результатам обследования ИНЛИ комиссией Президиума Академии наук была выработана резолюция, заслушанная на партийном собрании Института 6 июня 1937 года, в день рождения А. С. Пушкина.

«В течение ряда лет, — говорилось в документе, — враги народа и вредители (Каменев, Оксман) дезорганизовывали работу института, засоряли его состав, использовали институт во вредительских целях и расхищали накопленные в нем ценности, всемерно препятствуя осуществлению институтом возложенных на него

[88] В марте 1937 года на имя первого секретаря Ленинградского Обкома партии Жданова поступило письмо секретаря парткома Институтов Академии наук Антонова по поводу ученого секретаря ИНЛИ Н. Г. Свирина, исполнявшего также обязанности второго секретаря Ленинградского отделения Союза советских писателей: «Что представляет собой Свирин как коммунист?». В этом документе было указано, что Свирин «был одним из руководителей группы Литфонда в Ленинграде вместе с Камегуловым, Горбачевым, Гореловым, Майзелем и др., ныне арестованными и осужденными. Со всеми перечисленными врагами партии имел самую тесную связь как с единомышленниками и на работе и в быту. Ничего не сделал для их разоблачения. Руководя сектором литературы института искусствознания, Свирин просмотрел в 1936 году появление в секторе в качестве учебного пособия книгу фашиста Троцкого „Литература и революция"...Осенью 1935 года, редактируя книгу „Письма декабриста Тургенева", Свирин, как редактор, пропустил письмо Тургенева, которое в свете сегодняшнего дня ведет перекличку с немецким фашизмом по национальному еврейскому вопросу. При наличии этих моментов Свирин не имел и не имеет ни одного выступления на наших партийных собраниях, отговариваясь неумением говорить. В парторганизации как коммунист не активен. Все это приводило к выводу о постановке вопроса о Свирине как о коммунисте...» 19 мая на письме Антонова появилась резолюция « о т. Свирине. Освободить от обязанностей 2 секретаря Лен. Отд. ССП, приурочив освобождение к выборам в правление». В июне 1937 года Н. Г. Свирин, а также сотрудники ИНЛИ К. И. Ровда и Векслер были исключены из партии (Архив истории политических документов. Ф. 25. Оп. 2. Ед. хр. 852. Л. 31—36).

задач. После освобождения института от врагов народа и вредителей институт перестроил свою работу, однако и до настоящего времени он не организовал ее на уровне требований, предъявленных к учреждениям Академии наук СССР».[89]

Самыми неблагополучными участками в Институте литературы снова оказались архив и музей, потому что были «не связаны в своей работе с остальными частями института; музей организован без руководства политической идеи и представляет собой выставку экспонатов, разложенную по чисто внешним признакам».[90]

Специальный правительственный заказ, героически выполненный сотрудниками института в 1936—1937 годах: организация Областной Пушкинской выставки и проведение пушкинского юбилея — в тексте резолюции не был даже упомянут!

Резолюция заканчивалась предписанием немедленно «реорганизовать музей института, превратив его в органическую часть института, неразрывно связанную как с научно-исследовательской работой института, так и с его архивом. Произвести проверку музейных фондов, перестроить систему экспозиции, придав ей надлежащую идейную направленность и выставив все ценное, что хранится в настоящее время в Институте под спудом».[91]

Через три недели после партийного собрания института, 28 июня, на специальном заседании бюро Василеостровского райкома ВКП(б) был заслушан доклад секретаря партийной организации ИНЛИ О. Цехновицера: «О состоянии работы в Институте литературы Академии наук СССР».

После его прослушивания бюро райкома отметило в деятельности института еще больше недостатков, чем обследовательская комиссия Президиума Академии наук:

«Подрывная работа врагов народа, орудовавших в институте (Каменев, Оксман, Юрьев, Тымянская), была направлена к созданию нездорового антагонизма и групповщины между научными сотрудниками, к зажиму молодых кадров, к отрыву тематики института от советской действительности и к протаскиванию враждебной контрабанды в литературе...

План 1936 года, составленный врагом народа Оксманом, был направлен на разработку второстепенных вопросов, заведомо невыполнимых работ и рассчитан на переходящие из года в год темы... В отдельных изданиях 1936—1937 гг. имеет место протаскивание враждебной контрабанды...»

В конце заседания Василеостровского бюро РК было вынесено постановление:

«Осудить настроения, имеющиеся среди отдельных сотрудников института о, якобы, уже свершившихся переломах в перестройке работы института... важнейшей задачей парторганизации Академии наук и в особенности коммунистов Института литературы является борьба со всякого рода контрреволюционной контрабандой, протаскиванием анти-ленинских, анти-марксистских взглядов в научной и издательской деятельности института.

Считая, что очищение института от враждебных элементов не окончено и практическая борьба с последствиями вредительства развернута недостаточно, бюро РК предлагает парторганизации продолжить активную работу по разоблачению прикрывшихся последышей врагов народа Каменева, Оксмана и, мобилизуя преданных партии и советской власти сотрудников, — практически бороться за ликвидацию последствий вредительства.

Предложить Парткому Академии наук иметь неослабный контроль над научной работой коммунистов».

Особо было отмечено, что решение бюро райкома «о создании в институте сектора детской литературы», принятое еще 17 декабря 1936 года, «не выполнено и за

---

[89] Архив РАН.Ф. 150. Оп. 1 (1937). Ед. хр. 12. Л. 3—5.
[90] Там же. Л. 4—5.
[91] Там же.

практическую реализацию этого институт не взялся», что бюро РК настоятельно «считает необходимым создание при институте литературы Академии наук раздела работ (в виде группы, сектора, отдела) Советской литературы и Детской литературы» и поручает секретарю парторганизации института, т. Цехновицеру, «войти с этим вопросом в Президиум Академии наук».

Цехновицеру было рекомендовано пересмотреть план работы института на 1937 год, который «полностью не отвечает задаче перестройки института... включив вопросы, приближающие институт к современной действительности... Основную работу института (создание многотомной истории русской литературы) — поставить главной задачей плана и мобилизовать все силы на ее практическое выполнение».[92]

В деле сохранились и прения по вопросу о работе ИНЛИ, состоявшиеся на заседании Василеостровского бюро райкома 28 июня, и рукописные наброски о последствиях вредительства, состоянии научных планов института, краткие персональные характеристики «лояльности» всего кадрового состава учреждения, сделанные, вероятнее всего, основным докладчиком.[93]

В прениях особо был поднят вопрос о музейном отделе и о научных кадрах. «...Институт обладает богатейшими материальными и научными ценностями, сказал один из выступающих, но эти ценности находятся под слабым контролем и институт не регулирует использование этих ценностей...»; «...Жирмунский, Десницкий, Пиксанов, Эйхенбаум, сказал другой выступающий, имеют большие знания, но они имеют очень отдаленное отношение к марксизму и боевой литературе и политической работе у нас в стране. И вот эти люди накладывали особый отпечаток на всю работу института... Отсюда традиция старой Академии наук, которая пыталась быть как можно дальше от злободневности...»[94]

В июне в Москве началось дело «О вредительстве в Словаре современного русского языка Академии наук». Ответственность за вредительство была возложена на академика Н. С. Державина, являвшегося ответственным редактором словаря с 1931 года, и на члена-корреспондента Академии наук, профессора С. П. Обнорского, работавшего над словарем с 1912 года. В течение трех вечеров 10, 11 и 13 июня проходило общее собрание работников Института языка и мышления, с привлечением других институтов, по вопросу о вредительстве в словаре. Академик И. И. Мещанинов, директор Института языка и мышления, был отстранен от руководства

---

[92] Архив истории политических документов.Ф. 2019. Оп. 2. Ед. хр. 168. Л. 1—7.

[93] Там же. Л. 16: «Орудовали враги: Каменев, Оксман, Юрьев, Тымянская (карандашом: Камегулов, Горбачев), исключенные из ВКП(б) Ровда, Свирин, Эйдук.

Как вредили. 1. Отрыв от действительности — план а) нет сов. литературы — класс. б) литературы народов СССР нет. в) в стороне от борьбы сегодняшней. 2. Развращение кадров. — а) совместительство — групповщина — дисциплина — оттирание. б) зажим молодежи, засорение (сводка). в) ликвидация аспирантуры — мало докторантов (7 ч.). г) Воспитание видимой аполитичности у специалистов. 3. Контрабанда в литературе. — а) брак 1936 г. =(сводка) переделка. б) контрабанда — (выдержки) Пушкин — VII том — комментарии. в) Пушкин — марксист.

В этом замечалась линия работы врагов. Борьба с последствиями вредительства слабая. 1. План 1937 г. (его критика). а) План 1936 г. вредительский, а 1937 г. головотяпский. б) Уводит в сторону от современности — сов. литературы. в) расплывчатость — безыдейность. И т. д.».

Там же (Л. 21—22) краткие политические характеристики сотрудников ИНЛИ: «О кадрах в институте на сегодня. С прошлым: Берков — в прошлом связан с агентом гестапо Гукалевским, Пиксанов — вульгарный социологизм, Векслер — активный меньшевик, был арестован в прошлом, Гиппиус — был тесно связан с Оксманом, Десницкий — орг. „Новой жизни", Гуковский — брат связан с Бухариным, Жирмунский — 2 раза арестовывался, Берковский — холуй при Авербахе, связан с ЛАППом, Адрианова-Перетц — жена сосланного академика Перетц, Еремин — отец выслан, Городецкий — литовец, Мордовченко — связан с Оксманом, Фомин — ведет антисоветские разговоры, Шапошников — был арестован по 58 ст. ... Вывод = не разгонять сразу, а пополнять институт новыми».

[94] Там же. Л. 9.

над изданием словаря. 19 июня по постановлению Президиума АН СССР был организован общественный суд над ответственным редактором словаря академиком Н. С. Державиным.

15 июля 1937 года секретариат Горкома партии Ленинграда рассмотрел вопрос о вредительстве в словаре. За подписями Угарова и Жданова было вынесено постановление: «...составители Словаря... работавшие под руководством академика Державина и профессора Обнорского, пытались превратить словарь в орудие борьбы против партии и советской власти. Под видом цитат, объясняющих значение того или иного слова, составители словаря протаскивали контрреволюционную пропаганду: клевету на большевизм, антисоветские лозунги, пропаганду национальной вражды и расовой теории, а также идеализм и поповщину...» Все «материалы по вредительству» были переданы «органам НКВД для привлечения виновных к ответственности».[95]

В свете этого постановления, затрагивавшего всю издательскую деятельность Академии наук, как Институт литературы, так и Пушкинское общество, председателем которого был академик Н. С. Державин (принимавший участие во всех совещаниях Ленсовета по вопросу об организации Областной Пушкинской выставки), оказывались объектами особо опасными в идеологическом отношении. После этих событий председателем правления Пушкинского общества был избран известный писатель Ал. Н. Толстой.

Согласно новому Положению, подписанному Президиумом АН СССР 28 сентября 1937 года, ИНЛИ становился ведущим научным литературоведческим учреждением Союза ССР. Ему определили новые условия существования и частично вернули прежнее название: «Институт литературы (Пушкинский дом), именуемый сокращенно ИЛИ, является научно-исследовательским органом Академии наук СССР и ведет исследования в области древней и новой русской литературы, литературы народов СССР и литератур западных... институт имеет своей задачей: разработку вопросов теории марксистско-ленинского литературоведения и истории литературы русской, народов СССР и Запада. Для содействия строительству нового бесклассового социалистического общества и овладению трудящимися Советского Союза культурным наследием прошлого... сосредоточивает свое внимание на создании истории литературы русской, народов СССР и Запада; на подготовке академических комментированных изданий сочинений русских классических писателей, с учетом всех достижений марксистско-ленинского литературоведения и советской и иностранной текстологии...»[96] В Положении заново была прописана структура института[97] и особо подчеркнута базовая, но «подсобная» роль музея, архива и библиотеки в деятельности всего учреждения: «Архив, музей и библиотека, являясь научно-материальной базой ИНЛИ, ведут свою специальную работу по собиранию, хранению и научно-технической обработке соответствующих материалов и обслуживают ими госучреждения, а также научные и литературные организации, а также отдельных исследователей».[98]

8 октября 1937 года в «Известиях» было опубликовано коллективное обращение московских писателей, пушкинистов, художников, артистов к Председателю Всесоюзного Пушкинского комитета с просьбой о превращении Всесоюзной юбилейной выставки в постоянный музей.

Вслед за этой публикацией, 10 октября, новый директор Института литературы (1937—1947), академик П. И. Лебедев-Полянский, и его заместитель, академик

---

[95] Там же. Ф. 25. Оп. 2. Ед. хр. 997. Л. 104—106. 117.

[96] Архив РАН.Ф. 150. Оп. 1 (1937). Ед. хр. 12. Л. 92.

[97] «Институт состоит из отделов: древней русской литературы, новой русской литературы, современной литературы, западных литератур, библиографического отдела, рукописного отделения, музея и библиотеки... В состав института входят следующие учреждения: а) Музей „Последняя квартира Пушкина", б) Пушкинский Заповедник» (Там же. Л. 96).

[98] Там же. Л. 24.

А. С. Орлов, написали письмо в Президиум АН СССР в надежде не только сохранить уникальное создание советской музейной мысли и спасти его от расформирования, но также и вернуть пушкиниану Пушкинского Дома в Институт литературы (который с 1934 года предполагалось переместить в Москву).

«Институт литературы (Пушкинский Дом) АН СССР считает организацию единого Пушкинского музея, идея создания которого была выдвинута Президентом АН академиком В. Л. Комаровым на юбилейной пушкинской сессии, делом всемерно необходимым и срочным... подобного рода музей должен быть органически связан с широкой литературно-исследовательской базой и... было бы чрезвычайно важным, как это уже указывалось и в нашей печати (Известия ВЦИК от 8.10.1937), сохранить Всесоюзную Пушкинскую выставку, не распыляя ее между отдельными учреждениями Союза.

Научною базой для создания единого пушкинского музея всего естественнее мог бы явиться Институт литературы АН СССР, носящий имя Пушкина, где сосредоточены богатейшие материалы, послужившие основой для Всесоюзной Пушкинской выставки. Отмечаем, что Пушкинский Дом АН является единственным литературоведческим центром пушкиноведения.

Исходя из этих соображений, Институт литературы просит Президиум АН срочно возбудить перед Совнаркомом СССР ходатайство о передаче Всесоюзной Пушкинской выставки в ведение Академии наук СССР и о создании Пушкинского музея на базе Института литературы АН СССР».[99]

В дополнение к посланному ранее материалу по поводу Пушкинской выставки в Москве П. И. Лебедевым-Полянским было написано письмо академику-секретарю Отделения общественных наук АН СССР А. М. Деборину, в котором он предлагал расположить постоянный пушкинский музей в здании, где «в течение многих десятилетий находился Румянцевский музей», и просил «поставить на Президиуме АН вопрос о закреплении за Институтом литературы Академии наук СССР помещения бывшего Румянцевского музея... что дало бы возможность приступить к переброске Института из Ленинграда в Москву».[100]

Несмотря на ходатайства дирекции Института литературы, декретом Совнаркома от 4 марта 1938 года Всесоюзная Пушкинская выставка была преобразована в Государственный музей А.С.Пушкина при Институте мировой литературы АН СССР. Разместить его предполагалось в Москве, в здании бывшего Румянцевского музея. Экспонаты, взятые на выставку из разных музеев и архивных хранилищ, закрепляли в качестве основных фондов нового музея.

В декабре 1938 года по «делу наркомов» был репрессирован и впоследствии расстрелян нарком просвещения и председатель Всесоюзного Пушкинского комитета А. С. Бубнов. В 1939 году арестовали директора Института мировой литературы и Всесоюзной Пушкинской выставки И. К. Луппола.

Администрация Государственного Исторического музея начала тяготиться присутствием рядом с Кремлем грандиозного детища пушкинского юбилея.[101]

Так 100-летие со дня кончины А. С. Пушкина было отмечено репрессивными мерами по отношению ко всем его участникам и организаторам, находившимся на самых разных ступенях служебной иерархии, и созиданием нового, крупнейшего в то время, советского учреждения культуры путем революционной экспроприации ценностей.

Бывший Пушкинский Дом, превращенный в научно-исследовательский Институт литературы и, несмотря на все постигшие его репрессии, все-таки остав-

---

[99] Там же. Л. 34.

[100] Там же. Л. 37—37 об.

[101] Администрация ГИМа 1 ноября 1939 года отправила жалобу в Президиум АН СССР, обвиняя Государственный музей А. С. Пушкина и его администрацию, дирекцию ИМЛИ, в «нарушении особого режима в здании, находящемся рядом с Кремлем на Красной площади», и угрожая направить свои претензии... в НКВД (Архив ГИМа. Оп. 1. Ед. хр. 517. Л. 45).

шийся хранителем традиции памяти Пушкина, на этот раз оказался выхолощенным, лишенным большей и лучшей части своего духовного ядра — пушкинианы.

В начале марта 1938 года начался очередной политический процесс «лево-троцкистского бухаринского блока». Газеты были наполнены сообщениями о допросах обвиняемых, обличительными речами А. Я. Вышинского и гневными письмами трудящихся. В середине марта Москва восторженно встречала челюскинцев, а через неделю «Известия» громили вредителей, «которые свили себе гнездо в Главном управлении кинематографии и в киностудиях», «сознательно сокращали планы, затягивали сроки выпуска картин, разбазаривали народные деньги, увеличивали брак, удорожали производство».

Меньше чем через месяц после «судьбоносного» постановления Совнаркома, 1 апреля 1938 года, в газете «Известия» (№ 76 (6543)) появилась статья под заглавием «В стенах Ленинградского института литературы» за подписью известных писателей и литературоведов, сотрудников института: Ал. Толстого, Н. Тихонова, Вяч. Шишкова, В. Мануйлова, Инн. Оксенова, Ал. Дымшица.

Указывая на то, что «в стенах института долгое время орудовали самые разнообразные враги, сначала антисоветски настроенные ученые старой академической школы, затем ловко маскировавшиеся, но разоблаченные троцкистские вредители», которые «тормозили выход научных изданий, протаскивали в печать свои реакционные, псевдонаучные „труды", глушили творческую инициативу советских ученых, шельмовали их, консервировали замечательные музейные и рукописные богатства», статья критиковала институт за то, что он стоит «в стороне от запросов социалистической культуры», за «академическую замкнутость», «антиобщественное отношение» к Союзу советских писателей и Пушкинскому обществу, за «отставание от живых вопросов современности», за то, что в планах института «нет монографий обобщающего характера, нет даже попыток дать книги, подводящие итоги современному изучению классиков».

Особенно досталось в этой статье музею института: «Большая часть классиков занимает в музее весьма скромное место. Гоголю, Тургеневу, Островскому, Гончарову уделено место непропорциональное их значению в литературе. Совсем отсутствуют материалы о писателях XVIII века. Забыт Чехов, совершенно не представлен Горький. Нет ни одного экспоната, характеризующего деятельность Брюсова, Блока и крупнейшего из советских поэтов, Маяковского. В музее вообще отсутствуют экспонаты советской литературы, являющиеся продолжением и развитием великой классической русской литературы... Музей нуждается в немедленной и самой серьезной перестройке».

Несмотря на типичные для сочинения такого жанра особенности стиля, обличительный пафос и безадресность доносительства (например, «создается впечатление, что кто-то сознательно дезорганизует и разваливает научную работу»), в статье содержалась и объективная информация о недостатке квалифицированных экскурсоводов, о чрезвычайно низкой оплате труда сотрудников, об элементарном отсутствии места в музее («до сих пор не выселены частные жильцы из здания института»), о том, что «институт нуждается в пополнении своего хозяйственного инвентаря и современном ремонте здания». Ответственными за такое состояние дел были названы: Отделение общественных наук АН СССР, Президиум Академии наук и Ленсовет. Статья завершалась выражением надежды на помощь вышестоящих организаций и на оргвыводы по отношению к коллективу института.

В это же время в стенной газете ИЛИ один из сотрудников института «просигнализировал», что «в музее чувствуется рука фашистского бандита Каменева».

17 апреля 1938 года состоялось общее собрание коллектива института с обсуждением статьи, опубликованной в «Известиях».

В. М. Жирмунский с собрания ушел. Н. К. Пиксанов в начале своего выступления выразил изумление, что отсутствуют авторы-подписанты.

«Я считаю, — сказал Б. М. Эйхенбаум, — что сам замысел этой статьи сопровождался уже предвзятой мыслью, по тем или иным соображениям (я не знаю, по каким), что институт следует разгромить... Статья написана беспринципно в том смысле, что с одной стороны авторы делают вид, что хотят помочь, но в самом деле топят институт».[102]

Горячему обсуждению подверглось как положение дел в научных отделах института, так и в музее. Особенно болезненным оказался вопрос об идеологическом состоянии музейных экспозиций.

«В музее не преодолена та линия на эстетику, которая была дана вредительским руководством, — с возмущением отметил один из выступающих, — не преодолена боязнь говорящего, даже кричащего лозунга и боязнь кричащей экспозиции. Это нужно преодолеть. Возможно, что в старом музее был перегиб в этом отношении, что на эстетическую сторону было обращено больше внимания. Перегиб в обратную сторону должен быть. Нужно найти путь, который заставил бы экспозиции воспитывать посетителей не только в плане литературном, но и в политическом. На расширение этих задач должен выступить музей, если он хочет быть не только музеем обучающим, но и музеем пропагандирующим марксизм—ленинизм».[103]

Другой выступающий был озабочен тем, что «музей живет изолированной жизнью, замкнутой жизнью. Он самостоятельное учреждение. Я вижу, что работа, которая ведется над концепцией истории литературы, не отражается в музее... Надо прямо сказать, что музей находится в неудовлетворительном состоянии и не только в том отношении, что многого в нем нет, а в том отношении, что есть, что сделано плохо. Вот возьмите раздел о Гоголе. Там нет животрепещущих разделов. Это очень старая экспозиция, которая не является предметом обсуждения нашего коллектива».[104]

Отстаивая позиции музея и творческие методы работы, возражая на обвинения, содержавшиеся в статье, и на критические замечания выступавших, заведующий музеем Б. В. Шапошников сказал: «...новые экспозиции отличаются тем, что они построены марксистско-ленинским методом. Аполитичных экспозиций больше нет. Музей старается показывать проблемы актуальные для современной советской действительности.

...Но это не такое простое дело — найти сразу новые пути. Мы делаем все это впервые, заимствовать нам не от кого. У нас нет ни учителей, ни образцов. Но направление само правильно...

У многих выступавших здесь есть ошибка, которая связана с литературоведческим подходом к музею. Музей не есть разорванная на цитаты статья. Надо уметь доказать эту цитату, чтобы был конкретный показ. Читать можно статьи в книгах, а если показывать, то нужно показывать так, чтобы зритель был чем-то привлечен, а, следовательно, это должно быть включено органически в экспозицию».

Кроме сугубо профессиональных вопросов, которые мало интересовали присутствующих на собрании, Б. В. Шапошников коснулся вопросов организации музейной работы в институте. Он отметил малое число сотрудников в музее, хронический недостаток помещений для развертывания экспозиций, отсутствие необходимой материальной базы: «В прошлом году мы жили без всякой сметы, — сказал он, — мы не могли даже планировать».[105]

В заключение собрание приняло резолюцию, предварительно уже одобренную руководством Академии наук, с некоторыми добавлениями: «в институте до насто-

---

[102] Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1938). Ед. хр. 6. Л. 24, 26.
[103] Там же. Л. 72 об.
[104] Там же. Л. 81 об.
[105] Там же. Л. 89—91 об.

ящего времени ведется слабая борьба с последствиями вредительства», а также, «отмечая перестройку целого ряда зал (в смысле экспозиций, в частности Пушкинского зала, Пушкинской квартиры, Лермонтовских экспозиций, Некрасовских экспозиций), собрание считает, что темпы перестройки недопустимо медленны, и предлагает дирекции в кратчайший срок принять меры для ликвидации».[106]

После таких собраний всегда делались соответствующие оргвыводы. Б. В. Шапошников от заведования музеем вскоре был отстранен. 3 сентября 1939 года в должности заведующего музейным отделом института был утвержден 35-летний М. М. Калаушин.

Через 8 лет после пушкинского юбилейного 1937 года, на исходе Великой Отечественной войны, Институт литературы снова испытал на себе разрушительный «каприз самовластья». В феврале 1945 года Совнарком СССР (вводя в действие постановление 1934 года о выселении академических институтов из Ленинграда) предписал Президиуму Академии наук срочно освободить здание Пушкинского Дома на Тучковой набережной, 2 для размещения в нем... Технологического института им. В. М. Молотова.[107] Постановление было подписано Председателем Совнаркома В. М. Молотовым.

В разрушенном блокадой городе Институту литературы (Пушкинский Дом) предстояло лишиться не только лучшей части своего музейного собрания, но и жизненно необходимого пространства.

Так мог бесследно исчезнуть памятник Пушкину, ставший в начале XX века «общим делом» русской интеллигенции, содержащий устремленность в будущее, идею бесконечного развития культурной традиции памяти.

III

За годы советской власти не только Петербург, но и его окрестные дворцы и парки претерпели значительные изменения. В 1918 году Царское Село переименовали в Детское Село. Дворцы превратили в детские санатории и здравницы для трудящихся. В Александровском дворце, в покоях последней царской семьи, открыли музей Дворцового быта. В начале 1930-х годов экспозицию сократили до парадных залов и личных покоев Николая II и Александры Федоровны. Во втором этаже разместили санаторий НКВД, в левом флигеле — детский дом.

Незадолго до войны музей Дворцового быта, как «не имеющий художественной ценности», собирались закрыть, а здание Александровского дворца передать... Сельскохозяйственному институту.

В 1937 году в пушкинские юбилейные дни, за недостатком средств на реконструкцию мемориальных памятников, Детское Село переименовали в город Пушкин и при въезде в него поставили памятник поэту.

Во время фашистской оккупации дворцы и парки города Пушкина подверглись разрушению.

Сразу после снятия ленинградской блокады была создана «Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников»,[108] которая обследовала пригородные дворцы для фиксации нанесенного им ущерба и опубликовала в «Ленинградской правде» официаль-

---

[106] Там же. Л. 90—91 об.

[107] *Федосеев М. Е.* Докладная записка о потребном количестве рабочей площади для ленинградских учреждений АН СССР. 30 августа 1945 г. (Архив РАН. Ф. 4. Оп. 2 (1946). Ед. хр. 7. Л. 71—75).

[108] В состав комиссии входили представители верховной администрации города, партийных органов, Академии наук СССР, митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, известные ученые, искусствоведы, писатели.

ный доклад об их состоянии. В сборнике трудов ЧГК «Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР», опубликованном в Москве под редакцией И. Э. Грабаря в 1948 году, находится описание разрушений, обнаруженных комиссией после оккупации и артобстрелов в пригородах Ленинграда.[109]

По результатам деятельности Чрезвычайной Государственной комиссии в Правительстве в сентябре 1945 года был создан проект Постановления Совнаркома «о мероприятиях по восстановлению дворцов и парков-музеев в г. Пушкине, Павловске, Петродворце и Гатчине».[110] Согласно этому проекту в первую очередь, начиная с IV квартала 1945 года до 1951 года, предстояло в городе Пушкине, бывшем Царском Селе, восстановить только центральную часть Александровского дворца, Екатерининский дворец и Эрмитаж.

Этот документ «для сведения» был отправлен президенту Академии наук СССР С. И. Вавилову,[111] уже через несколько месяцев после его избрания.

В деятельности Академии наук в послевоенное время наметился новый этап, и во многом благодаря неутомимой активности С. И. Вавилова.

На общем собрании Академии наук 17 июля 1945 года, обсуждая кандидатуру будущего президента, ученые отмечали организаторские способности С. И. Вавилова, его широкий кругозор, умение строить работу так, чтобы «многообразие задачи позволяло каждую из идей проводить в жизнь, выдвигая самую важную для данного момента». С. И. Вавилов свою выборную речь завершил так: «Нам предстоит очень много работать для создания новых кадров, для распространения настоящей, мощной, оригинальной культуры на многие центры нашей необъятной родины».[112]

Проект «По организации Всесоюзного музея А. С. Пушкина и восстановлению музейных памятников г. Пушкина в связи со 150-летием со дня рождения А. С. Пушкина» [113] был представлен С. И. Вавиловым на рассмотрение Председателя Совнаркома В. М. Молотова 22 ноября 1945 года, уже после согласования его с первым секретарем Горкома и Обкома партии Ленинграда А. А. Кузнецовым.

А. А. Кузнецов, в 1937 году бывший куратором Областной Пушкинской выставки от Обкома партии, после прорыва ленинградской блокады и организации линии фронта, стал одним из инициаторов создания Музея Обороны Ленинграда. Он был горячим патриотом города и, так же как и Вавилов, считал, что «необходимо добиться такого положения, чтобы Ленинград щедро, как и раньше, распространял науку и культуру по стране... чтобы Ленинград стал сокровищем талантов».[114]

Представляя свой первый проект в правительство, С. И. Вавилов в сопроводительном письме кратко объяснил его цели и задачи, сроки исполнения и затраты.

---

[109] В акте обследования ЧГК так было описано состояние Александровского дворца: «Взрывом бомбы разрушен один из подъездов. Сдвинуты со своего места и повреждены силой взрыва несколько колонн. Повреждена вся кровля и выпилены стропила. Внутри разрушен ряд помещений вместе с междуэтажными перекрытиями, сняты двери и паркетные полы. Уничтожен почти полностью интерьер комнат последних Романовых. Разрушен угловой парадный зал, стены которого в трещинах; всюду повреждена облицовка из искусственного мрамора. Оконные рамы со стеклами отсутствуют, так же как и мебель». (Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР / Под редакцией И. Э. Грабаря. М., 1948. С. 300).

[110] Архив РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1945). Ед. хр. 39. Л. 2—7.

[111] Сергей Иванович Вавилов — физик, один из создателей нелинейной оптики, изобретатель люминесцентного освещения, автор многих трудов по истории науки.

[112] Протокол заседания общего собрания АН СССР 17 июля 1945 (Архив РАН. Ф. 4. Оп. 2 (1946). Ед. хр. 1. Л. 96—120).

[113] Архив РАН (Москва). Ф. 2. Оп. 1 (1945). Ед. хр. 39. Л. 31—36 об. Подробнее см.: *Солдатова Л. М.* Пушкинский юбилей 1949 г. Судьба проекта С. И. Вавилова по созданию в городе Пушкине «Русского Веймара» // Университетский пушкинский сборник. М.: Изд. МГУ, 1999. С. 558—569.

[114] *Демидов В., Кутузов В.* Последний удар. Документальная повесть // Ленинградское дело. Лениздат, 1990. С. 38.

Он напомнил, что ввиду постановления 1937 года второй круглый юбилей поэта является политическим событием государственного и мирового значения.

Сообщив о затруднениях Академии наук при размещении Всесоюзного музея А. С. Пушкина АН СССР (преобразованного из Всесоюзной Пушкинской выставки 1937 года) и «основного научно-исследовательского учреждения, в котором разрабатывается литературное наследие А. С. Пушкина — Института литературы АН СССР (бывшего Пушкинского дома)», С. И. Вавилов предложил использовать для них пострадавшие во время оккупации города Пушкина здания Александровского дворца и бывшего Царскосельского лицея, так как «осуществление указанных начинаний позволит достойным образом увековечить память великого русского поэта в г. Пушкине, в котором прошла его юность... Несомненно, что значение г. Пушкина, как культурно-исторического памятника, таким образом, будет в значительной степени увеличено. Вместе с тем, наиболее целесообразно будет решена значительная часть огромной задачи — восстановление дворцов и памятников г. Ленинграда, пострадавших от немецких фашистов».[115]

Четкость и убедительность обоснований позволили оценить актуальность предложения президента Академии наук, его идеологическое значение, эстетическую выразительность и масштаб, достойный круглой юбилейной даты. После разрушительной войны в столь короткие сроки восстановить места, связанные с памятью национального гения, значило еще раз продемонстрировать всему миру духовную силу и могущество Советского Союза.

Совнарком СССР распоряжением № 3344-р от 13 марта 1946 года «передал с 1 апреля 1946 года в непосредственное ведение Президиума АН СССР здания б. Александровского дворца и б. Ц/с Лицея в г. Пушкине для размещения в них Института литературы и филиала Всесоюзного Пушкинского музея АН СССР».[116] В Президиуме АН СССР вопрос о передаче Лицея и Александровского дворца Институту литературы не был решен до середины 1946 года.

Только через полтора месяца, 13 июня 1946 года, было вынесено решение: «1. Здания Александровского дворца и б. Ц/с Лицея со всеми примыкающими к ним помещениями передать в ведение Института литературы (Пушкинский дом) АН СССР. 2. Поручить Институту организовать охрану указанных зданий и определить состав музейных фондов Александровского дворца, подлежащих передаче Академии наук СССР. 3. Предложить Институту Литературы не позднее 15 июня с. г. представить соображения о штатах, потребных для организации охраны зданий и музейных фондов».[117]

В проектном задании Института литературы, составленном в 1946 году, предполагалось здание б. Царскосельского лицея использовать для административного управления института, его научно-исследовательских отделов, сектора фонограмм и фольклора, большого и малого конференц-зала. Обязательным условием было восстановление в первоначальном виде Актового зала, комнат Пушкина и его ближайших друзей-лицеистов.

Александровский дворец, по этому заданию, в первом этаже должен был вместить экспозиции и фонды двух музеев: Государственного музея А. С. Пушкина и музея Пушкинского Дома, во втором — библиотеку на 600 тысяч томов и отдел рукописей со специально оборудованными хранилищами, читальными залами и кабинетами для работы.

Для возвращения культурных ценностей, утраченных из обстановки дворцов, разоренных во время оккупации, С. И. Вавиловым 12 сентября 1946 года была об-

---

[115] С. И. Вавилов — В. М. Молотову. 22 ноября 1945 // Архив РАН (Москва). Ф. 2. Оп. 1 (1945). Ед. хр. 39. Л. 32.

[116] Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1. Т. 2 (1946). Ед. хр. 35. 3612/7.

[117] Там же. Оп. 1 (1946). Ед. хр. 391. Л. 1.

разована Комиссия под председательством директора Института истории искусств И. Э. Грабаря. Сотрудники ленинградских музеев были командированы в Германию для поиска и возвращения разграбленного дворцового убранства.

13 марта 1947 года И. Э. Грабарь представил С. И. Вавилову «Опись музейных ценностей, уничтоженных, пропавших или поврежденных на территории СССР во время оккупации фашистов», в которой подробно был отмечен ущерб, нанесенный интерьерам дворцов бывшего Царского Села, и Александровского дворца в частности.[118]

В апреле 1947 года Совет Министров СССР в целях создания «нормальных условий для работы научно-исследовательских учреждений и институтов Академии наук СССР» вынес решение «О переводе в г. Ленинград учреждений АН СССР», отменяющее постановление 1934 года о переводе всех институтов в Москву.

Решение правительства о глобальном новом перемещении институтов из столицы в разрушенный Ленинград, как всегда, требовало больших затрат и было равносильно не улучшению условий, а развалу работы на многие годы, потере части специалистов, сокращению научно-исследовательских программ.

На фоне этой очередной механической реорганизации науки, которой не смог противостоять Президиум Академии наук, проект С. И. Вавилова, связанный с переводом ИЛИ в город Пушкин, отличался своей продуктивностью и особой «оптикой». Благодаря ему появилась возможность «свести в один фокус» и решить сразу несколько крупнейших гуманитарных проблем, по отдельности неразрешимых.

Александровский дворец (шедевр архитектуры эпохи классицизма, построенный Д. Кваренги для любимого внука Екатерины II) получал реальную возможность быть восстановленным в кратчайшие сроки, к юбилею А. С. Пушкина.

Пушкиниана Пушкинского Дома в составе Государственного музея А. С. Пушкина (Всесоюзной Пушкинской выставки 1937 года) воссоединялась с собранием Института литературы.

Институт получал новый архитектурный образ и пространство, в котором можно было свободно устроить научные отделы и сектора и на современном уровне разместить музей, архив и библиотеку — в единстве, о котором могли только мечтать организаторы «особенного» памятника поэту.

В «Городе муз» классический дворец становился смысловым центром всего природного мемориального памятника, драгоценным хранилищем реликвий истории русского слова и искусства — одновременно литературным Пантеоном, Академией изящных искусств и Одеоном.

19 апреля 1947 года Научно-экспертный совет по охране памятников Ленинграда обсудил два варианта проекта восстановления Александровского дворца и его приспособления под Институт литературы и Всесоюзный музей А. С. Пушкина. Оба варианта были выполнены Институтом «Ленакадемпроект», под руководством кандидата архитектуры Л. М. Безверхнего.

Совет рассмотрел представленные чертежи и планы двух вариантов проекта, доклад архитектора А. Р. Соломонова, экспертов Г. Г. Гримма (доктора искусствоведения) и С. В. Трончинского (заведующего сектором музеев Городского отдела культурно-просветительной работы Ленгорисполкома), ознакомился с инженерными экспертизами.

Первый вариант предполагал воссоздание только архитектурного замысла Д. Кваренги. Второй — частичное восстановление планировки и интерьеров конца XIX века (архитектора Данини), т. е. восстановление архитектурного убранства кабинета, приемной и части покоев Николая II.

При обсуждении сторонники научной реставрации памятника архитектуры вступили в спор со сторонниками его нового функционального использования.

---

[118] Там же. Ф. 596. Оп. 2. Ед. хр. 161. Л. 44—48.

«Никаких сколько-нибудь серьезных оснований для восстановления заново буржуазной квартиры последнего царя нет, — настаивал С. В. Трончинский. — Более того, эти бытовые комнаты... могли бы только, и при том без всякой цели и надобности, отвлечь внимание посетителей Литературного музея от тематики экспозиции».[119] К мнению С. В. Трончинского присоединилась дирекция Института литературы.[120]

После горячей дискуссии Научно-экспертный совет принял компромиссное решение: восстановить Александровский дворец по второму варианту проекта, но «при восстановлении комнат Николая II — большой кабинет, старый кабинет и приемную — реставрировать полностью. В остальных комнатах, бассейной и камердинерской, желательно восстановить историческую отделку в пределах совмещения отделки с экспозициями музея».[121]

Споры о необходимости восстановления архитектурных интерьеров в покоях последней царской семьи продолжались до декабря 1948 года.

За пределами докладной записки, полученной В. М. Молотовым от С. И. Вавилова в 1945 году, осталось многое, что в действительности стал воплощать академик С. И. Вавилов. Уже в мае 1946 года он обратился к председателю Ленгорисполкома с просьбой предоставить Академии наук в г. Пушкине еще десять зданий «для того, чтобы в полной мере развернуть научно-исследовательскую и научную работу в городе Пушкине и превратить этот город в общесоюзный центр пушкиноведения и литературоведения в целом».[122] В ответ на эту просьбу уже 29 августа 1946 года Президиуму Академии наук рядом с Лицеем и Александровским дворцом были переданы девять зданий. В них предстояло устроить жилые квартиры для сотрудников института и музея, гостиницу и ресторан на 50 мест для отечественных и иностранных ученых, гараж с механической ремонтной мастерской на 30 грузовых и легковых машин, столовую на 250 мест со вспомогательными помещениями — облегчить не только труд, но и быт ученых.[123] Начались работы по строительству Академгородка.

В этом проекте, появившемся в послевоенное время, был замечателен новый масштаб в решении гуманитарных вопросов, качественно новый, целостный уровень всего преобразования, редкое для советского времени понимание творчества как процесса преемственного, целесообразно и органично развивающегося во времени. Восстанавливая старые традиции, проект не отвергал ни одно из начинаний новейшего времени, создавая синтез самых разнообразных возможностей, дарованных не только отечественной историей, но и европейским опытом.

Город Пушкин С. И. Вавилов хотел превратить в уникальный памятник русской истории и литературы, в академический гуманитарный центр мирового значения — «Русский Веймар».

Послевоенная разруха оказалась препятствием для восстановительных работ в пригородах Ленинграда.

В первый же год после утверждения проекта стали «замораживать» проектирование Академгородка в г.Пушкине. Из-за отсутствия финансирования «Академстройпроект» приступил к отделочным работам в Александровском дворце лишь в июне 1948 года.

Известие о том, что Государственный музей Пушкина будет переведен в город Пушкин под Ленинградом, многими в Москве было воспринято с возмущением.

В декабре 1946—январе 1947 года на имя заместителя Председателя Совета министров К. Е. Ворошилова и самого И. В. Сталина были организованы письма

---

119 Там же. Ф. 150. Оп. 3. Ед. хр. 18. Л. 24.
120 Там же. Л. 23.
121 Там же. Л. 17.
122 Там же. Ф. 4. Оп. 2 (1946). Ед. хр. 7. Л. 36.
123 Там же. Ф. 150. Оп. 1 (1946). Ед. хр. 35. Л. 6.

«группы научных работников», известных писателей, художников и артистов, деятелей культуры и искусства с протестами: «...перевод музея из Москвы в г. Пушкин был бы равносилен его прямой ликвидации, г. Пушкин лежит в развалинах», «ради одного музея Пушкина никто не станет ездить так далеко».

На запрос К. Е. Ворошилова Председатель Комитета по делам искусства при Совете министров М. Храпченко, изложив историю создания Государственного музея А. С. Пушкина и его послевоенную судьбу,[124] сообщил, что по следам писем от общественности были рассмотрены разные варианты для размещения музея в Москве. Все здания оказались малопригодны для музейных целей (в одном была 2-я туберкулезная больница, в другом — женская школа и т. п.), а главное, их облик и масштаб не соответствовали идеологической значительности предстоящего юбилея.

Записка М. Храпченко завершалась выводом: «...следовало бы согласиться с мнением АН СССР о размещении музея А. С. Пушкина в бывшем Александровском дворце в г. Пушкине».[125]

В свою очередь, объясняя К. Е. Ворошилову смысл своего проекта и необходимость перевода музея из Москвы в г. Пушкин, С. И. Вавилов написал: «За границей весьма распространен обычай устраивать научные центры в небольших городах вблизи от крупных городов. В таких небольших центрах научная работа развивается особенно продуктивно... Организация большого музея Пушкина в бывшем Царском селе ни в какой степени не исключает организацию в дальнейшем Пушкинского музея в Москве».[126]

В начале июня 1948 года С. И. Вавилов добился распоряжения Президиума АН СССР (№ 508) «О передаче Институту литературы АН СССР архивных и музейных фондов для организации в г. Пушкине Всесоюзного музея к 150-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина».[127] В кратчайшие сроки, с 23 июня по 9 августа, состоялась передача имущества Государственного музея А. С. Пушкина от Института мировой литературы АН СССР Институту литературы АН СССР.

Бригаду сотрудников института из 18 человек для приема, упаковки и отправки музейных ценностей возглавил М. М. Калаушин, заведующий музеем ИЛИ. Сданное и принятое комиссией имущество было отправлено в Ленинград в 13 крытых вагонах и 7 контейнерах, заключавших в себе 1144 места груза общим весом 145 тонн.[128] Все прибывшие из Москвы ценности пришлось временно разместить в здании института на Васильевском острове, используя коридоры первого и второго этажа, конференц-зал, помещение массового отдела, буфетную, стесняя научные отделы.[129]

Реставрацию фасадов Александровского дворца закончили лишь к началу 1949 года. К 1 января вчерне были готовы 9 залов правого крыла здания площадью 600 кв. м. В Лицее успели закончить отделку Актового зала и трех комнат лицеистов на четвертом этаже. В апреле 1949 года из городского жилого фонда институту были предоставлены всего четыре квартиры для сотрудников и разрешено завозить музейные фонды.

11 мая, за месяц до юбилейных мероприятий, строители передали представителям института 8 залов правого крыла Александровского дворца (бывшие покои

---

[124] «...К моменту возвращения экспонатов в Москву (после эвакуации их в Томск и Ташкент)... залы Государственного Исторического музея оказались занятыми основными экспозициями последнего. Ввиду этого все ценности музея А. С. Пушкина были временно размещены в здании музея А. М. Горького... где они находятся до настоящего времени в упакованном виде» (Архив РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1947). Ед. хр. 55. Л. 1—3).

[125] Там же. Л. 3.

[126] Там же. Л. 11—13.

[127] Там же. Ф. 150. Оп. 1 (1948). Ед. хр. 39. Л. 63.

[128] Там же. Ед. хр. 34. Л. 63—73.

[129] Материалы по перевозке и размещению Пушкинских фондов в Институте литературы АН СССР. 1948 // Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1948). Ед. хр. 35. Л. 1—11.

последней царской четы) для размещения пушкинского музея, хотя по проекту для этой цели предназначалось левое крыло здания. Экспозиция монтировалась в авральном порядке и по своим научным принципам и эстетическому облику мало отличалась от выставок 1937 года.

18 мая, по настоятельному личному требованию С. И. Вавилова, дополнительно были переданы институту центральные парадные залы, реставрация которых еще не была завершена. Чтобы придать им эстетический вид, стены и потолки задрапировали белой парусиновой тканью, полы закрыли красными ковровыми дорожками. На беломраморных стенах парадных залов дворца разместили экспозицию «Пушкин в советском изобразительном искусстве».

К юбилею поэта удалось реализовать ничтожно малую часть грандиозного замысла. Причины этого нужно искать в политической обстановке тех лет.

Сталин не собирался менять свое отношение к культуре и науке, интеллигенции и Ленинграду.

1946 год был отмечен закрытием журнала «Ленинград», шельмованием А. А. Ахматовой и М. М. Зощенко. В 1947 стала набирать обороты кампания борьбы с «безродным космополитизмом» и «буржуазным национализмом». В 1948 году был расформирован музей Западноевропейского искусства в Москве.

20 февраля 1949 года в «Правде» было опубликовано «Постановление ЦК ВКП(б) об антипартийных действиях члена ЦК ВКП(б) Кузнецова А. А., Родионова М. М., Попкова П. С.», обвинявшихся в «сепаратизме» ленинградской партийной организации. Началось «Ленинградское дело».

Среди главных обвиняемых были те, кто оказывал поддержку Академии наук в подготовке к пушкинскому юбилею: А. А. Кузнецов — секретарь ЦК по кадрам, П. С. Попков — первый секретарь и Я. Ф. Капустин — второй секретарь Горкома и Обкома партии Ленинграда, П. Г. Лазутин — председатель Ленгорисполкома. С.И.Вавилов лично обращался к Лазутину при решении многих организационных и финансовых вопросов по строительству в г. Пушкине.

В марте—апреле 1949 года прошла «чистка» партийного и руководящего аппарата на всех уровнях управленческой системы Ленинграда.

Всесоюзный Пушкинский юбилейный комитет был учрежден 27 августа 1948 года постановлением Совета министров СССР (№ 3216), под председательством первого секретаря Союза писателей А. А. Фадеева. В юбилейной программе «мероприятий по увековечению памяти А.С.Пушкина в связи со 150-летием со дня его рождения» Пушкинскому юбилейному комитету поручалась организация торжественных собраний, митингов и народных гуляний, литературных вечеров и концертов как в Москве, Ленинграде, так и во Пскове, Михайловском и Болдино.

Основные долговременные мероприятия, связанные с восстановлением памятных мест, с организацией юбилейных выставок и мемориальных музеев в Москве, г. Пушкине, в Пушкинском заповеднике, а также издание Полного собрания сочинений Пушкина в 16 томах стали делом Академии наук.

В правительственной юбилейной программе не было упоминания о грандиозном послевоенном строительстве в городе Пушкине («Русском Веймаре»).

Накануне торжеств, 2 июня 1949 года, Президиум Академии наук СССР вынес постановление:

«1. Переименовать Институт литературы (Пушкинский дом) в Институт русской литературы (Пушкинский дом), определив его задачей — изучение классической русской литературы».

Этим же постановлением было предписано ликвидировать сектор западной литературы, образованный А. М. Горьким, «с использованием освободившихся штатных единиц для укрепления других секторов института».[130]

[130] Там же. Оп. 1 (1949). Ед. хр. 2. Л. 44.

5 июня в Москве, на торжественном митинге у памятника Пушкину на улице Горького, Н. С. Тихонов сказал: «Великий поэт давно перешагнул границы нашей родины, он стал любимым поэтом многих стран». Такова была новая официальная установка послевоенного пушкинского юбилея. На торжества в Москву и в Ленинград из разных стран мира были приглашены почетные гости: ученые и писатели.

Но на торжественном собрании, устроенном в Большом театре Союза СССР 6 июня, в отличие от 1937 года никого из членов правительства не было. Собравшиеся избрали в почетный президиум заочно Политбюро ЦК КПСС во главе со Сталиным.

Основные юбилейные мероприятия 1949 года, которые проводились по инициативе Академии наук, встречали равнодушие членов правительства и партийного руководства страны.

Незадолго до 150-летия А. С. Пушкина официально и всенародно отметили 50-летие академика Т. Д. Лысенко.

В декабре 1949 года предстояло праздновать 70-летие И. В. Сталина. Задолго до этого события в Москве открыли выставку «Дары Сталину», заняв ею музей Революции и Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Своим великолепием и масштабом она затмила все пушкинские экспозиции в Москве (в выставочном зале Союза художников и Всесоюзную Пушкинскую выставку, подготовленную Государственным литературным музеем в августе 1949 года).

Юбилейные торжества в Ленинграде, запланированные Горкомом партии, проходили по уже известной схеме. Однако участие Академии наук все же накладывало свой отпечаток на многие протокольные мероприятия.

6 июня на площади Искусств был организован митинг и произведена торжественная закладка памятника поэту по проекту скульптора М. К. Аникушина, победившего в конкурсе, организованном к юбилею. Вечером в Театре оперы и балета им. С. М. Кирова состоялось общегородское торжественное заседание представителей промышленных предприятий, научных, учебных заведений, партийных, советских, комсомольских, общественных организаций Ленинграда, посвященное 150-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Открытие торжественного заседания было поручено академику И. И. Мещанинову, председателю Пушкинской юбилейной комиссии Академии наук. Основным докладчиком был утвержден новый директор Института русской литературы, заслуженный деятель науки, профессор Н. Ф. Бельчиков. По окончании заседания был устроен большой праздничный концерт.

С 5 по 13 июня в ленинградских театрах проходила неделя спектаклей на пушкинские темы.

10 июня в городе Пушкине было организовано общегородское торжественное заседание. Основным докладчиком был назначен проф. Н. И. Мордовченко.

12 июня в ЦПКиО им. С. М. Кирова и в парках города Пушкина были устроены народные гуляния. 11—12 июня в город Псков и село Михайловское была направлена делегация трудящихся Ленинграда для участия в пушкинских юбилейных торжествах.[131]

Главными событиями праздничных мероприятий, несмотря на отношение властей, стали открытие музея-квартиры поэта на Мойке, 12, пушкинская юбилейная сессия Академии наук в Актовом зале восстановленного здания Лицея в городе Пушкине, открытие Всесоюзного музея А. С. Пушкина в Александровском дворце и дома поэта в селе Михайловском Псковской области, заново отстроенного после войны.

Благодаря участию Академии наук, послевоенный юбилей поэта, по сравнению с 1937 годом, отличался практическим и масштабным подходом к задаче уве-

[131] План празднования 150-летия со дня рождения Пушкина в Ленинграде // Архив истории политических документов. Ф. 25. Оп. 28. Св. 1594. Ед. хр. 140. Л. 17.

ковечения памяти Пушкина. Возрождая к новой совместной жизни гуманитарный институт и музей, С. И. Вавилов положил начало созданию крупных научных и культурных центров на территории Советского Союза.

Открытие Всесоюзного Пушкинского музея в Александровском дворце г. Пушкина многим запомнилось как событие удивительной эмоциональной силы, как истинное торжество русской культуры, возрожденной из пепла разрушительной войны. Праздник 150-летия со дня рождения поэта стал символом пушкинского «самостояния человека».

10 июня, открывая митинг возле Александровского дворца, С. И. Вавилов сказал: «Мы присутствуем при замечательном торжестве советской культуры... В стенах бывшего Александровского дворца по постановлению правительства открывается пушкинская выставка, составляющая первый и основной шаг осуществления огромного Всесоюзного музея А. С. Пушкина в городе, носящем его имя... Пушкин сегодня входит в Александровский дворец как его окончательный властелин, как новая благородная душа этого огромного и прекрасного здания... Город Пушкин, величественный музей А. С. Пушкина, пушкинский Лицей, весь город с его рощами, озерами, долинами, памятниками, восстановленными дворцами должен стать и несомненно станет любимым местом паломничества для советских людей, любящих свою культуру, гордящихся ею... И здесь в залах этого дворца Пушкинская слава должна зазвучать еще яснее, еще громче, чем где-либо».[132]

Но в первый же месяц после юбилейных торжеств из Александровского дворца на другой объект перевели строительных рабочих. Вернуть их удалось с помощью личного вмешательства С. И. Вавилова.

21 июля 1949 года директору Института языка и мышления имени Н. Я. Марра И. И. Мещанинову было предложено перестроить работу института, «обратив особое внимание на творческую разработку учения Марра о языке с критическим рассмотрением отдельных устаревших и ошибочных его положений».[133] (В области языкознания в это время основным специалистом стал И. В. Сталин.)

В августе 1949 года был изменен «порядок празднования юбилеев в Академии наук». Расходование средств отныне «могло производиться только с разрешения Совета министров СССР и ЦК ВКП(б)».[134]

10 октября 1949 года Исполкомом Ленсовета был утвержден новый устав добровольного Пушкинского общества. Пункт № 8 устава гласил: «Наблюдение и контроль за работой общества осуществляет отдел культурно-просветительной работы Исполкома Ленгорсовета». В уставе было отмечено, что «Пушкинское общество может быть ликвидировано как по постановлению общего собрания членов общества по предложению Правления, так и по распоряжению Исполкома Ленгорсовета». 12 октября 1949 года на заседании бюро Горкома партии Ленинграда наряду с вопросом «о музее Обороны Ленинграда», в котором было обнаружено хранение боевого оружия, взрывчатых материалов и идеологически невыдержанная экспозиция, рассматривался также вопрос «о допущенных ошибках в фотовыставке «А. С. Пушкин. Жизнь и творчество», выпущенной ленинградским Пушкинским обществом. «За допущенные ошибки в изданной и разосланной подписчикам фото-выставке» решено было ответственного секретаря Пушкинского общества В. Е. Вольф «от работы освободить».[135]

В октябре Президиум АН утвердил комиссию в составе шести человек для проверки научной деятельности, состояния и подготовки кадров Института русской литературы АН СССР.

---

[132] Архив РАН. Ф. 596. Оп. 1. Ед. хр. 213. Л. 22—23.

[133] Там же. Ф. 150. Оп. 1 (1950). Ед. хр. 1. Л. 52.

[134] Распоряжение Президиума АН СССР 23 августа 1949 г. № 1204 // Там же. Оп. 3 (1949). Ед. хр. 19. Л. 78.

[135] Архив истории политических документов. Ф. 25. Оп. 28. Ед. хр. 244. Л. 19.

В постановлении, вынесенном по результатам работы проверочной комиссии 29 декабря 1949 года, Президиум АН СССР отметил, что «на протяжении ряда лет вследствие порочного руководства институт находился в отрыве от жизни и актуальных задач марксистско-ленинской науки», «только в 1947—48 году не додал государству свыше 1000 печатных листов научной продукции, а большинство выполненных за это время работ содержит серьезные идеологические ошибки».[136] От работы в Институте русской литературы в марте 1949 года были освобождены «сотрудники, стоящие на враждебных марксизму-ленинизму компаративистских, формалистических и буржуазно-объективистских позициях», и в их числе и. о. директора Л. А. Плоткин, который «неправильно информировал Правительственные органы и Президиум о состоянии работ института».

Дирекции института вменялось в вину, что, несмотря на постановление Президиума АН от 2 июня 1949 года, сектор западной литературы, «тематика которого не соответствует профилю института русской литературы», ликвидирован не был. В постановлении было предложено новой дирекции Института «представить в Президиум проект постановления о порядке ликвидации сектора» к 1 февраля 1950 года.

1 апреля 1950 года вице-президентом Академии наук И. П. Бардиным по ходатайству нового директора Института Н. Ф. Бельчикова был отстранен от должности заместитель директора по административно-хозяйственной части Т. И. Шаргородский, один из деятельных участников строительства в городе Пушкине.

Летом 1950 года по указанию ЦК ВКП(б) была запрещена Главлитом издательская деятельность Пушкинского общества. В течение 1951-го и в начале 1952 года общество продолжало существовать за счет выпуска изданий, находившихся в производстве к моменту запрещения издательской деятельности. В числе изданий, допечатывавшихся в 1951 году, были сочинения Пушкина «Руслан и Людмила», «Сказка о золотом петушке», «У лукоморья дуб зеленый», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Метель», «Станционный смотритель», «Кавказский пленник» и три путеводителя по памятным пушкинским местам («Лицей», «Лицейский садик», «Музей-квартира Пушкина»).[137]

В октябре 1950 года за «вредительски-подрывную работу» и «сепаратизм ленинградской партийной организации», противопоставление Ленинграда центру, были расстреляны А. А. Кузнецов, П. С. Попков и П. Г. Лазутин.

В это время тихо и постепенно закрывали Музей Обороны Ленинграда и краеведческий музей в городе Луге.

Вследствие ужесточившегося идеологического и административного надзора музей в г. Пушкине становился обузой для научного института. Идея «Русского Веймара» из-за ее «прозападнической» ориентации казалась опасной.

Переселение ИРЛИ в город Пушкин было намечено на вторую половину 1951 года, а строительство из-за отсутствия финансирования затягивалось на вторую пятилетку.

25 января 1951 года скоропостижно скончался С. И. Вавилов.

Через неделю Президиум АН СССР объявил о реорганизации структуры «Ленакадемстроя» и сокращении строительно-монтажных управлений. Целевым назначением стали выделять средства только для возведения Главной астрономической обсерватории.

23 июня было ликвидировано строительство в Пушкинском заповеднике Псковской области, которое широко развернул С. И. Вавилов в плане подготовки юбилейной программы.

В г. Пушкине вяло продолжались строительные работы. Перевозили и устраивали фонды музеев в помещениях другого флигеля Александровского дворца, пла-

---

[136] Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1949). Ед. хр. 2. Л. 169—182.

[137] Архив истории политических документов. Ф. 24. Оп. 70. Ед. хр. 202. Л. 169.

нировали «освоить 11 комнат второго этажа восточного крыла здания», обсуждали варианты «размещения для каждого отдела института». Боролись с «развивающейся сыростью вследствие технических недоделок строителей». Начали благоустраивать территорию Лицейского садика и парка возле Александровского дворца.

24 июля директор ИРЛИ Н. Ф. Бельчиков, посылая на согласование главному ученому секретарю АН СССР А. В. Топчиеву «проекты директивных графиков по строительству Института литературы и бывшего Александровского дворца», а также копии графика Центрального управления капитального строительства на 1951—1955 годы, в сопроводительной записке заметил: «Памятуя беседу с Вами 15 июня с. г. о темпах строительства в г. Пушкине и высказанное Вами сомнение о целесообразности перевода Института из Ленинграда, прошу указаний по этим вопросам».[138]

Согласно постановлению Совета министров СССР от 31 августа 1951 года за № 3216—1523 и решению Президиума АН СССР от 25 сентября 1951 года за № 1665—217 представители Академии наук СССР передали Военно-морскому министерству по соответствующему акту от 3 октября 1951 года «в бессрочное пользование для дальнейшей эксплуатации» здание б. Александровского дворца и здание б. Ц/С Лицея».[139]

12 октября на очередном заседании дирекции ИРЛИ уже обсуждали новые варианты размещения Всесоюзного музея А. С. Пушкина в Ленинграде.

В день лицейской годовщины, 19 октября 1951 года, дирекция ИРЛИ обратилась в Президиум АН СССР с просьбой «срочно выделить ассигнования по прилагаемой смете в 98 тыс. рублей» «в связи со срочной необходимостью свертывания и перевозки фондов Всесоюзного музея А. С. Пушкина из Александровского дворца г.Пушкина». Согласно прилагаемой смете для упаковки музейного имущества требовалось упаковочных средств на 14 тысяч рублей и 130 трехтонных грузовиков, а также специальные бригады такелажников. Всю работу по упаковке и перевозке имущества музея А. С. Пушкина институт гарантировал «осуществить в течение 40 дней при наличии благоприятной погоды».[140] Из-за отсутствия средств и свободных площадей для размещения музейных ценностей работы по освобождению зданий в городе Пушкине затянулись до 1952 года.

В сохранившихся протоколах заседаний дирекции ИРЛИ за эти месяцы не обозначен ни момент ликвидации строительства, ни момент переселения Всесоюзного музея А.С.Пушкина и связанные с этим проблемы.

18 ноября 1951 года к академику А. Н. Несмеянову, новому президенту АН СССР, «через голову» непосредственного начальства, директора ИРЛИ, обратился М. М. Калаушин, заведующий пушкинским музеем и музеем ИРЛИ. Он сообщил, что «возникает необходимость в срочном подыскании: 1) нового помещения для Всесоюзного музея Пушкина, отвечающего требованиям музейной эксплуатации, а также стилю и характеру пушкинской эпохи; 2) дополнительного помещения для нужд Института русской литературы».

Обследовав здания г. Пушкина «на предмет использования их для размещения пушкинских фондов» (Запасной дворец, Стасовские оранжереи, Камеронова галерея, Китайский театр), М. М. Калаушин убедился, что «ни одно не отвечает требованиям музейной эксплуатации и хранения», кроме здания Лицея. «Это здание должно быть сохранено за Академией наук, — настоятельно заявил он, — так как является основным Пушкинским мемориальным памятником в г. Пушкине, объединяющим собою ряд других мемориальных объектов: лицейский садик с памятником великого поэта, дома директора Лицея Энгельгардта и преподавателя Лицея Теппера и др.».

М. М. Калаушин назвал 7 адресов в Ленинграде, где, по его мнению, можно было бы разместить экспозицию Всесоюзного Пушкинского музея: Строгановский

---

[138] Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1951). Ед. хр. 33. Л. 109.
[139] Там же. Оп. 3 (1951). Ед. хр. 24. Л. 25—28.
[140] Там же. Оп. 1 (1951). Ед. хр. 34. Л. 45—47.

дворец на Невском проспекте, Шереметевский особняк на Фонтанке, особняк гр. Лаваль на набережной Красного флота, дом братьев Тургеневых на Фонтанке, б. царские конюшни на Конюшенной площади с церковью работы арх. Стасова, особняк Абамелек-Лазаревых по ул. Халтурина, часть Зимнего дворца, занимаемую Гос. Эрмитажем у Строгановского и Октябрьского подъездов, выходящую в садик в сторону Адмиралтейства.

Для Института литературы, испытывающего острую нужду в свободных площадях, он предлагал «освободить весь третий этаж, занимаемый общежитием аспирантов и квартирами сотрудников» в основном здании на Васильевском острове, а также использовать здание, принадлежащее Академии наук и расположенное рядом, в котором располагался Институт огнеупоров Министерства черной металлургии.[141]

Угроза перевода Всесоюзного музея А. С. Пушкина в Москву заставляла спешить. В 1952 году «бездомная» экспозиция была развернута в двух анфиладах Зимнего дворца, в помещениях, обозначенных Калаушиным в письме президенту Академии наук СССР.

4 марта 1952 года деятельность Пушкинского общества была прекращена окончательно. «Контрольно-ревизионное Управление материал о злоупотреблениях в обществе передало в следственные органы».[142] 13 июня 1952 года Бюро ленинградского Обкома ВКП(б) вынесло постановление «поручить Исполкому ЛенГорсовета депутатов трудящихся (т. Ладанову) рассмотреть вопрос о работе Пушкинского общества». Отдел художественной литературы и искусства Ленинградского Обкома КПСС, обвинив Пушкинское общество в «отсутствии тематики издательских планов, спекуляциях с бумагой, космополитизме и пустой говорильне», высказался за необходимость ликвидировать Пушкинское общество «как дублирующее деятельность Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, не имеющее реальной финансовой базы».[143]

В это время в составе Пушкинского общества было 1498 членов и после запрещения издательской основная его деятельность состояла в проведении лекций и художественных чтений. Все прибыли общества обращались на общественнополезные цели. За 1950—1951 годы общество вложило около 400 тысяч рублей в ремонтно-восстановительные работы дома на Мойке, 12, в восстановление музея-квартиры Пушкина, установку памятника во дворе дома работы скульптора Н. В. Дыдыкина, в ремонт здания Бироновых конюшен и приспособление их под помещение для своей просветительской деятельности.

19 сентября 1952 года Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся принял решение (№ 93—19б) «о передаче помещения б. Пушкинского общества в первом этаже дворового корпуса дома на Мойке, 12 общей площадью 400 кв. м. — Институту русской литературы АН СССР для хранилища». Второй этаж Бироновых конюшен, где находились помещения общей площадью 186 кв. м, был передан Прокуратуре г. Ленинграда «под общежитие курсов переподготовки руководящих работников».[144]

IV

Через два года после выселения Всесоюзного музея А. С. Пушкина из Александровского дворца от него, репрессированного по «ленинградскому делу», предстояло отказаться... и Институту русской литературы (Пушкинскому Дому).

16 июня 1953 года Совет министров СССР распоряжением за № 8125 j обязал АН СССР передать Всесоюзный музей А. С. Пушкина, Музей-квартиру А. С. Пуш-

---

[141] Там же. Л. 68—69.

[142] Архив истории политических документов. Ф. 24. Оп. 70. Ед. хр. 285. Л. 164.

[143] Там же. Л. 163.

[144] Там же. Л. 173.

кина, Музей-квартиру Н. А. Некрасова и Пушкинский заповедник в Псковской области в ведение Министерства культуры СССР.

10 июля последовал соответствующий приказ МК СССР. 25 декабря 1953 года директором Всесоюзного музея А. С. Пушкина в составе литературно-монографической экспозиции, размещенной в помещении Государственного Эрмитажа, Мемориального музея «Последней квартиры Пушкина» и Музея-квартиры Н. А. Некрасова был утвержден М. М. Калаушин, директором Государственного Пушкинского заповедника — С. С. Гейченко.

Механическое отторжение Института русской литературы (Пушкинского Дома и научно-исследовательского института Академии наук), исторически сложившегося памятника-учреждения, от созданных им музеев в те годы мало у кого могло вызвать возражение. Понятно облегчение, с которым от музейно-просветительной работы освобождались научно-исследовательские отделы академического института, главным содержанием деятельности которых в то время было изучение историко-литературного процесса на основе марксистско-ленинской теории.

Идеологический догматизм установок «массовой пропаганды» и культпросвета в музейной деятельности упрощал саму сущность научно-исследовательского и источниковедческого подхода к вопросам охраны и изучения исторической памяти. (Музейных работников в те годы иронически называли «избачами».)

Расставаясь, сотрудники музея Пушкинского Дома «по живому» делили единое музейное собрание на две части, разлучая парные портреты, разделяя целостные коллекции, изымая отдельные листы из альбомов.

В 1956 году, отмечая 50-летие со дня основания Пушкинского Дома, в Академии наук сумели оценить противоестественность отделения Всесоюзного музея А. С. Пушкина с его филиалами от Института русской литературы.

В феврале 1956 года Бюро отделения литературы и языка АН СССР, заслушав доклад директора музея М. М. Калаушина, обратилось в Президиум АН СССР с ходатайством «О воссоединении Всесоюзного музея А. С. Пушкина и его филиалов с Институтом русской литературы и возвращении музею ранее ему принадлежавшего здания Александровского дворца в г. Пушкине».

С такой же просьбой в Совет министров СССР обратилось и Министерство культуры СССР.

Последствия этих ходатайств были неожиданны.

Осенью 1956 года Всесоюзный музей А. С. Пушкина и Государственный Пушкинский заповедник оказались в подчинении у Министерства культуры РСФСР, обозначенные в III категории ценности... Александровский дворец, который после выселения Всесоюзного музея А. С. Пушкина употребили под общежитие курсантов военно-морского училища, был превращен в закрытый объект «особого значения» и приспособлен под лаборатории и кабинеты научно-исследовательского института Министерства военно-морского флота СССР. Для музейного использования дворец стал недосягаем на десятилетия.

Замечательная страница послевоенной культурной жизни Ленинграда, история создания и открытия «Русского Веймара», исчезла в «спрятанном» «ленинградском деле». Материалы юбилейных пушкинских торжеств 1949 года, опубликованные в 1951 году, были умело откорректированы, и истинный масштаб невоплощенного замысла С. И. Вавилова утоплен в подробностях праздничных мероприятий.[145]

Так более 50 лет назад произошло отторжение Академии наук от забот по охране пушкинских мест и развитию культурно-просветительской традиции памяти Пушкина. Сокровищница Пушкинского Дома, Пантеона русской литературы, музей, архив и библиотека на долгие годы превратились в «замуравленные колод-

[145] А. С. Пушкин. 1799—1949. Материалы юбилейных торжеств. М.; Л., 1951.

цы», «вспомогательные» структурные отделы института, лишенные самостоятельного значения.

Всесоюзный музей А. С. Пушкина, находясь в системе культпросвета, в 60-е годы стал искать новые пути.

В конце «хрущевской оттепели» удалось найти способы целостного подхода к пушкинской теме на системном философском и художественном уровне[146] и создать новые экспозиции (историко-литературную, «А. С. Пушкин. Личность. Жизнь и творчество», в церковном флигеле Екатерининского дворца в городе Пушкине, мемориальную, в музее-квартире поэта на Мойке, 12, реконструировать и музеефицировать здание Лицея, дачи А. С. Пушкина в Царском Селе). Но в 80-е годы, после долгих лет «застоя», на заре «перестройки», из-за отсутствия научных критериев и государственного подхода созданное в 60-е годы не сумели оценить по достоинству, сочли «устаревшим» и, по распоряжению сверху, стали приспосабливать к возросшим потребностям массовой культуры.

Как хрестоматийное идеологическое использование пушкинской темы, так и ее детализация в научных исследованиях привели к утрате в широком общественном сознании представления о масштабе и целостности личности поэта, формальному пониманию его объединяющей роли и значения в русской культуре, о которых в дореволюционные годы писали создатели Пушкинского Дома.

Традиция памяти Пушкина, рожденная в год столетия со дня рождения поэта, заблудилась на виражах политической истории XX века. «Особенный» памятник Пушкину превратился в разрозненные осколки единого монолита.

В наши дни, когда коммерческие интересы подвергают жизнь пушкинских музеев[147] и Института русской литературы, а вместе с ней и традицию памяти Пушкина, тяжелым испытаниям и заставляют суетно менять задачи и цели деятельности, «за деревьями не видя леса», не пора ли задуматься о том, во что стихийно может превратиться русло этой традиции в ближайшее время?

Пушкин — знаковая величина в русской культуре, во многом определяющая и ее целостность.

«Все высшие культурные ценности, созданные нашим искусством, наукой, философской и религиозной мыслью, публицистикой и критикой, — писал Н. А. Котляревский в 1917 году, — вышли из поля нашего зрения. Но устраивая жизнь на новых началах, о них нужно неизменно помнить и смотреть на них, как на тот купол, который должен увенчать строящееся новое здание».[148]

В год столетия со дня рождения Пушкинского Дома, в XXI веке, не пора ли на самом деле осознать его «национальным достоянием», а значит, государственной актуальной задачей сделать его научную реставрацию и возрождение?

---

[146] *Солдатова Л. М.* Взаимодействие пространства и сюжета экспозиции. С. 22—57.

[147] Всесоюзный, а с 1992 года Всероссийский музей А. С. Пушкина, в составе его филиалов, как и Институт русской литературы (Пушкинский Дом), в начале «перестройки» был внесен в список объектов «национального достояния». В настоящее время музей называется Всероссийским Государственным учреждением культуры (сокращенно ВГУК), относится к Федеральному агентству по кинематографии и массовым коммуникациям. В Уставе музея, утвержденном Министерством культуры Российской Федерации 11 мая 1995 года (№ 319) и 19 октября 1995 года зарегистрированном в мэрии Санкт-Петербурга под № 26714, есть раздел (VI) «Ликвидация и реорганизация музея», в п. 33 которого сказано, что «процедуры ликвидации и реорганизации осуществляются соответствующей комиссией». Пункт 19 устава гласит: «Изъятие или отчуждение имущества производится Правительством Российской Федерации и Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом», но в приказе Федерального агентства по культуре и кинематографии (№ 413 от 30.12.2004) «О внесении изменений и дополнений в устав Всероссийского музея А.С.Пушкина» у п. 19 появилась новая редакция: «Собственник (?! — *Л. С.*) имущества, закрепленного за музеем, вправе изъять в установленном порядке лишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению».

[148] *Котляревский Н. А.* Указ. соч. С. 10.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«ЗАГРАНИЧНЫЕ СВЯЗИ НАМ ТОЖЕ СЛИШКОМ ДОРОГИ»: ПИСЬМА З. ГИППИУС, Д. МЕРЕЖКОВСКОГО, Д. ФИЛОСОФОВА К Б. САВИНКОВУ. 1912—1913 ГОДЫ

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПУБЛИКАЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ © Е. И. ГОНЧАРОВОЙ)

Публикуемые письма З. Гиппиус, Д. Мережковского и Д. Философова к Б. Савинкову относятся к 1912—1913 годам. Замысел Гиппиус написать историю «глубоких» взаимоотношений с эсерами-террористами остался невоплощенным. Поэтому публикуемые письма помогают дальнейшему осмыслению связей «семьи» с эсеровским подпольем.

Отметив Рождество в Петербурге, в конце декабря 1911 года «троица» приезжает в Париж. Русская колония политических эмигрантов в годы, последовавшие за поражением первой русской революции, достигла огромной цифры. Десятки тысяч русских были раскиданы по европейским городам. Париж был центром политической эмиграции. С 1906 года там жил эсер Илья Фондаминский со своей женой Амалией, кузиной теоретика террора М. Гоца. Фондаминские входили в число близких друзей «трио». Их имена часто встречаются на страницах писем и дневника Гиппиус «О Бывшем», посвященном истории «Главного», т. е. истории религиозной деятельности. Приехав в Париж, литераторы, судя по дневнику, почти сразу же навестили своих друзей. Эсер Марк Вишняк несколько карикатурно, но весьма выпукло воспроизвел сцену знакомства «трио» как раз в это время (конец 1911 года) в гостиной Фондаминских с террористкой Марией Школьник, только что сбежавшей с каторги: «Вскинув лорнетку на черной ленточке и наводя на Школьник близорукий взгляд, З⟨инаида⟩ Н⟨иколаевна⟩ томно вопрошала: — Скажите, а как теперь вы за террор или против него? Это был интерес небожителя к антропоиду или к существу с другой планеты. Непривыкшая к дискурсивному мышлению террористка оробела и пыталась уклониться от ответа на мучительный вопрос. Не тут то было: изысканная поэтесса продолжала наседать на экзотичную для нее разновидность тоже человека».[1] Тогда же, вероятно, Мережковские расспросили о Савинкове. В дневнике Гиппиус отметила: «В Париже Бориса не было. Живет в Сан-Ремо — с больной М⟨арией⟩ А⟨лексеевной⟩ и кое-кем из товарищей. Был здесь, ожидая нас, но уехал».[2] Гиппиус сразу же налаживает связи со своим другом — «бомбистом». В первом же письме (от 2 января 1912 года), адресованном Савинкову, она сообщает ему о том, что перед отъездом во Францию Мережковский подписал договор об издании повести Савинкова «Конь бледный». Первое издание повести в 1909 году, наделавшее много шума, было подготовлено Мережковскими. Гиппиус по праву называла Савинкова своим «крестником». Она, покровительствуя знаменитому террористу, не только подарила ему свой малоизвестный литературный псевдоним «Ропшин», но и дала название повести, приписав эпиграф из Апокалипсиса: «И вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя „смерть"; и ад следовал за ним» (Отк. 6: 8). «Конь бледный» вполне вписывался в

---

[1] *Вишняк М. В.* З. Н. Гиппиус в письмах // Новый журнал. XXXVII. С. 185—186. О М. Школьник см. прим. 3 к письму 4.

[2] *Гиппиус З. Н.* Дневники: В 2 кн. М., 1999. Кн. 1. С. 152 (далее только номер книги и страница).

символистский литературный контекст. Пророчества апостола Иоанна о Новом Иерусалиме, сходящем с неба на землю, обладали поразительной притягательностью для литераторов. Хилиастическая утопия была стержнем устремления к обновлению христианства, которое было присуще проповедникам «нового религиозного сознания». «В каждом социалисте, — писал Философов, — живет бессознательная вера в конец всемирной истории. ⟨...⟩ Социализм — это замаскированный христианский хилиазм. Тысячелетнее царство на земле, достигнутое усилиями человечества, только человечества».[3] Как раз Апокалипсис и подчеркивал катастрофический акт спасения. Эсхатологический библейский текст накладывался на кровавый террор достаточно плотно, как будто бы задавая тон рассуждениям о кровавом насилии. Парижский друг «трио» в «Коне бледном» описывал убийство эсерами (Савинков и руководил этим покушением) ближайшего родственника царя — великого князя Сергея Александровича. Позже Гиппиус указывала, что Савинков писал, конечно, себя. И действительно, «Конь бледный» был ярчайшим фактом литературной биографии террориста, воплощенным в художественное произведение. «Дублирование» себя самого позволило Савинкову, с одной стороны, осмыслить то, что составляло сущность его индивидуального сознания, а с другой стороны, автор несомненно дистанцировался от своего героя. Образ террориста анархо-индивидуалистического толка был создан под влиянием идей Мережковских о революционном терроре. Гиппиус в период работы над повестью подталкивала своего ученика к изображению в «мастере красного цеха» Жорже «корневой, вечной» индивидуалистической психологии.[4] Беспощадный убийца-профессионал хладнокровно руководствуется только собственным бунтарским своеволием: «Я так хочу!» И Савинков, находясь под влиянием идей Мережковских о религиозной революции, как будто бы сводил счеты с подобным героем, безусловным антиподом которого был «христианский революционер» Ваня, шедший на убийство как на крестную муку. Образ Вани (прототипом был Иван Каляев) как раз и соответствовал чаяниям Мережковских. Диалог Жоржа с Ваней — ключ к пониманию идей «религиозной революции»: «Слушай, ведь если любишь, много, по-настоящему любишь, можно тогда убить или нельзя? ⟨...⟩ — Убить всегда можно. — Нет не всегда. Нет, убить — тяжкий грех. Но вспомни: нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою. ⟨...⟩ Пойми: нужно крестную муку принять, нужно из любви, для любви на все решиться. Но непременно, непременно из любви и для любви».[5] Таким образом, давалась отсылка к евангельскому тексту (Ин. 15: 13). Именно любовь, занимая центральное положение в философской системе «христианской коммуны», была связующим звеном между индивидуумом и общественностью. Суть «религиозной общественности» — в любви жертвенной. Отношение Гиппиус к Савинкову выразилось поэтической декларацией стихотворения «Не будем как солнце» (1911), посвященного знаменитому «бомбисту». Само название отсылало к книге стихотворений К. Бальмонта «Будем как Солнце» (1903):

Я солнечной пустыни не хочу, –
В ней рабье одиночество таится,
А ты — свою посмей зажечь свечу

Посмей роптать, но в ропоте молиться.
Огонь земной свечи хранить, нести,
И, покоряя, — вольно покориться.

---

[3] *Философов Д. В.* Друзья или враги // Философов Д. В. Неугасимая лампада. Статьи по церковным и религиозным вопросам. М., 1912. С. 179.

[4] Письма З. Гиппиус к Б. Савинкову: 1908—1909 годы // Русская литература. 2001. № 3. С. 126—162.

[5] *Савинков Б. В.* Конь бледный // Савинков Б. В. (В. Ропшин). То, чего не было: Роман, повести, рассказы, очерки, стихотворения. М., 1992. С. 135—136.

Умей быть верным верному пути,
Умей склоняться у святых подножий,
Свободно жизнь свободную пройти

И слушать... И услышать голос Божий.

Бальмонтовская свобода, решаемая с позиций крайнего индивидуализма, не тот путь, по которому следует идти Борису Савинкову.

Текст повести «Конь бледный» (хотя Гиппиус считала, что это роман) был настолько идеологически важен для группы Мережковского, что повесть была предложена для внимательного изучения Мариэтте Шагинян: «Этого „Коня", — наставляла ее Гиппиус, — несовершенного, но бесконечно важного и тогда нового, важного бытием своим, — мы родили жеребеночком, холили и кормили чуть не своим мясом, во всяком случае, здоровьем...»[6] Определенная литературно-политическая стратегия, разработанная в лагере Мережковских, включала и текст их друга-террориста. Поэтому они всячески старались помочь Савинкову в публикации «Коня бледного», который благодаря протежированию Мережковских был переиздан не только в 1912 году, но и 1914-м — об этом свидетельствуют публикуемые ниже письма. Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский являлись наиболее радикальными воплотителями определенной тенденции русского религиозно-философского сознания. Они старались переориентировать национальную мысль в русло религиозного сознания. Но при пристальном изучении их деятельности, в частности тесных отношений с эсерами, неохристианство литераторов выглядит весьма сомнительно, вызывая ряд вопросов.

В первом письме, адресованном Савинкову в 1912 году, Гиппиус сообщала о сложностях работы над «Романом-царевичем» (вторая часть дилогии о религиозной революции),[7] возникшим под явным влиянием «Бесов» (II часть, 8 гл.). Казалось бы, в «Романе-царевиче» Гиппиус следовала за Достоевским в оценке революционного движения, развенчивая опасность героя-индивидуалиста в революции (так же как и Савинков в «Коне бледном»). Но идея Гиппиус о синтезе революции и религии не получила убедительного художественного воплощения. По сути дела, вся деятельность «триумвирата» с 1905 года была посвящена подготовке религиозной революции. Формой воплощения идей были выступления перед политической эмиграцией в Париже, деятельность Религиозно-философского общества и, конечно, публицистические выступления. Это была определенная литературно-политическая стратегия, разработанная «трио». В отличие от Достоевского, прозревшего в революции «бесов», творцы «новой религиозной общественности» увидели в кровавом хаосе террора Христа, не замечая, что их близкий друг как будто бы сошел с вдохновенных страниц «Бесов». Революция без Христа для этого своеобразного духовного союза единомышленников была немыслима. Они продолжали строить проекты религиозно-революционного движения и в эти годы, последовавшие за крахом эсеровского террора, и для «трио» связь с крупной фигурой эсеровского «подполья» сохраняла актуальность. Но общение с Савинковым не приводило к желаемым результатам. В мемуарной книге Гиппиус вспоминала: «После нескольких свиданий этой весной с Савинковым Дм⟨итрий⟩ С⟨ергеевич⟩ сказал мне както: — Знаешь, Савинков мне кажется более бессознательным, чем я думал. Кроме того — он индивидуалист, и довольно-таки безнадежный. Эти крайние индивидуалисты, не способные даже умом понимать, что такое общность, не видят обычно ничего вокруг себя, видят только свое „я"».[8] Мережковские пытались по-прежнему снабдить его своим пониманием исторического момента, своей собственной кон-

[6] Письмо Гиппиус к М. Шагинян от 14 января 1911 года цит. по: *Шагинян М. С.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1986. Т. 1. С. 437.

[7] Первая часть дилогии — роман Гиппиус «Чертова кукла» (1911).

[8] *Гиппиус З. Н.* Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 206.

струкцией отношений между революцией и религией. Неизживаемый радикализм Мережковских и в эти годы вновь и вновь сводил их с бывшим «бомбистом».

Савинков в 1912 году жил в Сан-Ремо, на вилле «Vera Monte Solaro». Все члены его семейства были хорошо знакомы петербургским «мистикам»: жена Савинкова (террористка Е. И. Зильберберг), ее мать (М. А. Зильберберг), невестка (К. К. Зильберберг) с дочерью. С семьей Савинкова жила, как отметила Гиппиус, «умирающая, белая, воздушная, прекрасная М⟨ария⟩ А⟨лексеевна⟩, среди цветов». Место проживания Савинкова теперь определялось здоровьем смертельно больной террористки Марии Прокофьевой. Ее отец, А. К. Прокофьев, старообрядец, богатый уфимский лесопромышленник, снимал дачу для больной туберкулезом дочери.[9] Савинков живет с чувством, что у него «перебиты крылья»: воскресить террор после позорного разоблачения Азефа ему не удалось. «Узкий специалист террора», «охотник за черепами», завоевание политической свободы в России он связывал с громкими героическими актами Боевой организации — взрывом Зимнего дворца, сбрасыванием бомб с самолета на Петергофский и Царскосельский дворцы... От религиозного подвижника, как в этом пытались его убедить Мережковские, в нем не было ничего, скорее наоборот. Сам он как-то признался идейному теоретику террора В. М. Чернову, что он «в сущности анарх».[10] Его стихотворения, написанные в 1911—1913 годы, «страшные», по отзыву Гиппиус, были на одну тему «душа убита кровью». Савинков основательно проштудировал Апокалипсис, но переосмыслил текст последней библейской книги, исходя из собственного кровавого террористического опыта. Одно из его стихотворений, пронизанное реминисценциями из Откровения Иоанна Богослова, являло собой квинтэссенцию философии «мастера красного цеха», воспринимавшего себя отнюдь не религиозным мучеником первых веков христианства, а апокалиптическим Аваддоном-губителем (Отк. 9 : 11):

Не князь ли тьмы меня лобзанием смутил?
Не сам ли Аваддон, владыка звездных сил,
Крылами к моему склонился изголовью
И книгу мне раскрыл, написанную кровью:
«О горе, горе... Вавилон еще не пал...
Час гнева Божьего ужели не настал?
Кто в броне огненной, в пурпурной багрянице,
Отважный вступит в бой с Великою Блудницей?
Иссяк источник вод, горька звезда — Полынь,
Ты — ветвь иссохшая, прах выжженных пустынь».

Я меду внял речей лукавых и надменных,
Я книгу прочитал деяний сокровенных,
Я, всадник, острый меч в безумье обнажил,
И Ангел Аваддон опять меня смутил.
Губитель прилетел, склонился к изголовью
И на ухо шепнул: «душа убита кровью...»[11]

Последняя атака «боевиков» под руководством друга «трио» окончилась даже не поражением — она вообще ничем не окончилась. «Меня мучит совесть, — писал он Прокофьевой еще в 1911 году, — мучит за все несчастья и неудачи. Вся вина лежит, конечно, на мне. Не формальная только вина, гораздо хуже: я разбил корабль о подводные камни, как плохой кормчий, нерадивый и недальновидный. Теперь по воде носятся обломки. Я собираю их, забиваю гвоздями. Что толку? Ведь кормчий все тот же я».[12] Выходом из ситуации тяжелой депрессии стала работа над рома-

[9] О Прокофьевой см. прим. 6 к письму 1.
[10] *Чернов В. М.* Перед бурей. Нью-Йорк, 1953. С. 293.
[11] Цит. по: *Ропшин В.* [*Савинков Б.*]. Книга стихов. Париж, 1931.
[12] ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 528. Л. 32 об.

ном о терроре «То, чего не было», который обсуждается на страницах публикуемых писем. Судя по письмам, Мережковские побоялись встретиться с Савинковым в 1912 году, хотя за границей они провели пять месяцев. Документы архива Департамента полиции говорят о том, что вилла «Vera» была плотно окружена сыщиками, письма от Савинкова порой приходили к Мережковским распечатанными. У литераторов были все основания опасаться встреч с ним. И в Петербурге у их дома сыщик не отходил от дверей, телефон прослушивался. «Я открыл окно, — писал Мережковский в несколько ироническом тоне, — и выглянул на улицу. У подъезда торчал незнакомец таинственный в дрянном пальтишке, как-то нелепо и жалобно сзади подшлепнутом, тот самый, что каждый раз, по возвращении моем на родину, тут как тут...»[13] Поэтому письма на имя «Августа Мальберга», адресованные на виллу «Vera», были одновременно наполнены желанием и боязнью встреч с Савинковым. Эсеровские симпатии Мережковских, это было очевидно, не являлись тайной для власти. Сыщики внимательно наблюдали за всеми контактами «трио» с бывшим «генералом террора».

Кровавый террор пока был на убыли, и для Савинкова наступило время литературных занятий, приносящих и славу, и прибыль. Еще в 1911 году он начал работу над романом о первой русской революции, получившим название «То, чего не было». Главная тема романа, тема острая и современная, — греховность революционного убийства. Факт убийства, все то, что в сознании проповедников «новой религиозной общественности» заслонялось жертвенностью террориста, его гибелью, воспринималось практиком насилия Савинковым как страшный, непрощаемый грех.

С весны 1911 года с семьей Савинкова жила Мария Прокофьева. Роман о терроре, по свидетельству автора, был написан «почти в сотрудничестве с М. А. Прокофьевой и во всяком случае ею одобрен».[14] Посвящение романа «М. А. П.», появившееся в отдельном издании (1914), раскрывается как «Марии Алексеевне Прокофьевой». То, что она, участница заговора против царя, одобрила роман, который шел вразрез с теми идеями, которыми «неохристиане» старательно в течение нескольких лет насыщали эсеров-боевиков, чрезвычайно существенно. Роман являлся дерзким вызовом не только революционному подполью, но и бунтом против «кабинетных теорий» Мережковского. Мистическая идея революции, внедряемая в сознание русской интеллигенции «трио», была очень далека от реальной революции, связанной с кровью, убийствами, насилием. Смысловой доминантой романа был вопрос писателя-террориста: «А кто дал вам право убивать?»

Приехав в Париж, Гиппиус узнала от эсера Фондаминского (Гиппиус называла его Иваном-Царевичем), что ее литературный «крестник» дал уже читать первые главы романа эсерам. Прочитав первую главу, 19 января 1912 года Гиппиус, острый и тонкий критик, пишет письмо, которое является критической статьей, посвященной роману Савинкова. Она подчеркивает, что баррикадные дни — это не только лучшие сцены романа, но и лучшее из того, что писалось на тему первой русской революции в литературе. Гиппиус старается помочь Савинкову осознать себя писателем, при этом заранее предостерегает его от партийной критики. 4 февраля 1912 года она вновь пишет ему развернутое письмо, сообщая, что Мережковский прочитал роман с огромным интересом: «Я считаю, что этой второй вещью вы входите в литературу...» В середине марта 1912 года Мережковские и Философов, отдыхающие в По, у подножия Пиренеев, все-таки собрались ехать к Савинкову в Сан-Ремо. «Взяли билеты на Тулузу — Марсель. Борис уже писал, что рад, ждет», — лаконично пометила Гиппиус в дневнике.[15] Но поездка не состоялась —

---

[13] *Мережковский Д. С.* Мертвая точка // Мережковский Д. С. Было и будет. Дневник. 1910—1914. Пг., 1915. С. 345.

[14] Борис Савинков перед военной коллегией Верховного суда СССР. М., 1924. Приложение. Л. 10 об.

[15] *Гиппиус З. Н.* Кн. 1. С. 155.

внезапно умерла мать Философова, А. П. Философова.[16] При переезде через русскую границу (25 марта 1912 года) жандарм конфисковал у Мережковского рукопись романа «Александр I», а директор Департамента полиции во время прихода к нему Мережковского объяснил, что надзор учрежден из-за знакомства с Савинковым, и даже читал повесть «Конь бледный». В Петербурге писательскую чету ожидал и еще один удар: по телефону сообщили, что Мережковский привлечен к ответственности за пьесу «Павел I» (1908). Писателя обвиняли в дерзостном неуважении к монархии. Судя по письму к Савинкову от 22 мая 1912 года, Мережковский серьезно опасался, что его могут привлечь к ответственности и за отобранный на границе роман. В пьесе «Павел I » и романе «Александр I» (они вошли в трилогию «Царство зверя») Мережковский воплощал определенную антимонархическую концепцию, передоверив свои собственные идеи историческим персонажам. На этот раз кратковременное пребывание «трио» в России было тревожным — встречи с адвокатами, обсуждение предстоящего суда. Навестив Мережковских, С. П. Каблуков зафиксировал в дневнике: «Конечно, Дм⟨итрий⟩ Серг⟨еевич⟩ не доволен перспективой засесть на годы в крепость, но предпочитает заключение эмигрантству. ⟨...⟩ Менее равнодушно относится к этому казусу Зинаида Н⟨иколае⟩вна, она даже поговаривает, что нужно или эмигрировать, или „держать язык за зубами", а о крепости не хочет и слышать, утверждая, что Д⟨митрию⟩ С⟨ергеев⟩ичу придется отсиживать и за „Александра I" и за будущих „Декабристов"».[17]

Думая, что суд за «Павла I» над ним и издателем М. Пирожковым будет 16 апреля 1912 года, Мережковский решает уехать за границу. Когда же выяснилось, что суд состоится только над издателем (дело Мережковского было выделено за «неразысканием»), литературная чета, достав заграничные паспорта, все-таки спешно выехала из Петербурга. В начале апреля, проведя в России всего лишь десять дней, они снова были в Париже. Философов отнесся крайне негативно к бегству Мережковского, расценив этот поступок как желание «удрать от ответственности». «И опять он, с презрением: „Не прав ли я был, куда же годны все эти риторики о революции, когда за слова свои не желают отвечать?"», — отметила расстроенная Гиппиус в дневнике.[18] Эта ситуация осложнила и без того сложные отношения в «семье» Мережковских. Очередной раз наметился разрыв с Философовым, который грозил, по терминологии Гиппиус, отказом от «Главного» и распадением «на личностей». В письмах к Философову, которые Гиппиус писала ему почти ежедневно, умоляя о приезде за границу, возможность эмиграции писателя обсуждалась вполне серьезно. Так, 13 апреля 1912 года Гиппиус резюмировала: «Считаю, что хорошо, что мы сейчас уехали. Считаю, что эмиграция ради этого не должное. Считаю, что надо все сделать, что можно, чтобы попытаться избежать крепости. ⟨...⟩ Он хочет ехать в мае, чтобы, если нужно, сесть в октябре-ноябре. Он хочет, чтобы ты и я поддержали это его решение. ⟨...⟩ Но если Дм⟨итрий⟩ пойдет на заключение ради Павла, я не сочту в глубине души, что он делает свое должное. Да и перед кем отвечать? Перед „ними" я сознательно не отвечаю, я с ними считаюсь как с карнизом, падающим на голову. Это отвечание Титаника перед ледяной горой. Она может потопить, но нет долга избежать ее, если можешь».[19] Такова

---

[16] В «Записной тетради» Философова сохранилась любопытная запись. Она относится к 1879 году, когда А. П. Философова, известная общественная деятельница, была выслана за границу. Тогда в Висбадене Философов (ему тогда было семь лет) впервые увидел Ф. Ф. Трепова, который поправлялся после выстрела в него в 1878 году Веры Засулич: «Мама была всецело на стороне Засулич. Брат Владимир принимал косвенное участие в ее побеге. Но это не мешало „милейшему" Фед Федычу (sic!) посещать маму, играть с ней в ералаш» (ИРЛИ. Ф. 102. Д. 188_4. Л. 38—39). Об А. П. Философовой см. прим. 2 к письму 9.

[17] РНБ. Ф. 322. Ед. хр. 19. Л. 96.

[18] *Гиппиус З. Н.* Кн. 1. С. 158.

[19] РНБ. Ф. 481. Ед. хр. 158. Л. 8—8 об.

была напряженная обстановка, в которой сочинялись письма к Борису Савинкову в 1912 году.

Смысл существования террориста в отставке сводился теперь только к литературе. Он писал «с утра до ночи», предчувствуя, что эсеры будут его «травить» за роман. Роман начал печататься в апреле 1912 года в эсеровском журнале «Заветы».[20] Самим фактом публикации романа Савинков бросал вызов «революционному подполью» и тем, кто олицетворял эсеровскую партию — «партийному олимпу». Парижане-эсеры были возмущены, и споры не утихали весь период публикации романа. Но скандал среди эсеров вспыхнул несколько позднее, когда 22 видных эсера поместили в «Заветах» протест, требуя прекращения публикации романа.[21]

Судя по недошедшему до нас письму, Савинков искренне не понимал, почему его друзья-писатели так и не смогли с ним встретиться. Это чувствуется по письму Мережковского к нему от 22 мая 1912 года. Перед отъездом литераторов из Парижа в конце мая[22] он пытался увидеться с Мережковским — тот от встречи отказался. «Был мучительный разговор, — занесла Гиппиус в дневник. — Какой мучительный. Я была взволнована до последних пределов. Не помню, чтобы когда-нибудь так. Я Дмитрия защищала, но — чувствовала себя нас, *внутренно* не в правой какой-то точке. Все так, а все-таки *нельзя* почему-то было это сделать. ⟨...⟩ Неужели Дима прав? Неужели мы „озирающиеся"? Вот где было что-то вроде „спасанья животишек", по выражению Димы».[23] Она испытала чувство отчаянья и стыда перед своим «крестником». Мережковские, конечно, опасались повторения мартовского инцидента при пересечении границы. «Я не изгнанник, — писал Мережковский, — но когда в Вержболове слышу голос Харона: „паспорт пожалуйте", сердце у меня екает, как будто из одной категории бытия я вдруг попадаю в другую, из царства закона — в царство благодати. Что именно со мной по благодати сделают, — высекут или помилуют, — я не знаю, но ко всему готов и должен сознаться, что чувство это не без привычной сладости...»[24] 18 сентября 1912 года в Петербурге состоялся суд над Мережковским, и писатель был оправдан. Оставшуюся часть года Мережковские провели в России. Писем этого периода, написанных Мережковскими из России Савинкову, нет, хотя до конца 1912 года они находились в России.

Любопытно, что встреча Нового года в Петербурге в 1913 году сопровождалась у «трио» чтением Апокалипсиса. В письме к своей тетке Е. В. Дягилевой от 1 января 1913 года Философов сообщал: «Вчера встречали Новый год у себя, тихо и молитвенно. Прочли сначала псалмы 89 и 102-й, затем Апокалипсиса *гл. 10*, стихи 5 и 6; *гл. 21*, стихи 1 и 7, *гл. 22*. ст. 1 по 7-й».[25]

В Париж вдвоем (без Философова) Мережковские вернулись в середине января 1913 года. 21 февраля Россия готовилась отметить 300-летие дома Романовых. Столь редкая юбилейная дата вселяла надежду на широкую амнистию политических эмигрантов. «Левые» газеты развернули широчайшую кампанию по этому поводу. Уже 30 января 1913 года Мережковский обратился к Философову с просьбой от кругов политической эмиграции: «Был у меня Сталь.[26] Просит тебя *„от лица всех здешних"* написать в „Речи" статью об амнистии, напирая на судьбу детей в изгнании: „дети, мол, ни в чем не повинные, больше всех страдают". Он уверен, что у тебя это выйдет убедительно. Я тоже думаю, что ты сделал бы доброе дело,

---

[20] *Ропшин В.* То, чего не было // Заветы. 1912. № 1—8; 1913. № 1, 2, 4.

[21] В редакцию «Заветов» // Заветы. 1912. № 8. С. 144.

[22] Мережковские пробыли за границей в 1912 году пять месяцев.

[23] *Гиппиус З. Н.* Кн. 1. С. 159. У Гиппиус в дневниках и письмах: Дмитрий — Д. С. Мережковский; Дима — Д. В. Философов.

[24] *Мережковский Д. С.* Мертвая точка. С. 338.

[25] ИРЛИ. Ф. 102. Д. 189. Л. 101.

[26] Правильно: Стааль Алексей Федорович (1872—1949) — известный адвокат.

если бы такую статью написал. Здешние тебе сказали бы за нее спасибо».[27] Уже 3(16) февраля 1913 года в газете «Речь» появилась статья Философова «Заграничные дети»,[28] акцентирующая внимание на возвращении политической эмиграции в Россию. В марте 1913 года давний оппонент «трио» по вопросам террора Розанов публикует статью «Не нужно давать амнистии эмигрантам», как будто бы предвидя грядущую катастрофу России через четыре года: «Не надо „погрома" звать в Россию: ибо „революция" есть „погром" России, а эмигранты — „погромщики" всего русского: русского воспитания, русской семьи, русских детей, русских сел и городов».[29] Розанов продолжал развенчивать радикализм русской интеллигенции, подогреваемый «триумвиратом». Позже, в январе 1914 года, на заседании Религиозно-философского общества Философов назовет это выступление Розанова неприличным.[30]

В начале февраля 1913 года Мережковские перебрались на Лазурный берег, в Ментону. В письмах, адресованных Философову, Гиппиус осторожно писала: «На „Ривьере" — нехорошо. Это про наше общее».[31] Речь явно шла о встречах с Савинковым. Чета настаивала на воссоединении «семьи», подчеркивая важность приезда Философова именно в Ментону. И опять таинственное сообщение из Франции в Россию Философову. «В Ментоне, — писал Мережковский, — нам следовало бы быть *всем троим вместе*. Там мы вдвоем почти бессильны».[32]

В Ментоне в феврале 1913 года Мережковский работал над «Автобиографической заметкой». Фрагмент об эсерах при публикации в «Русском слове»[33] был изъят, возможно, им самим. В автографе он выглядел следующим образом: «Сближение наше произошло на почве не только общественной, но и религиозной. Здесь я воочию как бы осязал руками связь русской революции с религией. В схождении с ними я пережил то, что потом часто высказывал, возможность новой религиозной общественности, глубочайшую связь русского освобождения с религиозными судьбами России».[34] Вектор размышлений о революции был направлен в ту же сторону.

Савинков и в 1913 году жил по-прежнему в Италии. До первой мировой войны границы между Францией и Италией, по сути дела, не было. Ментона и Сан-Ремо находились буквально на границе двух стран. Всего лишь за час или полтора можно было добраться на автомобиле из Сан-Ремо в Ментону. После успешного судебного процесса Мережковский не думал прекращать знакомств с опасными друзьями. Гиппиус отметила в дневнике: «С Борисом мы виделись раз пять. Почувствовалось, что он — гораздо более бессознательный человек, нежели мы думали. Индивидуалист. И все у него недодумано. Илюша его понимает. Любит, хотя Борис ссорится с ним. Борис и с нами глупо ссорился, при Плеханове».[35] Поучения Мережковских, вероятно, начали раздражать Савинкова. В марте 1913 года он писал В. С. Миролюбову: «Гиппиус говорит „роман мне очень нравится", „надо выходить из Партии", „плагиат — вздор, смешно отвечать". Разругался. Мережковский роман не читал, кроме первой части. Говорит: „Чрезвычайно интересно". Надо выходить из Партии. Разругались».[36] В течение двух лет публикации романа (он пе-

---

[27] РНБ. Ф. 481. Ед. хр. 188. Л. 19.

[28] *Философов Д. В.* Заграничные дети // Речь. 1913. 3 фев. С. 2.

[29] *Розанов В. В.* Не нужно давать амнистию эмигрантам // Богословский вестник. 1913. Март. С. 647.

[30] См.: Записки С.-Петербургского Религиозно-философского общества. СПб., 1914. Вып. IV.

[31] РНБ. Ф. 481. Ед. хр. 159. Л. 16.

[32] Там же. Ед. хр. 188. Л. 18 об.

[33] *Мережковский Д. С.* Автобиографическая заметка // Русское слово. 1913. 19 марта. С. 3.

[34] ИРЛИ. Архив Д. С. Мережковского. № 24384. Л. 23.

[35] *Гиппиус З. Н.* Кн. 1. С. 161—162.

[36] ИРЛИ. Ф. 185. Оп. 1. Д. 1012. Л. 5.

чатался ровно два года) не прекращалась «травля» Савинкова эсерами, которые требовали исключения Савинкова из партии.[37] Весной 1913 года у него было ощущение, что его просто «затравили». Он писал своей бывшей жене В. Г. Савинковой: «Ты пишешь, что в публике роман встречен скорее сочувственно. Я этого не знаю и почти никого не встречал, кто бы меня не ругал. Эта всеобщая ругань, эта беспросветная травля мне тяжела, тяжелее, чем это может показаться со стороны».[38] Тема насилия, необычайно острая в это время, зазвучала совершенно неожиданно со стороны того, кто сам «варился в террорной гуще».

Роман, обсуждающий жгучую проблему современности — политический терроризм — вызвал огромный интерес читателей, подогреваемый именем автора. Критика не скрывала факта, что под псевдонимом В. Ропшин скрывается «самый отчаянный» из террористов. Прочитав «Коня бледного», переизданного в 1912 году, В. Розанов тотчас же откликнулся: «*...у самих революционеров не все так сладко на душе*, не все так гладко. Конечно, лишь *через много* лет мы должны ожидать искренних мемуаров, которые вскроют *душевное состояние русского революционера* за 1908—1912 годы... Но кое-что показывается и сейчас».[39] Розанов ссылается на роман «То, чего не было». В это время началась резкая критика Розанова либеральной прессой, но он продолжал вести антиреволюционную линию, полемичную по отношению к «трио», видя в революционерах разрушителей России, а отнюдь не религиозных праведников.

Фабула романа построена на событиях Первой русской революции, отраженных через судьбы трех братьев Болотовых — Андрея, Александра и Михаила, дворян, пришедших в террор и гибнущих один за другим. Роман имел подзаголовок «Три брата». История кающегося террориста Андрея Болотова, старшего из братьев, и вскрывала то самое душевное состояние революционера, на которое намекал Розанов. «Гамлет революции», Андрей Болотов, был тем стержнем, вокруг которого вращалось все действие романа. На первом боевом предприятии — убийстве жандармского полковника Слезкина — Андрей Болотов понял, что революционеры творят нечто страшное — «точь-в-точь, как жандармы». Он долго не мог забыть плач убиваемого. С этого ключевого момента мысль о том, что нет двух правд и что убийство всегда убийство, его не покидает: «Почему, если я убил Слезкина, я герой, а если он повесил меня, он мерзавец и негодяй? ⟨...⟩ Одно из двух: либо убить нельзя, и тогда мы оба, Слезкин и я, преступаем закон, либо можно».[40] Почему «цель оправдывает средства»? Почему «все позволено»? Страшный смысл террора, дозволенного насилия, прежде ускользавший от него, раскрылся только теперь, на московских баррикадах. «Нельзя и надо», — повторял он постоянно, кстати, формулу «трио» относительно революционного насилия. «По-моему, — говорит Андрей, — либо убить всегда можно, либо... либо убить нельзя никогда...» (291). И еще: «Если ты не видел никогда смерти, не благословляй другого на бой» (354). Это было обращение не только к верхушке эсеровской партии, но и к Мережковским.

Изображенные в романе террористы с их мучительными вопросами о греховности насилия не были выдумкой Савинкова, а довольно точно соответствовали своим прототипам — Ивану Каляеву, Егору Созонову, Марии Прокофьевой. Перед ними с мучительной остротой вставал вопрос о «праве на убийство». Нужно иметь в виду, что часть «партийного олимпа» эсеровской партии состояла из бывших сту-

---

[37] О партийной критике романа «То, чего не было» см.: *Морозов К. Н.* Партии социалистов-революционеров в 1907—1914 гг. М., 1998. С. 557—567.

[38] *Савинков Б. В.* «Мой труд мне не принесет ничего, кроме горя» // Источник. 1995. № 4. С. 16.

[39] *Розанов В. В.* Ропшин и его новый роман // Новое время. 1912. 3 мая. С. 6.

[40] *Савинков Б. В.* (*В. Ропшин*). То, чего не было: Роман, повести, рассказы, очерки, стихотворения. С. 291. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

дентов, учившихся в 1899—1904 годах в Берлинском, Галльском и Гейдельбергском университетах. Они были кантианцами по своему философскому мировоззрению. К «германо-эсеровскому выводку» принадлежал Фондаминский, его жена Амалия, В. М. Зензинов, Д. О. Гавронский (брат Амалии Фондаминской). Борис Савинков учился в Берлинском и Гейдельбергском университетах, хотя образование не завершил. Эсер Зензинов (с ним Мережковские познакомились в Париже) вспоминал, что эсеры обсуждали вопрос о праве на убийство в свете неокантианства. Историк Б. Николаевский констатирует: «Старик Кант был бы, конечно, безмерно удивлен, если бы смог, встав из могилы, узнать, что его нравственный закон нередко играл роль того категорического императива, который заставлял многих русских террористов начала XX века брать в свои руки динамитные бомбы».[41] Но Андрей Болотов, оспаривая все философские идеи, приходит к выводу, что посягнуть на чужую жизнь не имеет права никто — это никому не «дозволено». Террор становится для него Голгофой. И хотя Сереже кажется, что в терроре скрыты заветы Христа (в этом образе явные отголоски идей Мережковских), он испытывает нравственные муки: «„Господи, научи... Завтра я должен убить... Точно ли должен? Действительно ли обязан? Или, может быть, я хочу?" Он закрыл утомленно глаза и вдруг отчетливо ясно... представилось то, что завтра — он знал — совершится. Он увидел старческое, морщинистое, уже не живое лицо, струйки крови на бритых щеках, окровавленное тело и себя, Сергея, Сережу, над обезображенным трупом. В памяти встал евангельский текст: „Отец мой! Если возможно, да минует меня чаша сия", впрочем, не как я хочу, а как Ты... Но ведь это кощунство» (377). После его гибели место террориста-исполнителя занимает Андрей Болотов. Неся бомбу, которую через минуту бросит в военного губернатора, он надеется, что покушение сорвется. Перед казнью, вспоминая Литейный, окровавленные камни, он окончательно осознает, что он — убийца и что его собственная смерть на эшафоте не есть искупление. Идеи Мережковских, что путь террориста — это Голгофа, а его смерть на эшафоте является искуплением, не нашли подтверждения в романе их ученика-террориста. Роман Савинкова оспаривал все концепции Мережковских о «религиозной общественности». Он был своеобразным вызовом знаменитого террориста не только революции, себе, находящемуся в постоянной оппозиции к своему революционному воплощению, но и полемикой с теоретическими идеями «триумвирата» о «религиозной общественности».

Вероятно, перед отъездом в Россию весной 1913 года Гиппиус, Философов и Амалия Фондаминская побывали в Ницце на чрезвычайно роскошной вилле Valrose, окруженной великолепным парком. Философов позже отметил в своей «Записной тетради»: «В Valrose я был вторично перед войной. Valrose продана какому-то русскому банку. Управлял им Фабрикант, один из эс-эровских эмигрантов, хорошо знакомый Илюши Фундаминского (Бунакова)[42] и Савинкова (Ропшина). Кажется мы с ним познакомились у Савинкова... когда у него жила смертельно больная Марья Алексеевна (Прокофьева, невеста Созонова). Так вот Зина (Мережк⟨овская⟩), Амалия и я отправились с Фабрикантом в Valrose».[43] С приятелем Савинкова эсером Владимиром Осиповичем Фабрикантом они познакомились, вероятно, в 1911—1913 годах. Во всяком случае, в письме к Философову, написанном в феврале 1913 года, Гиппиус просила устроить Фабриканта корреспондентом газеты «Русское слово».[44] Кстати, вскоре, в 1918 году, Фабрикант помог выехать А. Ке-

---

[41] *Николаевский Б. И.* История одного предателя. М., 1991. С. 185.

[42] Имеется в виду И. И. Фондаминский (Фундаминский). Одна из партийных кличек — Бунаков.

[43] ИРЛИ. Ф. 102. Д. 188_4. Л. 25.

[44] В феврале 1913 года Гиппиус писала из Франции Философову: «Дело в том, что В⟨ладимир⟩ О⟨сипович⟩, новый управляющий знакомой тебе Valrosa, очень просит меня и тебя посодействовать ему в смысле информации в Русс⟨ком⟩ Слове. Он отлично понимает что такое Р⟨ус-

ренскому из России в Англию. Революционный максимализм сводил «трио» за границей все время с новыми представителями «подпольной России».

В первых числах мая 1913 года «трио» возвращается в Петербург. Вскоре Мережковские уезжают на дачу в Новгородскую губернию, где их ожидают сестры З. Н. Гиппиус — Т. Н. и Н. Н. Гиппиус, посвященные в «Главное».[45] Догматическим пунктом, вокруг которого по-прежнему формируется идеология группы Мережковского, остается «религиозная общественность». Объединение собственных религиозных идей с представителями «крайней» революционной интеллигенции — это та задача, которую пытались они воплотить в жизнь начиная с 1905 года. Причем политическая левизна сочеталась с левизной религиозной. В 1913 году Мережковский констатировал, возвратившись из Франции: «Первая волна освобождения в России отхлынула, разбилась и рассыпалась пеною не прорвав плотины. ⟨...⟩ Но и вторая волна не прорвет ее, если не достигнет высоты сознания религиозного, именно той, на которой плотина построена. Сознать или не сознать религиозный смысл освобождения — значит для России сейчас быть или не быть свободною».[46] Современники утверждали, что Зинаида Николаевна была зачинательницей идей и планов, которые чутко воспринимал Мережковский. Хотя М. Шагинян, приближенная к «трио» в эти годы, считала, что роль эзотерического идейного руководителя «триумвирата» все-таки принадлежала Мережковскому. Во всяком случае, формулировали идеи «трио» о «религиозной общественности» Мережковский и Философов, бывший на положении «второй скрипки». Формой воплощения идей «новой религиозной общественности» были и публичные выступления группы Мережковского.

Летом 1913 года Мережковский работает над статьей о Некрасове, в которой подчеркивалась актуальность некрасовской «Музы гнева и печали» в настоящий исторический момент.[47] «Дм⟨итрий⟩ сегодня читал свою „лекцию" о Некрасове, — информировала Гиппиус Философова 3 августа 1913 года, — статья превосходная (особенно если фразы две определить и везде в конце риторику смягчить), успех имела бы большой, но... она вся *абсолютно* нецензурна. ⟨...⟩ Дм⟨итрий⟩, конечно, не верит, но это слишком ясно. Его неверие только и приведет к лишнему скандалу».[48] Вскоре, 15 октября 1913 года, Мережковский выступает в Петербурге, в концертном зале Тенишевского училища, с лекцией «Тайна Некрасова».[49] У Мережковского был редкий ораторский дар. Обладая прекрасным голосом, он говорил с блеском, увлекательно и сильно. Прозвучали ли на лекции призывы соединить слово с делом, русскую литературу с русским освобождением — неизвестно, но пафос статьи Мережковского «Трагедия Некрасова (Еще о Некрасове)» в этом и заключался: «Нас хотели уверить, что в этом стане не любовь, а ненависть, что это стан разбойничий — стадо свиней, в которое вошли „бесы". Но мы не поверили, не забыли, а если б и забыли, то Некрасов напомнил бы нам, что именно сейчас в России, более чем когда-либо и где-либо, любовь может быть ненавидящей и нена-

---

ское⟩ С⟨лово⟩, поставлен очень хорошо и предлагает быть корр⟨еспондентом⟩ из Ниццы, что лишь с первого момента звучит странно, а в сущности важно, т. к. он хочет давать интервью со всеми знаменитостями, кот⟨орые⟩ вечно приезжают в Н⟨ицц у⟩. У меня впечатление серьезное, да ты сам знаешь, ведь ты с ним долго говорил, помнишь? Когда мы еще в этой *холодной* вилле чуть не замерзли» (РНБ. Ф. 481. Ед. хр. 159. Л. 7).

[45] О сестрах Гиппиус см.: *Павлова М. М.* Истории «новой христианской любви» // Эротизм без берегов. М., 2004. С. 391—455.

[46] Цит. по: *Мережковский Д. С.* Религиозное народничество // Мережковский Д. С. Было и будет. Дневник. 1910—1914. С. 217.

[47] Речь идет о статье Мережковского «Трагедия совести (Еще о Некрасове)».

[48] РНБ. Ф. 481. Ед. хр. 160. Л. 7 об.

[49] Сообщение о чтении лекции «Тайна Некрасова» было опубликовано в газете «Биржевые ведомости» (Утр. вып. 1913. 16 окт. С. 3). Статья «Трагедия совести (Еще о Некрасове)», послужившая основой лекции, была опубликована в газете «Русское слово» (1913. 2 нояб. С. 2).

висть любящей».[50] Мережковский расставляет характерные акценты. С 1905 года литераторы проповедовали «действие», и им импонируют люди савинковского типа, т. е. люди «действия». Сущность идей «трио», подчеркивала Гиппиус, требовала *«возрастания делания»*. Поэтому так настойчиво и в эти годы они продолжали общаться с политической эмиграцией. «Поколение Ропшина», в этом был убежден Мережковский, услышало пламенный призыв Некрасова:

От ликующих, праздно-болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!

В розановском «Уединенном», вышедшем в марте 1912 года, несколько страниц «опавших листьев» были посвящены рассуждениям о причинах разгула террора в России: «Некрасов, член английского клуба, партнер миллионеров, толкнул их (молодежь. — *Е. Г.*) более, чем кто-нибудь, стихотворением „Отведи меня в стан *погибающих*". Это стихотворение поистине все омочено в крови».[51] Книга Розанова тогда возмутила многих. «Нельзя! Нельзя! Не должно этой книге быть!» — такова была реакция Гиппиус, воспринявшей ее как личное оскорбление.[52] В «Уединенном» было несколько явных пассажей в адрес «трио».

По сути дела, Мережковский возвращался к общественному утилитаризму 60—70 годов XIX века, против которого выступал в начале литературного пути. Именно он выступал за освобождение литературы от власти общественных идей. Теперь же для него освобождение — это величайшее явление русского гнева и русской любви.

Через несколько дней после выступления в Тенишевском училище, 25 октября 1913 года, на собрании Литературного общества Мережковский читает доклад «Религиозное народничество», вновь указывая на неизбежность связи революции с религией.[53] В основу выступления была положена статья, написанная почти сразу после возвращения «трио» из Парижа, в мае—июне 1913 года.[54] Сохранился ее фрагмент, изъятый, возможно, самим писателем при публикации. В нем называются те, с кем делали Мережковские «Общее дело»: «В том же круге идей находится и Ропшин с его романами-записками («Конь бледный», «То, чего не было»), и З. Гиппиус с ее романами-летописями, не о прошлом, а о будущем («Чертова Кукла», «Роман-Царевич»), и Д. Философов, и А. Карташев[55] с их исследованиями, намечающими связь русского освобождения и русской реформации».[56]

Обращаясь с религиозно-революционными призывами, «бросая идеи в толпу», как писала Гиппиус Савинкову, Мережковский ведет себя явно неосмотрительно. А между тем за литераторами и в России продолжали следить филеры. Приметы

---

[50] Цит. по: *Мережковский Д. С.* Две тайны русской поэзии. Пг., 1915. С. 50.

[51] Цит. по: *Розанов В. В.* Уединенное. М., 2002. С. 204.

[52] [*Гиппиус З. Н.*] Литераторы и литература // Русская мысль. 1912. № 5. С. 30. Подпись: «Антон Крайний».

[53] О докладе Мережковского «Религиозное народничество» см.: Отчет Всероссийского литературного общества за 1913 год. СПб., 1914. С. 15—16.

[54] *Мережковский Д. С.* Религиозное народничество. С. 199—218.

[55] Антон Владимирович Карташев (1875—1960) окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, где был доцентом на кафедре истории русской церкви. В годы первой русской революции покинул академию. Состоял в «тройственном» духовном союзе с сестрами Гиппиус — Татьяной Николаевной и Натальей Николаевной. Весной 1913 года путешествовал вместе с Т. Н. Гиппиус по Германии и Италии. Был председателем Религиозно-философского общества в 1913 году. В статьях, помещенных в газете «Русское слово», отзывался на все жгучие темы современной церковности. Критически относился к официальной церкви. После Февральской революции возглавил Министерство исповеданий правительства А. Ф. Керенского. С 1919 года — в эмиграции. Был сначала профессором Парижского Богословского института, а затем Религиозно-Духовной академии. Автор трудов по истории церкви.

[56] ИРЛИ. Архив Д. С. Мережковского. № 24250. Л. 5.

Мережковского 3 октября 1913 года (он в это время выступал с чтением лекций) сообщались начальнику Петербургского охранного отделения: «Лет 50, роста среднего, тонкого телосложения, темный шатен, нос большой, усы средние, черная с проседью борода; одет в коричневую мягкую шляпу, черное с бархатным воротником пальто, в руках черная трость».[57] Далее следовали приметы Зинаиды Гиппиус: «Лет 40, среднего роста и телосложения, шатенка, одета в серую косынку и серое пальто».[58] Когда в конце августа литературная чета отправилась на Кавказ (об этом сообщал Мережковский Савинкову в письме от 4 августа 1913 года), то на обратном пути в Санкт-Петербург все трое были взяты под наблюдение полиции. Об этом свидетельствует донесение директору Департамента полиции: «На станции Харьков названные лица, под кличками „Страус", „Старик", „Красная" были приняты от филера из Ростова-на-Дону. Но из-за кратковременности стоянки поезда один филер опоздал, и они отбыли в Харьков в сопровождении одного филера».[59] Внимательное прочтение писем «трио», адресованных Савинкову, дает определенную картину заграничных путешествий литераторов.

Тексты 25 писем, предлагаемые в публикации, печатаются по автографам, хранящимся в личном фонде Савинкова (ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 126; Д. 127; Д. 204). 19 писем написаны за границей. Они датируются по европейскому календарю. Иногда эти письма имеют двойную датировку по русскому и европейскому календарям. Ряд писем, на которых проставлена датировка авторами, а не штемпели отправления и получения писем, датируются, вероятно, по европейскому календарю. Письма, написанные из России — их 6 — датируются по русскому календарю. По возможности сохраняется авторская пунктуация.

[57] Там же. Л. 111.
[58] Там же.
[59] ГАРФ. ДПОО. 1913. Д. 69. Л. 113.

1

Гиппиус — Савинкову

11 bis, Avenue Mercédès, Paris XVI[1]
2.1. ⟨19⟩12

Милый друг!

Получила оба ваши письма. Приехали сюда несколько дней тому назад. Пока — пишу эти кр⟨аткие⟩ строки, соберусь — напишу подлиннее...

Конечно, ввиду всех побочных обстоятельств вам, м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, лучше напечатать роман в «Знании».[2] Но объективной отрады тут нет, вообще нынче самые заслуженные писатели, вроде Сологуба, поняли, что очень невыгодно печататься в сборниках, даже в Шиповнике. И Сологуб стремится в журнал, Р⟨усскую⟩ М⟨ысль⟩, за сравнительно малый гонорар, ибо это не убивает книгу. Вас Р⟨усская⟩ М⟨ысль⟩ с восторгом бы напечатала, и за книгу тотчас потом получили бы, — как я. Ну, да ведь не последнюю вещь вы пишете. Откуда узнали вы, что «Конь» вышел 2 изданием?[3] Он еще не вышел, ибо только что перед нашим отъездом было подписано условие с издателем (Д⟨митрия⟩ С⟨ергееви⟩ча).[4] Вы получите (точно не знаю, когда, но скоро) 800 рублей. Боюсь, что перевираю цифру, но помнится таковою. Об этом я вам еще напишу, — вообще надо и об этом списаться путем.

Далее: я непременно хочу прочесть ваш роман. Подумайте, ведь вы в некотором роде мой крестник, как же мне не интересоваться глубоко? Ил⟨юша⟩[5] уверяет,

что у вас 13 списков, неужели я недостойна ни одного? Пришлите, м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, мы вам дадим кое-какие полезные советы, со стороны всегда виднее, печатать ведь будете не сию же минуту, еще и корректур нет. (Вот еще невыгода сборников — растяжка на *годы* больших вещей.) По правде сказать — я не совсем понимаю вашего «нельзя приехать». Мож⟨ет⟩ быть, и *нельзя* — да если *надо*... Тут бы покончили и дело со вторым изданием, или точно сговорились. Мы думаем пробыть в Париже с месяц, а после поедем на юг, но не на Ривьеру: слишком уж она надоела, сил нет. Ведь даже вашу виллу Vera мы отлично знаем, так как раз *почти* ее наняли, да только уж S⟨an⟩-Remo очень несимпатичное место. Горный сад ваш хорош. Как я рада, что М⟨арии⟩ А⟨лексеевне⟩ лучше![6]

Относительно стихов ваших — вот что: я хотела их напечатать в Р⟨усской⟩ М⟨ысли⟩, но в конце концов их туда *не отдавала*; и вот почему: Брюсов[7] до такой степени помешался на «среднем читателе», что никого из нас, достойных петербуржцев, не печатает: Ремизова вертит, и... даже моих стихов не печатает! Вечно их просит, вечно пишет при этом о «среднем читателе» длинно и не убедительно, а я убедительно отвечаю, что у меня *все* стихи не для «среднего», и что ничего не могу сделать. Нарочно не послала ваших стихов, ибо чувствую, что если бы *о вас* он запел ту же песню (хотя бы и с правом, ибо ваши тоже не для «среднего») — я бы обиделась и с ним поругалась. В другие же места, при всей возможности, я как-то не хотела их отдавать. Охота — в какие-нибудь маленькие издания. В Совр⟨еменник⟩ же или в Р⟨усское⟩ Б⟨огатство⟩ мы не «вхожи».[8] А вы хотите их напечатать в Совр⟨еменнике⟩?[9]

История моего нового героя, Романа Ивановича, хотя объявлена на осень, еще совсем не кончена.[10] Я остановилась на одном трудном месте, и даже мелькала у меня надежда посоветоваться с вами и попросить литературной помощи. El voila![11] Вас ни следа, и не предвидится. Не знаю, как перепрыгну эту главу. А помощи вашей я хотела именно чисто литераторской, в самом прямом смысле, collega.

Вот, кажется, пока все. Главное — пришлите роман. Споры ваши с Ил⟨ юшей⟩ насчет него — вопрос второй.[12] Его тоже можно коснуться, но меня прежде всего интересует чисто художественная сторона. Да, знаете, я мечтаю и о том времени, когда вы напишете повесть без всякой специфичности, т. е. «он любил ее»... или «она умерла», или я не знаю что. Должен вам быть и этот экзамен когда-нибудь.

Ну, синьор, до — свиданья, хотя бы письменного. Будьте здоровы и позвольте еще раз выразить мое серьезное сожаление, что вечно нельзя, когда бы надо. Кроме «Романа-Царевича» есть у меня еще одно литер⟨атурное⟩ произведение, кот⟨орое⟩ хотелось бы представить на ваш суд — мы говорили о нем, помните? И спорили. Д⟨митрий⟩ В⟨ладимирович⟩[13] говорил еще, что не стоит его писать, а вы и я были за — вы одобряли, как оно задумано. Помните — о «божественном»? Да еще есть у меня стихотворение, кот⟨орое⟩ называется «Не сказано».[14] Уж вам же всего не пошлешь. До свидания еще раз.

[1] Штемпель на почтовой бумаге.

[2] Речь идет о романе «То, чего не было», над которым Савинков начал работать в 1911 году. По первоначальным замыслам роман должен был быть опубликован в книгоиздательском товариществе «Знание». В январе 1912 года Савинков работал над II частью романа. (Впервые: *Ропшин В.* [*Савинков Б.*] То, чего не было (Три брата) // Заветы. 1912. № 1—8. 1913. № 1, 2, 4).

[3] Имеется в виду повесть «Конь бледный» (впервые: Русская мысль. 1909. № 1. С. 1—77).

[4] Договор об издании товариществом М. О. Вольф книги Савинкова «Конь бледный» был заключен Мережковским 3 ноября 1911 года (ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 309. Л. 3); вышла в свет в мае 1912 года тиражом 3100 экземпляров.

[5] Речь идет о видном эсере Илье Исидоровиче Фондаминском (Фундаминский, партийная кличка Бунаков; 1880—1942), близком друге Мережковских, знакомство с которым завязалось в 1905—1906 годах. В дальнейшем в письмах именуется Илюшей или Ильей.

[6] В Италии, на вилле «Vera Monte Solaro» в Сан-Ремо, Савинков жил с конца сентября 1911 года до лета 1913 года. Место проживания Савинкова определялось прежде всего здоровьем М. А. Прокофьевой. Прокофьева Мария Алексеевна (1883—1913) — эсерка, участница

заговора против царя в 1907 году. Была приговорена к смертной казни, замененной ссылкой на вечное поселение в Сибирь, откуда бежала за границу. С марта 1911 года Прокофьева, заболевшая чахоткой, жила с семьей Савинкова, который трогательно заботился о ней.

[7] В. Я. Брюсов был редактором литературного отдела «Русской мысли» с 1910 по 1912 год.

[8] Журнал «Современник» (1911—1915), ориентированный на реалистическую литературу, ставил перед собой задачу борьбы с мистическими течениями. «Русское богатство» (1879—1918) было также журналом демократической ориентации. Иронический отзыв Гиппиус о «Русском богатстве» см.: *Антон Крайний.* Жизнь и литература. Наши журналы // Новая жизнь. 1912. № 12. С. 209.

[9] Отдельные стихотворения Савинкова в 1910-е годы были напечатаны в различных журналах, в которых сотрудничали Мережковские. Сборник стихотворений Савинкова, вышедший тиражом 100 экземпляров, был подготовлен Гиппиус после его гибели: *Ропшин В.* [*Савинков Б.*] Книга стихов. Париж, 1931.

[10] Речь идет о «Романе-царевиче» Гиппиус — продолжении романа «Чертова кукла», II части дилогии, посвященной теме религиозной революции (Русская мысль. 1912. № 9—12; отд. изд. 1913). Относительно нового героя, Романа Ивановича, Гиппиус сообщала в письме к П. Б. Струве от 14 июня 1911 года: «Герой — Юруля в новых одеждах человека, одержимого более сильной и опасной страстью, нежели страсть к своему мгновенному удовольствию: он одержим жаждой влияния и властвования и притом эту власть он понимает довольно глубоко. Но в конце концов выше своей власти, выше себя для него опять ничего нет» (Архив-библиотека Г. В. Плеханова: РНБ. Ф. 753. Д. 31. Л. 3).

[11] Вот так! (*фр.*).

[12] Рукопись I части романа «То, чего не было» читалась эсерами. Савинков знал о негативной реакции Фондаминского на роман, воспринятый как «пасквиль на ЦК П⟨артии⟩ С⟨оциалистов⟩ Р⟨еволюционеров⟩». В письме к нему от 26 декабря 1911 года Савинков писал: «Дайте себе труд перечитать мой роман. Вы убедитесь, что все мною написанное о ЦК сводится к... двум мыслям: о крови может судить только тот, кто *сам ее проливает*, восстанием может руководить только тот, кто *сам его делает*. Мне не было нужды писать о Гершуни и Гоце. Ведь я не пишу *истории*, я пишу роман, я не пишу портретов, я пишу *типы*. ⟨...⟩ Неужели нужно доказывать, что искусство имеет свои права и что художник не может быть слугою партийности. Ведь Вы, Илюша, выступаете в роли цензора. Может ли это быть? Может ли это быть относительно художественного произведения?» (ГАРФ. Ф. 6212. Оп. 1. Д. 42. Л. 36—36 об.; Л. 37).

[13] Речь идет о Дмитрии Владимировиче Философове.

[14] Стихотворение Гиппиус «Не сказано» (1911) было посвящено Савинкову (впервые: СПб.: Сирин, 1914. Сб. 3. С. 12—13). См.: комментарий А. В. Лаврова к стихотворению: *Гиппиус З. Н.* Стихотворения. СПб., 1999. С. 494—495.

2

Гиппиус — Савинкову

11 bis, Avenue Mercédès, Paris XVI[1]
9.1. ⟨19⟩12

Романа еще не получала — жду.[2]

Я знаю, что стиль вашего существа — самодержавный, и вы *не можете* (действительно) сделать то, чего вы *не хотите* как следует. Хотения же ваши в значительной мере импульсивны и от вас не зависят. Вывод, казалось бы, такой, что вы вообще от себя не зависите; но это было бы преувеличением и той покорностью логике, которая не считается с действительностью. Нет, я просто и точно хочу сказать, что самодержавный стиль существа — вещь опасная. Слава Богу, для такого сознательного человека, как вы, опасность меньше. А при сознании и *воле* опасность становится минимальной, хотя совсем не исчезает.

Ваше письмо, относительно «ста причин», немножко выдает ваш самодержавный стиль. У вас «сто», у нас — три. Но ведь дело не в количестве. Хочу не спорить, а рассуждать разумно и последовательно. Первый вопрос, который надо решить совместно: нужно ли то, о чем мы говорим, нужно ли объективно, непременно, — или нет. Мне кажется — да, но решение одной стороны (нашей) не имеет значения. Трудность заключается в том, что я не могу написать вам, изложить все

основания этого «да». Тут приходится прибегать к нашему чутью, предполагать его в вас. Ежели *совместное* решение этого первого вопроса будет отрицательное, то тогда, конечно, дальше и говорить нечего. Если же положительное — вот тогда уже подлежат обсуждению следующие вопросы, т. е. насчет того «мусью к мусью, мадам к мадам» — когда и как. Мы все пишем по роману (исключая Д⟨митрия⟩ В⟨ладимировича⟩, который, между прочим, должен был бы по родственным делам уехать раньше) — так что тут мы равны.[3] А наши три причины, мож⟨ет⟩ б⟨ыть⟩, и стоят ваших ста, как знать?

Насчет Коня: поверьте, что в данный момент, при данной температуре (кот⟨орую⟩ вы не можете знать точно, я признаю) ни один издатель не взял бы книги иначе как «вторым изданием». Если бы во время печатания я была в С⟨анкт⟩-П⟨етербурге⟩ и, кроме того, имела бы полный текст (он у меня был, но вымолил Чуковский и, черт, зажилил) — то попыталась бы сделать кое-какие вставочки, но лишь попыталась бы, без надежды на успех.[4] Но печатание будет в феврале, задерживать же не стоит, т. к. от этого зависит получение денег, на кот⟨орые⟩ вы также можете рассчитывать в феврале. Они будут присланы нам, и в условии их — 600 рублей, теперь я узнала точно. Мы и думали — вам, а не В⟨ере⟩ Г⟨лебовне⟩,[5] ибо указания ваши не касались второго издания.

Д⟨митрий⟩ Вл⟨адимирович⟩ думает, не лучше ли ему не читать вашего романа. Ибо он наиболее объективно способен судить о нем в пункте вашего расхождения с Ил⟨юшей⟩, а судить он не хочет. Мне это жаль. Всегда хорошо, когда *есть* чье-то объективное тут мнение. А затем можно ему подчиняться или не подчиняться. В Черт⟨овой⟩ Кукле я не подчинилась. Но — сознательно. Ибо во многом Дм⟨итрий⟩ Вл⟨адимирович⟩ был прав.

Посылаю вам бандеролью книгу «Ч⟨ертова⟩ К⟨укла⟩»[6] — предисловия, кстати, вы не читали. А затем — жду вестей, с ок⟨азией⟩ или без оной.

[1] Штемпель на почтовой бумаге.

[2] Речь идет о романе «То, чего не было».

[3] В это время Гиппиус работала над «Романом-царевичем», Мережковский продолжал работу над «Александром I», вероятно, обдумывал роман «14 декабря». Что касается Философова, то в 1912 году вышло два сборника его статей: «Старое и новое»; «Неугасимая лампада».

[4] Савинков надеялся опубликовать «Коня бледного» без цензурных купюр. В 1908 году, готовя повесть для публикации в журнале «Русская мысль», Гиппиус ее «цензурила». Полное издание «Коня бледного» появилось в Ницце в 1913 году.

[5] Речь идет о первой жене Савинкова — Вере Глебовне Савинковой, дочери Г. И. Успенского. Она рассталась с Савинковым в 1908 году. Воспитывала двух его детей (сына и дочь).

[6] В предисловии к отдельному изданию «Чертовой куклы» Гиппиус разъяснила основную идею романа: «Моя книга — вовсе не книга *о революции*, но — о *реакции*. Обнажить вечные, глубокие корни реакции ⟨...⟩ такова была моя задача» (*Гиппиус З. Н.* Чертова кукла. Жизнеописание в 33-х главах. М., 1911. С. III—IV).

3

Гиппиус — Савинкову

19. 1. ⟨19⟩12
1. 2. ⟨19⟩12

Милый друг, пользуюсь случаем, чтобы написать вам письмо — критическую статью.[1] Так и смотрите, и помните, что критик уже не друг, не враг, не знакомый даже, но — исследователь, по мере разумения своего.

С трех пунктов был судим ваш роман, т. е. можно судить его: 1) с чисто-художественной 2) с идейной 3) с моральной. Третий пункт, простите, мне совершенно (или очень мало) интересен в данную минуту. Да и надо для этого быть в другом

положении, чем я. Поэтому оставляю его в полном покое. Два же первых пункта для меня неразрывно связаны, так как, в моем понимании, безыдейность художественная всегда немного нехудожественна. О внешности, о стиле, о языке придется, конечно, упомянуть отдельно — в свое время.

Мне кажется в высшей степени ценной, важной и широкой мысль, которую я могла бы формулировать так: вот, была революция, был истинный, святой, стихийный подъем; была святая, *необходимая*, первичная сила, сила, побеждающая всех врагов, вплоть до «самого последнего» — Смерти; она в Давыде,[2] она в Проньке[3] эта сила, ею пропитан был морозный воздух там, за баррикадой; и не было необходимого же луча света, простого, может быть, но все же луча, в который, как в прожектор, попали бы и Давыды, и все баррикадники, и все забастовщики. Он был условием «сохранения энергии» — сохранения силы, т. е., значит, и условием победы. Говоря грубее (и, пожалуй, не вполне точно), Партия «не помогла» не *только* одним тем, что у нее в руках не было револьвера, а за плечами ружья, но и тем, что у нее за душой чего-то не было, такого же всегда необходимого, как револьвер. Можно бы далее понять это, но, стремясь быть краткой и надеясь, что вы меня поймете, опускаю дальнейшее. Такая идея вполне достойна вас, очень художественна и хорошо ответственна. В самом деле, если вся беда в том, что в Ц. К. сидели случайно глупые и надутые люди, трусы, не нюхавшие пороха, но желавшие идиотски распоряжаться, — то разве это уж такой вечный вопрос и разве стоит писать об этом роман? Согнать их — и кончено, сесть на их место — и довольно. Не в том ведь беда Пр⟨авославной⟩ Церкви, что попы плохи: в том, что они плохи *от* нее, а не она *от* них. Я не могу не считать, что идея вашего романа именно такова, как я определяла выше. И, став на эту точку зрения, я попробую показать, где у вас она проведена ярче, где затемнена.

Несомненно лучшее, и мож⟨ет⟩ быть, лучшее из всего, что писалось кем-нибудь в этом роде, — баррикадные дни и ночи, фигуры всех баррикадников, все, до мелочей. Взят верный тон, и даже стиль тут приобретает свое железо. Равно хороша, в неизбежной и праведной бессмыслице своей, смерть Давыда. Он и весь хорош, впрочем. Весь удался. Приятен и радостен ваш твердый рисунок. Сумели показать вовсю последнюю, великую — и конечную — силу человеческую. Все, что «возможно человеку», его — только — его телу и душе. Даже больше: человеку и человеческой совместности. Нельзя требовать дальше от человека; но Дух (говорю очень широко), увенчивающий дела людские победой, не сошел; и победы не было. Каждый из них — герой и подвижник; но всех *вместе* — их все-таки победила смерть, она их, а не они ее. Теперь, смотрите: как подчас нестройно выражается у вас столкновение двух сил и как, благодаря этому, вопросы переходят из высшей плоскости в низшую. В смысле чисто художественном — всегда минус, если мы умаляем врага и уже затем с легкостью его побеждаем. Мне сейчас глубоко наплевать, состоял ли в *действительности* ваш реальный Ц. К. из одних грубых Бергов[4] или нет; внутреннее повеление художественности, логика искусства требует, чтобы он из одних Бергов не состоял, чтобы это не была сплошная, тупая и случайная, зазнавшаяся мразь... почему? Да потому, что я *знаю*, — и знаю не фактически, а просто читательски, знаю, ничего «не зная», — что *даже* если бы там сидели все Берги самые добрые, честные и милые, — *было бы то же самое*. Дорого было бы показать ничтожество и подлость Берга значительного, — и дешево, легко, затемнив глубину вопроса, столкнуть каррикатурную куклу. Я для резкости очертаний преувеличиваю, быть может, но это есть. Особенно чувствуется дешевка в последних главах, в «приемной врача» и т. д., благодаря этому дешев и эффект контраста: тупоумная скотина — и «верующий, пылкий наивный» мальчик Миша.[5] Повторяю: мне совершенно все равно, было ли это в действительности. Я даже уверена, что было. Но я об этом не думаю. Искусству нет дела до действительности, — вернее же, чтобы избегнуть парадокса, — искусству дело до действительности есть, но только совсем особенное, в рамках своего закона.

Речь Володи в вагоне не удовлетворяет меня именно тем, что это «речь», а не разговор.[6] Почему ваш Болотов* молчит? Почему он непрерывно мякнет душой и двух слов не может связать ни перед другими, ни перед собою? Он не ушиблен, а как-то в корне зашиблен; прекрасно вел себя на баррикадах, но, однако, не вылечился и не поумнел. Володя такой же зазнавшийся тупоумец, как и Берг, только весь в обратную сторону; за Володей, конечно, стоит оправдание, — стоит кровь; но когда он «говорит», словами пытается оправдать себя, он, извините, достоин не меньшего щелчка в нос, чем Берги. С истинным страхом я наблюдаю, что люди простодушные (а ведь роман пишется и для них — для всех, иначе это «дело семейное»), люди, к вам расположенные, выводят из речей Володи etc. etc. — такое положение: Партии не нужно, а только одна Б⟨оевая⟩ О⟨рганизация⟩, она же и все. Когда стихийно вспыхнет революция, Б⟨оевая⟩ О⟨рганизация⟩, каждый член ее, к рев⟨олюции⟩ примыкает и действует в ее рядах. В другое время — организованный террор. К этой Б⟨оевой⟩ О⟨рганизации⟩ могут принадлежать все, способные для этого дела, независимо от какой-либо идеологии: и анархисты, и кто угодно. Ибо тут важнее всего личная годность. — Почти дословно привожу это мнение. От сжатости оно делается особенно резко. Комментарии излишни. Вы и без них поймете, почему я от таких выводов прихожу в ужас. Право, такое «понимание» хуже всяких цензорств и гнева «товарищей». Эти друзья опаснее врагов. Подите, объясняйте им, что «он вовсе не это хотел сказать» и что «это неинтересно» — avant tout.[7]

(К сожалению, у меня мало времени, только сегодня вечером я узнала, что завтра — оказия, и вот — тороплюсь. Неистово досадно, что нельзя поговорить. Особенно досадно, что это — из-за денег. Недели через полторы мы уезжаем в По.[8] Через месяц-полтора опять будем в Париже. К вам не едем потому, что тогда нас не пустят в Россию больше. А согласитесь, что делаться эмигрантами раньше, чем сделал малейшее из задуманного дела, — не умно. Если бы вы имели понятие, во что превратилась наша петерб⟨ургская⟩ квартира теперь, вплоть до ваших портретов у швейцара, вы бы поняли, что тут не шутки, а серьезное идиотство).

Возвращаюсь к роману. Он написан совсем другим языком, чем «Конь». Мне думается, вы еще своего языка окончательно не выработали. Были и в «Коне» свои недочеты, есть и здесь свои. Но, пожалуй, суховатая и резкая краткость, к кот⟨орой⟩ вы и здесь, в самых лучших местах, невольно приближаетесь, более *вы*, нежели цепи придаточных предложений с излишне удлиняющими, повторяющимися местоимениями, с чуть нарочитой «простотой» a la Л. Толстой. Особенно заметна эта излишность в начале. Язык, стиль Толстого прекрасен для него, но только для него одного. Вот уж не образец! Я думаю, наш литературный язык эволюционирует и стремится к своему совершенству — к незаметности. Недаром он перешел полосу последней вычурности. Теперь он хочет быть именно незаметным, прятать слова за яркость представления. Идет к «Пиковой даме», к «Капитанской дочке» скорее, — и это благо. Пишите по представлению и с минимумом слов — так, чтобы все менялось, если выкинешь хоть одно. Вот для этого полезно уметь писать стихи. Толстой не писал стихов, а вы умеете, поэтому вы не можете и не должны, как «вы», даже издали подходить к языку Толстого. Кстати: перечтите смерть Пети в «Войне и Мире». У меня нет книги под рукой, не могу справиться, но, кажется, именно Петя, убитый, лежал так же, глядя вверх, точно так же, как у вас Миша. Впрочем, это пустяк.[9]

Несмотря на очень хорошие, чисто художественные, яркие мелочи описаний, восьмая глава не много дает нового в сравнении с предыдущей, где Миша приезжает в деревню. Но дело не в том, а в неархитектурности внешнего построения повес-

*Кстати, знаете ли, что Андрей Болотов — историческое, очень известное лицо? Есть его записки, есть еще что-то.

ти. Вам придется или прибавить к началу 8-й главы несколько фраз, или вообще как-нибудь устроиться с временами. Нить повествования длится, — и так внезапно завертывается, что от неожиданности ломается впечатление. Глава 7-я кончается глубокой зимой, и когда вы после этого пишете, что «в августе полили дожди», без всяких оговорок, то неизбежно кажется, что это *следующий* август. И тем более, что так ярка и сильна эта седьмая глава; читатель не опомнился от впечатления, он *жил* там, на баррикадах, жил, тяжко переживал, пережил наконец, — и вдруг ему предлагают, — незаметно, — вообразить, что этого еще ничего не было! Нет, оговорка, и очень твердая и ясная, непременно нужна. И я бы сильно сократила эту главу, опять в виду предыдущей и в виду ускорения темпа, когда мы идем к концу.

По сравнению с «Конем», у вас есть приобретения: например, отсутствие схематичности, большее приближение к эпосу (не от стиля это зависит). И вопрос, который вы ставите, столь же широк, если не шире. Работа громадная, и в ней неизбежны те нервные неровности, которые есть. Громадная, — но благодарная, и я бы, на вашем месте, еще не раз просмотрела ее серьезно. Не отсылаю вам рукопись с моими отметками (легко карандашом), ибо ее еще не читал Дм⟨итрий⟩ С⟨ергеевич⟩. Он сказал бы вам, верно, еще что-нибудь, сверх моего, но, думается, в общем был со мною согласен. Если, как-никак, увидимся — многое можно еще прибавить. Да, насколько я знаю, — в романе масса нецензурного. «Знанию» придется выкинуть почти все о *войске*, или — что лучше? — идти на конфискацию. Впрочем, это не ваше — их дело.

Кончаю второпях. Помните, что я не сказала ни одного слова намеренно не *точного*. После неумеренных похвал друзей, да не покажется вам слишком сдержанным мой отзыв. Но если я говорю «хорошо» — это именно и значит — хорошо. Последние слова — общее впечатление: очень *интересная*, местами режуще сильная, вещь. *Все* провалы исправимы. Спасибо вам.

Быть может, вам удобнее было бы приехать в По? Но, конечно, это не так хорошо, как если бы вы были в Париже. О Ил⟨юше⟩ напрасно вы так говорите: вот уж не «цензор»! Да он и не выражал вам своего мнения непосредственно, а через третьи руки.[10] Но, конечно, его суд должен касаться той области, кот⟨орая⟩ для меня как раз неинтересна, да и где я не судья. — Нас интересует ваше отношение к П⟨артии⟩. Но совсем с другой стороны. К *сожалению*, вы преувеличиваете: никогда вас не «исключат» из П⟨артии⟩ ни за каких Бергов.[11] Но это все в скобках и из другой оперы. Я написала «к сожалению», — но это не точно. Желательно ваше не «искл⟨ючение⟩», а ваш разумный выход. А вы точно его боитесь.[12]

[1] Гиппиус критически рассматривает I часть романа Савинкова «То чего не было». В письме к Фондаминскому от 26 января 1912 года Савинков писал: «Зинаида Николаевна прислала свою критику. Я ею недоволен» (ГАРФ. Ф. 6212. Оп. 1. Д. 42. Л. 41).

[2] Правильно: Давид. Речь идет о герое романа революционере Давиде Коне.

[3] Пронька — герой романа, примкнувший к революции.

[4] Речь идет о герое романа «То, чего не было», члене ЦК партии эсеров, провокаторе, докторе Берге.

[5] Михаил, младший из трех братьев Болотовых.

[6] Гиппиус пишет о XI главе I части романа, повествующей о разговоре максималиста Владимира Глебова с главным героем романа членом ЦК партии эсеров Андреем Болотовым.

[7] прежде всего (*фр.*).

[8] По (Pau) — город на юго-западе Франции. Гиппиус вспоминала: «Возвращаться в Россию нам было еще рано, и мы вздумали поехать недели на 3 в По, где еще никогда не бывали» (*Гиппиус З. Н.* Дмитрий Мережковский. С. 196—197).

[9] На заимствования из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» критика указывала неоднократно. Так, А. Е. Измайлов писал: «Он избрал себе превосходный образец — другую эпопею, уже бессмертную в русской литературе. Ропшин — ученик Толстого и его верноподданный» (*Измайлов А. Е.* Литературные беседы. То, чего не было // Биржевые ведомости. 1912. 8 авг. С. 5). А. А. Бурнакин считал роман «грубой имитацией» «Войны и мира» Л. Толстого, указывал на заимствование Ропшиным толстовского стиля, манеры, отдельных образов. Для доказа-

тельства подобной точки зрения критик сравнивал фрагменты из «Войны и мира» и из романа «То, чего не было» (*Бурнакин А. А.* Литературные заметки. Очередной плагиат // Новое время. 1912. 14 сент. С. 4).

[10] Савинков от эсера М. М. Чернавского узнал об отрицательном отношении Фондаминского к роману «То, чего не было». См. прим. 12 к письму 1.

[11] Речь идет о провокаторе докторе Берге, видном члене ЦК партии. Образ этого героя напоминал о недавней позорной истории партии, связанной с разоблачением двойного провокатора, руководителя боевой организации Е. Ф. Азефа.

[12] В письме к В. С. Миролюбову от 4 марта 1913 года Савинков писал: «Гиппиус говорит „роман мне очень нравится", „надо выходить из Партии", „плагиат — вздор, смешно отвечать". Разругался. Мереж⟨ковский⟩ романа не читал, кроме 1-й части. Говорит „Чрезвычайно интересно". „Надо выходить из Партии". Разругались. Разругался со всеми». (ИРЛИ. Ф. 185. Оп. 1. Д. 1012. Л. 5).

4

Гиппиус — Савинкову

11 bis, Avenue Mercédès, Paris XVI[1]
4. 2. ⟨19⟩12

My dear,[2]

все более прихожу к выводу, что нам надо повидаться. Давайте думать, как это устроить. Но сначала вникните в положение дел. Вникните объективно, без капризов. Париж — одно, это некий океан. Ехать же к *вам*, в ваш стеклянный дом, — другое. Вы не имеете представления о модернистских течениях в охранке, о том, что мы видели уезжая, о высылке Ил⟨юшиных⟩ родственников и т. д. Об участии в этих «анекдотах» Дм⟨итрия⟩ Вл⟨адимировича⟩, о вашей современной «славе», о нашей теперешней репутации, о том, что у «них», по собственному признанию, «сейчас дел нет никаких» — значит, приходится выдумывать, и т. д. и т. п. Маня Ш⟨кольник⟩ (с кот⟨орой⟩ мы очень подружились)[3] необыкновенно хочет, чтобы мы с вами увиделись и понимает всю нужду, всестороннюю, этого, — однако понимает *вполне* и желание наше обставить дело поразумнее. Для вас тоже не будет пользы, если мы раньше срока сделаемся эмигрантами. Мы отнюдь не отказываемся, но желали бы разве хоть одно колесико подвинуть, — вернее — видеть, что оно двигается. Очень возможно, что это преувеличение, что Дм⟨итрия⟩ С⟨ергеевича⟩ не тронут и после S⟨an⟩-Remo, однако с уверенностью сказать нельзя, — напротив: по тому судя, чем в России сейчас пахнет, — очень просто: пошпыняют и вышлют. Мы — надоели. Мы — редкие «неуспокоившиеся» обыватели. На нас глядят с досадой. Сыщик буквально не отходит от наших дверей, другой приник к нашему телефону, а вместо писем мы просто получаем пустые конверты, с пометкой, что «письмо вынуто». Впрочем, этого не расскажешь, а главное, я не понимаю, что тут для вас «обидного» и причем ваша формула «все или ничего», т. е. почему, если мы размышляем, *как* удобнее повидаться — вы предлагаете вообще «порвать отношения». Уж коли где «обида» — так здесь, и для нас, а не для вас. Хорошо, что мы не обижаемся. «Коли вы такие трусы, коли я вам так страшен, так и не надо вас». Отнюдь не правда. Не порвали бы мы с вами отношений, конечно, ни в каком случае. Но этого даже и не требуется, дело в мере. *Если* вам *никак* нельзя будет приехать ни в По, ни в Париж, ни в другое место — мы подумаем, как приехать к вам. В крайнем случае, м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, Д⟨митрий⟩ Вл⟨адимирович⟩ к вам приедет. Дело в том, чтоб *решить* свидание и далее вместе, без несогласий, его устроить. Вот и все.

Д⟨митрий⟩ С⟨ергеевич⟩ прочел ваш роман. Он хочет вам написать отдельно, пока же скажу, что, как я и думала, он во многом согласен со мной. Говорит, что читал с *громадным интересом*. Главы восстания ему кажутся лучшими. Конец, по его мнению, слабее. Он считает, что вещь с очень большими горизонтами и сейчас

не закончена. Да, я вовсе не считаю Давыда положительным типом. Сохрани Боже! Это — в *данном* окружении «неизбежная слабость», именно сегодняшне-неизбежная. Оттого-то и хорошо, оттого-то и веришь — да, так. Вы меня просто не поняли. В общем — я согласна с вашими возражениями, тем более что вы согласны с моими везде, где не приписываете: надо считаться, что роман — не весь, а часть. Да, с этим я должна считаться и, мож⟨ет⟩ б⟨ыть⟩, это порою забывала. — Изумляюсь искренно, что вы верите «литературе» Миролюбова.[4] Господь с вами! Да это неслыханно, да М⟨иролюбов⟩ известен, испокон веков, тем, что ни аза не понимает. Если уж кого-нибудь из них непременно хотите слушаться (если уж непременно!) — то, черт с ним, слушайтесь Чернова.[5] К Мир⟨олюбову⟩ следует относиться с милой добротой и лит⟨ературных⟩ разговоров не вести, а к Горькому[6] — с откровенным недоверием. Чем это вас Мир⟨олюбов⟩ обольстил? Да еще тут же сев в лужу, т. е. объявив, что лучшие главы — худшие? Я Дм⟨итрию⟩ С⟨ергееви⟩чу моего мнения об этих главах не внушала, он сам увидел слишком ясное, — кто же бы этого не увидел из нас? Два пункта в вашем письме, на кот⟨орые⟩ желаю возразить. 1) По какой логике вы пришли к заключению, что я, судя Бергов, слушаю мнения каких-то «товарищей»? На их цензуру, на их мнения, да и, простите, на них самих мне глубоко начихать, когда я стою лицом к лицу с известным художественным произведением. Даже мое личное отношение к автору, и оно отходит на второй план при этом. Я требую «морального» отношения к своей идее, т. е. того, что требует искусство. И далее — точка. Ил⟨юша⟩ прекрасный человек, но его суд в этом деле меня просто не касается, мне неинтересно. Или уж перейти в другую плоскость, забыть роман, говорить о Партии, о вас, о нем... это можно, но это другая опера. Есть еще третья плоскость разговоров... но ее мы оставим до личного свидания. (В скобках: это отлично, что я отнеслась к Володе, как к типу отрицательному, вы пишете, что он так и задуман: значит, удалось. Я же не виновата, что авторское отношение не выяснено в незаконченной вещи.) 2) С чего вы взяли, что я вам преподнесла «конфетку»? Никто меня еще не подозревал в любви к сладостям. Я, действительно, считаю, что ваша вещь незаурядная, хорошая и широкая. Чтобы сказать, насколько шагов ушли вы вперед от «Коня бледа» — надо судить их вместе, т. е. цельное и цельное. Мне ничего не стоило бы, принимая во внимание и то, и се, — мало ли! наговорить вам кучу комплиментов, превознести вас превыше облака ходячего, и так, чтобы все поверили, остались очень довольны. (Я бы это сумела, да и вы избалованы похвалами окружающих, так что верите легко.) Но не хочу и не могу, слишком серьезно отношусь и к вам, и к литературе, и к данной вашей вещи. Считаю, что могу, вне критики, сказать про нее серьезно: *хорошо* (объективно) и *мне нравится* (субъективно). Это не сводка разбора, это общий круг, отметка, что ли. Разбор — сам собой. И повторяю, без сладости, а памятуя Корделию, младшую дочь Лира: хорошо. Не радуйтесь Гонерильям.

Когда роман будет напечатан, я дам о нем подробный отзыв, не ожидая концов, а руководствуясь тем, что вы о них намечаете в письме и скажете еще лично. О более слабых местах, однако, не умолчу, и не думаю, чтобы это было полезно. Входя в круг писателей, вы должны, известным образом, и приобретать писательскую психологию, т. е. различать критику собратьев от критики уличной, с одной стороны, и от критики «товарищей» — с другой. Тут разные системы термометров, прежде всего. Вы должны бы *не* желать, чтобы я вас судила как «даровитого дилетанта»; как таковому — я наговорила бы вам кучу приятностей, и только приятностей. Что же от дилетанта еще требовать? А от вас очень много требуется, и нами в особенности, ибо голый профессионализм, голая литература (Ал. Толстой молодой, например) — в конце концов тоже не настоящая литература.

Словом, я считаю, что этой второй вещью вы входите в литературу и тем открываетесь для критики иного тона, подписываете векселя, по которым с вас будут требовать уплаты. Ничего не поделаешь. Кроме того, ваше положение вдвойне

трудное (вдвойне благодарное, если победить трудности), и вот чем: вы не Тургенев, не Кузьмин (sic!), не Бальмонт, не Бунин; из подбора имен вы видите, что не о величине таланта я говорю; а о том, что вы не можете, по существу, не принося вреда самой вашей литературе, ограничиться узким литературным профессионализмом. Прямее говоря — ваша литература стоит в зависимости от вашего внутреннего роста и развития, от вашего личного человечества, от вашей жизни, от ваших действий. Происходить должно какое-то *взаимопитание*, причем отнюдь не становится литература дилетантством. У многих профессионалов их жизнь, их человечество — дилетантство. Я должна сказать, что это — отходящий тип, а новость новых людей как раз тут и намечается. Толстой — один из примеров, один из предтеч будущего типа настоящих литераторов. Вы скажете, что «Войну и мир» он написал, будучи *только* литератором. Нет; если бы он не *ушел* в Астапово, он не написал бы и «Войну», — никогда. Для этого надо было носить в себе эту возможность «уйти» (или «придти» — все равно). А кроме того, я считаю последние его произведения (лит⟨ературные⟩) не ниже, если не выше первых.

На эти мысли меня уже давно натолкнула жизнь; может быть, высказывать их определенно еще не пора, но помнить их не мешает. Хотелось бы, чтобы вы не поняли меня превратно: это ведь не требование «добродетельной» жизни от писателя; это требование *роскоши*, и законное, от возрастающей человеческой личности; помните? — «дать человеку лишь необходимое — значит, превратить его в животное». Требования искусства повышаются тоже; профессионализм, чистота искусства уже начинают его узить. С одной стороны, жизнь толкает человечество к «специализации»... но она же в неуступающей «проблеме личности» создает широкое течение противоположное.

Это слишком сжато, чтобы быть ясным, но возвращаюсь к вам: я смотрю на вас, как на личность, способную на недилетантство в искусстве при недилетантском отношении к себе и к жизни; и даже это последнее условие необходимо для первого положения. В какой мере вы это осуществите — вопрос другой. Но таким рисуется мне *ваш* путь. Если же (по моему мнению; я могу и ошибаться) вы переходите к литературе, смотрите на нее, как на новую вашу «специальность», изменяете ради «новой» — «старой» — не удивлюсь, если «новая» не оправдает ваших надежд.

С точки зрения заслуженных консерваторов искусства, я говорю неслыханную ересь. Что-то непривычное. Однако все консерваторы тем и характерны, что консервируемое ими в конце концов «преходит» (sic!); прейдет (sic!) и взгляд их на необходимость «специализации» для высоты искусства. Впрочем, я ведь не диктую сейчас общих правил: Кузьмину (sic!) и Гумилеву, даже Брюсову может быть, и нужно еще оставаться «профессионалами», и пусть себе; но уже Блок, — Блок! — тоскует, мечется, иссякает; я тоску его вижу, не знаю для него нужных слов; и он не знает, лепечет что-то об «уходе» и пока — запирается от людей. Душа его беспомощна — но жива.[7]

Довольно, приписываю о другом пока, к этому когда-нибудь, во времени, вернемся. Возвращаюсь к нашему свиданию. Серг⟨ей⟩ Ник⟨олаевич⟩[8] объяснит вам положение дел на словах. Я же кратко ставлю так, после некот⟨орых⟩ размышлений.

Отъезд Ил⟨юши⟩ и Ам⟨алии⟩[9] очень нам был прискорбен и весьма спутал наши соображения. Мы рассчитывали: пробыть в Pau (Basses Pyrenee's) до, скажем, 20 Марта (все по *новому* стилю). 20-го вернуться в Париж, где провести 7 Апреля (Пасху) и числа 15—20-го ехать в Россию. Теперь же не знаю, как будет, ибо что же нам в Париже целый месяц без вас и без них делать. Если они приедут к 1 Апр⟨еля⟩ к нам — тогда мы вернемся в Париж только к 10 Апреля. Но вряд ли, вернее, что Ил⟨юша⟩ приедет в Париж между 1—7, тогда наши планы остаются прежними.

Вам же мы предлагаем, и просим внимательно отнестись:

Предложение I:

Вы приедете к нам в Pau, озаботившись не привезти с собой сыщика, что вам не так уж трудно, если вы будете заезжать в Париж. Местных там нет, по-видимому.

Предложение II:

Вы приедете в Париж не позже 1-го—7-го апреля.

NB. *В обоих случаях, ежели у вас встречаются денежные препятствия к дороге — passer outré;*[10] *когда разбогатеете — мы сочтемся. Между нами даже и стыдно и говорить об этом.*

Наконец, если оба эти предложения, 1 и 2, вы отвергнете — напишите, что «ни то, ни другое не годится» (пишите не в Pau, а на парижский наш адрес, так лучше, тем более что мы там еще и адреса не имеем). Если, значит, никак не годится — подумаем дальше, и что придумаем, узнаете от Амалии или как-нибудь, но узнаете.

В Париже нам все равно быть необходимо до возвращения в Россию.

У нас возник один *очень скромный* план, осуществить который в ожидании большого очень бы не мешало. Маня Шк⟨ольник⟩ отнеслась к нему очень сочувственно, и только все говорит, как бы мы с вами повидались. (Кстати, как *нельзя* эту М⟨аню⟩ Шк⟨ольник⟩ сейчас совсем оставлять, грех и страшно не дать ей малейшего просвета). План так скромен, что мы были изумлены искренно, что Ил⟨юша⟩ встретил его колебанием (признавая его нужду и смысл). Я вам не пишу о нем (плане), нужно говорить, тем более что Ил⟨юша⟩ не дал решительного ответа, а так и уехал в колебании (причем я не думаю, чтобы колебание кончилось в одиночестве). За скромность же плана говорит уже то, что он предложен нашим известным минималистом — Дм⟨итрием⟩ Вл⟨адимировиче⟩м. И все-таки!! Было чему удивиться.

Да, вот так все в жизни. Весной хотелось показать вам двух «наших» — скромных и серьезных — людей. Но, оказывается, что и этот номер не пройдет. Tant mieux.[11] Будем ждать — с надеждой на следующие месяцы или годы, но все-таки с постоянной надеждой и упором.

До свиданья, — до непременного.

[1] Штемпель на почтовой бумаге.

[2] Мой дорогой (*англ.*).

[3] Мария Мордкова Школьник (1878—?) — эсерка. Вступила в Боевую организацию партии социалистов-революционеров в 1905 году. Была приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, за покушение на жизнь черниговского губернатора Хвостова. В июле 1911 года загримированная в мужской костюм Школьник бежала из иркутской тюремной больницы. По агентурным сведениям, в сентябре 1911 года она оказалась в Бремене, а затем в Италии, в Сан-Ремо. В декабре 1912 года филеры заметили ее на вилле «Vera». Школьник оставила воспоминания, расходящиеся с действительным ходом событий (см.: *Школьник М.* Жизнь бывшей террористки. М., 1930).

[4] Миролюбов Виктор Сергеевич (1860—1939) — литературный редактор журнала «Заветы» в 1912—1913 годах. Жил в Италии. Весной 1913 года покинул пост литературного редактора после конфликта в редакции.

[5] Чернов Виктор Михайлович (1873—1952) — основатель партии эсеров, один из главных теоретиков и идеологов с момента ее возникновения, автор партийной программы. С 1899 года жил за границей, возглавляя заграничную организацию партии эсеров. После разоблачения в 1908 году одного из руководителей партии Е. Ф. Азефа ушел со всех партийных постов и переехал в Италию. Занялся литературной работой в журнале «Заветы». Став политическим редактором журнала, определял стратегию его развития. Под псевдонимом Я. Вечев вел раздел «Дела и дни», где высказывался по вопросам текущей политики. См.: *Чернов В. М.* Перед бурей. Воспоминания. Нью-Йорк, 1953.

[6] Идея создания нового журнала «Заветы», вероятно, возникла во время приезда В. М. Чернова к Горькому на Капри осенью 1911 года. В первом номере «Заветов» за 1912 год, где начал печататься роман «То, чего не было», был опубликован рассказ Горького «Рождение человека». Соседство с романом Савинкова настолько возмутило Горького, что он отказался от сотрудничества с «Заветами».

[7] Блок в 1912 году посещал собрания Религиозно-философского общества, но идеи «религиозной общественности» не воспринимал. Негативное отношение Блока к Мережковским выразилось в поэтической декларации стихотворения «Мой бедный, мой далекий друг!..» (1912):

«И так давно постыли люди, // Уныло ждущие Христа... // Лишь дьявола они находят... // Их лишь к отчаянью приводят // Извечно лгущие уста...» Тем не менее в январе 1912 года Блок читал только что вышедшую книгу Философова «Неугасимая лампада» (1912), посвященную религиозным вопросам (*Блок А. А.* Дневник. М., 1989. С. 109). В феврале 1912 года Гиппиус посвятила Блоку стихотворение «Колодцы».

[8] Сергей Николаевич Моисеенко — эсер-террорист. Принимал участие в убийстве Петербургского градоначальника В. Ф. фон дер Лауница (1906). Участвовал в покушениях на Николая II, премьер-министра П. А. Столыпина, великого князя Николая Николаевича.

[9] Речь идет о супругах Фондаминских, близких друзьях Мережковских. Амалия Осиповна Фондаминская (урожд. Малка Броха Ошеровна; ум. в 1935 году) была близкой подругой Гиппиус. Фондаминские и Гавронские происходили из богатых московских купеческих семей, оказывавших помощь Боевой организации эсеров из собственных средств.

[10] не надо преувеличивать (*фр.*).

[11] Тем лучше (*фр.*).

5

Философов — Савинкову

Gd. Hôtel Gassion
Pau
15—28 февраля ⟨1912⟩

Дорогой друг.

При сем письмо Вольфа.[1] Я ему написал, чтобы он немедленно выслал гонорар на мое имя. Будьте добры, не поленитесь *точно* мне написать кому и как выслать деньги (получу я их дней через десять). Адрес наш *новый*: Hotel d'Angleterre Cambo-les-Bains (Basses — Pyre'nee's).[2]

Это в трех часах отсюда, и мы переезжаем в Cambo завтра.

Мы довольно благополучны, и надеемся, что С⟨ергей⟩ Н⟨иколаевич⟩[3] рассказал Вам о нас. Привет дорогим Вашим сожителям.

[1] См. прим. 4 к письму 1.

[2] Камбо-ле-Бен — город на юго-западе Франции.

[3] О С. Н. Моисеенко см. прим. 8 к письму 4.

6

Гиппиус — Савинкову

Gd. Hôtel Gassion
Pau[1]
11—24 марта ⟨19⟩12 г.

Давно не писала вам, милый collega. Ужасно раздражает Вольф: вы сами читали, что он обещал выпустить книгу на днях и не задерживать гонорара, однако нет о книге ни объявлений, ни денег.[2] Мы ему уже послали телеграмму, надеюсь посовестится, что так наврал.

Как вы поживаете? Как здоровье М⟨арии⟩ А⟨лексеевны⟩? Как ваша работа? Прав был Д⟨митрий⟩ С⟨ергеевич⟩, когда говорил, что письменно о новом вашем романе ничего толком не скажешь; пишется, о литературных произведениях, *для читателей*, а не для *автора*. С автором же можно только говорить. Вот и вышло, что, по вашему мнению, «мы перестали понимать друг друга». Как это печально! Неужели с Горьким и Мирол⟨юбовым⟩ вы больше понимаете друг друга? Думаю, впрочем, когда мы с вами увидимся и поговорим толком, — будет ясно, к какой литературе вы тяготеете, к Горько-андреевской или нашей. (Кстати: журнал, где

роман будет напечатан, решили издавать в Москве? Я читала, что Бунин написал для него большую вещь.)[3]

Мы поживаем изо дня в день; от ужаса, что мой собственный роман едва на половине, а Русская Мысль требует его в редакцию через два месяца, я онемела и не могу за него приняться вовсе.[4] Так и сижу в отчаянии. Погода к тому же здесь такая, что и солнцем нельзя утешиться, так что, хотя и «надоела» Ривьера и пути сообщения отсюда с ней отчаянные (две ночевки, в Тулузе и Марселе), мы туда отправляемся к 8 Апреля. Насчет Парижа отчаялись, не стоит туда сейчас, по газетам видно, какие там «Жибуло» с бурями. В марте везде плохо, но все же авось погреемся хоть немного у нашей привычной каннской англичанки, которая нас уже поджидает, и даже виллу предлагает. Если и в Канне будет холодно, поедем в Ментону. Только там мы ничего не знаем, а Д⟨митрий⟩ С⟨ергеевич⟩ очень «труден» насчет помещения и гостиниц, капризен.

Ну, до свиданья. Да, я слышала, что вы на некоторое время уезжаете ⟨1 нрзб.⟩ в Италию. Не теперь ли? Но как же тогда с этим проклятым Вольфовским гонораром? Мы надеемся все-таки получить его на днях.

Вы успеете еще ответить нам *сюда*, — мы будем здесь, — если, конечно, это письмо застанет вас.

P. S. Сколько у меня книг из редакции Русск⟨ой⟩ М⟨ысли⟩![5] Самые новейшие. Все, в конце концов, будут у вас, хотя придется «товаром» посылать. Очень интересен новый сборник «Земля», Сологуб и Саша Черный.[6]

[1] Штемпель на почтовой бумаге.

[2] «Конь бледный» вышел в свет в мае 1912 года.

[3] Речь идет о журнале «Заветы» (1912—1914), который по первоначальным замыслам должен был выходить в Москве. «Заветы» начали издаваться в Петербурге с конца апреля 1912 года. Название придумал секретарь журнала С. П. Постников: «Это слово выражало наше общее желание быть верными заветам Герцена, „Современника", „Отечественных записок". Тогда в сборнике „Вехи" и в „Русской мысли" был поход против всех этих заветов передовой интеллигенции» (цит. по: *Морозов К. С.* Партия социалистов-революционеров в 1907—1944 гг. М., 1998. С. 553). Журнал финансировался пожертвованиями сочувствующих. В нем печатались произведения многих русских писателей и поэтов. И. А. Бунин сотрудничал в литературном отделе журнала. В № 1 журнала 1912 года была помещена повесть Бунина «Веселый двор». Издание «Заветов» было приостановлено в связи с началом Первой мировой войны, а приговором Петроградской судебной палаты от 16 сентября 1914 года «Заветы» были запрещены окончательно.

[4] Речь идет о «Романе-царевиче» Гиппиус, опубликованном в 1912 году в журнале «Русская мысль» (№ 9—12). В мае 1912 Гиппиус писала С. П. Каблукову: «Ах, роман! Сколько он у меня крови портит! Не можете ли взглянуть, какая цифра стоит на последней стр⟨анице⟩ рукописи Чертова Кукла? Неужели 600? Очень мало у меня написано» (РНБ. Ф. 322. Д. 19. Л. 168).

[5] Гиппиус в 1912 году готовила литературные обзоры для журнала «Русская мысль».

[6] Имеется в виду литературно-художественный сборник «Земля», выпускаемый в Москве (1908—1917). Гиппиус имеет в виду восьмой сборник «Земли» (1912). В нем были помещены рассказ Ф. Сологуба «Звериный быт» и рассказ Саши Черного «Первое знакомство».

7

Философов — Савинкову

Grand Hôtel Cassion
Pau[1]
29 марта 1912

Высылаю Вам чек на 1061 фр⟨анк⟩, т. е. на 400 р⟨ублей⟩. Договор с Вольфом остался у Дм⟨итрия⟩ С⟨ергеевича⟩ в Петербурге, и я *точно* не помню *всей* цифры гонорара. Но *если* не ошибаюсь, Вам причитается что-то еще рублей 200, в ка-

кой-то срок. В Петербурге справлюсь и Вам отпишу. Сегодня получил Ваше письмо от 26 Марта, адресованное на Cambo, вместе с тем З⟨инаида⟩ Н⟨иколаевна⟩ Вам писала 24-го, а я 25-го.[2] Получили ли наши письма? В них я писал как раз о деньгах (послал Вам письмо Вольфа), а З⟨инаида⟩ Н⟨иколаевна⟩ о предполагаемом нашем отъезде в Cannes. Что-то уж очень долго идут наши письма. Очевидно, Шпекины их читают. Дураки!

Итак, надеюсь до скорого свидания. Адрес и время пребывания в Cannes своевременно сообщим. Привет вашим.

P. S. В S⟨an⟩ -R⟨emo⟩ нет Cred'it Lyunnais. Они перевели на Monte-Carlo, говоря, что каждый банк в San-Remo в течение суток этот чек обменяет.

[1] Штемпель на почтовой бумаге. Письмо датируется по европейскому календарю.

[2] См. письмо 6; Философов ошибся, он писал Савинкову 15—28 февраля 1912 года (см. письмо 5).

8

Философов — Савинкову

29. 3. 1912
По[1]
Пятница.

Получили сегодня Ваше espresso. Доставили его скоро, но распечатанным. Вот уж «тримадерам»[2] нечего делать! Чек отправлен сегодня утром, при письме. Известите о получении — в *Cannes Hotel Estere'l.* Мы только будем не позже 8 Апр⟨еля⟩. Но они насчет нашей корреспонденции предупреждены. Отсюда мы уезжаем завтра.

[1] Датируется по европейскому календарю по почтовому штемпелю на открытке, адресованной на имя «Auguste Malmberg».

[2] Вероятно, шутливая транскрипция французского слова dromadaire, т. е. верблюд, — так в переписке с Савинковым «трио» условилось называть филеров. В дневнике Гиппиус писала: «Дмитрий очень боялся ехать к Борису в Сан-Ремо — да и действительно: они окружены сыщиками, письма все читаются. У нас в Спб. сыщик не отходил» (*Гиппиус З. Н.* Кн. 1. С. 153).

9

Гиппиус — Савинкову

17—30. m⟨a⟩r⟨s⟩ ⟨19⟩12 г.[1]
Gare-de-Pau
Pyrenees

Вчера вечером получили телеграмму, что мать Дм⟨итрия⟩ В⟨ладимировича⟩ при смерти.[2] Он уехал в ночь, мы едем сегодня, через Париж в С⟨анкт⟩-П⟨етер-бург⟩ тоже.

Вряд ли Д⟨митрий⟩ В⟨ладимирович⟩ ее застанет в живых.

Видите, трудно в жизни что-либо предполагать, даже гадательно. Жизнь делается сама. Ну, все равно. Будьте здоровы, пишите хорошо ваш роман. Привет всем, М⟨арии⟩ А⟨лексеевне⟩ желаем здоровья побольше.

Кое-какие книги из Р⟨усской⟩ М⟨ысли⟩ послала вам отсюда, не все, ибо о других должна еще писать.

[1] Письмо на почтовой открытке.

[2] Речь идет об Анне Павловне Философовой (урожд. Дягилева; 1837—1912), видной деятельнице либерального движения, начавшей общественную деятельность в начале 1860-х годов. Благодаря ее энергии в 1872 году открылись Высшие медицинские курсы, а в 1878 году Высшие (Бестужевские) женские курсы. Обширна ее деятельность в области благотворительности. В 1879 году за связи с народовольцами была выслана за границу, откуда вернулась в 1881 году. После убийства императора Александра II ее взгляды несколько изменились. Вела дружескую переписку с В. С. Соловьевым, Я. П. Полонским, Ф. М. Достоевским, В. В. Розановым. Являлась членом Религиозно-философского общества. Была вице-председателем русского Теософического общества. О деятельности А. П. Философовой см.: Сборник памяти Анны Павловны Философовой: В 2 т. Пг., 1915. Т. 1.

10

Гиппиус — Савинкову

31.3. ⟨19⟩12
Pau[1]

Забыла второпях прибавить, что насчет гонорара от Вольфа я ошиблась только раз; и не 400 только, а 600, но остальные 200 через 2 месяца, кажется. Так что разочарование у вас лишь в 200 р⟨ублях⟩.

Будьте же здоровы. А⟨ндреев⟩ский[2] кланяется Марии Алексеевне.[3] Книги вам послала, но все дрянь. Анна Мар написала мне письмо, что очень красива и личный экз⟨емпляр⟩ послала, но ее и лично выругала, и печатно.[4] Очень жалею, что так мы с вами и не встретились, и не скоро прочту я II часть ваших «Братьев».[5]

[1] Датируется по европейскому календарю по штемпелю на почтовой открытке.

[2] Андреевский Сергей Аркадьевич (1847—1848?—1918) был более известен как юрист, талантливый защитник, выступавший на многих громких процессах, чем как поэт и литературный критик. В 1878 году отказался выступать на процессе по делу первой русской террористки В. И. Засулич, оправдывая ее выстрел в Петербургского генерал-губернатора Ф. Ф. Трепова. Занимал видное место в адвокатуре. Блестящие речи Андреевского неоднократно переиздавались. По мироощущению был близок к модернистской поэзии. Приятель Мережковских, называвших его «адвокат-поэт». Их соучастник по Шекспировскому кружку (1896) (см.: *Андреевский С. А.* Литературные очерки. СПб., 1913). Написал автобиографическую «Книгу о смерти», которую по частям читал Гиппиус (*Андреевский С. А.* Книга о смерти. М., 2002. (Лит. памятники)).

[3] Речь идет о М. А. Прокофьевой.

[4] Анна Мар (наст. имя и фамилия Анна Яковлевна Бровар; 1887—1917) — писательница, журналистка (см.: *Грачева А. М.* «Жизнетворчество Анны Мар» // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1996. С. 56—76).

[5] Роман Савинкова «То, чего не было» имел подзаголовок «Три брата».

(Окончание следует)

© *С. А. Кибальник*

ГАЗДАНОВ И ШЕСТОВ

Изучение творчества Гайто Газданова в контексте экзистенциальной традиции, хотя и началось совсем недавно, ведется довольно интенсивно. Однако принадлежность писателя к этой традиции несколько преувеличивается, на пересмотр же ее Газдановым почти не обращают внимания. Эта аберрация связана с другой: имеется существенный крен в сторону сопоставлений с литературой и мыслью ев-

ропейского экзистенциализма.[1] Между тем для выявления философско-литературных основ экзистенциального сознания у раннего Газданова оказываются важны и русские параллели.

Особое место в этом смысле принадлежит книге Льва Шестова «На весах Иова»: собственно, она и инициировала появление экзистенциальных мотивов в ранних произведениях Газданова, да и вообще стала одним из основных, до сих пор еще недооцененных источников экзистенциального сознания в литературе Русского Зарубежья. Связано творчество Газданова и с некоторыми другими сочинениями Шестова.[2] Кроме того, оно напрямую соотносится с произведениями таких предшественников философии существования, как Достоевский и поздний Толстой.[3]

Из литературы западноевропейского экзистенциализма творчество Газданова 1920—1930-х годов, как правило, сопоставлялось с произведениями А. Камю.[4] Подобные сопоставления, разумеется, могут иметь только типологическое значение. Нередко писали о параллелизме творческих путей Газданова и Камю и о влиянии последнего на русского писателя. Однако если первое, хотя и с известной долей условности, по-видимому, действительно имеет место, то второе весьма проблематично. Если у Газданова все же имеются реминисценции из Камю, то они введены с полемической целью.[5]

Многие из сделанных до настоящего времени сближений раннего Газданова с Камю, безусловно, любопытны, однако некоторые из них все же представляются не вполне правомерными. Так, например, С. Г. Семенова — исследовательница, которой принадлежит особая роль в изучении экзистенциальных мотивов литературы Русского Зарубежья,[6] — в ряде случаев существенным образом переакцентирует произведения Газданова. Об автобиографическом герое «Вечера у Клэр» Николае Соседове исследовательница пишет: «Почти как будущий Мёрсо из „Чужого" Камю, он проходит *посторонним* всему, что наблюдает вокруг, — точнее, он будто лишен обычной иерархии интереса к миру: люди, их страдания, ужасы войны мало его касаются, зато какие-то боковые, окраинные вещи, войдя в случайный резонанс с его внутренним состоянием, становятся для него волнующим событием: „Это мог быть медленный полет крупной птицы, или чей-то далекий свист, или неожиданный поворот дороги... или в темноте... крик неизвестного животного"».[7]

---

[1] См., например: *Мартынов А. В.* 1) Газданов и Камю // Возвращение Гайто Газданова. Научная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения. 4—5 декабря 1998 г. М., 2000. С. 67—80; 2) Газданов и Ницше // Газданов и мировая литература: Сб. статей. Калининград, 2000. С. 67—80; *Красавченко Т. Н.* Газданов-экзистенциалист. Два рассказа и фрагмент из архива в Гарварде // Возвращение Гайто Газданова. С. 239—270; *Семенова С.* Экзистенциальное сознание в прозе Русского Зарубежья (Гайто Газданов и Борис Поплавский) // Вопросы литературы. 2000. Май—Июнь. С. 67—106 (под заглавием «Путешествие по „беспощадному существованию" (Гайто Газданов)» перепечатано в кн.: *Семенова С.* Русская поэзия и проза 1920—1930-х годов. М.: Наследие, 2001. С. 529—545).

[2] Помимо отдельных работ Шестова, о которых пойдет речь ниже, это в особенности касается его книги «Власть ключей» (впервые: Берлин, 1923), в которой намечены некоторые идеи, развитые в «На весах Иова». См., например: *Шестов Л.* Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 93, 148, 153, 263. Следует иметь в виду также и то, что основной пафос философии Шестова, сложившийся в начале 1900-х годов, одухотворяет все его книги, начиная с «Достоевского и Ницше» (впервые: СПб., 1903).

[3] См. об этом: *Кибальник С. А.* Гайто Газданов и экзистенциальное сознание в литературе Русского Зарубежья // Русская литература. 2003. № 4. С. 53—55, 57, 69—70, 53.

[4] *Семенова С.* Экзистенциальное сознание в прозе Русского Зарубежья (Гайто Газданов и Борис Поплавский). С. 67—106.

[5] См.: *Кибальник С. А.* Указ. соч. С. 66—67.

[6] Кроме вышеназванных, см. также статью С. Семеновой «Два типа экзистенциального сознания. Проза Г. Иванова и Владимира Набокова-Сирина» (Новый мир. 1999. № 9. С. 180—205).

[7] *Семенова С.* Экзистенциальное сознание в прозе Русского Зарубежья (Гайто Газданов и Борис Поплавский). С. 81.

Видимо, ощущая спорность этого сближения, исследовательница высказала его с существенными оговорками. Действительно, отмеченная особенность — скорее обычная черта писательского сознания, в особенности писателя послепрустовского поколения.[8]

Ничуть не более правомерным представляется сближение с тем же Мёрсо одного из героев второго романа Газданова Артура: «...еще один эпизод „Истории одного путешествия", связанный с близким Володе персонажем, англичанином Артуром, заставляет вспомнить странного убийцу из романа Камю, застрелившего на пляже араба, просто так — *из-за солнца*. Артур после случайной вечеринки у Одетт, где он слышит свою собственную романтическую историю с проституткой Викторией из пошлых, насмешливых уст заезжего доктора Штука, на одной из парижских ночных улиц, движимый захватившим его „непреодолимым чувством убийства", своими сильными руками боксера и пианиста душит до смерти этого лоснящегося венского специалиста по женским болезням и сердцам. И никакого раскаяния, жалости, каких-либо метафизических страданий...»[9]

Однако перед этим Артур говорит Штоку: «Вы знаете, что вы мерзавец?»,[10] и, следовательно, его отношение к своей жертве не имеет ничего общего с безразличием Мёрсо. Вспыхнувшее в нем «непреодолимое чувство убийства» (1, 232), природу которого сам Артур пытается постигнуть позднее, возникает у него отнюдь не на пустом месте. Однако его источник снова отнюдь не экзистенциальное безразличие Мёрсо, с которым его связывает исследовательница: «„Ничто, ничто не имело значения..." ⟨...⟩ Вот, наверное, лучшее объяснение и для Артура, бесследно для других и для себя убравшего из жизни просто неприятного человека, — *это не имеет значения*».[11] А вот что сказано об этом в романе: «Ни одной секунды Артур не жалел доктора — доктор не заслуживал лучшей участи, это было бесспорно и несомненно. Но все же откуда появилось это непреодолимое чувство убийства, откуда возникло это ощущение тяжелеющих рук и сжимающегося горла — и когда он знал уже нечто похожее?» (1, 232). И это скорее намек на генетическую предрасположенность Артура к убийству, связанную со сквозной в этом романе темой метемпсихоза, или переселения душ, и уж во всяком случае никак не на экзистенциальное безразличие.

Говоря об «экзистенциальном пробуждении» Федорченко из романа «Ночные дороги», исследовательница сама не в силах пройти мимо его очевидной пародийности: «Несмотря на некоторую пародийность этого экзистенциального пробуждения, прежде всего в силу „его чудовищного душевного опоздания" и уплотненной стремительности, убившей Федорченко, в нем для автора все же проступил наконец такой тип человека, который „всегда интересовал меня"...»[12] Стоит только добавить, что герой-рассказчик на протяжении всего романа последовательно отговаривает Федорченко от настойчивого обращения к последним вопросам бытия, и через эту сюжетную линию вскрывается губительность современных идей, в частности ницшеанства, для неподготовленного сознания.

Характерно, что, провозглашая роман «историей нескольких смертей», С. Г. Семенова договаривается даже до прямого искажения его содержания: «Умирает от чахотки молодая, изумительно физически красивая, но, увы, ограниченная и ане-

---

[8] Заслуживают внимания также сопоставления «Вечера у Клэр» с творчеством Л. Н. Толстого, сделанные в докладе А. И. Чагина «Газданов на перекрестке культур» на посвященной 100-летию со дня рождения Газданова конференции ИМЛИ РАН.

[9] *Семенова С.* Экзистенциальное сознание в прозе Русского Зарубежья (Гайто Газданов и Борис Поплавский). С. 85.

[10] *Газданов Гайто.* Собр. соч.: В 3 т. М., 1996. Т. 1. С. 228. Далее ссылки на это издание даются в тексте (том, страница).

[11] *Семенова С.* Экзистенциальное сознание в прозе Русского Зарубежья (Гайто Газданов и Борис Поплавский). С. 86.

[12] Там же. С. 90.

мичная Алиса...»[13] Однако Алиса вовсе не умирает: «Она медленно поправлялась и через некоторое время уже начала выходить на улицу. Но здоровье не вернулось к ней в полной мере; она ни на что, собственно, не жаловалась и чувствовала себя, в общем, неплохо, но быстро уставала, ела без особенного аппетита, но очень крепко спала» (1, 634). Последовательное усиление самой исследовательницей экзистенциальной ноты газдановских романов как нельзя лучше выразилось в этой ее отнюдь не случайной обмолвке.

В действительности, даже в раннем творчестве Газданова полное принятие экзистенциальной позиции встречается нечасто,[14] а сам удельный вес этой темы не так уж велик. В сущности, как основная она представлена лишь в рассказах «Превращение» (1928) и «Черные лебеди» (1930). Герой первого из них Филипп Аполлонович в результате ранения на дуэли не умер, а лишь преждевременно состарился. Однако впечатление от собственной смерти, которую он ощущал как свершившуюся (как и рассказчик «Возвращения Будды»; ср. 2, 125), заставляет Филиппа Аполлоновича превозносить ее власть как «лучшую, какую он знает», и сожалеть о своем возвращении к жизни (см.: 3, 89—90). Нетрудно заметить, что содержание этого рассказа навеяно Шестовым, усматривавшим, например, смысл «всего, что написано Толстым после „Анны Карениной"», в том, что «только смерть и безумие смерти может разбудить людей от кошмара жизни», а о творчестве таких писателей, как Гоголь, замечавшим: «Некоторые, очень немногие, чувствуют, что их жизнь есть не жизнь, а смерть».[15]

Еще в большей мере это относится к рассказу «Черные лебеди», в котором есть прямые реминисценции из книги «На весах Иова». Его герой Павлов называет Достоевского «мерзавцем», «истерическим субъектом, считавшим себя гениальным, мелочным, как женщина, лгуном и картежником на чужой счет» (3, 138). Шестов развивал эту мысль в своей книге «На весах Иова», где, в частности, цитируется письмо Н. Н. Страхова к Л. Н. Толстому, в котором приведены малодостоверные сведения о растлении Достоевским малолетних: «Лица, наиболее на него (Достоевского. — *С. К.*) похожие, — это герой „Записок из подполья", Свидригайлов и Ставрогин. ⟨...⟩ В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости» (с. 100).[16]

Мысль эта развивается в книге довольно подробно. Так, процитировав «Дневник писателя», Шестов вопрошает: «Неужели вы не узнаете знакомого голоса? И продолжаете думать, что подпольный человек — сам по себе, а Достоевский — сам по себе?» (с. 62). В другом месте Шестов настаивает на автобиографичности

---

[13] Там же. С. 89.

[14] Показательно, что сама С. Г. Семенова сопровождает свои сближения романов Газданова с экзистенциальной литературой некоторыми существенными оговорками: «Но всякое приближение к конкретному человеку... узрение его единственного, неповторимого лица, искаженного знакомой болью, меняет перспективу авторской оценки в сторону сочувствия, душевного сострадания и солидарности» (Там же. С. 91).

[15] Цит. по: *Шестов Л.* На весах Иова (Странствования по душам). Paris: Ymca-Press, 1975. С. 49, 103—104 (далее ссылки на это издание даются в тексте). Нельзя при этом сбрасывать со счетов непосредственное влияние на Газданова позднего Толстого. Ср. хотя бы финал «Смерти Ивана Ильича»: «Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет» (*Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1933. Т. 26. С. 98).

[16] Знакомство писателя с таким представлением Шестова о личности Достоевского, восходящее к тем же малодостоверным свидетельствам Н. Н. Страхова, обнаруживает поздняя статья Газданова «О Чехове»: «...по словам Страхова, Достоевский был чем-то вроде соединения Федора Павловича Карамазова со Свидригайловым...» (*Газданов Г.* О Чехове // Вопросы литературы. 1993. Вып. 3. С. 315; впервые: Новый журнал (Нью-Йорк). 1964. Т. 76). Ср. ссылку на это же свидетельство Страхова в письме Газданова к Г. В. Адамовичу (см.: *Серков А. И.* О дружбе двух писателей // Возвращение Гайто Газданова. С. 297).

практически всех персонажей Достоевского, как положительных, так и отрицательных: «...и Мышкин, и Рогожин, и все остальные — не люди, а маски: Достоевский никогда людей не изображал. Но под масками вы видите одного, настоящего, живого человека — самого автора...» (с. 65).

Автобиографично в истолковании Шестова и творчество Гоголя: «Для Гоголя Чичиковы и Ноздревы были не „они", не другие, которых нужно было бы „поднять" до себя. Он сам сказал нам — и это не лицемерное смирение, а ужасающая правда — что не других, а себя самого описывал и осмеивал он в героях „Ревизора" и „Мертвых душ"» (с. 49). Аналогичным образом Толстой уравнивается с героями его «Записок сумасшедшего» и «Отца Сергия» (с. 99, 117). В сущности, все писатели, по мнению Шестова, наиболее полно воплотили себя в вымышленных героях своих произведений: «И Гоголь не в „авторской исповеди" — а в „Мертвых душах". То же можно обо всех писателях сказать» (с. 106).

Ощущению бессмысленности жизни и вытекающему из него стремлению к смерти герой-рассказчик «Черных лебедей» не может противопоставить ничего, кроме отрицания необходимости поисков смысла жизни, поскольку это всего лишь «абстрактная идея», «логическое оправдание всему», неспособное, однако, заставить человека «совершить какой бы то ни было поступок» (3, 140). В этом отношении он напоминает идейного демиурга «Вечера у Клэр» дядю Анатолия. Возникает впечатление, что именно о Павлове (или об одном из героев Достоевского) говорил этот персонаж, рассказывая о своем «очень близком товарище», «студенте», который «все спрашивал» его «о смысле жизни» «перед тем, как застрелиться»: «...зачем нужна такая ужасная бессмысленность существования.〈...〉 Ведь от смерти мы не уйдем» (1, 117). И ответ дяди Анатолия этому студенту оказывается так же неубедителен, как и реакция героя-рассказчика «Черных лебедей»: «Я говорил ему тогда, что есть возможность существования вне таких вопросов: живи, ешь бифштексы, целуй любовниц, грусти об изменах жизни и будь счастлив» (1, 117).

Вообще диалог дяди с племянником в «Вечере у Клэр» звучит явным отголоском чеховской «Скучной истории». Ср.: «Теперь ты спрашиваешь меня о смысле жизни. Я ничего не могу тебе ответить. Я не знаю» («Вечер у Клэр») и «Ради истинного Бога, скажите скорей, сию минуту, что мне делать? 〈...〉 Ничего я не могу сказать тебе, Катя, — говорю я. 〈...〉 По совести, Катя, не знаю».[17] И учитывая, что Газданов был хорошо знаком с шестовским истолкованием Чехова в экзистенциальном ключе и вполне его разделял, это вряд ли случайно.[18]

В «Черных лебедях» герой-рассказчик не только не находит, что сказать, чтобы заставить Павлова отказаться от своего намерения, но, более того, сам оказывается зачарован его убеждением в том, что все самые лучшие мечты реализуются, как только человек пересекает смертную черту: «В сущности, я уезжаю в Австралию, — сказал он. Я вышел на улицу, было утро, уже началась обычная жизнь: я смотрел на проезжавших и проходивших мимо меня людей и думал с исступлением, что они никогда не поймут самых важных вещей; мне казалось в то утро, что я их только что услышал и понял, и если бы эта печальная тайна стала доступна всем, мне было бы тяжело и обидно» (3, 142).

---

[17] *Чехов А. П.* Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1985. Т. 7. С. 309.

[18] «...В смысле полнейшей безотрадности, полнейшего отсутствия надежд и иллюзий — с Чеховым, мне кажется, нельзя сравнить никого, — полагал Газданов. — Он как бы говорит: вот каков мир, в котором мы живем... Исправить ничего нельзя. Мир таков, потому что такова человеческая природа» (*Газданов Г.* О Чехове. С. 309). Ниже Газданов прямо ссылается на известную статью Шестова «Творчество из ничего»: «Лев Шестов, кажется, сказал, что все, к чему прикасается Чехов, увядает, и в этих словах есть что-то чрезвычайно глубокое и правильное» (Там же. С. 313). Ср. у Шестова: «Искусство, наука, любовь, вдохновение, идеалы, будущее — переберите все слова, которыми современное и прошлое человечество утешало или развлекало себя — стоит Чехову к ним прикоснуться, и они мгновенно блекнут, вянут и умирают. 〈...〉 В руках Чехова все умирало» (*Шестов Л.* Начала и концы. Сб. статей. СПб., 1908. С. 5—6).

Это не слишком напоминает самого Чехова, но очень похоже на истолкование его Шестовым — хотя бы той же «Скучной истории»: «...настоящий, единственный герой Чехова — это безнадежный человек. ⟨...⟩ Он всюду вносит смерть и разрушение».[19] Еще более созвучно это книге Шестова «На весах Иова», в особенности его экзистенциальному истолкованию русских писателей, от Гоголя до Толстого, сквозь призму философии Плотина: «„Наша отчизна — та страна, из которой мы пришли сюда; там живет наш Отец". Так говорит Плотин, так думал и чувствовал Гоголь: только смерть и безумие смерти может разбудить людей от кошмара жизни. В этом же смысл „Записок сумасшедшего" Толстого...» (с. 103). «Печальная тайна», которую понял герой Газданова, очевидно, состоит в том, что только освобождение человека от его собственного тела позволяет ему осуществить все те мечты, которые он напрасно пытался бы реализовать при жизни: «Порфирий нам рассказал, что Плотин стыдился своего тела, — неужели можно думать, что живи он в эпоху, когда произвол облачался в видимость справедливости и законности, ему бы зависимость от тела казалась менее постыдной?» (с. 349).

В особой главе книги «На весах Иова» «Неистовые речи (Об экстазах Плотина)» Шестов подробно прослеживает источники и значение этой идеи: «Еще задолго до Плотина — под влиянием Платона, и еще более под влиянием циников и стоиков, в древнем мире назревало убеждение, что „тело" есть источник зла на земле. Плотин, по-видимому, первый из языческих философов, принял это убеждение целиком, без всяких оговорок и передал его от себя средневековью, как принцип, не подлежащий ни сомнению, ни пересмотру. Есть все основания думать, что этот принцип являлся условием возможности проникновения христианства в культурный греко-римский мир» (с. 341).

Предстоящее расставание с его собственным телом не вызывает особых эмоций у Павлова, зато оно рождает сожаление в душе героя-рассказчика «Черных лебедей»: «Но я жалел о том, что через некоторое время перестанет двигаться и исчезнет из жизни такой ценный и дорогой, такой незаменимый человеческий механизм...» (3, 140—141). И еще прямая ремарка, которая обнаруживает в рассказчике естественный человеческий отказ примириться со стоицистским обесцениванием человеческой плоти: «...и ни на одну минуту я не мог забыть, что Павлов приговорен к смерти и что никакие силы не спасут его, и его голос, который тогда звучал и колебался, так и пропадет без отклика, так и заглохнет в этом теле, которое станет трупом» (3, 141).

То, что Павлов, «в сущности, уезжает в Австралию», — разумеется, почти цитата из Свидригайлова. Однако гораздо важнее замены Америки на Австралию наполнение героем Газданова идеи смерти, относительно которой у Свидригайлова с его специфическими представлениями о потусторонней жизни никаких иллюзий не было,[20] тем особым мистическим восторгом, которым Плотин заразил Шестова.[21] Намерение покончить с собой, которое Свидригайлов имеет в виду, говоря о

---

[19] Там же. С. 39. «Безнадежность» Шестов истолковывает как фактор экзистенциального «пробуждения»: «Безнадежность — торжественнейший и величайший момент в нашей жизни. До сих пор нам помогали — теперь мы предоставлены только себе» (*Шестов Л.* Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления // Шестов Л. Собр. соч. СПб., 1911. Т. IV. С. 84). Характерно, что в романе «Призрак Александра Вольфа», передавая рассказ Елены Николаевны о ее увлечении Вольфом, герой-рассказчик почти дословно повторяет слова Льва Шестова о Чехове, впоследствии приведенные Газдановым в его статье: «...ей казалось, что *всё увядает*» (2, 79—80). Ср.: «...переберите *все слова*, которыми современное и прошлое человечество утешало или развлекало себя — стоит Чехову к ним прикоснуться, и они мгновенно блекнут, *вянут* и умирают» (*Шестов Л.* Начала и концы. С. 5. Курсив мой. — *С. К.*).

[20] Ср.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 15 т. Л., 1989. Т. 5. С. 272, 473, 474.

[21] Скорее всего, именно с выходом книги Шестова связано и обращение к экзистенциальным мотивам В. В. Набокова. Так, его рассказ «Пильграм», как и «Черные лебеди»,вероятно, написан под впечатлением от чтения «На весах Иова». Восходящий к Свидригайлову мотив — «самоубийство как отъезд в другую страну» — переосмыслен здесь в духе шестовской трактов-

своем якобы предстоящем отъезде на другой континент, у Газданова, как и у Шестова, оказывается и в самом деле дверью в иное, лучшее существование.

Из других рассказов Газданова экзистенциальные мотивы сколько-нибудь ощутимо представлены лишь еще в одном — «Освобождении» (1936), герой которого Алексей Степанович, «инженер и состоятельнейший человек» (3, 360), имеет явные черты сходства с героями позднего Толстого: «И только с Анатолием Алексей Степанович еще шутил и чувствовал себя легко, избавляясь на несколько часов от того чувства непобедимого отвращения ко всему, которым была заполнена его жизнь и о котором ни он, ни доктора не говорили ни слова, хотя именно этот вопрос был самым важным и самым страшным» (3, 365). Как и герой-рассказчик «Вечера у Клэр», он отравлен смертями близких ему людей: «Алексею Степановичу казалось тогда, что и он, в сущности, умер для всего, и так нелепо чудовищно и неподвижно глядели на него все привычные предметы — стол, кровать, кресло, — потерявшие свой прежний смысл, как все существующее» (3, 368).

Как и герой толстовских «Записок сумасшедшего», он испытывает нечто сродни «арзамасскому ужасу» самого Толстого: «Напрасно он убеждал себя, что мир не может быть таким, что есть любовь, самопожертвование и непостижимая красота звуков и видений; но все это было недоступно его чувству и, следовательно, не существовало» (3, 373). И может быть, лишь заглавие и финал рассказа определенно говорят о тематической зависимости уже не только от самого позднего Толстого (внимание к которому в эмиграции, впрочем, было привлечено не кем иным, как Шестовым),[22] но и от его интерпретации русским философом. Смерть, как ни неожиданно она приходит, оказывается желанной («Здесь бы хорошо умереть, — подумал он однажды» — 3, 379) и «освобождает» от дальнейших тягостей жизни.

Говоря о рассказах «Превращение», «Черные лебеди» и «Освобождение», нелишне отметить, что экзистенциальная позиция в них все же характерна в основном для объективированных персонажей, а герой-рассказчик солидаризируется с ней не полностью. То, что экзистенциальная позиция газдановских героев в большей степени предмет изображения, чем точка зрения самого автора, находит опору и в том обстоятельстве, что прототипом Павлова, по-видимому, был увлекавшийся Шестовым Б. Поплавский.[23] Вообще критика и даже отказ от экзистенциального сознания проявляется в творчестве Газданова едва ли не раньше, чем само это со-

---

ки смерти как двери в иную жизнь, где осуществляются все мечты. Первая часть шестовской книги, посвященная Достоевскому, открывается и заканчивается словами Эврипида, в которых Шестов усматривает «смысл всех творений Достоевского»: «Кто знает, — может, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь» (с. 25, 93). Очевидно, этим в какой-то степени объясняется то, что Газданов считал «Пильграм» «лучшим рассказом, появившимся в русской литературе за последние лет пятнадцать, во всяком случае, самым законченно-совершенным» (*Газданов Г.* Литературные признания // Литературная учеба. 1996. Кн. 5—6. С. 90; впервые: Встречи. 1934. № 6). Тот же шестовский мотив присутствует у Набокова в разных преломлениях и в «Защите Лужина», и в «Соглядатае», и в «Отчаянии», и в «Приглашении на казнь».

[22] На этот счет существует свидетельство В. С. Яновского: «В эмиграции Шестов „открыл" „Записки сумасшедшего" Толстого и его же „Хозяина и работника", он представил эти рассказы Толстого с такой проникновенной зоркостью, что мы все заговорили об „арзамасском" ужасе как о хорошо знакомом нам и близком явлении» (*Яновский В. С.* Поля Елисейские. СПб., 1993. С. 159). Свидетельство это подтверждается многочисленными другими, например оценкой Г. В. Адамовича: «Из всего написанного о Толстом у Шестова наиболее интересны — и отмечены какой-то заразительной, кровной страстностью — размышления о „Записках сумасшедшего", короткой посмертной толстовской повести» (*Адамович Г. В.* Одиночество и свобода. СПб., 1993. С. 140).

[23] Об этом см.: *Орлова О.* Газданов // Возвращение Гайто Газданова. С. 158. Впрочем, в Павлове, несомненно, присутствуют и некоторые автобиографические моменты, связанные с работой на фабрике, учебой в Сорбонне и др. О значении книги Шестова «На весах Иова» для Б. Поплавского см.: *Семенова С.* Русская религиозно-философская мысль и пореволюционные течения 1930-х годов в эмиграции // Гачева А., Казнина О., Семенова С. Философский контекст русской литературы 1920—1930-х годов. М., 2003. С. 312.

знание. Причем этот отказ пронизывает не только «Призрак Александра Вольфа», но и «Ночные дороги» (1938).[24]

Что из экзистенциальных мотивов сохранилось у Газданова и в позднем творчестве — так это усвоенное от Шестова и Ницше[25] отрицание всякой идеологии и универсальных рецептов,[26] в особенности перед лицом ежеминутной вероятности смерти. Оно отчетливо выражено еще в «Вечере у Клэр». Позиция дяди Виталия (совет: «Никогда не становись убежденным человеком...»; отрицание возможности адекватного постижения реальности: «...смысл — это фикция, и целесообразность — тоже фикция» — 1, 116) обнаруживает в нем последователя автора опубликованного еще в 1905 году «Апофеоза беспочвенности».

Мысль эта проходит через «Апофеоз беспочвенности» красной нитью начиная с «Предисловия»: «...твердая почва рано или поздно уходит из-под ног человека, и... после того человек все-таки продолжает жить без почвы или с вечно колеблющейся под ногами почвой». Не раз она иллюстрируется примерами из Чехова и в концентрированной форме выражена в разделах, озаглавленных «Точка зрения» и «Убежденная женщина».[27] Присутствует эта мысль и едва ли не во всех сочинениях Шестова.[28]

Жизнь в понимании дяди Анатолия — это всего лишь череда ошибок, каждая из которых попеременно представляется истиной: «Ты не поймешь, тебе будет только казаться, что ты понимаешь; а когда вспомнишь об этом через несколько времени, то увидишь, что и второй раз ошибался. И так без конца. И все-таки это самое главное и самое интересное в жизни» (1, 116). Эта же концепция жизни положена в основу «Полета» (1939): «И так же, как за видимым полукругом неба скрывается недоступная нашему пониманию бесконечность, так за внешними фактами любого человеческого существования скрывается глубочайшая сложность вещей, совокупность которых необъятна для нашей памяти и непостижима для нашего понимания. Мы обречены, таким образом, на роль бессильных созерцателей, и те минуты, когда нам кажется, что мы вдруг постигаем сущность мира... так же случайны и, в сущности, почти всегда неубедительны, как все остальное» (1, 458). «Единственная и неопровержимая реальность, которую мы знаем», постоянное присутствие которой всюду «и во всем делает заранее бесполезными... попытки представить ежеминутно меняющуюся материю жизни как нечто, имеющее определенный смысл», по Газданову, «называется смерть» (1, 458).

---

[24] См.: *Кибальник С. А.* Указ. соч. С. 67—68.

[25] В свою очередь, Шестов в какой-то степени испытал влияние Ф. Ницше с его последовательным отрицанием всей предшествовавшей догматической философии. Ср. шестовскую характеристику немецкого мыслителя: «Ницше не пропускает случая посмеяться над тем, что называется прочностью убеждения» (*Шестов Л.* Достоевский и Ницше. СПб., 1903. С. 180); «Настоящий исследователь жизни не вправе быть оседлым человеком и верить в определенные приемы искания. Он должен быть готовым ко всему: уметь вовремя заподозрить логику и вместе с тем не бояться прибегнуть, когда нужно, хотя бы и к заклинаниям, как делали Достоевский и Ницше» (*Шестов Л.* Апофеоз беспочвенности. С. 26).

[26] «Все разновидности экзистенциализма, — отмечает Е. Коссак, — отрицают априорные, связывающие и ограничивающие личность общие формулы. Далее следует отрицание идеологии общих целей и универсальных средств, ведущих к этим целям...» (*Коссак Е.* Экзистенциализм в философии и литературе. М., 1980. С. 51).

[27] *Шестов Л.* Апофеоз беспочвенности. С. 27, 8, 109, 150—151, 179—180. Отражение работ Шестова уже в раннем творчестве Газданова тем более вероятно, что писатель еще в юности познакомился с философской классикой, которая сохранилась в домашней библиотеке его отца (см. об этом: *Орлова О.* Газданов. С. 23).

[28] В связи с этим Н. А. Бердяев в статье «Трагедия и обыденность» писал о «своеобразной гносеологической утопии» Шестова: «отрицании познавательной ценности обобщения, абстракции, синтеза и в конце концов всякой теории, всякой системы идей, обличении их как лжи и стремлении к какому-то новому познанию индивидуальной действительности, непосредственных переживаний, воспроизведению живого опыта» (*Бердяев Н. А.* Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. Т. 2. С. 222).

Даже когда его герой обретает идею, исключающую, кажется, существование в мире «силы, которая могла бы его остановить», как в «Пилигримах» (1953—1954), то тут же оказывается, что такая сила все же есть, и это все та же смерть. Рассказ о смерти Фреда в финале романа вводится такими словами: «Но он не мог знать, что для этого понимания и выполнения того, что было теперь его главной целью, и для жизни в этом новом, блистательном мире у него не оставалось времени...» Жизнь оказывается здесь лишь коротким перерывом в несуществовании: «...мертвые его глаза прямо и слепо смотрели перед собой — в то небытие, из которого он появился и которое вновь сомкнулось над ним в холодной и безмолвной тьме» (2, 432, 431). Если в первой части романа «Эвелина и ее друзья» (1968—1971) герой-рассказчик, казалось бы, исповедует позицию, близкую автору, то в финале романа эта позиция оказывается ошибочной.

В целом же творчество Газданова начиная с 1950-х годов имеет скорее явную антиэкзистенциалистскую интенцию. Ведь романы «Пилигримы» и «Пробуждение» — это реабилитация «всемства», того «среднего человека», которому экзистенциалисты отказывали в духовности. В контексте экзистенциальной литературы заглавие романа Газданова «Пробуждение», например, может иметь только полемический смысл, так как сам роман совсем не об экзистенциальном «пробуждении» человека в смысле осознания невозможности продолжать жить жизнью «среднего человека», а, напротив, о том, как такой «средний» человек выхаживает и буквально возвращает к жизни другого человека. Если в позднем творчестве Газданова все же имеются точки соприкосновения с экзистенциальной литературой и мыслью, то преимущественно в ее моралистическом и оптимистичном варианте, который мы находим у Г. Марселя.

Еще Поплавский в пору наибольшего увлечения Газданова экзистенциальными мотивами отмечал, что они тем не менее играют далеко не центральную роль в его творчестве: «Проблема смерти стоит на первом плане у Сосинского, Сирина, Яновского — у всех без исключения „молодых" поэтов. Проблема исчезновения всего — у Газданова, Шаршуна, Варшавского и Фельзена».[29] Основная метатема творчества Газданова обозначена здесь иначе: как разрушение цельности сознания современного человека, подверженного метемпсихозу, что сближает героев-рассказчиков газдановских произведений не столько с экзистенциализмом, сколько с буддизмом.[30] Однако и эта особенность современного сознания в большинстве романов Газданова представлена (наиболее целенаправленно в «Возвращении Будды» — в «Эвелине и ее друзьях» уже в откровенно пародийных тонах) как болезненное отклонение.

---

[29] *Поплавский Б.* О смерти и жалости в «Числах» // Новая газета. 1931. 1 апр.

[30] Несмотря на некоторое генетическое родство экзистенциализма и буддизма (см. об этом: Хайдеггер и восточная философия: поиски взаимодополнительности культур. СПб., 2001), все же они представляют собой принципиально разные явления. Впрочем, есть еще один и, вероятно, основной источник этой темы у Газданова — мотивы власти воображения и памяти у М. Пруста (ср. хотя бы начальные строки романа «В сторону Свана» и тему «вечного возвращения» у Ф. Ницше).

«ИСКРЕННЕ ВАШ ЮЛ. ОКСМАН» (ПИСЬМА 1914—1970-ГО ГОДОВ)

(ПУБЛИКАЦИЯ © М. Д. ЭЛЬЗОНА, ПРЕДИСЛОВИЕ © В. Д. РАКА, ПРИМЕЧАНИЯ © В. Д. РАКА И © М. Д. ЭЛЬЗОНА)

(*Окончание*)

224

В. И. Малышеву

13/I ⟨1965 года⟩

Дорогой Владимир Иванович,

ваша открыточка меня тронула гораздо больше, чем те полторы сотни телеграмм, которые я получил за последние два дня.[1] А протопопа Аввакума я и сам не раз вспоминал в течение нескольких месяцев, глядя на свою больную жену, которая, однако, и сейчас не пала духом.[2]

Беды, которые свалились на меня, настолько бессмысленны, что даже говорить о них как-то неловко. Ведь живем мы все же не по Нюренбергским законам[3] и не под эгидой Чомбе,[4] а то, что во времена культа было трагедией, сейчас похоже больше на какой-то фантастический фарс.[5]

Говорю так решительно только потому, что Комитет государственной безопасности сам признал в результате здравого расследования, что не располагает *никаким материалом*, который дал бы основание для привлечения меня к законной ответственности за нарушение даже установленных правил получения зарубежной научной литературы, хотя я эти правила никогда и не соблюдал.

Но некоторым сталинским топтунам трудно мириться с тем, что я слишком откровенно высказывал о них свое мнение.[6] Я считал и считаю, что они не могут не оскорблять общественную совесть, оставаясь на своих постах. И восторжествует советское правосознание, а не сталинская юстиция!

Весь Ваш Юл. Оксман.

Датируется по штемпелю на конверте.

[1] Поздравления с 70-летием.

[2] Подразумевается стойкость духа, проявленная Аввакумом. Также аллюзия на «Житие протопопа Аввакума» (М.: Гослитиздат, 1960), изданное Н. К. Гудзием и В. И. Малышевым.

[3] Т. е. своду законов Третьего Рейха, выработанному в Нюренберге.

[4] Чомбе Мозес — президент так называемого Независимого государства Катанга (провинция на юго-востоке Конго), осуществивший расправу над законным премьер-министром Республики Конго Патрисом Лумумбой (1925—1961) и установивший в своем сепаратистском «государстве» кровавую диктатуру.

[5] Самоповтор (см. п. 221 и прим. 6 к нему).

[6] См. п. 159 и прим. 3 к нему, 182 и прим. 3 к нему, 200 и прим. 8 к нему, 201.

225

А. С. Долинину

Дорогой Аркадий Семенович,

Антонина Петровна и я сердечно поздравляем вас с днем вашего восьмидесятилетия.[1] Желаем вам еще долго-долго сохранять ту ясность большой творческой

мысли, которую вы пронесли с таким блеском через всю свою жизнь — нелегкую жизнь талантливейшего ученого литературоведа, литературного критика, замечательного педагога — воспитателя нескольких поколений советских филологов.

Мы знакомы с вами свыше полувека — и сейчас, кончая свою жизнь, я особенно ощущаю свое душевное одиночество в Москве, свой невольный отрыв от старых петербургских друзей и соратников. Да ведь их и осталось так немного. Покойный Юрий Тынянов говаривал: «Нас мало, да и тех нет».[2] Что бы он сказал, если бы дожил до наших лет...

Войдя в 1913 г. в Пушкинский семинарий, я услышал ваше имя, дорогой Аркадий Семенович, от С. А. Венгерова. Заканчивая свою работу в начале текущего года над академическим изданием Герцена, я не мог не читать и перечитывать ваши блистательные исследования, посвященные Герцену.[3] Ваши книги о Достоевском никогда не сходили и не сходят с моего письменного стола (правда, в каторжных норах Колымы я не читал ни Достоевского, ни ваших работ о нем, но у меня тогда не было и письменного стола!).

Не могу не признаться, что «странную приятность»[4] я находил всегда и в мысленных спорах с вами. Иногда вы были и моим противником, но никогда я не терял ни глубокого уважения, ни интереса и даже любви к вам!

Крепко обнимаю и целую вас, мой дорогой старший современник!

Всегда Ваш Юл. Оксман.

21/IV ⟨19⟩65 ⟨года⟩

[1] В разных изданиях дата рождения А. С. Долинина указывалась по-разному. Наиболее точными являются сведения, приведенные внуком литературоведом А. А. Долининым: А. С. Искоз родился 23 апреля (5 мая по н. ст.) 1880 года (см.: Русские писатели: 1800—1917. Т. 2. М., 1992. С. 153).

[2] См. частое употребление в предыдущих (83, 94, 100) и последующих (228, 244) письмах; также в письме к К. И. Чуковскому 26 декабря 1967 года (*Оксман Ю. Г., Чуковский К. И.* Переписка. С. 139; дополнительные сведения об этом выражении Ю. Н. Тынянова — там же, с. 140, в прим. А. Л. Гришунина).

[3] См.: Библиография литературы об А. И. Герцене: 1917—1970. Л.: ЛГПИ, 1984. С. 570 («Долинин А. С.» в указ. имен).

[4] Источник не установлен.

226

И. Г. Ямпольскому

18/V ⟨19⟩65 ⟨года⟩

Дорогой Исаак Григорьевич,

я с большим интересом прочел присланную вами статью И. В. Столяровой «Н. С. Лесков и „Записки охотника"».[1] Это — умная и толковая работа, с некоторыми оригинальными наблюдениями и свежими мыслями. Но по самому характеру своему она едва ли подходит к нашему сборнику, посвященному черновым текстам «Записок охотника» и материалам для комментариев к IV тому академического издания.[2] Все то, что в той или иной мере связано с происхождением цикла в целом или с отдельными его рассказами — мы охотно напечатаем (даже если это будет не очень значительно и интересно), но ни одной статьи такого типа, как «Лесков и „Зап⟨иски⟩ охотника"», у нас нет. Статья И. В. Столяровой потому необычайно выпятится в сборнике без сколько-нибудь серьезных оснований для этого. Она выпятится не только по своей теме, но и по манере письма и, наконец, по самым своим размерам (лист с четвертью!).

Сборник я редактирую не один, а с М. П. Алексеевым, который избавлен от всей черновой редакторской работы, но все существенные вопросы решает даже без меня, а не только со мною. Сейчас я подготовил для него ряд уже готовых статеек и материалов. Могу приложить и статью о Лескове, оговорив, что она нуждается в значительных сокращениях. О других своих сомнениях упоминать не буду, но не поручусь, конечно, что сомнения этого же порядка могут смутить и Мих⟨аила⟩ Пав⟨лович⟩а.

Итак, черкните несколько слов по этому поводу, чтобы я знал, как распорядиться рукописью.[3]

С большим вниманием прочел все то, что вы говорите о своих планах на ближайшее время. Статья о первой постановке «Смерти Иоанна Грозного» естественно сложилась у вас на материале, который нельзя было включить в четырехтомник. Ей и место в каком-ниб⟨удь⟩ академическом сборнике или, на худой конец, в «Уч⟨еных⟩ записках».[4] Очень сочувствую вашим интересам в области лирики и поэм Тургенева. За что бы вы ни взялись в этой области — все будет своевременно и значительно.[5] Понимаю, почему вас тянет к Полонскому, но трудностей с этой работой будет много — и в процессе ее осуществления, и в процессе реализации труда.[6]

Рад, что увижу вас летом в Москве, тем более что сам никуда не собираюсь. Я так давно не работаю (с середины января),[7] что мне и отдыхать не от чего. С приходом весны я почувствовал себя много лучше, чем прежде — даже после больницы, где провел полтора месяца. Вы знаете, что сейчас я занят глазами — на диабет⟨ической⟩ почве резко ухудшилось зрение. Больше месяца сижу на строжайшей глазной диете. Получил совсем недавно необходимые стекла из Англии, и сразу стало легче. С 20-го начинаю работу над Рылеевым и надеюсь за лето все сделать, считая и статью,[8] хотя разрешено мне работать только по утрам, 4—5 часов в день.

Знаете ли вы, что 7 мая я получил назад все взятые у меня в 1963 году зарубежные книги, со всеми выписками и заметками?

Будьте здоровы и благополучны!

Ваш Юл. Оксман.

[1] Столярова Ирина Владимировна (р. 1932) — исследовательница жизни и творчества Н. С. Лескова, доктор филол. наук, профессор СПбГУ.

[2] В это время И. В. Столярова была доцентом Омского пединститута. Издание сборника не осуществилось.

[3] Статья появилась три года спустя в «Научных докладах высшей школы» (см.: Филол. науки. 1968. № 2. С. 16—28).

[4] См.: *Ямпольский И. Г.* Первая постановка «Смерти Иоанна Грозного» А. К. Толстого (1867) // Учен. зап. ЛГУ. 1968. № 339. Сер. филол. наук. Вып. 72. С. 62—98. Ср. п. 267.

[5] Подготовленный адресатом том «Стихотворений и поэм» И. С. Тургенева (Большая серия Библиотеки поэта) вышел из печати в середине ноября (дата поступления в Книжную палату — «2.XII») 1970 года.

[6] Этот замысел не реализовался.

[7] Т. е. с «ухода» на пенсию.

[8] Ср. прим. 1 к п. 212.

227

Ему же

30/V ⟨1965 года⟩

Дорогой Исаак Григорьевич,

возвращаю Вам рукопись, которую все-таки Вы, м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, передадите М. П. Алексееву, если признаете сие целесообразным.[1]

Возможно, что мне придется в конце июня приехать в Ленинград для проведения сборничка о «Зап⟨исках⟩ ох⟨отника⟩» в Уч⟨еном⟩ совете ИРЛИ.[2]

Рад, что вы увидите Волгу — я бывал на ней в разных направлениях много раз! Чудесно! Лучшего отдыха быть не может.

Наш Поликарпов стал нач⟨альнико⟩м отдела культуры. Его помощником по литературе — Барабаш (из «Лит⟨ературной⟩ газ⟨еты⟩»). Этим все сказано![3]

Ваш Юл. Оксман.

Датируется по содержанию.

[1] Мотивы отказа от статьи И. В. Столяровой Ю. Г. Оксман изложил в предыдущем письме.

[2] См. п. 226 и прим. 2 к нему.

[3] После «Октябрьского переворота» (Пленума ЦК КПСС) 1964 года, низвержения Н. С. Хрущева и воцарения Л. И. Брежнева идеологическое контрнаступление осуществлялось достаточно быстро. О «главном мракобесе» (прим. 9 к п. 175) Д. А. Поликарпове см. прим. 5 к п. 176, о Ю. Я. Барабаше — прим. 3 к п. 160.

228

В. И. Малышеву

11/VI ⟨19⟩65 ⟨года⟩

Дорогой Владимир Иванович,

бесконечно благодарю вас за новую книжку («Древнерусские рукописи Пушкинского Дома»), за память, за дружескую надпись.[1]

Книжку считаю во всех отношениях образцовой — и по принципам построения, и по богатству сведений, и даже по «приложениям». Я уж не говорю об умении мастерски приобщить к такой специфической тематике самого широкого читателя, неискушенного в археографической и библиографической премудрости.

Меня тронуло и посвящение вашей книги памяти нашего общего друга — Льва Михайловича Добровольского.[2] Его вспоминаю я по разным поводам очень часто — не меньше, чем при жизни. Это вполне понятно в мои годы, когда людей, с которыми был я крепко связан в лучшие годы своей работы, уже почти не осталось. Я уж не говорю о сверстниках. Покойный Ю. Н. Тынянов еще в середине 30-х годов говорил мне как-то: «Нас мало, да и тех нет».[3] Какие жуткие слова, если вспомнить тех, о которых еще Некрасов писал: «Вы еще не в могилах, вы живы, но для жизни мертвы вы давно»...[4] «Мертвы» по разным причинам — по преждевременному духовному омертвлению, по физическим немощам, по циничеcкой готовности «продавать свои шпаги»[5] любому начальству в любое время.

С каждым годом все яснее и яснее ощущаю, что я случайно выжил на сталинской каторге, случайно вернулся к работе, случайно не был раздавлен в Саратове. Сейчас эту ошибку стараются исправить, любыми способами сживая меня со света. Меня не сломили ни Колыма, ни Чукотка, ни тюрьмы, ни пытки. Я сохранил чувство собственного достоинства, и в последние годы, когда так остро встал вопрос об ответственности за все злодеяния фашизма — и сталинского, и гитлеровского — я принадлежал к числу тех немногих, кто открыто требовал снятия с руководящих постов всех предателей, палачей и помощников палачей. В числе этих зверей были и академики, и писатели, и крупные деятели госуд⟨арственного⟩ аппарата. Я имел наивность думать, что возвращение к ленинским нормам общественной жизни[6] обеспечивает защиту закона и мне. Я и на этот раз ошибся. То, что творится с попытками изъять мое имя из печати — вам известно. Разумеется, это беззаконие из-под полы — самое грубое, практиковавшееся в пору культа у нас и фашистами в Германии, но я ведь никем не осужден, не репрессирован, ни полсловом не задет в

печати, не «проработан». Я имею формальное право привлечь Главлит к уголовной ответственности за беззаконие. Но — «суди меня судья неправедный»! Эта формула остается в силе! Простите, что невольно отвел душу.

Ваш Юл. Оксман.

[1] Древнерусские рукописи Пушкинского Дома: (Обзор фондов) / Сост. В. И. Малышев; отв. ред. В. П. Адрианова-Перетц. М.; Л.: Наука, 1965. 230 с. Местонахождение экземпляра с инскриптом неизвестно.

[2] «Памяти друга — Льва Михайловича Добровольского». Об адресате посвящения, сотруднике Пушкинского Дома, см. прим. 7 к п. 21.

[3] См. прим. 2 к п. 225.

[4] «Рыцарь на час» (1862); продолжение «крылатой фразы»: «Суждены вам благие порывы, / Но свершить ничего не дано».

[5] Измененная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль». Ранее употреблена точно в п. 49.

[6] В документах ЦК КПСС говорилось о *партийной* жизни.

229

П. Н. Беркову

12/VI ⟨19⟩65 ⟨года⟩

Дорогой Павел Наумович,

очень благодарен вам за большое «отчетное» письмо, полное творческой энергии, литературной и научной информации и точных данных о здоровье Софьи Михайловны и вашем. Кое-что доходило до нас и прежде обо всем этом, но все же мы не знали, каким тяжелым было для вас обоих первое полугодие 1965 года.

Еще более трудным оно явилось для меня, так как, выйдя в начале апреля из больницы, я еще полтора месяца занят был лечением глаз. На диабетич⟨еской⟩ почве у меня установили в одном глазу глаукому, а на другом нечто вроде катаракты. Около двух месяцев я не читал даже получаемых писем. С величайшим трудом достали мне необходимые стекла, в ожидании которых я через день ездил в Офтальмологический институт на разные процедуры, от кот⟨оры⟩х освободили меня только к концу мая. Более тяжких дней у меня в жизни не было; тюрьмы, каторга и все прочее в сравнении с тем, что я чувствовал этой весною, — ничто.

Я так и не написал ничего для сборника, посвящаемого М. П. Алексееву.[1] Ничего не написал и в ближайшие месяцы не в состоянии написать для вашего сборника.[2] Выбыл я из строя до осени, во всяком случае.

Последней моей работой явились текстологические и источниковедческие этюды о Добролюбове. Один из них напечатан в «Проблемах современ⟨ной⟩ филологии»,[3] другие сданы частью в разные сборники, частью лежат «в портфеле автора».[4] В «Добролюбовском сборнике» напечатал «Очерк истории цензуры зарубеж⟨ных⟩ изданий в России первой трети XIX в⟨ека⟩».[5] А написано это еще в 1918 г.; сейчас только подновил скудную «литературу предмета». Опечатки — варварские, хотя правил три корректуры. А сейчас занят новым изд⟨ан⟩ием Рылеева для «Большой серии» Биб⟨лиотеки⟩ поэта. Работать мне пока что очень трудно из-за глаз, но мы никуда на лето не выезжаем, и я надеюсь успеть сдать этот фолиант к 20 августа. Из-за больницы и всяких процедур на дому мне нельзя связываться даже с подмосковной дачей. Бываем мы изредка только в Переделкине — у Кавериных, Степановых[6] и Чуковских.

На статью В. И. Абаева у нас многие обратили внимание.[7] В ближайшие дни вы познакомитесь с книжкой Бельчикова «Пути и навыки литературоведческого труда». Основная часть этой работы представляет собою не очень удачное подражание «Введению в технику литературов⟨едческого⟩ исследования», выпущенному

вами ровно 10 лет назад (Боже мой, как летит время!). Но в целом «Пути и навыки» представляют собою несколько хаотическую хрестоматию случайных сведений по библиографии, источниковедению, методике научного труда и т. п. Это не книга, а дилетантские заготовки материалов для книги, устаревших лет на 25 и наскоро сдобренных цитатами из «Лит⟨ературной⟩ газеты» 1961—1963 гг.[8]

Читаю очень странную книгу В. И. Кулешова «Лит⟨ературные⟩ связи России и Зап⟨адной⟩ Европы в XIX в⟨еке⟩».[9] В работе этой много любопытных фактов, взятых из новейшей англ⟨ийской⟩ и немец⟨кой⟩ спец⟨иальной⟩ литературы, но русской литературы по этой теме автор совершенно не знает, судит обо всем понаслышке и т. п. Можно думать, что он руководствовался рукописью «Путей и навыков» Н. Ф. Бельчикова.

Будьте здоровы и благополучны! Сердечный привет Софье Михайловне и вам от нас обоих!

Ваш Юл. Оксман.

[1] Русско-европейские литературные связи: Сб. ст. к 70-летию со дня рождения акад. М. П. Алексеева. М.; Л.: Наука, 1966. 474 с. Книгу открывала вступительная статья ответственного редактора Ю. Д. Левина «М. П. Алексеев — историк и теоретик литературы» (с. 3—11).

[2] Т. е. сборника, посвященного аналогичной дате адресата: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры: К 70-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР П. Н. Беркова. М.; Л.: Наука, 1966 (XVIII век. Сб. 7). 459 с.

[3] К вопросу о перечнях анонимных произведений Добролюбова, составленных Н. Г. Чернышевским // Проблемы современной филологии: Сб. ст. к семидесятилетию акад. В. В. Виноградова. М., 1965. С. 432—437.

[4] См.: О некоторых итогах работы над первым советским изданием Полного собрания сочинений Н. А. Добролюбова // Из истории общественного движения и общественной мысли в России в XIX веке. Горький, 1966. [Т.] 1. С. 3—20 (Учен. зап. Горьк. гос. ун-та. Сер. ист.-филол. Вып. 78).

[5] См.: Н. А. Добролюбов: Ст. и мат-лы. Горький, 1965. С. 341—365 (Учен. зап. Горьк. гос. ун-та. Вып. 71).

[6] У семьи литературоведа Николая Леонидовича Степанова (1902—1972).

[7] Абаев Василий Иванович (1900—2001) — лингвист, специалист по осетинской литературе и языку. Очевидно, общественный резонанс вызвала его статья «Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке» (Вопросы языкознания. 1965. № 3. С. 22—43).

[8] См. обстоятельный разбор монографии Н. Ф. Бельчикова в «Ученых записках» Горьковского ун-та (1966. Вып. 78. Т. 2. С. 477—489; подп.: Ю. Григорьев, вынужденный псевдоним Ю. Г. Оксмана).

[9] Издание МГУ; XIX век представлен первой половиной. 2-е изд., «испр. и доп.» (но с теми же хронологическими рамками), состоялось в 1977 году.

230

Ему же

23/X ⟨19⟩65 ⟨года⟩

Дорогой Павел Наумович,

отвечаю только сейчас на ваше дружеское письмо от 23 сентября. Прошел целый месяц со времени его получения, каждый вечер собирался написать о себе и своих делах, но так и дотянул до 23 октября. Узнал сегодня, что меня через два-три дня забирают в академическую больницу с тем, чтобы сразу после праздников перевести в глазную больницу, где меня положат на операцию. Еще целый месяц выпадет из жизни.

Для меня 1965 год был очень тяжел. Болел я с второй половины января, два раза лежал в больнице, трудно пережил болезнь глаз и угрозу их потери. Два-три месяца из-за этого вообще выпали из жизни, пока не подобрали мне необходимые стекла и пока я их фактически не получил. Кое-как привык к работе с больными

глазами, к очкам, как пришлось готовиться к удалению хрусталика; мой диабет осложнил и борьбу за зрение!

С большим интересом прочел обо всем, что рассказываете вы о своих новых работах. Книгу «О людях и книгах» еще не видел, и даже откликов о ней до меня не дошло.[1]

Вы спрашиваете о моей библиотеке.[2] Правильнее было бы говорить об ее остатках, так как раны, полученные ею в пору 1938—1944 гг., остались незалеченными. А была эта библиотека в свое время не из последних. Осмысленную любовь к книге мне привили Н. М. Лисовский и И. А. Шляпкин (не столько их лекции, сколько домашнее общение с ними в пору 1914—1916 гг.).* Собирать книги начал с 1912 г. Особенно много книг куплено в голодные годы, 1918—1920. В 1920 г. нанесен был моему книжному собранию первый удар: как библиотекарь семинария по рус⟨ской⟩ лит⟨ературу⟩е я, уезжая в 1919 г. на несколько месяцев из Петрограда, оставил часть своих книг (гл⟨авным⟩ обр⟨азом⟩, журналы первой полов⟨ины⟩ XIX в⟨ека⟩) в двух шкафах в XI аудитории. Е. С. Истрина,[3] заменив меня через некот⟨орое⟩ время в должности библиотекаря, по ошибке заинвентаризировала мои книги (не менее тысячи томов). Я был так огорчен, что отказался получить обратно свои книги с университ⟨етскими⟩ штампами, хотя получил спец⟨иальную⟩ справку о том, что штампы оказались на моих книгах по ошибке. Второй удар моя биб⟨лиотек⟩а получила в пору моего пребывания на Колыме. Часть книг, перевезенная к В. М. Лаврову,[4] погибла во время бомбардировки Ленинграда, часть растаскана была в годы блокады, часть — лишилась дарственных надписей по требованию друзей, согласившихся укрыть спец⟨иальную⟩ литературоведческую подборку спец⟨иальных⟩ изданий. Но бóльшая часть книг все же сохранилась, а в пору 1947—1965 гг. восстановлены были и почти все лакуны. Сейчас у меня около 5 тысяч томов. Основные разделы: 1. Пушкиниана, 2) Декабристы и их время, 3) Белинский, 4) Тургеневиана, 5) Книги по ист⟨ории⟩ рус⟨ской⟩ цензуры, 6) Книги по истории рус⟨ской⟩ журналистики XIX в⟨ека⟩, 7) Справочники.

По всем этим разделам большое собрание и рукописных материалов — автографы и редкие списки некот⟨орых⟩ произведений (в том числе автографы Пушкина, декабристов, Тютчева, Герцена, Тургенева, Чехова, Гаршина, Горького, Гумилева), документы, переписка и т. п.[5] В числе книг с дарст⟨венными⟩ надписями — два тома «Стихотвор⟨ений⟩ Н. Некрасова» 1873 г., с надписью: «Федору Михайловичу Достоевскому на память Н. Некрасов» с отметками Достоевского;[6] «Полярная звезда на 1824 г.» с надписью: Ф. П. Толстому, «Стихот⟨ворения⟩ Я. П. Полонского» (1855 г.) с надписью Кат⟨ерине⟩ Ник⟨олаевне⟩ Орловой (Раевской) и многое другое. Из редких изд⟨аний⟩ в моем собр⟨ании⟩ сохранились «Рус⟨ские⟩ драмат⟨ические⟩ произв⟨едения⟩» Н. Тихонравова (со всеми примеч⟨ани⟩ями и иллюстрациями),[7] «Ист⟨ория⟩ новейшей рус⟨ской⟩ лит⟨ературы⟩» С. А. Венгерова,[8] «Мудрость Пушкина» М. Гершензона (М., 1919) с нач⟨альными⟩ страницами, кот⟨оры⟩е были вырезаны во всех экз⟨емпляр⟩ах,[9] и т. п. Если вас интересуют еще какие-ниб⟨удь⟩ детали — охотно вам о них сообщу.

Сердечный привет Софье Михайловне и вам от нас обоих. Ант⟨онина⟩ Петровна болела два последних месяца (рецидив прежнего), но сейчас ей легче, хотя она еще и не выходит.

Ваш Юл. Оксман.

P. S. Я получил недавно из Саратова «Историографич⟨еский⟩ сборник» № 2, в котором помещена интересная статья Л. А. Дербова (очень способный историк) под

---

* Странное дело: С. А. Венгеров, с кот⟨орым⟩ я был довольно близок с 1913 г., а в картотеке кот⟨оро⟩го я работал регулярно с 1914 г., не оказал на меня в этом отношении никакого влияния.

назв⟨анием⟩ «Историч⟨еские⟩ публикации и труды Н. И. Новикова». Если вы не видали еще этой статьи — обязательно ее просмотрите.[10]

Н. К. Гудзий очень болен. По-моему, у него начинается цир⟨р⟩оз печени — болезнь алкоголиков, к числу которых он приобщился, спасаясь от хронической бессонницы. Только 150—200 гр⟨аммов⟩ коньяку ему обеспечивали сон. Ужасно жалко благородного человека и одного из очень немногих подлинных спец⟨иалистов⟩ по истории нашей древней литературы.

А вот его препохабие[11] Д. Д. Благой благоденствует, и ничто его не берет и всех нас переживет. У людей этого типа вырабатывается какой-то носорожий иммунитет, позволяющий им легко переносить даже рак легких (напр⟨имер⟩, Анисимов[12] после операции рака опять правит бал!).

[1] *Берков П. Н.* О людях и книгах: (Из записок книголюба). М.: Книга, 1965. 144 с., ил. Описано по экземпляру с инскриптом: «Дорогому Борису Яковлевичу Бухштабу сердечно автор. 18.XI.65» (собрание публикатора). Заглавие тождественно «Людям и книгам» А. Франса (1923) и К. Чуковского (1958; 2-е изд., 1960). Подзаголовок корреспондирует к «Запискам старого книжника» (1959) букиниста Федора Григорьевича Шилова (1879—1962).

[2] В это время П. Н. Берков собирал материалы для «Словаря советских библиофилов». Замысел остался неосуществленным; материалы были частично использованы при создании «Истории советского библиофильства: 1917—1967» (1971; 2-е изд. с прим. и указ. имен, 1983).

[3] Истрина Евгения Самсоновна (1883—1957) — лингвист; чл.-корр. АН СССР (1943).

[4] О В. М. Лаврове см. прим. 15 к п. 22.

[5] После смерти Ю. Г. Оксмана бóльшая часть пополнила книжное собрание А. П. и М. О. Чудаковых. О коллекции автографов (рукописей) см. в обзоре: *Зайцев А. Д.* «Человек жизнерадостный и жизнедеятельный...»: (Набросок портрета Ю. Г. Оксмана по материалам его архива) // Встречи с прошлым. М., 1990. Вып. 7. С. 554—556.

[6] Опубликовано (иллюстрацией): Лит. наследство. Т. 83. С. 333.

[7] Тихонравов Николай Саввич (1832—1893) — историк русской литературы; академик (1890). Антология репертуара русского театра 1672—1725 годов издана в 2-х томах Д. Е. Кожанчиковым в 1874 году. О нем также в следующем письме.

[8] Точнее, ч. 1 (СПб., 1885); издание было уничтожено цензурой.

[9] Подразумевается *одна* страница, точнее, три ее четверти, с публикацией псевдопушкинской «Скрижали». Полный текст (по экземпляру ГБЛ/РГБ) — в т. 1 «Избранного» (М.; Иерусалим, 2000).

[10] Дербов Леонард Адамович (1909—1994) — профессор СГУ, автор книг «Общественно-политические и исторические взгляды Н. И. Новикова» (1974), «Исторические взгляды русских просветителей 2-й половины XVIII в.» (1987). Сведения о рекомендуемой статье см.: История русской литературы XVIII в.: Библиогр. указ. / Под ред., с доп. и предисл. П. Н. Беркова. Л., 1968. № 6163.

[11] «Титул» заимствован из стихотворения В. В. Маяковского «Вызов» (1926).

[12] Об И. И. Анисимове см. п. 60 (и прим. 5 к нему), 69, 96 (и прим. 7 к нему), 98, 129 (и прим. 5 к нему), 158, 200, 211.

231

Ему же

30/X ⟨19⟩65 ⟨года⟩

Дорогой Павел Наумович,

мне переслали вашу книжку «О людях и книгах» в больницу, где я ее и прочел, не отрываясь, в один день.[1]

Книжка не только *очень* занимательная, но и полезная — даже для такого «квалифицированного» читателя, как я, судящего не только строго, но и несколько придирчиво.

Не могу не отметить, что и написана она мастерски — не геллертерски,[2] как все мы обычно пишем, а так, как пишут лидеры занимательного литературоведения,[3] *пропагандируя нашу науку*; дело очень большое на данном этапе нашей культуры.

Пишу я вам из больничной палаты, в которой я хотя и один, но в необычных условиях; мне нельзя напрягать зрения, я лежу, свет падает через окно, отсыревшее от инея. На душе еще более хмуро, чем в палате и на улице. Через неделю переведут меня в глазное отделение 1-ой Градской больницы, где будет сделана операция.

Замечаний у меня очень мало. На стр⟨анице⟩ 17 вы забыли об экз⟨емпляре⟩ «Рус⟨ских⟩ драмат⟨ических⟩ произведений» (с примечаниями), кот⟨орый⟩ я купил в 1918 г⟨оду⟩ при распродаже библиотеки Писарева (актера).[4] В. Д. Кузьмина считает его лучшим из известных ей (по сохранности и полноте иллюстраций).[5]

На стр⟨аницах⟩ 67—68 вы напрасно популяризируете чудовищную небылицу об «экспертизе», которой якобы подвергся несколькими жуликами пистолет Дантеса и «броня» последнего. Правда, вы заявляете о своем скептическом отношении к этой «экспертизе», но делаете это слишком осторожно, не без экивоков, кот⟨оры⟩е могут произвести совсем не то впечатление, на которое вы сами рассчитывали. И зачем вы в одном ряду с жульем ссылаетесь на почтенную Э. Г. Герштейн, ничего о «броне», разумеется, не писавшую.[6]

На стр⟨анице⟩ 142, примеч⟨ание⟩ 106. Весною 1928 г⟨ода⟩ мне пришлось быть одним из экспертов по делу О. Брошниовской, которая обвинялась в Ленингр⟨адском⟩ отд⟨елении⟩ ГПУ в подделке записок Вырубовой.[7] В одном из кабинетов этого учреждения я видел письменный стол, уставленный всеми «первоисточниками» подделки — сотней книг и журналов, изъятых у Брошниовской при обыске, в кот⟨оры⟩х разноцветными карандашами подчеркнуты были ею все страницы и строки, перенесенные ею в кратких пересказах в фальшивку. Подделку записок Вырубовой признал и другой эксперт, П. Е. Щеголев (вы напрасно его опорочили в своем примечании). Поддерживал «подлинность» фальшивки, и притом яростно, М. А. Сергеев.[8] А Брошниовская выслана была из Ленинграда куда-то в Сибирь.

Не понимаю, почему вы не рассказали о более колоритной истории — о том, как Демьян Бедный популяризировал на страницах «Правды» и «Известий» в 1929 г⟨оду⟩ поддельную поэму якобы Некрасова «Светочи».[9] Вы, конечно, получили мое письмо, в кот⟨оро⟩м я отвечал на ваши вопросы о своей библиотеке. С удовольствием уточню данные о некот⟨оры⟩х книгах, а особенно об автографах рус⟨ских⟩ классиков, кот⟨оры⟩е удалось мне собрать. Кстати, я не включал в число томов *оттисков* (другое дело — брошюры). Если считать и оттиски, то их будет не менее тысячи.

Только что мне позвонили о кончине Н. К. Гудзия.[10] Для меня эта горестная весть не была неожиданностью. И тем не менее — бесконечно жаль одного из последних праведников советского литературоведения, доброго и благородного человека, настоящего филолога, одного из немногих моих близких друзей.

Всегда ваш Юл. Окс⟨ман⟩.

[1] Местонахождение экземпляра неизвестно.

[2] Производное от нем. Heller — мелкая монета, «грош».

[3] Возможно, подразумевается И. Л. Андроников.

[4] Упомянут в п. 230. Писарев Модест Иванович (1844—1905) — актер Александринского театра (с 1885 года).

[5] Кузьмина Вера Дмитриевна (1908—1968) — историк древнерусской литературы, русского театра и журналистики XVIII века, научный сотрудник ИМЛИ. П. Н. Берковым перечислены сохранившиеся экземпляры.

[6] В конце 1950-х—1960-х годах велась оживленная полемика вокруг выдвинутой еще до войны (*Комар М. З.* Почему пуля Пушкина не убила Дантеса? // Сибир. огни. 1938. № 1. С. 134—137) и поддержанной В. В. Вересаевым гипотезы, согласно которой Дантес нарушил дуэльный кодекс, надев под одежду защитную «кольчугу». Дискутировалось также растиражированное прессой сообщение о проведенной некими ленинградскими специалистами судебно-медицинской экспертизе, доказавшей якобы, что Дантес пользовался пистолетом крупного калибра, не допускавшегося для дуэли (*Сафронов В. А.* Поединок или убийство? // Нева. 1963. № 2. С. 200—203. Сообщения в прессе: Эксперт обвиняет Дантеса / ТАСС // Веч. Москва. 1963.

24 апр.; Известия. 1963. 25 апр.; Сов. Россия. 1963. 25 апр.; Знамя юности. Минск, 1963. 19 мая; Горьковская правда. 1963. 25 мая; Ленинская смена. Алма-Ата, 1963. 30 мая; Красный Север. Вологда, 1963. 12 ноября; Сов. Союз. 1964. № 1. С. 48). См.: *Рахилло И. С.* Рассказ об одной догадке // Москва. 1959. № 12. С. 171—178 (То же в кн.: *Рахилло И. С.* Московские встречи. М., 1961. С. 107—132; М., 1962. С. 123—148; *Рахилло И. С.* Первые грозы; Мечтатели; Летчики; Московские встречи. М., 1964. С. 510—528); *Ваксберг А. И.* Убит поэт // Знание — сила. 1963. № 7. С. 38 (То же в кн.: *Ваксберг А. И.* Преступник будет найден: Рассказы о криминалистике. М., 1963. С. 96—99); *Гольдинер В.* Факты и гипотезы о дуэли А. С. Пушкина // Сов. юстиция. 1963. № 3. С. 22—24; *Мейлах Б. С.* Дуэль, рана, лечение Пушкина: О некоторых распространившихся гипотезах // Неделя. 1966. 2 янв.

В упомянутой П. Н. Берковым статье Эммы Григорьевны Герштейн (1903—2002), лермонтоведа, друга А. А. Ахматовой (Вокруг гибели Пушкина: (По новым материалам) // Новый мир. 1962. № 2. С. 211—226), были опубликованы дневниковые записи и отрывки из писем имп. Александры Федоровны.

[7] Вырубова Анна Александровна (1884—1964) — фрейлина имп. Александры Федоровны, автор воспоминаний «Страницы из моей жизни». Здесь речь идет о знаменитой подделке — «Дневнике», впервые опубликованном в журнале «Минувшие годы» (1927. № 1; 1928. № 2—4) по «рукописи», приобретенной М. А. Сергеевым. Отдельное издание: Л.: Прибой, 1928.

[8] Сергеев Михаил Алексеевич (1888—1965) — географ, в 1926—1927 годах возглавлял изд-во «Прибой», в 1927—1929 годах Изд-во писателей в Ленинграде. О нем и его роли в публикации «Дневника» Ю. Г. Оксман подробно писал З. Г. Минц 20 сентября 1965 года (Новое лит. обозрение. 1998. № 34. С. 188); документы фонда изд-ва «Прибой» в ЦГАЛИ СПб. дают возможность дополнительно исследовать вопрос о происхождении «Дневника» или «Записок», положенных в основу написанной тремя годами ранее пьесы А. Н. Толстого и П. Е. Щеголева «Заговор императрицы».

[9] Об этом см. в письме к П. Е. Щеголеву 17 сентября 1930 года (№ 15) и прим. 6 к нему.

[10] Скончался 29 октября.

232

В. И. Малышеву

5/XI ⟨1965 года⟩

Дорогой Владимир Иванович,

вашу открыточку я получил в больнице уже после того, как Николая Каллиниковича не стало. Мы договорились с ним, что я буду его навещать, но в больницу меня увезли за три дня до него, недели на две раньше намеченного срока. Так я его больше уже и не видел и даже о его похоронах знаю только по рассказам наших общих друзей. Ушел из жизни один из самых больших наших филологов и самый благородный деятель нашей литературной науки, последний русский интеллигент, последний носитель высоких традиций дореволюц⟨ионн⟩ой культуры, которые он старался привить и культуре советской. Для нас с вами это огромная и личная потеря, ничем не вознаградимая до конца наших дней!

Всегда Ваш Юл. Оксман.

Датируется по штемпелю на лицевой стороне открытки. Адрес: Ленинград, К-219 Торжковская 28, кв. 11. Владимиру Ивановичу Малышеву.

233

Б. Я. Бухштабу

7/XII 1965 г⟨ода⟩

Дорогой Борис Яковлевич,

очень виноват перед Вами, что не откликнулся до сих пор на Ваш спор с Дм⟨итрием⟩ Серг⟨еевичем⟩ Лихачевым по вопросам текстологии, хотя своевремен-

но и очень внимательно прочел Ваши статьи.[1] С большим удовольствием прочел и работу Вашу о «Филантропе» Некрасова, с которой знаком был еще в рукописи.[2] Но осенние месяцы чувствовал я себя уже настолько плохо, что переписку пришлось свести до самого жесткого минимума, подчиняясь требованиям окулистов. Вы давно знаете, что такое больные глаза,[3] а я вот только в мае этого года неожиданно оказался во власти глазной больницы и впервые для работы стал пользоваться очками.

16-го ноября мне сделали операцию снятия катаракты в левом глазу. Боюсь, что это только начало. До конца декабря мне запрещены чтение и письмо. Поэтому не могу откликнуться и на новое издание вашего «Козьмы Пруткова»,[4] хотя к этой книге именно сейчас меня очень тянет.

Однотомник Добролюбова, который я подготовил для серии «Литературные памятники» и в который включил свою последнюю работу о текстах Добролюбова и об изданиях его сочинений за сто лет, рассчитывал послать Вам еще в начале октября, но из-за отсутствия бумаги подписанный к печати том отложен на январь—февраль 1966 года.[5]

Сердечный привет, дорогой Борис Яковлевич, Галине Григорьевне и Вам от нас обоих.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

Текст рукой секретаря; подпись — автограф.

[1] См.: *Бухштаб Б. Я.* 1) Что же такое текстология? // Рус. лит. 1965. № 1. С. 65—75; 2) О природе текстологии и проблеме выбора основного текста // Там же. № 3. С. 125—133. Первая перепечатана в сб.: *Бухштаб Б. Я.* Фет и другие. СПб., 2000. С. 424—328.

[2] См. п. Б. Я. Бухштабу 10 марта 1960 года (№ 125) и прим. 9 к нему, п. 4 августа того же года (№ 137) и п. 7 июля 1966 года (№ 240), 5 декабря 1967 года (№ 254).

[3] Последствия блокадной зимы 1941/42 года.

[4] Т. е. переиздание в Большой серии Библиотеки поэта: *Прутков Козьма.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1965. 478 с.

[5] О судьбе этого издания см. п. 275.

234

П. Н. Беркову

28/XII 1965 ⟨года⟩

Сердечно поздравляем дорогих Софию Михайловну, Павла Наумовича и все молодое поколение Берковых с наступающим Новым годом.

Желаем здоровья и счастья. Очень хотели бы Вас увидеть, но, к сожалению, мы оба все еще в таком состоянии, что о поездке в Ленинград не приходится и мечтать. Я все еще не выхожу, а Юл⟨иан⟩ Гр⟨игорьевич⟩ после операции глаза не может ни читать, ни писать. Даже на прогулки возле дома выходит только с провожатыми.

О ленинградских новостях рассказывали нам Алексеевы. Часто бывает на пути из Горького в Ленинград и Вл⟨адимир⟩ Влад⟨имирович⟩ Пугачев.[1] Навещают и московские друзья, число которых все больше и больше сокращается. Для литературоведов истекший год был очень тяжелым.

Будьте здоровы и благополучны, дорогие друзья.

Ваши Ант⟨онина⟩ и Юл. Оксман⟨ы⟩.

Текст рукой А. П. Оксман, подпись Ю. Г. Оксмана — автограф.

[1] В ноябре 1965-го—августе 1968 года Ю. Г. Оксман занимал в Горьковском гос. университете должности профессора-консультанта по кафедрам истории СССР (возглавлявшейся В. В. Пугачевым) и литературы (зав. кафедрой Г. В. Краснов).

235

В. М. Жирмунскому

Дорогие Нина Александровна и Виктор Максимович,

поздравляем Вас с наступающим Новым годом. Желаем Вам здоровья, благополучия, новых больших успехов.

Я медленно оправляюсь от операции в левом глазу, а Антонина Петровна — от своих недугов. Писать и читать мне запрещено (вероятно, до середины или конца января).

Эти строки вынужден диктовать, к чему никак не могу привыкнуть: письма получаются на редкость стандартные. Бога ради не огорчайтесь!

Всегда Ваш Юл. Оксман.

28/XII ⟨19⟩65 ⟨года⟩

Текст рукой А. П. Оксман; подпись и «Всегда Ваш» — автограф.

236

П. Н. Беркову

Дорогая София Михайловна и Павел Наумович,

неожиданная весточка о том, что Вы в Пятигорске, нас очень обрадовала, т⟨ак⟩ к⟨ак⟩ лучшего места для отдыха и лечения в настоящее время года и не придумать.

В конце года мы написали вам в Ленинград о том, что делается у нас на 1-ое января.

За эти дни мало что изменилось. Но Юл⟨иан⟩ Гр⟨игорьевич⟩ стал уже выходить на прогулку самостоятельно, без провожатого, как это было до сих пор.

По-видимому, к концу января ему разрешат читать и писать, но, конечно, с большими ограничениями.

В первую очередь ему хотелось бы, по его словам, закончить серию рецензий на некоторые новые издания — от «Библиографии альманахов» Смирнова-Сокольского и «Летописи жизни Лермонтова» В. Мануйлова[1] до двухтомника стихотворений Тютчева[2] и Вашей книжки «О людях и книгах».[3] Эта книжка Ваша действительно имеет много друзей и некоторое число придирчивых критиков, которые едва ли, однако, рискнут выступить против вас в печати.[4]

Хорошо, что Вы вспомнили о библиотеке и архиве Лисовского. Его собрание автографов, как Вы знаете, куплено было В. С. Спиридоновым,[5] а от вдовы последнего перешло в Пушк⟨инский⟩ Дом, но ни одной книги из собрания Н⟨иколая⟩ М⟨ихайловича⟩ Л⟨исовского⟩ мне никогда не приходилось видеть после продажи биб⟨лиоте⟩ки. Не ушла ли она за границу?[6]

Желаем Вам хорошо отдохнуть и поправиться.

Всегда Ваши

Ант⟨онина⟩ и Юл. Оксман⟨ы⟩.

5/I 1966 г⟨ода⟩

То же.

[1] Первая неизвестна; вторая опубликована в альманахе «Прометей» (М., 1967. Т. 2. С. 315—321) с подписью «Ю. Григорьев».

[2] Издание К. В. Пигарева в «малой серии» «Литературных памятников» («Лирика», М., 1966).

[3] Замыслы не реализовались.

[4] См.: 1) Знамя. 1966. № 2. С. 253—254, отклик Е. Авксентьевской; 2) Записная книжка книголюба. М., 1967. С. 186—187, соавт. Л. М. Инькова, В. Д. Стельмах; 3) Волга. 1966. № 8. С. 153—155, подп.: С. Марлинский. Были также газетные отклики библиофилов (И. Я. Каганова, О. Г. Ласунского и др.). Наиболее значительна обзорная статья А. И. Маркушевича «Библиофильская трилогия П. Н. Беркова» (Книга. 1973. Вып. 26. С. 213—222) с научным анализом «О людях и книгах», «Русских книголюбов» (1967) и «Истории советского библиофильства» (1971).

[5] Спиридонов Василий Спиридонович (1878—1952) — литературовед, научный сотрудник Пушкинского Дома.

[6] Книжное собрание Н. М. Лисовского разошлось по рукам в Москве и Петрограде.

237

Д. Е. Максимову

24/III ⟨19⟩66 ⟨года⟩

Дорогой Дмитрий Евгениевич,

очень хотел бы Вас повидать, но я четвертый уже год не был в Ленинграде, а Вы не приезжаете в Москву.

Последнее время я больше болею, чем работаю. В ноябре перенес тяжелую операцию глаза, а лишь в середине января мне разрешили понемножку начать писать и читать. С 1 марта стал кое-как работать, но бóльшую часть дня трачу на разбор своих старых бумаг, незаконченных писаний, корреспонденции за последние 25 лет (более ранние письма не сохранились). Жить мне очень нелегко во всех отношениях, тем более что я уже не в таком возрасте, когда «форель пробивает лед».[1]

Не знаю, известно ли Вам, что в последнем номере «Revue des études slaves» Андре Мазон к моему имени присоединил эпитет «le regretté» (так он понял по своей политической наивности исчезновение моей фамилии в составе редколлегий «Литерат⟨урного⟩ наследства» и «Литерат⟨урной⟩ энциклопедии»).[2] Правда, Ф. Рив в ответ на шалости Главлита посвятил мне свою последнюю книгу «The russian novel» (New York—London, 1966). В книге 13 глав — от Пушкина до Пастернака, но, к сожалению, нет ни Горького, ни Шолохова.[3]

Я, кажется, писал Вам, что написал большой разбор «Летописи жизни и творчества Лермонтова», но уверенности в том, что сей разбор будет напечатан, у меня нет. Обещают его тиснуть летом, хотя он готов был еще в начале прошлого года.[4] Сейчас хочу заняться приведением в порядок того, что у меня собралось о Г. В. Маслове (автографы, материалы для биографии, воспоминания). В первых числах апреля должна приехать в Москву Тамара Ивановна Орнатская,[5] которой Людмила Алексеевна[6] передает для меня некоторые свои копии бумаг Маслова. Буду просить Вас заодно отдать Т. И. Орнатской и портрет Георгия Владимировича[7] (она с Вами созвонится, а работает она в редакции академ⟨ического⟩ Тургенева).

Будьте здоровы и благополучны.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

[1] «Форель разбивает лед» — сборник стихотворений М. А. Кузмина (1929). В библиотеке М. К. Азадовского, затем Б. Я. Бухштаба был экземпляр с дарственной: «Моим дорогим сибирским друзьям» (местонахождение неизвестно).

[2] Мазон Андре (в России Андрей Альбинович; 1881—1967) — филолог-славист, в основанном им журнале публиковал библиографические обзоры новейшей литературы СССР и славянских стран (статью Н. Л. Дмитриевой об Андре Мазоне см.: Энциклопедия «Слово о полку Игореве». СПб.: Дм. Буланин, 1995. Т. 3. С. 195—198). «Покойным» Оксман назван в обзоре за 1964 год (Revue des études slaves. 1965. T. 44. P. 225) при упоминании его статьи «Zur Entstehungsgeschichte von Turgenevs „Записки охотника"»: (Über die unvollendeten Erzählungen «Русский немец и реформатор», «Человек Екатерининского времени» und «Землеед»)» (Zeitschrift für Slawistik. 1964. Bd 9. H. 2. S. 165—174). Из состава редколлегии «Литературного наследст-

ва» Ю. Г. Оксман был выведен начиная с т. 74 (сдан в набор 19 ноября 1964 года, подписан к печати 22 июня 1965 года). В списке редколлегии КЛЭ имя Ю. Г. Оксмана отсутствует со второго тома (сдан в набор 6 апреля 1964 года, подписан к печати 21 сентября т. г.).

[3] Опала Ю. Г. Оксмана действительно приобрела большой международный резонанс. Очевидно, именно поэтому в пятом томе КЛЭ (1968) была помещена справка о нем А. В. Белинкова (стб. 411). В сводном именном указателе (т. 9, 1978) его фамилия также присутствует.

[4] Опубликована (с подписью «Ю. Григорьев») во втором томе альманаха «Прометей» (М., 1967. С. 315—321).

[5] Научный сотрудник Пушкинского Дома.

[6] Мандрыкина (1906—1988) — архивист, сотрудница рукописного отдела Публичной библиотеки, вдова прозаика-перевальца Георгия Осиповича Куклина (1903—1939; репрессирован).

[7] Очевидно, речь идет о портрете (маслом), после смерти Ю. Г. Оксмана переданном А. П. Оксман сотруднице ОР ГПБ Наталье Ивановне Крайневой для постоянного хранения в Библиотеке (этим сообщением публикатор обязан Н. И. Крайневой). См. также письмо Ю. Г. Оксмана к Е. М. Тагер от 10 мая 1955 года (№ 66).

238

И. Г. Ямпольскому

17/V ⟨1966 года⟩

Дорогой Исаак Григорьевич,

большое спасибо за статью о Чернышевском, в самом деле очень интересную для тех, кто занимается Чернышевским.[1] Как раз сейчас получил чистые листы своей статьи о Добролюбове в «Уч⟨еных⟩ зап⟨исках⟩ Горьков⟨ского⟩ унив⟨ерсите-та⟩».[2] Это тоже чтение для немногих, хотя вложено в статью много труда и времени. Разумеется, пришлю Вам, когда готовы будут оттиски.

Ваше письмо порадовало меня давно уже не звучавшей в Ваших письмах широкой заинтересованностью в новых Ваших писаниях, в готовых и заканчиваемых больших и малых работах, кот⟨оры⟩м я всегда радуюсь как произведениям настоящего мастера.

О себе не пишу по разным причинам, но прежде всего потому, что отвык от автопризнаний в письмах. Скажу только, что с начала марта я стал выздоравливать, а сейчас основная моя болезнь — старость, наконец настигнувшая и меня. Первые числа мая провел в Горьком, где чувствую себя очень хорошо, не хуже, чем в лучшие из своих саратовских лет.[3]

Прошу передать самый сердечный привет Евгении Наумовне от меня и от Антонины Петровны. Я же — всегда с Вами, не имея скверной привычки отмежевываться от старых своих друзей.

Ваш Ю. О.

Датируется по штемпелю на конверте.

[1] Неизвестные страницы Н. Г. Чернышевского // Рус. лит. 1966. № 1. С. 156—165; благодарность за присланный оттиск с автографом; судьба коллекции (см. письмо П. Н. Беркову 30 октября 1965 года — № 231) неизвестна.

[2] См. прим. 4 к п. 229.

[3] См. прим. 1 к п. 234.

239

П. Н. Беркову

Дорогой Павел Наумович,

много раз собирался написать Вам, но так складывается последние недели моя жизнь, что от благих намерений не остается и следа. А писать мне разрешено не

более двух часов в день, да и то только в первую его половину. Читаю я много больше, но чувствую, что это мне очень вредит. А к работе я возвращаюсь медленно, как после какого-то паралича или тяжелой психической травмы. Впрочем, для этих ассоциаций, как Вы понимаете, есть много серьезных оснований. Мне даже странно, что я вообще как-то* устоял от тех ударов, которые мне были нанесены в последние два-три года эпигонами святой германдады.[2] Согласитесь сами, что это было не так просто в мои годы и с моей биографией.

Очень горько наблюдать все то, что творится на академической бирже или, точнее, ипподроме. Я думаю, что кандидатура Храпченко в академики, объединившая кардиналов-избирателей (Конрад, Алексеев, Федин, Корнейчук),[3] исключает всякие другие комбинации. Но неугомонный Виноградов запутывает игру и в академики, и в член-кор⟨р⟩ы. Разумеется, единственный бесспорный фаворит — это Д. С. Лихачев, но именно потому, что он «бесспорный» для людей науки, шансов у него на этот раз нет. С наибольшим успехом и с помощью Виноградова мутит воду Овчаренко.[4] Его апостольское послание (точнее, обращение к избирателям) произвело сильнейшее впечатление, тем более что Щербину пришлось снять с игры,[5] а Самарин лишен поддержки старого гангстера[6] Ваньки Анисимова, подыхающего в Кунцеве от нескольких тяжких недугов, а не только от рака легких. Забавно, что он еще жив, отдает из своей палаты какие-то приказы, подписывает распоряжения и корректуры, но никто с ним уже давно не считается.[7] За директорское кресло идет борьба Щербины и Овчаренко. Но Щербина — кустарь-одиночка, а Овч⟨аренко⟩ — член шайки, объединившей широкий фронт — от Баз⟨анова⟩ и Буш⟨мина⟩ до Архипова, Петрова и др⟨угих⟩ охотнорядцев, связанных с Виноградовым.[8]

Недавно закончил чтение «Итогов и проблем изучения Пушкина».[9] Несмотря на сотни дефектов, факт⟨ически⟩х ошибок, просчетов, недоговоренностей, противоречий, отсутствие авторит⟨етной⟩ редакторской руки и т⟨ому⟩ п⟨одобного⟩, книга получилась нужная. Мне и многим другим кажется большой ошибкой отсутствие глав, посвященных изучению влияния Пушкина на мировую лит⟨ератур⟩у, игнорирование зарубежного пушкиноведения, умалчивание об организациях, так или иначе руководящих изучением Пушкина (в книге нет ни слова даже о Пушкин⟨ской⟩ комиссии, о Пушк⟨инском⟩ доме, о Пушкин⟨ском⟩ комитете Инст⟨итута⟩ истории искусств, о Пушкинской комиссии Общ⟨ества⟩ истории рус⟨ской⟩ словес⟨ности⟩ в Москве и т⟨ому⟩ п⟨одобных⟩). В кот⟨орых⟩ главах отвратительно пахнет то Благим и местами общего пользования ИМЛИ, то задворками мейлаховской лавры, но, повторяю, не эти благоухания определяют пафос «коллектив⟨ной⟩ монографии», правильно намечающей эталон историограф⟨ических⟩ книг нового типа.[10]

Я надеюсь приехать на юбилей М. П. Алексеева,[11] хотя в моем физич⟨еском⟩ состоянии этот приезд не так уж прост. Буду отлеживаться в гостинице, чтобы вовсе не выходить из строя.

Будьте здоровы и благополучны. Сердечный привет Софье Михайловне и Вам от нас обоих.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

22/V ⟨1966 года⟩

P. S. Меня очень беспокоит вопрос об издании «Писем рус⟨ского⟩ путешественника».[12] Сейчас составляется новый план очередных изданий и проспект на пятилетку. Не знаю, послали ли Вы проспект «Писем рус⟨ского⟩ путеш⟨ественника⟩» Д. В. Ознобишину (для печати).[13] Если Вы этого не сделали, поищите у себя старую заявку и пришлите на его имя, а я проверю, будет ли она доложена на Редколлегии.[14]

---

* Я должен подчеркнуть «как-то», ибо живу на положении Радищева при Павле I.[1]

Датируется по содержанию. В правом верхнем углу запись карандашом «22.V.66». Ср. фрагмент письма к В. Г. Березиной от 14 мая (Невский наблюдатель. 1999. Вып. 1(4). С. 94).

[1] С разрешения Павла I Радищев в 1796 году поселился на родине в Немцове, где находился под строжайшим полицейским надзором. Полная свобода была возвращена ему лишь в марте 1801 года уже при Александре I.

[2] См. прим. 3 к п. 202.

[3] Аллюзия на конклав, избирающий Папу римского.

[4] Об А. И. Овчаренко см. прим. 5 к п. 200; избран не был.

[5] О В. Р. Щербине см. прим. 3 к п. 142.

[6] См. прим. 7 к п. 199.

[7] И. И. Анисимов вскоре умер.

[8] С 1967 года ИМЛИ возглавил специалист по западноевропейской литературе Борис Леонтьевич Сучков (1917—1974).

[9] Точнее: Пушкин: Итоги и проблемы изучения. Колл. моногр. / Под ред. Б. П. Городецкого и др. М.; Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1966. 663 с. (ИРЛИ). Рецензию Оксмана за подписью А. Рязанцева и В. А. Тепловой см.: Учен. зап. Горьк. ун-та. 1966. Вып. 78. Т. 2. С. 537—544; атрибуцию — без обоснования псевдонима см.: Список, с. 338.

[10] Ср. оценку в письме Т. М. Акимовой и В. П. Воробьеву от 5 июля 1966 года (Ю. Г. Оксман в Саратове. [Сб.]. С. 105).

[11] 6 июня 1966 года М. П. Алексееву исполнилось 60 лет.

[12] См. п. 181, 221.

[13] Ознобишин Дмитрий Владимирович (1916—1990) — историк, ученый секретарь редколлегии «Лит. памятников» (1955—1986), составитель каталогов серии (1978; 2-е изд. 1984).

[14] Замысел не осуществился. Книга вышла в 1984 году (издание подготовили Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, Н. А. Марченко).

240

Б. Я. Бухштабу

7/VII ⟨1966 года⟩

Дорогой Борис Яковлевич,

за парадный оттиск статьи о «Филантропе» большое спасибо. Я не раз писал Вам, что работу эту считаю исключительно интересной во многих направлениях.[1] Это подлинное исследование, богато и разносторонне аргументированное, с далеко идущими выводами, блестяще к тому же написанное. У меня Ваша работа лежит в папке, посвященной Некрасову, и в материалах для дополнения к статьям о письме Белинского к Гоголю и к заметкам об Одоевском.[2] Я имею в виду вырезки, сделанные мною из «Учен⟨ых⟩ зап⟨исок⟩ Горьковск⟨ого⟩ унив⟨ерситета⟩». Этот же оттиск, так тщательно Вами выправленный, будет лежать у меня на письменном столе в числе работ, необходимых для всякого рода непредвиденных справок.

После встречи с Вами в Ленинграде[3] я пробыл в конце июня еще несколько дней в Горьком, завершая учебный год. Возвратившись в Москву, принял посильное участие в выборной кампании в ОЛЯ. На этот раз черная сотня и ее попутчики получили сокрушительный отпор. Блистательно прошел в академики В. М. Жирмунский (на общем собрании он получил 157 голосов из 160), не допустили в член-корры Самарина (на совещании у президента[4] Виноградов назвал его к ужасу акад⟨емических⟩ чиновников «старым стукачом») и Овчаренко (его добил П. Н. Берков). Если бы Макогоненко наскреб еще 3—4 голоса (его мало знают московские лингвисты), то он бы прошел обязательно. Еще более положительный факт — что общее собрание прокатило трех полусановников, не имеющих прямого отношения к науке, но занимающих директорские посты, и одного чиновника, завед⟨ующего⟩ отделом науки, но полуграмотного. Президент потребовал нового голосования, которое состоялось на след⟨ующий⟩ день, но дало еще более плачевные результаты, причем принципиально возражал против рукоположения в академики случайных людей Капица[5] («пора этому положить конец», «нельзя так долго иг-

рать авторитетом А⟨кадемии⟩ н⟨аук⟩», «постыдитесь, товарищи-начальники»). Из-за этой истории на трое суток была задержана в печати информация о выборах. Впечатление от всего этого очень большое.[6]

До августа буду в Москве, а дальше — еще не знаю.

Сердечный привет Галине Григорьевне и вам от нас обоих.

Ваш Юл. Оксман.

Датируется по содержанию.

[1] См. п. 125, 137, 233.

[2] Одоевский Владимир Федорович, князь (1804—1869) — прозаик.

[3] Подразумевается юбилей М. П. Алексеева и Пушкинская конференция.

[4] Мстислав Всеволодович Келдыш (1911—1978), математик, механик.

[5] Капица Петр Леонидович (1894—1984) — физик; был чрезвычайно популярен в среде либеральной интеллигенции 60-х годов; его «эстафету» подхватил А. Д. Сахаров.

[6] Об этих выборах Оксман писал Т. М. Акимовой и В. П. Воробьеву 5 июля т. г. (Ю. Г. Оксман в Саратове: [Сб.]. С. 105).

241

И. Г. Ямпольскому

25/VII 1966 ⟨года⟩

Дорогой Исаак Григорьевич,

меня очень тронули некоторые дружеские интонации Вашего последнего письма. Нашу встречу в Пушкинском Доме нельзя ведь считать за встречу — и не только потому, что она продолжалась три-четыре минуты, да и то «на людях»,[1] но и оттого, что это произошло в Доме, слишком уж сильно пропахшем приймами, григорьянами, сивухой, местами общего пользования. Печать мерзости и запустения, серости, бездарности, самодурства — вот что ударило меня в голову после трехлетнего отсутствия в ИРЛИ. Я прослушал доклад Ю. М. Лотмана (очень интересный, но совершенно сырой и даже не додуманный),[2] пытался хоть что-нибудь понять из мелодекламации на слова М. В. Нечкиной[3] — и убежал с Пушкинской конференции в редакцию Тургенева, а еще через полчаса отдыхал от «казенного дома» в своей гостинице.[4]

Но вообще ленинградские встречи меня порадовали и взбодрили — имею в виду вечера у Алексеевых и Макогоненко, обеды у Жирмунских, Рейсера, Тронских, где было много близких мне людей, с которыми есть что вспомнить о прошлом и поговорить о настоящем.

После Ленинграда я побывал в Горьком, а потом в Москве мы часто встречались с некоторыми из ленинградцев во время академич⟨еских⟩ выборов.

Сейчас я чувствую себя очень хорошо и стараюсь использовать летние месяцы для разборки своего архива и книг, до которых за 9 лет только сейчас дошли руки.[5] Привожу в порядок и некоторые свои фрагментарные дневниковые записи, напр⟨имер⟩ о встречах с А. А. Ахматовой в 1947—1965 гг.[6] Боже мой, как она боялась, что после ее смерти ее стихи в «Биб⟨лиотеке⟩ поэта» будет редактировать В. Н. Орлов![7] Она его и боялась, и презирала, и ненавидела. Ни о ком она не говорила с такой злостью, как именно об Орлове. Я пытался с ней спорить, но сейчас думаю, что права была она, а не я. Свои записи об Ахматовой я отдал в переписку и передам затем в ЦГАЛИ, Ленин⟨скую⟩ биб⟨лиотек⟩у и в Салтыковку.[8]

Дня три назад получил первый том альманаха «Прометей», кот⟨орый⟩ издается при редакции «Жизни замечат⟨ельных⟩ людей».[9] Всего в этом году выйдут три тома, а в 1967 г⟨оду⟩ еще четыре.[10] Это очень оригинально задуманный ист⟨орико⟩-биографич⟨еский⟩ и ист⟨орико⟩-лит⟨ературный⟩ журнал (модернизированный «Ист⟨орический⟩ вестник»),[11] рассчитанный на 100-тысячный тираж. Уверен, что

у Вас найдется для этого издания что-ниб⟨удь⟩ подходящее в любом жанре. Но предварительно посмотрите первый том; описать его трудно.[12]

В Малеевку я едва ли поеду, но Антонина Петровна и я всегда будем рады видеть у нас Евгению Наумовну и Вас.

Ваш Юл. Оксман.

На конверте адрес: Рига, Дубулты, Проспект Ленина, 7. Дом творчества писателей. Исааку Григорьевичу Ямпольскому.

[1] Т. е. на XVIII Всесоюзной Пушкинской конференции (6—7 июня), совпавшей с 60-летием М. П. Алексеева.

[2] Пушкин и традиции русского просветительства XVIII в. (утреннее заседание 7 июня) (см.: 25 Пушкинских конференций. С. 29).

[3] Доклад М. В. Нечкиной «Пушкин и декабристы (К итогам и нерешенным задачам)» был зачитан кем-то ввиду отсутствия автора.

[4] В письме к Т. М. Акимовой и В. П. Воробьеву от 5 июля 1966 года Оксман назвал эту конференцию «на редкость неудачной» (Ю. Г. Оксман в Саратове: [Сб.]. С. 105—106).

[5] О том же — в письме Т. М. Акимовой и В. П. Воробьеву от 21 июля 1966 года (Ю. Г. Оксман в Саратове: [Сб.].С. 106).

[6] Опубликовано впервые А. Д. Зайцевым (Встречи с прошлым. Вып. 7. С. 556—566). См. также: Из дневника, которого не веду // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 640—647.

[7] Том «Стихотворений и поэм» (1976) подготовил В. М. Жирмунский. Для него книга также оказалась посмертной.

[8] В ГПБ рукопись не поступила (сообщено научным сотрудником ОР РНБ Н. И. Крайневой, занимающейся доработкой — после Л. А. Мандрыкиной — фонда А. А. Ахматовой).

[9] Издательства «Молодая гвардия».

[10] В действительности в 1967 году вышли т. 2, 3, 4, в 1968-м — 5-й и 6-й, в 1969-м — т. 7, в 1971 году — т. 8 и т. д. На т. 16 (1990) издание остановилось.

[11] Издавался в 1880—1917 годах. Основан А. С. Сувориным и историком Сергеем Николаевичем Шубинским (1834—1913), состоявшим до последних дней редактором-издателем. Кроме статей и ценнейших заметок в журнале публиковались также художественные произведения (романы Д. Л. Мордовцева и др.), рецензии и мн. др.

[12] В этом томе Ю. Г. Оксман не участвовал (его публикации в т. 2 и 7 см.: Список, с. 338).

242

Б. Я. Бухштабу

27/IX ⟨1966 года⟩

Дорогой Борис Яковлевич,

очень меня Вы порадовали своей книжкой.[1] Разумеется, название сборника много у́же его состава.[2] Вы — мастер историко-литературного исследования, тончайший знаток русской поэтической культуры, замечательный источниковед — великолепно демонстрируете именно эти образцы своих достижений, отличающихся от генеральной магистрали Ваших научных интересов только своей формой. Под «Библиографич⟨ескими⟩ разысканиями» Вы имеете в виду «малые жанры» обычных литературоведческих исследований, в которых специфически «библиографического» очень мало. Я не считаю, что это плохо, наоборот...

Почти все статьи прочел с большим интересом, хотя многие из них хорошо помнил и перечитывал в свое время не раз. Многое вспомнилось из эпохи наших первых дружеских встреч, когда я еще раз углубился в Ваш замечательный этюд о «муравьевской оде» Некрасова.[3] Неужели это было в 1933 году? Мне казалось, что мы говорили об этой Вашей статье не позже 1932 года![4] Не забыть мне и той радости, которую доставляли мне в годы Саратовской ссылки Ваши работы о «Верном Трезоре», о «Что делать?», о «Катерине» Некрасова, о «Гимнах» А. Григорьева.[5]

Уже в Москве меня восхищали Ваши разыскания о «Фельетонах» Некрасова в «Русском инвалиде» и об источниках «Левши» Лескова.[6]

Только что подписал «на сверку» три своих рецензии в «Горьковских ученых записках».[7] В октябре должен выйти в свет второй том «Прометея», где будут еще два отклика моих на труды наших классиков литературоведения.[8]

Все лето разбирал свои бумаги и книги. Успел сделать не так много, но доволен, что сделал все же кое-что сам, облегчая работу будущих членов Комиссии по наследству Ю. Г. Оксмана. Может быть, успею что-нибудь и дописать из того, что оборвалось в 1930, 1937, 1956, 1964 годах. На многое, конечно, не рассчитываю.

Чувствую себя не очень плохо, но все же склероз, диабет и глазные неполадки не позволяют работать больше 4—5 часов в день. Остальные часы читаю, занимаюсь редактурами, встречаюсь с друзьями, круг которых сузился предельно.

Будьте здоровы и благополучны, дорогой Борис Яковлевич. Сердечный привет Галине Григорьевне и вам от нас обоих.

Ваш Юл. Оксман.

Мечтаю о том, чтобы написать хотя бы листа полтора воспоминаний о Петербургском университете, о молодости Ю. Н. Тынянова, о Пушкинском комитете Института истории искусств. Пока написал одну главку.[9]

Датируется по содержанию.

[1] *Бухштаб Б. Я.* Библиографические разыскания по русской литературе XIX века. М., 1966. 176 с. Местонахождение экземпляра неизвестно.

[2] Первоначальное название («Историко-литературные разыскания») было расценено руководством издательства «Книга» как «непрофильное». Ср. сокращенное переиздание в «Современнике», состоявшееся благодаря мощной поддержке И. С. Зильберштейна, — «Литературоведческие расследования» (1982).

[3] Каторга и ссылка. 1933. № 12. С. 138—145. Включен в сб.: Некрасов в русской критике. М., 1944. С. 138—145.

[4] Статья действительно предназначалась для «Лит. наследства» (см. запись К. И. Чуковского от 7 марта 1932 года; Дневник: 1930—1969. М., 1995. С. 51).

[5] См. предыдущие письма 1950-х годов и примечания к ним.

[6] То же на рубеже 1950—1960-х годов.

[7] Были опубликованы четыре рецензии: Книга М. П. Алексеева об испано-русских литературных отношениях // Учен. зап. Горьк. гос. ун-та. 1966. Сер. ист.-филол. Вып. 78. Т. 2. С. 471—475, подп.: Ю. Григорьев; Н. Ф. Бельчиков. Пути и навыки литературоведческого труда. М., 1965 // Там же. С. 477—489, подп. та же; Чеховский сборник Таганрогского музея // Там же. С. 533—535, подп.: А. Осокин; Итоги и проблемы изучения Пушкина // Там же. С. 537—544, подп.: Г. А. Рязанцев, В. А. Теплова.

[8] Второй том альманаха «Прометей» с рецензиями «Ю. Григорьева» на «Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова» и каталог «Библиотека А. Н. Островского» вышел в 1967 году (см.: Список, с. 315—322).

[9] Воспоминания Ю. Г. Оксмана о Ю. Н. Тынянове опубликованы М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддесом в первом «Тыняновском сборнике» (Рига, 1984. С. 91—96, 102—103, в контексте автобиографии с. 81—83, 90); последующие издания, связанные с Тыняновскими чтениями, насыщены материалами, посвященными жизни и трагической судьбе ученого. См. также: Список, с. 338—339.

243

М. С. Альтману

2/XI ⟨1966 года⟩

Дорогой Моисей Семенович,

с большим интересом прочел вашу книжку «Читая Толстого».[1] Многое вспомнилось из того, что читал когда-то (напр⟨имер⟩, «Т⟨олсто⟩й и Геродот»), многое узнал от Вас впервые сейчас. Построена книжка с исключительным мастерством.

Она читается, а не только изучается, вплоть до заметок на полях! Поздравляю с большим успехом, не менее бесспорным, чем успех статьи в «Прометее» о рус⟨ских⟩ фамилиях.[2]

6-го надеюсь быть уже дома, ведь это день двух юбилеев — 30 лет со дня заточения и 20 — со дня освобождения.

Сердечный привет Любовь Григорьевне[3] и Вам от нас обоих!

Ваш Ю. О.

Датируется по штемпелю на лицевой стороне открытки.

[1] *Альтман М. С.* Читая Толстого. Тула, 1966. 168 с. (со списком статей автора о Л. Н. Толстом, с. 166). Поступила в Книжную палату 8 октября.

[2] «Из истории имен, фамилий, прозвищ» (т. 2, датирован 1967 годом).

[3] Морейно, жена М. С. Альтмана.

244

П. Н. Беркову

11/XI ⟨1966 года⟩

Дорогой Павел Наумович,

мне очень горько, что не могу лично приветствовать Вас в день Вашего славного семидесятилетия. Горько вдвойне — и по-человечески, и по-товарищески. Вы принадлежите к числу тех немногих людей, которые вошли в русскую науку вслед за тем поколением, к которому принадлежал я, вошли в ту пору, в которую мы, ваши предшественники, были еще очень молоды, еще только складывались, еще не успели окаменеть или разложиться. На наше счастье мы посетили мир «в его минуты роковые»,[1] мы успели примерно в одно время услышать «музыку революции»,[2] проверить гармонию «алгеброй»,[3] принять участие в великой культурной стройке, опыт которой помог нам по-новому понять старое, увидеть в далеком прошлом очень многое из того, что не могли правильно оценить наши предшественники.

Созревая в огнях и бурях новой революционной эры,[4] мы не заметили, как из молодых ученых стали «ведущими», как из «ведущих» превратились в «старейших». Мы не заметили, как сомкнулись ряды литературоведов разных формаций, мы не замечаем, что нас уже вообще осталось очень мало,[5] что видим друг друга мы редко, а разговариваем всерьез — еще реже.

Вот одна из причин, заставляющих меня горько переживать невозможность лично приветствовать Вас 15 декабря в Ленинграде.[6]

Мне хотелось бы не только охарактеризовать Ваш путь как ученого, самоотверженно отдающего свои силы самым трудным и необеспеченным участкам нашей науки, но и как благородного и независимого человека, возвышающего свой голос, невзирая на лица, в защиту интересов советского литературоведения в любых условиях.

Я бы хотел подчеркнуть, дорогой Павел Наумович, и Вашу большую роль как воспитателя новых кадров специалистов-филологов и в родном мне Ленинградском университете, и в Институте русской литературы (Пушкинском Доме), где дорогие для меня традиции подлинной науки Вы с такой честью представляете и сейчас в группе по изучению литературы XVIII века.

Пользуюсь случаем пересказать Вам при настоящем письме и свои последние печатные работы, выходящие, по причинам от меня не зависящим, в «Уч⟨еных⟩ записках» Горьковского госуд⟨арственного⟩ университета. Они имеют также юбилейный характер: через две недели исполняется 20 лет после возвращения моего к

научной работе, а в прошлом месяце я «отметил» 30 лет со дня ее прекращения в результате моего беззаконного ареста и отправки в каторжные работы. Не менее беззаконным репрессиям приходится подвергаться мне и сейчас, хотя трудно придумать что-нибудь более бессмысленное.

Антонина Петровна просит передать Вам, что она не только очень чтит Вас и любит, но считает себя Вам бесконечно обязанной за Ваше дружеское внимание к ней в трудные годы. Самый сердечный привет от нас дорогой Софье Михайловне и всему вашему дому.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

После больницы, в кот⟨ор⟩ой пробыл целый месяц, я чувствовал себя некоторое время вполне хорошо, но зимние холода переношу плохо.

P. S. Вашей статьи «Роль и значение литературы XVIII в⟨ека⟩» я до сих пор не получил.[7]

«Брюсовских чтений» никогда не видал, но особого интереса к ним не питаю, равно как и к новому изданию «Поэзии Армении».[8] За последние годы круг моих книжных интересов очень сузился и продолжает сужаться. Как никогда чувствую с каждым месяцем, что жить мне осталось очень недолго. Это ощущение обостряется не только новыми недугами, но сознанием того, что уже ничего не успею дописать и доделать из старых своих работ. Некому поручить и их окончание, если вспоминаю своих учеников. Умерли Н. И. Мордовченко, Лева Модзалевский, Т. И. Усакина... А другие ушли в другие дела.

Датируется по содержанию.

[1] «Счастлив, кто посетил сей мир / В его минуты роковые! / Его призвали всеблагие / Как собеседника на пир» (Ф. И. Тютчев, «Цицерон», 1829—нач. 1830-х).

[2] Уже использованный (см. п. 176) образ из статьи А. А. Блока «Интеллигенция и революция» (1918).

[3] А. С. Пушкин, «Моцарт и Сальери».

[4] Ср.: *Иванов-Разумник.* Испытание в грозе и буре // Блок Ал. Двенадцать. Скифы. СПб., 1918 (Предисловие).

[5] Вероятен парафраз «на тему Тынянова» («Нас мало, да и тех нет»). См. п. 225 и прим. 2 к нему.

[6] Т. е. на официальном чествовании.

[7] См. след. письмо.

[8] П. Н. Берков был активнейшим участником ереванских конференций и, видимо, эта фраза не могла его не задеть. Упомянут сборник: Поэзия Армении: Народная — средневековая — новая: В пер. русских поэтов / [Под ред. и с ист.-лит. очерком В. Брюсова]. Ереван, 1966. 511 с. (переиздание сборника: Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней: В пер. русских поэтов / Под ред., со вступ. очерком и прим. В. Брюсова. М., 1916. 523 с.).

245

Ему же

25/XII ⟨19⟩66 ⟨года⟩

С Новым годом, дорогие Софья Михайловна и Павел Наумович!

Вы, конечно, еще не могли придти в себя после всего того, что происходило в юбилейные дни. Несмотря на то что никто еще не довел до нашего сведения о том, как принимали Вы своих гостей в «Неве»,* мы мысленно были вечером 15 декабря с Вами. У нас случайно собралась московская литературная молодежь, потом приехал кое-кто постарше, и я рассказал о своем знакомстве с Вами, а Антонина Пет-

* Эти сведения мы надеемся получить от очевидцев в ближайшие дни![1]

ровна — о том, как много вы сделали для нее в Пржевальске и во Фрунзе и какие Вы оба вообще интересные, благородные люди.[2] Тут я конкретизировал эти общие оценки воспоминаниями о том, как я пытался возродить пушкиноведение в Ленинградском университете в 1924—1927 годах, вспомнил ИЛЯЗВ[3] и т. д. и т. п. В заключение было выпито «по маленькой» за здоровье Вас обоих, дорогие друзья.

А через несколько дней я получил от Вас сборник «Роль и значение литературы XVIII в. в истории русской культуры»,[4] который заставил меня задуматься не только о судьбах литературы XVIII в., но и о роли Вашей, милый Павел Наумович, в истории усвоения нами культуры XVIII в., а также в тех связях ученых-славистов едва ли не всей Европы, которые Вам удалось так полнокровно и совершенно конкретно установить за какой-нибудь десяток лет.

Да, сборник очень красноречиво свидетельствует о многом, в некоторых отношениях он еще более красноречив, чем сборник в честь М. П. Алексеева (очень хороший и интересный!), не говоря уже о сб⟨орнике⟩ в честь В. В. Виноградова, который ни о чем не свидетельствует.[5]

Три дня я читал сборник, посвященный Вам, и читал с большою для себя пользой и интересом. Очень порадовало меня полное отсутствие в сб⟨орнике⟩ должностных лиц П⟨ушкинского⟩ Д⟨ома⟩ (даже Городецкого!). Статей слабеньких — не более двух-трех, случайных — столько же. Но зато какой парад имен крупнейших деятелей европейской* славистики и ее молодого актива!

Очень хороша статья И. З. Сермана, особенно в связи с двумя тончайшими страничками Б. М. Эйхенбаума.[7] Конечно, эта «книжка небольшая томов премногих тяжелей»![8]

От всей души поздравляю Вас с таким сборником! О нем будут помнить долгие годы, это ведь в известном смысле веха нашей историографии, показатель ее достижений и возможностей.

В Новый год Вы входите как подлинный триумфатор. Дело не в формальной юбилейной дате, а в той общественной волне, которая поднимает юбиляра независимо от его чинов, орденов, званий или «указаний» компетентных органов. Есть официальная «табель о рангах» и есть общественная котировка того или иного ученого, писателя, музыканта и т. п. Вспомните «Гамбургский счет» Шкловского.[9] Так вот, дорогой Павел Наумович, Вас чествовали по этому самому «гамбургскому счету».[10] От всей души желаю Софье Михайловне, Вам и всему Вашему семейству здоровья, благополучия, новых больших достижений и успехов. Антонина Петровна Вас всех целует.

Всегда Ваш Юл. Ок⟨сман⟩.

[1] «Нева» — до 1990-х ресторан на Невском проспекте (напротив Гостиного Двора).

[2] В 1941—1944 годах П. Н. Берков заведовал кафедрой русской и всеобщей литературы в Киргизском пединституте; в 1944-м — научный сотрудник Киргизского филиала АН СССР (см. библиогр. указатель: Павел Наумович Берков (1896—1969) / Сост. Р. И. Кузьменко и Н. Д. Кочетковой. М., 1982. С. 4). А. П. Оксман жила там как жена «врага народа».

[3] Полное название: Научно-исследовательский институт сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока при Факультете общественных наук Ленинградского университета (1924—1930; прообраз Института языкознания АН СССР).

[4] Седьмой выпуск сборника «XVIII век» с фотопортретом П. Н. Беркова (см. прим. 2 к п. 229).

[5] См. прим. 1 и 3 к п. 229.

[6] Якобсон Роман (Осипович) (1896—1982) — русско-американский филолог-лингвист. В сборнике напечатан его «Разбор тобольских стихов Радищева» (с. 228—236).

[7] Т. е. открывающие сборник «К портрету ученого» и «О П. Н. Беркове» (первая публикация).

---

* Нет, не европейской, а *мировой* — об этом говорит статья Романа Якобсона, к тому же совершенно блестящая, и по существу и по форме.[6]

[8] Очередное использование «крылатого слова» А. А. Фета («На книжке стихотворений Ф. И. Тютчева») (см. прим. 11 к п. 203).

[9] Сборник критических статей (1928).

[10] Спортивный фразеологизм, означающий безусловную («чистую») победу.

246

Д. Е. Максимову

⟨1.I.1967 года⟩

С Новым годом, дорогой Дмитрий Евгеньевич! От всей души желаю Вам в наступающем 1967 г. исполнения всех Ваших чаяний и планов, здоровья, новых интересных работ, душевного покоя, успехов.

Очень хочется с Вами повидаться и о многом побеседовать. Продолжаю успешно собирать литер⟨атурное⟩ наследие Георгия Маслова. Года идут, болезни одолевают. Работать становится все труднее.

С искренним приветом

Ваш Юл. Оксман.

Датируется по штемпелю на открытке.

247

В. М. Жирмунскому

Дорогие Нина Александровна и Виктор Максимович,

Антонина Петровна и я сердечно поздравляем Вас с наступающим днем 1 мая. Желаем, чтобы не только праздничные дни, но и всю остающуюся часть юбилейного года[1] Вы провели вместе с Вашими девочками самым благоприятным образом, чтобы никакие огорчения Вас не коснулись даже сбоку, чтобы работы всех жанров двигались сами собою и радовали Ваших друзей и почитателей как самые актуальные новинки.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

27/IV ⟨19⟩67 ⟨года⟩

На двойной поздравительной открытке (с золотым растительным орнаментом).

[1] Т. е. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции (согласно официальному названию того времени).

248

П. Н. Беркову

28/IV ⟨1967 года⟩

Дорогие друзья, Софья Михайловна и Павел Наумович,

поздравляем Вас и все младшее поколение Берковых с наступающим днем 1 мая. От всей души желаем хорошо отдохнуть не только в майские дни, но запастись энергией и на всю остающуюся часть года, пока что сумрачного, хотя и юбилейного.

Около 5—6 мая собираюсь в Горький — полюбоваться на весеннюю Волгу, подышать небывало чистым воздухом, несущимся над рекою с заволжских лесов, погреться на Откосе ласковым весенним солнцем. Боюсь юга, удивляюсь Вашим поездкам, дорогой Павел Наумович, в Армению, в Тбилиси, даже в Венгрию, но на Волгу, на Оку, на Белую весною меня очень тянет.

Не знаю ничего о Вашей поездке в Вену[1] — с ленинградцами только переписываюсь, но из тех, кто встречается с Вами, никто пока мне о Ваших впечатлениях не рассказал. С нетерпением буду ждать Вашего приезда в Москву на майскую сессию А⟨кадемии⟩ н⟨аук⟩.

Видали ли Вы книжку Мишеля Кадо «L'image de la Russie dans la vie intellectuelle française (1839—1856)»?[2] В ней много интересного и для нас, хотя, в основном, книга ориентирована на западноевроп⟨ейскую⟩ аудиторию. Нельзя не оценить самым положительным образом *масштабы* работы! Надеюсь, что Вы обратили внимание на статью о Ю. М. Лотмане в «Известиях».[3] На днях должна быть такая же статья о В. В. Пугачеве.[4] Публикации такого типа, несмотря на некоторые перегибы, имеют большое воспитательное значение. Не только в общем смысле этого понятия, но и в частном — они напоминают всем приймам, овчаренкам, базановым,[5] что о них все же никто, ни при каких условиях, ни под каким нажимом ничего подобного никогда не скажут. Не помогут никакие чины и ордена, никакие барабаши и трапезниковы.[6]

Будьте здоровы и благополучны.

Ваш Юл. Оксман.

Антонина Петровна всех Вас хочет поцеловать — «память сердца» самая прочная![7]

Датируется по содержанию.

[1] П. Н. Берков был командирован для чтения лекций в Венском (который он окончил в 1923 году) и Грацком университетах (Библиогр. указ. «Павел Наумович Берков», с. 6).

[2] Речь идет о печатном тексте (Paris, 1967) диссертации М. Кадо (Cadot, род. 1926); монография вышла под слегка измененным заглавием: La Russie dans la vie intellectuelle française, 1839—1856. Paris, 1967.

[3] *Максимова Э.* Иди со мною // Известия. 1967. 18 апр.; то же, 17 апр., моск. веч. вып. Связана с 45-летием со дня рождения Ю. М. Лотмана.

[4] Не обнаружена.

[5] См. прим. 9 к п. 185 и далее п. 251, 257/258, 261, 264, 269.

[6] Т. е. «высочайшие покровители». Трапезников Сергей Павлович (1912—1984) — историк, чл.-корр. АН СССР (1976). С 1965 года зав. отделом, с 1966 года — член ЦК КПСС.

[7] «О, память сердца! Ты сильней / Рассудка памяти печальной» (К. Н. Батюшков, «Мой гений». 1816).

249

М. В. Теплинскому

2/V ⟨19⟩67 ⟨года⟩

Многоуважаемый Марк Вениаминович,

приношу Вам глубокую благодарность за Вашу книгу, полученную мною как праздничный подарок — в день 1 мая.[1] Я еще в прошлом году посылал заявку в Дальневосточное издательство на Вашу работу об «Отеч⟨ественных⟩ зап⟨исках⟩»,[2] но никакого ответа не получил. Не мог достать ее ни в Москве, ни в Ленинграде, где был в феврале и просил некоторых из своих друзей достать мне ее. Кто-то обещал написать Вам о моей просьбе, но я просил этого не делать.

У меня давно отложено несколько книг по ист⟨ории⟩ рус⟨ской⟩ журналистики, о кот⟨оры⟩х я собираюсь сказать в спец⟨иальном⟩ крит⟨ическом⟩ обзоре. Но

всё руки не доходят. Все же, если буду жив, этот замысел осуществлю (обещал В. Г. Березиной, да еще кой-кому).[3]

В книге Вашей много ценных новых фактов и свежих наблюдений.* Вы не только хороший исследователь, но и умный полемист. Вполне сочувствую Вашей позиции в споре с Лаврецким на стр. 179—180. Очень хороший человек был покойный И. М. Лаврецкий, но с «конкретным историзмом» был не в ладу, полагаясь на свою философскую интуицию и умозрительные выкладки. Интересно Вы ставите вопрос о принадлежности С. Н. Кривенко статьи «Новые признаки в нашей литературе» (1878 г.). Я готов был бы согласиться с Вами, если бы Вы усилили свою аргументацию (следовало бы подробнее осветить вопрос о С. Н. Кривенко как литер⟨атурном⟩ критике, дать больше параллелей — и идейно-тематических, и стилистических).[4] Возможно, что Вы правы и в своих догадках об авторе рецензии на рассказы Гаршина в «О⟨течественных⟩ з⟨аписках⟩» 1882, № 8, но опять-таки аргументацию надо дополнить.[5] Отсутствие в нашей спец⟨иальной⟩ литературе характеристик таких критиков, как Кривенко, Николадзе и множ⟨ества⟩ друг⟨их⟩, тормозит изучение истории рус⟨ской⟩ журналистики и ист⟨ории⟩ общест⟨венной⟩ мысли. Характерный пример — в «Лит⟨ературной⟩ энцикл⟨опедии⟩» пропустили в Словнике фамилию Кривенко![6]

Еще раз благодарю за внимание и за самую книгу. Не сомневаюсь, что она легко пройдет через ВАК![7]

Ваш Юл. Оксман.

[1] *Теплинский М. В.* «Отечественные записки»: 1868—1884. Ю.-Сахалинск, 1966. 399 с. (Хабар. гос. пед. ин-т).

[2] Очевидно, по тематическому плану этого издательства на 1966 год, где была анонсирована монография по теме докторской диссертации.

[3] Один из множества нереализованных проектов.

[4] Кривенко Сергей Николаевич (1847—1906) — публицист, литературный критик. Предположение М. В. Теплинского подтвердилось при обращении В. Э. Боград к архиву критика (список его публикаций см.: Журнал «Отечественные записки»: 1868—1884: Указ. содерж. М., 1971. С. 471).

[5] Автором считался Николай Константинович Михайловский (1842—1904). М. В. Теплинский высказал предположение, что Михайловский отредактировал и дополнил статью Нико Николадзе (Николая Яковлевича, 1843—1928). Это было поддержано В. Э. Боградом (там же, с. 511).

[6] С. Н. Кривенко «не попал» и в дополнительный, 9-й том (1978); его отсутствие в КЛЭ компенсирует большая статья (с портретом) А. В. Чанцева в третьем томе словаря «Русские писатели. 1800—1917» (М., 1994. С. 153—155).

[7] Прогноз Ю. Г. Оксмана подтвердился.

250

Ему же

Милый Марк Вениаминович,

Вы очень правильно сделали, что прислали мне свою статью о М. А. Антоновиче.[1] Я прочел ее с большим интересом и в ближайшие же дни покажу В. В. Жданову и Белкину, чтобы они внимательнее впредь относились к данным, которые сообщают читателям «Краткой литер⟨атурной⟩ энциклопедии».[2]

Кстати, только что вышел в свет четвертый том этой энциклопедии. Бурю негодования вызвала в этом томе статья «Литературоведение».[3] Редакция виновата в пробелах ее только отчасти: после того как цензура не согласилась с характеристиками ряда современных историков литературы, их изъяли совсем, но зато выбро-

* Я ее пока только перелистал, читать буду потом.

сили и всех тех, которые возглавляют литер⟨атурный⟩ фронт — от М. Б. Храпченко, Бушмина, Базанова, Самарина до Овчаренко, Архипова, всех прийм включительно.[4]

На стр. 53 заметил в Вашей статье досадный промах. Вы, не заметив промаха составителей агентурной справки об Антоновиче, смешали двух литературных деятелей 70-х годов: М. А. Антоновича и В. Б. Антоновича, историка и публициста, деятеля украинской культуры.[5]

Не смущайтесь! В свое время я смешал в своих комментариях к Рылееву двух Паниных — Петра и Никиту,[6] что заметил, впрочем, только Г. А. Гуковский.

Доходят ли до Южно-Сахалинска такие издания, как «Прометей»? Вот уже год, правда, как не может поступить в продажу второй том, а сверстано уже четыре тома.

Будьте здоровы и благополучны!

Ваш Юл. Оксман.

11/V ⟨19⟩67 ⟨года⟩

[1] Антонович Максим Алексеевич (1835—1918) — публицист, автор философских работ. Ю. Г. Оксман благодарит за статью «К биографии М. А. Антоновича», опубликованную в сб. «Вопросы русской и зарубежной литературы» (Хабаровск, 1966).

[2] Ошибки в статье (КЛЭ. Т. 1. Стб. 247) допустила Б. Б. Чарная.

[3] Том («Лакшин — Мураново») был сдан в набор 19 апреля 1966 года, подписан к печати 24 февраля 1967-го. В создании «коллективной монографии» (стб. 331—383) участвовали: Б. С. Мейлах, А. А. Аникст, О. М. Малевич, Е. И. Рябова, Г. Я. Ильина, В. И. Семанов, Н. Г. Иваненко, Г. А. Горбаткина, Ю. В. Манн, Ю. Б. Смирнов и П. И. Шпагин («Л. в СССР. Россия»), И. Г. («Л. в союзных республиках»), анонимный библиограф (стб. 381—383).

[4] Видимо, подразумевается также двоюродный брат Ф. Я. Приймы, Константин Иванович (1912—1991), автор книг о М. А. Шолохове.

[5] Антонович Владимир Бонифатьевич (1834—1908), профессор Киевского университета св. Владимира.

[6] Т. е. дипломата Никиту Ивановича (1718—1783) отождествил с генералом Петром Ивановичем (1721—1789), возглавившим оппозиционную панинскую партию, а затем подавившим восстание Е. И. Пугачева.

251

В. Г. Базанову

Дорогой Василий Григорьевич,

очень благодарен Вам за память и внимание. Правда, я успел уже купить новое Ваше издание стихотворений В. Ф. Раевского, как только оно появилось в московских книжных лавках (нетерпение вполне естественное), и даже немного поработал над ним, радуясь, что Вам удалось наконец существенно выправить и дополнить многое в первом варианте этого сборника, напечатанном еще в 1952 г.[1]

Очень удовлетворен и тем, что Вам пригодились некоторые из моих замечаний по поводу первого издания стихотворений Раевского, сделанных на страницах «Литературного наследства».[2] И прежде, и сейчас мы серьезно расходимся с Вами только в одном. Я прежде всего историк, источниковед и текстолог, а Вы — литературовед и фольклорист. Даже самый талантливый литературовед (а Вас я считаю очень талантливым литературоведом) не всегда может быть авторитетным публикатором тех или иных текстов, а тем более редактором и комментатором собрания сочинений того или иного писателя. Во всех тех случаях, когда Вам кажется, что Вы спорите со мною, Вы в действительности спорите с документом, с рукописью, которую Вы недостаточно изучили. Вспомните, что говорил Гегель, прося своих слушателей и читателей не смешивать знания с мнением.

Систематически работая над текстами Раевского в течение нескольких лет (между 1924 и 1930 г.), подготовляя критическое издание всех дошедших до нас его

сочинений и писем, я имел возможность установить не только их редакции, черновые и беловые, но и хронологию (чего не могут дать обычные налеты на архивные фонды, да еще такие, как бумаги Раевского, сознательно приведенные им самим в хаотическое состояние, чтобы затруднить работу над ними следственных органов).

(см⟨отри⟩ на обороте)

Получив Ваше новое издание, я еще раз сверил некоторые его части (пока только «на выдержку») со своими транскрипциями текстов В. Раевского и окончательно убедился в том, что Вы неправы в своей полемике со мною по всем источниковедчески-текстологическим вопросам. Как-нибудь при встрече мы непременно поговорим об этом конкретно, пункт за пунктом, а сейчас поспешу сказать Вам об основной ошибке нового Вашего издания: оно построено не на первоисточниках, не на рукописях Раевского, а на публикациях Ваших и Ваших предшественников.[3] Все Ваши ссылки на них («Литературный Ульяновск», «Ульяновский сборник», «Сб⟨орник⟩ 1952», «Новые материалы», «Лит⟨ературное⟩ наследство» и т. д.) не авторитетны для критического издания стихотворений, так как публикации эти за редкими исключениями испещрены пропусками отдельных слов и строк, неправильными чтениями, описками, опечатками и другими вольными и невольными искажениями текста. В отдельных случаях, довольно редких, Вы пользуетесь рукописями, но делаете это не систематически, без предварительного учета и изучения всех дошедших до нас редакций и вариантов, без чего любой Ваш отбор вариантов остается немотивированным.

Отказавшись от сравнительного изучения всех рукописей Раевского (недаром Вы не даете и ключа к ним в виде их перечня или хотя бы самого краткого обзора), Вы не можете сколько-нибудь удовлетворительно разрешить и вопросы хронологии произведений Раевского, а ошибочная хронология не позволяет установить и подлинной эволюции поэта, его движения во времени. Пренебрежение же вопросами хронологии обуславливает шаткость самой композиции всего первого раздела Вашего сборника (стихотворения 1812—1821 гг.).

Я не собираюсь останавливаться на конкретных деталях устанавливаемых Вами текстов Раевского и их толковании в комментариях, так как письмо мое ни в каком случае не должно подменять рецензии. Но в одном пункте мне придется сделать исключение, так как предметом спора является критика Вами и П. С. Бейсовым моей композиции черновых строф сатиры Раевского «Смеюсь и плачу».[4] Не соглашаясь с моим толкованием восьмистишия «Друзья, вот наш удел в сей бездне треволнений» и пр⟨очее⟩[5] как концовки сатиры, Вы обрываете ее текст на четвертой строфе («Но после отдыха, когда в моей прихожей» и пр⟨очее⟩). Однако на стр. 236 сами же Вы подчеркиваете, что Раевский в своей сатире воспользовался «идеей и общей схемой» стихотворения Вольтера «Jean qui pleure et qui rit».[6] Так вот эта самая «общая схема» стихотворного философского послания, характерная для произведений этого жанра, требовала концовки, несколько отличной по своему строю от всех прочих его строф, концовки обобщающей, итоговой, оформленной к тому же без припевов, обязательных для всех предшествующих строф («Тогда смеюсь и я» или «Я слезы лью»). Без найденного мною восьмистишия сатира «Смеюсь и плачу» являлась бы произведением незаконченным, дефектным, не удовлетворяющим законам той поэтической структуры, которая являлась обязательной для того жанра, к которому она принадлежала.

⟨Приписка к машинописному тексту красными чернилами⟩

Я пишу к Вам с предельной откровенностью, не отделимой от того уважения и любви, с которыми всегда относился к Вам и отношусь.

Искренне Ваш

Юл. Оксман.

16/VII ⟨19⟩67 ⟨года⟩

[1] *Раевский В. Ф.* Стихотворения / Вступ. ст., подгот. текста и прим. В. Базанова. Л., 1952. 280 с. (Б-ка поэта. Малая сер. 2-е изд.); *Раевский В. Ф.* Полн. собр. стихотв. / Вступ. ст. А. В. Архиповой и В. Г. Базанова; Подгот. текста и прим. В. Г. Базанова. М.; Л., 1967. 254 с. (Б-ка поэта. Большая сер. 2-е изд.). Характеристику предыдущего издания см. с. 221—222. 8 сентября 1965 года Ю. Г. Оксман сообщил Г. В. Краснову о телефонном звонке В. Г. Базанова с предложением делать книгу вместе и о его намечаемом приезде 15 сентября «для окончательных переговоров» (Новое лит. обозрение. 1998. № 34. С. 201). Местонахождение экземпляра с инскриптом и дублета (возможно, с пометами Ю. Г. Оксмана) неизвестно. Ранее Оксман полемизировал с В. Г. Базановым о В. Ф. Раевском в письме от 25 декабря 1962 года (№ 185).

[2] См. об этом в преамбуле к комментарию (с. 223).

[3] Там же утверждается обратное (с. 223—224).

[4] См. примечания (с. 236—238).

[5] Текст на с. 236.

[6] «Жан, который плачет и который смеется» (1772).

252

В. И. Малышеву

3/VIII ⟨1967 года⟩

Дорогой Владимир Иванович,

давно не видал Вас, хотя много раз вы ко мне собирались. Помните, что мне очень много лет,[1] судьба меня не баловала и не балует, недуги одолевают; словом, не думайте, что я собираюсь дожить до возраста Н. К. Пиксанова или хотя бы Долинина (он же А. С. Искоз).[2] Голова работает, правда, хорошо, но глаза и ноги изменяют. Пишу мало, все больше — воспоминания, о мертвых и живых. Хочется написать и о Пушкинском Доме — чем он был и чем стал. Хочется написать и о том, что такое Пушкинский семинар С. А. Венгерова в Петербургском университете (1908—1918) и что он дал русской науке. Не скрою, что в «лирических отступлениях» говорю и о Базановск⟨ом⟩ периоде глубокого упадка русского литературоведения, оказавшегося в лапах бизнесменов и невежд при прямом попустительстве московских академиков, в том числе и настоящих.

В «Литер⟨атурной⟩ энц⟨иклопедии⟩» обещали мне исправить недосмотры в дополнит⟨ельном⟩ томе. Но я не уверен, что их редактора́ сохранят свои посты даже до 5-го тома.[3] Хорошо, что имя В. И. Малышева известно всем историкам и литературоведам без всяких литерат⟨урных⟩ энциклопедий. Будьте здоровы и благополучны!

Всегда Ваш Юл. Оксман.

Вы, конечно, знаете, что дед Мазон скончался 13 июля.[4]

Датируется по приписке.

[1] Адресат был моложе на 15 лет.

[2] Т. е. 90 или почти (88).

[3] Сдан в набор 24 октября т. г., подписан к печати 8 июля 1968 года. В четвертом томе (вышел весной 1967 года) «Малышев В. И.» отсутствует; см. о нем статью В. П. Бударагина (КЛЭ. Т. 9, доп. 1978. Стб. 506). Очерк И. Л. Андроникова «Неутомимый Малышев» (Известия. 1967. 19 марта), очевидно, был исключен из списка литературы.

[4] Сомнительный каламбур («дед Мазай» Некрасова). Об А. Мазоне см. прим. 2 к п. 237.

253

П. Н. Беркову

19/XI ⟨1967 года⟩

Дорогой Павел Наумович,

приношу Вам сердечную благодарность за те хорошие слова, которые нашлись у Вас обо мне в Вашем юбилейном выступлении на открытом заседании кафедры рус⟨ской⟩ лит⟨ературы⟩ Ленинградского университета.[1] Мне об этом кто-то уже писал мельком (не помню, кто именно), но Григорий Абрамович,[2] навестивший нас 16/XI, очень порадовал меня подробным рассказом о Вашем докладе. Сейчас, когда настолько все привыкли к тому, что мое имя механически исключается из большей части советских изданий, даже мои ближайшие друзья не очень балуют меня своим вниманием в печати. Некоторым тургеневистам это доставляет даже какое-то тайное удовлетворение. Я имею в виду не одного Измайлова, — многих тешит иллюзия, что их имена зазвучат в такой ситуации громче...[3]

А Вас, дорогой друг, я могу тоже порадовать. На этих днях в квартире Т. Г. Цявловской состоялась встреча пушкинистов по случаю увенчания Госуд⟨арственной⟩ премией Ираклия Андроникова.[4] Вспомнили и отсутствующих, и погибших. Я говорил о Ю. Н. Тынянове, Щеголеве, Цявловском. С. М. Бонди очень зло охарактеризовал Г. А. Гуковского, что вызвало мой протест. Разговор перешел к исследователям XVIII века, продолжающим работу Гуковского в наше время. Очень интересно формулировал свои оценки книг и людей В. В. Виноградов, заявивший, что самый большой вклад в изуч⟨ение⟩ XVIII в⟨ека⟩ сделан Вами, а вовсе не Гуков⟨ски⟩м, а тем более не такими невеждами, как Благой, Бабкин и их эпигоны. Виноградов подчеркнул, что Вы положили основание систематическому изучению драмы XVIII в⟨ека⟩, журналистики, эпопеи, критики и теории лит⟨ератур⟩ы, историографии и источниковед⟨ения⟩ рус⟨ского⟩ классицизма в целом. Никто и никогда не слышал от В⟨иктора⟩ В⟨ладимировича⟩ такого панегирика! Мне осталось добавить несколько слов о Вашей педагогич⟨еской⟩ и общественной значимости.

Ваш Ю. О.

Антонина Петровна и я шлем самый сердечный привет дорогой Софье Михайловне, Вам, Вале и всему вашему большому семейству!

Датируется по штемпелю на конверте с адресом: Ленинград 178 В. О., 13 линия, 56, кв. 5. Профессору Павлу Наумовичу Беркову. Адрес отправителя: Москва В 333, ул. Д. Ульянова, 4, кв. 36 ⟨без инициалов и фамилии⟩.

[1] См.: *Берков П. Н.* Основные особенности русского литературоведения советского времени // Межвузовская научная конференция литературоведов, посвященная 50-летию Октября: Программа и краткое содержание докладов 15—22 ноября 1967 года. Л., 1967. С. 48. П. Н. Берков выступил первым, 15 ноября.

[2] Бялый.

[3] Из тургеневских изданий фамилия Оксмана не исключалась (см. прим. 3 и 5 к п. 163).

[4] За подытоживающую книгу «Лермонтов: Исследования и находки» (М., 1964. 612 с.). Внушительный перечень рецензий см.: Библиография литературы о М. Ю. Лермонтове (1917—1977 гг.) / Сост. О. В. Миллер. Л.: Наука, 1980. С. 171.

254

Б. Я. Бухштабу

5/XII ⟨19⟩67 года

Дорогой Борис Яковлевич,

Ваша новая статья меня очень порадовала.[1] Как Вы давно знаете, я принадлежу к числу больших почитателей Ваших работ, ценя их неизменную свежесть и остроту, конкретный историзм и богатство наблюдений, блеск литературного оформления — безукоризненность внешней и внутренней структуры даже в фрагменте! В новой статье о сатире Некрасова я с особенным интересом прочел все то, что Вы рассказываете о «Прекрасной партии». Досадно, что из этого цикла Ваших разборов оторвался «Филантроп», напечатанный в Горьком.[2] Может быть, сейчас следовало бы все же перепечатать из «Уч⟨еных⟩ записок» хотя бы две-три страницы; двух абзацев о «Филантропе» очень уж мало!

13 февраля, когда я мельком видел Вас последний раз в Ленинграде, я едва передвигал ноги и от обострения диабета и от бесконечной усталости. Поэтому и поговорить с Вами не мог всерьез. Сейчас чувствую себя много лучше во всех отношениях, хотя в Каноссу не пошел и не пойду.[3] Так-то правильнее и честнее.

На днях восстановлена в С⟨оюзе⟩ с⟨оветских⟩ п⟨исателей⟩ секция критиков и литературоведов. На выборах бюро провалили большую часть прохвостов и лизоблюдов (Кедрину, даже Машинского).[4] А сверх «списка» выбрали Аникста, Жданова, Паперного и Лакшина.[5]

Будьте здоровы и благополучны!

Ваш Юл. Оксман.

[1] См.: *Бухштаб Б. Я.* Сатирическая поэзия Некрасова в годы «цензурного террора» // Некрасовский сборник. Л., 1967. Т. 4. С. 57—74.

[2] См. прим. 9 к п. 125 и п. 233.

[3] «Идти в Каноссу» — покаяться; Ю. Г. Оксман считал, что ему каяться перед властями предержащими не в чем. Афоризм связан с историческим фактом: 25—28 января 1077 года император Генрих IV в облачении кающегося грешника простоял у стен замка Каносса (область Реджо-Эмилия в Северной Италии), добиваясь приема папой Григорием VII, гостившим у владелицы замка, маркграфини Матильды Тосканской.

[4] Кедрина Зоя Сергеевна (род. 1904) — литературный критик, специалист по «многонациональной советской литературе»; вдова известного поэта Дмитрия Кедрина. Машинский Семен Иосифович (1914—1978) — литературовед; член редколлегии «Вопросов литературы» (ср. п. 133 и прим. 1 к нему).

[5] Аникст Александр Абрамович (1910—1988) — историк западноевропейской литературы и театра. Лакшин Владимир Яковлевич (1933—1993) — историк русской литературы, литературный критик; при А. Т. Твардовском — один из лидеров-идеологов «Нового мира». О В. В. Жданове см. прим. 5 к п. 107, о З. С. Паперном — прим. 2 к п. 162.

255

П. Н. Беркову

Дорогой Павел Наумович,

Ваше большое письмо от 7 декабря я получил своевременно. Ответ отложил на три дня, чтобы приурочить его ко дню Вашего рождения, но неожиданно почувствовал себя так плохо, что должен был слечь и едва отбился от больницы. Врачи констатировали затяжной гипертонический криз, осложненный в разных направлениях. Никогда со мною этого не было, но я уже давно перестал удивляться любым неожиданностям. 19 декабря поехал в Горький на три-четыре дня, чтобы за-

кончить семестр, но после второй лекции опять почувствовал себя очень плохо, пролежал два дня в гостинице и доставлен был своими молодыми друзьями в Москву. Сейчас чувствую себя лучше, но работать мне трудно. Я думаю, что плохо действуют на меня сильные морозы, да и вообще зима моим сосудам уже не по средствам.

В Горьковском ун⟨иверсите⟩те я читаю с⟨пец⟩/к⟨урс⟩ «Советское литературоведение», который начал с общего обзора русского и западноевроп⟨ейского⟩ литерат⟨уроведен⟩ия в период 1912—1917 гг. Потом перешел к истории Опояза на широком фоне лит⟨ературной⟩ и научной жизни Петрограда и Москвы 1914—1930 г⟨одов⟩ с экскурсами в область ист⟨ории⟩ акад⟨емической⟩ филологии этой поры, с обзором деятельности лит⟨ературных⟩ школ, в том числе и школы В. Ф. Переверзева. Последняя лекция в этом семестре посвящена была работам и личности Б. М. Эйхенбаума. На очереди — работы Ю. Н. Тынянова, В. М. Жирмунского и других попутчиков[1] Опояза, в том числе и В. В. Виноградова. Особые лекции посвящены будут Роману Якобсону, Г. О. Винокуру,[2] Б. В. Томашевскому, распаду Опояза и т. п. О Шкловском уже прочел; получилась глава из «Величия и нищеты куртизанок»[3] последнего 50-летия литерат⟨урной⟩ науки.[4] Кстати о куртизанках. Вы, конечно, читали, что написал Полублагой[5]-полуслепой холуй о романах Федина в «Литер⟨атурной⟩ России».[6] Оказывается, Брайнина,[7] многолетняя возлюбленная Федина 30—40 гг. (а ныне счастливая супруга Димдима), сейчас ведет бешеную кампанию за выдвижение Благого в академики на предстоящих выборах. Разумеется, это чистый блеф, так как не найдется ни одного академика, который подал бы голос за такого «бывшего человека»,* как Димдим, но последний неутомим в своих грязных происках («в дискуссионном порядке»! См. «Известия ОЛЯ», куда Д. Д. постепенно перетягивает всех подонков, могущих быть ему полезными).[9]

О несостоявшейся Вашей поездке в Берлин я впервые узнал только из Вашего письма. В конце концов не так уж важно, поехать ли в ГДР осенью или весною. Но самый факт Вашего избрания[10] представляется мне весьма знаменательным, и я от души Вас, дорогой мой друг, поздравляю.

Странно, что Мих⟨аил⟩ Пав⟨лович⟩, который у нас был за это время не один раз, так и не удосужился меня информировать ни о Вашем избрании, ни о предстоящей поездке в Берлин...

Никак не могу согласиться с теми пессимистическими нотами, которые зазвучали в Вашей неожиданной и ни на чем не основанной самооценке Ваших работ в области рус⟨ской⟩ лит⟨ературы⟩ XVIII в⟨ека⟩. Я полностью в этом отношении на стороне Виноградова.

От всей души поздравляю Вас и дорогую Софью Михайловну с наступающим Новым годом. Хотелось бы, чтобы он, этот 1968 год, был для всех нас более благополучным, чем его предшественник!

Ваш Юл. Оксман.

24/XII ⟨19⟩67 ⟨года⟩

[1] Термин 30-х годов, отличающий «прочих» от пролетарских писателей. До «ликвидации кулачества как класса» те же права имели крестьянские писатели (Н. А. Клюев, С. А. Клычков, П. А. Орешин и др.).

[2] Винокур Григорий Осипович (1896—1947) — лингвист и литературовед.

[3] Роман Оноре де Бальзака (1799—1850), более известный под переводным названием «Блеск и нищета куртизанок» (1838—1847).

[4] Очевидно, намек на отречение В. Б. Шкловского в 1930-х годах. Об этих лекциях см.: *Краснов Г. В.* Феномен Ю. Г. Оксмана // Новое лит. обозрение. 1998. № 34. С. 203.

[5] Ср. п. 163, 178.

* Или, точнее, «публичного мужчину»![8]

[6] Описка; см.: *Благой Д.* «Горький среди нас» Константина Федина // Лит. Россия. 1967. 15 дек. С. 6.

[7] Брайнина Берта Яковлевна (1902—1984) — литературный критик. Монография «Константин Федин» (1951) удостоилась Сталинской премии (1952). См. также: *Брайнина Б.* Избранное. М.: Худ. лит., 1982. 640 с., 1 л. портр.

[8] Возможна аллюзия на рассказ Г. де Мопассана «Мужчина-проститутка».

[9] Академиком Д. Д. Благой избран не был.

[10] Членом-корреспондентом Германской Академии наук в Берлине (ГДР) (Библиогр. указ. «Павел Наумович Берков», с. 6).

256

Ему же

⟨До 31 декабря 1967 года⟩

Дорогие друзья, Софья Михайловна и Павел Наумович,

Антонина Петровна и я от всей души поздравляем Вас, во-первых, Марину и Валю, во-вторых, и всех маленьких, в-третьих, с наступающим Новым годом.

Будьте счастливы в 1968 г. во много раз больше, чем в году уходящем.

Всегда Ваши Антонина и Юлиан Оксманы.

257/258

Д. Е. Максимову

31/XII ⟨1967 года⟩

С Новым годом, дорогой Дмитрий Евгениевич, от всей души желаю Вам многих лет здоровья, творческой энергии, всех видов благополучия и успеха. О новых прекрасных работах я не говорю — Вы без всяких толчков со стороны обеспечите нашу культуру своими исследованиями, всегда очень умными, тонкими, великолепно построенными.

Мы не видались более четырех лет. Старость сложилась у меня нелегкая. Меня не только не печатают, но даже ссылки на мои работы тщательно вытравляются из всех новых книг, статей и даже библиограф⟨ических⟩ указателей. И все же я в Каноссу не пошел и не пойду,[1] буду «умирать стоя».[2] У меня нет претензий к палачам, но Герцен где-то хорошо сказал, что гораздо более омерзительны помощники палачей — все эти Лесючевские, Володьки Орловы, Базановы, Приймы, Архиповы и пр⟨очая⟩ нечисть.

Не собираетесь ли в Москву, хотя бы проездом?

Ваш Юл. Оксман.

1/I⟨19⟩68 ⟨года⟩

P. S. Дорогой Дмитрий Евгениевич,

мне пришлось распечатать свой конверт, который вместе с другими последними письмами уходящего года остался до утра — некому было отнести их в почтов⟨ое⟩ отделение, а ящиков в праздничные дни я не признаю.

А в 10 ч⟨асов⟩ вечера пришла последняя партия писем и телеграмм, в числе которых оказался оттиск Вашей публикации воспоминаний Анны Андреевны о Блоке.[3]

Вот мы и встретили новый год воспоминаниями о Блоке, об Анне Андреевне и о Вас. Мы так плохо себя чувствовали перед тем, что никуда не пошли, никого к себе не позвали. Гипертония валила с ног, мрак был кромешный. А вот Ваш подарок поднял настроение и Ант⟨онины⟩ Петровны и мое.

Свои воспоминания о Блоке Анна Андр⟨еевна⟩ мне не читала, а рассказала за день до их трансляции в Москве.[4] Печатный текст гораздо скупее и манернее (особенно эпизод встречи на платформе за Подсолнечной). Но Ваше послесловие не менее интересно — столько в нем свежих наблюдений, пояснений, фактов. Удивительно тонко и умно. Без ужаса не могу вспомнить мякинную прозу В. Н. Орлова, воплощенного А. А. Краевского нашего века.[5] Недаром так презирала и в то же время так боялась его Анна Андреевна.

Ваш Ю. О.

[1] Ср. письмо к Б. Я. Бухштабу от 5 декабря 1967 года (№ 254, прим. 3).

[2] Возможная контаминация афоризма лидера испанских коммунистов Долорес Ибаррури (1895—1989) «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» и названия пьесы Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя» (1949, рус. пер. 1959; с успехом шла в советских театрах; самая известная — постановка Н. П. Акимова в Театре Комедии с Е. В. Юнгер в заглавной роли Бабушки).

[3] *Ахматова Анна.* Воспоминания об Ал. Блоке; *Максимов Д.* Ахматова о Блоке // Звезда. 1967. № 12. С. 186—191.

[4] Подразумевается телевизионная передача.

[5] Краевский Андрей Александрович (1810—1889) — журналист, издатель, получивший в советском литературоведении однозначно отрицательную характеристику. Ю. Г. Оксман идентифицирует героя и автора (см.: Молодой Краевский // *Орлов Вл.* Пути и судьбы. Л., 1963; 2-е изд. 1971).

259

И. Г. Ямпольскому

Дорогой Исаак Григорьевич,

я своевременно получил новое издание Вашей книжки о Помяловском и с большим удовольствием прочитал ее в больнице, где обычно много читаю и старого и нового.[1] Но на этот раз мое состояние осложнилось неожиданным ухудшением зрения, из-за чего я не мог своевременно поблагодарить Вас за Ваше внимание и ценный для меня подарок.

Работу Вашу я еще в первом ее варианте, как Вы знаете, признал одной из самых лучших работ о наших беллетристах-шестидесятниках, а в новом издании заметил много интереснейших уточнений и даже небольших дополнений. От всей души поздравляю Вас с очередной удачей. А возвратившись несколько дней назад домой, я с большим удовольствием перелистал, хотя это далось мне нелегко, новый трехтомник Некрасова в большой серии «Библиотеки поэта».[2] Бесспорно, Б. Я. Бухштабу, С. А. Рейсеру и Вам[3] вместе с Вашими сотрудниками[4] удалось добиться существенных результатов, заново пересмотрев тексты и датировки, установленные в предшествующих изданиях К. И. Чуковского, которые представлялись мне гораздо более обоснованными, чем это выяснилось сейчас. Очень порадовался, что успел включить новый трехтомник в справку о Некрасове, которую получил на отзыв из «Лит⟨ературной⟩ энциклопедии».[5] Да, путь нашей текстологии «от дилетантизма к науке» оказался куда более сложным, чем это полагал Корней Иванович и его читатели.[6] Ведь даже «Библиотека поэта» на наших глазах стала превращаться по принципам построения некоторых томов в непосредственное продолжение «Полного собрания сочинений русских авторов» А. Ф. Смирдина.[7] Прежде всего я имею в виду, конечно, новейший свод стихотворений В. Ф. Раевского, сделанный не по автографам, а по случайным публикациям советских издателей, многие из которых не в состоянии отличить автографов В. Ф. Раевского от текстов В. Г. Базанова и П. С. Бейсова.[8]

Несмотря на месяц, проведенный в больнице, чувствую себя далеко не удовлетворительно и в общем и в частности. Больше всего меня тревожит состояние зрения. Не знаю, удастся ли мне поехать в этом месяце в Горький.

Будьте здоровы и благополучны.

Ваш Юл. Оксман.

3 марта 1968 г⟨ода⟩
Москва.

Машинопись; подпись — автограф.
Текст на конверте — машинопись. Адрес отправителя — *без указания фамилии.*

[1] *Ямпольский И.* Н. Г. Помяловский: Личность и творчество. М.; Л., 1968. 267 с. Ср.: Н. Г. Помяловский: Крит.-биогр. очерк. М., 1941. 196 с. Местонахождение экземпляра с инскриптом неизвестно. Сигнальный экземпляр поступил в Книжную палату 4 марта.

[2] *Некрасов Н. А.* Полн. собр. стихотв. Л., 1967. Под общей редакцией и со вступительной статьей К. И. Чуковского; вероятнее всего, именно от него Ю. Г. Оксман получил этот подарок, местонахождение коего неизвестно.

[3] 1-й т. вышел под редакцией Б. Я. Бухштаба, 2-й — С. А. Рейсера, 3-й — адресата.

[4] Первый том подготовили В. Э. Боград, В. Э. Вацуро, А. М. Гаркави, А. Л. Гришунин (указаны на обороте титульного листа); 2-й — М. Я. Блинчевская, В. Э. Вацуро, Т. П. Голованова, А. Л. Гришунин, Е. И. Кийко, А. Б. Муратов, Н. Н. Скатов (С. А. Рейсер взял на себя «Дедушку» — из-за «Светочей» — и два стихотворения, «Перед зеркалом», № 88 и «Белый день недолог...», № 140); 3-й (адресата) — А. И. Груздев, А. Б. Муратов, И. Ю. Твердохлебов, М. В. Теплинский.

[5] «Справку» (т.е. статью Г. В. Краснова) см.: КЛЭ. Т. 5. Стб. 176—184; том подписан к печати 8 июля 1968 года; в списке «Соч.» (стб. 183) трехтомник «Библиотеки поэта» отсутствует, фигурирует 8-томник (1965—1967) под той же общей редакцией.

[6] Обыграно название статьи К. И. Чуковского (Новый мир. 1954. № 2. С. 232—254; то же: Люди и книги. 2-е изд. М.,1960; то же: Собр. соч. Т. 5. 1967), в свою очередь корреспондирующее знаменитой работе А. И. Герцена «Дилетантизм в науке» (Отеч. зап., 1843).

[7] Грандиозное издательское предприятие (с 1846) великого русского книжника Александра Филипповича Смирдина (1795—1857).

[8] См. подробно в п. 251.

260

В. М. Жирмунскому

Дорогой Виктор Максимович,

Ваше последнее письмо шло из Комарова в Москву ровно восемь дней.

Спасибо большое за Вашу информацию о Ваших трудах и днях[1] в Москве. Кое-что я уже слышал от Лидии Корнеевны,[2] а недавно В. А. Черных осведомил меня о том, что в ЦГАЛИ принято решение распечатать две рабочих тетради А. А. Ахматовой, на которые без всяких оснований наложен был запрет И. Н. Пуниной.[3] Завидую Вам вдвойне: и потому, что вы занимаетесь рукописями Анны Андреевны, и потому, что эта работа так Вас увлекает. Сам же я все еще лишен возможности читать и писать, а процесс лечения глаз очень затягивается.

Будапештский адрес Людмилы Борисовны Шаргиной (по мужу Немети):[4] Budapest XIII, Pozsonyi ut, 42, VI, 2 Nemeti Jozsefne.

Будем очень рады видеть Нину Александровну и Вас в Ваш апрельский приезд в Москву.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

19 марта 1968 г⟨ода⟩

Машинопись; только подпись — автограф. Адрес написан чернилами (видимо, Л. Б. Шаргиной).

[1] Фразеологизм, восходящий к поэме Гесиода (8—7 вв. до Р. Х.), описывающей жизнь земледельца. Так была названа Н. О. Лернером первая летопись жизни и творчества Пушкина (СПб., 1910).

[2] Чуковской.

[3] Поездка В. М. Жирмунского была связана с подготовкой тома «Стихотворений и поэм» в Большой серии Библиотеки поэта. Черных Вадим Алексеевич (р. 1927) — историк, археограф; тогда — зам. директора ЦГАЛИ, исследователь жизни и творчества А. И. Герцена; ныне — ученый секретарь Археографической комиссии, занимается биографией и творчеством А. А. Ахматовой (см., например: Летопись жизни и творчества ⟨...⟩, вып. 1—4, 1996—2003, изд. продолж.). Пунина Ирина Николаевна (1921—2003) — искусствовед, дочь Н. Н. Пунина. Конфликт с ней Л. Н. Гумилева (из-за наследства) явился причиной «раздвоения» Архива Ахматовой (ГПБ, ЦГАЛИ).

[4] Ср. п. 136 (и прим. 2 к нему), 153, 166.

261

П. Н. Беркову

Дорогой Павел Наумович,

Антонина Петровна и я сердечно поздравляем Вас и Софью Михайловну с Днем Первого Мая и желаем Вам обоим и двум следующим поколениям Берковых много лет здоровья и благополучия.

Несмотря на то что из больницы я вышел довольно давно, ни читать, ни писать до сих пор еще не могу. Оперировать правый глаз предлагают только осенью. Постараюсь как-нибудь дожить до этого времени, хотя сие и не так просто.

На днях был извещен о том, что в этом году Пушкинская комиссия не соберется. Мало того, что она ничего не делает, институтское начальство считает, что и ежегодных конференций Пушкин не заслужил.[1] Очевидно, будем праздновать ежегодно день рождения Федосовой[2] — или Васьки Буслаева[3] — патрона В. Г. Базанова, хотя, по моему глубокому убеждению, В. Г. Базанов напоминает больше «ухаря-купца»,[4] а еще точнее — того «камаринского мужика», который увековечен в русской песне как некий «сукин-рассукин сын», убивший калашницу за то, что она «калачики не с солию пекла, не поджаристые».

Весьма симптоматично, что Михаил Павлович[5] продолжает вольно или невольно заваливать все большие и малые дела, к которым его приставляют или которые он захватывает.[6] Так, он сорвал продолжение академического издания Веселовского,[7] новый вариант десятитомного Пушкина,[8] Пушкинский временник, продолжение Тургеневских сборников[9] и много других начинаний. Сейчас он, в угоду Базанову, может ликвидировать Пушкинскую комиссию, не подозревая того, что в Москве давно уже ищут нового директора для ИРЛИ.

В прошлом месяце искали нового ответственного редактора для «Лит⟨ературного⟩ наследства» (Сучков отказался принять дела Главной редакции). И многие наши общие друзья и знакомые были в большой тревоге, что ответственным редактором «Лит⟨ературного⟩ наследства» будет назначен Михаил Павлович. Эта опасность предотвращена, так как в противном случае с 1 января «Лит⟨ературное⟩ наследство» уже не существовало бы.

Будьте здоровы и благополучны, дорогой друг.

Ваш Юл. Оксман.

1 мая 1968 ⟨года⟩

Весь текст рукой А. Л. Гришунина, только подпись — автограф.

[1] Последней ежегодной Пушкинской конференцией была девятнадцатая (1967); далее конференции проводились раз в два года. Еще в 1966 году, по свидетельству Оксмана в письме

к Т. М. Акимовой и В. П. Воробьеву от 6 июля т. г., В. Г. Базанов предлагал вообще отказаться от конференций (Ю. Г. Оксман в Саратове: [Сб.]. С. 105—106).

[2] Федосова Ирина Андреевна (1831—1899) — сказительница (о ней — статья К. В. Чистова: КЛЭ. Т. 7. 1972. Стб. 917).

[3] Фольклорный персонаж (лихой разбойник); см. также пьесы А. В. Амфитеатрова «Василий Буслаев», Я. В. Апушкина «Василий Буслаев, богатырь Новгородский», поэму С. С. Наровчатова «Василий Буслаев», пьесу для чтения Е. М. Тагер «Васька Буслаев».

[4] «Ехал из ярмарки ухарь-купец...» (И. С. Никитин, 1858).

[5] Алексеев.

[6] Ср. п. 164, 214.

[7] О собрании сочинений А. Н. Веселовского см. п. 124 и прим. 1 к нему.

[8] Об этом задумывавшемся издании см. в прим. 6 к п. 116; ср. п. 183 и прим. 5 к нему.

[9] Издание, сопутствующее Полному собранию сочинений и писем. Остановилось на пятом томе (1969). Возобновлено тематическими сборниками («Тургенев и его современники», 1977).

262

М. С. Альтману

14/V 1968 г⟨ода⟩

Антонина Петровна и я сердечно поздравляем Любовь Григорьевну и Вас со всеми майскими праздниками до дня Победы включительно. Будем очень рады видеть Вас у себя, когда будете в Москве. Надеюсь встретить Вас и в Горьком, если здоровье не помешает мне побывать на Горьковской сессии.[1]

Чувствую себя прескверно, но, как Вы правильно заметили, вспомнив Пушкина: «Сердце будущим живет».[2] «Быть так!» Постоянно слышим о Вас от В. В. Пугачева.

Будьте здоровы и благополучны.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

Только подпись — автограф.

[1] Столетие со дня рождения. См. след. письмо.

[2] Неточная цитата из стихотворения 1825 года «Если жизнь тебя обманет...»

263

И. Г. Ямпольскому

20 мая 1968 г⟨ода⟩

Дорогой Исаак Григорьевич,

сердечно благодарю Вас за «Поэтов 1860-х годов».[1] Книжку эту рассматриваю как замечательный первомайский подарок. Очень содержательна и свежа Ваша вступительная статья, безукоризненны биографические справки, хорошо продумано все построение книги. Правда, я не нашел в ней понадобившихся мне данных об Иванове-Классике (в связи с «Происшествием» Гаршина),[2] но, подумав, решил, что Вы поступили совершенно правильно, не включив в сборник вирши этого бездарного метромана.[3]

Я по-прежнему чувствую себя плохо и письма вынужден диктовать. 20-го мая должен был выехать в Горький, но Антонина Петровна не пустила. Надеюсь все же осуществить свое намерение в первых числах июня (юбилейная конференция, посвященная А. М. Горькому).

На днях видел Сол⟨омона⟩ Абр⟨амовича⟩,[4] а вчера Бор⟨иса⟩ Яковл⟨евича⟩.[5] Сердечный привет Евгении Наумовне и Вам от нас обоих.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

Запись рукой неустановленного лица; четкая подпись — автограф.

Той же рукой новый адрес на конверте: Ленинград, 46, ул. Бр. Васильевых, д. 8, кв. 2. Исааку Григорьевичу Ямпольскому. Адрес отправителя — без указания фамилии.

[1] Том в Малой серии Библиотеки поэта (Л., 1968. 763 с.). Местонахождение экземпляра с инскриптом неизвестно.

[2] Иванов Алексей Федорович (псевд. Классик, 1841—1894) — поэт, прозаик, переводчик. Ю. Г. Оксман установил его «незримое присутствие» в рассказе (1878) Всеволода Михайловича Гаршина (1855—1888), где фигурирует поэт этого типа.

[3] Справку о Классике и подборку его «вирш» Ю. Г. Оксман, видимо, обнаружил в книге того же года, изданной в Большой серии («Поэты-демократы 1870—1880-х годов»; изд. подгот. Б. Л. Бессонов).

[4] Рейсера.

[5] Бухштаба.

264

П. Н. Беркову

Дорогой Павел Наумович,

Ваше письмо я привез из Москвы, куда ездил по разным делам из Болшева, где мы сейчас живем и будем жить, вероятно, до конца августа. На лоне природы чувствуем мы себя много лучше, чем в городе, но до полного «счастья» еще далеко. Операция предполагается в начале сентября, а до этих пор ни о какой работе не может быть и речи.

Рассчитывал встретиться с Вами в июне, но, к сожалению, Вы не приехали. Виделся я только с В. М. Жирмунским и Д. С. Лихачевым. Всем трем нам было очень грустно, так как все мы больны и невольно больше говорили о прошлом, чем о настоящем. От них я узнал кое о чем, что сейчас занимало ОЛЯ. Я имею в виду кандидатуры на свободные академические кресла. Разумеется, имя Леонида Ивановича Тимофеева, названное академиком-секретарем,[1] представляется мне самым немотивированным. Имя же Базанова выкликается только на вечеринках у Архипова и Овчаренко.

Не знаю, собираетесь ли вы в Прагу, равно как и о других Ваших планах на ближайшие месяцы.[2]

Сегодня получил «Лекции по древней литературе» И. П. Еремина.[3] Перелистал книгу с большим интересом. Надеюсь, что в ближайшее время Антонина Петровна прочтет мне эти лекции полностью. Рад буду получить и обещанный Вами «Библиографический указатель» по XVIII веку.[4]

Мое письмо получилось очень коротким, так как никак не могу привыкнуть диктовать свои письма. Разумеется, предпочел бы поговорить с Вами.

Антонина Петровна и я сердечно благодарим Софью Михайловну и Вас за память и дружеские приветы.

Будьте здоровы и счастливы, насколько это еще возможно в подлунном мире[5] (простите за невольный плагиат — строки о подлунном мире на этот раз заимствованы из монографии М. П. Алексеева;[6] кстати, он почему-то не приехал в Москву на первое заседание Тургеневского юбилейного комитета,[7] в котором его успешно заменил С. А. Макашин).

Слыхал, что была попытка обновить состав редакции «Известий ОЛЯ», но из-за нерешительности девственного М. Б. Храпченко не удалась.

Очень был бы Вам благодарен, если б Вы поскорее сообщили мне имя и отчество вдовы И. П. Еремина и имя его дочки, о которой слышал много хорошего.[8]

Всегда Ваш Юл. Оксман.

5 июля 1968 ⟨года⟩

Рукой А. Л. Гришунина, только подпись — автограф.

[1] М. Б. Храпченко. О Л. И. Тимофееве см. прим. 8 к п. 96.

[2] Речь идет о VI съезде славистов, на который П. Н. Берков действительно был командирован и во время которого был награжден Чехословацкой АН Серебряной медалью им. Йозефа Добровского «За развитие общественных наук».

[3] *Еремин И. П.* Лекции по древней русской литературе. Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. 208 с. Местонахождение экземпляра с дарственной надписью вдовы и дочери неизвестно. Сигнальный экземпляр поступил в Книжную палату 14 августа.

[4] История русской литературы XVIII века: Библиогр. указ. / Сост. В. П. Степанов и Ю. В. Стенник; Под ред., с доп. и предисл. чл.-корр. АН СССР П. Н. Беркова. Л., 1968. 500 с. (ИРЛИ). Местонахождение экземпляра с инскриптом редактора и автографами составителей неизвестно.

[5] Пересказ финала пушкинского «Памятника» («И *счастлив буду я*, доколь *в подлунном мире...*»).

[6] *Алексеев М. П.* Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...»: Проблемы его изучения. Л., 1967. 272 с., илл. (Пушкинская комиссия). Книга вышла в июне 1967 года и, скорее всего, была получена Ю. Г. Оксманом в дар от автора. Местонахождение экземпляра неизвестно.

[7] Празднование 150-летия со дня рождения (ноябрь 1968 года).

[8] См. благодарственное письмо (№ 266).

265

Ему же

Дорогой Павел Наумович,

большое спасибо за письмо, за книгу[1] и справку о вдове и дочери покойного Игоря Петровича Еремина.[2]

Мы решили остаться в Болшеве до середины августа, а потом буду готовиться к глазной больнице.

Библиографический указатель по XVIII веку производит сильнейшее впечатление, особенно если сравнить его с другими историографическими и библиографическими изданиями последних лет.[3] Некоторое время я не хотел верить своим глазам, пересматривая юбилейную литературу, претендующую на подведение итогов по советскому периоду нашего литературоведения. Особенно возмутительны фальсификаты с маркой Академии наук, пускаемые в свет Пушкинским Домом, ИМЛИ, Временником Пушкинской комиссии и другими псевдонаучными коллективами.[4] На очереди еще две тургеневские библиографии.[5] Лучше других библиография Н. К. Пиксанова, но в ней в ряду учеников юбиляра назван Е. И. Покусаев, принадлежащий к числу наиболее известных учеников А. П. Скафтымова.[6] Не знаю, на каком основании маститый А. И. Ревякин[7] не то произвел Е. И. Покусаева в следующий чин или разжаловал из иереев в сержанты.[8]

Историографией и биобиблиографией сейчас занимаются решительно все, до Никиты Пруцкова и Симеона Машинского. Я уже не говорю о Благом и Базанове. Не знаю, обратили ли Вы внимание на литературные памфлеты, включаемые в литературоведческие статьи. Такова, например, блистательная характеристика Н. В. Измайлова в исследовании И. Андроникова о стихах «Mon dieu», приписываемых Лермонтову, в одном из последних номеров «Литгазеты» (атрибуция, на мой взгляд, убедительная).[9]

Вы оказались правы, подозревая, что поездка наших филологов в Прагу едва ли состоится, точнее, поедут не филологи, а Щербины и Марковы в штатском.[10] Не скрою от Вас, что я бы поехал охотно, но не имею никаких оснований рассчитывать на то, что меня отпустят (имею в виду согласие Антонины Петровны). На днях буду писать Ереминым, хочу горячо поблагодарить за лекции Игоря Петровича по древней литературе. Как хорошо, что сохранились их записи; так редко приходит-

ся слышать живой голос историка и литературоведа, свободный от косности и рутины.

Не могу простить себе, что не застенографировал своих спецкурсов хотя бы в Саратове или в Горьком. (Последний свой спецкурс я посвятил ОПОЯЗу и литературной борьбе 10-х—20-х гг.).[11]

Будьте здоровы и благополучны, дорогие друзья. Очень хотелось бы повидаться с Вами в этом году. Вспоминаю невольно поговорку, записанную Пушкиным: «Не откладывай до ужина то, что сможешь съесть за обедом».[12]

Сердечный привет дорогой Софье Михайловне и двум следующим поколениям Берковых от Антонины Петровны и меня.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

Болшево, Свободная ул., 12
30 июля
1968 ⟨года⟩

Рукой А. Л. Гришунина, только подпись — автограф.

[1] См. предыдущее письмо: «Рад буду получить и обещанный Вами „Библиографический указатель"».

[2] См. следующее письмо.

[3] Представлены в кн.: Советское литературоведение и критика: Рус. сов. лит-ра: Общ. работы: Книги и стат. 1963—1967 гг. Библиогр. указ. М., 1970. 180 с.

[4] Советское литературоведение за 50 лет: Сб. стат. / Под ред. В. И. Кулешова. М.: Изд-во МГУ, 1967. 554 с. Вышел в январе 1968 года; Советское литературоведение за 50 лет / Гл. ред. В. Г. Базанов. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1968. 429 с. (ИРЛИ, ИМЛИ). В этой книге участвовал П. Н. Берков. Вышла в феврале 1968 года.

[5] Известна одна: Библиография литературы о И. С. Тургеневе: 1918—1967 / Отв. ред. Л. Н. Назарова и А. Д. Алексеев. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1970. 188 с. Что имеется в виду под «второй» — неизвестно.

[6] Николай Кирьякович Пиксанов / Вступ. стат. А. И. Ревякина; Библиогр. сост. Р. И. Кузьменко. М.: Наука, 1968. 115 с., 1 л. портр. (Мат-лы к биобиблиогр. ученых СССР. Сер. лит. и яз. Вып. 8). В Книжную палату поступила 14 ноября 1968 года.

[7] Ревякин Александр Иванович (1900—1983) — историк русской литературы; писал об А. Н. Островском, А. С. Грибоедове, Пушкине, А. С. Новикове-Прибое, С. А. Есенине и др.; с 1932 — профессор МГПИ им. В. П. Потемкина; с 1962 года — заслуженный деятель науки РСФСР.

[8] О том же подробнее в письме к Т. М. Акимовой и В. П. Воробьеву от 27 декабря 1968 года (Ю. Г. Оксман в Саратове: [Сб.]. С. 107—108).

[9] *Андроников Ираклий.* Заколдованное стихотворение // Лит. газ. 1968. 17 июля (с. 8), 24 июля (с. 7). О поисках стихотворения «Краса природы! Совершенство...» См. о нем в статье «Приписываемое Лермонтову» (Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 446): «Установление автора этого стих⟨отворения⟩ — одна из задач лермонтоведов».

[10] Имеется в виду славист, академик (1984) Дмитрий Федорович Марков (1913—1990). В 1960-х «искусствоведами в штатском» называли сотрудников КГБ (в связи с «бульдозерной выставкой» в Москве, неофициальной выставкой абстрактного искусства в Эрмитаже (когда по записям в Книге отзывов увольняли с работы), и пр.).

[11] См. п. 255.

[12] См.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 12. С. 180.

266

Б. Г. и В. И. Ереминым

4.IX.1968 г⟨ода⟩

Дорогие Берта Григорьевна и Валерия Игоревна,

приношу глубокую благодарность за очень ценный для меня подарок — «Лекции» Игоря Петровича по древней русской литературе. Мне прочли эту книгу в

Болшеве, где, помнится, я впервые после многих лет встретился в 1948 г. с Игорем Петровичем и познакомился с Вами, милая Берта Григорьевна.

Курс лекций Игоря Петровича не мог не поразить меня оригинальностью своего построения, свежестью материала и наблюдений, сжатостью и пластичностью изложения. Не сомневаюсь, что он не раз еще будет Вами переиздан.[1] Буду горячо рекомендовать эту книгу своим аспирантам как основной труд по древней русской литературе, необходимой для культ-минимума каждому молодому филологу.

С января этого года я больше болею, чем работаю. Живу в ожидании операции глаза, а пока что даже письма вынужден диктовать.

От всей души желаю Вам обеим здоровья и всяческого благополучия. Если Валерии Игоревне когда-нибудь понадобится моя помощь, рад буду быть ей полезным.[2]

С искренним приветом

Юл. Оксман.

На конверте: Берте Григорьевне Ереминой.
Текст рукой А. П. Оксман; подпись — автограф.

[1] См.: *Еремин И. П.* Лекции и статьи по истории древней русской литературы. 2-е изд., доп. Л.: ЛГУ, 1987.
[2] Дочь И. П. и Б. Г. Ереминых (род. 1938), фольклорист, доктор филол. наук, сотрудник Пушкинского Дома.

267

И. Г. Ямпольскому

23.X.1968 г⟨ода⟩

Дорогой Исаак Григорьевич,

благодарю сердечно за присланный Вами оттиск из «Учен⟨ых⟩ записок ЛГУ».[1] Ваша статья хотя и написана, как Вы отмечаете, еще до войны, очень занимательна и свежа. Я внимательно слежу за литературой об А. К. Толстом, хотя сам не написал о нем ни строчки, да, видно, уже никогда и не напишу. Рассчитывал встретиться с Вами в Москве, но, кажется, Вы так и не были на этот раз в Малеевке. А мы хотели привезти Вас к себе в Болшево, где мы провели часть лета в очень хороших условиях. На этих днях у нас были из ленинградцев Бялые,[2] а перед ними Д. С. Лихачев. Ощущение такое, что я сам побывал на берегах Невы. Чувствую себя физически несколько лучше, чем обычно, готовлюсь к выступлению на защите диссертации в Полиграф⟨ическом⟩ ин⟨ститу⟩те и редактирую «Словарь русских писателей», сооруженный изд⟨ательст⟩вом «Просвещение».[3]

Всегда Ваш Юл. Оксман.

Большой привет Евгении Наумовне и Вам от нас обоих.

Запись под диктовку, подпись — автограф.
На лицевой стороне открытки: Ленинград, 46, Ул. Бр. Васильевых, 8, кв. 2.
Адрес отправителя — без указания фамилии.

[1] Об этой работе см. п. 226 и прим. 4 к нему. Местонахождение оттиска с дарственной неизвестно.
[2] Т. е. Г. А. Бялый с женой, биологом Ириной Григорьевной Резниченко (урожд. Шерман; род. 1927).
[3] См.: Русские писатели: Биобиблиогр. словарь / Сост. А. П. Спасибенко, Н. М. Гайденков. Редкол.: Д. С. Лихачев и др. М., 1971. 728 с. Редактор П. Ф. Рощин. «В подготовке словаря к изданию деятельное участие приняли доктор филологических наук В. В. Путинцев и док-

тор филологических наук В. Д. Кузьмина» (от редакции, с. 6). В Списке *отсутствует* (с. 338). Оценку «Словаря» см. в письме И. В. Пороху от 6 марта 1969 года (Ю. Г. Оксман в Саратове: [Сб.]. С. 197).

268

М. С. Альтману

20/XI 1968 г⟨ода⟩

Дорогой Моисей Семенович,

письмо Ваше от 30 окт⟨ября⟩ с⟨его⟩ г⟨ода⟩ я принял как поздравительное, т. к. получил его к одной из своих юбилейных дат: 5 ноября исполнилось ровно 22 года со дня моего возвращения из Колымы, точнее со дня моего освобождения. Не знаю, хорошо ли я использовал предоставленную мне возможность наверстать хоть сотую долю того, что было упущено за десять лет. Думается, что плохо, но на бога я привык не роптать, не ропщу и сейчас, хотя этот год был одним из самых худших в моей жизни. С глазами без перемен, операция откладывается с месяца на месяц, да и не верю я в нее, а другие мои недуги меня меньше огорчают хотя бы потому, что я к ним привык.

В Москве давно установилась зима, а потому живем почти без воздуха, так как голова моя плохо реагирует на холод (спазмы сосудов головного мозга). Работаю утром с секретаршей, а вторую половину дня с Ант⟨ониной⟩ Пет⟨ровной⟩. Не бываю ни в театре, ни в кино, ни в библиотеках.

Очень хочется в Ниццу или на Азорские острова. Вы спрашиваете о «Прометее»; он превратился в ежегодник, но с номера пятого будет выходить в свет, как мне кажется, не чаще одного раза в два года. Юр⟨ий⟩ Никол⟨аевич⟩[1] явно не в силах что-либо изменить в горькой участи этого издания, хотя материала накоплено, по словам главного редактора, на 13 лет, то бишь книг (характерная описка!).[2] Горьковский Пушкинский сборник давно уже повис в воздухе, не имея никаких шансов на сдачу в набор;[3] еще в августе его можно было спасти, передав редакцию Краснову,[4] но В⟨ладимир⟩ В⟨ладимирович⟩[5] ждал, чудак, и, разумеется, не дождался. Недавно, проездом в Саратов, он был в Москве, обмен горьковской квартиры завершается, но мамаша еще в Горьком, вместе с обстановкой. Ленинградские друзья и знакомые навещают нас довольно часто, особенно в связи с разными академическими выборами и юбилеями. Все настроены мрачновато из-за «Биб⟨лиоте⟩ки поэта», мне же жаль только Эдкинда.[6]

Спасибо большое за Ваши дружеские чувства, в которых, впрочем, никогда не сомневался. Сердечный привет Любовь Григорьевне и Вам от нас обоих.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

Текст рукой неустановленного лица; подпись — автограф.

[1] Коротков, историк русской литературы и журналистики, автор книги «Писарев» (М., 1976; ЖЗЛ), инициатор, составитель и главный редактор альманаха.

[2] Диссидентский каламбур.

[3] Сборник был задуман в 1966 году; см. письмо к Т. М. Акимовой и В. П. Воробьеву от 5 июля т. г. (Ю. Г. Оксман в Саратове: [Сб.]. С. 105).

[4] Краснов Георгий Васильевич (р. 1921) — историк русской литературы; профессор Коломенского пединститута; ранее — профессор Горьковского ун-та.

[5] Пугачев. Издание не состоялось (см. п. 276).

[6] Эткинд Ефим Григорьевич (1918—1999) — романо-германист, стиховед, переводчик. Попал в опалу параллельно с Ю. Г. Оксманом, на похоронах которого выступил с обличительной речью. История с двухтомником «Мастера русского стихотворного перевода» почти стенографически изложена им в «Записках незаговорщика» (СПб.: Акад. проект, 2001. С. 117—167); в переписке с Ю. Г. Оксманом не состоял.

269

П. Н. Беркову

26/XII⟨19⟩68 ⟨года⟩

Дорогие Софья Михайловна и Павел Наумович!

Антонина Петровна и я сердечно поздравляем Вас с наступающим Новым годом. Желаем вам и двум следующим поколениям Берковых здоровья, всех видов благополучия, новых больших успехов и достижений.

20-го декабря я собирался быть в Ленинграде, куда меня пригласили для участия в вечере памяти Ю. Н. Тынянова,[1] но за два дня до отъезда я почувствовал себя так плохо, что Антонина Петровна и врачи аннулировали эту поездку. Сейчас чувствую себя несколько лучше, но диктовать нормальное письмо еще не в состоянии. Напишу вам подробнее уже в Новом году. Очень грустно, что Пушкинским Домом по-прежнему правит пьяный бандит Базанов, с которым не может справиться лопоухий бездельник М. Б. Храпченко. Почему-то последний не хочет допустить возвращения Бушмина, которого я, например, считал бы подходящим директором (по нынешним временам).[2]

Будьте здоровы и благополучны.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

Запись рукой неустановленного лица, последняя строчка — автограф.
На обороте цветной фотооткрытки с изображением Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.

[1] Заседанием в Доме литераторов им. В. В. Маяковского было отмечено 25-летие со дня смерти (20 декабря 1943 года).

[2] В. Г. Базанов возглавлял Институт до 1975 года; А. С. Бушмин — в 1955—1965 и 1977—1983 годах. О Бушмине см. прим. 2 к п. 38; оценки его личности и деятельности — п. 48, 62 (и прим. 10 к нему), 76, 80 (и прим. 6 к нему), 167, 185 (прим. 9 к нему), 211.

270

Д. Е. Максимову

8/I⟨19⟩69⟨года⟩

Дорогой Дмитрий Евгеньевич!

Второй год начинаю привыкать к своему болезненному состоянию и непривычному способу переписки. Оказывается, что диктовать письма гораздо труднее, чем их писать. Гора неотвеченных писем тает очень медленно, и я несколько дней был даже уверен, что своевременно поздравил Вас с наступающим Новым годом. Вчера же вечером, разбирая новогоднюю корреспонденцию, я обнаружил Ваше письмо, давно полученное и, как уверяет Ирена, «не отоваренное». Вероятно, она права, и Вы не рискуете получить два одинаковых моих послания. Впрочем, вполне одинаковыми эти письма не могли быть; хотя бы в каких-ниб⟨удь⟩ деталях они отличались бы.

Прежде всего мне хочется Вас поблагодарить за те дружеские строки, которые Вы уделили мне. Спасибо за память. Я тоже часто думаю о Вас, когда мысленно перебираю своих ленинградских друзей. Их с каждым годом остается все меньше и меньше. Естественная убыль не восполняется. Но есть ведь еще и убыль не очень естественная — когда отваливаются от тонущего корабля паразитические элементы типа, напр⟨имер⟩, В. Н. Орлова. Кстати, он наживает капитал на общей беде,

принося в жертву аппарат «Библиотеки поэта» и ее планы в обмен на новые обязательства перед Лесючевским.[1] Старый способ: и капитал нажить, и даже «невинность» соблюсти.[2] Он еще ухитряется при этом слезу пролить, обманывая наивных людей вроде В. М. Жирмунского и других.[3]

Очень мне хочется побывать в этом году весною в Ленинграде. Попутно сделать доклад о Ю. Н. Тынянове в Царском Селе, в Пушкинском музее.[4] Рад был бы встретиться в этот приезд и с Вами. Но м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩ Вы приедете раньше в Москву?

Будьте здоровы и благополучны.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

Текст рукой неустановленного лица (Ирены?); дата, последняя фраза, подпись — автограф.

[1] См. п. 268. С 1958 года Н. В. Лесючевский возглавлял Правление издательства «Советский писатель», в состав которого входила редакция «Библиотеки поэта».

[2] Точнее — «Капитал приобрести и невинность соблюсти» (выражение М. Е. Салтыкова-Щедрина; «Письма к тетеньке», «Убежище Монрепо» и др.).

[3] Имеется в виду издание «Стихотворений и поэм» Анны Ахматовой (см. п. 260).

[4] См. публикацию М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддеса (Тыняновский сборник: Первые Тыняновские чтения. Рига, 1984. С. 91—96, 102—103; в составе общей статьи об Ю. Г. Оксмане здесь же — с. 81—83, 90 — опубликована «Автобиография»).

271

И. Г. Ямпольскому

11/I ⟨19⟩69 ⟨года⟩

Дорогой Исаак Григорьевич!

С середины декабря я болею, и поэтому Новый год на этот раз мы не встретили до сих пор. Перенесли встречу на 13-ое янв⟨аря⟩.[1] Не знаю, есть ли у Вас серьезные основания жаловаться на год ушедший, но так или иначе от всей души желаю Вам и Евгении Наумовне, чтобы 1969 г⟨од⟩ порадовал Вас добрым здоровьем, серьезными успехами, исполнением всех желаний.

Антонина Петровна приветствует Вас обоих.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

На открытке «Сирень».
Записано под диктовку, дата и последняя строчка — автограф.

[1] Т. е. «старый Новый год».

272

В. М. Жирмунскому

Дорогие Нина Александровна и Виктор Максимович,

Антонина Петровна и я сердечно поздравляем Вас с днем 1 Мая. Желаю Вам много-много вёсен и еще многих-многих лет, а зимы пройдут уже без всякого зова. Ну и бог с ними.

Письмо диктую в Болшеве, куда мы выехали в этом году слишком уж рано. Весна явно в Москве запаздывает — сыро, дождливо, неуютно. Решили сегодня же возвратиться в город до «лучших дней».

До сих пор не могу оправиться от вести о смерти И. Н. Голенищева-Кутузова,[1] хотя давно он был почти безнадежен, а все-таки тлелась надежда на то, что его выходят.

Был Илья Николаевич большим ученым, в своем роде единственным!..

Будьте здоровы, дорогие друзья, и благополучны!

Всегда Ваш Юл. Оксман.

29/IV ⟨19⟩69 ⟨года⟩

Текст рукой неустановленного лица. Два последних абзаца и подпись — автограф.

[1] Голенищев-Кутузов Илья Николаевич (род. 1904) — филолог, переводчик. В 1921—1955 годах находился в эмиграции. После возвращения работал в ИМЛИ, исследовал взаимосвязи литератур Запада и Востока. Скончался 26 апреля (см.: Литературные памятники: 1948—1998: Аннот. каталог / Изд. подгот. Т. Г. Анохина, И. Г. Птушкина и др. М., 1998. С. 316).

273

М. С. Альтману

⟨30/IV 1969 года⟩

Дорогие Любовь Григорьевна и Моисей Семенович,

по случаю наступающего дня 1 мая Антонина Петровна и я от всей души желаем вам еще много-много счастливых весен и лет, будьте здоровы и благополучны.

Мы же перебрались на дачу, где пока что весьма неуютно.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

Приписка и подпись — автограф.

Датируется по тексту и штемпелю (1.05.69) на обороте цветной фотооткрытки с изображением памятника М. Горькому в Москве.

274

Д. Е. Максимову

Дорогой Дмитрий Евгеньевич,

Только сейчас дочитал Вашу книжку о Брюсове.[1] Лет 12 назад (а может быть, и больше?) я благодарил Вас за первую редакцию этой работы — в сборнике стихотворений Брюсова.[2] Сейчас работа эта очень обогатилась свежими наблюдениями и большим конкретным материалом, к тому же очень тонко оформленным. Особенно большое впечатление произвели на меня страницы книги, посвященные последним годам жизни Брюсова. (Впервые трагедия его «поэзии и позиции» раскрыта была Вами с такой наглядностью и остротою!) Лично мне хотелось бы поспорить с Вами только по поводу роли Брюсова в «Русской мысли» Струве (Вы несколько недооцениваете воздействие «Патриотики» Струве на Брюсова).[3]

Может быть, недостаточно места уделено и Брюсову — литературному критику и теоретику, автору сборника «Далекие и близкие», оказавшему огромное влияние на все мое поколение литературоведов.[4] Большое влияние оказал Брюсов и на литературное воспитание Ю. Н. Тынянова.

Одновременно с Вашей книжкой читал сборник, посвященный 90-летию Н. К. Пиксанова.[5] Сборник очень пестрый и по своему содержанию, и по именам участников. Но в общем и целом это далеко не парад литературоведов, а, скорее, очередная эскапада Пруцкова, Приймы, Григорьяна и их сообщников, подлежа-

щих не общественному, а скорее уголовному суду. Нисколько не удивился отсутствию в этом сборище Д. С. Лихачева, В. М. Жирмунского, Г. А. Бялого, Вас и некоторых других деятелей нашего литературного фронта.[6]

Письмо это вынужден диктовать, так как продолжаю болеть и, между нами говоря, не очень рассчитываю выздороветь. Лета в этом году ни в Москве, ни под Москвою не было, так что «отдыхать» рассчитываю не раньше февраля-марта где-нибудь в Крыму или на Кавказе. Сейчас занят делами «Литературных памятников». С нетерпением ждем Вашей статьи о «Петербурге» Белого.[7] Не придумаете ли чего-нибудь для нашей серии? У меня мелькает мысль об «Огненном ангеле», который лучше Вас никто бы не мог сделать для «Лит⟨ературных⟩ памятников». Но, может быть, это несколько экстравагантно? Может быть, придет Вам в голову что-нибудь другое.[8] Надеюсь, что чувствуете Вы себя лучше, чем летом. Во всяком случае от всей души желаю Вам здоровья и всех видов благополучия.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

25/X ⟨19⟩69 ⟨года⟩
Москва

Текст письма и адрес на конверте рукой А. Л. Гришунина; приписка, подпись, дата и место написания — автограф.

[1] См.: *Максимов Д. Е.* Брюсов: Поэзия и позиция. Л., 1969. 240 с., портр.

[2] «Первой редакцией» была вступительная статья в сборнике Малой серии (1952), но речь идет явно о статье в однотомнике Большой серии; см. письмо от 25 июня 1962 года (№ 170).

[3] Имеется в виду Петр Бернгардович Струве (1870—1944) — философ, публицист, лидер кадетской партии, отец Глеба Струве; после 1905 года — соредактор журнала (в 1920—1930-х издавал его в Софии, Праге, Париже, Белграде). Литературный отдел в 1910—1912 годах возглавлял В. Я. Брюсов.

[4] Сборник журнальных и газетных публикаций с подзаголовком «Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней» (М.,1912).

[5] От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона». Л., 1969. 476 с., портр. (Ин-т рус. лит.). Об эволюции отношений Н. К. Пиксанова с его учеником (в Петербургском университете) см.: *Азадовский М. К., Оксман Ю. Г.* Переписка. С. 43.

[6] Ю. Г. Оксман не «заметил» (т. е. не одобрил) участия в сборнике М. П. Алексеева, В. А. Жданова, Е. И. Покусаева, В. В. Виноградова, В. И. Малышева, П. Н. Беркова, В. А. Мануйлова и др.

[7] Д. Е. Максимов передал подготовку тома Леониду Константиновичу Долгополову (1928—1995). По свидетельству В. Э. Молодякова, в его архиве, предполагаемом к передаче в Отдел рукописей Публичной библиотеки, находится неоконченная рукопись «Как мы издавали „Петербург"» (примечания составили тогдашние студенты 5-го курса филфака ЛГУ С. С. Гречишкин и А. В. Лавров, ныне чл.-корр. РАН). См.: Russian Studies. 2000. № 3. С. 316. Здесь же (с. 317—322) воспоминания Л. К. Долгополова о его учителе по Саратовскому университету Ю. Г. Оксмане, содержащие очень точное описание его жизненного пути и глубокий анализ личности человека и ученого.

[8] Издание романа В. Я. Брюсова (1907) не состоялось и не предполагается (сообщено Борисом Федоровичем Егоровым). В издании серии Д. Е. Максимов не участвовал.

275

Б. Я. Бухштабу

13/XII 1969 ⟨года⟩

Дорогой Борис Яковлевич,

приношу глубокую Вам благодарность за сборник стихов Добролюбова в серии «Библи⟨отека⟩ поэта».[1] Почти одновременно прочел и последнюю вашу работу «О структуре русского классического стиха», которая произвела на меня очень большое впечатление своей четкостью и глубиною.[2] Это большая веха нашего стиховедения, от всей души поздравляю Вас с блестящим дебютом в новой для Вас области нашего литературоведения.[3]

Диктую эти строки Антонине Петровне в академической больнице, куда перевезли меня после нескольких месяцев болезни, уложившей меня в постель еще осенью. К обострившемуся диабету прибавилась гипертония, давшая осложнение на сердце, а так как первые месяцы 1969-го года я болел тяжелой формой гонконгского гриппа, то нетрудно представить себе особенности моего нынешнего состояния. Работал в течение последних двух лет очень мало, но все же в светлые промежутки между разными недугами кое-что пытался делать.[4] Недели три назад подписал к печати том статей Добролюбова в серии «Лит⟨ературные⟩ памятники».[5] Первый вариант этого издания был сверстан ровно пять лет тому назад,[6] затем матрицирован, а года два назад уничтожен в типографии за истечением сроков хранения матриц. В начале текущего года по особому ходатайству Президиума А⟨кадемии⟩ н⟨аук⟩ СССР книга была реабилитирована (не Добролюбов, а я). Мне очень досадно, что я не успел внести Ваше последнее издание стихотв⟨орений⟩ Добролюбова в свой критический обзор основных изданий Добролюбова за сто лет.

Сейчас готовлю двухтомное издание «Записок охотника» для серии «Лит⟨ературные⟩ памятн⟨ики⟩».[7] Очень мне хотелось бы, чтобы Вы сделали для этой серии том «Сказок» Щедрина. Комментарий — обычный, а статья должна была бы дать общую характеристику жанра этого рода сказок, их русские и зарубежные истоки и краткие сведения о судьбе щедринских сказок в позднейшей русской лит⟨ературе⟩. В особом отделе следовало бы дать подборку «Сказки Щедрина в откликах современников и в позднейшей критике и публицистике». Лучше Вас такой книжки никто не сделает, а я взялся бы представлять Ваши интересы в редколлегии серии и издательстве «Наука».[8]

Сердечный привет Галине Григорьевне и Вам от нас обоих.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

Текст рукой А. П. Оксман; подпись — автограф.

[1] *Добролюбов Н. А.* Полн. собр. стихотв. Л., 1969. 416 с.

[2] В кн.: Труды по знаковым системам. 1969. Т. 4. С. 385—408 (Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 36). Эту и следующие статьи Б. Я. Бухштаба-стиховеда см.: *Бухштаб Б. Я.* Фет и другие. С. 542—543.

[3] Отрицательную характеристику см.: *Эткинд Е.* Материя стиха. 2-е изд., испр. Париж, 1985. С. 153, 155—156.

[4] См.: Список, с. 338—339.

[5] *Добролюбов Н. А.* Русские классики. Избр. лит.-критич. статьи: И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский, А. Н. Островский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. С. Тургенев / Изд. подгот. Ю. Г. Оксман. М.: Наука, 1970 (Лит. памятники). В прилож. (с. 528—566): *Оксман Ю. Г.* Старые и новые издания сочинений Добролюбова. В выходных данных «Русских классиков» значится: «Сдано в набор 27/VI 1969 г. Подписано к печати 2/XII 1969 г.» Обязательный экземпляр поступил в Книжную палату 20 мая 1970 года за четыре месяца до смерти Ю. Г. Оксмана.

[6] См. п. 233.

[7] Книга вышла в 1991 году. Замысел Ю. Г. Оксмана был реализован А. Л. Гришуниным (при участии В. А. Громова, Н. М. Чернова и др.), не назвавшим имени своего предшественника.

[8] Ср. том, выпущенный В. Н. Баскаковым и А. С. Бушминым (1988).

276

М. С. Альтману

Дорогие Любовь Григорьевна и Моисей Семенович,

Ант⟨онина⟩ Петр⟨овна⟩ и я сердечно благодарим за дружеские пожелания. Весна в самом деле началась и в Москве, хотя с большим опозданием. Ваше письмо нас очень порадовало и развлекло, эпиграммы свежи, остры и даже глубокомысленны.[1] Долгое путешествие Вас, видимо, нисколько не утомило.

Мы живем без перемен, правда, в течение последних дней сильно ухудшилось состояние моих глаз. Я их переутомил усиленным чтением корректур «Преступления и наказания», а перед тем Добролюбова,[2] вот сейчас и расплачиваюсь за свое легкомыслие. В сборник в честь Н. Ф. Бельчикова я отдал очень старую свою рукопись, посвященную наброску Пушкина «Москва была освобождена в 1813 году».[3] Она предназначалась для горьковского сборника, в котором и Вы должны были участвовать. Но сборник этот не состоялся.[4] Не знаю, как распорядились Вы своими материалами. Не знаю и того, каковы шансы издания сборника Ваших статей о Достоевском.[5]

В конце мая предполагаем выехать на дачу в Болшево, где были и прошлое лето.

Будьте здоровы и благополучны.

Всегда Ваш Юл. Оксман.

4/V ⟨19⟩70 ⟨года⟩

Подпись и дата — автограф.

[1] См.: Озорные стихи. Автограф в тетради. 1953—1976 гг. (РНБ. Ф. 1440. № 57; за справку сердечно благодарю сотрудников Публичной библиотеки Л. С. Георгиеву и Е. С. Павлову). Часть опубликована В. А. Дымшицем в кн.: *Альтман М. С.* Разговоры с Вяч. Ивановым. СПб., 1995. С. 333—337.

[2] Т. е. книг в серии «Литературные памятники». Ю. Г. Оксман был (с В. В. Виноградовым) ответственным редактором издания романа Ф. М. Достоевского (сдан в набор 26 января 1970 года, подписан к печати 25 мая). См. также письмо к В. Г. Березиной 14 августа 1970 года (Невский наблюдатель. 1999. № 1(4). С. 96).

[3] См.: Заметки Пушкина об освобождении Москвы от интервентов в 1813 году // Страницы истории русской литературы: К 80-летию чл.-корр. АН СССР Н. Ф. Бельчикова. М.: Наука, 1971. С. 299—305. Эту работу оценил А. П. Могилянский (Рус. лит. 1971. № 4. С. 226).

[4] См. п. 268 (к нему же).

[5] Книга вышла через пять лет. См.: *Альтман М. С.* Достоевский: По вехам имен. Саратов: Изд-во СГУ, 1975 (на 4-й с. обл.: 1976). 280 с. Сборник завершался «Списком опубликованных статей» о Ф. М. Достоевском.

277

А. П. Оксман — В. Г. Базанову

25/X 1970 ⟨года⟩

Глубокоуважаемый Василий Григорьевич,

на Ваш и Ксении Дмитриевны[1] запрос относительно литературного архива Юлиана Григорьевича сообщаю Вам, что в данное время по состоянию здоровья разборкой архива заняться не могу, а до разборки и просмотра всего, в нем имеющегося, я ничего не решаю конкретно. В самом же общем смысле могу Вам сказать, что я хотела бы пожить еще со всем тем, чем жил Юлиан Григорьевич. Разумеется, я хорошо понимаю, что рукописи Пушкина не могут миновать Пушкинский Дом и в конечном счете туда поступят.[2]

Глубоко уважающая Вас

А. Оксман.

[1] Муратовой, в то время заведующей Рукописным отделом Пушкинского Дома. Письму предшествовала телеграмма соболезнования от дирекции.

[2] В коллекции Ю. Г. Оксмана находились: 1) XLVII строфа восьмой главы «Евгения Онегина» («А щастие было так возможно...»), 2) письмо А. Ф. Смирдину 25 окт. 1827 г.; 3) «Реестр что украдено у надворного советника Буткевича при хуторе в пригороде Заинске» (копия документа из Пугачевских дел, датируемая 29 марта 1833 — 11 ноября 1835 г.), 4) пейзаж с соснами (карандашный рисунок). Были приобретены у А. Е. Бурцева (ранее — в собрании Ф. Ф. Фидлера; № 1, 4) и П. П. Щеголева (№ 3; первовладелец — Г. А. Пушкин, находилось у П. Е. Щеголева). Движение письма не установлено. Впоследствии реликвии пополнили Пушкинский фонд ИРЛИ.

ЗАМЕТКИ

© *Н. П. Генералова*

ОБ АДРЕСАТЕ «ДВУХ ПИСЕМ О ЗНАЧЕНИИ ДРЕВНИХ ЯЗЫКОВ В НАШЕМ ВОСПИТАНИИ» А. А. ФЕТА

Статья А. А. Фета «Два письма о значении древних языков в нашем воспитании» была напечатана в двух номерах (апрельском и майском) за 1867 год журнала «Литературная библиотека», редактором которого был в то время чиновник цензурного ведомства Юрий Михайлович Богушевич (1835—1901). Своей статьей Фет включился в полемику о реальном и классическом образовании, развернувшуюся на страницах периодической печати. Наряду с другими важными вопросами (отмена крепостного права, судебная реформа и др.) реформа образования была одним из существенных элементов общей перестройки русской жизни, осуществленной в конце 1850-х и в 1860-е годы.

Первоначально планировалось поместить статью в «Отечественные записки», однако А. А. Краевский, хотя и считал, что статья написана «очень хорошо», отказался от нее, ссылаясь на разницу во взглядах журнала и автора статьи.[1] В конце концов статья была принята (при посредничестве Я. П. Полонского[2]) в «Литературную библиотеку».

Обращение к вопросу о преимуществах классического или реального образования было вызвано назначением министром народного просвещения гр. Д. А. Толстого, который в апреле 1866 года, вскоре после покушения Каракозова на жизнь Александра II, сменил на этом посту А. В. Головнина. Практически сразу после назначения Д. А. Толстой занялся реформой школьного образования, направленной на борьбу против распространения социалистических идей. Одним из способов к достижению поставленной цели стала замена «реального» образования (с преимущественным вниманием к преподаванию естественных наук) «классическим». Новая линия правительства оказалась близкой настроениям Фета, который был убежденным поборником классического образования и уже не раз заявлял о себе как о непримиримом противнике нигилизма. Приветствовалось им и ужесточение цензурных преследований, обрушившихся на печать после каракозовского выстрела. В мае 1866 года были закрыты «Современник» и «Русское слово», почти все ведущие журналы и газеты то и дело получали предостережения, даже катковской газете «Московские ведомости» не удалось избежать неприятностей.

В начале своей статьи Фет обращается к некоему собеседнику, с которым не успел довести разговор о классическом образовании до какого-либо «положительного вывода». Собеседник Фета высказал соображение, что в настоящее время лучшие умы обращаются в поисках истины не к «человеческой стороне мироздания», а к «внешней природе», т. е. ответы на главные вопросы ищут не в гуманитарной сфере, а в сфере естественных наук. Возражая ему, автор статьи дает определение понятия «наука» (в отличие от религии и искусства, которые своими путями находят истину). Ссылаясь на Гете, называвшего мир «открытой тайной» (das offene Geheimniss), Фет отдает предпочтение художникам и поэтам, которые одни способны уловить и выразить гармонию мироздания и приблизиться к познанию непостижимого. Глубокая укорененность поэтических произведений в родной почве не дает возможности заменить их переводами, вот почему изучение древних языков необходимо.

Конечно, можно предположить, что собеседник в статье Фета — лицо вымышленное (или обобщенное), а форма статьи относится к области известного литературного приема. Однако второе письмо о древних языках, где Фет рассуждает о воспитании и образовании, заставляет усомниться в этом предположении. Говоря о воспитании, Фет несколько неожиданно разражается тирадой в пользу национального его характера: «Воспитание должно с молоком матери развивать в душе каждого русского бесконечную любовь и преданность России, любовь, которая бы не покидала его во всю жизнь и не дозволила ни на минуту поколебаться в выборе между ее общим благом и его собственным. Все в жертву России: имущество, жизнь, — но не честь. Честь — достояние высшего круга понятий, понятия о человеке. ⟨...⟩ Но русский, в душе француз, англичанин или швейцарец, — явление уродливое. Он ничто —

---

[1] Об этом сообщал Фету В. П. Боткин в письме от 14 марта 1867 года (см.: *Фет А.* Мои воспоминания. 1848—1889. М., 1890. Ч. 2. С. 115).

[2] 27 апреля того же года Боткин сообщил об этом Фету (Там же. С. 119).

мертвец; океан русской жизни должен выкинуть его вон, как море выбрасывает свою мертвечину».[3] Далее Фет рассуждает о том, что «только греки ⟨...⟩ были в состоянии передавать римлянам и через них завещать позднейшим векам откровение всестороннего образования» и что «только благодаря бесценному завещанию классического мира ⟨...⟩ Европа является тем, что она есть — главою и повелительницею всего света, какою в свое время была Римская империя».[4]

Чем же был вызван приведенный пассаж о необходимости национального воспитания, если главной задачей автором статьи объявляется достижение идеала европейского всестороннего образования?

Вторая часть «Двух писем» Фета появилась в майском номере, а в середине апреля в «Русском вестнике» был напечатан новый роман всегдашнего оппонента Фета — И. С. Тургенева. Реакция Фета, как заранее предполагал автор романа, после прочтения «Дыма» была исключительно негативной, о чем свидетельствуют письмо Фета к Л. Н. Толстому от 15 (27) июня и ответ Тургенева от 26 июля (7 августа) 1867 года на не дошедшее до нас письмо Фета.

Любопытно, что в том же не дошедшем до нас письме Фет спрашивал у Тургенева, не читал ли он его статьи в «Литературной библиотеке».[5] Письмо Тургенева заканчивалось выражением уверенности, что в своей деятельности в должности мирового судьи Фет, в котором «еще столько немецкой крови», будет руководствоваться «ясным и честным здравым смыслом и положительной законностью», а «dunkele Drang с свербеньем у пупка» останется «для домашнего обиходу». «Dunkele Drang» было взято, очевидно, из неизвестного письма Фета.

Эта цитата из Пролога на небе к «Фаусту» Гете присутствует и в письме Фета к Толстому, которое сохранилось целиком.[6] Вот что писал о «Дыме» Фет Толстому: «Форма? Сам с ноготь, борода с локоть. Борода состоит из брани всего русского, в минуту, когда в России все стараются быть русскими. ⟨...⟩ В России-де все гадко и глупо и *все надо* гнуть насильно и на иностранный манер. На этом основании и дурак Литвинов *изучил* иностранную агрономию, чтобы ему, дураку, *применять* ее в своем имении. Ясно, осел. Не все ли это равно, что под русскую брыкуху запрягать паровоз?»[7] Осудив героев и автора за «эгоистическое чесание избалованного пупка», Фет сообщал Толстому, что более не пишет автору «Дыма», однако вскоре переписка возобновилась.

Тургенев помнил о том, что Фет обещал «выслать какую-то свою педагогическую статью», но, как он сообщал И. П. Борисову, вероятно рассердившись за плохие отзывы о последних стихах, раздумал.[8]

Наше предположение о том, что Тургенев был адресатом «Двух писем о значении древних языков...», подтверждается возобновлением спора на заявленную тему в переписке Фета и Тургенева спустя несколько лет. Письма Фета за этот период не сохранились, но два тургеневских письма дают возможность реконструировать их содержание. В письме Тургенева от 6 (18) сентября 1871 года неожиданно встречается следующий пассаж: «Литератор отвечает только за напечатанное слово: где и когда я *печатно* высказался против классицизма? Чем я виноват, что разные дурачки прикрываются моим именем? Я вырос на классиках и жил и умру в их лагере: но я не верю ни в какую Alleinseligmacherei (единственную дорогу к спасению. — *Н. Г.*) — даже классицизма — и потому нахожу, что новые законы у нас положительно несправедливы, подавляя одно направление в пользу другого. ⟨...⟩ Классическое, как и реальное, образование должно быть одинаково доступно, свободно — и пользоваться *одинаковыми* правами».[9] В неизвестном письме Фета, очевидно, содержалось одобрение утвержденной Александром II 19 июня ст. ст. 1871 года реформы средних учебных учреждений, согласно которой предписывалось не допускать в университет выпускников реальных училищ и не превращать классические гимназии в реальные училища. На эту тему недвусмысленно высказался и редактор «Русского вестника» и «Московских ведомостей» М. Н. Катков, на которого ссылался Фет.[10] Оба указанные письма Тургенева неопровержимо свидетельствуют о том, что Фет повторил в неизвестных нам письмах аргументацию статьи 1867 года. Столь же неопровержимо они свидетельству-

---

[3] *Фет А.* Два письма о значении древних языков в нашем воспитании. II // Литературная библиотека. 1867. № 9 (Май). С. 299.

[4] Там же. С. 301.

[5] «Не читал я Вашей статейки в „Лите⟨ратурной⟩ библиотеке", — отвечал Фету Тургенев из Баден-Бадена, — не получают здесь этого интересного журнальца» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. М., 1990. Т. 8. С. 23).

[6] «Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange | Ist sich des rechten Weges wohl bewusst» (в переводе Фета: «Добрый человек в своем стремленье темном / Найти сумеет настоящий путь»).

[7] См.: Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 384.

[8] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. Т. 8. С. 67.

[9] Там же. Т. 11. С. 133.

[10] См.: Там же. С. 467. Комментарий А. И. Батюто. Правда, комментатор не сопоставил это и следующее письма Тургенева с тем, что писал Фет в «Двух письмах о значении древних языков...»

ют о том, что Тургенев нигде печатно не высказывался против классического образования, поэтому в своей статье Фет ссылался на устное мнение своего оппонента. Он вновь повторил в письмах к Тургеневу имена Дарвина и Шлейдена, даже сделал рисунок, изображающий иерархическое соотношение различных наук и институтов в русском обществе. В ответ Тургенев рисует свою схему, явно в противовес фетовской.[11] Напомним, что и в статье 1867 года Фет писал об «архитектонике восходящих кругов воспитания» и давал словесное очертание этой иерархической схемы.

Заслуживает внимания и тот факт, что в письме Тургенева упоминается богословие, о котором «ни Вы, ни я не говорили». «Это другой вопрос, — пишет Тургенев, — которому можно посвятить другое письмо». Но именно с вопроса о месте религии как одного из самых общих и всеобъемлющих путей познания высшей истины и начиналась статья Фета «О значении древних языков в нашем воспитании», которая была обращена к Тургеневу, очевидно, так и не прочитавшему ее. В то же время именно тургеневским определением можно было бы воспользоваться, чтобы сформулировать цель написания указанной статьи. «А Вы, душа моя, — писал Тургенев, — продолжайте мечтать о создании у нас в России земледельчески-дворянски-классической аристократии — баюкайте в качестве нянюшки самого себя в качестве младенца!»[12] Пройдет еще полтора десятка лет, и Фет с горечью вынужден будет признать правоту своего оппонента.

[11] См.: Там же. С. 141, 471.

[12] Там же. С. 142.

ПОЛЕМИКА

© *А. Г. Бобров*

НЕУДАЧНЫЙ ПОХОД ПРОТИВ «СКАЗАНИЯ О ВАЛААМСКОМ МОНАСТЫРЕ»

(ПО ПОВОДУ СТАТЬИ С. Н. АЗБЕЛЕВА)*

Почти десять лет назад была опубликована книга Н. А. Охотиной-Линд «Сказание о Валаамском монастыре» с моим предисловием.[1] В своей научной работе исследовательница подвергла основательной исторической критике легенду об основании Валаамского монастыря на Ладожском озере во времена раннего средневековья. Ее исследование основано на анализе ранее неизвестного произведения, «Сказания о Валаамском монастыре» (далее — «Сказание»), дошедшего до нас в списке 60—70-х годов XVI века, а созданного незадолго до этого, в конце 1550-х годов. Вопреки сложившейся традиции, «Сказание» совершенно определенно говорит об основании Валаама не при апостоле Андрее, либо в IX, XI, XII или первой половине XIV века, а при архиепископе Новгородском Иоанне, занимавшем владычную кафедру с 1388 по 1415 год. Для того чтобы избежать смешения этого владыки с другим архиепископом Иоанном, жившим в XII веке, автор «Сказания» специально уточняет: «Иоан достопаметныи, иже возведен бысть на великии престол Великого Новагорода в лето 6896-е (1388 год. — *А. Б.*) и на двадесять семь лет церковь Божию окорми».[2] Подробный реальный комментарий к тексту «Сказания», выполненный Н. А. Охотиной-Линд, показал высокую степень надежности приводимых в нем проверяемых сведений (например, географических описаний). Помимо «Сказания» исследовательница детально проанализировала древнейшие рукописные книги, происходящие из Валаамской обители, а также общежительные уставы русских средневековых монастырей.

Первым на предварительную журнальную публикацию Н. А. Охотиной-Линд отреагировал профессор Х. Киркинен,[3] еще в 1963 году относивший создание обители к XII веку. В нынешнем сборнике «Валаамский монастырь» также имеется его статья, в которой он повторил свои прежние аргументы и остался на своей точке зрения.[4] Исследователь объявляет раннюю дату основания обители единственно верной, позднюю же датировку — ошибочной, поскольку «Русская Церковь и братия Валаамского монастыря отвергают такую точку зрения» (с. 49). Если братия монастыря несомненно имеет полное право на свою точку зрения (видимо, достоверно известную Х. Киркинену), то резоны, по которым финский исследователь выступает от лица всей Русской Церкви, нам непонятны. В давний спор о времени основания Валаамского монастыря решил теперь вмешаться и С. Н. Азбелев. Его статья изобилует шифрами рукописей (это, наверное, должно произвести сильное впечатление на неподготовленного читателя) и оскорбительными высказываниями. Если же попытаться выявить научный смысл данной статьи, то его можно сформулировать таким образом: большинство всегда право. Если у нас имеется несколько десятков рукописей XVII— XVIII веков, в которых прямо или косвенно говорится, что мощи преподобных Сергия и Германа были обретены и перенесены из Новгорода на Валаам еще в XII веке, и им противостоит всего одна рукопись XVI века, опровергающая такую раннюю датировку, то правы первые, именно в силу своей многочисленности, — такова поразительная логика ученого.

Безусловно, сравнительно более поздние источники в принципе могут содержать достоверную информацию, не дошедшую в ранней рукописной традиции. Но в данном слу-

---

* *Азбелев С. Н.* К вопросу о дате основания монастыря на Валааме // Валаамский монастырь. Духовные традиции. История. Культура. Материалы Второй международной научной конференции 29 сентября—1 октября 2003 года. СПб., 2004. С. 54—80.

[1] *Охотина-Линд Н. А.* Сказание о Валаамском монастыре. СПб., 1996. 246 с.

[2] Там же. С. 166.

[3] *Kirkinen H.* The Founding of the Valamo Monastery: When, How and by Whom // Ortodoksia. Kuopio, 1995. P. 30—55.

[4] *Киркинен Х.* Основание Валаамского монастыря: когда, как и кем // Валаамский монастырь. Духовные традиции. История. Культура. Материалы Второй международной научной конференции 29 сентября—1 октября 2003 года. С. 28—53.

чае между одной ранней рукописью и десятками поздних лежит важнейший исторический рубеж: после шведского разорения 1578 года и мора 1581 года валаамская братия покинула обитель и переселилась в Антониев Дымский монастырь под Тихвином, а в 1611 году обитель была окончательно разорена войсками Якова Делагарди. Все эти годы братия скиталась по северным монастырям (после Антониева Дымского — Тихвинский, затем Васильевский под Ладогой), и только в XVIII веке монастырь был возобновлен на старом месте. Таким образом, непрерывность традиции была нарушена, и отсутствие достоверных фактов о ранней истории обители пришлось восполнять мифотворчеством.

С позиции собственной безупречности С. Н. Азбелев упрекает автора монографии, а заодно и автора предисловия, во всех грехах, какие только можно приписать ученому. Н. А. Охотина-Линд, согласно С. Н. Азбелеву, особенно злонамеренно обошлась с его книгой 1960 года «Новгородские летописи XVII в.», «вводя читателей в заблуждение о ее содержании и давая неверные отсылки к номерам страниц» (с. 55). Вина Н. А. Охотиной-Линд состоит в том, что она, говоря о Новгородской Уваровской летописи, дважды сослалась на книгу С. Н. Азбелева, в которой на с. 11—32 действительно имеется Глава 1, посвященная этому памятнику. В первой ссылке на с. 76 исследовательница правильно указала страницы, а во втором случае, на с. 77, первую цифру вместо «11» ошибочно указала как «1». То, что это опечатка, доказывается не только непосредственным соседством двух сносок, но и отсутствием в книге Азбелева с. 1 (ей соответствует титульный лист, а Введение начинается со с. 3). За это прегрешение Н. А. Охотиной-Линд и досталось от разгневанного автора: «...разговор о Новгородской Уваровской летописи начинается только со страницы 11 и не оканчивается на странице 32» (с. 57). Да, серьезное замечание, ничего не скажешь. На самом деле причина возражений С. Н. Азбелева состоит в другом. По его словам, исследовательница «аттестовала Новгородскую Уваровскую летопись как „поздний и малонадежный в интересующей нас области источник", безоговорочно отнеся ее к XVII веку» (с. 57), а в этом памятнике содержится едва ли не самое раннее известие об обретении мощей преподобных Сергия и Германа Валаамских в 1163 году. Но что же оставалось делать Н. А. Охотиной-Линд, если сам С. Н. Азбелев подытожил результаты своего рассмотрения данного произведения следующими словами: «То обстоятельство, что непрерывный летописный текст свода оканчивается 1606 годом, при отсутствии достаточно определенного материала для точной датировки НУвЛ, позволяет рассматривать ее в ряду памятников XVII столетия»?[5] Высказанная им предположительно и без достаточных обоснований мысль о связи составления летописного памятника «с произошедшим в 1588 году учреждением в Новгороде митрополии» (на стемме С. Н. Азбелева этот гипотетический протограф Новгородской Уваровской летописи даже не отражен)[6] не меняет сути дела: даже этот «смутный» источник датируется временем после монастырского разорения и мора 1578—1581 годов. Автор статьи сурово укоряет Н. А. Охотину-Линд за то, что она ничего не пишет о еще более поздних, датируемых 1670— 1680-ми годами Новгородской III и Новгородской Забелинской летописях, о некоторых сборниках XVII—XVIII веков, но ничего принципиально нового эти источники не содержат, повторяя на разные лады схожие известия об обретении мощей преподобных Сергия и Германа в 1163 году. Конечно, Н. А. Охотина-Линд ссылается в своей монографии на книгу С. Н. Азбелева только дважды не потому, что она ее якобы «смотрела не очень внимательно» (с. 57—58), а по той причине, что заслуживающей внимания информации по теме исследования в ней, к сожалению, больше не обнаружилось.

По мнению автора статьи, Н. А. Охотина-Линд демонстрирует «неряшливость и тенденциозность в обращении с привлекаемым материалом», которые «являются атрибутами (sic!) ее исследовательской методики» (с. 55), «легкость манипулирования „вариантами" искажения цифр» (с. 67); для нее характерны «ошибки в интерпретации и даже элементы дезинформации» (с. 69), «скороспелая интерпретация источника» (с. 72) и «напрасная поспешность работы» (с. 73). Найдем мы в тексте статьи С. Н. Азбелева и безосновательные обвинения исследовательницы в претенциозности (с. 55), некомпетентности (с. 71), обывательских представлениях (с. 69) и т. д. Вся эта тяжелая артиллерия, напоминающая о давно прошедших недоброй памяти временах молодости ее автора, была пущена в ход во имя дискредитации научного вывода об основании Валаамского монастыря в конце XIV века!

В конкретных замечаниях к труду Н. А. Охотиной-Линд автор статьи столь же тенденциозен, сколь и неточен. Так, например, он утверждает, что архиепископ Иоанн, живший в XII веке, называется в летописных источниках Ильей потому, что его современник Герман Воята лично знал его еще как священника и «продолжал называть этим именем в своих летописных записях после того, как Илья... получил монашеское имя Иоанн», причем «из Новгородской Первой это перешло в другие летописи» (с. 70). Именно в этой связи автор статьи упоминает якобы «обывательские представления» и «незнание» фактов Н. А. Охотиной-Линд. Оказывается, сам С. Н. Азбелев совершенно

[5] *Азбелев С. Н.* Новгородские летописи XVII века. Новгород, 1960. С. 32.

[6] Там же. С. 31, 32.

незнаком с источниками и с научной литературой, посвященной вопросу о двуименности Ивана-Ильи. Во-первых, в тексте первоначальной редакции жития Иоанна Новгородского прямо говорится: «бысть скимное имя ему Иоан, преже бяшеть имя ему Илья».[7] Речь идет, как это принято понимать в научной традиции, именно о его предсмертном пострижении в схиму.[8] Во-вторых, не только в летописях, но и в сохранившихся списках Кормчих книг начиная с XIII века архиепископ Иоанн называется Ильей.[9] Наконец, в-третьих, до нас дошли подлинные свинцовые буллы этого владыки, на которых он именуется не Иоанном, а Ильей.[10] «Новое» представление С. Н. Азбелева о том, что священник Илья стал называться Иоанном уже при монашеском пострижении, необходимом для занятия владычной кафедры, было рассмотрено и опровергнуто В. Л. Янины м в работе 1976 года, назвавшим его «абсолютно недопустимым и целиком умозрительным».[11]

Рукописи XVII—XVIII веков, упоминающие перенесение мощей Сергия и Германа Валаамских, С. Н. Азбелев называет «аутентичными историческими источниками» (с. 65). Очевидно, смысл слова «аутентичный» С. Н. Азбелев не вполне понимает: подлинником, первоисточником[12] по отношению к описанию событий XII века эти памятники в любом случае быть не могут. Единственное справедливое замечание С. Н. Азбелева — то, что Н. А. Охотина-Линд и автор предисловия ошибочно поняли слово «темница» в его основном значении (тюрьма),[13] в то время как по отношению к захоронению Иоанна и Гавриила Новгородских оно действительно значило «склеп» (с. 71).

В работе Н. А. Охотиной-Линд имеется ряд предположений о происхождении встречающихся в рукописной традиции XVII века разных дат основания обители. Исследовательница пытается представить, как могли бы возникнуть эти даты и следующие из них неверные интерпретации источников без умысла книжников, в результате добросовестного заблуждения — неверного прочтения кириллического написания тех или иных цифр. Но С. Н. Азбелев полагает, что если встать на позицию Н. А. Охотиной-Линд, «то вообще нетрудно производить исправления дат источников применительно к тому времени, какое представляется концептуально предпочтительным: возможности использования с такой целью знания палеографии достаточно широки» (с. 67). Автор статьи никак не может уяснить, что речь идет не о «концептуально предпочтительном» времени основания монастыря, а о прямом указании самого раннего источника на 1388—1415 годы, когда архиепископом в Новгороде был Иоанн II.

Досталось от С. Н. Азбелева и автору предисловия к книге Н. А. Охотиной-Линд. По его мнению, автор предисловия «рекламирует» (без комментариев. — *А. Б.*) Н. А. Охотину-Линд (с. 67), ему свойственно «неряшливое обращение с источниками» (с. 73), а его изложение «может быть воспринято как дезинформация» (с. 73). Конкретные претензии обращены С. Н. Азбелевым лишь к двум фразам предисловия: «...из Новгородской IV летописи мы знаем только об основании Коневского монастыря на Ладожском озере (1398 г.), а летописец, скорее всего, отметил бы первую из основанных в тех краях обителей. Кроме того, Житие Арсения Коневского, подробно описывающее поиски преподобным места для поселения на Ладожском озере, ничего не сообщает о Валааме».[14]

Первое суждение отвергается С. Н. Азбелевым на следующем основании: «Однако на самом деле в упомянутой летописи Коневский монастырь вообще не назван, об основании его не говорится, речь идет только о возведении храма: „В лѣто 6906. Поставлена бысть церкви Рождѣство Святая Богородица на Коневом"» (с. 73). В одной небольшой цитате исследователь, специально в начале статьи оговоривший правила передачи древнерусских текстов (с. 54), умудрился допустить четыре ошибки в трех словах: в издании, на которое он ссылается, читаем не «Рождѣство», а «Рожество», не «Святая», а «святыя», не «Коневом», а «Коневомъ».[15] Что же каса-

---

[7] *Дмитриев Л. А.* Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII—XVII вв.: Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний. Л., 1973. С. 149.

[8] См., например: *Макарий* (*Булгаков*), митр. Московский и Коломенский. История русской церкви. М., 1995. Кн. 2. С. 299; *Подскальски Г.* Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988—1237 гг.). 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. С. 518 и др.

[9] *Творогов О. В.* Иоанн // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1: (XI—первая половина XIV в.). С. 208.

[10] *Янин В. Л.* Актовые печати Древней Руси. М., 1970. Т. 1. С. 177 (№ 57, 58).

[11] *Янин В. Л.* Печать новгородского епископа Ивана Попьяна (1110—1130 гг.) // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1976. [Вып.] 9. С. 50.

[12] См., например: Словарь современного русского литературного языка: В 20 т. М., 1991. Т. 1: А—Б. С. 271.

[13] *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1903. Т. 3. Стлб. 1083.

[14] *Бобров А. Г.* Предисловие // Охотина-Линд Н. А. Сказание о Валаамском монастыре. С. VII.

[15] Полное собрание русских летописей. Л., 1925. Т. 4. Ч. 1. Вып. 2. С. 382.

ется его утверждения, будто в летописи «речь идет только о возведении храма», то оно заслуживает подробного ответа. Из древнерусского Жития Арсения Коневского мы знаем, что остров до поселения на нем монахов был необитаемым. Когда Арсений и его спутники искали место для основания монастыря, неподалеку от Коневского острова они и услышали «звон великъ зѣло», что вызвало у них недоумение: «откуду есть звонъ сей — церкви нѣсть на острову сем, *ни же жильцовъ*» (курсив мой. — *А. Б.*). Иноки встречают на острове только безымянных «ловцов» и «рыболова» Филиппа, который рассказывает преподобному Арсению, что обитатели этих мест переправляют на остров скотину («много живота») «в лѣтовище», т. е. на летний выпас, «от звѣря и от татей, *не пасущи ея*» (курсив мой. — *А. Б.*).[16] Предлагаем читателям задуматься: как может находиться приходской (а не монастырский) храм на необитаемом острове — ведь на нем не было ни постоянных «жильцовъ», ни даже сезонных пастухов? Речь в летописном известии 1398 года идет, безусловно, о строительстве монастырской церкви на ранее безлюдном Коневском острове, где всего за пять лет до этого поселился преподобный Арсений. Объяснять эти обстоятельства в предисловии к монографии Н. А. Охотиной-Линд я посчитал излишним, полагая, что даже неспециалисты в области древнерусских текстов знают, как часто в источниках монастырь называется через упоминание его храма (например, «Троица» — о Троице-Сергиевом монастыре). С. Н. Азбелев хотел найти в предисловии «существенную неточность», а на самом деле показал, что он не читал древнерусского Жития Арсения Коневского.

В этом же нас убеждает и второе замечание автора статьи. Возражая утверждению, что при описании поисков места для обители Арсением Коневским в его житии не упоминается Валаамский монастырь, С. Н. Азбелев пишет: «А в тексте жития, который был опубликован Синодом... говорится» о посещении преподобным Валаамской обители, поэтому фраза из Предисловия «может быть воспринята как дезинформация: следовало пояснить, какую редакцию жития имел в виду Бобров» (с. 73). С. Н. Азбелев, очевидно, не понимает, что исследователи в своих работах обычно говорят о подлинных древнерусских текстах, а не о творениях церковных авторов XIX века. Что же касается древнерусских списков Жития Арсения, то *ни в одном из них* упоминание о посещении преподобным Валаамского монастыря не обнаруживается.

Для С. Н. Азбелева является заведомо достоверным «факт обретения мощей преподобных Сергия и Германа в 1163 году» (с. 77), а все остальное — от лукавого. «Общая историческая ситуация», усилия «Церкви и даже княжеской власти по распространению Православия», по мнению С. Н. Азбелева, делают существование в Карелии и Приладожье православного монастыря в это время «вполне естественным» (с. 69). Трудно спорить с аргументами такого рода в силу их неконкретности. «Ясно, — пишет автор статьи, — что ни в середине, ни в конце XIV века блаженная кончина преподобных Сергия и Германа последовать не могла, так как мощи их были обретены уже во второй половине XII века» (с. 77). Но и после того, как все стало «ясно», С. Н. Азбелев продолжает последовательно увеличивать древность Валаамской обители: «Они (Сергий и Герман. — *А. Б.*) могли преставиться по крайней мере (почему? — *А. Б.*) на сто лет раньше обретения их мощей, а если так, то основание ими обители произошло в первой половине XI века или даже раньше» (с. 78). Наконец, автор статьи приводит «ценнейшее известие», содержащееся в «Краткой церковной истории» митрополита Платона (1805): «Валамов монастырь, на озере Неве, устроен еще при первом епископе Иоакиме, определенном при князе Владимире» (с. 78—79). Аргументом, доказывающим правоту митрополита Платона, С. Н. Азбелев считает его «научный авторитет» и безупречную «нравственную репутацию», поэтому не может быть «ни малейшего повода подвергать сомнению добросовестность его отношения к своим источникам» (с. 79). Однако тут же автор статьи смело идет еще дальше митрополита Платона, предполагая начало монашеской жизни на Валааме «при равноапостольной княгине Ольге» (с. 79). Странно, что дело пока не дошло до апостола Андрея...

Все эти рассуждения основаны на поздних и в отношении истории Валаама недостоверных источниках, что убедительно показала в своей книге Н. А. Охотина-Линд. Ее выводы подтверждаются результатами археологических исследований, которые ведутся на Валааме уже более 20 лет. Итоги этих многолетних работ суммированы в исследовании П. Е. Сорокина, опубликованном в том же сборнике, что и статья С. Н. Азбелева. Вот его главные выводы: «Таким образом, выявленные к настоящему времени археологические материалы не позволяют говорить о начале освоения территории современного монастыря ранее XIV столетия» (с. 94); «По-

[16] Житие преподобного Арсения Коневского чудотворца / Публ. и перелож. на рус. яз. Н. Н. Ильиной. СПб.: Бельведер, 2002. С. 20—21; Житие Арсения Коневского // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 2005. Т. 13: XVI век. С. 164, 166. В обоих изданиях текст опубликован по рукописи начала XVII века (РГАДА. Ф. 201. Собр. Оболенского. № 52. Л. 442—463 об.), однако наиболее ранний отрывок Жития датируется 30-ми годами XVI века (РГБ. Собр. Троице-Сергиевой лавры. № 806. Л. 244—246).

явление монастыря на Валааме до XIV столетия пока не подтверждается археологическими данными» (с. 106). Казалось бы, трудно спорить с объективными фактами, добытыми археографами и археологами. Оказывается, очень легко: надо лишь обругать оппонентов и сказать, что на самом деле все было не так.

Н. А. Охотина-Линд обнаружила не просто более ранний источник по истории Валаама, чем все известные до сих пор, а произведение, относящееся ко времени существования первоначального монастыря до его разорения. Поэтому подсчет количества поздних списков, противоречащих информации «Сказания», и обширные выписки из них, предпринятые С. Н. Азбелевым, в принципе лишены смысла. Свидетельства единственного раннего текста «Сказания о Валаамском монастыре» и надежно датируемых археологических данных о появлении обители не ранее XIV века остаются незыблемыми.

© *В. Г. Щукин*

РЕКА ВРЕМЕН, ИЛИ НИКТО НЕ ЗНАЕТ НАСТОЯЩЕЙ ПРАВДЫ*

Перед нами еще одна книга о Чехове. Книга «плановая», выпущенная в свет в юбилейный чеховский год, — казалось бы, ничего особенного. Тем более что принадлежит она перу известного чеховеда, председателя Чеховской комиссии Владимира Борисовича Катаева, который в прошлом не раз обращался к проблемам, заявленным в заглавии новой книги. А проблемы эти в самом общем приближении сводятся к формуле «Чехов и...» — Чехов и предшествующие русские классики, Чехов и его современники, Чехов и литература зарубежной Европы, Чехов и модернизм, Чехов и постмодернизм. Однако, как очень часто бывает именно в мире Чехова, при чтении новой книги В. Б. Катаева вместо первоначального *казалось* довольно быстро дает о себе знать *оказалось* — но на этот раз речь идет не о разочаровании, не о несоответствии данности некоему ожидаемому, а, наоборот, о чувстве глубокого удовлетворения этой данностью. Это только иногда *кажется*, что о Чехове сказано так много верных и глубоких слов, что новый взгляд и особенно принципиальные открытия уже невозможны. На самом же деле Чехов неисчерпаем, и тем более неисчерпаем «Чехов плюс...» — к такому отрадному заключению подводит читателя новая книга.

Это не монография, а сборник ранее опубликованных трудов, что, опять-таки *казалось бы*, должно снижать ее достоинство. Позволю, однако, обратить внимание на одно обстоятельство. Хотим мы этого или нет, но вот уже несколько десятков лет профессиональная деятельность огромного большинства литературоведов протекает от конференции до конференции. И потому нередко интересные мысли и разного рода новые прочтения содержатся как раз не в солидных монографиях, а в прочитанных докладах, которые затем превращаются в статьи. Именно такого рода работы преобладают и в книге В. Б. Катаева, и их можно, разумеется, читать по отдельности и вразбивку. Но можно и подряд, с первой страницы до последней, и тогда *оказывается*, что эта книга — не просто сборник, что в ее основе лежит некий замысел, своего рода сверхзадача, и что она представляет из себя гармоничное целое.

Замысел автора можно было бы определить державинским словосочетанием «река времен» (любопытный факт: составленная В. Б. Катаевым антология русской исторической прозы и поэзии носит именно такое заглавие — «Река времен»). Неторопливо, как бы не спеша сразу окунуться в реалии чеховской эпохи, автор сначала обращается к восьмидесятым годам восемнадцатого века, когда возник афоризм: «Умри, Денис, лучше не напишешь», использованный в рассказе «Ионыч» (его источник — легендарные слова Г. А. Потемкина-Таврического, обращенные к Д. И. Фонвизину после премьеры «Недоросля»). Затем хронологически — литературные связи с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Лесковым, Герценом, Писемским, Достоевским: тут и родословная героев, и трансформация мотивов, и типологические связи — сближения и отталкивания. Все это — в первом разделе книги, посвященном предшественникам Чехова. Следующие два раздела посвящены чеховской эпохе, т. е. концу XIX века: в разделе втором речь идет о литературных связях Чехова в пределах России и о писателях-современниках; в третьем автор выходит на общеевропейские просторы — тут отношение к дарвинизму, к музыке Вагнера, к Мопассану и французским натуралистам. Три упомянутых раздела составляют первую половину сборника, озаглавленную «Другие и Чехов», причем под «другими» подразумеваются предшественники или современники писателя. Вторая половина называется «Чехов и другие»: это означает, что автор «Вишневого сада» был сначала, а «другие» были позже; причем они могли быть и преемниками (Замятин, Набоков), и младшими современниками-соперниками (Розанов, Горький), и «спокойными» оппонентами (Солженицын). Эта половина также разделена на три части, но принцип деления уже не так отчетливо ясен, как в начале книги. Так, например, раздел четвертый составляют три статьи о натурализме и реализме рубежа XIX и XX веков (в том числе об «ангажированной» литературе «Знания»). Пятый раздел особенно разнороден: тут, видимо, речь идет о разного рода тематических перекличках, интерпретациях и реинтерпретациях чеховских мотивов, но в то же время о скрытых от-

---

**Катаев В. Б.* Чехов плюс...: Предшественники, современники, преемники. М.: Языки славянской культуры, 2004. 392 с.

кликах самого Чехова на голоса современников. И наконец, последний, шестой раздел посвящен широко понятым «нашим дням» и «нашим современникам», т. е. второй половине XX и началу XXI века: разговор заходит о неутихающем споре вокруг чеховского наследия, в котором участвуют поздние реалисты (Солженицын), постмодернисты (Дрейцер, Сорокин, Пелевин) и, разумеется, чеховеды. Так, тихо шелестя волнами страниц (избранный автором стиль повествования и даже полемики удивительно ненавязчив, мягок, сдержан и, я даже сказал бы, смиренен), «река времен» незаметно докатывается до юбилейного 2004 года.

Не подлежит сомнению, что каждый конкретный читатель найдет для себя в книге В. Б. Катаева что-либо особенно ценное и интересное. На мой взгляд, таким важным и ценным началом является этико-мировоззренческая устремленность автора. Чтобы объяснить, в чем она состоит, начну с конца, с заключительной статьи, в которой подводится общий итог книги. В. Б. Катаев справедливо замечает, что многие современные русские гуманитарии, любители «последних вопросов бытия» и религиозной напряженности мысли, откровенно говоря, недолюбливают Чехова, отводя ему скромное место «художника-реалиста, изобразителя (или, как прежде писали, «летописца эпохи»), психолога, диагноста, пейзажиста... Кого угодно, но не мыслителя» (с. 366). Далее примеры: Вадим Кожинов считал Чехова «просто» критическим реалистом, тогда как русская эстетика и русская философская мысль в литературе «достигла своих высот до Чехова и помимо его» (там же); Рената Гальцева и Инна Роднянская называют его великим художником, но сразу же замечают, что его слово, в отличие от слова Пушкина, Гоголя, Достоевского или Толстого, — «не со властью» (с. 367). Подобные оценки напоминают В. Б. Катаеву Федора Степуна, критически отозвавшегося о реализме 1890-х и 1900-х годов, который, по его мнению, отошел от «онтологических заветов большого русского искусства» (с. 368).[1] В мире онтологического созерцания, говоря словами Степуна, художник «знает своего Бога в лицо»: Бог есть то-то и то-то. Такими художниками были Достоевский, Толстой, но не Чехов. «При противоположном ему, гносеологическом, созерцании, — развивает далее эту мысль В. Б. Катаев, — главным является вопрос: как мы можем что-либо знать, насколько наши знания, представления о мире, человеке, Боге являются настоящими, не ложными? Таким — редчайшим для России — гносеологическим художником был Чехов» (с. 368—369). Конечно, при таком подходе к миру, к человеку и к Богу — если таковой существует — никогда не освободишься от целого ряда сомнений, которые вечно будут мешать счастливому осознанию того, что обладаешь абсолютной правдой. Что ж из того? Ведь и художественная литература, и гуманитарные науки занимаются не безгласно-объективным миром космической материи и не потусторонним миром, существование которого научно недоказуемо, а миром посюсторонним и по-человечески говорящим. А где речь, там и диалог, а где диалог, там не единственно возможная Правда, а многочисленные точки зрения, «личные взгляды на вещи», как говорил Чехов. И «разве воплощенный в чеховском творчестве тип миросозерцания не есть особое, сказанное „после", слово в развитии русского Логоса, вступающее на равных в диалог со словом писателей-мыслителей?» (с. 369) — звучит риторический вопрос В. Б. Катаева, взгляды которого полностью разделяет пишущий эти строки. В самом деле: Чехов едва ли не впервые (после Пушкина, быть может, но Пушкин универсален, у него действительно было *наше все* в зачаточном виде) обратил внимание на простую истину: «Никто не знает настоящей правды». Не знает и узнать принципиально не может — жизнь убеждает нас в этом буквально на каждом шагу, но это вовсе не означает, что такая правда вообще не существует.

«Никто не знает настоящей правды» — эта замечательная фраза Лаевского из финала «Дуэли» повторяется в книге В. Б. Катаева не раз и не два, превращаясь в своего рода методологическое кредо. Но автор далек как от безлюбого релятивизма, так и от всепоглощающей постмодернистской иронии. Если это и релятивизм, то «здоровый», по необходимости сопутствующий любому трезво мыслящему гуманитарию, как материализм (об этом тоже писал Чехов в одном из писем к А. С. Суворину) по необходимости сопутствует каждому естественнику и вообще каждому человеку, имеющему дело с природой. В. Б. Катаев удачно сочетает традиции гума-

[1] В. Б. Катаев замечает, что Степун имя Чехова при этом не упоминает и, быть может, имеет в виду не его самого, а его эпигонов, но по сути дела его критика метит именно в чеховское искусство (с. 368). Позволю себе заметить: в чеховское искусство, быть может, и метит, но в чеховскую мысль — нет. Степун, подобно Чехову, был решительным противником русской манеры проникать в святая святых религиозной тайны, «в мастерскую Господа Бога», и считал, что попытки постичь Абсолют приводят к созданию эстетических, но не нравственных и не интеллектуальных ценностей. Любопытно, что Чехова, именно как художника, но не как человека или мыслителя, недолюбливал Андрей Синявский — один из самых последовательных борцов за свободу «точек зрения» в духе либеральной веротерпимости и в этом смысле самый яркий последователь Чехова-мыслителя в России XX века.

нитарного персонализма первой половины XX века (в частности, М. М. Бахтина и, разумеется, самого Чехова) с лучшими достижениями историко-функционального метода семидесятых и восьмидесятых годов. И потому его книгу полезно будет прочесть не только историкам литературы, но и представителям других гуманитарных дисциплин: она ценна методологически.

Иное достоинство сборника — целый ряд интересных наблюдений и идей, связанных с новыми интерпретациями Чехова, его предшественников, современников, преемников и всего того, что обычно определяется как литературные связи. Что касается идей, то спешу заметить, что не все из них показались мне до конца убедительными, зато банальных не оказалось ни одной. Остановлюсь на некоторых из них, заранее извиняясь за то, что рамки рецензии не позволяют подробно остановиться на всех наиболее важных мотивах статей, собранных в книге.

Вот, к примеру, статья вторая — «Златая цепь: Чехов и Пушкин». Обращаясь к творческой истории «Вишневого сада», В. Б. Катаев указывает на поразительные факты. Вишневый сад — это, кроме всего прочего, Бабкино (платформа Чеховская с Рижского вокзала), а тамошний владелец Алексей Сергеевич Киселев был сыном Елизаветы Николаевны Ушаковой, приятельницы Пушкина, и Сергея Дмитриевича Киселева, которого Пушкин называл «Кис-кис», подшучивая над его романом с Лизой Ушаковой. «Память о Пушкине, хранившаяся в семье Киселевых, — замечает автор, — была для молодого Чехова неотъемлемой частью атмосферы „милого Бабкина"» (с. 35). «Златая цепь времен» нашла свое удивительное воплощение в том, что Чехов написал полушутливое стихотворение («Милого Бабкина яркая звездочка!») в альбом Саши Киселевой, дочери Алексея Сергеевича, чья бабушка хранила в своем альбоме полушутливые автографы Пушкина. Таким образом, бабкинский сад, «помнивший» основоположника классической русской культуры, вдохновил Чехова на создание символического образа сада как хранителя красоты культурных традиций. А Лопахин — в этом случае В. Б. Катаев решается предложить более рискованную интерпретацию творческой теории пьесы — автобиографичен, так как это образ, в котором воплотился непростой процесс вхождения чеховских сверстников-недворян (Станиславского, Сытина, Щукина, Морозова, Левитана — но, в первую очередь, самого Чехова) в «сад русской культуры» (с. 35—36). Тут есть над чем подумать, быть может, и не со всем согласиться (впрочем, меня доводы В. Б. Катаева почти убеждают), но «златая цепь» от Пушкина до Чехова существует несомненно.

А вот сравнение двух поединков — в «Княжне Мери» и в «Дуэли» (статья «Два поединка»). Читая эту работу, все время ловишь себя на том, как много незамеченных совпадений, скрытых цитат и прочих «умышленностей» ускользнуло от твоего внимания при чтении того же Лермонтова и того же Чехова, а ведь читать приходилось не раз. Возьмем, к примеру, Ивана Лаевского — он насквозь цитатен, «шагу не ступит, чтобы не примерить на себя какое-либо литературное платье — Рудина ли, Гамлета, а то и... Анны Карениной» (с. 38), и автор «Чехова плюс...» не только утверждает, но и убедительно доказывает это. Однако Лаевский — не просто Печорин времен Александра III. Во-первых, как показывает В. Б. Катаев, функцию лермонтовского Печорина (брать на себя право выносить однозначную оценку другому человеку) выполняет не он, а зоолог фон Корен, Лаевский же ведет себя как Грушницкий — безнадежно запутавшийся, изолгавшийся виновник многих несчастий. Во-вторых же, герои Чехова стреляются не из-за женщины, не в защиту чести, а как идейные и нравственные противники. И результат дуэли — не лермонтовский, а чисто чеховский: герои приходят к любимой идее писателя и, видимо, его верного исследователя — «Никто не знает настоящей правды».

Есть в сборнике и такие статьи, в которых Чехов или почти не участвует, или присутствует как плоскость сопоставления. Такова превосходная микромонография о жизни и творчестве Александра Эртеля («Удивительна была его жизнь...»), такова и статья «Лесков в литературных полемиках». В последней много интересных и верных наблюдений. Мне запомнился, например, комментарий по поводу скрытой полемики «Леди Макбет Мценского уезда» с «Грозой» Островского: ведь если с цепи сорвутся и развернутся «во всю ширь своей проснувшейся натуры» не смиренные Кати Кабановы, а такие «низы и глубины» народа, как Катерина Измайлова, то «будет страшно, отнюдь не красиво. Придет не апофеоз свободы — а цепь зловещих злодеяний» (с. 55). И то, что Чехов, как и Лесков, подключался к полемике, развязанной другими, становясь третьим ее участником, замечено верно. Но тут возникают и недоумения: указанное свойство совсем не обязательно означает, что автор «Вишневого сада» «прямо усваивал лесковский тип литературной позиции» и что чеховское «казалось — оказалось» идет именно от Лескова или «в том числе» от него (с. 57). И то, что в заключительных фрагментах статьи ее автор приводит все новые и новые аргументы в пользу сходства художественных методов Лескова и Чехова, не отменяет их разительной непохожести — не в смысле мировоззренческих позиций или конкретных убеждений, а в смысле художественной формы, творческого почерка обоих великих художников. Ведь «сказовый», зачастую орнический стиль Лескова может напоминать Достоевского, Ремизова, даже Горького, т. е. мещанско-купеческие закоулки русской классики, но никак не

пушкинско-чеховские вишневые сады Бабкина! Ведь стилистическая судьба Чехова — это судьба *преодоленного* мещанства, *преодоленной* провинциальности в области формы, и в этом, может быть, состоит уникальность чеховской судьбы и чеховской литературной позиции.

Гораздо убедительней звучит небольшая, но весьма содержательная статья о мотиве вины в русской литературе в контексте «Острова Сахалина» («Виноваты все мы...»). Ведь, как известно, «Кто виноват?» — один из самых «проклятых» вопросов русской классики. В. Б. Катаев наглядно демонстрирует, как менялся ответ на этот вопрос: от «виновата среда» у Писемского или «виноват общественный строй» у Герцена к «виноваты мы все» у Достоевского и Толстого и, наконец, к иному, чеховскому «виноваты мы все», где под «мы» подразумеваются не люди вообще, а каждый конкретный интеллигентный человек, пусть и не участвующий в совершении зла. Виновата близкая Чехову интеллигенция, которая равнодушно мирится с двумя видами лжи о месте «невыносимых страданий» Сахалине: ложью официальной и ложью «протестантской», леводемагогической (с. 66). Но дело даже не в том, что Чехов конкретнее Толстого и Достоевского. Дело в том, что Достоевскому и Толстому (особенно последнему) *казалось*, что они знают Бога (т. е. окончательную правду) в лицо, а Чехов знает только то, что «жить не по лжи» еще не означает жить праведно: праведность и святость в реальной жизни недостижимы, но жить честно и творить посильное добро можно вполне. «Для Чехова нет истины, которая не была бы порождением человеческого сознания» (с. 68), — совершенно справедливо утверждает автор книги. А человеческое сознание слишком динамично, капризно, идеологично. И потому автор «Острова Сахалина» не строит свои произведения как доказательства неизбежности пути героя к конечной истине — в ряде случаев к той, что изложена в вечной Книге. Ставшая традиционной схема «Преступления и наказания» или «Воскресения» для него пройденный этап.

Листая страницу за страницей, мы вплотную подходим к чеховской эпохе. Первая статья из посвященного ей цикла озаглавлена: «Щедринское и нещедринское в русской сатире конца XIX века». Ранний Чехов и поздний Щедрин — тема незаслуженно редкая и весьма занимательная: ведь в 1880—1885 годах великий сатирик-утопист *уже* пишет самые свои «мягкие» и снисходительные циклы, а будущий мастер лирического подтекста *еще только* сочиняет «Смерть чиновника», «Маску» и «Хамелеона». Ключом к этому удивительному сближению так непохожих друг на друга писателей является, конечно, эпоха Александра III, характеристике которой В. Б. Катаев справедливо уделяет много внимания. Наглядно показывая, что эпоха «мелочей жизни» не поддается однозначной оценке, автор сборника словно отвечает и гонителям восьмидесятых годов (нынешним и старым, еще ленинской закалки), и их апологетам, которых в последние годы появилось немало. «Тина мелочей», о которой писал Щедрин, приучала смотреть на жизнь не с точки зрения логики титанической борьбы, а с точки зрения преодоления серости будней и выхода к добру и красоте в необходимом процессе ежедневного кропотливого труда. Подобные условия были невыносимы для неисправимых романтиков, но, пусть небезоговорочно, все же допустимы для всех тех, кто желал строить, а не разрушать. Жаль только, что автор ни разу не упоминает работ К. И. Тюнькина, который в свое время специально обращался к теме мелочей в творчестве Щедрина и Чехова: эти ныне забытые статьи не менее вдумчивы и не менее многосторонни, чем по-хорошему осторожные тексты самого В. Б. Катаева.

В третьем разделе обращает на себя внимание статья «Христос и Дарвин в мире Чехова». В ней выражена позиция автора в неразрешенном споре о религиозности писателя, позиция по-катаевски осторожная, избегающая крайностей, и, быть может, именно потому звучит она убедительно. В. Б. Катаев вполне резонно напоминает о том, что писатель на протяжении всего жизненного пути «со всей определенностью говорил об отсутствии у себя религиозной веры» (с. 158), но в то же время многие на самом деле по-христиански настроенные русские авторы: Борис Зайцев, Сергей Булгаков, Георгий Адамович — считали, что творчество «тихого» Чехова ближе учению Христа, чем громкие декларации Достоевского и Толстого. «Ум просит божества, а сердце не находит», — писал когда-то Пушкин, но в чеховском мире эта формула «имеет, скорее, обратную силу» (с. 161). Веры просило сердце, но уму нужен был не только Христос (Христос не как божество и, быть может, даже без стоящего над этим человеком божества), но и Дарвин, хорошо объясняющий, почему у человека может не быть веры. Впрочем, и это еще не все: веры *может* не быть (и Чехов ее в себе никогда не находил), но это совсем не значит, что ее *не должно* быть, и писатель с большим сочувствием изображал людей верующих и красоту их веры («Студент», «Убийство», «Архиерей»). Христос и Дарвин присутствуют в мире Чехова как два равноценных диалогических начала — первый как «высшая ступень в естественном развитии человеческой нравственности» (с. 160), но не как источник той же нравственности, а второй как высшая ступень в развитии научного познания.

Историко-литературный пейзаж чеховской эпохи был бы неполным без характеристики иных, нечеховских разновидностей литературного творчества, в частности натурализма и «ангажированной» литературы «Знания». О натурализме В. Б. Катаев писал

не раз, писал обстоятельно, и в новом сборнике мы найдем две статьи на эту тему — во-первых, о проблеме героя и не-героя и, во-вторых, о повествовательных моделях натуралистической прозы. Однако новое слово звучит не в связи с натурализмом, а в связи с Горьким и его соратниками. Большая статья о литературе «Знания» как теории и практике дестабилизации убеждает в том, насколько эта, казалось бы, тривиальная «горьковедческая» тематика на самом деле интересна, насколько важна для понимания всего русского XX века и сколько еще предстоит сделать историкам литературы, чтобы разобраться в первоистоках вторичной (после Чехова) самодовлеющей авторитарности литературного слова, во всех причинах вновь возникшего презрения к «жалкой» толерантности и к «унылому» агностицизму, а вместо этого — «мы вам всю настоящую правду скажем!» Поистине, мысль Лаевского о том, что никто не знает настоящей правды, становится лейтмотивом всего сборника; ей приходится отражать атаки и «справа», от поборников традиционной религиозности, и «слева», от тех «борцов за народное дело», которые ставили своей целью расшатать «мещанское болото», т. е. дестабилизировать и без того зыбкую почву едва-едва нарождавшегося общественного консенсуса и вызвать социальный взрыв во имя туманного идеала сильного, гордого и вечно протестующего Человека. Тут и интереснейшая параллель с радикалами шестидесятых годов XIX века — новый утилитаризм, согласно которому литература должна приносить читателю пользу в том смысле, чтобы провоцировать его к практическому действию. Тут и социальная адресованность литературы: так, например, Горький стремился писать именно для рабочих. Тут и авторитарная заданность формы: стилистика произведения должна нравиться «друзьям» (т. е., теоретически говоря, тем же рабочим) и вызывать отвращение у врагов. И как результат упоения этой «новой эстетикой» (именно так определяет эстетику знаньевцев автор книги) — ужас революционного пожара, месть победивших и торжество «настоящей» правды.

Примечательно и то, что В. Б. Катаев говорит не только о «Знании» как о группировке поборников дестабилизации, но о целом *поколениц* дестабилизации, к которому относятся и Блок (слышавший у знаньевцев «ветер событий и мировую музыку»), и Андрей Белый, и многие декаденты, и «антимещанин» Иванов-Разумник. И это во многом справедливо, хотя стоит, наверное, задуматься и над тем, что эстетика символизма и «новая эстетика» Горького и Чирикова разрушали позитивистскую гармонию и чеховскую эстетику нюансов по-разному и во имя разных идеалов. Вина за наступивший революционный хаос действительно ложится, условно говоря, и на «горьковцев», и на «блоковцев» («Виноваты мы все...»), но ни в коем случае не в равной степени.

И еще одно мое сомнение: можно ли на самом деле считать эстетику Горького новой? И неужели же так художественно совершенны и так по-новаторски звучат риторические фигуры в романе «Мать», как утверждает В. Б. Катаев (с. 274)? По-моему, правильнее было бы видеть именно в этом фрагменте горьковского наследия (к счастью, не всего Горького, у которого есть еще и сборник «По Руси», и ряд очень неплохих пьес, и автобиографическая трилогия) тот самый эклектический слепок старых эстетических решений и стилистических клише (тех, что очевиднее, попроще, «для народа»), от сентиментализма через романтизм к реализму и далее, к вульгарно-ницшеанскому модернизму, что мы впоследствии обнаружим в так называемой советской литературе? Ведь причудливый монтаж элементов «хорошо забытого» старого — это еще не новое. Подлинно новое, настоящее искусство XX века создавал не Горький, этот талантливый эпигон века девятнадцатого, а Чехов — кстати, человек того же поколения, всего на восемь лет моложе Буревестника.

А тем временем «река времен» несет нас дальше, в глубь XX века. Вот любопытнейшая интерпретация образа Соленого как одной из ипостасей того же Горького: та же деликатность под маской грубости и протеста ради самого протеста (статья «Буревестник Соленый и драматические рифмы в „Трех сестрах"»). Вот хорошо продуманный портрет Василия Розанова как возможного чеховского героя («Чехов и Розанов»). А вот работа «„Все мы" Чехова и „Мы" Евгения Замятина» о весьма актуальной проблеме — о семантике словечка «мы» в русской культуре последних полутора столетий: «мы» в чеховской «Степи», «виноваты все мы» в «Острове Сахалине», образ революции у Блока, когда «я» превращается в «мы», и, наконец, «Мы» Замятина (интересная деталь: написавшего статью на тему «Чехов и мы»), который парадоксальным образом перекликается именно с чеховским пониманием этого рокового местоимения.

В несколько неожиданном ракурсе предстает творчество последнего русского классика XIX века (и первого классика следующего столетия) в статьях «Чехов и проза российского постмодернизма» и «„Чайка" — „Цапля" —„Курица" —„Ворона" (Из литературной орнитологии XX века)». На первый взгляд *кажется*, что постмодернисты просто издеваются над чеховским наследием, как и над всем тем, что когда-то было признано святым, мифологически ценным, а потому выступающим в роли соблазна: именно такое в культуре прошлого и хочется подвергнуть безжалостной деконструкции, чтобы поиграть со «святыми» текстами. Однако после знакомства с этим, завершающим разделом книги В. Б. Катаева *оказывается*, что «чеховская картина мира, чеховская литературная позиция осознается многими как точка

отсчета, своего рода камертон» (с. 344). И в самом деле: разве Чехов был только скептический, только задумчиво-мудрый, только серьезный? Разве веселая относительность человеческой жизни не была его основной стихией и разве не был он — скажем, положа руку на сердце, — самым играющим русским классиком, больше всех других любившим даже не сам смех, а именно забаву, в том числе игру с текстами?

В результате *оказывается* (еще и еще раз), что писатель, чья физическая смерть наступила сто с небольшим лет назад, выступал и продолжает выступать в роли так необходимого всем нам — и писателям, и читателям, и историкам литературы — *метаавтора* (частный случай которого — метадраматург, о котором пишет В. Б. Катаев в одной из статей). И потому чрезвычайно важно то, что появилась книга, автор которой это осознает и доказывает настолько убедительно и строго, насколько это возможно в зыбкой и неоднозначной области «наук о духе», где никто не знает настоящей правды...

© *Е. В. Жеребкова*

ТРУД НЕМЕЦКОГО СЛАВИСТА ГЛАЗАМИ РУССКОГО ЧИТАТЕЛЯ*

В 2003 году вышла в свет ожидаемая многими книга «Нарратология» немецкого ученого-слависта, специалиста по русской и чешской литературам Вольфа Шмида. Она тут же оказалась в центре внимания, чем, надо сказать, может теперь похвастаться далеко не каждая книжная новинка.

Дело в том, что за последние лет двадцать русское литературоведение качественно изменилось. Прежде оно в гораздо большей степени, чем другие дисциплины, было изолировано от западной научной мысли, и лишь немногим отечественным исследователям русской литературы удавалось познакомиться с работами зарубежных коллег. Сейчас же в России издается огромное количество переводных книг в области теории литературы и славистики, а статьи западных авторов с завидной регулярностью публикуются в отечественных журналах. Такое изобилие материала, предложенного вниманию русского читателя, неизбежно сказывается на его отношении к выходящим книгам как русских, так и зарубежных авторов: привыкший к широкому выбору изданий, он более критично относится к новинкам и лишь некоторые из них признает действительно незаурядными.

А именно незаурядным явлением стала книга Вольфа Шмида. Она была опубликована под лаконичным названием, состоящим всего из одного слова, — «Нарратология». Такое заглавие не может не вызвать интереса. С одной стороны, образующий его термин, несмотря на то что уже прижился в отечественном литературоведении, все еще зачастую вызывает недоумение, причем даже среди специалистов. Оно и понятно. По справедливому замечанию самого Шмида в предисловии к настоящему изданию, «нарратология как особая общегуманитарная дисциплина в России в настоящее время еще только формируется» (с. 9). С другой стороны, за столь кратким названием чувствуется значительность работы, проделанной автором. Ведь в его кругозор попадает не частная тема исследования, не конкретная проблема, не определенный научный аспект, а вся эта «особая общегуманитарная дисциплина». Целиком. Без каких бы то ни было ограничений.

Впрочем, как выясняется по мере чтения, формальные ограничения все же есть. Их устанавливает сам автор, который конкретизирует направление своих научных изысканий в следующем заявлении: «Настоящая книга представляет собой систематическое введение в основные проблемы нарратологии» (с. 10). Это утверждение в ходе прочтения книги одновременно и оправдывается, и опровергается. То, что «введение в основные проблемы нарратологии» действительно «систематическое», последовательно подтверждается каждой страницей «Нарратологии», начиная с отбора и расположения материала и заканчивая включенными в книгу приложениями, в число которых, помимо подобающей таким работам библиографии, входят также словарь и указатель нарратологических терминов, приведенных в тексте, и указатель встречающихся в книге имен авторов художественной, критической и научной литературы и названий их произведений.

Надо сказать, этот справочный материал оказывается вовсе не лишним в книге Шмида. Дело в том, что несметное число упоминаемых на ее страницах имен и терминов сначала поражает, а потом и вовсе пугает, и указатели помогают не растеряться перед таким изобилием. Шмид последовательно рассматривает теории ученых из Франции, Германии, США, Чехии, Польши и т. д., причем не ограничивается именами современных теоретиков, а то и дело предлагая читателям экскурсы в историю того или иного термина, обращается к работам исследователей, кото-

**Шмид В.* Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с.

рые стояли у самых истоков нарратологии. Столь широкий охват материала как раз и создает впечатление, что перед нами никак не «введение в основные проблемы нарратологии», а фронтальная характеристика всей дисциплины. При желании «Нарратологию» можно использовать как прекрасный учебник, дающий полное представление о науке и тех теориях, которые легли в ее основу.

Итак, масштаб работы поражает, но в то же время, благодаря логичности построения книги и грамотному справочному аппарату, в ней, при всем обилии изложенного материала, довольно легко ориентироваться. Это делает ее, помимо всего прочего, весьма удобным справочником, в котором без труда можно найти определение любого, даже очень частного, термина или ссылку на большинство связанных с нарратологией работ.

Что же касается структуры «Нарратологии», то книга состоит из шести глав, каждая из которых посвящена одному или нескольким основополагающим для нарратологии понятиям. Каждому понятию дается определение, причем одновременно получают толкование и сопутствующие ему термины. Кроме этого, все главы снабжены в обязательном порядке историческими очерками, посвященными обзору того, как термин и теория, в рамках которой он возник, развивались и с именами каких ученых была связана их эволюция. В результате на страницах работы появляется ряд мнений, и автор либо выбирает то из них, которое представляется ему наиболее обоснованным, либо предлагает компромиссный вариант, либо приводит собственную точку зрения.

В первой главе своей книги Шмид выделяет и рассматривает признаки художественного повествования: нарративность, фикциональность и эстетичность. Из них основным является нарративность. С объяснения этого термина, собственно, и начинается книга.

Шмид называет два понятия, которые характеризуют нарративность в литературоведении. Первое из них образовалось в классической теории повествования. Согласно этой теории, повествование связывается с присутствием в тексте голоса некой опосредованной инстанции — нарратора, через призму восприятия которого преломляется повествуемая действительность. Таким образом, в этой традиции произведение причисляется к разряду повествовательных по признакам коммуникативной структуры, одним из элементов которой и является нарратор — посредник между автором и повествуемым миром. Здесь нарративность противопоставляется непосредственному драматическому исполнению.

Второе понятие о нарративности, из которого исходил и сам Шмид при написании книги, сформировалось в структуралистской нарратологии, согласно которой признаком, позволяющим отнести произведение к разряду повествовательных, является структура не коммуникации, а самого излагаемого материала: «Тексты, называемые нарративными в структуралистском смысле слова, излагают, обладая на уровне изображаемого мира темпоральной структурой, некую *историю*» (с. 12—13). Причем понятие истории подразумевает наличие в тексте события, под которым понимается некое изменение исходной ситуации (внешней ситуации в повествуемом мире или внутренней ситуации того или иного персонажа). Здесь нарративность противопоставляется дескриптивности, т. е. описательности.

Вторым признаком художественного повествования Шмид называет фикциональность — «то обстоятельство, что изображаемый в тексте мир является *фиктивным*, вымышленным» (с. 22). И третьим признаком художественного повествования, по Шмиду, является эстетичность. Вводя такое понятие, Шмид обращается к формальной организации текста: «В эстетической установке на текст действует презумпция семантичности всех его элементов, как тематических, так и формальных. Таким образом, тематические единицы приобретают вторичный смысл, а элементы формальные, сами по себе не имеющие какого бы то ни было референциального значения, наделяются смысловой функцией» (с. 36—37).

Вместе же фикциональность и эстетичность «ослабляют непосредственное отношение произведения к действительности и направляют внимание воспринимателя на внутреннюю референтность и на художественное построение повествования» (с. 38).

Вторая глава книги «Нарратология» посвящена повествовательным инстанциям. В ней Шмид предлагает свою модель коммуникативных уровней. С точки зрения Шмида, в произведениях повествовательного жанра внешняя коммуникативная структура «автор—изображаемое—читатель» повторяется внутри изображаемого мира в структуре «фиктивный нарратор—повествуемое—фиктивный читатель». Кроме того, Шмид вводит в свою схему конкретного автора и конкретного читателя — реальных людей, существующих вне создаваемого/читаемого литературного произведения и независимо от него.

Шмид подробно объясняет все элементы схемы коммуникативного акта, учитывает предысторию каждого понятия, рассматривает типологию нарратора. Под абстрактным автором понимается «обозначаемое всех инициальных знаков текста, указывающих на отправителя», который «существует в произведении не эксплицитно, а только имплицитно, виртуально, на основе творческих следов-симптомов» (с. 53). Абстрактный читатель — это, с одной стороны, «предполагаемый, постулируемый адресат, к которому обращено произведение, языковые коды, идеологические нормы и эстетические представления которого учитываются для того,

чтобы произведение было понято читателем» (с. 61). С другой стороны, это образ идеального реципиента, «осмысляющего произведение идеальным образом с точки зрения его фактуры и принимающего ту смысловую позицию, которую произведение ему подсказывает» (с. 61). Фиктивный нарратор и фиктивный читатель — это адресант и адресат изображаемой нарраторской коммуникации.

Третья глава книги посвящена теории «точек зрения». В ней Шмид совершает краткий экскурс в историю этого понятия, рассматривая теории Ф. К. Штанцеля, Ж. Женетта и М. Бала, Б. А. Успенского и др. Сам Шмид определяет «точку зрения» как «образуемый внешними и внутренними факторами узел условий, влияющих на восприятие и передачу событий» (с. 121). Объектом «точки зрения», по Шмиду, являются повествуемые события, причем в предложенном им определении «точки зрения» восприятие и передача событий представлены как два различных акта. Говоря о планах «точки зрения», Шмид выделяет пять их видов: пространственный, идеологический, временной, языковой и перцептивный.

Четвертая глава книги носит название «Нарративные трансформации: события—история—наррация—презентация наррации». Наиболее влиятельной из всех порождающих моделей нарративного конструирования Шмид признает выдвинутую русскими формалистами дихотомию «фабула—сюжет». Он достаточно подробно останавливается на теоретических разработках В. Шкловского, М. Петровского и Б. Томашевского, Л. Выготского, после чего переходит к рассмотрению понятий «история» и «дискурс» (аналогов понятий «фабула» и «сюжет») во французском структурализме, заслугой которого, с точки зрения Шмида, стало «преодоление формалистского редукционизма» (с. 154). Недостатком формалистских концепций фабулы и сюжета Шмид считает «антисубстанциализм мышления формалистов» (с. 150), который проявлялся в том, что, «как бы фабула ни определялась, она представала как нечто подчиненное, смысл которого сводится к тому, чтобы служить основой отстраняющему сюжету. Фабула была важна только как нечто подлежащее преодолению, как нечто сопротивляющееся деформации, но не рассматривалась как самоценное явление» (с. 150). Французские структуралисты (Ц. Тодоров, Р. Барт) «перестают видеть в „истории" лишь материал и признают за ней художественное значение» (с. 155).

Далее Шмид рассматривает развившиеся из дихотомий русских формалистов и французских структуралистов трехуровневые модели таких теоретиков, как Ж. Женетт, Ш. Риммон-Кенан, М. Бал, Х. А. Гарсиа Ланда. В обобщенном виде эти модели приобретают вид триады «событие—история—изображение (текст) истории». Сам же Шмид предлагает и дихотомию, и триаду заменить моделью в четыре уровня:

1. *События* (совокупность ситуаций, персонажей и действий, содержащихся в повествовательном произведении, т. е. фикциональный материал, служащий для нарративной обработки).

2. *История* (результат смыслопорождающего отбора ситуаций, действий, лиц и т. д.).

3. *Наррация* (результат композиции, организующей элементы событий в искусственном порядке).

4. *Презентация наррации* (итоговый текст произведения, т. е. передача наррации средствами языка).

При этом первые два уровня модели (события и история) соответствуют фабуле/истории, а последние два (наррация и презентация наррации) — сюжету/дискурсу.

В пятой главе книги «Текст нарратора и текст персонажа» Шмид говорит о том, что «повествовательный текст слагается из двух текстов, текста нарратора и текста персонажей. Если первый формируется в процессе повествования, то последний мыслится как существующий уже до повествовательного акта и только воспроизводимый в течение его» (с. 195). При этом нарратор может менять текст персонажа тем или иным образом, в том числе приспосабливая чужую речь к своему речевому кругозору, что происходит, как правило, в сказовом повествовании. Другим видом субъективного повествования, помимо сказа, является текстовая интерференция, возникающая «вследствие того, что в одном и том же отрывке повествовательного текста одни признаки отсылают к тексту нарратора, другие же — к тексту персонажа» (с. 199), что создает эффект сосуществования этих текстов. Наиболее распространенные формы текстовой интерференции — несобственно-прямая и косвенная речь. Все указанные понятия — и сказ, и текстовая интерференция, и несобственно-прямая речь, и косвенная речь — получают в работе Шмида подробнейшее объяснение с приведением характерных признаков и возможных классификаций.

Последняя глава книги носит название «Эквивалентность». В ней Шмид рассматривает проблему связи элементов повествовательного текста, которая бывает двух типов: временна́я (собственно временна́я или причинно-следственная) и вневременна́я, т. е. организованная по принципу эквивалентности. Под эквивалентностью понимается «равенство по какой-либо ценности, по какому-либо значению», а «в повествовательной прозе такая ценность, такое значение представляют либо *тематический признак* повествуемой истории, объединяющий две или несколько тематических единиц помимо временны́х или причинно-следственных связей, либо *формальные признаки*, выступающие на различных уровнях нарративной струк-

туры [эквивалентность персонажей, ситуаций и действий]» (с. 241). Эквивалентность включает в себя два типа отношений: *сходство* и *оппозицию*, которые «можно определить как связки совпадений и несовпадений относительно тех признаков, которые являются в данном контексте актуализированными» (с. 242).

При этом «преобладание временны́х отношений над вневременными является конститутивным для всех нарративных текстов. Эта иерархия переворачивается с ног на голову в орнаментальной прозе: там временна́я последовательность нередко редуцирована до минимального состояния, где отдельные моменты уже не соединяются в сплошную линию событийного характера» (с. 245). «Орнаментальная проза — это не поддающийся исторической фиксации результат воздействия поэтических начал на нарративно-прозаический текст» (с. 263).

Даже этот беглый обзор содержащегося в книге материала ясно показывает, что автор не претендует на какую-то совершенно новую концепцию нарратологии. Он, скорее, считает нужным скорректировать те моменты, которые кажутся ему недостаточно разработанными, прояснить те, которые представляются ему спорными, и одновременно систематизировать весь имеющийся у него материал. В то же время сведение даже известных и разработанных фактов литературоведения в единую систему представляется в высшей степени значительным трудом. Ведь обобщение материала не значит только лишь объединение разрозненных сведений под одной обложкой. Это одновременно и переход на новый уровень осознания тех или иных фактов в ряду им подобных. Таким образом, при систематизации материала происходит его осмысление на новом уровне, сопровождающееся трансформацией количественных характеристик знания предмета в качественные. И в этом проявляется масштаб личности автора, поскольку надо обладать известной широтой мысли, чтобы обобщить знания нескольких предыдущих поколений исследователей и при этом не примитивизировать их. С этой точки зрения Шмид становится в один ряд с такими исследователями, как, например, Б. В. Томашевский («Теория литературы. Поэтика») и Д. С. Лихачев («Развитие русской литературы X—XVII веков»), труды которых до сих пор считаются замечательными примерами обобщения научной мысли.

Конечно, подобное обобщение приводит и к некоторым издержкам: в книге Шмида оказалось много знакомого и зачастую очевидного. Например, вряд ли кто-нибудь, пусть даже наивный читатель-филолог, станет отождествлять Наполеона — героя «Войны и мира» Толстого — с реальной исторической личностью. Тем не менее, определяя фикциональность произведения, Шмид на нескольких страницах подробнейшим образом объясняет, почему Наполеон Толстого — «квазиисторическая фигура» (с. 32). Сначала скрупулезность автора в описании по сути общих мест теории литературы удивляет. Однако по мере чтения становится ясно, что избежать ее в подобном произведении никак нельзя, чему, кажется, есть две причины. Первая кроется в самой книге, вернее, в интенции ее автора, который, как было сказано выше, дает фронтальную характеристику всей дисциплины, а значит, вынужден одинаково подробно останавливаться как на новаторском, так и на очевидном. Вторая причина, более существенная, заключается в том, что Шмид является одним из ярчайших представителей западного литературоведения. На этом стоит остановиться подробнее. Обратимся к первой части четвертой главы «Нарратологии», посвященной понятиям фабулы и сюжета в русском формализме, точнее, к тому ее эпизоду, в котором рассматривается позиция В. Шкловского.

Кажется, именно эти строки можно считать идеологическим центром книги. Ведь здесь, в пределах всего нескольких абзацев, раскрываются сложности, которые возникали в ходе диалога русского и западного литературоведения. Уже во введении Шмид тактично затрагивает актуальную проблему: достижения русских и — шире — славянских литературоведов, к сожалению, недостаточно известны на Западе. И сам Шмид отлично понимает, что между западным литературоведением и русским литературоведением пролегает граница, которую он и пытается преодолеть с помощью своей книги, взяв на себя роль своеобразного медиатора между двумя культурами. По словам самого Шмида, «книга призвана ознакомить русских читателей с выдающимися теоретическими позициями западной нарратологии. С другой стороны, автор уделяет особое внимание влиянию славянских теоретиков на формирование актуальных нарратологических позиций и старается выявить теоретический потенциал тех славянских концепций, которые еще недостаточно известны на Западе» (с. 9).

Но, несмотря на то что, верный своим целям, Шмид в своей книге старательно чередует теории западных и русских литературоведов, демонстрируя, что и те и другие вместе способствовали развитию науки, ему не удалось до конца разрушить барьер между ними, обусловленный коренным их различием. Сам Шмид не пытается определить это различие, но оно представляется не методологическим, а, скорее, мировоззренческим, зависящим от отношения ученых к предмету своего исследования, обусловленного исторически сложившимися в рамках той культуры, к которой они принадлежат, взглядами на окружающую действительность.

Итак, вернемся к выделенному нами эпизоду: «В. Шкловский не ставил перед собой задачи построения целостной нарратологической теории или описания отдельных нарративных уровней. Он интересовался только

сюжетом, причем сюжет для него представлял собой не готовый продукт, а энергию, процесс сюжетосложения, „форму"». И далее: «Классическое в раннем формализме определение отношения фабулы и сюжета дано Шкловским как бы мимоходом в статье о Стерне» (с. 146).

Во-первых, стоит отметить, что этот эпизод начинается словами, в которых косвенно выражена истинная задача самого Вольфа Шмида, так и не сформулированная в начале книги и спрятавшаяся за скромными оговорками. Очевидно, что в словах о том, что Шкловский не ставил перед собой тех или иных задач, чувствуется противопоставление, второй элемент которого остается неназванным. Но вся книга оказывается подтверждением того, что Шмид противопоставляет Шкловскому себя самого. Ведь она как раз и является решением «задачи построения целостной нарратологической теории» и «описания отдельных нарративных уровней». Истинная цель работы Шмида гораздо масштабнее заявленной во введении: его книга стремится к всеохватности. Автор не может оставаться в собой же установленных рамках и в результате создает книгу с системным взглядом на дисциплину.

Во-вторых, нельзя не заметить того, как определяет Шмид принцип выработки определения самим Шкловским — «как бы мимоходом». И вряд ли кто-то поспорит с тем, что это принцип не только и не столько Шкловского, сколько всего русского литературоведения в целом, вне зависимости от метода или школы.

Итак, с одной стороны целостность теории, с другой — «как бы мимоходом». В этом проявляется то, что можно назвать дискурсивным отличием западного литературоведения от русского, в котором мы находим скорее импликацию теории, а не ее экспликацию, как в западном. Русское литературоведение — это именно *литературы ведение*. Главенствующее место здесь занимает литература, художественные произведения. Подобное трепетное отношение автора к предмету его исследования не может не отразиться на формальной организации самой исследовательской работы, которая так или иначе начинает тяготеть к художественному тексту, перенимая постепенно его характерные черты и обретая дополнительные смыслы. Западное же академическое литературоведение, особенно в немецком его варианте, носит строго научный характер, и не случайно в своем структуральном изводе оно сближается с лингвистикой. Вообще, в переводе на русский язык эту западную дисциплину можно было бы назвать и не литературоведением вовсе, а, скорее, лингвистикой текста. В западном литературоведении, для многих его направлений, теория самоценна, а литература рассматривается лишь как доказательство, подтверждающее научные тезисы. И это также не могло не обусловить некоторые дискурсивные особенности западных работ по теории литературы. Возьмем, например, ту же «Нарратологию»: отличительная черта этой книги — редкое обращение к примерам из художественной литературы. Казалось бы, книга написана о литературе и для литературоведов, но литература как таковая в ней отсутствует. Художественный текст скорее появляется здесь как повод для теоретического рассуждения, а не как объект исследования. Но в том-то и дело, что недостаточность цитирования как особенность западного теоретического дискурса воспринимается таковой лишь русским читателем и только на фоне предшествующей русской литературоведческой традиции. Ведь русское литературоведение *литературоцентрично*, и основа для классической литературоведческой работы русского автора — текст художественного произведения. У того же Шкловского, в той самой работе «Искусство как прием», которую цитирует Шмид в своей книге, для анализа приема остранения дается несколько страниц цитат из произведений Толстого. Вряд ли будет преувеличением сказать, что менее чем на двадцати страницах эссе Шкловского цитат из произведений литературы содержится больше, чем во всей книге Шмида.

Шкловский-формалист противопоставлял себя предшественникам. Действительно, он был новатором, если область сравнения ограничивать отечественным литературоведением. Но если выйти за эти рамки, получается, что, будучи новатором, он, в принципе, оставался в пределах традиции русского литературоведения. Метафорически он объяснял отличие своего метода так: «Если провести заводскую параллель, то я интересуюсь не положением мирового хлопчатобумажного рынка, не политикой трестов, а только номерами пряжи и способами ее ткать». В контексте противопоставления западного и русского литературоведения можно сказать, что не только Шкловского, но и его предшественников, современников и последователей интересовала сама материя, тогда как их западных коллег — весь хлопчатобумажный рынок.

Нельзя не отметить и еще одну особенность теории Шмида: ее очень трудно приложить к какому-либо конкретному тексту. Отчасти, пожалуй, этим можно объяснить и редкое обращение к литературным произведениям. Дело в том, что эта теория основана на обобщении, а значит, не учитывает своеобразия каждого конкретного текста. Говоря словами самого Шмида, он приводит «модели, основывающиеся на общих чертах многочисленных оппозиций» (с. 31). И в этом опять же проявляется сходство западной теории с лингвистикой, которая, в отличие от литературоведения, входящего, несомненно, в число гуманитарных наук, сближается по своим методам с естественными науками. Ведь, скажем, как биолог изучает ту или иную особь лишь для того, чтобы на ее при-

мере выявить общие характеристики вида, рода, семейства и т. д., так и лингвист стремится классифицировать известные ему явления языка, выработать определенные правила и свести к минимуму число досадных исключений (как, например, в правилах орфографии). А литературовед проводит свое исследование с прямо противоположных позиций: для него каждый текст неповторим и индивидуален, и изучать его надо именно с этой точки зрения. И это роднит литературоведение не с наукой даже, а, скорее, с искусством.

Но значит ли это, что западная теория литературы и отечественное литературоведение находятся по разные стороны барьера? Вовсе нет. И это очень хорошо показано в книге Вольфа Шмида, который все же объединяет под одной обложкой две традиции литературоведения и показывает, как они, каждая своими методами, делают общее дело. И это придает книге совершенно особый статус, поскольку в ней за изложением различных частных теорий прячутся глубокие размышления автора об актуальных проблемах современности.

ХРОНИКА

К 250-летию МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

30 июня 2005 года в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН состоялось расширенное заседание Сектора по изучению русской литературы XVIII века, посвященное 250-летию Московского университета. В заседании, помимо сотрудников научных учреждений Петербурга, приняли участие ученые из Томска, Череповца и Иерусалима. Все доклады сопровождались оживленной дискуссией.

Заседание открыла вступительным словом заведующая Сектором Н. Д. Кочеткова. Было отмечено, что основание Московского университета повлияло на русскую культуру XVIII века в целом, и не только потому, что в нем обучались многие писатели, переводчики, ученые и т. д. Следствием создания Московского университета стало возникновение в России двух культурных центров, постоянно взаимодействовавших: Москвы и Петербурга. По предложению Н. Д. Кочетковой, минутой молчания присутствующие почтили память члена бюро Российского общества по изучению XVIII века Е. Б. Мозговой.

Предметом доклада И. З. Сермана (Иерусалим) «Ломоносов о „регламенте" студентов Московского университета» стала роль М. В. Ломоносова в составлении регламента университета 1755 года. Не отрицая роли И. И. Шувалова в составлении этого документа, докладчик рассмотрел ряд замечаний Ломоносова, старавшегося использовать собственный опыт, почерпнутый во время учебы в Марбурге в 1741—1743 годах. Именно этим опытом И. З. Серман объяснил принципиальную позицию Ломоносова, призывавшего не вводить в университете богословский факультет (такое мнение было высказано им еще в 1748 году касательно университета при Петербургской академии наук). Кроме того, Ломоносов выступал за значительные университетские вольности, а также за разрешение широкому кругу сословий быть студентами.

Ф. З. Канунова (Томск) в своем докладе «От философии нравственности к философии истории. Роль Московского университетского благородного пансиона в становлении В. А. Жуковского» рассмотрела учебную программу университетского благородного пансиона как источник мировоззрения и философских и исторических интересов зрелого Жуковского. Было отмечено два основных момента. Во-первых, значительна роль в пансионской программе философских трудов, причем явно прослеживается тенденция к пониманию философии как интуитивного творчества. В частности, по-видимому, именно с обучением в пансионе связан интерес Жуковского к творчеству Руссо, которого он активно читал в 1810-е годы, оставляя в принадлежащем ему издании множество маргиналий. То, что у Жуковского в это время был свой взгляд на Руссо, определившийся еще во время учебы в пансионе, показывает сопоставление этих маргиналий с известным по воспоминаниям кругом чтения братьев Тургеневых в конце 1790-х годов. Также с обучением в пансионе связан интерес Жуковского к истории, в которой он, как и Карамзин, видел источник нравственного воспитания. Именно этот интерес послужил толчком к появлению помещенных в «Вестнике Европы» переводов из И. Мюллера (1810).

И. А. Айзикова (Томск) в докладе «Ученическая проза воспитанника Московского университетского пансиона В. А. Жуковского» стремилась показать, как в ранней прозе Жуковского, появлявшейся одновременно с его первыми поэтическими сочинениями, складывалась стилистическая и жанровая система, отразившаяся в его более поздней лирике. Так, миниатюру «Мысли на кладбище» можно рассматривать как первый подход к переводу «Сельского кладбища» Т. Грея. Несмотря на традиционный классицистический характер этих сочинений (скорее всего, они выполнялись в рамках учебной программы), в них можно наблюдать смешение жанров, особенно одической и элегической стилистики. Доклад вызвал оживленную дискуссию об ученическом характере прозы Жуковского и об ученической прозе конца XVIII—начала XIX века в целом. В выступлениях С. И. Николаева, А. А. Костина и других было предложено рассматривать ранние прозаические сочинения Жуковского в первую очередь именно как учебные задания. Так, множество «мыслей на кладбище» встречается в периодических изданиях, составлявшихся из работ студентов Харьковского университета в 1800-е годы. Символичность этой прозы, где часто весь текст строится как раскрытие одной метафоры, также следует рассматривать как проявление ее ученического характера: овладение различными тропами было обязательной частью школьного курса.

Р. М. Лазарчук (Череповец) в своем докладе «Новое из биографии выпускника Московского университета В. Д. Санковского»,

ставшем результатом кропотливой работы во многих центральных и провинциальных архивах, рассказала о ранее неизвестных фактах последнего периода жизни литератора и издателя журналов В. Д. Санковского. После смерти покровительствовавшего Санковскому ярославского наместника А. П. Мельгунова, знакомство с которым относится ко времени учебы Санковского в Московском университете (1765 год), он был переведен на службу судьей нижней расправы в захолустный Яренск. В Яренске новый судья снискал нелюбовь жителей, на него неоднократно подавались жалобы, часто необоснованные. В 1796 году, когда суды нижней расправы были преобразованы в уездные суды, Санковский лишился места судьи и стал в новом суде только заседателем. Скорее всего, причиной стало то, что он имел недостаточный для занятия должности судьи чин; кроме того, у него были проблемы со здоровьем: так, в 1797 году по состоянию здоровья он ни разу не пришел на службу, а в 1798 году был всего дважды. 10 мая 1798 года Санковский скончался, чему, возможно, поспособствовало судебное разбирательство с крестьянами его зятя, обвинявшегося ими (видимо, обоснованно) в плохом обращении. В докладе было уточнено время рождения Санковского, а также сообщены сведения о его жене и детях.

После перерыва заседание продолжил доклад А. Ю. Веселовой (Петербург) «Связи Н. Е. Струйского с Московским университетом». Доклад был посвящен некоторым малоисследованным аспектам биографии и творчества Н. Е. Струйского — поэта, имеющего в истории русской литературы репутацию графомана. В первой части доклада были проанализированы свидетельства о возможных личных связях Струйского с учениками и преподавателями гимназии Московского университета (обращения Струйского в стихах к Ф. Г. Карину, С. Г. Домашневу и Н. Н. Поповскому, владельческие надписи на его книгах и т. д.). Вторая часть была посвящена проблеме творческой преемственности Струйского по отношению к поэтам круга М. М. Хераскова. На материале анакреонтической лирики Струйского был сделан вывод о том, что в творчестве поэта некоторые особенности лирики, выработанные поэтами херасковского круга (например, тяготение к многочисленным повторам разного типа, отмеченным Г. А. Гуковским), были развиты до предела и даже утрированы. Таким образом, сделанные в докладе наблюдения позволили утверждать, что лирика Струйского не только является эпигонской по отношению к поэзии Хераскова и поэтов его круга, но и может быть использована при анализе их творчества как сосредоточившая в себе ряд специфических черт.

В докладе Н. Д. Кочетковой (Петербург) «Херасков — автор и адресат литературных посвящений» рассматривались посвящения Хераскова к своим сочинениям, которые являются фактами не только творческой, но и личной биографии. Первое посвящение Хераскова — в сборнике «Новые оды» (1762) — обращено к «разумной россиянке» Е. Р. Дашковой; в этом стихотворном посвящении автор обращается к ней не только как к влиятельному лицу, но и как к литератору. Сборник «Нравоучительных басен» (1764) посвящен, очевидно намеренно анонимно, «М. Г.» («Милостивому Государю» или «Милостивой Государыне»). В дальнейшем Херасков посвящает свои сочинения только монархам или влиятельным вельможам. В 1779 году Херасков посвящает «Россияду» Екатерине II; впоследствии текст этого посвящения им несколько раз менялся — в 1786 году в «Эпических творениях» (возможно, в связи с начавшимися преследованиями московских масонов) и в 1796 году в «Творениях». Вышедшую в 1797 году вторую книгу «Творений» Херасков посвятил уже Павлу I и снял у соответствующих сочинений, помещенных в этом томе, посвящения Потемкину, Орлову и Дашковой. Посвящения Павлу, проявившему милость к преследовавшимся ранее масонам, у Хераскова носят менее формальный характер, чем посвящения Екатерине. Были также рассмотрены посвящения самому Хераскову, из которых особенно интересно посвящение в изданной в 1782 году Н. И. Новиковым «Апологии» Ф. д'Арка, в котором Херасков восхваляется как писатель, воспитатель юношества, а также намеком упоминается о его принадлежности к масонскому ордену.

М. П. Лепехин (Петербург) в докладе «Д. С. Аничков в отечественной историографии» рассмотрел историю исследования дела о диссертации «Рассуждение из натуральной богословии» (1769), а также уделил внимание характеристике самого Аничкова. Докладчик проследил историю вопроса на всем ее протяжении — от словаря Евгения (Болховитинова) до новейших исследований. Как показал докладчик, это история создания и развенчания мифа. По-видимому, сожжение тиража диссертации имеет в основе реальные события: был уничтожен первый тираж, но не по религиозным, а по чисто формальным соображениям. Кроме того, автором диссертации, скорее, следует считать не Аничкова, а И. А. Третьякова, тезисы отклоненной в 1768 году диссертации которого дословно перекликаются с тезисами Аничкова. Защита диссертации была нужна Аничкову для занятия профессорского места, но сам он написать ее вряд ли мог, поскольку был перегружен работой: в 1769 году он читал несколько курсов, а также был ректором обеих гимназий.

В небольшом сообщении А. А. Костина «Эпизод из истории Московского университета (ссора М. М. Хераскова с И. Г. Рейхелем)» на основе материалов РГАДА было рассказано о ссоре, произошедшей в декабре 1765 года между директором Московского универси-

тета Херасковым и профессором Рейхелем в связи с указом о составлении штата университета. Суть конфликта заключалась в следующем: Херасков, ссылаясь на существующее российское законодательство, полагал, что невозможно составление штата подчиненными без участия непосредственного начальства (в указе было сказано, что штат должны составить профессора, но ничего не говорилось о директоре). Профессора же, пытаясь, скорее всего, добиться в данном случае большей автономии профессорского собрания, повернули дело таким образом, что Херасков оказывался виновным в невыполнении высочайшего повеления — дело, подсудное Сенату. Реакция Хераскова на просьбу выдать нужные для составления штата бумаги (он расценил это как попытку его смещения) была, видимо, связана со знакомством Хераскова с проектом штата 1765 года, в котором предполагалось заменить назначаемого свыше директора избираемым из числа профессоров ректором.

Завершая заседание, И. З. Серман отметил, что обсуждавшиеся на заседании вопросы важны для изучения русской культуры XVIII столетия в целом.

© *А. А. Костин*

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДЕЛО СЛУЧАЯ... СЛУЧАЙ И СЛУЧАЙНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ И В ЖИЗНИ»

Культурно-просветительское общество «Пушкинский проект» совместно с Государственным музеем-заповедником «Михайловское» 6—10 июля 2005 года провели Международную научную конференцию под названием «Дело случая... Случай и случайность в литературе и в жизни». Международные научные конференции (летние и зимние) в Пушкиногорье стали уже традиционными; до этого на обсуждение выносились такие темы, как сновидения, путешествие и дорога, проблемы власти, суггестия и проч. в русской и зарубежной литературе и искусстве.

Участникам этой конференции был предложен к обсуждению следующий круг тем: случайность как философская проблема и история взглядов на случайность; функция случая и роль случайности в литературных сюжетах и литературных жанрах в литературе различных эпох.

В конференции приняли участие ученые из России, ближнего и дальнего зарубежья. Наряду с докладами, проблематика которых укладывалась в границы традиционных гуманитарных дисциплин, на конференции прозвучали доклады, демонстрирующие возможности пересечения этих границ. Доклады охватывали широкий материал — от XVIII века до исторического авангарда.

Ю. Н. Белова (С.-Петербург) в докладе «Антуан Ватто: имитация случайности как творческий метод» продемонстрировала, что в созданной Ватто «аркадской идиллии», отдаленной во времени и пространстве, незапланированные совпадения, связанные с импровизационным методом работы художника, формируют такую последовательность, где вереница событий задается логикой чуда. Фабула картин развивается от одной случайности к другой, без логически прослеживаемой аргументации, в достаточно условном пространстве, как в хорошо отрепетированном и сыгранном спектакле. Театральная атмосфера создана Ватто при помощи театральных кодов и сценического языка commedia dell'arte с ее «незаданной» игровой ситуацией.

В докладе «Игра любви и случая во французском галантном романе XVIII века» И. В. Лукьянец (С.-Петербург) шла речь об отношении к проблеме «случая» у «легких» писателей французского рококо, чьи аргументы «за» и «против» свободы воли звучали в свое время не менее громко, чем споры энциклопедистов. Если Мариво проповедует доверие собственному сердцу, которое распознает благой случай, то для его оппонента Кребийона-сына «случай» — это опаснейшее состояние, когда человек оказывается зависим от своей материальной природы, своих инстинктов и может стать игрушкой соблазнителя-манипулятора, знающего эту природу. Обоих авторов, при всех различиях, объединяет моралистический пафос, и им противопоставляется более глубокий роман «Опасные связи» Шадерло де Лакло, где теория либертена оказывается неспособна охватить все возможные «случаи».

Несколько докладов на конференции было посвящено биографии и творчеству Пушкина. В докладе С. А. Кибальника (С.-Петербург) «„Бог изобретатель" или „орудие Провидения". (Тема случая в творчестве Пушкина)» прослежены три основных трактовки темы «случая» в творчестве Пушкина: случай как «бог изобретатель», как проявление закономерности и как «мощное, мгновенное орудие Провидения».

О тайных шифрах «Бориса Годунова» говорил Л. Димитров (Болгария, София). В его докладе «Случай „Бориса Годунова": эксгумация смысла» прозвучало, что траге-

дия Пушкина предназначалась ограниченному кругу читателей и, возможно, содержала скрытые послания и семантические каламбуры (от проекций центральных героев на евангельского Иисуса до нумерологии), кажущиеся «случайными» непосвященным.

В докладе О. Н. Гринбаума (С.-Петербург) «Была ли случайной гибель Ленского, или Ритм как поэтический буревестник» были рассмотрены вопросы, связанные с одним из наиболее драматичных эпизодов пушкинского романа. Используя собственный ритмико-гармонический метод изучения динамики поэтических текстов, исследователь показал, что начало эпизода дуэли («элегия Ленского») характеризуется скачком ритмико-гармонической точности, аналогичным тому, что происходит с частотой колебаний нейронов мозга при смене эмоциональных состояний человека. И если в индивидуальном прочтении элегия Ленского звучит именно «темно и вяло», то в контексте шестой главы она определяет собой контрапунктивный, доминантный центр эмоционального движения поэтической мысли. Именно эта чувственная сторона движения и предопределила, по мнению исследователя, то музыкальное решение, которое Б. В. Томашевский назвал «возвышающей интонацией» арии Ленского в опере Чайковского.

О. С. Муравьева (С.-Петербург) (доклад «„Не говорите: иначе нельзя было быть": „Случай" и проблемы биографии Пушкина») рассмотрела «судьбоносные» вопросы в биографии Пушкина (мог ли Пушкин не поступить в Лицей? могли его не выслать из Петербурга на юг, а затем в Михайловское? мог ли он быть подвергнут суровым репрессиям по делу декабристов? и т. п.), определяя, велика ли возможность того, что эти события могли не произойти. В целостной биографии поэта, по мнению исследовательницы, все не случайно, кроме рождения и смертельной раны на дуэли.

Проблему «случайного» в «михайловской» биографии Пушкина развил А. О. Коржов (Пушкинские Горы) в докладе «„Иль быстрый заяц меж полей": К вопросу о роли примет в жизни Пушкина».

«Пушкинскую» тему конференции продолжил С. В. Денисенко (С.-Петербург) в докладе «Пушкин как случай: Б. Лавренев и его повесть 1936 года „Комендант Пушкин"». Исследователь рассмотрел функционирование случая в сюжете — в частном его варианте ономастического тождества. Вообще, по мнению докладчика, «случай» представлен в малой прозе Лавренева как травестированное проявление античного Рока, воплощающего высшее предопределение (или волю богов). Рок не мотивируется, он не объясним, он не должен быть объясняем. Так же как «случайно» у Пушкина Германн оказывается перед домом Графини, «случайно» перепутан жених в «Метели» и т. д., у Лавренева правила авторской немотивированности «случая» (или псевдо-мотивированности) всегда строго соблюдаются.

С. А. Савицкий (С.-Петербург) (доклад «Смыслы неожиданности: „Славянка" Жуковского») задался вопросом: ограничивается ли объяснение поэтического маршрута случайностью в понимании теоретиков пейзажного сада? Неожиданная смена видов и переживаний — одна из целей и механизмов прогулки сентименталистской и романтической эпох. «Славянка» же, по мнению исследователя, — прогулка по пейзажному парку, т. е. по пространству, организованному как галерея пейзажной живописи. В то же время «объекты изображения» Жуковскому были «заданы» высочайшим заказчиком — императрицей Марией Федоровной.

Е. Н. Григорьева (доклад «Случай и случайность в прозе А. А. Бестужева-Марлинского («Страшное гадание»)») проанализировала отношение к случаю как к проявлению случайности. По мнению исследовательницы, «случай» всегда тяготеет к одному из полюсов — от осознания полной детерминированности до полного отказа от нее. Повесть Марлинского в полной мере репрезентирует характерный для признанного в русской литературе романтика вариант взаимоотношения случайности и детерминированности. Однако мотивный анализ позволяет увидеть в разработке конфликта повести не освоенный еще русской прозой романтизм: картина мира, взаимоотношения человека и верховных сил бытия оказываются вполне рационалистичными и исключают свойственные романтизму дихотомии и неразрешимые противоречия субъективного и объективного, единичного и всеобщего, случайного и закономерного. Стилистическое оформление текста Марлинского, «быстрые переходы» сюжетостроения, случай-событие обещают читателю моделирование диалектически непредсказуемой картины мира, совмещающей противоположности.

И. Л. Днепрова (С.-Петербург) (доклад «Случай и случайность в жизни и творчестве Х. К. Андерсена») показала, что в творчестве Андерсена случайность исключена уже потому, что «Бог все видит и направляет к лучшему». Протестантский детерминизм в своем пределе порождает у поэта ощущение избранничества (Андерсен считал себя «соработником» Бога, знающим его волю и ей помогающим), а собственной жизни — как сказки. Это мироощущение и определяет смысловые доминанты творчества: цепь случайностей в сказках Андерсена всегда оказывается проявлением закономерности и дает награду по заслуге.

Е. К. Созина (Екатеринбург) в докладе «О природе случайности в пьесах А. Н. Островского» показала, что либо фольклорный, либо религиозно-христианский детерминизм определяет развитие действия в ряде ранних пьес Островского. Этот детерминизм у Островского воплощается в моральной заповеди, к

необходимости соблюдения которой волей случая неизбежно приводятся герои. Вторжением спасительного случая в жизнь персонажей заведует автор, выступающий здесь в роли своеобразного *deus ex machina* и иногда передоверяющий функцию по спасению и облагодетельствованию жертв общественного произвола своим метаперсонажам — резонерам и комментаторам. Благодаря авторской иронии создается необходимый баланс художественности; комедия испытывает трансгрессию к драме, не превращаясь, однако, ни в нее, ни в трагедию, а «высокое», сохраняя свой статус, обнаруживает сугубо комическую подкладку.

К. Алавердян (Бельгия, Брюссель) в докладе «Случайность и необходимость в романе Л. Н. Толстого „Война и мир"» поставила целью рассмотреть, какие виды случайности и необходимости и в какой взаимосвязи реализуются в романе Толстого. По мнению исследовательницы, многочисленные «совпадения» (кн. Андрей оказывается на соседнем операционном столе с Анатолем; встреча Николая Ростова и княжны Марьи в Богучарове и ее спасение и т. п.) указывают на то, что для Толстого «случай» выступает как самоценная пружина интриги, а психология призвана всего лишь оправдать «невозможность» этих совпадений. В докладе была предложена типология подобных оправданий (герой сам не верит случившемуся, суеверное предчувствие героя и т. п.).

«Толстовскую» тему «случайного» продолжила О. В. Сливицкая (Москва) в докладе «Фактор случайного в движении жизни: „Анна Каренина"».

Темой доклада И. О. Ермаченко (С.-Петербург) стал «Сюжет внезапного столкновения с врагом в русском военном очерке и рассказе 1904—1905 годов». Желая оправдать поражения русских войск, российская пресса и беллетристика изобретают сюжет о внезапном столкновении русского чудо-богатыря со «странным» врагом. Оправдывающий поражения «своих» «фактор случайности», по мнению историка, пронизывает и другие разновидности литературы того времени: шпионский рассказ, повествования об «ожидаемой случайности», «неожиданной реакции в ожидаемых условиях» и др.

В докладе «„Оказион". Тематизация „случайного" в литературе модернизма» Н. Ю. Грякалова (С.-Петербург) рассмотрела способы репрезентации/текстуализации случая/случайного на нескольких примерах («Случайные рассказы» А. В. Амфитеатрова, рассказы А. М. Ремизова «Глаголица» и «Оказион»). Автором выстроена траектория литературного движения от натуралистской/позитивистской апологии «частного случая», «странного случая» и приоритета «правды жизни» перед вымыслом (Амфитеатров) к игровой стратегии Ремизова через редукцию «сюжета», «композиции», «вымысла» как репрезентантов «случая». В намеченной перспективе случайность в модернизме осмысляется как смыслопорождающая категория, берущая на себя организацию символического пространства текста, оправдывающая свободу авторского выбора и авторский «произвол» (в отборе жизненного материала, в организации текста, в переосмыслении статуса жанров и самого «автора»), а «случайное» из онтологической категории превращается в категорию антропологическую, текст — в форму организации случайности.

Темой доклада О. А. Кузнецовой (С.-Петербург) стал «101 рассказ о большом балете» Дж. Баланчина. Хореограф вводил в свои постановки случаи, произошедшие на репетиции (например, опоздание балерины), или выводил танцоров на сцену в трико, когда не было денег на костюмы. «Случайность» замысла и композиции задавала сложную задачу интерпретаторам, но это не останавливало исследователей, прибегавших, например, к эзотерическим учениям в стремлении понять цикл одноактных балетов «Драгоценности».

Доклад И. А. Калинина (Москва) «Случайное, странное, страшное, жуткое. Поэтика возвышенного в ранних работах русских формалистов» был посвящен взаимопереходам указанных в названии категорий в «Сентиментальном путешествии» В. Шкловского. В условиях постреволюционного разрушения быта и уничтожения привычного формалистски эстетизируется весь ставший «недомашним» мир. Для Шкловского — «чем страшнее, тем художественнее», причем страшное становится частным случаем странного, а странное (нарушение ожидания) неотделимо от случайного (нарушения логической каузальности). Книга Шкловского не только может обнажить некоторые корни формальной поэтики, но и рисует некий предельный универсум, где господствует принцип возвышенного.

О. Симчич (Перуджа, Италия) («„Взрыв" в культуре у Лотмана и „случай" в литературе») продемонстрировала на примерах из творчества Пушкина, Чехова и Шаламова, как искусство эволюционирует за счет серии «взрывов», которые привносят новые «как будто», расширяют область непредсказуемого, вводят в литературу то, что считалось невозможным. Однако после открытий «взрывных» авторов-новаторов «случайное» постепенно абсорбируется литературой и рано или поздно превращается в литературную условность.

А. Д. Степанов (С.-Петербург) (доклад «Исток случайного у Чехова») обратился к одной из проблем «случайностного» (по А. П. Чудакову) чеховского мира. Множество чеховских героев — это «растерянные люди», которые столкнулись с необъяснимостью и фрагментарностью мира. Мир случаен для героя, потому что для него не работают (оказываются дисфункциональны) знаковые системы и сам язык. На материале рассказа «Гриша» в докладе показано, что одна из

причин такого мировосприятия — травматическое (по Ж. Лакану) вхождение в язык и систему социальных отношений, сопровождаемое неизбежными ошибками, и сохранение в бессознательном взрослого страха такой ошибки, идущего от раннего детства.

И. Л. Альми (Владимир) в докладе «Случай, чудо и предназначенность в художественной концепции А. Грина» показала, что случайность в творчестве Грина естественна, предстает в разных формах, но парадоксальным образом всякий раз зависит от поведения человека. Вереница случайностей подталкивает героиню «Алых парусов» к самореализации и порождает сюжет воздаяния за терпение и веру. В романе «Бегущая по волнам» каприз героини — добежать по воде до острова — оборачивается миссией спасения: случай подсказывает судьбу. В «Дороге никуда» герой находится в ситуации, когда каждый случай приближает к гибели, но он «не сдает главного» и находит счастье перед смертью. Во всех вариантах герои должны доказать свою этическую и эстетическую безупречность, чтобы обрести собственную судьбу и получить воздаяние, а все случаи оказываются не случайными.

В докладе М. Ю. Рябова (Владимир) «Пятно как образ случая и как постмодернистская метафора» случай рассматривался как нечто нерегулярное, незакономерное, могущее иметь одним из своих воплощений в различных текстах образ пятна. Пятно является уникальным «метаозначающим», запускает мнемонический механизм, отсылает нас к своей причине, наделяет ее статусом случайного события. Пятно как философская метафора рассматривается докладчиком на примере текстов Л. Витгенштейна, в которых оно является образом предельно случайным и семантически емким, образом предельной случайности, абстракции. В ранних работах философа это связано со стремлением к предельной точности языка вообще и научного высказывания в частности. В текстах позднего периода пятно как случайность (случайность выбора, случайность причины и «семантического наполнения») иллюстрирует новое отношение Л. Витгенштейна к языку как к случайным языковым играм и интерес мыслителя к «случайному» соотношению между языковой и физической реальностью.

С. Д. Титаренко (С.-Петербург) в докладе «„Случай Э. Сведенборга": природа автоматического письма у Владимира Соловьева и Вячеслава Иванова» рассмотрела проблему «гений и помешательство», обозначенную К. Ясперсом как «случай Сведенборга». Материалом анализа исследования функций символического языка послужили «автоматические» записи В. Соловьева, сохранившиеся как в отдельных заметках, так и на полях рукописей его центральных философских работ. «Автоматические» записи рассматривались исследовательницей как воплощение центральных архетипов символистского сознания.

Е. Н. Остроухова (Новосибирск) в своем докладе «Д. Хармс. „Мы возьмем вымышленные имена": имя персонажа, случай и случайность» показала, что «нагромождение имен» — один из приемов хармсовской поэтики, за счет которого создается ощущение нарочито случайного выбора автором этих имен. «Случайности» у Хармса и обэриутов образуют открытые ряды (серийные накопления фрактальных отрезков), объединенные не фабульной логикой, а спонтанными средствами сериализации по правилам ad hoc; эффект неожиданности срабатывает на ином уровне, нежели в других поэтических традициях (реализма, символизма, зауми и пр.). Имена хармсовских «случаев» провоцируют читательское ожидание развертывания художественного образа персонажа и не оправдывают его по закону неожиданности «случайного».

Доклад «С. Р. Минцлов: поэтика мистического и апология чудесного» П. С. Глушакова (Латвия, Рига) был посвящен творчеству писателя, в прозе которого существенное место занимают мотивы «мистико-инфернальной» сюжетики и нарратив «чудесного». Целый ряд текстов писателя демонстрирует развитие классических литературных сюжетов на явственной аллюзорной и интертекстуальной основе. Мир Минцлова структурирован довольно причудливо: для повествователя не существует ни прошлого, ни настоящего. Роль «случайности» в таком понимании художественной действительности существенно выражена в знаках и концептах «внезапности», «мистического появления/исчезновения», «испуга», «неосознанного и немотивированного ужаса», чуда и пр.

В докладе «Трагедия рока против экзистенциализма (Камю и Фриш, Сартр и Воннегут)» Н. И. Ищук-Фадеевой (Тверь) прозвучало, что в «трагедии рока» сюжет есть история индивидуальной судьбы, а закономерность выступает как случай, выявляющий механизм работы судьбы. В экзистенциализме вводится понятие всеобщей судьбы, а случай осознается как индивидуальный закон всеобщей судьбы. Тем не менее литература XX века знает уникальные сближения двух фундаментальных мировоззренческих систем в пределах одного текста, спровоцированные новым представлением о трагическом и универсализацией принципа трагической иронии.

М. А. Александрова (Нижний Новгород) в докладе «„Чудесный случай" в лирике Булата Окуджавы» рассмотрела функционирование «случая» в качестве «чуда» как выражение «свободной причинности» в лирике Окуджавы.

Д. Н. Ахапкин (С.-Петербург) показал в своем докладе «Творчество как случайность в эстетической системе И. Бродского», что философский иррационализм Л. Шестова

оказал влияние на формирование взглядов И. Бродского — на уровне этической системы и на уровне отдельных образов. Точка зрения Бродского на категорию случайного, определенным образом связанная с шестовской философией, последовательно излагается в одном из последних эссе поэта «A Cat's Meow» («Кошачье мяу»), где «случайность» декларируется как одна из основных составляющих творческой способности. Философские представления о «случайности» Бродский увязывает с представлениями о биологическом устройстве человеческого организма, поставив вопрос о «воплощении» (embodiment) «случайного». Исследователь проанализировал систему взглядов Бродского на «случай» и «случайное», сопоставив эти взгляды с философской традицией, современными научными представлениями о «случайности» (от эволюционной биологии до когнитивных нейронаук), продемонстрировал их преломление в прозе и лирике Бродского.

В заключение состоялся круглый стол под председательством научного руководителя конференции В. М. Марковича (С.-Петербург). Участники конференции пришли к выводу, что в литературе и вообще в искусстве можно выделить несколько основных оппозиций: случайное — необходимое/возможное; случайное — закономерное (провоцирующее «внезапность») и случайное — существенное (провоцирующее «лишнее», «несистемное»). Было отмечено, как с позиции литератора «случайное» действует на читателя (сознательный «минус-прием» автора) и на героя повествования (что является закономерным для автора) — и в том, и в другом случае не осознаются/не знаются причинно-следственные связи явления. Вообще «случай» в литературе и в искусстве, как показала конференция, иногда: 1) способствует становлению характера героев, 2) выполняет сюжетообразующую функцию, 3) решает проблему «авторской интонации». «Случай» — проявление «закономерности» в различных ее ипостасях (в зависимости от литературной традиции, времени): Рока, Судьбы, Провидения и т. п. «Случай» и «случайность» в различных обстоятельствах характеризуются такими понятиями, как нерегулярность, внезапность, непредсказуемость, необъяснимость, дисфункциональность и прочие, а иногда всем комплексом этих понятий.

© *С. В. Денисенко*

ДЕНЬ ФЕДОРА АБРАМОВА В ПУШКИНСКОМ ДОМЕ

В рамках большой юбилейной программы «Дней памяти Федора Абрамова в Санкт-Петербурге», проходивших с 27 февраля по 10 марта 2005 года, Отдел новейшей литературы Пушкинского Дома 28 февраля провел заседание круглого стола, посвященное 85-летию со дня рождения писателя. Перед научным заседанием присутствующие послушали выступление хора Пинежского землячества. Северное звучание песен и речи земляков Ф. А. Абрамова стало своеобразной эмоциональной прелюдией к диалогу участников круглого стола, в котором собственно научные выступления соседствовали с воспоминаниями о писателе, впечатлениями от личных встреч с ним.

Заседание круглого стола открыл доктор филол. наук В. П. Муромский. В начале своего выступления он приветствовал Л. В. Крутикову-Абрамову, благодаря подвижническим усилиям и публикациям которой читатели узнали в последние годы немало нового и интересного об Абрамове. В. П. Муромский отметил, что юбилей Ф. А. Абрамова дает повод еще раз подумать о том, что такое «советский писатель», что мы вкладываем сегодня в это понятие. Иногда говорят, что советская литература, чтобы быть по-настоящему правдивой, должна была перестать быть советской. Творчество Абрамова опровергает это мнение. Он писатель советский, но вместе с тем не иллюстратор, не конъюнктурщик, не сервилист. Кредо Абрамова — писать правду. В своей известной новомирской статье 1954 года он убедительно показал, как не надо писать о деревне, а на подразумеваемый при этом вопрос — как надо? — достойно ответил своей тетралогией. Вот почему Абрамов есть подлинно советский писатель, без мимикрии, без «фиги в кармане», без подделки, несмотря на то что *его* правда, правда писателя Абрамова, далеко не всегда совпадала с партийно-чиновничьим ее пониманием.

Абрамов, продолжал В. П. Муромский, интересен и как тип писателя, как личность. В нем органически соединились, говоря его же словами о Твардовском, крестьянин и интеллигент. Это соединение, в силу своей органичности, дало замечательные плоды. Абрамов — писатель необычный и в том смысле, что он не укладывается в привычные литературно-критические определения и мерки. Его творческое становление шло в русле «деревенской прозы» — одного из самых своеобразных и примечательных направлений русской литературы второй половины XX века. Но в конечном счете эта мерка оказалась для него мала. Под пером Абрамова русский крестьянский Север превратился в обобщенный портрет *всей* России (так же, впрочем, как донской казачий край под пером Шолохова).

Проблемы, волнующие Абрамова-писателя, вырастают из его крестьянского корня, но в итоге расширяются до общечеловеческих. Поэтому прав был С. Залыгин, утверждавший, что «читателю необязательно знать деревню, чтоб собеседовать с Абрамовым».

Нередко Абрамова воспринимают как бытового писателя, что не лишено оснований, если иметь в виду его описания крестьянского труда и быта. Но и эти рамки также тесны для Абрамова. В. П. Муромский напомнил высказывание И. Дедкова о том, что у непреклонного реалиста Абрамова бывают «приступы высокого идеализма», что этот суровый писатель не чужд и «романтическому настроению». В дневнике Абрамова есть такая запись 1975 года: «...каждый идеал — утопия. Но человечество живо только идеалами. На пути к ним оно совершенствуется, возрождается». Нравственными идеалами Абрамова были честь, совесть и правда, т. е. именно то, что позволяет сохранить человеческое в человеке. Поэтому истинные герои его — это подвижники и праведники, великомученики (от Лизы Пряслиной до Махоньки).

Абрамов свободно переходит через жанровые границы. Его пьеса «Один бог для всех», написанная в конце 1950-х годов, малоизвестна. Но проза Абрамова, благодаря театру Л. Додина, стала событием театральной жизни не только у нас, но и за рубежом. Сценической судьбе «Дома», «Братьев и сестер» мог бы позавидовать любой, даже самый маститый драматург. И хотя Абрамов не был драматургом, он тем не менее в полной мере состоялся как театральный писатель. Объяснение столь удачному выходу в сопредельное искусство дал Д. С. Лихачев, заметивший, что в Абрамове (и в писателе, и в человеке) «жило трагедийное начало ⟨...⟩, делавшее его драматургом в повествовательной, романной форме».

Одной из отличительных черт Абрамова как личности была его особая нетерпимость к пассивности и равнодушию в людях. Пожалуй, только у него могло родиться такое определение основной миссии писателя — «поддерживать в духовной форме свой народ». При таком понимании своей миссии Абрамов не мог ограничиться только художественной прозой, а выходил к прямому разговору, к открытому диалогу, к публицистике. Его требовательный вопрос, обращенный к землякам четверть века назад, — «Чем живем-кормимся?» — в материальном и духовном смысле актуален и сегодня.

С полемики начал свое выступление доктор филол. наук В. М. Акимов. Термин «советская литература» был введен в 1922 году. До этого были «пролетарская», «эмигрантская», «буржуазная» и т. д. литературы, обозначавшие разные писательские слои. «А. К. Воронский, — напомнил В. М. Акимов, — в 1922 году ввел этот термин, вкладывая в него то же содержание, что мы вкладываем в течение двух веков в понятие „русская литература"». Это «литература демократических слоев города и деревни». А. К. Воронского называли «Иваном Калитой русской литературы». Пришвин говорил о нем: «Такие, как он, во время литературных пожаров выносят нас из огня на своих плечах». И за это Воронский был трижды репрессирован (в 1927, 1929 и 1937-м). В 1929 году Сталин вложил в понятие «советская литература» совсем другой смысл, тот смысл, который был у нас в течение десятилетий. «Литература Сталинских премий», за некоторыми исключениями, — это и есть советская литература, ушедшая в небытие.

Абрамов первым показал слияние крестьянского и городского измерений нашей жизни, он доказал, что это слияние *неизбежно*, хотя оно и носит драматический характер. Наш национальный дом, который был крестьянским, оказался разрушенным. Но если у В. Распутина и В. Белова последние произведения наполнены отчаяньем, то у Абрамова есть вера в *согласие* жизни. Необходимо, как Михаил Пряслин, осознать, что истинный Дом надо строить в душе: это мучительно трудно, но другого пути к спасению нет. Этот путь и указывает Федор Абрамов.

Канд. филол. наук В. Н. Запевалов отметил, что, по мысли Ф. А. Абрамова, тыл во время Великой Отечественной войны стал настоящим Вторым фронтом, державшимся на деревенской женщине. Сопоставляя творчество В. Крупина и Абрамова, докладчик подчеркнул чувство боли, которое неизменно возникает в раздумьях наших писателей о непонятности русского пути. Ф. А. Абрамов стремился достучаться до душ соотечественников. Что стало с пряслом («Пряслины»), что же стало с этой субстанцией, лежащей в основе станового хребта России? Если Шолохов оплакал казачество, то Абрамов, не без помощи Шолохова, оплакал крушение крестьянской Атлантиды. Последней надеждой Абрамова было Слово с кафедры. Самое главное, что Абрамов запечатлел то, что было и есть в нашем народе — жизнестойкость.

Доктор филол. наук А. А. Горелов поделился воспоминаниями о Ф. А. Абрамове: «Так случилось, что с Федором Александровичем я встретился, когда перешагнул порог университета на экзамене по вступительному сочинению; он сидел за боковым столиком. Я сидел за первым столом, страшно был взволнован ⟨...⟩ Он подошел ко мне, совсем незнакомому молодому человеку, и просто сказал несколько слов: „...Не волнуйтесь, все будет хорошо". И этим влил в меня надежду. Но вплоть до последнего курса университета я с Федором Александровичем не встречался. Я писал дипломную работу, посвященную Шолохову, бесконечно влюбленный в Шолохова, споривший о проблемах его творчества с Федором Александровичем в его шолоховском семинаре на последнем курсе. В это время открылся передо мной материк Абрамова, тот

самый, что вовлек меня в гораздо более значительную жизнь, чем жизнь просто студента, который живет в большом городе в большой стране, которому всегда не хватает какой-то помощи со стороны старшего брата, старшего друга».

Я думаю, сказал далее А. А. Горелов, хорошо, что сегодня все началось с песен, что звучали на Пинеге. Все мы могли осознать в эти минуты широту пространств и того мира, откуда пришел Абрамов, а вместе с тем глубину той истории, которая связует нас этой песней с нашими далекими предшественниками. Ф. А. Абрамов пошел с третьего курса на фронт, собрав целый сборник народных песен, хранящийся в Пушкинском Доме. Он рос среди этого богатства, и оно питало его в течение всей жизни. В годы, когда мы с Федором Александровичем были особенно близки, я заканчивал университет, пришел в аспирантуру. Потом стал работать в фольклористике над созданием «Свода русского фольклора». Мне радостно, что мою статью 1973 года о «Своде русского фольклора» *первым* приветствовал Федор Александрович.

В выступлении доктора филол. наук М. В. Рождественской говорилось о гостеприимном доме Абрамовых, о том, как внимательно, по-доброму относился Ф. А. Абрамов к студентам, о его бескорыстной помощи в издании двухтомника стихотворений Вс. А. Рождественского. После смерти Вс. А. Рождественского долго не мог выйти из печати подготовленный им самим трехтомник стихотворений. Издание все время откладывалось. Встретив случайно Федора Александровича, М. В. Рождественская рассказала ему об этих проволочках. А через несколько дней состоялось заседание фондового совета издательства «Советский писатель», где Ф. А. Абрамов выступил в защиту издания стихотворений Вс. Рождественского. Это выступление оказалось тем решительным шагом, после которого, правда, в несколько сокращенном виде, вышел двухтомник — один из лучших по полноте и подборке стихов. В заключение М. В. Рождественская напомнила и о таком примечательном случае. 9 мая 1965 года, когда стал широко отмечаться День Победы, на филологическом факультете были развешаны фотографии, плакаты, выступало много ветеранов, говорили хорошие слова, и вдруг совершенно неожиданным стало выступление Ф. А. Абрамова. Он вышел и сказал, что это день великой радости, но и великой скорби. Эти слова Ф. А. Абрамова были камертоном совести, нравственности. Ныне отсутствие Федора Александровича очень чувствуется, но чувствуется и его присутствие. «Пусть он будет долго-долго с нами», — сказала М. В. Рождественская.

Выступление доктора филол. наук А. И. Михайлова было посвящено эскизному очерку Ф. Абрамова о С. Есенине, предназначавшемуся для задуманной Ф. Абрамовым книги «Литературные портреты». Обозначив главную тему С. Есенина как пророческое неприятие «железного гостя», писатель указал на гениальное предвиденье поэтом грядущего общепланетарного зла. Докладчик заострил внимание на моменте появления в отечественной литературе XX века сигналов экологической тревоги. «Новокрестьянские поэты» (Н. Клюев, С. Клычков, П. Орешин), заговорившие о ней, не только не были услышаны современниками, но, наоборот, были задавлены злобным гулом пролеткультовских, рапповских и комсомольских поэтов, прославлявших «железного гостя». Стоит вспомнить одни только названия сборников их стихов: «Мы растем из железа» А. Гастева, «Железные цветы» и «Железное цветенье» М. Герасимова, «Стальной соловей» Н. Асеева. Не отставала от поэзии и проза: «Железный поток» А. Серафимовича, «Как закалялась сталь» Н. Островского. «Железной грыжей» назвал Н. Клюев эту гипертрофию прославляемого десятилетиями в советском сознании символа. Эйфорическое отношение к «железному гостю» и одновременно уверенность в том, что Есенин и немногие его современники в неприязни к нему заблуждаются, долго держались в сознании советского человека и в советской литературе. Даже в очерковой книге В. Закруткина «В донской степи» (1974) все еще находим оптимистическое высказывание о есенинском «железном госте» с подчеркиванием «непонимания» поэтом принесенных им в деревню благ. Пассажи о Есенине и его «железном госте» и у Абрамова, и у Закруткина относятся к 70-м годам. Но какое различие! С одной стороны (В. Закруткин), пример отстающего от жизни литературного сознания, а с другой (Ф. Абрамов) — взгляд, напрямую устремленный в жизнь, поверяющий ее правдой. Таким был Федор Абрамов, был не только в своих крупных произведениях, но и в малой форме — очерке, даже эскизе.

Доктор филол. наук, поэт В. А. Шошин прочитал свои новые стихи, посвященные значению Ф. Абрамова в культурной жизни Ленинграда—Санкт-Петербурга. Нина Александровна Нетесова, учительница литературы из дер. Ваймуша Архангельской области, рассказала о сегодняшнем состоянии сельского образования. Она прочитала свои стихи «Плач по неперспективным деревням», в которых отразилась трагическая судьба поэта Н. Рубцова, пришедшего в литературу, как и Ф. А. Абрамов, с русского Севера.

С полемическим обращением в адрес интеллигенции обеих столиц, СМИ Москвы и Санкт-Петербурга, совершенно недостаточно освещающих дни Федора Абрамова, выступила Л. В. Крутикова-Абрамова: «Поминки надо устраивать по русской интеллигенции. Были прежние юбилеи Ф. А. Абрамова — в 1990-м и 1995 году. В Колонном зале Дома Союзов — огромные аудитории, сегодня же — камерный вечер проходит у вас и в Союзе пи-

сателей России. Почему нет преподавателей Санкт-Петербургского университета, почему нет их из Университета культуры? ⟨...⟩ Сейчас в этом зале больше тех, кто из Верколы, из Ваймуши, из Архангельска ⟨...⟩ Нет конференции на филологическом факультете, как нет Абрамова в курсе литературы второй половины XX века, нет Абрамова, но есть Сорокин! ⟨...⟩ Сегодня русская раздробленная интеллигенция не выполняет своей роли. ⟨...⟩ Спасибо вам за то, что вы сделали. За малое я тоже благодарна. Должна сказать, что дни памяти Абрамова состоялись. Это уже — Праздник русской культуры». Заключая свое выступление, Л. В. Крутикова-Абрамова сказала: «Никакой он не деревенский писатель, никакой он не советский писатель, он — русский писатель с мировым именем. Есть четыре русских писателя в XX веке с мировым именем: Бунин, Шолохов, Твардовский и Абрамов».

Подводя итоги круглого стола, В. П. Муромский подчеркнул следующее: «Более двадцати лет Россия живет без Абрамова, и это уже не та Россия, в которой он жил, творил. Но вот что особенно важно. При всех коренных переменах, что произошли после ухода Абрамова, мы, по сути, никуда не ушли от проблем, увиденных его зорким, провидческим взглядом писателя».

В. П. Муромский поблагодарил выступавших и присутствующих за участие в этом собрании и пригласил всех посмотреть телевизионный фильм о Ф. А. Абрамове.

© В. Н. Запевалов,
© В. А. Прокофьев

ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ НАЗАРОВОЙ

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, наша научная общественность понесли тяжелую утрату. 30 сентября 2005 года скончался старейший сотрудник Пушкинского Дома Людмила Николаевна Назарова — человек, вся жизнь которого была связана с Институтом русской литературы.

Л. Н. Назарова родилась в городе Перми 29 июля 1910 года. В 1926 году окончила школу II ступени в городе Кунгуре. В 1927-м поступила на химический факультет Ленинградского политехнического института, а в 1930-м окончила Ленинградский химико-технологический институт. Работа по специальности не помешала ей в 1935 году поступить экстерном на факультет русского языка и литературы Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, который она окончила в декабре 1940 года. Одновременно с обучением Л. Н. Назарова работала в качестве экскурсовода и лектора по истории русской литературы в Пушкинском обществе в Ленинграде, в Пушкинском заповеднике, в музее «Домик Лермонтова» в Пятигорске, а также была внештатным экскурсоводом Института литературы в Ленинграде. Оказавшись во время войны в блокадном Ленинграде, Л. Н. Назарова продолжала работать в Пушкинском Доме, как и другие сотрудники, трудилась на оборонительных работах. В период 1943—1944 годов жила и работала в городе Новосибирске.

По возвращении в Ленинград Л. Н. Назарова поступила в аспирантуру Пушкинского Дома к известному пушкинисту Б. В. Томашевскому и в октябре 1948 года защитила кандидатскую диссертацию на тему «Основные этапы развития поэмы в творчестве А. С. Пушкина». Во время работы в Пушкинском Доме принимала участие в подготовке полных собраний сочинений М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского, много лет возглавляла группу по подготовке первого академического собрания сочинений и писем И. С. Тургенева, вместе с В. А. Мануйловым принимала активное участие в составлении и редактировании Лермонтовской энциклопедии.

Л. Н. Назарова — автор около 300 печатных работ. В 2004 году вышла ее книга «Воспоминания о Пушкинском Доме», в которой отражен славный путь отечественной науки более чем за 70 лет. Главное, что поражает при чтении воспоминаний Л. Н. Назаровой, — неиссякаемый оптимизм, непреходящий живой интерес ко всему, что происходило и происходит, наконец, редкое в наше время ощущение масштабности и значимости событий, свидетелем которых она оказалась. Л. Н. Назарова принадлежала к тому поколению людей, которые, выражаясь словами поэта, «времен не выбирали», они жили в них достойно, честно трудились, отдавали все силы делу, которому посвятили себя.

У Л. Н. Назаровой было много друзей: она поддерживала постоянные творческие связи с коллегами из разных городов России и зарубежья, с научными учреждениями, библиотеками, архивохранилищами, которые нередко одаривала ценными материалами из своего личного архива.

В последние годы Л. Н. Назарова трудилась над статьями для будущей Тургеневской энциклопедии (ею написано более 200 статей), печаталась в газетах, журналах и специальных научных изданиях. Она работала без устали, до последнего дня. В печати еще находятся статьи, которые увидят свет уже без нее.

Одни из главных качеств характера Л. Н. Назаровой — отзывчивость, которая так привлекала к ней людей, умение дружить, причастность ко всему, что касалось русской литературы и культуры. Неизменно доброжелательная, Л. Н. Назарова помогала всем, кто нуждался в ее поддержке. Она считала себя счастливым человеком, которому выпала радость общения со многими замечательными людьми. Благодарную память о них она хранила в своем сердце и передавала следующим поколениям. Те, кто знал Людмилу Николаевну Назарову, навсегда сохранят память о прекрасном, благородном человеке, искренне и бескорыстно преданном науке и русской литературе.

Технический редактор *Е. Г. Коленова*
Корректоры *О. И. Буркова, Н. И. Журавлева, Т. С. Павлова*
и *Е. В. Шестакова*
Компьютерная верстка *Т. Н. Поповой*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г. Подписано к печати 30.01.06.
Формат $70 \times 100\,/_{16}$. Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24.7.
Уч.-изд. л. 30.6. Тираж 1010 экз. Тип. зак. № 1425. С 17

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.nauka.nw.ru

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12